

РУССКИЕ
ПОВЕСТИ
XIX ВЕКА
20-х ~ 30-х годов

ТОМ ПЕРВЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1950

**Подготовка текста,
вступительная статья и примечания
профессора**

Б. С. М Е Й Л А Х А

**Иллюстрации
художника**

И. С. А С Т А П О В А

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

20—30-е годы XIX века — это время напряженной борьбы за реализм в русской прозе. Появившиеся тогда повести гигантов русской и мировой культуры — Пушкина и Гоголя — ознаменовали совершенно новый период в художественном развитии. Но борьба за реалистическую литературу представляла собою сложный процесс, в котором участвовали и в той или иной степени оказали влияние на ход литературного развития многие писатели. Поэтому Белинский в своей программной статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835), раскрывающей значение неповторимого гоголевского гения, указывает, что и такие писатели, как, например, Одоевский и Полевой, Марлинский и Павлов, при всем различии их дарований сыграли определенную роль в истории русской повести.

К этой мысли великий критик возвращается неоднократно. В другой статье он писал: «Так как литература не есть явление случайное, но вышедшее из необходимых внутренних причин, то она и должна развиваться исторически, как нечто живое и органическое, непонятное в своих частностях, но понятное только в хронологической полноте и целостности своих процессов».

Конечно, определяющее значение в борьбе за реализм имели тогда гениальные произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Но вспоминая в конце сороковых годов ряд разнообразных авторов 20—30-х годов, Белинский отмечал: «Мы говорим об общем всем им стремлении сблизить роман с действительностью, сделать его верным ее зеркалом. Между этими попытками были очень замечательные, но, тем не менее, все они отзывались переходною эпохою, стремились к новому, не оставляя старой колее. Весь успех заключался в том, что, несмотря на вопли староверов, в романе стали появляться лица всех сословий...»

Реалистические тенденции были приняты в качестве критерия при отборе произведений для этого сборника из огромного материала русской прозы 20—30-х годов. Произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, многократно изданные Гослитиздатом и легко доступные читателю, не включены сюда лишь потому, чтобы полнее представить писателей, чьи

книги стали уже библиографической редкостью, но ознакомление с которыми представляет интерес для тех, кто интересуется историей русской повести.

Впервые публикуется здесь повесть В. Нарезного «Гаркуша, малороссийский разбойник», в свое время запрещенная цензурой из-за своей яркой антикрепостнической направленности.

Несколько слов о жанре включенных в этот сборник произведений. В 20—30-х годах прошлого века в самом понятии «повесть» не было ясности: этим термином назывались разные виды художественной прозы, в том числе и такие, которые теперь именуется рассказами. Поэтому в отборе материала мы руководствовались не формальными моментами, а стремились показать процессы, характерные для этого времени.

Сборник выпускается в двух томах.

РУССКАЯ ПОВЕСТЬ 20—30-х ГОДОВ XIX ВЕКА

I

В одной из своих прославленных статей о Пушкине Белинский заметил: «На Руси все растет не по годам, а по часам, и пять лет для нее почти век». Эти слова великого критика можно отнести и к развитию русской художественной прозы, которая в течение короткого времени достигла замечательного расцвета и заняла выдающееся место в мировой литературе.

Еще в первой половине двадцатых годов XIX века создание художественной прозы, отвечающей новым требованиям современности, выдвигалось в качестве задачи, которую тогда предстояло решить. В 1823 г. декабрист Александр Бестужев с сожалением восклицал в «Полярной звезде»: «У нас такое множество стихотворцев (не говорю поэтов) и почти вовсе нет прозаиков». Другой декабрист, М. Ф. Орлов, в неизданном письме П. Вяземскому в 1821 г. писал: «Займись прозой, вот чего недостает у нас. Стихов уже довольно». Такого же рода суждения встречаются в критических набросках и письмах Пушкина того времени. Так, в 1825 г. он заметил, что «русская поэзия достигла уже высокой степени образованности», но что проза «еще мало обработана». Белинский в статье «О русской повести и повестях Гоголя» указал: «Повесть наша началась недавно... В двадцатых годах обнаружились первые попытки создать истинную повесть». В этой же и других статьях Белинский показывает, как много сделано было русскими писателями в 20—30-х годах для приближения прозы к реальной жизни, ее демократизации, для воссоздания в художественных образах своеобразия и типических героев русской действительности.

Однако приведенные выше мнения о состоянии прозы до появления повестей Пушкина и Гоголя требуют пояснения. И упомянутые декабристы, и Пушкин, и Белинский имели в виду, конечно, не отсутствие прозы вообще: эти полемические, заостренные суждения явились отражением борьбы передовых общественных кругов за широкое и всестороннее отражение в прозаических произведениях русской действительности, за постановку острых вопросов современности, за новую эстетику, враждебную идеологии феодально-крепостнического строя. Русская проза и в XVIII веке уже имела

выдающиеся достижения; достаточно назвать такое произведение эпохального значения, как «Путешествие из Москвы в Петербург» Радищева, где с революционной страстностью освещены самые острые вопросы русской жизни. Известно также, какую большую роль в развитии русской прозы сыграли сатирические журналы Новикова. Здесь в разнообразных сатирических жанрах живо и резко воссозданы черты екатерининской монархии, с ее деспотическим укладом и жестоким крепостническим гнетом. В истории русской прозы, восходящей к XVIII веку, почетное место принадлежит и Фонвизину. Его письма во время путешествия во Францию со свойственной великому сатирику энергией выдвинули вопросы национальной самобытности, осудили ослепление русских помещиков всем иностранным и критически обрисовали западно-европейскую действительность. Все эти факты говорят о том, что в XVIII веке было сделано немало для подготовки грядущего расцвета художественной прозы, высокоидейной, освещающей актуальные темы русской жизни.

Но в начале XIX века общее состояние прозы, в свете нового этапа общественного развития, как мы видели, не удовлетворяло передовых деятелей политического и литературного движения.

Для понимания причин этой неудовлетворенности следует напомнить, что в художественной прозе предпушкинского периода преобладающим направлением был сентиментализм Карамзина и его последователей, подменявший изображение жизни подражанием «изящной природе» и воплощением в гладких, манерных выражениях «приятных чувствований». Карамзин и в прозаических произведениях был верен девизу приукрашивания действительности, который он выразил стихами:

Что есть поэт? Искусный лжец:
Ему и слава и венец.

Все творчество Карамзина пронизано идеями покорности царю, религиозного смирения, «обуздания страстей» в политической и нравственной жизни. Белинский, признавая известные заслуги Карамзина в борьбе с псевдоклассицизмом и в истории русского литературного языка, отметил: «Повести его ложны в поэтическом отношении». И в самом деле, даже лучшая из повестей Карамзина, «Бедная Лиза», почти не носила в себе черт национального своеобразия и явилась одним из вариантов о тех условных, пасторальных героинях, что наводнили тогда русскую литературу, являясь в произведениях дворянских писателей-сентименталистов под нерусскими именами то Хлои, то Лилеты, то Эмилии, то Леонии и т. п. На фоне революционного гуманизма А. Н. Радищева карамзинская мораль «и крестьянки любить умеют» выражала не что иное, как стремление «барина-отца» приспособиться к изменившейся социальной обстановке.

Принципиальная антиреалистичность карамзинской эстетики, избегавшей называть вещи своими именами, выразилась в самом слого писателей этой школы — витиеватом и искусственном. Свою критическую заметку «О прозе» (1822) Пушкин оборвал словами: «Вопрос: чья проза лучшая в нашей литературе? Ответ: *Карамзина*. Это еще похвала

небольшая — скажем несколько слов об сем почтенном...» Трудно судить о том, как Пушкин продолжил бы заметку, но вся она направлена против принципов карамзинской прозы. Пушкин писал: «...что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут *дружба*, не прибавя: *сие священное чувство, коего благородный пламень* и пр. Должно бы сказать: *рано поутру* — а они пишут: *едва первые лучи восходящего солнца оварили восточные края лазурного неба*, — ах, как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее».

Но самое важное в этой заметке — требование Пушкиным от прозы глубокого идейного содержания: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литератора наша далеко вперед не подвинется)». Борьба за новое идейное содержание прозы (требовавшее, в свою очередь, и новой художественной формы) явилась характерной особенностью литературного развития 20—30-х годов XIX века.

В свете всемирноисторических событий, которыми было ознаменовано начало XIX века в России, необходимость коренного поворота в состоянии литературы и, в частности, художественной прозы стала особенно очевидной. Этими событиями была Отечественная война 1812 г. и возникшее вслед за ней декабристское движение.

Война 1812 г., показавшая перед всем миром свободолюбие, страстный патриотизм, могучие силы русского народа, оказала огромное влияние на все стороны русской жизни и русской литературы. С особой силой получили развитие в этот период идеи национальной свободы и национального самосознания. «Время незабвенное!.. Как сильно билось русское сердце при слове отечество!» — вспоминал впоследствии Пушкин в повести «Метель». Для всех лучших русских людей стало ясным, что после великих жертв, принесенных русским народом для спасения от наполеоновского ига своей родины и всего человечества, нельзя было жить так, как жили раньше. Александр Бестужев в письме из крепости к Николаю I охарактеризовал войну 1812 г. как «начало свободомыслия». Декабрист П. Каховский писал: «В 1812 году нужны были неимоверные усилия; народ радостно все нес в жертву для спасения отечества. Война кончена благополучно, монарх, украшенный славою, возвратился, Европа склонилась перед ним колена; но народ, давший возможность к славе, получил ли какую льготу? Нет!..» Действительные патриоты не могли не стать врагами самодержавия, крепостнического режима. Декабрист П. Беляев гордо признавался: «Первые члены тайного общества были большей частью военные, прошедшие победоносно всю Европу до Парижа». А первое тайное общество декабристов называлось «Союзом истинных и верных сынов отечества».

Отечественная война 1812 г. явилась могучим стимулом и для расцвета национальной русской литературы. Прямым следствием войны с Наполеоном явилась борьба за народность и национальную самобытность литературы, которая с такой силой развернулась в послевоенные годы. Как ни далеки от народа были даже передовые представители дворянской культуры, но, тем не менее, именно в 1812 г. они вошли в непосредственное соприкосновение с народом, прониклись гордостью его замечательными качествами и сочувствием его угнетенному положению. И хотя классовые особенности мировоззрения не позволяли деятелям дворянского освободительного движения слиться с народом, все же этот период знаменовал собой начало мощного подъема демократизации русской культуры. Становилось все более и более очевидно, что дальнейшее успешное развитие оригинальной русской литературы возможно только на основе глубокого воплощения в художественном творчестве особенностей русского национального характера, погружения в живые родники русской речи, устного творчества народа и изучения его истории. Характерно, например, что член тайного общества «Союз благоденствия» и участник Бородинского сражения и всего заграничного похода русской армии, автор «Писем русского офицера», полковник Ф. Глинка ставил задачи борьбы за национальную русскую литературу в прямую связь с итогами войны 1812 г. В одной из статей, напечатанных в 1816 г. в «Сыне отечества», он писал о том, что литература должна быть достойной героических патриотов, отстоявших родину: «...во все времена и у всех народов слава языка следовала за славой оружия, гремя и возрастая вместе с нею». Глинка обращает внимание писателей на героическую историю русского народа — «великие деяния, рассеянные в летописях отечественных», на «народные предания, песни и стихотворения русские». Наконец, тут же содержится и призыв к демократизации литературы. Слог должен быть «понятен не для одних ученых, не для одних военных, ибо всякие состояния участвовали в славе войны и свободе отечества».

Отсюда понятна и та страстность негодования, с которой все передовые деятели этого времени выступали против преклонения консервативных дворянских литераторов перед иноземной культурой, против слепого подражания иноземной словесности. Тот же Ф. Глинка утверждал: «Русские не потерпели ига татарского; не потерпели нашествия галлов и двадцати языков; они, конечно, не потерпят и владычества чуждых наречий в священных пределах словесности своей». Александр Бестужев в «Полярной звезде» обличал тех писателей, которые «вдыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залезли в тридевятую даль по-немецки». Другой декабрист, В. Кюхельбекер, призывая писателей обратиться к песням и сказаниям народным, требовал покончить в литературе с цепями «английского и немецкого владычества». Этими же идеями была проникнута и деятельность Пушкина, который мыслил развитие литературы только на основе родной национально-самобытной культуры и считал «манерность, робость, бледность» — «вредными последствиями» подражания французской словесности. Борьба за самобытность и оригинальность рус-

ской литературы сочеталась у декабристов, у Пушкина с величайшим уважением к действительным ценностям литературы других народов, внимательное изучение которой было характерно для всех прогрессивных русских писателей (в отличие от реакционеров, оценивавших произведения передовых западно-европейских писателей как «лжеумствования» и «политический разврат»). Реакционные националисты (вроде А. С. Шишкова) клеветали на русский народ, утверждая, что революционные идеи ему якобы несвойственны и являются «чужеземным» продуктом, результатом идеологического импорта с Запада. В действительности, как показали еще писатели-декабристы, вся история русского народа — это история национально-освободительной борьбы с поработителями.

Разгромом декабрьского восстания самодержавие стремилось нанести удар и передовой русской культуре. После 1825 г. наступили годы черной реакции, цензурного террора, преследования прогрессивных писателей. Но, вопреки всему этому, в русской литературе второй половины 20-х и в 30-х годах продолжала развиваться борьба за демократизацию художественного творчества, укреплялось критическое отношение к существовавшим порядкам.

Национально-освободительный подъем, вызванный победой русского народа над Наполеоном, взрастил Пушкина, Грибоедова, поэтов-декабристов. Этими же историческими условиями были обусловлены в эти годы и требования к развитию художественной прозы.

Почему этот вид литературного творчества приобрел тогда такое значение?

Белинский говорил о связи интереса к прозе с требованиями времени: «... в наше время и сам Ювенал писал бы не сатиры, а повести, ибо если есть идеи времени, то есть и формы времени».

Актуальнейшие общественные вопросы, темы политической жизни могли с наибольшей полнотой и разносторонностью разрабатываться и освещаться именно в прозе. Белинский утверждал, что повесть «теперь есть исключительный предмет внимания и деятельности всего, что пишет и читает, наш дневной хлеб, наша настольная книга». Отражая потребность демократических читательских кругов, великий критик связывал необходимость развития повести с борьбой за расширение охвата в литературе всего многообразия жизни: «Жизнь наша, современная, слишком разнообразна, многосложна, дробна: мы хотим, чтобы она отражалась в поэзии, как в гране, в угловатом хрустале, миллионы раз повторенная во всех возможных образах, и требуем повести». Самый жанр прозы был в то время, несомненно, доступнее для широких читательских кругов, чем поэзия. Правда, Пушкин совершил переворот и в области поэзии, приблизив ее к жизни, он и в своих стихотворных произведениях отразил острейшие политические проблемы и всю сложность общественной жизни. Но, тем не менее, и Пушкин, как мы видели, придавал исключительное значение именно прозе в борьбе за высокую идейность литературы. Показателен, в частности, следующий факт. В письме к Вяземскому из кишиневской ссылки Пушкин связывал развитие прозаического языка

с возможными революционными изменениями в России, когда иносказательно писал: «Предприми постоянный труд, пиши в тишине самовластья, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах, а там что бог даст. Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России, тогда надеюсь с тобою сблизиться». В третьей главе «Евгения Онегина», противопоставляя старой эстетике новые принципы, Пушкин связывает с прозой свои грядущие замыслы о литературе, отражающей русский быт и русскую историю:

...В меня вселятся повый бес,
И Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайного злодейства
Я грозно в нем изображаю,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные спы
Да правы нашей старины.

В шестой главе «Евгения Онегина», которая писалась в 1826 г.; он, хотя и в шуточной форме, говорит о грядущем переходе к работе над прозой (в 1827 г. был начат «Арап Петра Великого»):

Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалуню рифму гонят...

Все это не должно давать повода к заключению, что художественный метод Пушкина-поэта отличается от метода Пушкина-прозаика. Принципы пушкинского реализма, гениально воплощенные в «Повестях Белкина», «Капитанской дочке», «Пиковой даме», претворились в такой же степени в пушкинской поэзии — в особенности в «Евгении Онегине», этой, по выражению Белинского, «энциклопедии русской жизни», и в стихотворной драме «Борис Годунов». В «Евгении Онегине» впервые с такой глубокой последовательностью дана галерея типических образов в типических обстоятельствах русской жизни начала XIX века, а в «Борисе Годунове» со всей живостью и непосредственностью показаны, наряду с царем и боярами, люди из низов, а народ выступает как самостоятельная грозная сила. И в поэтических произведениях Пушкин полемически противопоставлял свои принципы всестороннего изображения жизни, такой, как она есть, нормам салонной эстетики, третиравшей воспроизведение повседневноности как «низякую природу», достойную лишь «презренной прозы». В этом смысле следует понимать иронические и полемические строки в «Графе Нульве»:

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье...

Поэма «Домик в Коломне» близка к «Станционному зрителю» и «Гробовщику» демократизмом повествования (изображение быта петер-

бургской окраины и маленьких людей). Образ героя из социальных низов с его чувствами и думами воссоздан в «Медном Всаднике». Все это говорит не только о единстве задач пушкинской поэзии и пушкинской прозы, но также и о том, что поэтическое творчество Пушкина подготовило идейно-художественные принципы его же прозаических произведений и всей русской реалистической прозы. И все же несомненно, что борьба за прозу в 20—30-е годы имела особое значение: в сравнении с поэзией проза давала больше возможностей для демократизации литературы и выработки единого литературного языка, понятного различным слоям общества, свободного от салонной условности, основанного на богатейших источниках народной речи. Вот почему Пушкина так занимал вопрос о русской повести, в то время только еще начинавшей свой блистательный путь. «Кстати о повестях, — писал он М. П. Погодину в 1827 г.: — они должны быть непременно существенной частью журнала».

Наивысшие завоевания русской художественной прозы этой эпохи представлены произведениями Пушкина и Гоголя. Изображение героев без приукрашивания и тенденциозного искажения, воспроизведение нравов изображаемой эпохи — все это сказалось уже в первом прозаическом опыте Пушкина — неоконченном «Арапе Петра Великого». В «Повестях Белкина» он выступил родоначальником русской реалистической прозы. Демократическая тенденция пронизывает «Повести Белкина» целиком, достигая наивысшего своего выражения в «Станционном смотрителе», где на общем фоне социального неравенства изображен Симеон Вырин — «сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда». Величайшее значение этой повести заключается в том, что и сам герой и черты общественного уклада показаны здесь с позиций социальных низов. Новый шаг в развитии реализма — русского и мирового — представляла собой «Капитанская дочка», где создан обаятельный образ Пугачева — мужественного и умного вождя крестьянского восстания. Не будучи сторонником крестьянской революции, Пушкин, вследствие глубокого реалистического постижения исторической действительности, все же критически воспроизвел в «Капитанской дочке» характерные черты екатерининской монархии, общественные отношения и психологию ее современников. В «Дубровском» сатирическое изображение крепостника Троекурова и продажности «чернильного племени» судебных крючкотворов — с одной стороны, сочувственное изображение крестьян — с другой, определяют идейное содержание повести с ее темой мести за поправную справедливость. Наконец, крупнейшей вехой в истории русской повести была «Пиковая дама», отразившая новые черты, типичные для капиталистического развития России начала XIX века. От этой повести начинается в русской литературе критическое изображение героя-индивидуалиста, отравленного жадной стяжательством: «деньги — вот чего алкала его душа» — так определяются стремления Германна.

Мы напомнили читателю об этих темах и образах пушкинских повестей, ибо в них заключались все те зерна, из которых развилась вся последующая русская реалистическая проза. В 30-х годах прямым предше-

ком и продолжателем пушкинских традиций явился Гоголь. Еще при жизни Пушкина, в 1831—1832 гг., он выпустил «Вечера на хуторе близ Диканьки», в 1835 г. — «Арабески» и «Миргород»; в 1835—1836 гг. написаны петербургские повести — «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет» (первая редакция). Но Гоголь, явившийся продолжателем Пушкина, выразил своим творчеством новый, по сравнению с Пушкиным, этап критического реализма и дальнейшей демократизации литературы.

Гоголь, по определению Белинского, окончательно утвердил в литературе «поэзию жизни действительной, коротко знакомой нам», он «убил два ложные направления в литературе: натянутый, на ходулях стоящий, идеализм, махающий мечом картонным, подобно разурмяненному актеру, и потом — сатирический дидактизм». Уже в предисловии к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» были заявлены новые творческие принципы. Рассказчик Рудый Панько свою позицию, свою манеру, свой стиль резко противопоставляет «панской», барской литературе, третирующей «мужика». Возражая своему противнику, пренебрежительно отозвавшемуся о пастышке и его рассказах, Рудый Панько говорит: «...нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! — это все равно, как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить... начнут со всех сторон прятывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!» И в самом предисловии читатель сразу же вводится в атмосферу народного творчества, народных обычаев; даже интонация рассказчика — это интонация живой народной речи, с такой непосредственностью и живостью ранее еще не звучавшая в литературе.

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» перед читателями предстал жизнерадостный, веселый мир простых людей, мир, где реализм и высокая романтическая дань в неразрывном единстве и где проза повседневности была в то же время и подлинной поэзией. В повестях «Миргорода» Гоголь воспроизвел другие стороны жизни — дореформенную усадьбу («Старосветские помещики»), провинциальную жизнь с ее пошлостью и ничтожеством («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), по отношению к которой ярким контрастом служило героическое прошлое народа («Тарас Бульба»). А в петербургских повестях с потрясающей силой обнажены контрасты «верхов» и «низов», богатства и бедности. Здесь возникли перед читателем образы «ничтожных людей», разночинцев, мелких ремесленников, мелких чиновников, осужденных всем общественным строем на нищету, на гибель в мире, полном обмана, лицемерия, жестокости. От этих повестей был прямой путь к гениальному художественному обобщению, которое было создано Гоголем в начале 40-х годов — к повести «Шинель». Жизнь Акакия Акакиевича — это порожденная типическими обстоятельствами социальная трагедия; раскрывая эту трагедию, Гоголь утверждал новое, демократическое понимание гуманизма.

Так был окончательно закреплен поворот русской литературы к новым темам и новым героям, переход к изображению народа и его судьбы,

полный отказ от ограничения кругозора художника пресловутыми «вышешными предметами», под которыми консервативная, дворянская эстетика понимала только разработку официозных тем и воспевание саовных героев. Для того чтобы стало ясно все значение этой громадной победы передовой русской художественной мысли, достаточно напомнить, что даже в начале 30-х годов Пушкину приходилось защищать свое право на выбор «ничтожного героя» в полемических строках:

Допросом музу беспокоя,
С усмешкой скажет критик мой:
«Куда завидного героя
Избрали вы! Кто ваш герой?»
— А что? Коллежский регистратор.
Какой вы строгий литератор!
Его пою — зачем же нет?
Он мой приятель и сосед:
.....
Я в том стою — имел я право
Избрать соседа моего
В герои повести смпренной...

Обращение к изображению новых демократических героев, к разработке острейших тем современности, завоевание новых эстетических норм — все это является заслугой Пушкина и Гоголя. В ту же эпоху началась и деятельность Лермонтова как прозаика, деятельность, вскоре трагически оборванная его гибелью. В 1839 г. в «Отечественных записках» появились повести «Бела» и «Фаталист», в начале 1840 г. — «Тамань», а в мае этого же года был опубликован целиком «Герой нашего времени», произведение, самим названием указывавшее на характер творческого задания автора. Мощная сила отрицания и протеста сочетались здесь с тончайшим анализом пороков общественного уклада, обрекавшего на бездействие и угасание одаренного, активного по своей натуре героя. За несколько лет до создания этого произведения Лермонтов работал над двумя романами, оставшимися незаконченными: «Княгиней Лиговской» (начат в 1836 г.) и «Вадимом» (1833—1834 гг.). Тот факт, что «Вадим» — роман, посвященный эпохе пугачевского движения, — писался Лермонтовым одновременно с «Капитанской дочкой» Пушкина, показателен для понимания путей, по которым развивалась передовая русская литература. Однако Лермонтов отложил окончание романа на историческую тему и вскоре приступил к «Княгине Лиговской» и «Герою нашего времени» — произведениям о современной действительности, ее противоречиях и существенных особенностях.

Из всего этого очевидно, что главной, определяющей тенденцией в развитии русской прозы 20—30-х годов являлась борьба за реалистическое изображение современности. Именно эта идея пронизывает статью Белинского «О русской повести и повестях Гоголя». Карамзина и прозаиков его школы Белинский здесь по существу исключает из истории «истинной» русской повести, ибо под «истинной повестью» он разумеет произведения, в той или иной степени проникнутые реалистическими элементами. Идеалом поэзии (в данном случае под словом «поэзия» подразумевается искус-

ство вообще) является для Белинского «поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности... Ее отличительный характер состоит в верности действительности; она не пересоздает жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее и, как вышуклое стекло, отражает в себе, под одною точкою зрения, разнообразие ее явления, выбран из них те, которые нужны для составления полной, оживленной и единой картины». И в этой статье и в других своих выступлениях Белинский — теоретик, организатор, вождь передовой реалистической литературы — борется против романтико-идеалистической эстетики с ее «мечтательной бездейственностью», отрешенностью от жизни, стремлением перенести конфликты действительности в чисто теоретическую, «духовную» область. Обосновывая необходимость «реальной поэзии» требованиями времени, Белинский формулировал те принципы, которые в нашем современном литературоведении именуются принципами критического реализма.

«Удивительно ли, — восклицал Белинский, — что отличительный характер новейших произведений вообще состоит в беспощадной откровенности, что в них жизнь является как бы на позор во всей наготы, во всем ее ужасающем безобразии и во всей ее торжественной красоте, что в них как будто вскрывают ее анатомическим ножом? Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотим ее украшать, ибо думаем, что в поэтическом представлении она равно прекрасна в том и другом случае, и потому именно, что истинна, и что где истина, там и поэзия».

Обличение действительности николаевской России «во всем ее ужасающем безобразии» означало и одновременное утверждение положительного идеала и борьбу против основ существовавшего строя. Тем самым обнажалось противоречие между могучими силами, свободолюбием, богатейшими возможностями русского народа и его угнетенным, бесправным положением. Этим политическим осмыслением исторической роли «реальной поэзии» и объясняется та непримиримость, с которой Белинский критиковал все отступления от реализма в произведениях современных ему писателей. Ниже мы увидим, с какой беспощадностью вскрыл Белинский пороки романтического метода в произведениях Бестужева-Марлинского, писателя, хотя и враждебного реакционному идеалистическому романтизму как идеологической системе, но в своем творчестве воплотившего романтическую «нейстовость», «бесхарактерность», мелодраматизм.

Критерии «верности действительности», то есть реализма, Белинский применял, разумеется, к оценке не только Пушкина и Гоголя. Из этих критериев он исходил и при рассмотрении творчества других писателей-современников, которые хотя и не идут ни в какое сравнение с этими гигантами русской литературы, но все же сыграли свою роль в развитии художественной прозы. Многие из произведений современников Пушкина и Гоголя сохранили свое познавательное и зачастую художественное значение, поскольку в них отразились в той или иной степени существенные черты времени. В произведениях, представленных в данном сборнике, воплощены актуальные для этой эпохи проблемы, критически раскрываются

существовавшие социальные отношения, обличаются пошлостью и низменностью светского общества, провинциального и помещичьего быта, выдвигаются новые, демократические герои.

Тот отбор повестей, который произведен для этого сборника, преследовал цели показа сложного, зачастую противоречивого процесса развития русской литературы по реалистическому пути. Конечно, это развитие не носило характера мирной эволюции. Буржуазно-либеральное литературоведение рассматривало развитие русской литературы, и в том числе художественной прозы, как некий «единый поток», в котором исчезали их классовые позиции, стиралось индивидуальное своеобразие писателей. В действительности же формирование и развитие русского реализма происходило в острой политической борьбе.

Основой понимания этой борьбы является ленинская теория «двух культур». Как указывал Ленин, в условиях, когда господствуют эксплуататорские классы, — «есть две нации в каждой современной нации... Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре».¹ В своих работах Ленин с гордостью писал о великих представителях передовой русской культуры — Радищеве, Белинском, Герцене, Добролюбове, Чернышевском, Щедрина, Горьком и других. Этих действительных представителей передовой русской культуры Ленин противопоставлял реакционной псевдокультуре Кавелиных и Катковых, Розановых и Мережковских — всевозможных врагов демократии и политической свободы. Для всех лучших русских писателей прошлого определяющими были интересы родины, патриотическое стремление всемерно содействовать просвещению народа, освобождению его от цепей абсолютизма и крепостничества. Борьба сторонников прогресса с идеологами реакции характеризует и все области литературного развития.

В области прозы 20—30-х годов борьба «двух культур» выразилась с наибольшей остротой в столкновении линии Пушкина и его школы с линией Булгарина—Греча—Сенковского. После разгрома декабрьского восстания одним из самых отвратительных представителей реакции был полицейский шпион Булгарин, человек, сражавшийся в 1812 г. на стороне французов и потом переметнувшийся из корыстных целей на сторону русских. И в монархической газете «Северная пчела», которую Булгарин издавал вместе с Гречем, и в своих низкопробных романах Булгарин пропагандировал идеи преданности царю и, под завесой псевдопатриотической фразеологии, нагло клеветал на русский народ. В острых обличительных статьях Пушкин вскрыл истинную сущность литературной страпани Булгарина, одного из тех, «для которых: ubi bene, ubi patria»,² для которых все равно: богат ли им под орлом французским или русским языком позорить все русское — были бы только сыты». «Нравоописательный» роман Булгарина «Иван Выжигин» (1829) посвящен похождениям «героя», которого Белинский охарактеризовал как «негодяя», который

¹ В. И. Ленин. Сочинения, 4 изд., т. 20, стр. 16.

² Где хорошо, там и отечество (ред.).

«смолоду подличал, обманывал, вдавался в обман», затем «из негодяя вдруг сделался порядочным человеком, влюблялся по расчету, женился счастливо и богато, и с миллионом в кармане принимался проповедовать мораль блаженства под соломенной кровлей». Подлое, лакейское угодничество перед самодержавием, верноподданническую мораль Булгарин проповедовал и в других своих романах — «Дмитрий Самозванец» (1830), «Петр Иванович Выжигин» (1831), «Мазепа» (1834). Огостлая реакционность характеризует и писания Н. Греча, его роман в письмах «Поездка в Германию» (1830) и роман «Черная женщина» (1834), где болгаринский тип авантюришно-нравоописательного повествования дополнен изрядной долей мистики. При всей бездарности романов Булгарина и Греча они наделали немало вреда. Распространению этих романов способствовало покровительственное отношение к их авторам Николая I и шефа жандармов Бенкендорфа. Вот почему разоблачению сущности этого рода «литературы» и Пушкин и Белинский придавали большое значение.

В 30-х годах фронт Булгарина и Греча был укреплен появлением Сенковского, писавшего под псевдонимом «барон Брамбеус» и составившего вместе с ними журнальный «триумvirат». Сенковский соревновался с Булгариным и Гречем в засорении читательских умов всякого рода реакционными идеями. И его фантастические «путешествия», и бытовые рассказы и повести («Вся женская жизнь в нескольких часах», 1833; «Любовь и смерть», 1834 и др.) явились воинствующим выступлением против реализма и пропагандировали циническое презрение ко всему, что выходило за пределы интересов верноподданного обывателя в николаевской империи.

«Творчеству» Булгарина, Греча, Сенковского, вернее, идеологии, выраженной во всей их антинародной деятельности, противостояла прогрессивная русская литература 20—30-х годов. Она проповедовала любовь к отечеству, презрение ко всем тем, кто предпочитал родной культуре и родному языку все иноземное; она вскрывала антагонизм «верхов» и «низов», рисовала картины социальной несправедливости, ставила на очередь вопросы о необходимости ломки и переустройства существовавших порядков.

Идейно-политическая борьба 20—30-х годов протекала в условиях, когда дворянство не было еще вытеснено в общественном движении разночинцами, когда массовый народный протест носил еще характер стихийных «бунтов», когда размежевание классов всячески тормозилось системой феодально-крепостнических отношений. Все эти противоречия времени отражались и в прогрессивной литературе, налагая на те или иные произведения печать политической ограниченности, неполноты обличения существовавшего строя, половинчатости в ответе на коренные вопросы современности.

Борьба нового со старым, столкновение противоположных социально-политических тенденций преломлялись и в творчестве прозаиков 20—30-х годов. При изучении литературы пушкинской поры мы видим, что сила и достоинство произведений тех или иных писателей зависели от того, в какой степени эти писатели сумели отразить прогрессивные идеи своего

времени и приблизиться к пониманию народных чаяний. Идеиная слабость писателя неизменно влекла за собой недостатки и слабости его произведений, а разрыв с прогрессивными идеями приводил к полной творческой катастрофе. Так было в 40-е годы с Гоголем: подпав в конце жизни под влияние реакционной идеологии, он пережил величайшую трагедию отречения от своих лучших произведений и пришел к искажению действительности во втором томе «Мертвых душ». С еще большей резкостью сказался отход от прогрессивных идей в деятельности второстепенных писателей, таких, как, например, Н. А. Полевой или М. П. Погодин. Полевой, в первый период своей деятельности встречавший сочувствие Белинского и демократических кругов как издатель «Московского телеграфа» и автор повестей, с симпатией изображавших героев-разночинцев, впоследствии пошел в услужение реакции и стал писать ничтожные, бездарные пьески, восхвалявшие самодержавие. Первые повести М. П. Погодина — «Нищий», «Черная немочь» — были положительно оценены Белинским, который писал о них: «...обе они замечательны по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу». Эти повести Белинский неоднократно упоминает с одобрением в разных статьях. Но уже тогда у Погодина проявлялись тенденции, ослабившие силу его произведений. В повести «Нищий» месть крепостного крестьянина своему помещику ограничена рамками возмездия за любимую девушку и не вышается до социальных обобщений. А в «Черной немочи», повести о молодом человеке, сыне купца, стремившемся к просвещению и гибнущем жертвой косной среды, проходит, наряду с обличительными мотивами, идея религиозного смирения. В дальнейшей же своей эволюции Погодин, выходец из крепостных, перешел на реакционные позиции и отрекся от былых демократических симпатий. Пример Погодина в литературе этого времени не единичен. Но поскольку отдельные ранние произведения тех писателей, которые впоследствии капитулировали перед реакцией, сыграли в свое время положительную роль, Белинский отводил им соответствующее место в общем процессе борьбы за реализм и демократизацию литературы.

Изучая развитие русской повести 20—30-х годов, мы видим, как слабость идейных позиций тех или иных писателей неизбежно сказывалась и на художественном методе, ослабляла остроту проникновения в изображаемые стороны жизни, не позволяла подняться до глубоких социальных обобщений. Эту закономерность можно проследить, например, на некоторых повестях, посвященных обличению провинциального быта николаевской России. Читатель с интересом ознакомится с занимательной повестью А. Ф. Вельтмана «Неистовый Роланд», напоминающей своим сюжетом гоголевского «Ревизора», и с провинциальными очерками М. Н. Загоскина «Три жениха», где содержатся меткие зарисовки нравов губернского города. Но как далеки эти повести по методу от бессмертной гоголевской комедии, где картины провинциальной жизни даны с такой силой типизации, что они вырастают в сатиру на весь бюрократический строй царской России! Так вновь и вновь подтверждается положение о том, что подлинный реализм отличается не изображением жизни

вообще, не верностью отдельных деталей, а умением художника воспроизвести типические характеры в типических обстоятельствах. Этому умению не было ни у Вельтмана, основы мировоззрения которого не выходили за рамки «дозволенного», ни тем более у Загоскина, который известен в литературе как автор псевдонародных исторических романов.¹

Только отбор самых существенных особенностей изображаемого явления и освещение жизни с передовых позиций своего времени дает писателю возможность в каком-либо одном образе воплотить характерные черты целого поколения, класса, сословия и, следовательно, сделать искусство «приговором над действительностью» (Чернышевский). С этой точки зрения весьма показательны сильные и слабые стороны одного из примечательных произведений конца 30-х годов — талантливой повести Г. Ф. Квитки-Основьяненко «Пан Халиевский». В ней дано сатирическое изображение быта украинского помещичьего дворянства. Время, в которое происходит действие повести, — XVIII век, когда на Украине наиболее богатые и знатные казаки превращались в дворян, а бедняки сделались крепостными. Вследствие проницательного изображения жизни дворянства в повести читатель может отчетливо представить себе, каким образом крепостной строй порождал невежество, одичание и моральное разложение в среде, типичными представителями которой являются Халиевские. Картины «банкетов», домашнего воспитания, ученья в бурсе, нравов семьи Халиевских, сам образ героя повести Трофимушки (в создании которого явно сказывается влияние комедии Фонвизина «Недоросль») — все это ярко обрисовывает систему общественных отношений и быта, которая могла возникнуть лишь на основе крепостничества. Велинский с одобрением писал о «Пане Халиевском»: «Словно на ладони видите вы почтенную старину, преисполненную невежества, лени, обжорства и предрассудков, видите, как глупый муж бьет свою глупую жену и тузит детей; как глупая мать насмерть закармливает своих милых деток, а детки дерутся друг с другом за всякий кусок, обманывают отца и мать и выросши заводят друг с другом процессы и творят друг другу всевозможные обиды. Краски Основьяненка живы, картины уморительно смешны и, несмотря на то, что местами его рассказ слишком обстоятелен, занимательность нигде не ослабевает». Но сам Квитка — весьма умеренный по своим политическим позициям писатель, вовсе не склонный к непосредственному обличению крепостнических порядков. Никаких интонаций негодования не появляется у него даже в таком эпизоде, как расправа со служанкой («...схватят ее за косы и тут же ну-ну-ну-ну! да так ее оттреплют, что девка нескоро в разум придет» и т. д.). Позиция иронического наблюдателя, а не последовательного врага изображаемого порядка вещей, ослабила и его реализм, ограничила понимание жизни, о которой он так талантливо рассказал.

¹ В нашем сборнике, в соответствии с его задачами, Загоскин представлен только как «бытописатель» своего времени, а не как исторический романист. Краткие сведения о его исторических романах см. в примечаниях ко второму тому.

Полную победу реализма в русской прозе Белинский относил, как уже упоминалось, к середине 30-х годов, то есть ко времени появления гоголевских повестей. Но отчетливые реалистические тенденции проявились в художественной прозе еще тогда, когда школа дворянского сентиментализма, возглавленная Карамзиным, господствовала в литературе. Противоположные этой школе социальные и художественные принципы нашли своеобразное выражение в творчестве В. Т. Нарезного.¹

Проницательную характеристику значения Нарезного в истории русской прозы дал И. А. Гончаров в одном из писем 1874 г.: «Нельзя не отдать полной справедливости и уму, и необыкновенному, по тогдашнему времени, уменью Нарезного отделяться от старого и создать новое, — писал автор «Обломова». — Белинский глубоко прав, отличив его талант и оценив его как первого русского по времени романиста. Он школы Фонвизина, его последователь и предтеча Гоголя. И не хочу преувеличивать, прочитайте внимательно, и вы увидите в нем намеки, конечно, слабые, туманные, часто в изуродованной форме, но типы характерные, созданные в таком совершенстве Гоголем».

Прогрессивные тенденции творчества Нарезного послужили основой его связи с передовыми литературными объединениями — с «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств», а затем с «Вольным обществом любителей российской словесности», руководимым декабристами.

Близость Нарезного к передовым общественно-литературным кругам становится очевидной при ознакомлении с одним из ранних его произведений — первой частью «Славенских вечеров» (1809). С патриотической гордостью писал здесь Нарезный о героическом прошлом русского народа, прославляя подвиги древнерусских богатырей как борцов за «правду и человечество». Своим обращением к национально-исторической тематике он выразил ту же линию борьбы за национальную самобытность литературы, которая проходит в произведениях всех прогрессивных писателей этой поры. В своеобразном вступлении к первому рассказу из цикла «Славенских вечеров» Нарезный противопоставляет прозе современной ему александровской России героическое, овеянное романтикой борьбы прошлое «веков отдаленных» и призывает возвращать в Россию «века отдаленные». Эта идейная направленность является положительной особенностью «Славенских вечеров», хотя в литературном отношении «Славенские вечера» связаны со старой традицией фантастической, сентиментально-чувствительной повествовательной литературы: в них еще нет, конечно, того реалистического историзма, который ввел в литературу Пушкин.

В дальнейшем мировоззрение и творчество Нарезного развивалось в направлении обличительном и демократическом. Незадолго до начала

¹ Биографические сведения о В. Т. Нарезном и других писателях, включенных в сборник, см. в примечаниях.

Отечественной войны 1812 г. Нарезный написал большой роман в шести частях «Российский Жильблаз или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» — сатиру на дворянство и бюрократию, на крепостнические порядки современной ему России. Сила обличения в этом романе настолько велика, что цензура пропустила в печать только три части из шести. Даже в 40-х годах цензура отказалась пропустить в печать все произведение, ибо, по словам цензора, «в целом романе все без исключения лица дворянского и высшего сословия описаны самыми черными красками», а в противоположность им «многие из простолюдинов» отличаются «честными и безукоризненными поступками». Критическое изображение дворянства и современной действительности мы находим и в других произведениях Нарезного, в романе «Черный год» и менее острое — в романе «Аристийон или Перевоспитание».

Борьба нового и старого отразилась и в идейном содержании творчества Нарезного и в его художественном методе. Свойственные Нарезному противоречия Белинский отметил, говоря о том, что его произведения «Бурсак», «Два Ивана», «запечатленные талантом, оригинальностью, комизмом, верностью действительности», — в то же время страдают бедностью «внутреннего содержания». Для читателя повести Нарезного «Два Ивана или страсть к тяжбам» очевидно, что это произведение, отличающееся юмором, ярким сатирическим изображением мелкопоместного дворянства, напоминает и сюжетом и характерами позднейшую гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Забавная история тупой и бессмысленной тяжбы двух «первостатейных шляхтичей», Ивана Зубари и Ивана Хмары, с паном Харитоном, дошедших из-за склоки до полного обнищания, рассказана Нарезным очень живо. Убогий уровень героев обрисован во всем их поведении, в образе мыслей, в той логике, которая обозначается словами «сапоги всмятку». Замечательно здесь изображение судебного крачкотворства вплоть до остроумного пародирования решения сотенной канцелярии, где уничтожение голубей при поджоге голубитни пана Харитона объясняется следующим образом: «А как никто ни одному голубю не связывал и не обрезывал крыльев, то и прочие могли улететь: итак, они изжарились по доброй воле». Жизненно правдивыми, красочными изображены и картины украинского быта (в частности, ярмарка).

Однако реализм Нарезного непоследователен, половичат. Критика справедливо отмечала у Нарезного и натуралистические излишества. В повести ощущается идущий от старой литературы дидактизм, стремление во что бы то ни стало показать порок наказанным, а добродетель торжествующей.

В силу этих непреодоленных Нарезным канонов в повесть введен чувствительный положительный герой — пан Артамон, под благотельным влиянием которого совершенно деградировавшие два Ивана перевоспитываются. Достаточно сравнить морализующую заключительную главу повести Нарезного со сдержанно-лаконичным, но обобщающим заключением Гоголя к своей повести, чтобы понять, что реализм Нарезного в дей-

ствительности содержал лишь «намек» на тот метод, который позже нашел свое осуществление в сатирических произведениях Гоголя.

Но самым интересным и острым из всех произведений Нарезного несомненно является его антикрепостническая повесть «Гаркуша, малороссийский разбойник». Эту повесть Нарезный писал в последние годы жизни.

Герой повести — Семен Гаркуша — известен в истории крестьянских движений XVIII века. Он родился в 30-х годах XVIII века (в 1737 или 1739 г.), был крепостным крестьянином, мальчиком ушел в Запорожскую Сечь. За год до выступления Пугачева Гаркуша составил отряд из беглых крестьян и казаков и стал нападать на богатых украинских помещиков. В 1775 г. он был пойман вместе с товарищами и сослан в Сибирь на поселение, но бежал оттуда и вновь организовал под своим руководством группу крепостных крестьян. Его вторично поймали, отправили с сообщниками в Москву, где их били кнутом, клеймили, вырвали ноздри и осудили на вечную каторгу в Казань. Но Гаркуша опять бежал на Украину и возобновил нападения на помещиков. В 1784 г. Гаркушу поймали в третий раз и вновь сослали на каторжные работы, откуда он уже не вернулся.

Для реакционных буржуазных историографов Гаркуша был только разбойником, извергом, в противоположность пародной устной традиции, согласно которой он был мстителем за угнетенных, выразителем крестьянского протеста. В пародной молве закреплены именно эти черты Гаркуши. Именно такая трактовка Гаркуши легла и в основу повести Нарезного, хотя он и не ставил своей задачей следовать строго историческому освещению биографии своего героя.

В первых же главах повести Нарезный показывает, что судьба Гаркуши — следствие жестокой действительности. Его герой, «снабженный от природы весьма достаточными дарованиями», «статный, дородный молодец и самый сильный из деревни», честный и скромный, обладал чувством собственного достоинства. Но эти положительные черты стали источником его злоключений. Нищий пастух, крепостной помещика Кремня, он, однако, отказывается терпеть издевательства над собой «более сытых и лучше одетых, чем он». Достаточно было внешне незначительного повода, изгнания его из церкви в угоду богачу, чтобы у Гаркуши родилась идея мщения. Идея эта особенно укрепилась у него, когда он в полной мере распознал помещика Кремня. После вынужденного убийства исправника Гаркуша становится «разбойником». Но, как многократно подчеркивает Нарезный, это превращение явилось результатом внешних обстоятельств — социальной несправедливости. В уста Гаркуши Нарезный вкладывает следующие слова:

«Теперь уже я сам собою решаюсь сделаться — милосердный боже! — сделаться разбойником! Почему же так? Кто назовет меня сим именем? Не тот ли подлый пан, который за принесенное в счет оброка крестьянкою не совсем свежее яйцо приказывает отрезать ей косы и продержат на дворе своем целую неделю в рогатке? Не тот ли судья, который говорит изобли-

ченному в бездельстве компанейщику: «Что дашь, чтобы я оправдал тебя»? Не тот ли священник, который, сказав в церкви: «Не взирайте на лица сильных», в удобность помещику погребает тихонько забитых батогами или уморенных голодом в хлебных ямах? О беззаконники! Вы забыли, что где есть преступление, там горнее правосудие воздвигает мстителя? Так! Я мститель и не признаю себе другого имени!»

В страстных, пламенных речах Гаркуши, обличающих угнетателей, нельзя не видеть прямого отражения возмущения широких крестьянских масс крепостническим режимом. Лучшие места повести дышат столь сильной ненавистью крестьян к помещикам, что заставляют вспомнить гневные страницы радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». Таковы, например, многократные призывы неустанно бороться с помещиками. Обращаясь к товарищам, Гаркуша говорит: «Будем мстить злым людям, а особливо так называемым благородным, из числа которых этот кровожадный волк, алкавший нашей гибели». Идея мщения настолько овладевает Гаркушей, что он говорит об этом чувстве одному из своих сообщников — Ивану: «в ком нет его, в том нет и любви к самому себе; в ком же и сие чувство угасло, тот перестань называть себя человеком». Он пылает ненавистью ко всему, что связано с помещичьим строем, включая и церковь. Гаркуша разрушает и сжигает церкви только потому, что они построены помещиками на деньги, «вымученные у бедных подданных и полученные от гнусной, незаконной торговли дочерьми тех несчастных, сынами и братьями».

Ценной чертой повести Нарезного является попытка показать, как наряду со стихийным протестом у Гаркуши появляются проблески понимания причин существующего положения вещей. Гаркуша рассуждает: «Все мы считаем себя рабами панов своих: но умно ли делаем? Кто сделал их нашими повелителями? Если господь бог, то он мог бы дать им тела огромнее, нежели наши, руки крепче, ноги быстрее, глаза дальновиднее. Но мы видим противное. Если бы можно было, вы бы увидели пана Кремни, растянувшегося у ног моих от одного удара». Эти истины Гаркуша проповедует и во время порки пана Яцька. Насколько близким самому Нарезному было понимание несправедливости, насильственности крепостнического уклада, показывают рассыпанные по всей повести авторские рассуждения и реплики.

Реалистические тенденции Нарезного проявились в «Гаркуше» с наибольшей полнотой. Правда, и здесь еще до конца не преодолено морализирование, дидактизм, элементы книжной «чувствительности». Противоречивость мировоззрения Нарезного сказалась здесь и в том, что, сочувствуя Гаркуше, оправдывая его месть помещикам, он все же иногда говорит о нем как о «несчастном», «которого необразованная душа не могла привести в порядок ощущений, рожденных бурей страстей его». Чисто просветительским пониманием человеческой природы отличаются и другие рассуждения Нарезного. Так, в главе «Несчастный мечтатель» Нарезный говорит, что если бы Гаркуша при своих замечательных качествах оказался «в лучшем кругу общественном», то он был бы не «ужасным бичом»,

а «благотворителем смертных». И было бы неправильно утверждать, что Нарожный в своем сочувствии антикрепостнической борьбе крестьянских масс отличался радищевской последовательностью: он так и не поднялся от изображения фактов, избыточающих крепостнический гнет, до широкого политического обобщения порочности всей государственной системы.

При всех своих слабостях «Гаркуша» является одним из выдающихся антикрепостнических произведений в литературе о крестьянстве, созданных в первой трети XIX века. Попытка напечатать повесть в 1835 г. была пресечена цензурой. Только теперь она впервые публикуется.

До присущей Нарожному силы в отражении крестьянского протеста не поднялся ни один из писателей 20—30-х годов, представленных в этом сборнике. Однако сама проблема показа демократического героя в той или иной форме преломилась и в других помещенных здесь произведениях.

К числу первых из беллетристов, создавших в 20-е годы образы простых людей, относятся Погодин: о сильных и слабых сторонах его повести «Пищий» мы уже говорили выше. Эта повесть появилась в 1826 г., когда произведений о крепостных крестьянах было еще мало. Именно поэтому Белинский, упоминая «Ницего», отметил: «Народному направлению много способствовал г. Погодин». Тогда сама проблема изображения «простонародных героев» служила предметом литературных боев, и сочувствие у прогрессивных литераторов вызывала всякая интересная попытка такого рода. Антоний Погорельский, писатель-романтик, напечатал в 1825 г. фантастическую повесть «Лафертовская Маковница» (вошла впоследствии в его книгу «Двойник или мои вечера в Малороссии», 1828 г.). Занимательный сюжет, изображение быта простых людей, юмористическая трактовка фантастических мотивов «печистой силы» — все это сделало повесть заметным явлением в прозе того времени. Теплота и реалистическая верность изображению почталыона Онуфрича и его жены со всем их жизненным укладом — все это было новостью в беллетристике. «Чертовщина» не мешала в этой повести воплощению авторского замысла — осмеянию стяжательства и сребролюбия. Пушкин, прочитав «Лафертовскую Маковницу», писал в 1825 г. брату Льву Сергеевичу: «Душа моя, что за прелесть Бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр. Фал. Мурылкиным». История об Онуфриче и превращении черного кота в титулярного советника Аристарха Фалелсевича Мурылкина запомнилась Пушкину: в своей повести «Гробовщик» он сравнил будочника Юрко с почталыоном из «Лафертовской Маковницы».

В повести Погорельского социальной заостренности не было. Совсем иной характер носили образы демократических героев в творчестве Полевого. Белинский в рецензии на произведение Полевого, собранные под общим заголовком «Мечты и жизнь», в числе положительных сторон этого писателя отметил изображение «поэтической стороны наших простолюдинов».

Повесть «Клявописец» (1833) Полевой посвятил судьбе выходца из бедной чиновничьей среды, «ничтожного разnochинца» Аркадия Полевой

оказывает трагедию этого героя, обладавшего талантом и столкнувшегося с косностью и ничтожеством «света». Самая постановка темы о разблужившемся, с огромными трудностями пробивающем себе дорогу, была тогда злободневной, и поэтому ее подхватили и другие писатели («Живописец» Тимофеева, 1839; «Живописец» В. Одоевского, 1839, и др.). На близкую тему была написана Полевым и повесть «Аббадонна» (1834) о поэте Рейхенбахе, родившемся в мещанской семье и навсегда оставшемся для света «ничтожным мещанином». Проблему столкновения художника с светским обществом Полевой не смог, однако, осмыслить в широкой политической перспективе. Его герои противопоставляют «святое искусство» жизни, они не являются борцами. Повесть «Живописец» кончается религиозным смирением Аркадия.

В своих позднейших оценках Полевого Белинский пересмотрел свое прежнее мнение о его романтических повестях и осудил их абстрактно-идеалистическую мечтательность и натянутость. И если бы Полевой не создал ничего, кроме своих романтических повестей, то для советского читателя он как беллетрист не представлял бы никакого интереса.

Но в числе сочинений Полевого имеется произведение, которое резко выделяется в его творчестве своими реалистическими чертами. «Рассказы русского солдата», — писал Белинский, — это прелесть! В этой пьесе так много чувства, так много оригинальности и верности в изображении чувств и понятий простолюдинов, что с нею не может идти ни в какое сравнение ни одна повесть из простонародной жизни. Истина вымысла доведена в ней до совершенства». Повесть состоит из двух частей: «Крестьянин» и «Солдат». В первой части Полевой с глубоким сочувствием воспроизводит историю рядового русского крестьянина, его бесправную жизнь, нищее существование, о котором сам герой повести, Сидор, лаконично сказал: «Дома сидит у дверей голод и зубами пощелкивает». Просто и непосредственно воссоздает Полевой образ мысли, психологию, живую речь русского крестьянина. В повести нет той слезливости, которой отличались сентиментальные произведения о горестной судьбине «селянина». Несмотря на тяжелые испытания, Сидору свойственен неистощимый оптимизм, юмор, «здравый, простой ум, какой-то философско-комический взгляд на все в мире». Об исключительной жизненной стойкости русского крестьянства Сидор говорит: «Плохо было наше житье — нечего сказать, — а так много у человека есть способности веселиться его жизнью, что весь этот народ веселился, смеялся, боялся смерти и не хотел умирать, словно богач какой-нибудь».

Во второй части, повествующей о солдатской жизни Сидора, Полевой показывает, каким образом любовь к родине, гордость славы русского оружия помогают герою превозмочь все личные горести. Вложенный Полевым в уста Сидора рассказ о Суворове, о походах, о сражениях является одним из первых по времени опытов воссоздания этой героической эпохи от имени рядового солдата. Конечно, те черты патриархальной веры в царя и смиреномудрия, которыми наделен Сидор, не являлись безусловно та-

рактными для всей солдатской массы: война усилила и в ней чувство протеста. Но в повести эти черты даны вскользь и не входят в противоречие с обликом героя, поскольку они в той или иной степени все же были тогда свойственны патриархальному крестьянину.

В числе произведений, ставивших проблему демократического героя, находится и повесть Н. Ф. Павлова «Именины», вошедшая в его сборник «Три повести» (1835).

Появление этого сборника было заметным событием в литературе. Пушкин откликнулся на него рецензией, в которой писал: «Три повести» г. Павлова очень замечательны и имели успех вполне заслуженный. Они рассказаны с большим искусством, слогом, к которому не приучили нас наши записные романисты... Книга его принадлежит к числу тех, от которых, по выражению одной дамы, забываешь идти обедать». Гоголь сказал, что Павлов «первыми тремя повестями своими получил с первого раза право на почетное место между нашими прозаическими писателями». Белицкий заметил об «Именинах»: «В этой повести есть яркие проблески чувства, резкие черты характеров (особенно в главном персонаже), есть много истины в ситуациях». Но совершенно иной прием оказали «Трем повестям» правительственные круги. О выходе книги министр народного просвещения Уваров донос царю. В итоге цензору был сделан строгий выговор и последовало запрещение ее переиздавать.

В центре повести «Именины» — талантливый крепостной музыкант. Демонстративно подчеркивая социальную значимость этой темы, Павлов — сам выходец из среды крепостного крестьянства — отвечал на настоятельные потребности времени. Герой повести говорит о книгах, которые ему пришлось читать: «Жадно я хватался за книги; но удовлетворяя моему любопытству, они оскорбляли меня: они все говорили мне о других и никогда обо мне самом. Я видел в них картину всех нравов, всех страстей, всех лиц, всего, что движется и дышит, но нигде не встретил себя! Я был существо, исключенное из книжной переписи людей, нелюбопытное, незанимательное, которое не может внушить мысли, о котором нечего сказать и которого нельзя вспомнить...»

Герой повести возмущается своим униженным положением. Человек, по его утверждению, «везде равно достоин внимания». Единственным утешением была для героя музыка, но и служение искусству помещичье общество превращало в нечто унижительное. Музыкант для именитых любителей музыки — не более чем «машина, которая играет и поет, к которой во время игры и пения стоят лицом, а после поворачиваются спиной». Даже преимущество дарования для человека «низкого происхождения» превращается, таким образом, в источник страданий.

Павлов с психологической глубиной раскрывает переживания своего героя. Его любовь к девушке-дворянке, тема, столь благополучно разрешавшаяся в романтической литературе, здесь только лишь усиливает трагизм повествования. Герой покушается на убийство помещика, проигравшего его в карты. Любовь к дворянке в конце концов приводит крепостного музыканта к гибели.

Пушкин, признававший достоинства повести, отметил в ней «некоторые несообразности». Заключаются они, прежде всего, в непоследовательности проведения автором той идеи гражданского равенства, которая, казалось, выражает существо натуры крепостного музыканта. Эта идея настолько им владеет, что он испытывает полное удовлетворение, будучи приговоренным в солдаты: «С каким поэтическим трепетом увидел я в первый раз это поприще, где падают люди не по выбору, а кто попадет, где презрение к жизни может задушить человеческое лицепрятие и поставить первым того, кто стоял последний!..» А между тем этот же герой, став офицером, испытывает наслаждение от того, что сам может выказывать пренебрежение, от которого ранее страдал. Протест, выраженный в повести, несмотря на всю остроту сюжета, ограничен рамками индивидуалистических переживаний.

Если в повести «Именины» изображен крепостной, ставший офицером, то в повести «Ятаган» показана обратная ситуация: здесь перед нами дворянин-офицер, разжалованный в солдаты, переживающий все последствия этого своего превращения и убивающий своего оскорбителя полковника. Обличение в «Ятагане» жестоких прав николаевских начальников вызвало негодование царя. Общую же направленность «Трех повестей» не преминул отметить Ф. Булгарин, наметнувший в «Северной пчеле», что содержание этой книги связано с революционными идеями.

В дальнейшем Павлов не давал повода к подобного рода заключениям и оставался в пределах «благонамеренности» (исключением явились лишь одобренные Белинским четыре письма Павлова к Гоголю — ответ на «Выбранные места из переписки с друзьями»). Но для царского правительства Павлов остался крамольной личностью. Секретная характеристика Павлова, сохранившаяся в бумагах военного генерал-губернатора Москвы Закревского, даже в 1858 г. аттестует его как опасного человека, «корреспондента Герцена», «готового на все».¹

Показ социального антагонизма «верхов» и «низов», защита прав человеческой личности, критическое изображение общественного уклада того времени — все это являлось характерными чертами произведений, имевших в 20—30-х годах успех у прогрессивных читателей. Наличием этих особенностей и определялись оценки тех или иных писателей Белинским, самым ярким выразителем передового общественного мнения эпохи. Однако оценки Белинским достоинств художественных произведений никогда не ограничивались только лишь признанием заслуг того или иного автора. Великий критик оценивал литературные явления с позиций последовательной борьбы за реализм, за новый подъем демократической русской культуры, за преодоление в литературе остатков «старинья», непоследовательности, всякого рода идейной путаницы. Белинский неоднократно говорил о переходном характере этого времени, в котором столь причудливо сочеталось новое и старое. С исключительной верностью Белинский

¹ Архив Института русской литературы Академии наук СССР.

улавливал даже в творчестве прогрессивного по своей идейной направленности писателя черты, которые находились в противоречии с главной линией развития русской литературы.

Эти особенности оценок Белинского необходимо учитывать, знакомясь с его отзывами об одном из писателей, имевшем колоссальный успех в 30-е годы и подвергшемся обстоятельной критике Белинского, — о декабристе А. А. Бестужева-Марлинском.

В статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835) Белинский писал, что «Марлинский был первым нашим повествователем, был творцом, или, лучше сказать, зачинщиком русской повести». Белинский отдавал должное положительным сторонам творчества этого писателя. «Марлинский, — говорил он, — владеет неотъемлемым и заметным талантом, талантом рассказа, живого, остроумного, занимательного». Эти достоинства прозы Марлинского Белинский не отрицал и позже, в 1847 г., утверждая: «Марлинский был писатель не только с талантом, но и с замечательным талантом, не чуждым даже оригинальности и силы... Первые его повести и рассказы были необыкновенным явлением в русской литературе того времени. Они так не походили на прежние опыты в этом роде, так были новы, свежи...» И в то же время Белинский во всех своих отзывах утверждал, что в повестях Марлинского недостает истины жизни, «искусственное освещение борется с дневным светом», нет индивидуализации характеров, ибо все герои Марлинского на одно лицо, «сам их сочинитель не мог бы различить одно от другого даже по именам, а угадывал бы разве только по платью», что язык его изобилует внешними эффектами и украшениями. В отзывах Белинского о Марлинском есть интересная закономерность: чем выше поднималась слава Марлинского, чем многочисленнее становилось число его подражателей, тем резче критиковал его произведения Белинский. В этом сказалась великая забота критика о том, чтобы русская литература не отклонялась от борьбы за естественность, за верность действительности, за высокую художественную простоту. Как уже отмечалось нами выше, содержанием критики Белинским этого писателя была борьба против романтического метода во имя реализма. В статье 1840 г. о Марлинском Белинский говорит, что и «внешние таланты» подобного рода могут на известном этапе приносить пользу. «Только незаслуженная слава и преувеличенные похвалы вооружают против них, потому что свидетельствуют об испорченности вкуса публики». Подражатели же Марлинского «доходят до последней крайности, изображая диким и надутым языком разные сильные ощущения». Резкая критика Марлинского была жизненно необходимой, тем более, что иные литераторы славословили его как «Пушкина прозы».

В чем же основные достоинства и недостатки творчества Марлинского?

Об идейном содержании творчества Марлинского, о тех его сторонах, благодаря которым «Марлинский еще долго будет иметь читателей и почитателей», Белинский был вынужден писать очень скупо и лишь намеками («многие светлые мысли», «многогранная образованность», «блестящий ум» — все эти свои формулировки Белинский не имел возможности

раскрыть). Но в то время было большой смелостью говорить и эти общие слова о ссыльном декабристе, человеке, который был хорошо известен публике до декабрьского восстания как смелый, независимый писатель и критик Александр Бестужев, соратник Рыльева и издатель «Полярной звезды». С 1830 г. Бестужев как писатель пережил свое второе рождение. Будучи ссыльным солдатом, он нашел в себе силы и энергию для того, чтобы заниматься творчеством, и стал печатать свои повести под фамилией Марлинского, выступил в качестве литератора, прежде неизвестного публике. Но в передовых общественных кругах, конечно, знали, что за этим псевдонимом скрывается Бестужев, который для царского правительства оставался государственным преступником. Знал об этом, конечно, и Белинский. Этим объясняется скудость, осторожность приведенных выше его формулировок об идейном содержании творчества Марлинского, художественный метод которого он подверг суровой и справедливой критике с позиций реалистической эстетики.

«Светлые мысли», о которых, по политическим и цензурным обстоятельствам, Белинский не мог говорить, связаны глубокими корнями с мировоззрением Бестужева — одного из виднейших представителей передового литературного движения декабрьского периода. Высокий патриотизм, требование национальной самобытности, стремление создать образ свободолюбивого, независимого, благородного героя — эти черты, свойственные творчеству Александра Бестужева до декабрьской катастрофы, ощущаются и в повестях Марлинского 30-х годов.

Бестужев-Марлинский выступил в литературе как деятель прогрессивного романтизма. В своих литературных обзорах, печатавшихся в «Полярной звезде», он пропагандировал обращение к изображению в литературе характера русского народа и к национально-историческим темам, отстаивал гражданскую роль литературы, требовал народности в выборе тем и разработке литературного языка, обличал свойственное консервативным писателям подражание иноземному. Однако, когда Бестужев пытался претворить эти высокоидейные принципы в художественном творчестве, ограниченность романтического метода сильно снижала достоинства его произведений. Его исторические повести 20-х годов: «Роман и Ольга», «Изменник», «Замок Эйзен», «Ревельский турнир», своей общей направленностью соответствовали идеологическим устремлениям декабристов. В этих повестях в романтической форме выражено прославление свободы, отрицательное отношение к крепостничеству. В повести «Роман и Ольга», написанной на излюбленную декабристами тему древнего Новгорода, патриотические речи Романа, обращенные к «вольным местичам вольного Новгорода», являлись отражением декабристских чаяний. Герой ценит свободу и родину выше всего на свете, выше жизни. Глубоким патриотизмом проникнута повесть «Изменник», клеймящая предателя родины. В повести «Замок Эйзен» обличаются тевтонские «псы-рыцари», тираническое порабощение народа. В «Ревельском турнире» сатирически рисуются феодалы, желавшие «исключительно удержать за собой выгоды», которые они «бог знает почему» называли правами. Положительными героями яв-

ляются во всех этих повестях защитники справедливости и свободы. Но при положительных устремлениях Бестужева в этих его романтических повестях не было и не могло быть ни действительного историзма, ни реалистического изображения характеров. Исторические события являлись для Бестужева лишь поводом для политических аналогий с современностью, а в речах героев передавались мысли и переживания самого автора.

Такие же недостатки сказались в произведениях Бестужева 30-х годов. В них он ближе к жизни: мы видим в таких произведениях, как «Испытание», «Фрегат «Надежда», «Лейтенант Белозор», «Мореход Никитин» уже черты реальных людей. Но и здесь, по меткому выражению Белинского, «искусственное освещение борется с дневным светом», и здесь герои являются романтически однотипными, и здесь повествование портят мелодраматизм, нарочитая эффектность стиля, условность ситуаций.

В повестях 30-х годов Бестужев стремится создать положительный образ героя — патриота, ненавидящего и презирающего светское общество. Таков, например, капитан Правин в повести «Фрегат «Надежда». Обстановка, на фоне которой рисуется Правин, — это «бесхарактерный, ледяной свет, в котором под словом не дороешься мысли, как под орденами — сердца». Светское общество вызывает у Правина отвращение и потому, что он «не выносит тех гостиных, где от собачки до хозлина дома все нерусское и в паречии, и в приемах, где наши баре рассуждают, как была одета любовница Ротшильда на последнем рауте в Лондоне», «а если их спросят, чем живет Вологодская губерния, отвечают: «У меня нет там поместьев». Низкопоклонство аристократии обличается и в повести «Испытание». Устами Алены Бестужев говорит о том, «как несносны слепки парижского мира в России, где можно толковать только о том, чего у нас нет, и где половина общества не понимает, что сама говорит, а другая, что ей говорят: одна, поторопившись выучить привозное, как полугай, другая — опоздав учиться от застарелых предрассудков». Резкими чертами обрисован в «Испытании» «классический бал высшего общества», с самоуверенным пустословием щеголей во фраках и мундирах и ярмаркой невест.

Но и в повестях, которые Белинский считал лучшими повестями Бестужева, — «Испытании» и «Лейтенанте Белозоре» сказались все те же пороки романтического метода. В «Испытании» образ Гремينا, «энтузиаста всего высокого и благородного», не раскрыт, а сама интрига является неестественной и надуманной. В «Лейтенанте Белозоре» резко сказалось неумение Бестужева отделять типическое от нетипического. В образе Белозора Бестужев задумал показать одного из офицеров-патриотов, самоотверженно сражавшихся в 1812 г. Белозор — мужественный и храбрый моряк. Патриотическая гордость самого Бестужева чувствуется и в описаниях подвигов Белозора, и в его разговоре с подлым и глухим французом Монтань-Люссаком, который бахвалится мифическим превосходством наполеоновских войск, и в эпизоде с дерзким захватом русскими моряками французского судна. Хороши в повести беглые зарисовки матросов, кото-

рые ни в каких обстоятельствах не теряли бодрости и веселости, этого «ничем не угнетаемого качества русского народа». Но и в этой повести, говори словами Белинского, «искусственное освещение борется с дневным светом». Бестужев ввел сюда бьющее на романтический эффект приключение в Голландии — роман Белозора с дочерью купца. Пленившись красавицей, Белозор ведет себя так, как будто дело происходит не во время войны: «сколь ни горячий патриот был он, но редко всадала ему на ум горькая мысль, что французы идут в сердце отечества. — Нет, Русь не падет! — восклицал он, пылая, — Наполеон поскользнется в крови нашей! — и успокаивался... и оправдывал себя вопросом: что могу я сделать? Любовь обезмолвила, наконец, все прочие чувства». Так Бестужев ослабил характер своего героя романтическими неправдоподобными выдумками.

Писать Марлинскому приходилось в труднейших условиях. Тяжелая солдатская жизнь заполнялась непрестанной травлей его как декабриста. «О, если бы судьба дала мне, — писал он Полевому, — хоть один не отравленный людской злобой год, чтоб я мог попробовать крылья свои не спутанные в цепи! А то едва я попынулся было на деловую вещь (роман), судьба одела меня грозовою тучей». Изображая современную жизнь, ему приходилось в своих «светских» и других новостях пользоваться воспоминаниями о своих впечатлениях, полученных до заточения и ссылки. И характерно, что в тех случаях, когда Бестужев воспроизводил свои живые наблюдения, его повести были несравненно правдивее. Так, интересно и ярко преломилось в творчестве Бестужева непосредственное общение его с солдатской массой. Бестужев одним из первых ввел в литературу русских солдат, с глубокой симпатией показал их замечательные черты, любовь к родине, стойкость, героизм. Близкое соприкосновение Бестужева с народом сказывается в его интереснейшей повести «Мореход Никитин» — об архангельских рыбаках, захвативших в плен английское судно. С гордостью пишет здесь Бестужев о талантливости и мужестве русских мореходов, о том, как «русский мужичок-промышленник, мореход, на какой-нибудь щенке, на шитике, на карбасе, в кожаной байдаре, без компаса, без карт, с ломтем хлеба в кармане, плывал, хаживал на Гумант — так зовут они Новую Землю — в Камчатку из Охотска, в Америку из Камчатки... Послушайте, как он говорит про свои странствования, про которые бы французы и англичане и в песнях не пашелись и в колокола не назвоились». Главный герой повести Савелий Никитин в особенности выделяется своим бесстрашием и благородством в сопоставлении с английским капитаном Турнипом, который действовал «сообразно со своими угнетательными, корыстными, колониальными законами» и занимался пиратством. В образе Турнипа Бестужев раскрыл спесь и безудержную жадность английских колонизаторов, считающих все моря «своими столбовыми и проселочными дорогами».

«Мореход Никитин», наиболее живая и удачная из повестей Марлинского, показывает, в какой малой степени этот писатель использовал возможности своего таланта. Характерно, что здесь естественность описаний

повлекла за собою и естественность языка. В «Мореходе Никитине» в меньшей степени ощущается тот «бестужевский» цветистый, вычурный слог, который так портит другие его вещи.

Какого бы писателя ни взить, верность жизни, степень отражения современной действительности, ее существенных сторон определяют его историческое значение. Подтверждение этого незыблемого закона искусства мы находим и при ознакомлении с творчеством Владимира Федоровича Одоевского, автора «Пестрых сказок», повестей «Княжна Мими», «Княжна Зизи» и других значительных произведений.

Среди сочинений Одоевского имеются настолько различные по эстетическим принципам произведения, что, читая их, видишь не одного, а как бы двух различных художников. В повестях, обличающих мир пустых и ничтожных светских людей, пошлых чиновников, продажных крючкотворов, перед нами оригинальный и одаренный художник. Цель такого рода повестей Одоевского, по определению Белинского, заключалась в том, чтобы пробудить «отвращение к мертвой действительности, к пошлой прозе жизни и свитую тоску по той высокой действительности, идеал которой заключается в смелом, исполненном жизни, сознании человеческого достоинства». Здесь перед нами «живой, блестящий, веселый рассказчик», отличительные черты которого — «тонкая наблюдательность, игривый и заманчивый рассказ», «знание жизни и людей». Но стоит обратиться к его мистико-фантастическим рассказам, чтобы увидеть совсем иное: безжизненное содержание, надуманность сюжета, и отсюда — вялое, неинтересное повествование. Такова, например, мистическая повесть «Косморамы», где Одоевский воплощает характерную и для его других сочинений подобного рода идею «двоемирия»: в человеке борются «добро» и «зло». Преодолевая «зло», человек приходит к истине, рассудочно-прозаическое миропонимание должно быть побеждено стремлением к «высшему», стоящему над земными страстями идеалу. Таким образом, реальные противоречия жизни и их преодоление подменяются идеалистическими абстракциями. Отсюда и мертвенность образов — в частности, образа Софьи с ее «возвышенными», с точки зрения автора, а на самом деле пошлыми рассуждениями о смирении, загробном мире и т. д. К мистическим произведениям этого типа относятся «Сегелиель», «Сильфида» и др. В них с наибольшей резкостью проявилось влияние на Одоевского идеалистической философии, которой он увлекался сначала в период ученья в Московском университете, а затем в «Обществе Любомудров». Если бы это влияние в творчестве Одоевского было безраздельным, то его произведения не представляли бы интереса даже для историка литературы. Но одновременно в мировоззрении Одоевского зрели и другие тенденции. Он был вместе с тем горячим сторонником просвещения, наук и не стоял в стороне от прогрессивного общественно-литературного движения 20—30-х годов. Правда, склонность к идеалистической философии и эстетике осталась у него до конца жизни. И все же творчество Одоевского дает основание говорить о противоречивости его мировоззрения и наличии в его произведениях также отчетливо выраженных прогрессивных элементов.

Не будучи ни в какой степени сторонником революционных изменений существовавших порядков, возлагая все надежды на пресловутые «мирные преобразования», Одоевский все же отрицательно относился к крепостничеству, ненавидел «блестящую чернь гостиных» и страстно обличал современное ему «жалкое, гадкое и глушое общество». Этот критицизм и острая наблюдательность художника обусловили столкновение в его творчестве противоположных мотивов — реалистических и идеалистически-романтических. Дворянские основы мировоззрения Одоевского выразились и в том, как он решил конфликт художника и «света». В повестях «Последний квартет Бетховена» и «Себастьян Бах» этот конфликт отражен с подлинным трагизмом. Однако разрешение мучительных противоречий дано здесь в форме апологии искусства, которое якобы «возвышается» над жизнью: погружаясь в такое искусство, художник отрешается от «пошлой действительности» и постигает мир чистой гармонии. Впрочем, иногда Одоевский и сам понимал иллюзорность такого решения «проклятых вопросов». В повести «Силл фиде» общение героя с мечтательным «идеальным» миром признано сумасшествием, и после излечения герой превращается в обычного помещика.

Для Одоевского как художника безусловно немалое значение имели те критические указания, которые он получал от Пушкина и встречал в статьях Белинского. Пушкин уклонился от печатания в «Современнике» мистической повести «Сегельвель», сухо отозвался о «Сильфиде», но в «Княжне Зизи» одобрил «истину и занимательность». Белинский в ряде своих отзывов противопоставлял «мир идеальный» в творчестве Одоевского — миру реальному. В частности, в статье «О русской повести и повестях Гоголя» Белинский писал: «Одоевский поэт мира идеального, а не действительного. Но вот что странно: есть несколько фактов, которые не позволяют так решительно ограничить поприще его художественной деятельности. Есть в нашей литературе какой-то г. Безгласный и какой-то дедушка Ириней, люди совсем не идеальные, люди слишком глубоко проникнувшие в жизнь действительную и верно воспроизводящие ее в своих поэтических очерках: вы, верно, не забыли курьезной истории о том, как у почтового городничего города Ржева завелась в голове жаба и как уездный лекарь хотел ее вырезать, и не менее курьезной истории под названием «Княжна Мими» — этих двух верных картин нашего разнокалиберного общества?»¹

В этом отзыве особенно интересно одобрительное отношение Белинского к «Безгласному». «Безгласный» — псевдоним, под которым Одоевский издал свои «Пестрые сказки», рассказанные от имени Ириней Моде-

¹ К оценке «Княжны Мими» Белинский возвращается и в статье «Разделение поэзии на роды и виды». «Ее цель, — говорит он, — чисто нравственная: но эта цель высказывается в живых картинах, в увлекательном рассказе, в проникнутых чувством и одушевлением мыслях, а не в холодной аллегории». В другом месте Белинский сказал, что другая повесть, «Княжна Зизи», «читается с наслаждением». Характерно, что именно те произведения Одоевского, которые положительно оценивались Белинским, вызвали резкие нападки реакционных критиков в «Библиотеке для чтения».

стовича Гомозейки. С подписью «Безгласный» была напечатана и включенная в наш сборник «История о петухе, кошке и лягушке», высмеивающая мнительного городничего города Реженска (Белинский по памяти назвал этот город «Ржевом»). В произведениях этого рода Одоевский остроумно использовал фантастическую форму для сатирического изображения вполне реальных людей и их вполне реального поведения. В особенности «Пестрые сказки» оразили стремление Одоевского преодолеть свойственную ему идеалистическую отвлеченность и сквозь фантастику показать в резких чертах некоторые стороны «разнокалиберного общества». Среди «Пестрых сказок» одна из наиболее удачных — «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» — пародия на космополитическое воспитание дворянской молодежи. «Заморский басурманин» вырезает у русской девушки сердце и опускает его в экстракт, полученный из множества романов мадам Жанлис, Честерфильдовых имен, итальянских рюлад, дюжины контрдансов и английской нравственной философии. После этих манипуляций сердце «вклеили в свое место», и русская девушка превратилась в куклу, она может произносить только заученные светские фразы и оказывается ни к чему не приспособленной.

Этой же теме воспитания на чужой манер посвящена повесть «Черная перчатка». В образе англизированного помещика Акинфия Васильевича имеются некоторые общие черты с Муромским из пушкинской «Барышни-крестьянки». Одоевский показывает, что Акинфий Васильевич дал своим питомцам воспитание по особой системе, представлявшей смесь «Бентама, Томсона, Палея и других английских авторов». Она превращала человека в машину, а все порывы чувства и воображение заменяла принципом «пользы». В результате этого воспитания жизнь молодых людей была испорчена. Интересно отметить, что, преклоняясь перед буржуазной «английской односторонностью», Акинфий Васильевич ненавидел Байрона, «потому что Байрон проклял Англию, которая для Акинфия Васильевича, вместе с его системой, была образцом совершенства».

Но самыми сильными повестями Одоевского являются, конечно, «Княжна Мими» и «Княжна Зизи». Княжна Мими — это отвратительный образ старой девы, в поведении которой как бы сконцентрировались все пороки светского общества, злоба, лицемерие, страсть к сплетням и клевете. Ненависть ко всему чистому, свободному от этих пороков, заставляет ее доводить до гибели ни в чем не повинных молодых людей. Для Одоевского образ княжны Мими был важен не сам по себе, а как воплощение в ней типических особенностей «насквозь прогнившего общества салонов», которое «ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести». Общество это породило княжну Мими и помогает ей строить козни. Повесть продолжает некоторые мотивы грибоедовского «Горя от ума» (на них в тексте имеются ссылки).

Другая повесть Одоевского, «Княжна Зизи», связана с острой для того времени проблемой положения женщины в свете. В образе княжны Зизи он хотел показать положительный тип русской женщины, с ее чистой душевными стремлениями, обаянием духовных порывов, самоотвержен-

ностью и благородством. Княжна Зизи воспитана на русской литературе, она любит Пушкина, она полна желания «жить, действовать». Зизи проницательно относится к «размазне» Радецкому, принявшему позу Чайльд Гарольда (вспомним, что столь же отрицательно изобразил Одоевский в «Черной перчатке» Воротынского с его философией «мировой скорби»). Интересен в повести и образ Городкова, близкий грибоедовскому Молчалину. Противопоставляя этим образам княжну Зизи, Одоевский, однако, ограничивает сферу ее действия домашним кругом, подтверждая эпиграф к повести: «Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном поприще жизни». Несмотря на эту ограниченность, сама постановка вопроса о положении женщины была в условиях того времени актуальной.

Представлены в настоящем сборнике и произведения Одоевского, где сочувственно изображены героини из демократической среды — «Живописец» и «Катя или история воспитанницы» (отрывок из романа). Эти произведения не имеют такой яркой социальной окраски, как, например, «Именины» Павлова, но, тем не менее, дополняют общую картину разработки в литературе проблемы нового героя — разночинца.

В творчестве Одоевского немалое место занимает тема разоблачения буржуазного Запада и критики капитализма. Появление этой темы (которая нашла свое развитие в повестях 30—40-х годов, объединенных в 1844 г. под заглавием «Русские ночи») в творчестве Одоевского говорит о его необычайной чуткости как художника. Здесь он снова осуждает бентамовский принцип «пользы» (пагубные результаты которого он пытался показать в «Черной перчатке»), ужасы буржуазно-капиталистической тирании, мальтузианскую теорию вырождения. Символическую картину буржуазного развития Одоевский нарисовал в «Городе без имени»: это развитие в конечном счете приводит к войнам, всеобщему разложению и одичанию. Но, во многом верно критикуя капитализм, Одоевский не видел никакого выхода для человечества и скатывался на позиции реакционной утопии и дворянского реставраторства. В его утопической повести «4838 год» Россия рисуется Одоевскому все такой же самодержавной монархией, какой она была несколько тысяч лет назад. А в упомянутом выше «Городе без имени» рабочие и земледельцы, выступавшие против богачей, представляют собою лишь разрушительную силу. Этим резко снижается значение антикапиталистических произведений Одоевского. Белинский, соглашаясь с критикой Одоевским «банкирского феодализма» — капиталистических порядков, — резко отвергал выводы, которые писатель делал из своей критики.

* * *

Произведения, напечатанные в этом сборнике, свидетельствуют о том, какой богатой и разнообразной была русская проза и как в борьбе различных направлений крепились и развивались идеи реализма. Самый круг представленных здесь тем отражает разные стороны русской действитель-

ности, жизнь различных классов и сословий. Проза 20—30-х годов в своих лучших образцах предшествовала «натуральной школе» 40-х годов как окончательно сформировавшемуся широкому реалистическому направлению.

На материале творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя разработал Беллинский свою идейно-эстетическую программу русского реализма. Но немало внимания уделил он и анализу других писателей этого времени, решая также при разборе их произведений вопросы о путях развития русской литературы.

В том, что единственно верным путем могла быть только борьба за национальную самобытность, за реализм, за приближение к народной жизни, и убеждают произведения, помещенные в этом сборнике.

Б. Мейлах.

В. Т. Нарезный

1780 ~ 1825

**ДВА ИВАНА
ИЛИ СТРАСТЬ К ТЯЖБАМ**



**ГАРКУША,
МАЛОРОССИЙСКИЙ
РАЗБОЙНИК**



ДВА ИВАНА ИЛИ СТРАСТЬ К ТЯЖБАМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Полтавские философы

Ужасная гроза свирепствовала на летнем полуденном небе; сияющие огни молнии раздирали клубящиеся тучи железные; рыкающие грома приводили в оцепенение все живущее в природе; неукротимые порывы вихря ознаменовали путь свой по земле рвами глубокими, от чего взлетало на воздух все растущее, начиная от низменной травки до возвышенного тополя, и проливной дождь в крупных каплях с быстротою стрел сыпался из туч, подмывал корни древесные и тем облегчал усилие вихря низвергать их на землю.

В сие время, и подлинно невеселое, два молодые странствующие философа из Полтавской семинарии, исчерпав в том храме весь кладезь мудрости и быв выпущены на свою волю, пробирались по глинистой дороге сквозь лес дремучий. Почти на каждом шаге они останавливались, чтобы или закрыть руками глаза, ослепляемые блеском молнии, или заткнуть уши, оглушаемые разрывами грома, или смыть со щек и выжать с усов жидкую грязь, со шляп струившуюся.

— Вот настоящий Девкалионов потоп, — сказал один из философов: — для чего здесь такое множество бесполезных для нас больших деревьев, а не видать ни одной глубокой труппы, где бы можно было осушить и обогреть кости? Как же неразумны были мы, любезный друг Коронат, что не послушались благих советов миргородского протопопа, уговаривавшего нас остаться у него на ночь!

— Твоя правда, друг мой Никанор, — отвечал другой: — протопоп не напрасно предсказывал грозу и бурю; но ты во всем

виноват. Тебя никак нельзя было уговорить, чтобы остаться и в безопасном убежище петь псалмы и стихиры и принимать рукоплескания.

— Твоя правда, — отвечал первый с возвышенным лицом: — но мне хотелось, если не к ночи сегодня, то по крайней мере завтра поутру обнять своих родителей, с коими я не видался целые десять лет.

— И я столько же времени лишен был сего удовольствия, — отвечал Коронат: — однако согласился бы еще столько же времени быть лишенным оною, чем сегодня достаться на ужин какому-нибудь волку или медведю!

Таким образом рассуждая то вслух, то про себя, наши молодые бедняки продолжали тягостный путь свой. Вдруг остановился Никанор, вздвинул шляпу на макушу, сложил персты правой руки наподобие зрительной трубки и, приставя к глазу, начал куда-то присматриваться. Коронат хотя не знал, что такое затеял друг его, однако принял такое же положение и глядел туда и сюда, смотря по оборотам головы Никаноровой. Наконец сей последний радостно надвинул шляпу на брови и, схватив приятеля за руку, сказал вполголоса:

— Ну, слава богу! Посмотри сюда, вот прямо против моего пальца, — что видишь ты?

— Ах, — отвечал тот, — я вижу сажень в десяти от дороги на небольшой лужайке стоящую кибитку с опущенною пынкою.

— Так! — продолжал Никанор: — а замечаешь ли, что под кибиткой лежит на траве нечто весьма толстое, покрытое черным войлоком?

— Точно! Это, наверное, хозяин укрывается от непогоды; вот недалеке и пара коней, привязанных к осине.

— Пойдем же туда и усядемся по сторонам сего многоопытного Улисса, не ходящего, подобно нам, под дождем по уши в грязи, а всегда имеющего при себе священный эгид Минервин, то есть свою кибитку.

— Хорошо! Пусть это будет сам леший, то и он не поступит с нами хуже теперешнего. Пойдем!

Путники, увещевая один другого быть неробкими, начали пробираться меж деревьями к вождленному пристанищу. Дорогоу Никанор молвил:

— Однако, дружище, кто бы ни был лежащий под войлоком, а нам не надобно перед ним бесчестить шляхетского своего звания. Посмотри-ка на меня пристальнее: на кого похож я?

— На того окаянного, — отвечал Коронат, — который, вопия под ударами огненного меча архангела Михаила, клубится по земле у ног его.

— То-то же! И ты, как две капли воды, похож на того же ратоборца с нетопырьими крыльями.

— Как же быть? Мы не скоро можем опять походить на людей.

— А вот что: если незнакомец будет любопытен и захочет знать, кто мы, куда и откуда, то скажем, что мы дьячковские дети из Полтавы; что, пользуясь вакантными днями, расхаживаем по полям и лесам, по городам, хуторам и селам, поем православным душеполезные стихеры и говорим речи: сим средством стараемся собрать столько денег, чтоб по возвращении в дома можно было одеться в новое платье.

— Щегольская выдумка!

— Пойдем же.

Не говоря ни слова, притаивая дыхание, они пошли далее, достигли вскоре своего эгида, сколь возможно тише уселись под оным, сняли шляпы и начали полегоньку щипать траву и вытирать ею лица свои. Вскоре дождь и вихрь поутихли, тучи мало-помалу рассеивались и летели к востоку. На западном небе начало просиявать багровое чело солнцево, готовящееся вскоре опочить за пределами нашего небосклона.

ГЛАВА II

Нечаянная встреча

Тут философы увидели, что войлок пошевелился, послышалась сильная зевота, и медленно две ноги показались; сейчас послышался басистый голос: «Ну, что ты?» — и еще две ноги выставились.

Мои студенты всполошились, да и не диво: всякая нечаянность приводит нас в недоумение, а недоумение рождает боязливость, отсутствие духа и делает не способными ни к чему путному. Однакож надобно отдать справедливость, что ученые витязи недолго пробыли в мучительной нерешимости; они отважно взглянули один на другого, придвинули к себе страннические посохи, похожие на булаву Геркулесову, и Никанор пошептал что-то на ухо своему сопутнику. Они погладили чубы, раздвинули усы, раздули щеки, открыли рты и с величайшею отвагою возопили:

— Заблудих, яко овча погибшая; погна враг душу мою; посади мя в темных, и уны во мне дух мой!

В продолжение сего сладкогласия войлок шевелился, и по движению его приметно было, что скрывающиеся храбрецы усердно крестились, а сие немало ободрило студентов, ибо они

удостоверились, что слушатели их не лешие и не вовкулаки.¹ Чтобы себя более показать и задобрить хозяев кибитки, полтавские Амфионы смигнулись, раздули щеки пуще прежнего и с ужасным громом заревели:

— Отыргнут устне мои пение, провещает язык мой словеса твоя.

— С нами крестная сила! Что за бесовщина! — раздались голоса из-под войлока; они быстро открылись до половины, и двое пожилых мужчин, приподнявшись, уселись против студентов; закатывающееся солнце багряными лучами освещало лица сих последних, испещренные засыхающею грязью. Разумеется, что с появлением грозных восклицателей отважные певчие взглянули на них хотя без робости, однако и не без замешательства, опустили взоры в землю и сжали губы.

Хозяева кибитки и по самой наружности, казалось, были люди степенные и не простые. Они одеты были в синие черкески, и у одного висела при боку ужасная сабля, а другой имел за поясом кожаный футляр, в каких обыкновенно приказные грамоты носят свинцовую чернильницу, несколько перьев, ножик с приделанною к нему печатью и палку сургуча. Они захотели знать о житье-бытье гостей своих, о их роде и племени, и друзья удовлетворили их желание по сделанному прежде условию. Тут человек при сабле, положи сей признак своего рыцарства к себе на колени, воззвал:

— Если вы и впрямь честные парни и ничем другим не защищаете себя от голода и холода, как только одним распеваньем душеполезных стихер, то я могу вас поздравить с находкою. Вы видите в нас двух из первостатейных шляхтичей в большом селении, за пятнадцать верст отсюда лежащем. Оно называется село Горбыли. От самых отроческих лет до полуседых усов мы были друзья и надеемся, что останемся друзьями до опущения в могилы. Мы оба называемся Иванами, а для различия нас в посторонних беседах с некоторого времени стали называть меня Иваном старшим, а друга моего — Иваном младшим. Послезавтра настанет в селе нашем великий всеобщий праздник, именно, ярмарка по случаю дня Ивана Купала,² а в домах наших не меньше радостный праздник, потому что мы оба именинники и в тот день торжествуем на выказку. Если вы согласитесь погостить в домах наших несколько дней и повеселить нас и друзей наших пением и сказыванием похвальных речей, на

¹ По суевенному преданию, сим именем называются оборотни, имеющие туловище волчье и бегающие на шести руках и стольких же ногах людских.

² Так называется праздник Иоанна Крестителя, торжествуемый 24 июня. Он и поныне сопровождается многими суевенными обрядами, оставшимися от древних времен.

что весьма удалы вообще все церковники, то уверяю мою шляхетскою честью, что итти далее и драть горло вы не будете иметь надобности, ибо я одену вас с ног до головы в новые платья.

— А я, — прервал слова его человек с кожаным футляром, — наделю на дорогу всеми житейскими припасами, коих достанет до самой Полтавы, а сверх того в карманах ваших звенеть будет по нескольку золотых. Как же это кстати! В селе Горбылях есть довольно панов Иванов, кои также в именины свои захотят повеселиться и потешить других; у них, конечно, — благодаря ярмарке, — запляшут медведи, зазвонят цимбалы и загудят гудки, в чем и у нас недостатка не будет; но вдобавок в светелках наших раздастся сладкое песнопение, чем уже им похвастаться не удастся. Итак, студенты, если вам нравится наше предложение и вы хотите, чтобы мы устояли в своем шляхетском слове, то дайте обещание, что не прельститесь никакими обещаниями других панов и, что бы они вам ни обещали, не заглядывайте на дворы их и перед их окнами даже ртов не разинете. Что вы на это скажете?

Студенты пришли в немалое замешательство, посматривали на шляхтичей, друг на друга и не знали, что отвечать. Однакож Никанор, первый одумавшись, с видом чистосердечия произнес:

— Почтенные паны! Ваши ласковые слова стоят, чтоб и мы были с вами откровенны. Не скроем от вас, что хотя мы теперь, по изволению разъяренных стихий, ходим более на оборотней, чем на создание божие, однако было бы вам известно, что оба принадлежим к сословию благородного шляхетства, и хотя родители наши не могут назваться богачами, но и не бедны, и мы оба, проживши в Полтаве по десяти лет, не имели нужды ни в пище, ни в одежде, ни в пристанище. Конечно, приятно было бы для нас после столь продолжительной отлучки явиться в дома отцовские в новой одежде и с деньгами, чем мы самим себе были бы обязаны; но и того весьма не хочется, чтобы провести не у них наступающий праздник, ибо наши отцы называются Иванами, и ко дню тезоименитств их изготовлены у нас прекрасные кантаты и похвальные речи.

Шляхтичи посмотрели один на другого с недоумением, и взоры их просияли.

— Когда так! — вскричал Иван старший: — как имена ваши, как прозываются родители и где их жительство?

— Когда мы отправляемы были в Полтаву, — отвечал Никанор, — то они жили в хуторах своих, расположенных на небольшой безыменной речке, впадающей в реку Псел, невдалеке от села Горбылей; меня зовут Никанором, а отца моего Иваном Зубарем.

— А я, — подхватил другой, — называюсь Коронатом, а отца моего зовут Иваном Хмарою.

— О вы, святые угодники киевские! О всеблагаямати ахтырская! — вскричали в один голос два Ивана и вскочили на ноги.

Студенты, не зная сами для чего, то же сделали; тут старики повисли на их шеях, и обильные слезы заструились по щекам их.

— Возможно ли! — возопил, всхлипывая, один Иван: — и сердце твое, сын мой, ничего тебе не сказало при первом на меня взгляде?

— Как это случилось, — говорил сквозь зубы другой Иван, — что я не узнал тебя, мой любезный сын?

Юноши стояли сначала неподвижно; но вскоре нежность родителей, их ласки и приветствия разлили в сердцах детей сладостное чувство любви и благодарности; глаза их померкли от выступивших слез, и они в безмолвии лобызали щеки и обнимали колени отеческие.

ГЛАВА III

Начало тяжбы

— Каким образом это случилось, — воззвал Иван старший, — что вы прежде положенного срока здесь очутились? Мы торжественно условились с начальством семинарии, что не прежде вас обоих возьмем в свои дома, как по истечении полных двенадцати лет вашего там пребывания; а срок сей исполнится еще через два года.

— Мы кончили курс философии в продолжение десяти лет; нам нечего уже было там делать; и чтобы мы попустому не тратили времени, начальство исключило нас из списков.

— Хорошо, — сказал Иван старший: — итак, нам ничего нельзя сделать лучшего, как поворотить оглобли назад и порадовать прибытием вашим свой семейства.

— И впрямь так, — заметил Иван младший: — оставим покудова судей в покое, и пусть виноватые без остановки и помешательства отпразднуют дни ярмарочные. Ведь этого никто не назовет трусостью?

— Сохрани от того бог всякого, кто на сей грех покусится! — вскричал Иван старший: — он навлечет тем на себя новую и самую упорную тяжбу.

— Тяжбу? — воскликнули оба студента. — Неужели и под мирными сельскими кровлями может обитать тяжба, это истое порождение ада?

— Не только под нашими соломенными крышами укрывается сие адское чадо, — отвечал Иван младший, — но оно там угнездилось, породило чад и внучат и не выродится до дня страшного суда. О нашей тяжбе я расскажу вам в свое время, в надежде, что вы, как благодарные дети, и притом и шляхтичи, примете в сем деле живое участие.

В силу последовавшего сошествия все принялись за работу: один Иван впрягал лошадей, другой выжимал воду из цыновки, закрывавшей кибитку; студенты обивали грязь с колес и боков ее и так далее. Когда все было готово, то отцы уселись на козлах, сыновья на облучках, и, перекрестясь, пустились в путь, в продолжение коего им не встретилось уже никакого препятствия.

В самые сумерки въехали они в селение и остановились на дворе Ивана младшего. На ту пору и семейство Ивана старшего было там же, и когда матери горевали о злой участи всех позывающихся,¹ а бывшую ужасную непогоду приписывали праведному наказанию неба за неправо дело их супругов, вдруг ввалились они в светелку с двумя спутниками. Как скоро узнали все, кто сии последние, то поднялись радостные восклицания и взаимные объятия. Остаток вечера и часть ночи прошли в мирном веселии, и о тяжбе не упомянуто ни одним словом. Иван старший, уходя домой с своим семейством, пригласил к себе на весь следующий день Ивана меньшого с родством его и нужными для прислуги домочадцами. Вследствие сего приглашения Иван младший со всем семейством и прибыл в дом Ивана старшего.

По окончании сельского обеда в саду под развесистою яблонью студенты пропели уставом благодарственную песнь, и оба семейства расположились на траве зеленой. Иван младший, обратясь к обоим ученым, сказал:

— Я обещал вам рассказать о начале и продолжении нашей тяжбы, такой упорной, непримиримой, какой от присоединения Малой России к Великой, чему уже минуло более семидесяти лет, в здешнем краю никто не запомнит. Слушайте.

— Лет около десяти перед сим мы, оба Ивана, покойно жили в хуторах своих, занимаясь в простые дни сельским хозяйством, а праздничные проводя за горшками варенухи в диспутах философских; ибо, да будет вам известно, мы не хуже в свое время отличались в селе Горбылях на крылосе, как и странствующие студенты Переяславской семинарии.

Муж твоей тетки, Никанор, в сказанное время подарил меньшому брату твоему, пятилетнему мальчику, пару кроликов.

¹ Позываться есть техническое слово и значит: судиться, тягаться.

Ему дозволено было поместить их в избушке, на конце сада находившейся и служившей для складки садовых и огородных орудий. Зверьки начали плодиться, и в течение года с небольшим явилось их маленькое стадо. По прошествии нескольких весенних недель, когда оба наши семейства, в послеобеденное время сидя под цветущими вишневыми и сливными деревьями, слушали рассказы Ивана старшего о военных его подвигах и на досуге высчитывали количество будущих плодов, раздавшийся мгновенно ружейный выстрел привел всех в содрогание; однако мы скоро оправились, вскочили и подбежали к плетневому забору, разделявшему оба сада. Тут опять последовал выстрел, и мы вскоре увидели, что прямо к нам бежит куча кроликов, один без ноги, другой без уха, третий без зубов, все облитые кровью. Брат твой поднял вопль: «Мои кролики!», и тут же показался сосед Ивана, шляхтич Харитон Заноза, с ружьем в руках, а за ним следовал пятилетний сын его Влас, неся в руках с полдюжины убитых кроликов. Кто опишет меру нашего негодования и гнева!

— Что за храбрость оказал ты, пан Харитон, — вскричал друг мой Иван, — и как ты осмелился так бунить?

Сосед, не скидывая колпака, — а надо знать, что мы оба были с открытыми головами, — подошел к самому забору, сказал:

— На сегодняшний ужин дичины довольно; и я сказываю тебе, пан Иван, что если не переведешь сих проклятых животных, которые, поделав норы из твоего убежища в мой сад, произвели в нем множество опустошений молодым деревьям и растениям, то я вскорости всех их доконаю, а сверх того стану с тобою позываться.

— Ах ты, невежа, бурлак! И ты осмелился говорить это военному человеку, не скинув колпака! — вскричал друг мой Иван, с быстротой ветра выдернул кол из забора, взмахнул — и колпак взвился на воздух. Но как это сделано второпях, то кол как-то задел соседа по уху, оттоле соскочил на висок, сосед полетел на траву, сын его поднял вопль, и мы с торжеством воротились каждый в дом свой.

Вот основа тяжбы. Начались следствия, переисследования, и день ото дня дело наше становилось запутаннее. Я, будучи человек приказный, помогал другу своему советами и пером, а за то и самого меня опутали сетью неразрывною; а он, не хотя остаться в накладе, за всякое зло, делаемое паном Харитоном, отплачивал настоящею пакостью, и таким образом во всегдашнем ратоборстве протекло около десяти лет. В течение сего времени с нашей стороны погублены: целое стадо гусей, уток, множество свиней, овец, коз и баранов; зато и у пана Харитона убыло: три пары рабочих волов, две лошади и несколько коров

с телянками. Но это мелочи! Харитон сжег у меня гумно, а мы выжгли у него целое поле с созревшим хлебом; он подкопал у нас водяную мельницу, а мы сожгли у него две ветряных. Но кто исчислит все убытки, кои одна сторона другой причинила? Чтобы успешнее действовать в свою пользу, мы переселились в село Горбыли, и пан Харитон, смекнув о нашем умысле, тому же последовал и живет теперь здесь на другом краю селения. Сегодня мы пустились было в Миргород кое с чем, чтобы понаведаться о своем деле и попросить; но вышло иначе, и мы очень обязаны бывшей грозе, остановившей нас в лесу: иначе мы бы разминулись.

ГЛАВА IV

Ярмарка

На другой день ярмарка открылась. Далеко от места ее расположения слышны были звуки гудков, вольнок и димбалов; присоединя к сему ржание коней, мычание быков, бляение овец и лай собак, можно иметь понятие о том веселии, какое ожидало там всякого. В сей день оба дружеские семейства обедали опять у Ивана старшего со множеством союзных панов и полупанов.¹ Дети и жены приступили к старикам своим с просьбами о дозволении участвовать в общем веселии, и Иван старший послал слугу осведомиться, нет ли там ненавистного пана Харитона, с которым они решились нигде не встречаться, кроме миргородской сотенной канцелярии; и как скоро было объявлено, что пана Занозы не видно, то все людство отправилось к месту праздника, приказав для большей пышности следовать за собой слугам и служанкам, кои все были в нарядных платьях и хотя босы, но для такого великого дня чисто-начисто вымыли ноги.

Уже посетители наши обошли несколько раз вдоль и вокруг ярмарочной площади; уже оба Ивана и некоторые из сопутников запаслись батуриным табаком; уже супруги их в обеих руках держали по коробочке с шелками, иголками и булавками; уже на руках дочерей блистали серебряные перстни, как вдруг, при вступлении в главную улицу, показался Харитон со всеми домашними и множеством гостей обоего пола, в числе коих отличались — о ужас! — сотенной канцелярии писец Анурий и с ним два подписчика. Куда деваться панам Иванам! Младший намеревался было обратиться в бегство, но старший вскричал:

¹ Так называется шляхетство, не имеющее во владении крестьян.

— Что ты? Чего испугался? Разве не здесь я и не при сабле? Смотри, как я храбро выступать стану!

Иван младший устыдился своей трусости, поправил шляпу, прикрутил усы и хотя с бьющимся сердцем, но с наружным хладнокровием шествовал вослед своего друга. Скоро витязи сошлись. Задорный Заноза, обратясь к своим гостям, сказал с коварною усмешкою:

— Какое же множество здесь овец и баранов!

Иван младший толкнул под бок старшего, и сей, выпуча глаза, сказал значительно:

— А я вижу одну только злую собаку, окруженную пастьями-наемниками!

Оба сборища остановились, и пан Заноза, подошед избоченья к пану Ивану, произнес:

— Эта собака кого-нибудь укусит больно!

— А дубина на что?

— Дубиной ничего не сделаешь, как скоро кто-нибудь запустит когти в чей-нибудь чуб!

— Можно вырвать или отрубить когти!

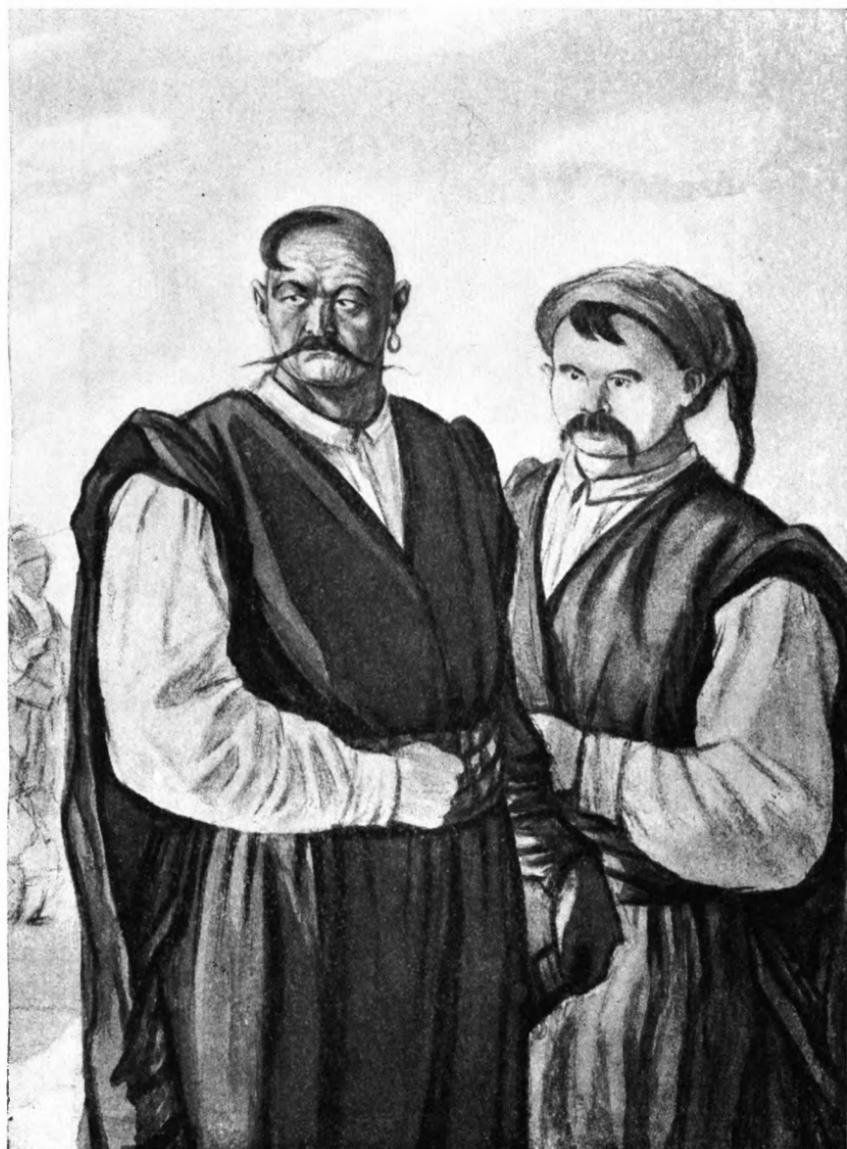
— А если кто-нибудь заблаговременно переломает кому-нибудь руки?

— Плюю на всякого *кого-нибудь!*

С сим словом Иван старший плюнул, но так неосторожно, что слюни вlepились прямо в лоб пана Харитона. Всех оъял ужас, а женщины болезненно возопили. Иван старший сам оробел, однако, приосанясь, сделал шаг вперед; но опять остановился, увидя поднимающуюся в руке палку. Она взвилась на воздухе и, подобно стреле молнийной, ниспустилась на голову Ивана старшего, и с такою силою, что шляпа, осунувшись, закрыла все лицо пораженного. Пан Харитон хотел было нанести вторичный удар; но усердный друг, на сие время из мягкосердечного теленка сделавшийся сердитым вепрем, так ловко огрел своим кием по руке забияку, что палка полетела на землю и рука опустилась. Однако упрямый пан Заноза размышлял недолго; он схватился за эфес сабли, но сметливый писец Анурий и оба подписчика поймали его за руки, завернули их за спину, и первый воззвал:

— Пан Харитон! Какая польза, следовательно, какая и честь, что ты прольешь кровь человеческую? Кроме убытков, горя и, наконец, несчастья, от этого ничего не будет! Не лучше ли тебе позываться? Я с сею челядью моих подписчиков переночую у тебя, а завтра или послезавтра настрою прошение в сотенную канцелярию, и все вместе пустимся в город.

Пан Харитон в знак согласия с мыслями такой знаменитой особы, какова была писец сотенной канцелярии, кивнул головою и кинул свирепый взор на обоих Иванов, не удо-



стоив их ни одним словом. Рукам его дана была свобода, и он потек в обратный путь.

— Что? — спросил велегласно Иван старший, — каково поступил я с нахалом?

— Ох! — отвечал младший, — если бы не мой кий, то макуше твоей не сдобровать бы!

Тут согласились они отправиться к Ивану младшему и у него провести вечер, ибо он также в сей день был именинник, да и звук музыки был в доме его слышнее, чем в доме Ивана старшего.

ГЛАВА V

Две сестры

Всем известно, что в послеобеденное время желудок, наполняя себя пищею, разливает по каждому суставу тела человеческого какую-то лень и непреодолимую наклонность к дремоте, даже к бездействию. Чем же от сих супостатов избавляются люди? Англичане — пуншем, французы — шампанским, немцы — глинтвейном, а малороссияне — варенухою.¹

Когда ланиты у панов покраснели как маков цвет и табачный дым за клубился вокруг каждого, то женщины, девицы и дети удалились в противную сторону сада — лакомиться вишнями, сливами, клубникой и малиной, а остались одни друзья с возрастными сыновьями, из числа коих Никанор и Коронат, яко философы, пособляли отцам своим и друзьям их осушивать корчаги с напитком и распространять круги табачные.

Когда у всех собеседников сердца разнежались, то Никанор воззвал:

— Батюшка! Скажи, пожалуй, кто те две прелестные девушки в полосатых платьях, которые упали на руки жены Харитоновой, когда сей людоед поразил тебя дубиной по макуше?

У пана Ивана старшего наморщилось чело; он возвел глаза на небо, потом на сына Никанора и спросил, не делая точного вопроса:

— Прелестные девицы? И эти ведьмы могли показаться ему прелестными! О Никанор! О сын мой первородный! Если осмелишься впредь произнести в доме моем ненавистные имена! Харитона, жены его Анфизы, сына Власа и дочерей Райсы и Лидии, то прошу мой дом считать чужим. Я один с другом моим Иваном, оказавшим незадолго перед сим удаление свое противу

¹ В изданной мною книжке под названием «Аристион» объяснено, из чего составляется сей напиток.

чаяния, и с помощью сына его Короната стану продолжать тяжбу и надеюсь доказать, что плюнуть кому бы то ни было в лицо есть нечто совсем другое, чем быть поражену от него дубиной по лбу.

— Итак, батюшка! — вступил в речь Коронат, — Лидиею называется младшая сестра? Ах! Какое прекрасное, пленительное имя.

— И ты туда же? — вскричал Иван младший. — Разве не слышал ты, что они дочери Харитоновы!

— Разве между кустами крапивы не растет фиалка? — сказал вспыльчиво Никанор, и отец отвечал:

— Конечно, растет; но попытайся сорвать ее, ан больно обожжешь руку. Оставим лишние вздоры; вы оба, наши дети, люди ученые, а потому и умные. Через два дня ярмарка окончится, настанут дни судебные; вы оба и весь народ были свидетелями бесчестия, нам оказанного, и потому надеемся, что найдем в вас достойных сыновей, способных участвовать в наших позываньях.

С сего времени оба друга Ивана не посещали уже ярмарочного места, но зато семейства их не отказывались от удовольствия смотреть на других и себя казать; особливо студенты отличались. Для сих торжественных дней они одеты были в новые платья, в которых, разгуливая с важностью Аристотеля и Платона, для большей силы вели диспут на латинском языке, кричали громко, топали ногами и размахивали руками, так что народ с равным любопытством смотрел на них, как и на кривляющихся обезьян и пляшущих медведей; встречавшиеся с ними останавливались и с почтением снимали шляпы.

В последний день праздника, когда Никанор и Коронат, протеснясь к машкарам,¹ любовались их скачками, они приятно удивлены были, увидя подле себя жену и обеих дочерей пана Харитона. Чтобы показать, что, прожив в Полтаве по десяти лет, не напрасно тратили время, они сняли шляпы и учтиво господам поклонились. Анфиза отплатила им равною учтивостью, а девицы потупили взор в землю, и все три покраснелись.

Никанор, будучи от природы поудалее Короната, с ухваткою городского щеголя закрутя усы и подступя к Анфизе, сказал:

— Кажется, этот машкара, что с двумя горбами, делает прыжки искуснее, чем этот — скачущий на деревяшке. Я в Полтаве удалее машкары не видывал!

— Правда, что и он не худ, — отвечала Анфиза, — однакож никак не может сравниться с отцом твоим, когда, бывало,

¹ Замаскированные скоморохи.

он об святках — до начатия между нами проклятой тяжбы — нарядится машкарою и заскачет!

Никанор покраснел и не знал, что бы такое значил ответ Анфизы: простосердечие ли или насмешку. Коронат, желая отличиться, обратясь к Лидии, спросил:

— На что утешнее смотреть: на резвости ли этого заморского кота или кривлянья этой обезьяны?

Лидия подняла на него прекрасные глаза свои и, перебирая серебряные на пальцах перстни, отвечала вполголоса:

— Кот красивее! Какие усы, какой хвост! А у обезьяны что хорошего?

Мать скоро и неприметно удалилась, опасаясь, чтобы кто-нибудь из знакомых не донес грозному мужу ее о бывшем свидании и разговоре с сыновьями злейших его супостатов. Молодые люди не могли нахвалиться своею удачею, и сейчас один другому сделал доверенность: Никанор, что страстно пленен Раисою; Коронат, что те же чувствования ощутил к сестре ее Лидии.

ГЛАВА VI

Первая любовь

Идучи домой в сумерки, наши друзья остановились на пустыре, и Никанор воззвал:

— Что ж из этого будет? Философам, каковы, например, мы, надобно подумать о последствиях тех случаев, какие в жизни человеческой на каждом шагу встречаются. Тебе известно...

Едва он выговорил последние слова, как прямо против них показались прелестные дочери пана Харитона, неся в передниках нечто тяжелое. Наши щеголи были догадливы; не плоше старинных витязей, встретили красавиц вежливо, и Никанор первый спросил:

— Что это у вас в передниках?

Девушки остановились и молча открыли передники, в коих были пребольшие арбузы и дыни.

— Ах! — вскричал Коронат, — какая ужасная тяжесть! От этого можно надсадить грудь и оттянуть руки.

— Позвольте нам, — воскликнул Никанор, — взять на себя эту обузу; для нас ничего не будет стоять донести сей груз до самых ворот вашего дома.

— Верим, — отвечала Раиса с простосердечною улыбкою, — но если кто попадется навстречу, тогда что с нами бедными будет?

— Кому встретиться в глубокие сумерки, — возразил Никанор: — а если бы такая беда и случилась, то даю шляхетское слово, что нахалу тому разом сломя шею!

— От этого нам не легче будет, — отвечала с улыбкою Раиса: — если ты даже и убьешь его, то что пользы, когда мы останемся без кос?

— Косы ваши, — возразил Никанор уверительно, — когда-нибудь опять вырастут, а сложенная шея супостата никогда уже не выпрямится.

Споря таким образом, девушки не делали, однакож, вперед ни одного шагу, меж тем с каждою проходящею минутою становилось темнее, и они убедились, что нечего опасаться уже какой-либо встречи. С потупленными взорами прекрасные сестры открыли передники, студенты выхватили ноши, и все тихими шагами отправились к дому пана Харитона. Всякий догадается что дорогою влюбленные шляхтичи не были немы. Они наговорили девушкам множество полтавских учтивостей, а те отвечали им односложными словами и умильными взглядами. Они во всем были согласны, и все обвиняли причину, возбуждавшую столь сильную вражду между бывшими соседями и приятелями.

— Если бы негодные кролики твоего брата, Коронат, — сказала Лидия со вздохом, — не поели отпрысков молодых деревьев в саду нашем и не опустошили огорода, сего бы не было; мы жили бы на своих хуторах и, может статься, были бы счастливее!

— Без сомнения счастливее, — вступил в речь Никанор: — но что мешает нам употребить все силы к прекращению сей ссоры?

Тут достигли они ворот дома Харитоновы. Прелестные девицы подняли передники, и щеголи почтительно опустили в них свои ноши. Естественно, что при сем случае нельзя было рукам их не столкнуться, и как молодые шляхтичи, так и милые сопутницы их вздрогнули, как не вздрагивали — первые, когда в Полтавской семинарии клали их на скамейки, дабы некоторого рода орудиями внушить им более охоты к просвещению; а последние, когда мощные длани грозного родителя расплетали черные их косы, дабы, когда они стоят в церкви, менее заглядывались на молодых шляхтичей. Несколько мгновений все четверо стояли неподвижно в безмолвии. Наконец Никанор, как и следует старшему рыцарю, первый спросил с нежностью:

— Часто ли ходите вы на баштан? ¹

— Каждый вечер, — отвечала Раиса, потупив взоры.

¹ Сим именем называют место, где исключительно сажают дыни и арбузы.

— Так мы каждый вечер будем дожидаться вас у плетневой калитки, — воскликнул студент.

— А если кто проведает?

— Кого понесет нелегкая в поздний вечер на чужой баштан, когда у всякого есть свой?

— А если кто-либо из родных вздумает проводить нас?

— Разве мы слепы!

— Ну, как хотите!

Тут расстались наши влюбленные.

Влюбленные? Так проворно? Я отвечаю, что тот, кто теперь меня о сем спрашивает, верно еще влюблен не был: любовь — спросите у всех опытных — можно уподобить пороху. Хотя б его была превеликая куча, кинь в нее самую малую искру, и в один миг все вспыхнет. Сверх того, надобно сказать правду, что Никанор и Коронат из всех молодых шляхтичей, в селе Горбылях отличавшихся, были самые статные, самые видные и самые отважные, а к тому ж барыша — ученые, хотя, правда, иногда бывает, что последнее достоинство в глазах девушек много унижает цену первых. В умах иных и мужчин человек ученый есть нечто странное, даже ужасное.

Итак, мои влюбленные шляхтичи, идучи домой, не умолкали в похвалах своим возлюбленным.

— Ах! — восклицал Никанор, — как прелестна, как разумна Раиса!

— Не менее того прелестна и разумна Лидия, — говорил Коронат, тяжело вздыхая.

Хотя студенты о прелестях своих любезных могли заключать справедливо, ибо они имели глаза, но не знаю почему люди ученые могли так выгодно судить о их разуме, не слыша во всю дорогу других слов: «да», «нет», «ох», «может быть» и тех, кои произнесены были при расставаньи.

И красавицы, после ужина уединясь в свою комнатку, не могли остаться в молчании. Отворив оконце в сад, они сели на лавке и смотрели в ту сторону, где стояли дома панов Иванов. Они обе вздохнули, и Раиса как старшая прервала молчание:

— Есть ли в селе Горбылях хотя один из молодых шляхтичей, который мог бы сравниться с Никанором в росте, дородстве и вежливости?

— Разве ты забыла о Коронате? — отвечала несколько вспылчиво Лидия. — Впрочем, кроме его, я и сама другого не знаю.

— Никанор несколько выше!

— Коронат дороднее!

— Никанор говорит приятнее!

— Взоры Короната нежнее.

— Никанор поворотливее!

— Коронат степеннее!

Вскоре сестры согласились, что Никанор и Коронат один другого стоили, превосходя всех прочих личными достоинствами, ибо ученость их и на мысль им не приходила. Они восхищались своею удачею и наперед ужé мечтали о тех наслаждениях, какие встретят в объятиях любовников. Они бы и до утра не устали веселить себя будущим благополучием, как вдруг Раиса задрожала и изменилась в лице.

— Что с тобою сделалось, сестрица? — спросила Лидия с удивлением.

— Ах, милая! — отвечала Раиса, опустя руки и склоня голову к груди: — нам и на ум не пришли страшные паны Иваны и еще страшнейший отец наш!

— Ах! — вскричала Лидия, также вздрогнула, опустила руки и повесила голову. Они довольно долго оставались в сем положении и молчали, не смея взглянуть одна на другую. Наконец Раиса, вставая со скамьи, сказала:

— О проклятые кролики! Лучше бы вы совсем не родились или родились без зубов!

— О несчастная тяжба! — говорила Лидия, заширая окно: — какие черти тебя выдумали?

Обе сестры с унынием улеглись на своих постелях.

ГЛАВА VII

Сумерки на баитане

На другой день пан Иван младший сочинил прошение в сотенную канцелярию, в коем жаловался на пана Харитона. Он доказывал весьма основательно, что хотя пан Иван старший первый плюнул в лицо пану Харитону, но как стереть слюни гораздо удобнее, чем стрясти с макуши большой желвак, вскочивший у Ивана старшего от поражения его дубиной, — то и выходит, что пан Харитон во всем виноват и обязан заплатить бесчестье и пополнить протори и убытки. Что же касается до обстоятельства, что и он, Иван младший, со всего размаху огрел кием по руке пана Харитона, то он основательно рассудил, что как рука не есть голова, то таковой поступок — суцая безделка, а потому не упомянул о нем ни словом.

Писание сие прочтено Ивану старшему в присутствии обоих студентов и единогласно признано премудрым. Вследствие сего кибитка запряжена, все порядком уложено, оба друга сели и пустились позываться.

Никанор и Коронат, оставшись одни, уединились в сад, разлеглись на траве и, раскуря трубки, начали беседовать о любви своей. По времени и им вспали на ум страшные отцы их и еще страшнейший пан Харитон. Хотя они были мужчины, а притом люди ученые, однако несколько призадумались.

— Не печалься, — сказал Никанор: — какая нам нужда до сей тяжбы, в коей не принимали ни малейшего участия? Только бы девушкам мы приглянулись, а в дальнейшем поможет бог! После бога надобно полагаться на случай. Разве ты не знаешь, что о предмете сем говорили древние философы? Вот тебе рука моя, что если только мы понравимся, то во всем будет успех; да если бы оно и не последовало, то не будем упрекать себя в трусости и нерадении. Кто не дерзает ни на что отважиться, тот никогда ничего иметь не будет.

Тут Никанор дал ему подробное наставление, как действовать и чего домогаться; Коронат во всем положился на своего друга. Кто чего сильно желает, тот охотно верит обещаниям, даже самым невероятным. Продолжая свои разговоры, они поминутно взглядывали на солнце с большим вниманием, чем халдейские астрономы; но оно катилось по небу ни скорее, ни медленнее, как бы Никанора и Короната с своею любовью, ни халдеев с их астропомнею вовек не существовало.

Наконец желанное время наступило, и влюбленные философы, взявши по торбе, на крылах любви полетели к известной плетневой калитке, заглянули на баштан и, никого не видя, засели в большом бурьяне, росшем возле забора. Головы их ежеминутно выставлялись по очереди подобно пестам толчейным, если представить, что они действуют не вниз, а вверх. Около часа они провели в сем незавидном упражнении, и оно им надоело. Наконец красавицы показались, и головы перестали высываться из бурьяна.

Едва сестрицы вступили на баштан, как и друзья выскочили из бурьяна и — прямо туда же. Раиса и Лидия, слыша за собой шум, оглянулись и ахнули, как будто увидели нечто чудное, неожиданное.

Любовники от сотворения мира до нынешних времен, во всех веках и у всех народов были одинаковы. В начале любви своей они робки пред своими победительницами, потом постепенно делаются смелее и наконец сами стремятся быть победителями; то же случилось и с моими философами, ибо и сие страшное звание не исключает людей из общего круга человечества. Подсочив к своим прелестницам, они изумились, увидя пасмурные лица и слезки на ресницах.

— Что за новость? — вскричали оба друга в один голос, — что за причина такой горести тогда, когда мы ожидали увидеть веселые взоры и смеющиеся губки?

После сих слов они взяли своих красоток за руки и пристально смотрели им в глаза.

— Ах! — сказала Раиса с тяжким вздохом: — вчера при прощаньи мы и не вспомнили, что ваши отцы называются Иванами, а наш Харитоном!

— Только! — вскричал Никанор с веселою улыбкою: — так станём же печалиться, что меня зовут Никанором, тебя Раисою, а сестру твою Лидиею! Что же вы не плачете? Как скоро увидим слезы на глазах ваших, то и мы горько возрыдаем о таком злополучии!

Сестры взглянули на них с нежностью и сладостно улыбнулись.

После сего они вместе стали выбирать, что им было надобно; но как обе красавицы более глядели в глаза своих любовников, нежели на гряды, то прежде, чем торбы студенческие вместили надлежащее количество огородных растений, совершенно уже смерклось, и они попарно отправились к дому Харитона сколько можно медленнее. Дорогою любовники рассказывали прекрасным своим спутницам о полтавских диковинках, о чудесах, там происходивших, и о различных удальствах, ими оказанных.

— А каковы там девушки? — спросили сестры, застыдившись.

— Ах! — отвечали друзья, — они подлинно прекрасны; но мы, проживши там полные десять лет, не видали ни одной, которая бы могла равняться красотой и любезностью с Раисой и Лидией.

Девушки взглянули одна на другую и покраснелись.

У ворот дома родительского надобно было различиться. Студенты в передники девушек высыпали плоды, какие были в торбах, и уже осмелились пожать им ручки.

Так протекло около десяти дней, с тою разницею, что в последний любовники при прощаньи по несколько раз поцеловали своих красавиц, и они не могли сему противиться, если не хотели опустить передников и рассыпать все, что в них было.

— Когда так, — сказала Раиса, — то вперед не пойдем на баштан!

— Пойдете! — возразил Никанор.

— А за чем?

— За чем и до сих пор ходили!

— Нет, нет!

— А если мы вас там увидим?

— Ну, так что будет?

— Тогда вместо десяти — сотня поцелуев!

— Как не так! — сказали девушки в один голос, засмеялись, и — как горные серны прячутся от звероловов в пещеры, так они скрылись на двор отца своего.

Правосудие

На другой день пан Агафон праздновал вождеденный день своего рождения, а будучи искренний приятель обоих Иванов, пригласил к себе на пиршество их семейства, которые и не преминули явиться к обеду. Гостей было довольно, но не меньше и учреждения: студенты придали великолепия, пропев за столом несколько стихер, а после обеда целый псалом. Хозяин стократно благодарил их за сию особенную честь и не уставал потчевать.

Ароматный дым, выходявший из горшков с варенухою, наполнял не только весь дом, но двор и улицу, из чего можно заключить о великом количестве оных. Под вечер явились на дворе два машкары, два цимбалиста и два гудочника, и в заключение — о верх великолепия! — с двумя медведями литвин, которого пан Агафон с ярмарки — в ожидании сего всерадостного дня — пригласил к себе и содержал тайно, дабы такою нечаянностью привести в радостное удивление собеседников.

Все гости высыпали на двор; самые дети с ужасом и любопытством глазели из окон на машкар и медведей. Первое действие сей комедии открыли музыканты и машкары. Хозяин, весело осматривая гостей, заметил, что между ними нет Никанора и Короната. «Что с ними сделалось? — думал он: — неужели в другом месте ожидают они большего увеселения?»

Честный старик и не ошибся. Пользуясь всеобщим смятием гостей и челядинцев, молодцы особым ходом ускользнули, чтобы воспользоваться несравненно большим удовольствием, чем смотреть на машкар и медведей.

Сидя в преддверии своего элизума (так студенты называли бурьян относительно баштана), они не уставали высовывать головы до тех пор, пока зги не видно было; тут они тяжело вздохнули, и Коронат произнес:

— Видно, наши нимфы не охочи до поцелуев, что не хотят сдержать своего слова.

— Почему знать, — возразил Никанор, — чужие обстоятельства? Я точно уверен, что наши домашние тех мыслей, что мы, быв ошеломлены в доме нашего хозяина, покойно спим каждый на своей постели, и никому на мысль не взойдет, что шляхтичи, и притом люди ученые, гнездятся в бурьяне до полночи.

После сего каждый из них с крайним неудовольствием побрел к себе домой и улегся на постели. Коронат проснулся от шума и смешанных голосов. Он прислушивается и вскоре отдельно различает голоса: отца своего, Ивана старшего, Никанора и прочих членов обоих семейств. Он устыдился своей

лености, столь неприличной студенту и вообще молодому человеку, и притом любовнику, поспешно оделся, явился в собрание и с нежностью обнял отца и его друга. Жены друзей и возрастные дети сильно любопытствовали зная, что старики выездили; но Иван младший сказал:

— Если вам рассказать следствие нашей поездки, то, может быть, пропадет охота к еде; а как люди дорожные должны подкрепить силы своей пищею и питьем, то поди, жена, приготовь и подай нам сытный и вкусный завтрак.

Когда все были довольны стряпнею жены Ивана младшего, то он, разгляда усы, сказал:

— Хотя я и сам провел в сотенной канцелярии более двадцати лет, но таких див никогда там не видывал, какие ныне свершаются. Это или оттого, что теперь другой сотник, или оттого, что люди стали другие, или что скоро будет преставление света или, по крайней мере, Малороссии. Когда прочтены были в канцелярии жалобы наша и ненавистного Харитона, то сотник, подумав несколько, сказал: «Погляжу, посмотрю, подумаю!» Я знал, что это значит, ибо и в мое время клали подобные решения, то сообщил моему другу, Ивану старшему, и мы на другой день рано поутру — прямо к дьяку. Он принял нас ласково, а еще ласковее наши приносы: рубль деньгами, кадучку меду и бочонок пеннику. «Я постараюсь, чтобы *ваша взяла*», — сказал он весело, и мы расстались. Пришедший к нам знакомый подписчик известил, что писец должен быть очень доволен угощением пана Харитона, данным ему во время ярмарки в селе Горбылях, и бросился теперь с припасами к пану сотнику, что когда узнал писец, то поклялся совестью, что тому не бывать и что без подписи его никакая бумага не выходит.

«Подписчик не солгал. Писец крепко держал нашу сторону, потому дело тянулось около недели. Но как пан Харитон решился позабыть горбылевское угощение и вновь сунул дьяку кое-что, то третьего дня вышло в сотенной канцелярии следующее определение.

(Тут Иван младший, вынув из кармана лист бумаги, читал):

«По взаимным жалобам панов: двух Иванов, старшего и младшего, и пана Харитона Занозы, сотенная канцелярия, рассмотрев дело во всей подробности, определяет: 1-е, пан Иван старший безвсякой причины, при великом стечении народа, плюнул в лицо пану Харитону, почему и обязан заплатить рубль денег пени, 2-е, пан Харитон, вместо того чтоб по законам *позываться*, вздумал сам собою управиться и ударил пана Ивана тростью по голове, обязан был бы также заплатить пени не менее рубля; но как достоверные свидетели доказывают, да и сам пан Иван сознается, что удар сей последовал не по голове, а по шляпе, то обязан он заплатить бесчестья сорок копеек, а из шестидесяти

копеек, кои следуют пану Харитону, канцелярия, на необходимые свои расходы удержав сорок копеек, остальные двадцать копеек выдаст пану Харитону. 3-е, но как и он, пан Харитон, также в противность законов, в общенародном месте намеревался обнажить саблю, что по смыслу законов то же самое значит, как бы и обнажил ее, то в пеню ему и остальные двадцать копеек причислить в общий канцелярский доход. 4-е, в заключение: пан Иван младший, быв совершенно в деле сем лицом посторонним, вмешался в размолвку, до него не принадлежавшую, и кием своим сделал поражение по руке пана Харитона, от чего и до сих пор виден некоторый знак, то в наказание за сие буйство взыскать с него в пеню тридцать две копейки с деньгою. Из суммы сей: на издержанную бумагу, на жалованье подписчикам и писчикам, на перья и чернила удержать тридцать копеек, затем остальные две копейки с деньгою выдать пану Харитону с распискою. Панов же обоих Иванов, доколе на заплатят наложенной пени, не выпускать из канцелярии).

— Несколько времени, — продолжал пан Иван младший, — мы глядели друг на друга с крайним недоумением, а злодей Харитон улыбался, как улыбается бес, когда удастся ему кого соблазнить. Сотник, встав из-за стола, сказал: «Пан дьяк! Исполни свою должность». С сим словом он вышел, а дьяк, подошед к нам, произнес насмешливо: «Ну, паны! Скорее распоясывайтесь; и мне пора итти в гости!» Мы вынули свои мошны, отсчитали пенную сумму и вышли, проклиная внутренно окаянного Харитона, плута дьяка и глупца сотника.

Тут жена Ивана старшего сказала с улыбкой своему мужу:

— И этот случай не научил тебя? И ты не закаешься вперед позываться?

— Молчи! — отвечал он сурово, — я знаю, что делаю! Уверен, что теперешняя поездка и Харитону не мало стоит, а получил две копейки с деньгою, и того довольно. Одна мысль «я одолел противника» услаждает сердце. Постой, Харитон! Ты раскаешься в своей победе, и раскаешься скоро.

ГЛАВА IX

Решительный разговор

С следующего дня всякий в обоих семействах препровождал весь день в приличных ему занятиях, а на вечер соединились все у которого-либо из Иванов; студенты рассказывали повести из древней и новой истории и пели псалмы; старики курили трубки, пили наливки и предавали проклятию Харитона и весь род его до седьмого колена.

В уроченное время молодые люди под какими-нибудь предлогами отлучались, летели на известное место и, находя везде пустоту, приходили в уныние, с пасмурными лицами возвращались в общество и уже неохотно растворяли рты для пения.

В разные времена дня обходили они задний двор и сад пана Харитона, но, кроме обыкновенных слуг и служанок, нигде и никого не видали. Кажется, однакож, говорят правду, что счастье содержит любовников в особенной милости. В одно послеобеденное время, когда мои влюбленные делали свои разведыванья около двора и сада Харитонова и не пропускали ни одной дырочки в плетневом заборе, они увидели — кто опишет восторг их и блаженство! — они увидели: их красавицы сидели на зеленом дерне под развесистой яблонью. Сердца их забились, кровь клокотала в жилах, они были в пламени. Подобно необузданным коням аравийским, они перелетели через забор, и прежде нежели изумленные сестры могли вскочить, они уже стояли перед ними, схватили их за руки, подняли и со всем стремлением страсти прижали к грудям своим.

— Что вы делаете? — спросила устрешенная Раиса, освобождаясь из объятий Никанора: — как осмелились вы очутиться здесь?

— Любовь, о Раиса, любовь и не через такие заборы перелазит! Скажите — время дорого — скажите, любите ли вы нас?

— Но что пользы в любви сей? — спросила со вздохом Раиса: — какой будет конец ее?

— Предоставьте богу, — воззвал Никанор, — располагать участь сердца наших; а сверх того любить, даже без цели любить, есть уже неизъяснимое блаженство! Штак, откровенно, Раиса, любишь ли меня?

— Лидия! Любишь ли меня?

Вместо ответа девушки зарыдали, опустились в объятия юношей, и губы их соединились. Несколько минут пробыли они в сем сладостном положении; но природа ни при каком случае прав своих не теряет. Чтобы облегчить грудь, дав ей новый воздух, они должны были расклеить губы. Никанор, держа Раису в объятиях, сказал:

— Свидания в сем саду немного менее опасны, как и свидания с султанскими любимицами в его гареме. Скоро ли мы будем видеться на баштане?

— Не знаю, — отвечала Раиса: — но пока отец наш дома, это невозможно; нам запрещено выходить, а для чего — мы и сами не знаем.

— А если он опять укатит в город?

— О, тогда весьма можно, даже в самый день его отъезда!

— Превосходно! — воскликнул Никанор: — будьте уверены, милые сестры, что вы очень скоро будете на баштани.

Тут юноши вновь заключили зардевшихся девушек в объятия, запечатали несколько страстных поцелуев на коралловых губах их, как вихрь перелетели через забор и скрылись. Девушки, оживленные новыми, сладостными, дотоле неизвестными им чувствами, — ибо никто из мужчин, ни сам отец, не прикасался своими губами к губам их, никто не прижимался к волнуемой груди их, к бьющемуся сердцу, — долго стояли в восторженном удивлении; потом взглянули одна на другую, улыбнулись, и Лидия пала в объятия Раисы. Только и могли они произнести: «Ах, сестрица! Ах, милая! Что-то будет! Боже, что-то будет!»

В тот же вечер семейства обоих Иванов проводили время в доме старшего. Тут Никанор сказал:

— Батюшка! Не знаю, одобришь ли ты мой поступок, но он уже сделан. С приезда твоего из города в хуторе был ты один только раз. Дело идет к осени, и надобно посмотреть, что делается с работами. Предполагая, что ты на это согласишься, я послал уже Якова, чтобы он приготовил все к завтрашнему обеду.

— Bravo, сын! — вскричал Иван старший: — вижу, что из тебя выйдет добрый хозяин. Друг Иван! Ведь и твой хутор возле моего; поедем-ка вместе.

— Очень рад, — отвечал сей: — так ли, сын Коронат?

— Так, батюшка!

— Я еще кое-что вздумал, — сказал Никанор, улыбаясь: — на хуторе всякой всячины довольно, чтобы накормить целую стаю голодных цыган; но я думаю, не худо будет, если мы возьмем по ружью и по зарядному поясу. Посмотрим, не попадетсЯ ли какая дичь дорогою?

— Славно! — сказали все и разошлись.

Лишь только показалось солнце на горбылевском небе, уже наши хозяева были на конях, с ружьями за плечами, а позади плелся слуга с большою торбою для уложения дичи. Они ехали медленно, приглядываясь, не выскочит ли где заяц или не вспорхнет ли куропатка; но, кроме жаворонков, перепелов и другой мелочи, им ничего не попадалось, и они подъехали к хутору Харитонову с пустою торбой. Подле панского дома стояла большая голубятня, ибо хозяин был до сей птицы великий охотник; вся голубятня покрыта была птицами.

— Стой! — вскричал Никанор, и все остановились.

— Батюшка! — продолжал он: — припомни, сколько Харитон наделал вам обоим пакостей, притом же в последнюю бытность твою в городе!

— Ни слова, сын мой! — вскричал Иван старший: — понимаю мысли твои и хвалю, надеюсь, что и ты охоч будешь позываться. Друзья мои! Станьте рядом, и при счете моем: *три*, дадим залп по голубям.

Все построились, взвели курки, приложились, и как скоро роковые: «раз, два, три!» произнесены были, раздался гром, и бедные твари посыпались на землю. Слуга соскочил с лошади и начал набивать ими торбу. После сего подвига витязи препокорно поехали к хутору Ивана старшего, который садами граничил — как сказано в начале сей повести — с хутором пана Харитона.

ГЛАВА X

Обоюдности

Приказав Якову готовить обед, наши шляхтичи хотели начать осмотр своих поместьев, как увидели на хуторе пана Харитона пожар. Тотчас послали осведомиться, что горит, и скоро получили уведомление: голубятня. Паны Иваны, взглянув один на другого, улыбнулись, сказав: старший — «вот тебе мой рубль, бездельник!»; младший — «вот тебе мои тридцать две копейки с деньгою, разбойник!»

Отчего же произошел пожар? Это выдумка Никанора. Для прибою заряда вместо войлока он употребил сухую паклю; Коронат ему последовал. Отцы ничего не знали о сем умысле.

Проводив более четырех часов в осмотре своих имуществ, оба Ивана довольны были устройством и порядком, похвалили своих заместников и пошли на хутор Ивана старшего, дабы отобедать. Вошед в светелку панского дома и увидев стол, уставленный блюдами и кувшинами, все похвалили Никанора за распорядок и сели насыщаться.

Оконча свою работу и помолясь богу, все уселись на коней и поехали шагом. Доехав до голубятни и видя, что она сторела до основания и что полуизжаренные голуби и голубята валялись по земле, паны Иваны усмехнулись и покойно продолжали путь свой. Когда были они на половине дороги, увидели, что кто-то прямо на них скачет; и когда сей всадник приблизился, то Иван старший узнал в нем своего пасечника.¹ Все остановились в недоумении.

— Что доброго? — спросил Иван старший.

— Ох! — отвечал тот плачевным голосом: — у тебя нет более пасеки.

¹ Смотритель за пчельным заводом, который называется пасекою.

Иван старший побледнел, и все остолбенели.

— Как так?

— Уже была обеденная пора, — говорил пасечник, — как пан Харитон приехал на твою пасеку в кибитке, за коею следовал возок. Лишь только я по приказанию его приблизился, он схватил меня за чуб и согнул в дугу; тут двое слуг его, один правящий лошадьми в кибитке, а другой в возке, связали мне руки и ноги и уложили на земле. Тогда начали выбирать из возка сухие кожи, шерсть, облитую смолою, гнилушки, напоенные дегтем и прочими снадобьями, гибельными для пчел; все это разметано по пасеке и зажжено. О боже мой! Я плакал и верно выдрал бы себе чуб, если бы, по счастью, руки не были связаны, видя, как гибнут бедные любезные мои пчелки. Растопившийся мед умертвил и тех, кои были в ульях, так что теперь едва ли хоть одна пчелка в целости осталась. О злодеи!

«По совершении сего беззакония пан Харитон подошел ко мне со слугами, приказал развязать и после ласково говорил: «Поди, голубчик, на мой хутор, где найдешь ты обоих панов Иванов с их сыновьями, такими же бездельниками, каковы отцы их, и уведошь, что видел. Скажи старшему, что каждый мой голубь стоил по крайней мере одного улья пчел. Здесь ульев не более пятидесяти, а голубей было более двух сот, итак, за остальных вымещу я над пасекой Ивана младшего. Но теперь мне некогда: я спешу в город позываться».

Все, а особливо Иван старший, слушали пасечника с ужасом.

— О злодей, о изверг! О душегубец! — вскричали в один голос оба Ивана. — Посмотрим, что это ты скажешь в канцелярии? Ведь голубятня — не пасека! Сейчас домой!

Все пустились, нещадно били бедных кляч пятками по ребрам и скоро очутились в Горбылях, а там в доме Ивана старшего. Не входя в комнаты, он закричал слуге, исправлявшему должность кучера:

— Сию минуту кибитку в две лошади! — Когда он вошел в дом, то жена и все домашние испугались. — Не спрашивай ни о чем, — вскричал он жене, приметя, что она готовится спрашивать: — вели уложить в кибитку постель и большой войлок, и — да благословит бог вас всех! — Никанор все расскажет.

Скоро все было готово. Иван младший, простясь со всем семейством, явился; они уселись и поскакали. По желанию матери Никанор рассказал все, что знал и видел, умолчав, что они с Коронатом виновники сей новой суматохи.

— Опять позываться! — сказала мать Никанорова. — Боже милосердый! Когда этому конец будет?

— Я думаю, — отвечал сын значительно, — что эти тяжбы прекратятся смертью или через какие-нибудь чудесные происшествия!

При закате солнечном молодые друзья отправились на баштан. Дорогою они разговаривали:

— Посмотрим, исполнит ли наши любезные свое обещание, чтобы в тот же день посетить баштан, когда отец их укатит в город! Ах, как они милы! Как пламенны их поцелуи! Как сладостны объятия!

Пробираясь к своему бурьяну, они удивились, нашед калитку отворенною. С трепетанием сердца заглядывают и — немеют от радости, увидев, что обе сестры сидели на большой копне сена, положив руки одна другой на колени. Они, казалось, были в некотором унынии.

Юноши вошли, сколь можно тише притворили калитку и, подобно двум вихрям, устремились к своим возлюбленным.

ГЛАВА XI

Падение

После приключения в саду к чему послужило бы притворство? Девушки были в объятиях своих любовников, и поцелуи посыпались без счета; вздохи их смешались, и слезы любви и наслаждения соединились на щеках их.

После первых порывов страсти красавицы тихонько высвободились из объятий своих обожателей, и Раиса спросила:

— На чем же основывается ваша надежда?

— Положитесь на меня, — сказал Никанор, — как на каменную стену, и не будь я первородный сын Ивана Зубаря, если с помощью друга не помирю наших родителей, и тогда все пойдет на лад. Да и стоят ли кролики, гуси, утки, голуби и пчелы того, чтоб трое шляхтичей вечно позывались и теряли свое имение? Я сказал: положитесь на меня! Разве думаете, что счастье мое и моего друга для нас не дорого? А можем ли мы быть счастливы без вас, милые девушки? Следовательно, — он хотел было продолжать логические доводы, но видя, что Лидия висела уже на груди Короната, заключил сестрицу ее в свои объятия, и поцелуи снова градом посыпались. Поцелуи первой любви есть такой напиток, который чем больше пьешь, тем больше пить хочется; итак, немудрено, что когда наши влюбленные осмотрелись, то настоящая тьма их окружала. Девушки испугались.

— Что будем делать? — сказала со вздохом Раиса, — где теперь будем искать дынь и арбузов? И что скажет матушка, когда увидит, что мы так поздно воротились и с пустыми руками?

— Не печальтесь, милые, — сказал Никанор уверительно: — мы вам поможем, наберем дынь и арбузов и донесем до вашего дома.

Необходимость требовала принять предложение. Никанор взял трепещущую ручку Раисы и пошел вправо, а Коронат с Лидиею влево. Первый скоро толкнул что-то ногою, нагнулся, ощупал и сказал:

— Вот и арбуз!

— Ах, если б еще сыскать дыню! — сказала Раиса, — так бы и довольно.

Они пошли далее.

— Кажется, у ноги моей дыня, — говорила Раиса, нагибаясь. Никанор бросился опрометью, чтобы ощупать дыню, но так неосторожно, что опрокинул подругу свою на землю, а посему не мог сам сохранить равновесия и растянулся подле нее. Вот сколь слабый смертный! Претыкались и герои не Никанору чета и героини позначительнее Раисы! Никанор встал, ощупал дыню, сорвал и вполголоса сказал:

— Милая Раиса! Дай руку; вставай и пойдем домой.

Раиса встала и пошла, держась за его руку. Она молчала. На некоторые ласковые слова любовника она отвечала вздохами, и так дошли до калитки. Никого не нашедши, Никанор свистнул; нет ответа. Подождав несколько времени, он свистнул громче; нет ответа.

— Что за причина, — сказал молодец: — быть не может, чтоб они ушли без нас. — Прождав еще минуты с две, он свистнул в третий раз во всю мочь богатырскую, и вскоре послышался невдалеке ответный свист.

— Слава богу! — произнес, вздохнувши, Никанор: — но что ты дрожишь, моя любезная?

— Ах, — сказала сия со стоном: — я думала, что я одна. — На сие и храбрый Никанор отвечал молчанием. Скоро соединились с ними и Коронат с Лидией. В безмолвии дошли все до дома Харитоновы. Сестры приняли в передники арбузы и дыни и хотели войти в ворота, не сказав ни слова; но Никанор остановил их вопросом:

— Будете ли завтра на баштане?

— Не знаю, — отвечала Раиса шепотом.

— Непременно будьте, — сказал Никанор отрывисто, — да пораньше: этого требует собственная ваша польза.

С сим они расстались.

Никанор и Коронат шли дорогою, будучи упоены своим счастьем. Они точно с сим намерением раскинули сети, но никак не воображали, чтоб прекрасные птички так проворно, так охотно кинулись в оные.

— Когда ж к окончанию дела приступим? — спросил Коронат.

— Доброго дела откладывать не надо бы, — отвечал Никанор. — Завтра около вечерен приходи ко мне.

Посмотрим, что делается с сестрами. Я сказал, что во всю дорогу они молчали; а как известно всякому, что человек не может ни одной минуты не мыслить, то естественно, что они после случившегося происшествия имели великую причину сколько можно больше мыслить. Итак, простясь с своими проводниками, они одна другой сообщили мысли свои, сделали условие, как отвести предстоящую бурю, и вступили в комнаты. Кроме матери, все в доме спали, ибо на небе было около полуночи. На вопрос ее: «где вы до сих пор были, негодницы?» Раиса с испуганным лицом отвечала:

— Ах, матушка! Когда б ты знала, в каком мы были страхе! Лишь только сошли с баштана, как увидели, что в некотором отдалении прямо противу нас шли: ведьма, вовкулака и упырь.¹ Страх нас объял, и мы не знали, куда деваться. К счастью, у нас было еще столько ума, что не пошлисьм страшищам навстречу, а бросились обратно на баштан, где и зарылись в горохе. Видели ль нас сии чудовища или нет, не знаем, но только они скоро после нас явились на баштане, остановились, прошед калитку, и кругом оглядывали. Ведьма начала вертеться, как веретено; вовкулака, поднявшись на дыбы, стал плясать, упырь заревел ужасно. Мы едва не умерли от страха. После сего ведьма села на копне сена и сказала: «Если вы хотите, чтобы я продолжала любить вас, то принесите сюда хороших дынь и арбузов». Вовкулака и упырь бросились за добычею, и, по несчастью, дорога их шла мимо нас бедных. Мы притаили дыхание и не знали, живы или мертвы. Но времени дыни и арбузы принесены ведьме, и началось пиршество. Оно продолжалось немалое время, и когда все принесенное было съедено, то пировавшие начали попрежнему: ведьма вертеться, вовкулака плясать на задних лапах, а упырь реветь. После сего они удалились.

— Долго не смели мы выйти из своего убежища, — продолжала Раиса: — но не видя более страшищ, отважились. Всю дорогу бежали не отдыхая и вот, как видишь, теперь здесь.

Мать задумалась, осмотрела дочерей и, увидев их бледные лица, мутные глаза, растрепанные волосы, волнующиеся груди и платья в пыли и зеленых пятнах, уверилась в истине рассказа и отпустила спать. Когда они при свете ночника разделись, то горько зарыдали: «Ах, Раиса! Ах, Лидия! Что мы наделали!»

Легко поверить, что сон их был беспокоен и прерывист: им беспрестанно грезилась дыни и арбузы.

¹ Урожденный чародей, то же, что в женском роде ведьма.

Теперь следует вопрос: какое ж было намерение Никанора, который, как уже упомянуто, прежде уверил своего друга, а после девушек, что все дело примирения родителей берет на себя; а теперь, по всему вероятию, столько расстроил сие дело, что и конца не будет вражде, а потому и позыванью? После такой обиды, каковая сделана в роковую ночь сию дому Харитонову, и самый стоворчивый человек готов будет позываться до самой смерти. Подождем и увидим; а предварительно уведомим, что Никанор со времени прибытия на родину несколько раз тайно от всего семейства навещал деда своего Артамона, с которым племянники его, оба Ивана, с давнего времени были в расстройке.

ГЛАВА XII

Поправка порчи

В назначенное время Коронат явился к своему другу. Как скоро раздался звон колоколов, приглашающий православных к слушанию молитв вечерних, они отправились к баштану Харитонову и засели в бурьяне. Не успели они раз по десяти высунуть свои головы, как к неопisanному удивлению и радости увидели, что красавицы их шли самыми скорыми шагами, какими только могут ходить красавицы не обращая на себя взоров. Едва скрылись они за забором, как влюбленные шляхтичи туда же со всех ног бросились, а девушки кинулись в их объятия, проливая слезы, кои любовники осушали своими губами.

— Ты велел нам, — сказала Раиса Никанору, — быть сегодня здесь, и пораньше, — вот мы и здесь; но неужели только для того, чтобы по-вчерашнему?..

— Нет, милая Раиса, — отвечал студент, — не для того только. Ступайте все за мною!

За день перед сим невинные девушки ни за что бы не решились на такое предложение; но теперь, после рокового происшествия на баштане, что им оставалось делать, как не положиться на благонамеренность своих путеводителей и им безмолвно последовать. Каждая подала руку своему обожателю, и пустились в путь. Обе пары молчали и довольствовались пожиманьем рук один у другого. Наконец они подошли к древней церкви, стоящей близ самого выгона. Нашед ее назаперти, Никанор три раза ударил кулаком в дверь, и она мгновенно отверзлась; любовники вошли с своими любезными, и сии последние онемели, увидя посреди церкви налой, возженные светильники и свя-

щенника в полном облачении. Никанор и Коронат подвели трепещущих невест к алтарю, и священнодействие началось. Сердца у всех, а особенно у девушек, бились чрезмерно, и радостные слезы блистали на их ресницах. Священный обряд кончен, и новобрачные вышли из храма.

Недалеко от баштана Харитонова стояла низменная хата, принадлежащая Ивану старшему, но давно кинутая по совершенной в ней ненадобности; сюда-то вступили новобрачные, где нашли волошское вино и закуски.

— Вот, милая Раиса, — сказал Никанор, — место временных наших свиданий. Эта светелка принадлежит нам, а через сени есть другая, где сестра твоя может видаться со своим мужем. Будем и сим довольны до времени.

Молодые, проведши за столом минут десять, удалились попарно в свои светелки, где и пробыли до заката солнечного; после чего Раиса и Лидия, взявши в передники арбузы и дыни, отправились домой. Они запретили мужьям за собой следовать, ибо довольно было еще светло.

Никанор и Коронат, яко люди ученые и православные христиане, пришед домой, каждый отметил в своих святцах: «Такого-то года, августа 20 дня, я (имя рек) обвенчался на дочери пана Харитона (имя рек)». Слова женихов и невест означены были киноварью.

Так провели они около месяца в упоении и восторгах любви. Во все это время необитаемая прежде хата ни одного дня не была пуста; новобрачные считали себя преблагополучными людьми, между тем как отцы их, позываясь между собою беспрестанно и делая друг другу возможные пакости, едва ли не были самые несчастные из всего села Горбылей.

Все три позывающиеся пана несколько раз писали к своим семействам, и сии писания преисполнены были жалоб — то на неправосудие начальства, как то: сотника, есаула, дьяка и проч., то предавая сугубому проклятию противную сторону. Всякий, однакож, надеялся взять верх, почитая дело свое правым.

Всему селу Горбылям было известно, что ни одна шляхтянка не умеет ни читать, ни писать. «Как? — спросит кто-либо, — неужели и милые, прелестные сестрицы Раиса и Лидия?» Так! Хотя неохотно, но должен сказать, что и они подвержены были общей участи женского пола того времени; они умели только шить, вышивать разноцветными шелками и — нежно, постоянно любить! А разве этого не довольно для всякой женщины?

Мы знаем, что жены панов Иванов имели в домах своих кому читать письма, от мужей получаемые, и отвечать на оные; но как Харитонов сын Влас был только пятнадцати лет и у дьячка

Фомы набирался возможной мудрости, твердя из букваря: *тма, шна, здо, тно*, то беспомощная Анфиза уполномочена была призывать к себе Фому в случае нужды прочесть мужнее письмо и настроичить ответную грамотку. Хотя со всех сторон положено было обстоятельство это хранить в глубокой тайне, но могло ли оно остаться тайною, когда знали об этом все в доме?

Никанор, начавший теперь весьма ревностно искать способов к скорейшей развязке своего дела, посредством небольших подарков и нескольких гривен достал от одного из учеников Фомы собственноручное письмо учителя, с которого он учился чистописанию.

Как дело происходило, откроют последствия. В один и тот же час получены в городе от неизвестного человека два письма к позывающимся.

ГЛАВА XIII

Злой умысел

Письмо первое к пану Харитону.

«Ах, ох! Ах, беда! Ох; горе! Кинь на время, любезный друг, проклятую тяжбу и поспеши сюда, если желаешь застать еще кого-либо из нас в живых. Дом наш в селе Горбылях — ах, ох! — превратился в кучу пепла. Нет ни гумна, ни кладовой, ни погребца с твоим пенником и наливками. При сем несчастном случае крестьяне наши оказали примерное усердие: мужчины молились богу, а женщины так оплакивали наше несчастье, как бы свое собственное. Все мы выбежали из спален, — ибо пожар произошел в полночь, — в чем лежали на постелях; впрочем, в добром здравьи, только у нас всех обгорели головы и по всему телу пузыри. Приезжай прямо на хутор, ибо мы теперь же идем туда пешком. Ах, ох! Ах; беда, ох, горе!

Анфиза».

Пан Харитон поражен был сим писанием как громом; бледность покрыла щеки его. Одна мысль о сем злополучии терзала его сердце: кто произвел пожар сей, с кем он должен позываться? Недогадливая жена не означает, чтоб имела на кого подозрение. Заклятые враги паны Иваны — оба в городе. Кто же? Неужели богопротивные латынщики, сыновья их, дерзнули на такое отважное дело? Горе им, гибель неизбежная, если в сем удостоверюсь!

Пан Харитон склонил городского лекаря ехать с ним вместе, запасшись нужными врачевствами для излечения обожженных, взвился как вихрь и полетел прямою дорогою на свой хутор.

Письмо второе к пану Ивану старшему:

«Батюшка! Когда получишь это письмо, то примечай, что будет происходить в жилище пана Харитона. Я думаю, он опроретью ускачет из города. Куда и зачем — узнаешь после. Не теряй напрасно времени и действуй с другом своим всеми силами. Теперь никто уже вам обоим не помешает. В подспорье посылаю десять рублей. Не жалейте ничего, только бы победа была ваша. Таковую мудрость выдумали мы с Коронатом, дабы сколько-нибудь помочь в трудах ваших. В Горбылях мы для вас всегда полезнее, чем в городе. Я и друг мой целуем вас заочно. Он не пишет потому, что я пишу. Не все ли равно? В другой раз вы увидите его письмо, а меня, может быть, не будет. Он для вас обоих — другой я. Прощайте!»

Паны Иваны, взглянув один на другого, прослезились.

— Не я ли уговорил тебя, — сказал Иван младший, — чтобы детей наших поучить порядком, а не так, как учатся у нас все шляхтичи?

Иван старший с чувством пожал руку у Ивана младшего и произнес тихо:

— Воспользуемся же благим советом и не станем терять времени.

И в самом деле, они принялись за дело так плотно, что оно скоро взяло совсем другой оборот, нежели какой дал было ему пан Харитон. Давнишняя опытность Ивана младшего и громогласие храброго Ивана старшего, а более всего присланное Никанором вспомогательное ополчение так подействовали... Но обратимся к пану Харитону.

Роковое писание от жены Харитон получил гораздо за полдень. Пока склонил он лекаря ехать с ним в хутор, пока последний приготовил нужные от обжога лекарства, то солнце близко было к закату, а как приблизились к хутору, то все погружено было в глубокий сон, кроме собак, кои кое-где лаяли, а особенно на дворе панском. Не видя ни в одном окне огня, пан Харитон вздохнул.

— Так-то слуги наши и служанки, — произнес он: — радеют о господах своих! Чтоб ничто не мешало им покоиться, о беззаконные! они загасили все ночники, меж тем как их несчастные обожженные господа ахают и охают. Постой! Дай мне до вас добраться!

Вступая в комнаты, пан Харитон увещевал лекаря и строго

наказывал слуге своему Луке хранить тишину сколько можно, дабы не беспокоить недужных. Луна светила полным светом, а потому все предметы весьма отдельно видны были. Проходя из одной комнаты в другую, — а всех в панском доме было пять комнат, — они и духа людского не ощутили.

— Что бы это значило? — сказал пан Харитон с движением гнева и недоумения. Он задумался и после со смятиением произнес: — По всему вероятно, они так изуродованы, что не надеялись доплестись сюда, и кто-нибудь из добрых приятелей принял бедных к себе до моего прибытия. Я сейчас бы распорядился; но что сделаешь ночью и у кого искать их? Не умнее ли сделаем, пан лекарь, — продолжал он, — когда велим подать огня, выпьем по чарке и чем случится закусим?

Лекарь, которому давно хотелось спать, похвалил такую умную выдумку, а особливо услыша о чарке и закуске; ибо он набожно верил, что засыпать с тощим желудком совсем не христианское дело и прилично одним немцам.

Слуга высек огня и зажег дорожную свечку; потом принес из повозки большую деревянную чашку, баклажку с пенником и плетенку с сулеею вишневки. В чашке заключалась жареная индейка и несколько булок, на что глядя, эскулап не считал сей вечер потерянным. Они ликовали довольно долго, забыв об отчаянно больных, и растянулись на куче сена, нанесенного в комнату Лукою.

Поздно поутру они опомнились, поздоровались с баклагой и пустились в путь. Взглянув на головни, оставшиеся от голубятни, глаза у пана Харитона заблестели, и он заскрипел зубами.

— Добро! — сказал он: — может быть, и погибель моего дома есть ваше дело, беззаконные паны Иваны, произведенное посредством богоотступных сыновей ваших. Посмотрим!

Во всю дорогу от хутора до села пан Харитон мучил лекаря рассказами о всех причинах, кои понудили его позываться со многими горбылевскими шляхтичами, а особливо с панами Иванами, и наконец вступили в селение.

— Стой, Лука! — вскричал Харитон: — я вижу, идет прямо к нам пан Захар; порасспросить бы его о моем жалком семействе! Здравствуй, пан Захар!

— А, пан Харитон! Мы все думали, что ты в городе, а вышло, что хозяйничал на хуторе.

— Я таки и был в городе до вчерашнего вечера. Но об этом после. Скажи пожалуй, где я могу найти жену и детей?

Пан Захар устал на него глаза и после с улыбкою сказал:

— Ты, видно, не выспался! Прощай!

С сим словом пан Захар удалился, Лука поехал далее, а Харитон погрузился в глубокую задумчивость.

— Стсй, Лука! — вскричал он, и Лука остановился: —

вот идет пан Давид; авось он будет поумнее пана Захара. Здравствуй, пан Давид!

— А, пан Харитон! Как ты здесь очутился?

— После поговорим об этом, а теперь уведошь: тебе, как приятелю, должно быть известно мое несчастье — где мне найти мое бедное семейство?

— А, понимаю! Последний позыв твой, видно, был неудачен, и ты рехнулся! Ах, бедный! Прощай! Я боюсь сумасшедших!

Он уходит скорыми шагами, и пан Харитон, задыхаясь от бешенства, едва мог произнести:

— Видно, на Горбыли нашла злая минута, и все паны ошалели. Стой, Лука! Вот приближается пан Охреян; спросить бы еще в третий и последний раз. Здравствуй, пан Охреян!

— А, пан Харитон! Здорово! Давно ли из города? Что твой последний позыв?

— Не о позыве слово! Скажи, бога ради, кто из вас, друзей моих, призрел жену мою и детей?

— Что такое?

— Разве ты оглох?

— Видно, не пустой разнесся слух!

— Какой?

— Что ты, потеряв тяжбу, рехнулся ума! Прощай!

ГЛАВА XIV

Суматоха

Пан Харитон действительно потерялся.

— Что за дьявольщина! — вскричал он: — или я и по-длинно не в полном уме, или все горбылевские шляхтичи одурели! У кого ни спрошу о жалкой участи жены моей и детей, удивляются, как бы я спрашивал их: «как обретается хан Крымский?» Не хочу больше спрашивать ни у кого. Поезжай, Лука, прямо к пепелищу моего дома; там мои крестьяне и соседние шляхтичи, наверное, скажут, где могу найти то, чего ищу и о чем спрашивал у трех сумасшедших.

Лука приударил по лошадям, и кибитка быстрее покати-лась. Пан Харитон забился вглубь своей колесницы, лег навзничь, зажмурил глаза и сложил на груди крестообразно руки.

— Не хочу, — говорил он с тяжким вздохом, — не хочу видеть издали развалин моего дома: пусть одним разом сердце мое растерзается! Как взгляну на кучу угольев вместо дома, где столько времени жил во всяком довольстве? Что почувствует бедное сердце мое, когда вместо доброй жены, двух милых доче-

рей и удалого сына увижу движущиеся головешки? Кажется, мне не перенести сего горя; да не лучше ли и впрямь умереть разом, не умирая ежоминутно?

Кибитка остановилась, и слуга соскочил с козел. Вдруг раздались голоса:

— Ты ли, друг мой Харитон?

— Батюшка, батюшка!

— Что же ты не вылазишь? — спросила любопытно Анфиза, — здоров ли ты? Влас! Полезай к нему!

Влас вскочил в кибитку и закинул цыновку, которая была опущена. Все ахнули и отступили назад. Пан Харитон, бледный, подобно мертвому, лежал в прежнем положении; подле него спал человек незнакомый, а из кибитки выходил запах, как будто из разрытой могилы. Дети заплакали, а жена горько зарыдала.

— Ах, Харитон, Харитон! Ах, сердечный друг мой! — вопила Анфиза. — Не я ли стократно тебе пророчила, что от позывов никогда добра не бывает! Велика ли беда, что кролики обгрызли у тебя несколько отпрысков вишневых и съели пары две капустных кочней; прогнать бы только их, а не стрелять, и ничего бы этого не было, и ты был бы жив и счастлив в своем семействе. Хотя ты, правда, иногда уподоблялся бешеной собаке и я от чистого сердца посылала тебя к чорту; но когда ты и в самом деле туда попался, то мне тебя и жалко стало! Раиса! Лидия! Слезами не воскресишь его! Велите приготовить теплой воды и чистое белье, а ты, Влас, прикажи позвать священника и дьячка Фому с псалтырью.

Легко можно представить, что чувствовал пан Харитон. Сперва представилось ему, что он действительно сошел с ума, в чем уверяли его уже трое шляхтичей; однакож если он и обезумел, по крайней мере жив; зачем же тут надобна псалтырь?

Когда он продолжал углубляться в размышление, не думая переменять своего положения — может быть, с некоторым умыслом, — вдруг слышит подле кибитки голоса жены и детей, священника, дьячка и множества сбежавшихся приятелей с женами, детьми и домочадцами.

Пан Харитон открыл четверть глаза, дабы видеть, что за дьявольщина у его кибитки производится. Он видит, жена стояла с пасмурным лицом, опустя руки, дочери хныкали, сын суетился как угорелый; один из приятелей пожимал плечами, другой бормотал что-то про себя, а третий сказал вслух:

— По мне, хоть бы он протянул ноги; но жаль, что я не успел с ним позываться. Покойник, не тем будь помянут, был великий обидчик, обманщик, мошенник, словом, настоящий злодей, который рано или поздно, а не избежал бы виселицы. Хорошо сделал, что окошел заблаговременно: дай бог ему царство небесное! Я не памятозлив.

— Уймись, собака! — возгремел Харитон, привстал, выпучил глаза и страшно зашевелил усами.

Кто опишет общее смятение, шум, вопль, суматоху! Не успел пан Харитон два раза мигнуть, как на дворе ни души уже не было. Пробудившийся лекарь спросил:

— Что такое?

— Не знаю, — отвечал пасмурно пан Харитон: — только видел, что мое семейство с волосами и ни на лице, ни на руках не приметно ни одного струпа. Пойдем-ка в комнаты!

Проходя из покоя в покой и, наконец, обошед весь дом, они ни души не находили; даже в кухне никого не было. Что делать? Догадливый лекарь сказал Луке (который, управляясь с лошадьми во время бывшего смятения, не понимал, отчего домашние разбежались):

— Загляни-ка в печь; нет ли там чего?

Слуга исполнил приказание и объявил, что она полна горшков и сковород.

— Чего ж лучше! — вскричал лекарь. — Разбежавшиеся соберутся, а между тем мы сытно отобедаем. Прикажи-ка заглянуть в твой погреб и дай познакомиться с твоими наливками.

Пан Харитон кивнул головою, и проворный Лука бросился в погреб. В скором времени стол убран был изобильными яствами и напитками, и когда дело приближалось к концу, то лекарь умильно сказал:

— Я весьма доволен твоим угощением, как бы у самого пана сотника, и если ты щедро заплатишь мне за составленные для твоих больных лекарства, то я и впредь готов усердно служить тебе во всякое время.

— Заплатить за лекарства! — сказал протяжно пан Харитон, уставив на лекаря страшные глаза свои: — да разве ты употребил из них хотя ползолотника?

— Все равно, — отвечал медик: — они составлены и должны быть употреблены на дело. Виноват ли я, что у твоих домашних целы волосы и что они не обгорели?

— Полно, полно, пан лекарь! — возразил хозяин: — будет с тебя и того, что отвезут в город в моей повозке, а на дорогу велю уложить целый хлеб, несколько кусков свиного сала и баклажку с добрым пенником!

— О! — сказал лекарь с видом удовольствия, — коль скоро так, то чего больше!

Таким образом мир снова водворился. Пан Харитон начал хвастать своими наливками, и лекарь надменно сказал:

— Не худы; но у меня в аптечном ящике есть сулейка с истинным сокровищем вроде наливок. Полтавский полковник в бытность у него нашего сотника подарил ему бочонок сливки, объявив, что она стоит в погребе более двадцати

лет. Сотник за излечение его от бессонницы, происшедшей от излишка совести, подарил мне баклажку, и я сей драгоценный эликсир берегу как наилучшее лекарство. Чтобы доказать, что не хвастаю, и поблагодарить тебя за два угощения, я попотчую тебя одним кубком, а больше не дам.

— И одного кубка довольно, — сказал пан Харитон, — чтоб судить о доброте твоего напитка.

Лекарь взял кубок, вышел и, вскоре возвратясь и подавая пану Харитону, с хвастовством сказал:

— Изволь-ка выкушать! Ты сознаешься, что во всю жизнь не пивал подобной сливянки!

Пан Харитон выпил кубок и, подумав несколько, сказал:

— Не знаю, что ты находишь тут отменного! Сливянка, как и все прочие сливянки!

— Так, на вкус; но действие, ах, действие! Ты скоро его почувствуешь!

И в самом деле сливянка весьма скоро взяла свою силу. Пан Харитон начал зевать, морщиться, потягиваться и говорить несвязно; спустя немного он с трудом произнес:

— Смерть как спать хочется, — и растянулся на лавке.

— Так-то и всегда надобно поступать с вами, сутяги, — говорил лекарь: — теперь и нехотя заплатишь за мои мази и примочки! — Вышел на крыльцо, он сказал сидевшему там слуге: — Скорее запрягай лошадей в повозку. Пан Харитон просил, чтобы, пока он отдыхает, съездил я в ближнее село за весьма нужным для него делом. Я умею править и один, а ты останься дома.

Лука без малейшего прекословия исполнил повеление и выпроводил лекаря за ворота, а сам, возвратясь к пану и видя, что он погружен в глубокий сон, присел к столу, убрал все недоеденное, выпил все недопитое и пошел на сеник — отдохнуть после дороги.

ГЛАВА XV

Мертвец

Глубокая тишина водворилась в доме Харитоновом. Рассеянное семейство его собралось воедино в противостоящем доме пана Хрисанфа и с робостью смотрело на окно своего дома; однакож ничего не видало, ибо пан Харитон пиршествовал с лекарем и после започивал в горнице окнами в сад.

После обеда множество приятелей и приятельниц собрались в доме Хрисанфовом, любопытствуя узнать, чем кончится

сей странный случай. Время проходило, а развязки не было. Тут Анфиза отправила посольство к приходскому священнику, прося его усиленно, вооружась приличным сану его оружием, предводительствовать ими при вступлении в дом свой. Сия духовная особа от природы была неробкого духа, а потому явилась у ворот дома Харитонова в сопровождении дьячка Фомы.

Все многолюдство, как бывшее в доме пана Хрисанфа, так и выстроившееся на улице, быв ободрено мужеством своего пастыря, предстало к нему кучею, и честный отец, облачась в святительские ризы, взяв в правую руку крест, а в левую курящееся кадило и возглашая приличное пение, первый вступил в покой. Хотя и заметно было некоторым, что голос его задрезжал и руки задрожали, однако это не мешало ему продолжать начатое. Вступив в храмину, где лежал, растянувшись на лавке, пан Харитон, он остановился, и все с ним бывшие побледили.

— Вот он, — сказал священник, — опять преставился и, вероятно, уже более не восстанет. — Он окадил его ладаном, трижды ознаменовал крестом, окропил его и всю комнату святою водою и сказал во услышание всем:

— Молитесь богу о упокоении души преставившегося, и бог его помилует.

Тут все лишние любопытные разошлись, ибо наступали сумерки, и нарочно приглашенные старухи опрытали тело покойного, одели в чистое белье и в любимую кармазинную черкеску, вынесли в самую большую комнату и уложили на столе, по углам коего горели четыре больших церковных подсвечника. Домашние удалились на покой, женщины все без изъятия — в комнату Анфизы, а мужчины расположились у Власа. Столькото страх обуял их.

Дьячок Фома, осушив из поставленной подле него сулеи добрую меру, богобоязненно возгласил: «Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых!» и так далее.

Долго занят был почтенный Фома тремя различными предметами: чтением, лобызанием с сулеею и зеваньем. Когда петухи первым пением возвестили полночь, то Фоме показалось, что покров на покойнике шевелится. «Вот дурачество! — сказал он про себя. — Неужели и я — полудуховная особа — уподоблюсь мирянам в невежестве? Никак! Никогда не скажу: я видел то, что мне только чудилось! Дай-ка поздороваться с сулеею».

Пан Харитон за четверть часа уже проснулся. Услыша бормотанье Фомы, он узнал, что тот читает псалтырь. Открыв до половины глаза и видя себя на столе под церковным покровом, а в ногах горящие светильники, он сейчас догадался, что его сонного сочли мертвым и готовили к погребению. По

своему крутому нраву он хотел было оторвать у дьячка пучок; но скоро отдумал, представя только, что он слушался повеления других и слушался охотно, потому что в сем состоит житейский доход его. Всех более винил он своих злодеев, панов Иванов, которые подложным письмом выманили его из города. Он, зная давнишнюю преданность к его дому всего причта церковного в своем приходе, никак не хотел думать, чтобы дьячок Фома решился изменить ему и написать от имени жены такую небывальщину. Посему когда Фома, поднося к губам сулею, возгласил: «Вечный покой душе Харитоновой!», то он ласково отвечал: «Спасибо, дружище!»

Кто хочет представить себе ясно тогдашнее положение жалкого Фомы, тот пусть на время вообразит себя на его месте. Бедняк оцепенел; пальцы рук его прикипели к сулее; он не мог даже дрожать: он только и чувствовал, что волосы головы его, собранные в пучок, трещали. Пан Харитон привстал и, видя его в сем горестном положении, сказал с улыбкой:

— Перестань, Фома, дурачиться! Разве и ты столько ошалел, что спящего человека почел за мертвого? Всему этому виною злодей лекарь, который, вероятно, подкуплен такими ж злодеями Иванами. Постой, постой!

Меж тем как пан Харитон, сидя на столе, повествовал Фоме последнее свое приключение, пришедший в чувство дьячок поставил сулею на стол и слушал его с разинутым ртом и устремленными взорами; проснувшийся на сеничке Лука вздумал проведать, что делается в панском доме. Вступив в большую комнату, он немало всполошился, увидев нечто непредвиденное: пан Харитон в праздничном наряде сидел на столе посередине комнаты, покрытый до половины церковным покровом; вокруг его горели четыре больших подсвечника; в головах лежала псалтырь; в заключение оторопелый дьячок Фома стоял у изголовья с испуганным видом.

— Подойди, Лука, — сказал пан Харитон, — и уверь неверного Фому, что я не воскресаю теперь из мертвых, а никогда еще и не умирал. В доказательство сего на первый случай... — Тут он протянул руку, взял сулею и мигом выдудил до дна. Сим неоспоримым доказательством не только жизненности, но и вожделенного здравия ободренный Фома воззвал:

— Что ж будем делать теперь, пан Харитон?

— А то, — отвечал сей, — на что будет воля божия. Прежде всего, Лука, ступай в погреб и принеси столько разноцветных сулей, сколько снести в силах. Если увидишь это сокровище за замком, то на такой случай есть полено — понимаешь?

Лука никуда так охотно не ходил, как в погреб, а особливо когда посылаем был от своего пана; тогда ему никто не указчик.

Отведывая каждую сулею, дабы узнать доброту вещества, в них заключенного, он прежде всех исполнился духа веселия.

Покуда Лука был в отлучке, пан Харитон слез со стола, снял с него погребальный покров, простыню и подушку и уложил в углу на лавке; дьячок усталил четыре свечника под образами и тут же уложил свою псалтырь; потом оба усталили стол на приличном месте, то есть у окон, и сели рядом. К общему удовольствию вскоре явился Лука с своею ношею и усталил ее на столе. Хотя пан Харитон и смекнул, что слуга прежде своего пана узнал вкус в наливках, и нахмурил было брови, но скоро лицо его прояснилось, и он сказал с усмешкой:

— Для такого великого праздника, каков есть день моего оживления, я тебя прощаю! Ступай опять на сенник и пробудь там до тех пор, пока я кого-либо не пришлю за тобою.

Сие вождеденное повеление исполнено было в великой точности. Пан Харитон запер обе двери из комнаты, и с гостем, усевшись на прежнем месте, принялся за кубки. Когда две только сулеи остались целыми, то пан Харитон принялся за разведывание о роковом письме, произведшем сию ужасную суматоху. Дьячок Фома клятвенно его уверил, что он не только ничего такого не писывал, но и во сне ему не грезилось.

— По всему видно, — вскричал он, заглаживая волосы назад: — что это чудное происшествие есть новая выдумка злокозненных панов Иванов, хотевших только удалить тебя из города, дабы на свободе удобнее действовать в свою пользу!

— В свою пользу? — сказал пан Харитон, качая головою: — клянусь целостью усов моих, что эта хитрость им не поможет! Сегодня воскресный день. Отслушаю обедню, отслужу молебен ангелу-хранителю и пушусь в город. Пусть некоштные паны Иваны не веселятся: сотник и дьяк на моей стороне — чего ж трусить?

ГЛАВА XVI

Набожные

Посреди сих разумных разговоров они провели немало времени, строя замыслы, каким бы новым удалством озлобить врагов своих, не навлекая, впрочем, на себя излишних хлопот, как вдруг красноречивый дьячок воззвал:

— Восхвалим господа во псалтыри и гусях, и той вразумит ны на дела благая! — Он схватил с восторгом псалтырь, раскрыл и, указывая перстом на лист; сказал; — Что может

быть приличнее теперь, как возгласить первый псалом? Он как будто нарочно для тебя был писан. Ты тот блаженный муж, иже не идет на совет нечестивых. Одолеем же по кубку и примемся за славословие.

Пан Харитон наполнил кубки; они их осушили, утерли усы и, глядя один на другого, заревели: «Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых!» Рев сей разлился по всему дому; все проснулись. Никто сначала не понимал, что б это значило; но вскоре все ясно отличили голоса дьячка и пана Харитона. Ужас объял душу каждого. Все трепетали и жались одни к другим, а особенно на женской половине, подобно овцам при появлении волка.

Завывания пана Харитона с каждою новою минутою становились явственнее, ужаснее; голос дьячка Фомы, громогласию коего все прихожане удивлялись, когда он восклицал на крылосе, казался теперь еще чуднее. Все окостенелыми руками крестились и, не могли двигать онемевшими языками, мысленно молились.

— Он, видно, начал с дьячка, — сказала наконец шопотом Анфиза: — уже с час прошло, как начал душить его мертвец, но Фома не очень поддается.

— Однакож, — заметила трепещущая Раиса (обе дочери лежали подле нее на постели, а служанки на полу), — примечай, матушка, Фома начинает ослабевать: голос его едва слышен!

Все утихло. Бедные женщины отдохнули и свободно перекрестились.

— Слава богу! — сказала Анфиза довольно громко, — видно, он удовольился одним дьячком и улегся. Ах, если бы поскорее настал день! Как только отойдут обедни, сейчас окаянного в могилу и на место креста воткнуть на ней большой осиновый кол.

Однакож это молчание было не что иное, как отдых славословящих. Они между тем наполнили кубки, выкушали степенно до дна и, почувствовав новые силы и новую бодрость, что было в них духу возопили: «Не чувствует твоя милости окаянный».

Новый ужас потряс все члены бедных женщин (о мужчинах я не упоминаю, потому что чувствование и положение матери с дочерьми для меня занимательнее, чем положение сына со слугами), и Анфиза со стоном произнесла:

— Ему угомону нет! О господи! Когда мы бедные дождемся дня?

— Ему легче, — заметила Раиса: — он теперь нажил себе товарища. Разве не слышишь, матушка? Удавленный дьячок Фома также ожил и вместе с ним богохульствует?

— Да, слышу. О горе!

Таким образом, с одной стороны, громогласное славословие, с другой — страх и трепет продолжались до восхода солнечного. День, как сказано, был воскресный, и всякий хотел управиться в домашнем быту до обеда. Идущие на рынок и возвращавшиеся с оного, слыша возгласы дьячка и мертвеца, с ужасом останавливались и крестились. Это нимало не смущало моих возгласителей, а, напротив, придавало им новый жар.

Вдруг слышат они сильный стук у дверей от передней комнаты, и пан Харитон, будучи гораздо крепче на ногах, нежели его товарищ, подошел к двери и открыл ее настежь. Впереди стоял священник с поднятым вверх большим медным крестом, подле него находился дьячок Уар с дымящимся кадилом; за ними непосредственно следовали шляхтичи с возрастными сыновьями, а воинство сие заключалось шляхтянками с их дочками, в середине коих отличались Анфиза и ее прекрасные дочери, все три утопающие в слезах.

Пан Харитон, окинув всех одним взглядом, пришел в большой восторг и возопил: «Вскую смятошася языцы, вскую почашася тщетным?» Самые храбрые вздрогнули и на шаг отступили. Священник, не теряя своей важности, столь свойственной его сану, возопил:

— Петел трикраты возгласил; солнце воссияло на тверди; злые духи исчезли от лица земли; исчезните же и вы, силы вражьи, духи буйные и пытливые, оставьте бездушные тела пана Харитона и задавленного им дьячка Фомы, коими завладели есте, и низвергнитеся во преисподняя земли!

Тут он сотворил крестное знамение, вошел в комнату, а пан Харитон, пораженный его словами и движениями, пятился назад до самого стола, не зная, что ему делать. Наконец врожденная вспыльчивость, необузданность нрава мгновенно в нем пробудились; он сел на скамье и сказал велогласно:

— За здравие ваше, честные посетители! Но как я, по милости проклятого лекаря, спал целый день до самой полуночи, то мне и можно бодрствовать. Товарищ мой во псалмопении не спал всю ночь, так видите — глаза его слипаются, и язык не ворочается. Пора и ему отдохнуть. Отец Егор! Прошу из церкви прямо ко мне; вы также, добрые приятели, в этом мне не откажете. Анфиза, Раиса, Лидия! Что вы там прячетесь? Постарайтесь, чтобы всего и для всех было довольно, а я иду в сад поразгуляться.

Неожиданные вести

Держа под руку ошалелого дьячка Фому, пан Харитон проходил сквозь ряды недоумевающих, ласково раскланивался с шляхтичами и шляхтянками, обнял жену и дочерей, бывших вне себя от радости, и уплелся в сад, наказав, чтоб его не тревожили. Все разошлись кому куда надо было, а семейство пана Харитона занялось приготовлением праздничного обеда.

День клонился к окончанию; но веселье в доме гостеприимного хозяина не уменьшалось. Великое множество посетителей не было в тягость. Он угощал мужчин, жена его женщин. Пан Харитон водил гостей по саду, хотя сентябрьские ветры пообили уже наполовину древесных листьев; по гумну, где вычислял, сколько каждый стог ржи даст ему пеннику; по скотному двору, где имел случай похвалиться быками и коровами, козлами и баранами. Его супруга из окна показывала приятельницам толпы кур, гусей, уток и индеек, повествуя о нраве и привычках каждого петуха и каждой курицы. Не утешно ли это?

Когда все собрались опять в комнату, где стол уставлен был корчагами с дымящеюся варенухой, и гости и хозяин поставили где попало свои кубки, услышали во дворе стук колес и лошадиный топот, и вскоре является в собрание человек низменный лет пятидесяти, но зато довольно пространный в чреве и широкий в раменах. Лысина его светилась, как полный месяц. Кто ж был этот гость? Писец сотенной канцелярии пан Анурий. Все из почтения привстали, а хозяин, ласково обняв его, усадил на своем месте и предложил свой кубок с варенухой. Все глядели ему в глаза, ловили каждое слово и хохотали, когда сей глупец улыбался своим выдумкам. Когда три кубка перелились в его утробу, то он, избоченясь, произнес:

— Что дашь, пан Харитон, за добрые вести, привезенные мною из города? Сам сотник, отдавая мне сверток бумаг, сказал: «Поезжай, дружище, и бумаги сии отдай самолично пану Харитону». Из сего заключаю, — продолжал Анурий, — что они благоприятны, ибо в заключениях никогда не обманываюсь.

— Понимаю, понимаю! — сказал пан Харитон и с улыбкой вышел.

Едва успел пан Анурий управиться с четвертым кубком, как пан Харитон явился с дарами и предложил ему новую шляпу из лучшей коровьей шерсти, новые сапоги, напитанные самым чистым дегтем, и глиняную трубку работы первого гончара в Полтаве. Пан Анурий принял благосклонно подносимое и бросился к своей одноколке для укладки; после чего, вошед

в собрание с большим запечатанным свертком бумаг; учтиво подал оный пану Харитону и уселся на прежнем месте. Пан Харитон, просмотрев бегло каждый лист, сказал:

— У меня после случившихся тревог глаза что-то мутны; потрудись, пан Анурий, сам прочесть. Определение сотенной канцелярии не есть тайна.

Пан Анурий с важностью взял бумаги, вынул определение, надел очки и начал читать.

ГЛАВА XVIII

Примерное решение

«Пан Харитон Заноза жалуется, что паны Иваны, Зубарь и Хмара, сожгли у него голубятню и с голубями, коих было более двух сот; а паны Иваны доказывают, что у старшего из них истреблена пасека, в коей было не менее пятидесяти ульев.

Сотенная канцелярия, по долгу своему вникнув в сии обстоятельства, определяет:

1. Предположа, что у пана Харитона при сгорении голубятни погибли все голуби, коих было счетом более двух сот, то есть двести один, то, назнача высшую цену за каждого по полушке, выйдет убытку на пятьдесят копеек с полушкой. Но как паны Иваны клятвенно уверяют, что в пищу употребили только двадцать птиц, следовательно, настоящего, чистого убытку принесли на пять копеек, прочие же голуби частью разлетелись, частью сгорели. А как никто ни одному голубю не связывал и не обрезывал крыльев, то и прочие могли улететь: итак, они изжарились по доброй воле.

2. У пана Ивана старшего истреблено пятьдесят ульев, и по теперешней поре наполненных сотами. По справочным ценам каждый таковой улей стоит шестьдесят копеек: итак, всего убытку выйдет на тридцать рублей. Исключая из сей суммы пять копеек, пан Харитон причинил пану Ивану старшему истинного убытку на двадцать девять рублей девяносто пять копеек, каковые деньги в течение трех дней и должен непременно выдать писцу Анурию. Для необходимых расходов сотенной канцелярии удержится двадцать восемь рублей девяносто пять копеек, затем остающийся целый рубль имеет быть выдан пану Ивану старшему с распискою».

Кто опишет бешенство пана Харитона! Он ломал на руках пальцы, стучал в пол ногами и страшно поводил глазами. Наконец вскочил как отчаянный, подбежал к изумленному писцу,

выхватил роковое определение, изорвал в лоскутки и кинул в глаза послу сотенной канцелярии. Со всех сторон раздался шум и ропот. Пан Харитон ничему не внимал; он вопиал, оборотясь к писцу:

— Зачем же вы разъезжали на лошадях моих? А? Зачем орали землю моими волами и засевали ее моими семенами? А? Зачем пожирали моих овец и баранов и из шкур их делали себе шубы? А? Зачем брали у меня деньги, душегубцы, бездельники, разбойники? Зачем выманивали у меня деньги, говорю я, когда не хотели держать мою сторону? А?

С этим словом — к ужасу всех гостей и семейств их, ибо на громopodobный рев пана Харитона сбежались все жены и дочери собеседников, — он поволок пана Анурия за ворот, вытащил на двор, схватил в охапку, стукнул в одноколку, подал вожжи в руки сидящему и, дав две добрые подзатыльщины, схватил с земли березовый сук и начал поражать им то лошадь, то Анурия. Бедное животное, сколько было в нем силы, бросилось со двора на улицу, а пан Харитон, туда же выскоча, кричал вслед писцу:

— Скажи дураку-сотнику и бездельникам — членам сотенной канцелярии, что они беззаконники и что я завтра же еду в Полтаву — позываться с ними в полковой канцелярии.

С бледным лицом, с сильно бьющимся сердцем вошел пан Харитон в палату пиршества и сильно огорчился, увидя, что все гости стояли со шляпами и палками в руках.

— Что такое, паны! — вскричал он: — неужели появление негодяя Анурия может погубить наш вечер? Пустое, друзья мои! Повеселимся сегодня; ибо, может статься, мы долго не увидимся. Завтра отправлюсь я в Полтаву, где и буду позываться с нашею сотенною канцеляриею.

Услыша такую отчаянную мысль, все ахнули и уставили на него любопытные взоры. Анфиза заплакала и сказала своим приятельницам:

— Лучше бы ему не оживать сегодня, чем наделать столько бед! Шутка ли — канцелярскому писцу надавать подзатыльщин и с дюжину ударов по спине орясиной? Можно ли позываться ему с целою сотенною канцеляриею, когда не сладил с двумя Иванами, простыми шляхтичами? Одна беда, да и только!

Гости стояли в недоумении, уйти ли им или остаться, как новое зрелище решило их сомнение: четыре полные корчаги варенухи несены были с подобающим торжеством. Густой благовонный пар, клубом вившийся из их отверстий, коснулся нежного их обоняния; шляпы и трости уложены по скамьям, пиршество возобновилось и продолжалось гораздо за полночь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Дон Кихот в своем роде

На другой день пан Харитон оделся по-дорожному и приказал домашним снаряжать его в дальний путь, где, по всему вероятно, пробудет он немало времени. Когда вздыхающая Анфиза с дочерьми и несколькими служанками начала увязывать узлы, пан Харитон с трубкой в зубах вышел на крыльцо и просвистал три раза: на сей обычный знак прибегает Лука и ждет приказаний.

— Что же не подвезена кибитка! — вскричал сердито пан: — разве я не говорил тебе вчера, что сегодня еду в Полтаву позываться?

— Во-первых, — отвечал слуга, — ты об этом ничего вчера не приказывал; а во-вторых, хотя бы и сто раз приказывал, то все было бы то же.

— А почему?

— Потому что лекарь, уехав куда-то в твоей кибитке и на твоих лошадах, до сих пор еще не возвращался.

Пан Харитон задрожал от гнева, и трубка выпала из рук его.

— Кто ж тебе, бездельник, говорил, что я поручал лекарю ехать куда-нибудь по делам моим?

— Он сам это сказывал!

— Вот тебе и на!

Пан Харитон поднял с земли трубку, сошел с крыльца и начал шагать по двору, заглядывая всякий раз в сарай, когда проходил мимо оногo, и, не видя ни щеголеватой кибитки, ни двух надежных коней, приходил час от часу в большее бешенство. «Что начать в таких сомнительных обстоятельствах? Позываться? Нет возможности! Озлобленный писец Анурий из кожи вылезет, только б обвинить меня! Попросить у кого-либо из приятелей напрокат? Но дал ли бы я сам кому-либо кибитку в столь дальнюю дорогу! Опять просить? Стыдное дело! Покориться лекарю, заплатить за лекарства и возратить похищенное имущество? Нет, нет! Это будет знак, что я сознаюсь в своей несправедливости; а родить такую мысль в умах соседей, а особливо панов Иванов, мне пуще ножа острого! Однакож что-нибудь делать надобно!»

Пан Харитон продолжал расхаживать по широкому двору, углубясь в размышления; вдруг впадает ему на ум счастли-

вая мысль, и он останавливается. «Так! — вскричал он, — точно так и я сделаю, никому не кланяясь. Сколько я перечитал книг в моей молодости! «Бова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Петр — Золотые ключи» и многое множество других. Уж они ли — князья и царевичи — не могли иметь хороших кибиток для своих разъездов, а посмотришь на картинки, все они путешествуют верхами и большею частью на прескверных клячах. Пан Демьян давно зарится на двух моих жеребчиков; не поменяется ли он со мною, уступив за них своего иноходца и старую кобылу? Пожалуй, я продам еще козла и барана!»

Утвердясь в этих мыслях, он обыкновенным знаком, то есть свистом, подзывает Луку и велит возок свой, в коем вывозили со двора всякий сор, вымыть хорошенько и колеса смазать; потом входит в покой и объявляет жене и дочерям, что будет обедать дома и притом с гостем. Сделав домашний распорядок, он шествует к пану Демьяну и находит его в огороде, занятого сшиванием тютюна в папуши. Начались торговые переговоры и продолжались немалое время; наконец дело приведено к концу: иноходец и кобыла уступлены пану Харитону за двух жеребчиков с придачею старого козла, столь необходимого для конюшни, где стоят молодые лошади. Тогда же новое приобретение пана Харитона отведено в дом его, оттуда взято возмездие, и как скоро пан Демьян управился с тютюном, то и потекли к обеду нового путешественника, куда предварительно приглашен был и священник с причтом. Распространяться нечего.

По окончании трапезы и по получении благословений пан Харитон простился с рыдающим семейством, взмолился на иноходца, перекрестился и, утирая кулаком слезы, вскричал на лошадь: «ну!» и огрел ее плетью по боку. Бедное животное вздрогнуло и затрепало ушами, не чувствуя на спине своей такой тяжести и не получая других знаков к усугублению хода, кроме движения уздою; получив новый удар и услышав новое: «ну же, волк тебя съешь!», выступило вперед с такою кротостью, с таким непамятозлобием, что сам пан Харитон умилился и дал слово сколько можно реже прибегать к посредству плети, а довольствоваться сим одним многозначащим: «ну!»

Лука, сидя на козлах возка, в коем находилась вся нужная поклажа, не столько был нежен, как господин его: он вооружился длинною дубиною, и с каждым восклицанием: «ну!» бедная старуха чувствовала, по крайней мере, два ловких удара по репице. Она вертела хвостом, скалила зубы, хотела выступать посмелее — и спотыкалась. В таком-то торжестве пан Харитон выехал из села Горбылей и направил шествие по дороге к Пол-

таве. Хотя в городе сем не бывал он никогда, но помня пословицу: язык и до Киева доводит, не унывал нимало.

Оставим его покуда в сем гигантском предприятии, которое Ивану старшему казалось крайне отважным, а младшему даже отчаянным, безумным, и обратимся к сим последним, коих мы давненько оставили, занявшись делами отважного пана Харитона.

ГЛАВА II

Новые поводы к тлжбе

Одержав столь знаменитую победу над злейшим врагом своим по делу о сожженной голубятне и истребленной пасеке, паны Иваны с торжеством ехали из города в свою обитель, как на середине дороги у корчмы увидели они одноколку и тотчас узнали, кому принадлежит она.

— Вот кстати, — сказал Иван старший: — возьмем у Анурия принадлежащий нам рубль и хорошенько его попотчuem.

Вошед в сборную комнату, они и подлинно увидели пана Анурия за столом, сидящего у сулей, в самом пасмурном положении.

— Что такое, пан Анурий? — вскричал Иван старший: — сулей у самого рта и печальный вид — это что-то не клеится. Жид! Подай-ка еще две сулей с чем хочешь, только бы с самыми лучшими думами! Право, ты, пан Анурий, великий делец и весьма проворен! Возможно ли только в такое короткое время управиться с такою буйною головою, какова у негодного Занозы!

— И подлинно управился! — сказал Анурий с горькой улыбкой и, налив кубок, пил из него с приметным неудовольствием.

Паны Иваны диковину сию заметили с удивлением, приступили с расспросами, и Анурий рассказал все подробно. Выслушав с подобающим вниманием о сем приключении, от существования Малороссии неслыханном, паны Иваны сердечно возрадовались, и старший всплескал руками. Анурий показал весьма недовольный вид и спросил:

— Неужели вы, коих я считал моими друзьями, можете радоваться, что затылку моему достались оплеушины, а спине полновесные удары дубиною?

— Никак, — отвечал Иван старший: — мы радуемся и веселимся не тому, что именно тебе, нашему другу и ходатаю, достались славные побои, но тому, что они даны именитому писцу сотенной канцелярии дерзкою рукою злобного Занозы.

Мы надеемся, что сие злодеяние скорее его доконает, чем застреленные кролики, перебитые гуси, утки, овцы и, наконец, — истребленная пасека! Шутка ли только! Пану Анурию, мужу, поседевшему и оплешивевшему среди бумаги, чернил и перьев, надавать подзатыльщин и раз десять огреть орясиной!

— Ровно двенадцать раз огрел он, — отвечал надменно пан Анурий, — а в тринадцатый замахнулся и хотя сделал промах, но все его должно счесть за удар. Притом же при бесчисленном множестве шляхтичей и шляхтянок он поносил самыми бесчестными ругательствами сотника и всю сотенную канцелярию; волок меня через всю комнату, что все равно как через весь дом, за ворот, который достаёт, как видите, до затылка, а потому все равно как бы волок за чуб. О паны Иваны! Если вы тому радуетесь, что Харитону Занозе достанется за это богопротивное дело с лихвою, то мне это любо! О! Если б у него было и вдвое имения более, нежели сколько он имеет, то и его было бы недостаточно заплатить мне за бесчестье и увечье. Нет! Надобно будет ему познаться с городской тюрьмою и отведать, какой вкус имеют черствый хлеб и пресная вода. Вот вам рука моя, что это сбудется, и притом скоро.

Паны Иваны расстались с приятелем и возвратились в свои дома. Там подняли такое ликованье, как бы сделали и бог знает какое приобретение. Пан Харитон узнал о сем от своих приятелей и скрежетал зубами. Некоторые друзья усердие свое и преданность к другу доказывают тем, что безрассудства его не только извиняют, но еще всеми силами стараются подстрекнуть его к настоящим безумствам, кои носят уже ужасное имя беззакония: так-то и с паном Харитоном. Он выехал из села Горбылей в Полтаву весьма пасмурен и дик и лишь очутился на выгоне, то представились ему принадлежащие панам Иванам две ветряные мельницы в полном действии. Он подъехал ближе и остановился. Приехавшие с возами ржи и пшеницы крестьяне, сидя кружком, курили тютюн и рассказывали друг другу чудные были, кому-либо из них на роду приключившиеся; внутри мельницы раздавались веселые завыванья мельника. Для всякого другого путешественника сия сельская картина показалась бы забавною; но пан Харитон, смотря на нее, повергся в большую мрачность и дал в духе своем место духу злобы и мщенья. Он поехал далее и в первом переселке остановился под предлогом отдыха. Лошади пущены были на траву, а пан и его слуга разлеглись в тени древесной. Мог ли пан Харитон спать спокойно, когда ужасная мысль: «ненавистные паны Иваны торжествуют!» ежеминутно раздирала его сердце. Раз двадцать спрашивал Лука, не прикажет ли впрягать кобылу и седлать иноходца, и всегда получал в ответ: «погоди!» Наконец настали сумерки глубокие, и пан Харитон вскочил с одра зеленого.

— Впрягай кобылу в возок и седлай коня, — сказал он слуге, — и жди меня здесь. Мне нужно на несколько времени отлучиться; но я скоро буду.

Он скорыми шагами пустился — кто не отгадает, куда, — прямо к мельницам. Достигнув своей цели, он не видал уже ни одной души живой. Предварительно собрано им в поле и снесено к обеим жертвам его ненависти множество сухого хвороста, сена, соломы и прочего дрязгу. Потом, высекши огня в трут, положил его в горсть сена и начал со всей силы махать рукою, в коей заключалась сия искра, а вскоре произвел пламя. Тогда, сунув клочок сей под главное мельничное колесо, начал подкладывать собранные им припасы и когда увидел, что огонь коснулся строения и оно задымилось, то он часть горевших веществ сообщил и другой мельнице и, отошед саженой на сто вперед, остановился, дабы полюбоваться плодом своей храбрости. Пламень скоро охватил обе мельницы; но никто из горбылевских жителей, спавших глубокоим сном, о том и не подумал. Пан Харитон, видя, что мщение его в полной мере удовлетворено будет, пошел спокойно к своему становищу. Он, взмогшись на иноходца, а Лука, усевшись в возок, поплелись далее, пан Харитон — произнося громкие проклятия против панов Иванов, а слуга — посылая в преисподнюю его самого за неуступчивость в неправом деле.

Оставим сего богатыря, странствующего со своим оруженосцем в Полтаву, чтобы сражаться! О, нет! Его подвиг гораздо опаснее! Он едет позываться с сотенною канцеляриею! Не всякий ли, знающий в делах смету, согласится, что в случае его победы он должен признан быть славнее, чем Добрыня Никитич, низложивший волшебного исполина Тугарина!

ГЛАВА III

Выгодная промышленность

Понутру на другой день все в Горбылях узнали о новой пакости, сделанной панам Иванам, и не только они, но и никто в целом селе, не исключая и самого семейства Харитонова, не предполагали, чтоб то не было дело сего раздраженного пана. Оба Ивана смотрели один на другого молча, качали головами, пожимали плечами, и наконец старший из них прервал молчание, вскричав:

— Нечего делать! Надобно опять позываться!

— А с кем изволишь? — спросил хладнокровно Никанор (ибо и сыновья приглашены были на важный совет): — известно,

что пан Заноза теперь на пути к Полтаве, где будет позываться со всею сотенною канцеляриею.

— Моя мысль та, — молвил Коронат, — чтобы до времени оставить все дальнейшие разыскания и вражды и спокойно дожидаться, какой оборот примут дела в Полтаве. Если посчастливится там Занозе, то нам лучше покуда замолчать; если ж и там прижмут его, тогда уже наверное можно позываться с ним не без успеха.

Паны Иваны, хотя не без неудовольствия, должны были согласиться с мнением сыновей своих, тем более что они не теряли сладостной надежды позываться, коль скоро в Полтаве подпилят рога бодливому пану Харитону, а что это сбудется, тому они со всем усердием верили и от чистого сердца желали, чтоб сие скорее исполнилось.

Глубокая осень наступила, и все двигавшееся по земле засело дома. Влюбленные не меньше прежнего философы давно уже не наслаждались объятиями прелестных супругов своих; единственное удовольствие, коим еще могли они пользоваться, состояло в том, что в праздничные дни удавалось им беспрепятственно смотреть на них в церкви, делать кое-какие знаки и взаимно вздыхать: бедное утешение для тех любовников, которые испытали уже сладостнейшие восторги в объятиях своих любезных. Они составили совет, долго думали да гадали и наконец решились пожертвовать частию своей тайны, только бы удовлетворить пламенным своим желаниям. Какое ж было заключение сего совета?

К известному уже нам обширному саду Харитона, где любезные сестры в первый раз осмелились припасть к грудям пламенных юношей и трепещущими губами прошептать волшебное слово: «люблю!», примыкался небольшой огород некоего Кирика с Улиткою. Сей Кирик был прежде достаточный шинкарь и жил без нужды. Одно только обстоятельство огорчало его, иногда приводило даже в гнев и бешенство — он был бездетен, хотя Улитта считалась самою дороднейшею шинкаркою в целом селе. К чему только не прибегал наш чадолюбец, все тщетно! Все знахари, колдуны и колдуньи горбылевские были призваны, даримы и потчуеты; кормили и поили Улитту всякою всячиною — все по пустякам; и когда исполнилось ей пятьдесят лет и она лишилась даже признаков, по коим до того времени все еще надеялась быть матерью, то и знахари и колдуны от нее отступились, и Кирик погрузился в уныние: сей тяжкий грех тем опаснее, что от размышления час от часу увеличивается и может кончиться настоящим сумасшествием. Кирик, дабы предостеречься от сего угрожающего ему несчастья, последовал мудрому совету знахарей и начал заглядывать в расставленные на прилавке кубки. Скоро лекарство сие так ему понравилось, что чаще стал сам лечиться от недуга и уныния, чем лечить

других. Когда, бывало, ни усматривал он на улице мальчика или девочку, всегда приходил в исступление и бешенство; но как скоро из первопадающей сулеи выцеживал столько, сколько мог не переводя духа, то ему становилось легче. Когда мимо окон его проходила беременная женщина, он опрометью выбегал на двор; жена его, зная, что это значит, кидалась к прилавку, и лишь только являлся муж с поленом в руках, она шла ему навстречу с самою огромною бутылкою; Кирик останавливался, улыбался, кидал оружие свое на пол и с родительскою нежностью принимал бутылку из рук жены в свои объятия, лобызался с нею и проливал слезы умиления. Чтоб еще более предохранить себя от нападков злого духа уныния, Кирик повадился посещать вечеринки, где сельские красавицы, сидя за прялками и пяльцами, исподлобья поглядывали на сопредельствующих молодых и обрекали себе суженых. В такие горбылевские пафосы и молодые щеголи не дерзали являться без приличных подарков, если не хотят быть осмеянными, то старому ли Кирику явиться туда с пустыми руками? Он знал смету, и когда ни вступал в хранину веселия, молодежь радостно вскрикивала; ибо все наперед знали, что руки и карманы шинкаря нагружены хорошими наливками, лентами, шурками, перстеньками и проч. и проч. Веселье делалось общим и обыкновенно продолжалось до первых петухов. Такая блаженная жизнь, конечно, может прогонять всякого злого духа, а не только уныния; но надолго ли? Кирик после двухлетней борьбы с сим врагом душевным и не заметил, что на прилавке его все сулеи и бутылки пусты, а наполнить не из чего, ибо в бочках не было ни капли, а в сундуке ни полунки. Нечем уже было лечиться, и злобный, раздраженный дух явился к нему с сугубою яростью.

В сем-то положении находились дела Кирика и Улитты, как предстали пред них наши влюбленные витязи и со всею осторожностью, взяв предварительно клятву в совершенном молчании, вверили им драгоценную тайну свою и, обещая восстановить прежнее их благосостояние и довольство, просили до наступления будущей весны отдать в распоряжение их чистую половину дома, состоящую из двух горенок. Сначала хозяева изъявили некоторое опасение, зная твердо, каков пан Харитон; но когда Никанор высыпал из кошелька на стол сто золотых, то и робкий дух опасения убежал от них столь же проворно, как прежде бегал дух уныния, видя прикосновение к сулее губ Кириковых. Дело скоро полагено, и Улитта взяла на себя труд уведомить сестер о новом для них приюте. Кто может быть в подобных случаях лучшею Иридою, как не опытная шинкарка? В тот же вечер Улитта посетила Анфизу под предлогом, что муж ее хочет опять приняться за прежний торг, и потому если у них есть продажное вино, то он купит две или три бочки по весьма

выгодной для них цене. Анфиза хотела спросить о том у своего винокура и вышла: тут-то честная Улитта имела случай и время подробно объясниться.

Сначала робкие красавицы испугались и изменились в лицах; но скоро красноречие шинкарки, а гораздо более собственное влечение сердец, воспоминание прежних восторгов любви совершенно их убедили: они ощутили в душах своих неизъяснимую бодрость и взяли на себя искать способов при всяком удобном случае погуливать в дом ее.

ГЛАВА IV

Тайна не утаилась

Могли ль милые сестры не сдержать своего обещания? Кто опишет общую радость, наслаждение, упоение, когда обе юные четы сплелись руками, прижались один к другому и соединили вместе пылающие губы! Кто не отгадает дальнейшего?

Юность во всем бывает беспечна, а особливо если любовь накинёт на глаза ей свой ослепительный покров. Однакоже вся осень и часть зимы прошли весьма спокойно. Студенты имели полную волю быть там, где хотели, и отлучаться от домов своих на столько времени, как им приходило на мысль; но нежные сестры были в других обстоятельствах. Они, по званию девиц и притом именитых шляхтянок, не иначе могли выйти куда-либо, как с согласия матери. Однакож за сим в главном предмете помешательства не было. Они просились то к заутреням, то к вечерням, куда мать их, по причине слабости здоровья, с некоторого времени уже не ходила; а вместо того всякий раз поспешали к хате Кириковой, где, по условию, мужья их ожидали. Сии последние очень хорошо знали, что верность хозяина и хозяйки зависела от их чивости, и потому время от времени из их карманов выкатывались по нескольку золотых; а как скоро целая неделя проходила без сего жертвоприношения, то Кирик и Улитта не так-то усердно им прислуживали, и нередко в откупных горенках было так же холодно, как и на улице. Но что значит самый трескучий мороз для сердец, в коих пылает пламя любви? Мужья-любовники в таких случаях отогревали руки, щеки и губы своих прелестниц жаркими поцелуями, и никто не чувствовал стужи. Хотя они и не упрекали своего Филемона и его Бавкиду за худое гостеприимство, но сии время от времени делали явные намеки и не уставали говорить похвальные речи любезной добродетели — щедрости и предавать проклятию гнусный порок — скупость. Где же бедным философам достать

столько денег, чтобы ненасытный шинкарь и жена его могли быть довольны? Они выпрашивали у отцов и матерей; но и сии, как уже известно, не столько были богаты, чтоб могли каждодневно на прихоти сыновей кидать по несколько золотых. Такое мотовство могло бы со временем разорить их не меньше, как и непрерывные позыванья.

Паны Иваны держали тайный совет и, утвердясь, что тут не без пашней, положили в сем удостовериться и, смотря по обстоятельствам, принять нужные меры для извлечения молодых ученых из когтей демона сластолюбия, которого считали злее и опаснее самого духа позыванья. Вследствие сего они решились сами, никому не доверяя в таком важном деле, преследовать сыновей во время частых их отлучек и открыть истину. Чтоб вернее достигнуть своей цели, они притворились совершенно невнимательными, слепыми, между тем как смотрели в оба глаза. Скоро удалось им проникнуть, а после увидеть, что Никанор и Коронат посещали бедную хату шинкаря Кирика.

— Что бы такое нашим шалунам делать у таких людей? — сказал запальчиво пан Иван старший: — неужели находят они удовольствие пить вместе со всякою сволочью; или старая толстая Улитта...

— Пустое, брат, — отвечал значительно Иван младший: — ни тому, ни другому нельзя стать; а вернее всего, что хата Кирикова есть сборное место.

— А вот увидим!

В первое после сего разговора воскресенье, когда оба семейства праздновали в доме Ивана младшего, в послеобеденное время Никанор и Коронат, с полтавскою выступкою каждый подошед к отцу, без обиняков попросили денег. Старики сначала несколько упорствовали, но после отсчитали сынкам — сверх ожидания — по пяти золотых. Ученые были в восторге и не знали, чему приписать такую щедрость. Наступили сумерки, и философы скрылись, а оба Ивана будто того и не заметили.

Спустя час они объявили женам и детям, что хотят посетить друга своего пана Агафона, взяли в руки по палке и пустились к хате Кириковой. Вошед в сени сколько можно тише, они услышали разные голоса и сейчас отличили Никанора и Короната, но никак не могли дознаться, чьи бы отдавались звуки голосов женских. Со всевозможною осторожностью ощупали они дверь, мгновенно ее отворили и быстро вошли в комнату. Боже! Что они увидели! Никанор и Коронат сидели у стола, держа каждый в объятиях по девушке, и эти красавицы были — о ужас! — Раиса и Лидия, дочери заклятого злодея их, пана Харитона! Любовники и любовницы сидели как окаменелые; но и старики не в лучшем были положении. Они все и невесть сколько времени оставались бы безгласными и бесчувственными, если бы появле-

ние Кирика и Улитты не разбудило их от смертного сна сего. Пан Иван старший очнулся первый и возгремел:

— Так-то вы, честные люди, разживаетесь? Такими-то средствами опять появился в хате вашей опустевший шинок? Вот мы вас!

С сим словом он возвысил длань и со всего размаху поразил увесистою палицей по спине Кирика, а друг его, привыкший с малых лет во всем ему последовать, такую же честь оказал Улитте. Устрашенные хозяева опрометью бросились, а паны Иваны устремились за ними с поднятыми вверх палками, произнося проклятия и угрозы.

— Теперь и наша очередь! — сказал Никанор, встал и с подрукою своею пошел быстро; Коронат с своею любезною следовал по пятам его. Когда дошли они до ворот дома Харитоновна, то сестры тяжело вздохнули, и Раиса, сжав Никанора в своих объятиях, произнесла сквозь слезы:

— Ах! Что с нами будет!

— Не печалься, моя милая, — отвечал философ: — ведь этому когда-нибудь надо же было случиться; а чем скорее, тем лучше. В настоящем положении долго пробыть нам нет возможности. Спящая доселе мать ваша должна проснуться, по крайней мере тогда, когда услышит болезненный стон ваш и на прелестных грудях ваших увидит милых малюток; а до этого времени, по собственным приметам вашим, остается только три месяца. В начале любви нашей вы обе — милые сестры — верили словам моим и нас обоих ошастливили; верьте же и теперь, что вся жизнь моя и жизнь моего друга посвящены будут на доставление вам постоянного счастья. Вы должны радоваться, что отцы наши заблаговременно узнали нашу тайну и тем подали теперь повод к особенной деятельности.

Они простились с нежностью и, следуя давно уже обдуманному предприятию, бросились в дом одного из своих сверстников, оседлали приготовленных коней, вскочили на них и быстро выехали из села Горбылей, несмотря на крепкий мороз и резкий ветер.

ГЛАВА V

Жалкая мать

Мы оставили панов Иванов в погоне за Кириком и Улиттою. Они и настигли их в кухне, где палочные удары посыпались на бедняков градом. Тщетно они вопияли, тщетно клялись в своей невинности; паны Иваны более верили глазам своим, чем клятвам виноватых, и продолжали до тех пор доказывать им

крепость мышц своих, пока не устали. Тут Иван младший — как искусный законник — начал допросы и требовал объявить время, когда началось это дьявольское знакомство.

— Милосердые паны! — возвала Улитта со стоном и слезами: — скажу вам всю истину, какой ни одна ворожея, ни одна цыганкани сказывала. Знакомство сыновей ваших с красавицами началось не у нас в доме, а где именно, мы не знаем. Я не иначе склонилась на представление мужа, чтобы на время эти горенки уступить молодым шляхтичам, как очевидно уверилась, что девицы были несколько торопливы и прежде времени захотели быть матерями. Лишней порчи не будет, сказала я, и мы склонились на их просьбу. Они проводили здесь вечера с общим удовольствием, и мы — как добросовестные шинкарь и шинкарка — не больше от них получали, как сколько нужно было на отопление и освещение тех горенок: ведь не разоряться же нам для чужой потехи!

Паны Ивановы, удовольствуясь на сей раз объявленную расплату за услугу добросовестного шинкаря и его супруги, возвратились в дом Ивана младшего и заперлись в особой комнате. Они довольно долго молчали, взглядывая один на другого весьма пасмурно. Иван старший прервал молчание восклицанием:

— Ах, господи! Могли ли мы ожидать этой новой бури? Правда, несколько раз, встречаясь на улице с Раисою и Лидиею, хотя смотрел на них исподлобья, однако заметил, что они не бесплодны. Открытие сие крайне меня веселило; ибо я уверен был, что один слух о сем будет для сердца нашего Занозы весьма острою, опасною спицею. Представляя его горесть, его неистовство, я предвидел блаженнейшие минуты в жизни. Мог ли я тогда подумать, что ученые сынки наши будут источником сего несчастья? Я, право, не знаю, как лучше поступить в сем задачливом случае!

— И я тоже, — отвечал Иван младший, — и божусь, что во всю жизнь не встречалось мне слышать о деле, столько запутанном.

Оба Ивана опустили головы, опустили руки, взглядывали робко один на другого и вздыхали. Выходя к ужину, они условились, чтобы встретить сыновей равнодушно, как будто бы они ничего нового не видали и не слышали; но как же удивились они, когда жены их спросили:

— Где же Никанор, где Коронат?

— Разве их нет с вами?

— И не бывало с самого вечера!

— Понимаю, — молвил с притворною улыбкою Иван старший: — они — между нами сказано — немного спроказили и знают, что мы о том известны. Опасаясь на первых порах нашего гнева, где-нибудь теперь укрываются, выжидая, пока огни

потушены будут, чтоб тогда прокрасться в свои спальни и в следующее утро ожидать, что мы скажем. Поужинаем наскоро и ляжем спать, чтоб бедняков не заморозить.

Скоро Иван старший с семейством ушел, и мрачная тишина в обоих домах водворилась.

Заглянем в дом пана Харитона.

На другой день рано поутру, едва багровое солнце проглянуло сквозь облака снежные, Анфиза с дочерьми сидела на скамейке против растопленной печи, занимаясь все три вышиваньем, как вдруг дверь их комнаты быстро распахнулась, и они ахнули, увидя представившихся перед ними двух оборотней. Платье их было в куски растерзано, лица и руки в кровавых рубцах и сине-багровых пятнах. Страшилища смотрели на них молча и ужасно улыбались. Раиса и Лидия почти без чувств склонили головы на колени матери и едва переводили дух.

Анфиза вне себя смотрела на сих посетителей и по времени признала в них соседей своих Кирика и Улитту. Ободрясь сим открытием, она спросила ласково:

— Кто привел вас в такое жалкое состояние и чего вы от меня хотите?

— Чего мы хотим от тебя, — вскричала с бесстыдством шинкарка, — о том объявим после; а прежде ты должна узнать, кто был причиной, что мы из обыкновенных людей сделались теперь пугалами! Хочешь ли знать о сем?

— По мне все равно! Чем я могу помочь вам? Мое дело стороннее.

— Не очень-то стороннее! Вот те красавицы, которые состроили с нами эту шутку.

Раиса и Лидия вскрикнули, вскочили со скамьи, бросились в свою спальню и заперлись; Анфиза сидела на своем месте бледная и дрожащая. Безжалостная шинкарка начала свое повествование и продолжала оное до конца с особенным красноречием. Анфиза, уподобляясь каменному истукану, слушала ее, не переменяя положения; но благий промысл высшего никогда не оставляет добродушных людей томиться долго в оковах бедствия. Анфиза получила употребление чувств, встала, бросилась пред образом спасителя на колени, подняла вверх трепещущие руки и горестно воззвала:

— Боже милосердый! Чем прогневила я тебя, что так жестоко меня караешь? Двадцать лет, лучших в жизни человеческой, страдала я ежедневно от дикого и непреклонного права мужа моего; но всякий раз, когда я начинала терять терпение, благодетельное дитя твоей благодати к нам грешным — надежда оживляла меня и наполняла твердостью, надежда, что в детях найду отраду, утешение скорбных дней моей старости! А теперь — теперь, о преблагий господи, сжапись над несчастною матерью.

Признание в грехах

Она простерлась ниц и молилась. Скоро благодетельные слезы заструились по щекам ее; она встала, села у стола на лавке и, оперши голову на обе руки, рыдала неутешно. Бесстыдная Улитта, подступив к ней поближе, сказала:

— Я надеюсь усладить горесть твою, если и ты с своей стороны захочешь облегчить горесть, нас удручающую. По всему вероятно дочки твои не заглянут более в горенки, у нас для них отведенные, следовательно, и от молодых шляхтичей Никанора и Короната не видать нам ни шелеха; между тем у нас нет не только быка или коровы, но ни теленка, ни ягненка; хата наша близка к разрушению. Если ты из большого имущества своего уступишь нам пару быков, пару коров и десятков овец с бараном, а вдобавок пожалуешь сто золотых на поправку жилища и на обзаведение, то клянемся всею нашею честью, что обо всем происходившем в глазах наших никому не скажем ни полслова, и все дело предано будет вечному забвению; в противном случае...

— Преступная, презренная, богомерзкая грешница! — сказала Анфиза с важностью матери, недостойно оскорбляемой в детях ее. — Как посмеешь ты, изверг своего пола, взглянуть на небо и злодейскую грудь свою знаменовать крестным знаменем? Не ты ли потворствовала неопытным творениям и доставляла им удобства день ото дня глубже и глубже погружаться в греховную пучину? Сокройся с глаз моих, чудовище, и присутствием своим не прибавляй к моей горести ужасного чувства посрамления: сокройся, говорю я, или прикажу поступить с тобою и с участником твоего беззакония гораздо строже, нежели вчера поступлено было с вами.

Не ожидавшая такого окончания затей своих Улитта едва могла выслушать упреки Анфизы. Она кусала себе губы, вздрагивала от гнева и скрипела зубами. Слыша последнее обещание раздраженной матери наградить ее по заслугам, она схватила мужа за руку и ушла, произнося угрозы и заклинаясь мщением.

Жалкая мать, оставшись одна, старалась сколько можно утишить биение сердца и волнение крови. Мало-помалу она делалась покойнее и, ощутив в себе довольно силы перенести предполагаемое ею отчаяние дочерей и сколько-нибудь утешить страждущих преступниц, она подошла к дверям их спальни и, нашед оные назаперти, остановилась с ужасом. Она прило-

жила ухо к замочной скважине — ничего не слышно. Холодный пот выступил на лбу ее, и трепещущей рукой она постучалась. Нет ответа. Тут в полуотчаянии произнесла она дрожащим голосом:

— Дети мои! Преступные, несчастные, но все еще милые, любезные дети мои! Раиса! Лидия! Дайте мне видеть вас, излить в души ваши возможную отраду и утешение! Покоритесь воле премилосердного, и он вас помилует! Осушите слезы вашей матери, как она стремится осушить ваши!

Громкие всхлипывания коснулись слуха Анфизы. Двери открылись: она сделала шаг вперед, и обе дочери пали к ногам ее и обнимали колени.

— Встаньте, — сказала она, помогая им подняться, — встаньте, бедные, и у груди матерней примите от нее прощение! Ах! Как слепа я была доселе! Как могла я так долго не заметить того, что, без сомнения, видели все жители сельские? Излишняя доверенность к чистоте ваших нравов наложила на глаза мои покров непроницаемый. Скажите, каким несчастным роком могли вы ниспасть в столь глубокую пропасть? Какой дух злобы, утешающийся бедствиями людскими, поверг вас в преступные объятия злейших врагов наших? Откройте истину в настоящем ее виде, и общими силами поищем способов выпутаться из сетей, коими сатана вас опутал!

Она села на лавке посреди дочерей, и Раиса начала рассказывать ей со всем чистосердечием начало и продолжение любовных походов. Когда она уведомила, что на другой же день после своего падения они обе надлежащим образом обвенчаны и потому с меньшим уже затруднением предавались сильному влечению сердец своих, то Анфиза дала рукою знак остановиться и погрузилась в глубокую задумчивость. Разные ощущения изменяли черты лица ее: то ясные лучи отрады блистали в ее взорах, то туман прискорбия закрывал блеск их, и новые слезы трепетали на ее ресницах. Наконец, обняв обеих дочерей со всею нежностью и обратя глаза к небу, она сказала:

— Благодарение тебе, милосердный боже, что любовь дочерей моих хотя и преступна, но не беззаконна, и плоды любви сей хотя подвергнутся гонению и даже напастям, но не бесславию, не посрамлению, столь унижительным для всякого, не совсем изгнавшего стыд из души своей. Теперь с сокрушенным сердцем, с возмущенною душою, но не покрываясь румянцем позора или бледностью неисцелимой горести, могу я смотреть вам в глаза; вам и всем, кто бы кинул на меня испытующие взоры, могу сказать перед целым светом: так, дочери наши преступны, они без согласия отца и матери сделались женами сыновей двух Иванов, непримиримых врагов наших, и скоро будут матерями. Да устроит господь бог все к лучшему; да

простит им сей проступок так, как прощает сердобольная мать и как... Ах, мои любезные! Что я скажу вам об отце вашем? Что, наконец, скажу о самых отцах мужей ваших? Вы знаете старую вражду, разделяющую наши семейства преградою недолимою. Впрочем, что угодно святой воле божией, то и сбудется; но дабы вы ни одной минуты не сомневались в искренности моего прощения и что, какой бы оборот ни взяло дело сие, вы навсегда останетесь моими дочерьми любезными, для счастья и спокойствия коих я готова каждую минуту пожертвовать моим собственным спокойствием, моим счастьем, — то теперь же примите материнское мое благословение!

Раиса и Лидия, тронутые, восхищенные до глубины сердец такою неожиданною добротою, вторично пали к ногам ее; слезящая мать произнесла свое благословение, они с чувством детской любви и благодарности пали на грудь ее, орошая ее слезами умиления.

ГЛАВА VII

Новые удары

Когда сердца их несколько облегчились и мать с дочерьми выдумывали средства, как бы помирить между собою пана Харитона и обоих панов Иванов, вошедшая ключница повестила, что дьячок Фома дожидает их в большой горнице с письмом из Полтавы. Все сердечно обрадовались, тем более что с самого отъезда Харитоновна из дому не было об нем ни малейшего слуха. Они побежали к грамотею; Анфиза обласкала его, попотчевала; он разломил печать и вслух прочел:

«Жена Анфиза и дети: Влас и Раиса и Лидия! Всем желаю здравствовать.

Было бы вам известно, что полтавский полковник не умнее миргородского сотника, а члены полковой канцелярии нахальнее, злобнее, прижимчивее, чем члены сотенной. Возможно ли? Они присудили, чтобы за бесчестие, причиненное мною при множестве свидетелей писцу Анурию, — великое подлинно бесчестие для канцелярского писца получить несколько ударов дубиною в спину от урожденного шляхтича, — заплатил я двести золотых! Да если бы я и до смерти убил негодяя Анурия, то нельзя требовать больше за сие увечье, как разве двадцать или тридцать золотых. Выслушав таковое нелепое решение, я твердо отрекся от исполнения, и бездушники определили отдать ему в вечное и потомственное владение мой хутор с крестьянами и

со всеми угодьями. Правду сказать, что с тех пор, как начал я позываться с Иванами Зубарем и Хмарою, это имение мне опротивело по близкому соседству с их имениями. Однакож, чтоб не ударить себя лицом в грязь, чтоб не остыдить столь почтенного имени, какое приобрел я и от самых врагов своих, имени завзятого,¹ то теперь же отправляюсь в Батурии, где до последнего издыхания намерен позываться в войсковой канцелярии с полковою и сотенною. Скорее соглашусь видеть вас в рубищах, босых, протягивающих руки для испрошения куска хлеба или даже умирающих с голода, чем поддамся моим злодеям. Когда Фома читает вам эти строки, то знайте, что я уже в Батурии. Прощайте. Будьте здоровы!

Харитон Заноза»

Мать и обе дочери побледнели, а у дьячка Фомы пучок стал дыбом. Они смотрели друг на друга мрачными, помертвелыми глазами; груди у женщин сильно волновались, и каждый перевод духа был так тяжел, что казался последним вздохом. Дьячок прежде всех оправился; да и естественно. Хотя он сердечно предан был пану Харитону, но все же не был ему ни брат, ни друг — дружба между достаточным паном и сирым дьячком! И потеря первым хутора, единственного имущества, которым содержал он дом в Горбылях и жил благопристойно с своим семейством, не лишала последнего ни одной полушки из обыкновенных его доходов.

— Слава богу! — воззвал Фома, обратясь к образам и перекрестясь трижды. — Слава богу! Теперь-то конец всем позовам! На решение войсковой канцелярии, каково б оно ни было, некуда уже делать переноса. Утешся, печальная Анфиза! Раиса, Лидия, перестаньте плакать. Правда, с потерю хутора вы должны во многом себя ограничить; но это в существе ничего не значит. Начиная от моего блаженной памяти прадеда дьяка Максима до меня, низжайшего дьячка Фомы, никто не имел более имения, кроме низменной хаты и небольшого огорода, в коем отличнейшими произрастениями был тютюн и несколько вишневых деревьев, а припомните, видали ль вы когда меня печальным; по мне же прошу заключать и о моих предках. Так-то и с вами будет. Оставляя хутор в стороне, у вас остается ещё этот просторный дом, большой сад, три хаты крестьян и довольное количество земли. Если пан Харитон вместо позыванья займетса хозяйством и чаще посещать будет свое поле, чем дома беспутных друзей, то жизнь ваша потечет в покое и довольстве.

¹ Почти то же, что упрямый, неуступчивый, заносчивый, хотя эти слова не совсем изображают первое.

Сии слова велемудрого Фомы ободрили несколько унылые души сетующих, и они дали слово ждать конца начатым затеям с христианским терпением, причем просили навещать их сколько можно чаще и не оставлять благими советами. Скоро советы сии были им весьма нужны; ибо — хотя добрая Анфиза и милые дочери ее из письма Харитонова знали уже участь своего хутора, однако не могли удержаться от горьких слез и тяжких вздохов, когда первые услышали, что сие имущество законным порядком отдано писцу Анурию, который тогда же и вступил во владение оным.

Дьячок Фома сделался как бы дворецким в доме Анфизы. Он увещевал и домашних служителей и сельских крестьян как можно меньше есть и пить, дабы безбедно прожить до нового хлеба. Когда же один старик спросил:

— Для чего же ты, честный дьячок, за панским столом кушаешь и попиваешь за троих?

— Друг сердечный, — отвечал Фома с набожным видом: — если я увещаю сохранять строгую умеренность, то разумею время, когда вы садитесь за стол у себя дома; если же по воле господней случится кому-либо из вас быть приглашену в гости к приятелю другого панства, о! тогда можете, даже обязаны насыщать чрева свои, елико возможно.

ГЛАВА VIII

Задачливые дела

Меж тем как Анфиза и ее дочери мало-помалу привыкали к новому роду жизни и от чистого сердца благодарили бога, что он не совсем их оставил и наказал милостивее, нежели как заслужили они за свои грехи и беззакония домовладыки, в жилищах обоих панов Иванов происходила суматоха, непрерывные ворчанья и явные упреки жен, что мужья невременным появлением своим перед своими сыновьями повергли их в погибель, и все это вместе составляло для друзей истинное мучение; даже сон их возмущаем был страшными видениями. Они не упустили в целом селе обойти до одного дома шляхтичей и крестьян, везде выспрашивали об участи сыновей своих, но нигде ничего не выдали, нигде ничего не слышали относительно сего предмета. Когда возвращались они в дома с пасмурными лицами, а нередко и со слезами на глазах, то жены обыкновенно встречали их вопросами: «Ну что? Опять ничего? По всему видно, что бедные дети почивают теперь в волчьих или сомовьих желудках. О жалкий Никанор! О несчастный Коронат!» Мужья,

приводимые такими восклицаниями в большое уныние и гонимые, потирали лбы, ерошили чубы и уходили иногда на целый день из домов своих. Все, что только приводило их в некоторую рассеянность и заставляло на малое время забыть свое горе, были разговоры о потере Харитонов хутора и о грозившей ему бедности. «Может быть, — восклицали они, улыбаясь сквозь слезы, — может быть, праведное небо и покраше его отделает, и тогда посмотрим, как бездушник плясать станет!»

Время летит заведенным порядком, и полета его не остановят ни слезы, ни улыбки. Настал светлый праздник, и все горбылевские жители, исключая печальные семейства панов Иванов и Анфизы, радостно восшумели. Веселые толпы народа обоюго пола и разного возраста бродили из улицы в улицу, и громкое пение раздавалось по воздуху; случившиеся на ту пору в Горбылях запорожцы, водя за собой гудочников и цимбалистов, тешили народ чудесною пляскою, борьбою и кулачными боями.

На третий день сего праздника перед обедом Анфиза с дочерью, сыном и дьячком Фомою сидели у окон на лавках и пасмурными глазами смотрели на веселившихся; вдруг они вздрогнули, услыша топот коней и стук быстро катящихся колес. Они высунули головы в окна и радостно вскрикнули: «Вот и он!» Они увидели остановившуюся у ворот польскую бричку, а позади ее повозку Харитонову.

— Вот и отец ваш! — сказала Анфиза, вскочила с лавки и побежала из комнаты; за нею последовал сын Влас, за ним Фома, а наконец и обе сестры. Сии последние хотя не могли не трепетать, представляя гнев отца, когда откроет их тайну; однако на сей раз они укрепились, сколько могли, да и самая мать уверила их клятвенно, что скорее решится умереть под ударами разъяренного мужа, чем допустит его хотя пальцем прикоснуться к любезным дочерям ее в настоящем их положении.

Все выбежали за ворота, устремились к кибитке и с бьющимися сердцами, с простертыми руками ожидали появления отца и мужа. Кто ж опишет их недоумение и ужас, когда увидели, что из брички сошли на землю сам пан сотник Гордей с есаулом, а из кибитки писец Анурий с подписчиком. Сии надменные паны, не сказав окаменелому семейству Харитонову ни слова, пошли на двор, бричка и кибитка за ними следовали, и как скоро проехали ворота, то они затворились. Анфиза, ее дети и сам храбрый дьячок Фома не могли пошевелиться и походили на пригвожденных к земле. Дьячок, первый получив возможность что-нибудь промолвить, вскричал:

— Что ж вы здесь делаете? К вам пожаловали гости, а вы о приеме их и не думаете! Вероятно, что они вас и не узнали

и теперь ищут по всему дому: слышите ли, какая там возня, какая стукотня! Пойдемте к ним!

Фома бодрыми стопами подошел к воротам и хотел отворить их для своих сопутниц: но не тут-то было; сколько он ни силился, сколько ни мучился — все напрасно! Он оборотился к Анфизе и в крайнем смущении смотрел на нее молча; сын и дочери Харитоновы глядели на остолбеневшего дьячка с открытыми ртами и также молчали. Вскоре услышали они по другую сторону ворот пыхтенье, и вдруг показался до половины писец Анурий. Он сел верхом на перекладине, вынул из кармана лист бумаги и произнес громко:

— Слушайте! Я прочту определение войсковой канцелярии, и его уже изорвать в доскутки нельзя будет! — Тут он развернул лист и прочел громогласно.

ГЛАВА IX

Горнее око не дремлет

«Войсковая канцелярия, рассмотрев решения канцелярий сотенной миргородской и полковой полтавской по делу о буйных и законопротивных поступках пана Харитона Занозы, определяет: как уже писец Анурий достаточно удовлетворен за данные ему подзатыльники и удары дубиной в спину присуждением ему в вечное и потомственное владение хутора реченого Занозы, то справедливость требует удовлетворить также сотника и членов сотенной канцелярии, сильно обесчещенных самыми поносными словами, произнесенными Занозою в тот вечер, когда он провожал дубьем Анурия со двора своего; посему и следует: у пана Харитона отобрав горбылевский дом, с принадлежащими ему крестьянами, садами, огородами и полями, отдать во владение сотнику Гордею; а он обязан в возмездие всем членам сотенной канцелярии, от старшего до младшего, выдать из казны своей деньгами осьмую долю жалованья каждого; пана же Харитона Занозу, в страх другим и в исправление буйного нрава его, посадить в батуриинскую тюрьму на шесть недель, содержа на хлебе и на воде. Что касается до жены и детей Харитона Занозы, то они по прибытии в дом их сотника Гордея имеют полное право выйти из оногo в том одеянии, в каком застигнуты будут; если же и они — по неразумию и дерзости — станут противиться, тогда вытолкать их на улицу в шею и пусть поедут, куда знают».

Не для чего описывать горестное положение несчастного семейства; всякий легко его представить может. Анфиза в полу-

бесчувствию упала на скамью, у забора стоявшую, и рыдающие дети не могли подать ей никакого утешения; сам отважный дьячок Фома, приглаживая волосы, не мог ничего выдумать и бросал пасмурные взоры то на страдающих, то на кучу любопытного народа, собравшегося у ворот дома. Среди горести, тоски, недоумения они видят, что незнакомый старик продрался сквозь народ и предстал перед ними. При величественном виде и осанке он был одет в богатое платье и опоясан турецким поясом, к коему прицеплена была дорогая сабля.

Он с кротостью сказал матери:

— Не сетуй, огорченная Анфиза, и верь, что благий промысл вышнего устроит все к концу вождеденному. Весьма часто случается, что самые бедствия наши бывают преддверием к неожиданному благополучию. Положение ваше, конечно, горестно, но — благодаря бога — земля населена не одними злодеями, и я на первый случай могу подать вам руку помощи. Я довольно достаточен и содержать вас до времени для меня не сделает никакой разницы. Детей у меня нет, и живу один с своею старухой. Она женщина кроткая и великодушная. Я ручаюсь, что ты принята будешь ею, как родная сестра, а дети твои — как свои собственные. Как скоро муж твой получит свободу, то приедет к вам, и тогда все порассудим, что далее предпринять должно будет. Итак, если мое предложение вам не противно, то примите его с таким же доброхотством, с каким удовольствием я оное делаю. Жилище мое за десять верст отсюда и стоит на реке Пселе. Следуйте за мною.

Анфиза собралась с силами и привсталала.

— Великодушный человек! — сказала она: — благодарю тебя от всего сердца за ласковое слово и за то воспоможение, которое предлагаешь нам несчастным; однакож я знаю на опыте, что оказывать благодеяния людям незнакомым гораздо легче, нежели от незнакомого принимать оные; итак, удостой нас уведомлением, кому обязаны будем помощью в нашей нужде?

— Требование твое справедливо, — отвечал старец, — и оно будет вскоре исполнено, но — не теперь. Зачем целым сотням знать то, что знаю я и что вам одним знать нужно? — Сказав сие, он пошел тихими шагами; Анфиза за ним следовала, потупя глаза в землю, за нею дети, а шествие заключал дьячок Фома, которому нетерпеливо хотелось видеть, чем кончится столь чудное происшествие в семействе его благодетеля.

Они достигли до конца селения и введены в корчму, где незнакомец предложил им обед изобильный. По окончании оного Анфиза возобновила просьбу — уведомить ее, кому одолжены они призрением в их бедствии.

— Я говорил уже, — отвечивал старец, — что обязан удовлетворить твоему желанию; но позволь отложить это до приезда в дом мой. И опять повторю: я имею столько достатка, что вы отнюдь не будете мне в тягость.

Анфиза с дочерью уселась в бричке, а сын ее и великодушный незнакомец взмостились на нанятых коней и отправились в путь, предавая проклятию того злого духа, который соблазняет людей к позыванью. Честный дьячок Фома при прощаньи получил полную горсть золотых и, идучи домой, весело распевал святочные песни.

По пробытии наших путников в дороге около трех часов, они въехали на широкий двор, посередине коего стоял просторный господский дом, а по сторонам его до двадцати крестьянских хат. Когда приезжие взошли на крыльцо, то их встретила пожилая миловидная женщина, и незнакомец, обняв ее, сказал:

— Вот тебе, Евлампия, гости. Это жена, это сын, а это дочери пана Харитона Занозы. Они — покудова — участь свою вверили нашему попечению, и я надеюсь, что не обманул их, уверив в твоём доброхотстве ко всякому, кто искать его станет.

Евлампия с приятным видом чистосердечия и дружелюбия обняла гостей, ввела в большую комнату и усадила на чистой лавке. Почтённый хозяин, севши против Анфизы, сказал:

— По недалёкому расстоянию между нашими жилищами, я думаю, что мое имя вам не неизвестно. Я называюсь Артамон Зубарь.

ГЛАВА X

Справедливое удивление

При ужасном имени Зубаря Анфиза и ее дети изменились в лицах и с недоумением смотрели то друг на друга, то на хозяина и жену его. Наконец Раиса и Лидия вскочили с мест и, бросясь на колени пред Артамоном и Евлампиею, залились слезами. Сии, подняв их, с нежностью заключили в объятия, и в глазах их также заблестали слезы.

— Так, мои милые! — сказал пан Артамон, усадив их между собою и Евлампиею, — вы догадались: я родной дядя Ивану Зубарю, а жена моя в третьем колене тетка Ивану Хмаре. Прожив довольно долго в брачном союзе и не имея детей, мы обратили родительскую любовь на своих племянников. Надобно сказать правду: я и жена моя совершенно довольны были их взаимною дружбою, домостроительством и миром, в семействах их

господствовавшим. Довольно долго жили они в совершенном согласии с соседями, как вдруг злые духи, превратясь в кроликов, из сада Ивана старшего залезли в сад пана Харитона, напроказили, были побиты или изувечены, — и вот источник бесчисленных хлопот, великих издержек и, наконец, — разорения! Сколько мы ни увещевали своих родственников кинуть гибельные тяжбы и довольствоваться остатками имения, — нет: страсть к позыванью усиливалась в них с каждой новой пакостью, от одного другому делаемую. Я и жена моя замолчали и решились упрямых родственников предоставить их участи, а они перестали к нам ездить. Если положение ваше, любезные дети, положение, известное нам от самых наших внуков Никанора и Короната, не помирят враждующих, то они не перестанут позываться до гроба за участок земли, где назначена будет могила каждому.

Старик замолчал, и ободренная Анфиза сказала:

— Великодушный муж! Убежище, тобою нам теперь даруемое, исполняет сердца наши вечною благодарностью; но благодеяние твое усмерится, если поможет тебе бог помирить позывающихся!

— Будем молиться, — отвечал пан Артамон, — и надеяться, а между тем хозяйка назначит каждой из вас и молодому Власу по особой комнате и приличную прислугу. Как скоро возвратятся мои внуки, то они скорее выучат его читать и писать, нежели все дьячки горбылевские.

— А где теперь твои внуки? — спросили стремительно обе сестры в один голос, взглянули одна на другую, покраснелись и опустили глаза в землю.

— Я отправил их, — отвечал Артамон, — довольно далеко и за делом довольно важным. Если они успеют исполнить мое поручение, то это будет для всех нас началом общего спокойствия, и все тяжбы, бывшие в семействах наших, возвратятся на свою родину, то есть в преисподнюю, в объятия своего родителя, то есть Вельзевула. Теперь подите и выбирайте себе покой.

В тот же день приезжие были устроены, и с такою удобностью, как бы у себя дома.

На другой день поутру пан Артамон захотел проехаться верхом и посмотреть сельские работы, как нечаянное и странное зрелище обратило все внимание его и прочих членов семейства. В воротах двора показалась небольшая куча людей разного пола и возраста. Они походили на нищих и подвигались вперед медленно. Двое возрастных мужчин казались вырвавшимися из темницы. Платье их было в дырах; волосы на головах и усах покрыты густою пылью, а у одного под глазами и на лбу сине-багровые пятна, а лицо и руки осаднены. Когда сии при-

шельцы дошли до середины двора, то пан Артамон, рассматривавший их из окна, протирая глаза, сказал вполголоса, обращаясь к жене своей:

— Праведный боже! Не обманывают ли меня глаза? Не племянники ли это наши Иваны с женами и детьми своими? Точно они! В каком положении! Что бы это значило?

Анфиза и дочери ее пришли в великое смятение, и первая сказала:

— Не может быть, чтобы паны Иваны после происходившей между вами размолвки явились сюда без какого-либо особенного с ними приключения, а особливо в таком состоянии, в каком теперь их видим. Не лучше ли с детьми удалиться на время в свои комнаты, ибо наше присутствие может привести их в большое расстройство!

— Хвалю за такую разборчивость, — отвечал пан Артамон, — и прошу пребыть в уединении, пока не объяснится дело.

ГЛАВА XI

Не веселись, злобный

Анфиза с семьею своею удалилась, а вскоре потом предстали паны Иваны. Жены их и дети, увидя хозяев, заплакали, а Иваны, подступя поближе, низко поклонились, и старший сказал:

— Дядюшка! Небо нас наконец покарало, что мы не внимали благим твоим советам!

— Это я вам предсказывал, — говорил Артамон со вздохом, — но вы старику не хотели верить. Садитесь все, а ты, Иван старший, расскажи, что с вами нового приключилось и что причиной появления вашего в сем недостойном виде?

Все уселись на лавках, кроме Ивана старшего, который, став прямо против своего дяди, говорил:

— Когда мы вчера поутру известились, что ненавистный злодей наш, пан Харитон, обвинен в сделанных им преступлениях и достоин наказан лишением всего имущества, то радостно восплескали и возблагодарили бога, сокрушающего рог кичливых. Ах! Мы не предчувствовали участи, нас ожидающей! Миргородский сотник Гордей до самых полуден упражнен был со своею свитою рассмотрением пожитков Занозы, описанием оных и расплатою со своими сопутниками. Пользуясь праздничным временем, оба наши семейства отобедали у меня, а после

вздумали повеселиться, смотря на коверканья машкар и пляску медведей. В сем намерении мы все пошли на площадь, где происходили сии диковины. Возвращаясь домой, мы встречены были плачущими слугами и служанками, которые объявили, что прибывшие из города чиновники в домах наших производят такие же бесчинства и грабительства, какие производили поутру в доме Занозы. Мы ахнули и, взглянув один на другого, увидели, что все прежде побледнели, а вскоре потом побагровели.

— Чего ж вы глядели, бездельники! — вскричал я с великим гневом к слугам: — разве вас мало? Разве в домах наших нет ружей, сабель и рогатин?

— Увы! — отвечал мой дворецкий, — мы и хотели сделать благоразумное сопротивление, увещевая сих супостатов подождать вашего возвращения с игрища; но пан сотник Гордей сказал мне с ругательным смехом: «Зачем станем панам вашим мешать в утехах, столько приличных летам их и званиям. Не вязывайтесь, глупцы, не в свое дело, если не хотите на праздниках горько плакать. Разве не знаете, что мы сами по себе ничего не делаем, а все по приказанию высших?» После сего он въехал на двор твой, а за бричку его последовало с дюжину сотских и десятских. На двор сего пана Ивана отправился писец пан Анурий в сопровождении такой же свиты. Гнев овладел мною не в шутку, — продолжал дворецкий, — и, решившись быть, по крайней мере, хотя свидетелем хищения, я вбежал на двор, а там — в главную светелку, в которой, пробегая еще двором, видел злобного сотника, дающего десятским какие-то приказания. В одну минуту очутился я перед грабителем и сказал таким грозным голосом, каким никогда не говаривал, протягивая руки к косам любезной жены моей, находя ее иногда не очень в приличном положении: «Что такое, пан сотник! Можно ли так озорничать в чужом доме без должного наказания? Это то же, что разбойничать!» Он взглянул на меня свирепо и хотел что-то промолвить, как вдруг появились два десятские. Один нес две большие сулеи, они были наши — одну с наливкою, а другую с пенником; следующий за ним шел с большим дубовым подносом, на коем уставлены были серебряный кубок и множество глиняных плошек. Сотник, наполнив кубок наливкою, поставил перед собою, а после, нацепив в плошки пеннику, произнес с важностью: «Ребята! За мое здоровье!» Когда мигом осушены были и кубок и плошки, он сказал: «Поблагодарите сего красноглавого мужа за его образцовую речь, да по исправнее». Едва кончил он слова сии, как четыре десятника взмахнули киями и огрели меня по чему ни попало. Я закричал как отчаянный, и тут, подобно граду, удары на меня посыпались. Видя, что дело совсем на шутку не походит, я подобрал полы кафтана и ударился бежать; но злодеи от меня не отста-

вали, продолжая доказывать крепость киев своих плечам моим, спине и ляжкам, и не прежде унялись от сего богомерзкого дела, как увидели меня уже на улице. Тогда с громким смехом и разными ругательствами воротились на двор и скрылись в доме. Осматриваясь кругом, я увидел, что недалеко от дома пана Ивана младшего стояли его и наши служители и служанки. Разглаживая взъерошенный чуб и хромая на обе ноги, я подошел к сей толпе и строгим голосом сказал дворецкому: «То-то, дружище, радеешь ты о пользах своего пана! По тебе хотя бы городские разбойники, ограбивши дом, зажгли его, ты оставался бы покойным зрителем!» — «Я люблю рассуждать о последствиях, — отвечал дворецкий, — прежде нежели приступлю к какому-либо делу. Мне хотелось видеть прежде успех твоей храбрости, а там уж подумать и о своем отличии в сем причинном деле. Видя же, как учтиво провожали тебя из гостей от пана сотника, разумно смекнул, что и мне не менее чести оказано будет от пана писца; а как мне здоровые плечи, спина и ляжки еще не надоели, то я сказал сам себе: если самые паны не сумеют за себя вступить и наказать обидчиков, то что мы бедные можем сделать?»

ГЛАВА XII

Храбрые люди

— Услыша сие ужасное повествование, — продолжал пан Иван старший, — мы не знали, что начать в сем бедствии; плач и стон жен и детей умножали наше страдание. Вдруг я воспламенился свойственным мне жаром и в душе своей почувствовал такую храбрость, что готов был ратовать с самим Бовою Королевичем.

— Как! — вскричал я к своему другу: — разве мы не урожденные шляхтичи; разве я не отличался в походах, а ты в канцеляриях? Мы мужья и отцы семейств, так не должны ли до последней капли крови, до последнего волоска на усах и чубах защищать благо жен и детей наших? Друг мой! Управляйся с негодием Анурием, а я иду переведаться с глупцом Гордеем!

Заклинания жен, чтоб мы на сей раз оставили такие храбрые мысли, могли ль охладить кровь, кипящую в сердцах наших? Как все сие позорище происходило против ворот дома моего друга, то я имел несказанное удовольствие видеть, с каким мужеством он, вооруженный увесистым кием, вошел на двор, там на крыльцо и — скрылся.

Подобно разъяренному вепрю, бросился я к своему дому и влетел в светелку, где сотник, сидя за столом, слушал донесе-

ния своих провожатых. Я принял, сколько можно было, ласковый вид, подошел к незваному гостю и сказал:

— Я очень рад, что вижу тебя в моем доме! Выпьем-ка по кубку вишневки и кое о чем потолкуем!

Видя перед ним полную сулею наливки (из чего и догадался, что она была вторая или третья порция принесенной при моем дворецком), я налил кубок и выпил.

— Наливай же и себе, пан сотник! — вскричал я: — ты знаешь, я не скуп!

— Скупиться или быть чивым, — отвечал он, надувши щеки, — можно только в своем добре.

— Как! Разве я не в своем доме?

— И ведомо!

— С которого времени?

— С того самого, как за твои и друга твоего буйства, пестовства, зажигательства мудрая войсковая канцелярия при-судила лишить вас обоих движимого и недвижимого имущества и предписала мне, отобрав от вас оное, приписать к сотенному имению.

— А если я за твое нахальство оборву у тебя усы и оба уха с корнем!

— Скорее я провожу тебя со двора с большею честью, нежели с какою незадолго перед сим велел проводить твоего дворецкого!

— Ах ты, невежа, бездельник, злодей!

С сим словом вскочил я со скамьи, схватил сулею и со всего размаху огрел его по макуше. Ломкий сосуд расселся на части, и мгновенно вишневка, смешавшись с кровью, оросила лицо сотника, грудь и спину. Сопутники пораженного стояли в окаменении, а я сказал ему грозно:

— Если ты, проклятое пугало, сейчас не оставишь моего дома, то я внесу тебя на крышу оного и со всего размаху брошу на улицу.

Хотя я сам угрожал другому смертью, но, к великому удивлению, почувствовал два резкие удара в спину. Тотчас оглядываюсь назад, чтобы видеть нахалов и наказать их по достоинству, как вдруг чувствую, что кто-то вспрыгнул мне на спину и, схватясь обеими руками за чуб, окинул брюхо мое ногами и силоватым голосом произнес:

— По два десятских схватите злодея за руки и степенно ведите со двора долой, да еще два придавайте ему ходу, поражая киями по голеням и ляжкам.

По голосу я узнал, что на мне висит раздраженный сотник. Приказание исполняемо было с великою точностью. Что мне оставалось делать? Стыдясь кричать от поражения сих бесчеловечных, я только мычал, изгибался под ненавистною но-

шею, и хотя колени мои дрожали, я шествовал довольно проворно. Вышед из дому, увидел у ворот его великое множество народа. Я задрожал. Тут раздался голос у самых ушей моих: «Остановитесь, а руки держите крепче». Тогда почувствовал я, что сотник начал меня разнуздывать и скоро спустился на землю. Он проговорил: «Отпустите его руки». Руки в ту минуту освобождены; но я получил в спину такой толчок, что не мог на ногах удержаться, пробежал четыре шага и растянулся среди улицы. В сем положении получаю еще несколько ударов и в бешенстве катаюсь по земле. Скоро распознаю болезненный вопль моего семейства и громкий смех врагов моих, с коими некогда позывался и одержал победу. Надобно же было когда-нибудь встать, и я встал. Взглянув на окна моего дома, я погрозил кулаком, потом пригладил чуб, отряхнулся и пошел на голос родных моих.

Я нашел оба семейства у забора бывшего моего дома в самом жалком состоянии, и праздничные одежды еще более ставляли каждого стыдиться. Друг мой Иван стоял поодаль и кулаком утирал слезы.

— Как? — сказал я, подошед к нему: — неужели и твоя храбрость имела возмездие, моему равное?

— С некоторою разницею, — отвечал он с тяжким вздохом: — на мне не ездил верхом писец Анурий, как на тебе сотник Гордей; но зато спине моей досталось несравненно больше ударов княми, чем твоим ляжкам.

— О правосудие! Где ты?

— Где-нибудь да есть, только не у нас.

— Что ж сделаем?

— Утопимся или удавимся!

— Нет! Умирать не отмстивши — глупое дело! Неужели на всей земле малороссийской нет суда на Гордея и Анурия?

ГЛАВА XIII

Кровавая битва

— Рассудив о своем состоянии, совершенно горестном, беспомощном, а особливо по случаю утраты сыновей наших, на коих возлагали всю надежду старости, мы решились у тебя, великодушный дядя, искать помощи и защиты. Тогда только познали мы справедливость твоих суждений о проклятом позывании, и вздохи позднего раскаяния стеснили груди наши.

Жены и дети просили, чтобы тогда же отправиться в путь, тем избежать досадного любопытства глупой черни, продолжав-

шей около нас толпиться, произнося громко обидные двоесказания и насмешки; но я, видя закатывающееся солнце и не надеясь на твердость меньших детей, могущих принудить нас заочевать где-нибудь в лесу или поле, уговорил всех отложить поход до утра, а на ночь остаться у друга нашего пана Агафона. Итак, мы к нему отправились и были приняты со всегдашним добродушием и приветливостью. Вечер прошел в различных толках о наших приключениях, и все не могли надивиться ослеплению войсковой канцелярии, определившей разорить нас, не выслушав одного слова в оправдание. Настала ночь, и мы все, как гости, так и хозяева, стали втупик. Дом нашего друга был столь просторен, что удобно располагался он с семейством, но не более; куда ж девать такую ватагу? У каждого из нас, кроме жены, было по трое детей. Все принялись взапуски рассуждать и положили: всех женщин и девиц уложить в спальне вместе с хозяйкой, хозяин со всеми мальчиками расположится в светелке, а паны Ивановы, по добровольному согласию, упокоятся в конюшне на сеннике. Все сие с великим дружелюбием произведено в действие, и я с Иваном возлегли на душистом сене.

До первых петухов мы беседовали о горестях прошедшего дня и о глупостях, наделанных нами в последние десять лет нашей жизни. Но, ах! судьба не перестала гнать нас и на сене. Едва успели мы произнести друг другу: «прощай!», как послышались внизу под нами лошадиный топот и брыканье.

— Что бы это значило? — сказал тихонько Иван: — отчего старая кобыла Агафонова вздумала храбриться в полночь, когда и днем едва десятью ударами кнута заставишь ее передвинуть ноги?

— Шш! — прошипел я вполголоса: — кто-то ходит по конюшне, слышишь ли?

— Слышу! — отвечал Иван едва внятно, прижавшись ко мне как можно плотнее.

— Неравен случай, — заметил я: — может быть, по грехам нашим, там тешится домовый!

Сосед мой молча трижды перекрестился. Что же почувствовали мы, услыша, что злой дух медленно идет по лестнице на сенник, а вскоре потом, что он, топоча по полу подобно подкованному жеребенку, быстро к нам приближается. Хотя и у меня волосы затрещали и кровь оледенела, при всем том я мог еще чувствовать, что близкого моего соседа било как бы в лихорадке. Домовой подошел прямо к нам и начал шевелить лежавшее под нами сено. Вдруг все умолкло; но эта тишина скоро исчезла, и ночной посетитель такой дал толчок в подошвы сапогов моего друга, что он в один миг подался вперед на целые поларшина и оледенел (он сам в этом сегодня признался). Я, с своей стороны, был ни жив, ни мертв. Чудовище шарило в сене и чем-то косну-

лось к моим сапогам, и тут получил я удар в подошвы столь крепкий, что лбом стукнулся в затылок друга Ивана. Тогда-то оправдались слова заморского мудреца, который сказал, что отчаяние заменяет иногда место храбрости и нередко получает одны и те же награды. Это я к тому говорю, что сам, бывши не последний витязь в малороссийском войске, сначала оробел не на шутку, но в сию решительную минуту, какова была во время назойливости демона, быстро привстал на колени, взмахнул руками и вцепился в его волосы, причем так ловко стукнулся лицом об рога проклятого, что миллионы искр посыпались из глаз. Это не помешало мне действовать со всем ожесточением. Дьявольские волосы клочками летели на воздух, и я не переставал поражать его, читая непрестанно — хотя оледенелым языком — заклинательные молитвы. Несколько раз сила вражья поражала меня рогами в лицо, в грудь и в брюхо; однако я не ослабевал и в один раз так рванул беса за бороду, что он страшно заблеял по-козлиному. О боже мой! С самого младенчества до той минуты я представлял себе, что всякий домовый похож с виду на человека, с тем отличием, что имеет рога и хвост, и буде вздумает вымолвить слово, то всегда произнесет его по-человечьи; посуди же всякий православный, как должен был я ужаснуться, услыша скотское его блеяние? Бывшая во мне храбрость мгновенно исчезла, и я в полубесчувствии упал навзничь. Злой дух также оробел и опрометью затопотал к лестнице, оступился и полетел вниз с великим стуком. Я слышал его стоны и жалобное блеяние, и это меня оживило.

По прошествии довольно времени и друг Иван опомнился и оживление свое ознаменовал тяжким вздохом и усердною молитвою. Тут имел я самый лучший случай рассказать о страшном сражении, происходившем между мною и нечистым духом. Иван не мог довольно восхвалить мою чудесную силу и благодарил за спасение его жизни.

— Ибо, — промолвил он, — если б еще получил я другой такой же удар, то непременно бы умер не столько от боли, сколько от страха.

Разумеется, что ни один из нас не мог уже уснуть, и потому — следуя обычаю весьма многих краснобаев — рассказывали один другому такие случаи жизни, кои обоим давным-давно известны были и о коих говорено, по крайней мере, раз со сто. В сем приятном и полезном препровождении времени провели мы остаток ночи и столько углублены были, что не приметили, как вошло солнце. Увидя сие наконец, мы сотворили молитвы, и друг Иван с восторгом произнес:

— Слава богу! Теперь домового бояться нечего; солнце для глаз его столько ж ослепительно, сколько для глаз сов, филинов, летучих мышей и прочей гадины. Если же — чего боже упаси —

вздумал бы лукавый еще заглянуть к нам, то ты, любезный друг Иван, уже не вмешивайся и предоставь мне разведаться с ним по-свойски, и я надеюсь...

При сем слове слышали мы шаги идущего по лестнице. Мой друг начал отдуваться, отплевываться и дрожащим голосом читать молитвы. Вскоре показался мужчина, и мы — к неопи-суемой радости — узнали в пришельце своего хозяина.

— Здравствуй, пан Агафон! — воззвал друг Иван громо-гласно. — Весьма хорошо ты сделал, что появился здесь при свете божием, а не то — лететь бы и тебе с лестницы вниз головою!

— Что ты такое бредишь? — спросил пан Агафон и, подошед близко, смотрел на меня с недоумением и даже с ужасом. — Что это такое, — молвил он наконец: — неужели безбожный сот-ник Гордей или бездушный писец Анурий залезли сюда и всего тебя изуродовали? Лицо твое и руки в крови, глаза подбиты, на лбу два большие желвака. Мати божия! Что здесь проис-ходило?

Тут рассказал я обстоятельно о битве, происходившей ночью. Друг мой не преминул восхвалить беспримерную мою храбрость, когда сам в то время был в бесчувствии. Это-то и есть знак истинной дружбы! Пан Агафон, слушавший сначала повесть мою с подобающим вниманием, наконец поморщился, потер себя по лбу и скорыми шагами удалился. Не зная, чему приписать такое хладнокровие нашего хозяина в деле столько важном, мы немало тому дивились. После многих рассужде-ний, после многих догадок друг мой сказал:

— Нельзя стать, чтоб пан Агафон не знал, что его кобыла в свойстве с дьяволом! Для чего же нас о сем не предуведомить? Для чего посылать на сенник? Это, право, чудно!

ГЛАВА XIV

Мирные условия

Мы встали, сотворили молитвы и сошли вниз. Какое ж было наше удивление, когда увидели, что пан Агафон, стоя на коленях у поваленного на землю большого козла, одною рукою держал его за рог, а другою тянул за переднюю ногу, сколько было в нем силы. Бедное животное морщилось, дрыгало задними ногами, и на глазах его, жалобно обращенных на хозяина, видны были слезы.

Пан Агафон перестал мучить страдальца, погладил его по лбу и, привставая, сказал:

— Кажется, ладно! Вот, пан Иван, — продолжал он, обращаясь ко мне, — тот злой дух, с коим ты ночью так храбро ратовал. Ведь угораздил же его лукавый забрести в сеник! А во всем я виноват! С вечера, поговорившись с вами, — да, правда, и было о чем, — забыл положить кобыле сена. Ночью козел зашел в ее стойло и силился достать из яслей что-нибудь съестное; а как там ничего не было, то, вероятно, в гневе и негодовании за такую оплошность он бодал ее рогами; как же кобыле податься? Бедный козел, побитый за дерзость свою порядком, катившись с лестницы, вывихнул ногу, однако я порчу сию исправил. Побудьте здесь покуда; я пришлю воды, и вы умойтесь хорошенько, а особенно ты, пан Иван старший. Хозяйка моя уже давно хлопочет о хорошем завтраке.

Он удалился. Мы взглянули один на другого и не могли не застыдиться.

— Негодница! — сказал я к подошедшему козлу: — возможно ли, что такая тварь одного из храбрейших горбулевских шляхтичей изранила, а другому, мудрейшему из них, навела такой страх, что чуть было не отправился на тот свет.

Умывшись и очистившись, мы вошли в дом, где нас уже ожидали. Жены наши от чистого сердца смеялись почному приключению. По окончании дружеского праздника мы отправились в путь и — как видишь, дорогой дядя! — находимся здесь.

Окончив свое повествование, пан Иван старший почтительно поклонился дяде, чему последовали Иван младший и их семейства. Артамон с видом кротости и сострадания молча осматривал каждого порознь и не мог не улыбнуться, когда взглянул на Ивана старшего. Хотя улыбка сия исполнена была дружелюбия и нежности, однако его племянник не мог не покраснеться и не потупить глаз в землю.

— Не печалься, друг мой! — сказал Артамон. — Хотя ты и действительноходишь теперь на того витязя, с коим думал в прошлую ночь на сеннике ратоборствовать, однако это, при помощи божией, пройдет. Все вы знаете, что старые люди весьма часто бывают причудливы и хотят, чтобы сии причуды были уважены другими, а особенно если сии последние у них ищут. Около десяти лет тому, как я с вами не видался, и более пяти, как прервано всякое между нами сношение. Вы согласитесь, что не я был причиною сего расстройства. На два письма мои к вам не получил я никакого отзыва, сердечно огорчился вашим безрассудством и, по согласию с женою, решил предоставить вас судьбе вашей. Я уверен, что если бы правительство не наказало вас — может быть, слишком уже строго — лишением всего имущества,

то вы и теперь не вздумали бы кинуть проклятые позыванья и явиться к старому дяде с повинною: не правда ли?

Паны Иваны и их семейства опустили глаза вниз, и слезы заблестали на ресницах каждого. Общее молчание. По вторичному вопросу Артамона о том же Иван старший, взглянув на него с видом человека, гнушающегося ложью, сказал:

— Твоя правда, почтенный старец, сущая правда! Но посуди сам, могли ль мы остаться равнодушными при неслыханных обидах, нанесенных ненавистным Занозю? Ах! Ты не знаешь еще...

— Все знаю столько же хорошо, как вы сами, — отвечал Артамон с важностью, — и никогда не думал оправдывать Занозу; но и ваши поступки были для меня огорчительны, противны, и я, следуя движению моего сердца, желал, чтоб вы были наказаны за безрассудство, тем опаснейшее, что оно могло заразить даже детей ваших. Если противник неправ, то менее ли того и вы несправедливы?

— Дядюшка! — сказал Иван старший: — я всегда считал, что кто первый без основательной причины нанесет кому обиду, тот заслуживает быть обиженным седмерицею!

— Вздор! — отвечал дядя: — ты и до сих пор не знаешь, — а не без чего целые десять лет непрерывно позывался, — что обиды бывают многоразличные. Представь себе, что я живу смежно с каким-нибудь шляхтичем, как ты жил с паном Харитоном. Кот моего соседа каким-то образом исплошил моего цыпленка и съел. Вместо того чтобы сего воришку, буде пойман, посечь прутом и тем отвадить от дальнейших шалостей, я достал несколько сов и лисиц и тихонько впустил в курятник соседа. На другой день сей узнает о великой пакости, мною ему сделанной, и я так же скоро извещаюсь, что обширный мой огород совершенно опустошен напущенными туда свиньями. Зная, кому я должен сею новостью, в отмщение приказал зажечь его гумно и тем лишил годовичного пропитания; а он, не стерпя сей обиды, сжег мой дом. Не всякий ли, имеющий в голове своей сколько-нибудь человеческого смысла, назовет нас обоих сначала глупцами, потом бездельниками, наконец злодеями, достойными виселицы? Между тем представленные мною лица непрерывно позывались, и вся тяжба кончилась тогда, когда оба противника увидели себя совершенно нищими. Неужели в сем изображении не видите вы себя и Занозы? Но — глупость уже сделана, и хотя ее исправить от меня теперь зависит, но и я в свою очередь потребую, чтобы два мои предложения непременно были исполнены; в противном случае — клянусь моей головой, поседевшею с честью, — вы видите меня в последний раз, хотя я считаю — вы сами тому лучшие свидетели — за страшный грех,

за явную неблагодарность к благодетельному богу, имея возможность помочь кому-либо в нужде, того не сделать.

— Дядюшка! — вскричал Иван старший, упав перед старцем на колени; чему все прочие последовали: — Дядюшка! Неужели два предложения твои так ужасны, так неудобны к исполнению, что угрожаешь нам вечным гневом своим, что все равно, как бы угрожал нам всем голодною смертью на распутьи?

— Встаньте, дети! — воззвал Артамон, утирая слезы: — встаньте! Неужели считаете меня столь безумным, что захочу от человека потребовать чего-нибудь бесчестного, пагубного? Напротив: в исполнении сих требований заключается собственное ваше благо — и благо прочное! Слушайте и не останавливайте меня до последнего слова. *Первое:* с сего самого часа поклянитесь — ни по какой причине ни с кем не позываться, пока я жив, без моего согласия, а по смерти моей — без единодушного решения двух беспристрастных опытных честных свидетелей, что обида, вам нанесенная, есть обида истинная, а не мнимая. *Второе:* с сего самого часа клятвенно обяжитесь чистосердечно простить старших сыновей ваших за известный их проступок, а дочерей Харитоновых считать наравне с дочерьми своими и мать их как добрую, достойную мать семейства; сверх сего, если и Харитон Заноза изъявит искреннее желание примириться с вами — принять в свои объятия как брата и друга. Да пребудет между вами душевное согласие, а с ним вместе счастье жизни!

Пан Артамон остановился и внимательно смотрел на своих племянников и их семейства. Паны Иваны при произношении первого требования имели глаза, пылающие радостью; но когда услышали второе, то лица их изменились и щеки покрылись бледностью. Вместо ответа они то закрывали глаза руками, то ломали пальцы. Артамон продолжал смотреть на них с видом возможного хладнокровия.

ГЛАВА XV

Упрямые

Иван старший, имея всегда более присутствия духа, нежели друг его, прежде всего пришел в себя и со взором свободного человека голосом твердым произнес:

— Дядя Артамон! Когда ты назвал меня и моего друга неразумными, мстительными, достойными виселицы, то неизвестный голос возопил: «Он прав, покайся и смирись!» В тот же миг я покался и смирился, подобно дитяти. Но, дядя Артамон, когда ты красивых преступниц, забывших явно наружную

даже стыдливость, дерзнувших в полуразвалившейся хате бесстыдной шинкарки Улиты предаваться всякому бесстыдию и ныне носящих зрелые плоды оного; когда ты, дядя Артамон, сих ядовитых ехидн, запутавших в кольца свои неопытных сыновей наших, хочешь видеть наравне с законными дочерьми нашими: то я — в первый раз в жизни не отвечая за друга моего Ивана, отвечаю за одного себя: не согласен! Жена! Дети! Будьте готовы к дороге. Пока останется в жилах моих хоть одна капля крови, и тою утолю вашу алчбу и жажду, и никто не осмелится сказать: «Этот человек основал здание своего счастья на бесчестьи». Теперь прощай и ты, почтенный, но обманутый старец!

Тут Иван старший припал к ногам дяди, облобызал края одежды его, вкочил и вскричал:

— Брат Иван! Прощай и ты, прощай навеки!

— Никогда не расстанусь с тобою, друг моей юности и мужества! — возопил Иван младший, также припал к коленям дяди, поцеловал его одежду, встал, и, одною рукою обняв друга, другую жену свою, бодрыми шагами пошли все из комнаты; громко рыдающие дети за ними следовали.

Окаменелый Артамон дошел кос-как до скамьи и сел, облокотясь на стол обеими руками; Евлампия, добрая, чувствительная Евлампия бросилась к открытому окну. Одни жены обоих Иванов и их дочери с каждым шагом вперед обращали к ней слезящие глаза свои и простирали дрожащие руки. Отцы семейств и их юные сыновья ни разу не оглянулись и с тем скрылись за воротами. Рыдающая Евлампия села подле мужа и, нашед его в таком же положении, в каком была сама, сказала:

— Друг мой! Ты в сем щекотливом деле поступил несколько быстро. Звук твоего голоса, когда клялся предать несчастных вечному забвению в случае непослушания признать дочерей Харитоновых своими невестками, коих они не иначе считают, как преступными обольстительницами, так оглушил Ивана старшего, что он потерялся, и врожденная роду Зубарей гордость, — он сын твоего брата, — заступила место благоразумия. Притом в жару ты пропустил самое важное обстоятельство, именно — уведомить, что Раиса и Лидия сделались уже законными женами сыновей их и преступление загладилось. Ты даешь убежище жалкой матери с дочерьми ее, так неужели лишишь оного своих единокровных; неужели будешь доволен одной половиной доброго дела, имевши возможность произвести все целое?

— Добрая Евлампия, — воззвал Артамон, отирая слезы с глаз, щек и усов, — что ж сделаем, чтоб, не быв жестокими, не попасть в число глупцов?

— Какая тебе нужда до народных толков! — отвечала Евлампия: — если на сем зыбком основании станем строить здание своего счастья, то мы вечно останемся несчастными! Послушай,

друг мой! Лошади, приготовленные для поездки твоей с слугой к сельским работам, стоят у крыльца нерасседланные: садись, скачи к любезным самоизгнанникам, объясни им, что дела сего переменить уже нельзя; что со времени приезда внуков наших из Полтавы они нередко тебя посещали; что ты знал о любви их и когда уведомился, что они соединены уже священными узами брака, то благословил любовь сию; скажи даже, что их милые новости у нас теперь и навсегда при нас останутся. Если и тогда не уменьшится гордость и закоренелая вражда наших племянников — о! — тогда ты смело можешь сказать: «Несчастные! Оставьте того, кто хотел сделать вас счастливыми».

— Так точно, благородная Евлампия! — сказал с восторгом Артамон и обнял ее с нежностью юности. — Клянусь праведным судом божьим, я не зол и не глуп: но ты, любезная жена, ты добра и разумна! Позови сюда Анфизу с дочерьми и ожидайте моего возвращения. Если увидите, что я один со слугой появлюсь на двор, то можете свободно плакать не о том, что я не сделал всех вас счастливыми, но о том, что есть сердца, подобно камню неразмягчимые, есть души, коим и глагол божий невнятен! Прости!

ГЛАВА XVI

Горестъ матери

Пан Артамон и слуга взлетели на коней и поскакали; Евлампия несколько мгновений стояла на одном месте, приводя чувства в порядок. Она позвала слугу и велела стать у столба воротного.

— Как скоро увидишь ты, хотя издалека, что пан твой возвращается, один ли или со многими, то спешу меня о том уведомить.

Слуга удалился. Предполагая, что Анфиза и ее дочери сидят в своих комнатах и с робостью ожидают решения судьбы, Евлампия спешила идти к ним, но опять остановилась, увидя, что дверь большой горницы отворилась и любезные гости ее со слезами на глазах устремились в ее объятия.

— Мы все слышали, — сказала в отчаянии Анфиза: — ах! Мы слышали свое осуждение из уст неумолимого пана Ивана старшего и во всем согласного с ним пана Ивана младшего. Хотя они сами поражены бедствием, нашему подобным, но могут ли быть столько несчастны, как мы? Если кто в злобе скажет им: «Старшие сыновья ваши — оболстители невинности», не вправе ли отвечать с гордостью: «Нельзя оболстить никого,

кто сам не хочет быть обольщенным!» Но что скажете о сем вы, Раиса, Лидия, что скажете о сем вы, погибшие мои дочери? Что буду отвечать я первой рассказчице, которая шепнет мне на ухо: «Правда ли, что говорят злоречивые люди?» — «А что такое?» — «Что обе дочери твои родили?» Не окаменеет ли отец ваш, столько гордый, столько напыщенный своим достоинством, несмотря на свое несчастье, когда какой насмешник батуринский в присутствии многих свидетелей скажет: «Поздравляю тебя, пан Харитон!» — «С чем?» — «Смотри, пожалуй, будто и не знаст! Вот и мы все в тюрьме с тобой, а письма, как видишь, исправно получаем». — «Да что такое?» — спросят все заключенные. «Он скоро делается дедом!» — «Как? Разве дочери его замужем? За кем? Давно ли?» — «Мне это неизвестно; а пишут достоверные люди, что недели за три до опечатания их дома они были уже только что не матери, и до сих пор пан Харитон наверное извещен о сем радостном событии, а скрытничает для того, что не хочет попотчевать нас за дружеские поздравления». О я злополучная! О Раиса, о Лидия! О я безумная! Как не догадалась я об истинном происшествии в ту роковую ночь, когда ты, старшая дочь моя, рассказывала мне о ведьме, упыре и вовкулаке! Не должна ли я была заключить о страшилищах другого рода, которые сделали вас самих оборотнями, каких не могут разворожить все знахари малороссийские.

Горесть и сетование Анфизы были так велики, упреки ее дочерям так сильны, так разительны, что последние близки были к тому, чтобы дать жизнь новым существам или самим лишиться оной. Евлампия, старавшаяся всеми мерами утешить горесть сих несчастных, говорит наконец:

— Анфиза! Твое неумеренное и неуместное сетование может быть источником гибели детей твоих и внучат. Когда ты, настоящая мать их, не имеешь жалости и расстраиваешь то, что создала и доселе сберегала благодетельная природа, по крайней мере не препятствуй мне исполнить мою обязанность, и хотя я никогда не имела счастья быть матерью, однако знаю, где нужна строгость к детям и где необходимо помилование.

В самую сию минуту вбежал слуга, посланный Евлампиею к воротам, и, стоя в дверях, возопил:

— Наш пан Артамон виден уже из ворот!

Сердца у всех затрепетали; то багряная краска покрывала их щеки, то наступающая синеватая бледность показывала их полумертвыми. Удаление слуги повергло их в новое отчаяние, и Анфиза со стоном произнесла:

— Теперь-то исчезла вся надежда, и мы несомненно погибли! Когда уже и Артамон, муж столько почтенный по летам, по уму и красноречию, не мог преклонить племянников своих к примирению, то кто уже в силах к тому их подвигнуть?

Прежний слуга, вошедши, сказал:

— Ну, вот наш пан уже и с крыльца виден! Сколько же с ним гостей, и, кажется, те же самые, которые незадолго ушли отсюда, из коих один весь изранен.

Сердца у всех радостно встрепенулись, и Евлампия вскричала:

— Для чего же ты, глупый, не объявил о сем прежде, когда я именно о том приказывала?

— Это я очень помнил, — отвечал обстоятельный слуга:— ты велела объявить: одного ли пана увижу или вместе со многими; а как он был тогда довольно далеко и я никак не мог различить, много ли с ним людей или только два-три человека, то ничего и не говорил; теперь же прямо доношу, что всех их наберется до десяти. Выйди на крыльцо и посмотри сама!

Евлампия радостно всплеснула руками и, обратя к образу взоры умиления, воскликнула:

— О ты, великий боже! Сколько ты правосуден, столько и милосерд! Не упустишь ты ни одного порока без наказания, но и ни одна добродетель не останется без воздаяния! О! Сколько сердце мое преисполнено к тебе любовью и благодарностью! Любезная племянница! Милые внучки! Поспешим навстречу к нашим посетителям!

Она взяла Анфизу за трепещущую руку и пошла скорыми шагами; Раиса и Лидия с сильно бьющимися сердцами, с пылающими щеками, с полуоткрытыми глазами за ними следовали. Явясь на высоком крыльце, они заметили, что идущие удвоили шаги, почему и сами, сбегав с крыльца, к ним устремились. Когда обе стороны сблизилась, то восхищенный Артамон произнес:

— Племянники! Обнимите добрую сватью вашу и на щеках ее запечатлейте поцелуи вечного примирения, нелицемерной дружбы и родственной любви.

ГЛАВА XVII

Начало примирения

Оба Ивана с неописанным удовольствием исполнили желание добродушного дяди. Иван старший начал было говорить к Анфизе витиеватую речь, как почувствовал, что нечто жмет его колени. Взглянув вниз, он увидел Раису у ног своих с возведенными на него слезящими глазами. Сердце его вновь затрепетало, и душа исполнилась неизвестного ему дотоле умиления.

— Раиса! — воскликнул он, поднимая ее, — милая, любезная дочь! Не у ног моих, но у этой груди должна ты услышать первый обет моей всегдашней любви к тебе! — С сим словом он сжал ее в своих объятиях и, поцеловав ее с отеческою нежностью, продолжал: — О я, ослепленный злостию и мщением! Как мог не любить сего ангела, как мог думать, что она способна погубить моего сына! Раиса! Когда милосердие божие в образе этого добродетельного дяди соединяет теперь все доселе расторгнутые сердца узами любви и дружбы, да будем же и мы благодарны сему милосердию божью, посвятив на угождение дяди каждую минуту из дней, нам еще оставленных.

Он хотел пасть к ногам Артамона, но сей принял его в свои объятия, и слезы их, слезы сладкие, оросили их щеки. Иван младший, хотя с меньшим торжеством, но с неменьшею нежностью оказал знаки любви к Лидии и неограниченной благодарности к дяде. Робкие дети обоих Иванов, не осмеливавшиеся доселе взглянуть на Артамона и Евлампию, быв обласканы сими благородными супругами, взглянули на них с улыбкой невинности.

— Великодушный дядя Артамон! Добродетельная тетка Евлампия! — воззвал Иван старший: — я примечаю легкое облако, затемняющее несколько блеск взоров ваших. Казалось бы, чего еще недостает к полному счастью нашему! Ах, многого! Кто укротит неукротимый нрав свата нашего, пана Харитона, и сердце его соединит с нашими сердцами? Кто возвратит отцам погибших сыновей их? Где любящие жены найдут мужей своих?

— Об этом после, — сказал Артамон с веселым видом: — доброе начало большею частию ведет следом за собой и конец добрый. Жена! Ты видишь, что за обеденным столом нашим...

— Не беспокойся, — отвечала Евлампия с улыбкою: — у хорошей хозяйки — сколько б гостей ни случилось, ни один не будет лишним.

Все вошли в большую комнату и, помолясь с усердием образу спасителя, сели по лавкам. Скоро сама хозяйка вошла пригласить всех к обеду, который был самый праздничный. Под конец одного пан Артамон сказал:

— Вам известно, племянники, что сей хутор не один составляет мое имущество, и я мог бы весьма удобно разместить вас по прочим панским домам; но мне кажется, что два семейства, недавно из заклятых врагов сделавшиеся друзьями и родственниками, благоразумно поступят, оставшись здесь вместе, хотя с некоторым стеснением. Вы, оба Ивана, займетесь внешним хозяйством: станете разъезжать по хуторам моим, осматривать поля и леса, мои мельницы и винокурни; собирать мои доходы,

делать из них по общему между собой соглашению нужные расходы и всему вести исправные счета. Занятие сие для вас не будет трудным: вы сами довольно долго были пехудыми хозяевами, и если бы не пагубные позыванья... но об этом теперь ни слова. Жены ваши будут помогать тетке в управлении внутренним хозяйством. Что касается до Анфизы, то ее дочери в таком теперь положении, что довольно для нее и их самих будет заняться приготовлением всего нужного для встречи ожидаемых маленьких гостей. Что же я сам буду делать, чем заниматься? Чем вздумается! На старости хочу понежиться и повеселиться! Долго работал я, пора отдохнуть. Вместо меня пусть другие поработают, а я стану посещать приятелей, ближних и дальних, буду иногда приглашать их сюда, и в таком случае всякий раз поднимем настоящий праздник. В трех верстах отсюда вверх по течению Псела лет за семь перед сим основал я в лесу своем небольшой хуторок и выстроил панский дом с изрядным садиком. Этот хутор и теперь оставляю в своем непосредственном управлении и приказываю вам, племянники, не только не вступать туда ногой, но еще стараться, чтобы никто из домашних ни под каким видом того не делал; также требую, чтоб к селу Горбылям вы близко не подходили: слушание ваше огорчит меня весьма много.

На другой день с самого утра все расположили занятия свои по желанию мудрого благодетельного хозяина, да и сам он, облобызав всех родственников и родственниц, съехал со двора, наказав, чтобы не беспокоились, если недели две или более его не увидят.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Тюремные друзья

Меж тем как наши паны Иваны, занимаясь легкими трудами и отдыхая в кругу любящих и любимых жен и детей, наслаждались истинно счастливою жизнью, пан Харитон горевал в багуринской темнице, ломая голову, как бы поправить тяжкие обстоятельства и, отомстив своим злодеям, воскликнуть громко о победе. Как однажды такую разумную мысль сообщил он двум молодым запорожским есаулам, в одной с ним комнате поме-

ценным в награду за некоторое богатырское дело, оказанное на базаре над двумя молодыми шинкарями, то сии крайне удивились.

— Как, пан Харитон! — вскричал один запорожец, по имени Дубонос: — неужели ты из Горбылей не получал никакого известия?

— От тамошнего дьячка Фомы, — отвечал Харитон с тяжким вздохом, — получил я горестное уведомление, что по захватении злодеями моего имения какой-то престарелый пан увез с собой несчастное мое семейство; но кто он таков и куда скрылся — никто не знает.

— Пусть так, — сказал другой запорожец, по имени Нечоса, — что дальнейшая участь твоего семейства тебе неизвестна; но не может быть, чтобы бедствие, постигшее обоих панов Иванов, было тебе также неизвестно.

— Как честный человек и урожденный шляхтич говорю, — отвечал пан Харитон с выступившею краскою удовольствия на бледных доколе щеках, — что ничего не знал и не знаю; а думать надобно, что они торжествуют и хвастают о своей победе.

— Есть чем хвастать! — воскликнул Дубонос: — с ними так же милостливо поступлено, как и с тобою: они лишены всего имения, выгнаны из домов, порядочно побиты и теперь с женами и детьми скитаются, как плащеватые цыганы.

Лицо пана Харитона просияло несказанною радостью, и взоры его заблестали; но вскоре он опять затуманился и, вздохнув от глубины сердца, произнес:

— Благодарение правосудию богу, что он, поразив Иванов, не дозволил им насмехаться надо мной. Но как они сами теперь стали нищими, то о чем я, получа свободу, буду с ними позываться? Разве об их чубах и усах!

— Эх, пан Харитон! — сказал Дубонос довольно угрюмо: — не пора ли перестать дурачиться не под лета? Не будет ли с тебя довольно и того урока, какой уже задан? Разве хочешь, чтобы ко всему вдобавок, по определению войсковой канцелярии, сняли с тебя все до нитки и, выгнав из Батурина киями в поле, сказали столь сладкое для тебя слово: «позывайся на зорюве с дождем и ветром, с громом и молниею, с солнцем и месяцем!»

Если бы сии слова — и в самом деле не очень учтивые — произнесены были в другое время, при других обстоятельствах, то пан Дубонос, несмотря на свое запорожское одеяние, не ушел бы от подзатыльщины и позыванья; но теперь — увы! — пан Харитон вздохнул, пошел к рогоже, служившей постелью каждому заключенному, у которого в кармане не звенит ни ползота, и, оборотясь к стене лицом, начал жевать черствый хлеб и

запивать водою. Запорожцы также воссели на своих ложах, кои покрыты были войлоком, а вместо подушек служили мешки с соломой. Дубонос из-под изголовья вытащил изрядную баклагу с вином, а Нечоса — кису, из коей вынул несколько булок, кусок свиного сала и колбасу. Сии крестовые братья, — так они себя объявили, — поздоровавшись с баклагой, принялись за булки и сало, и когда первую охоту посбили, то Дубонос взвал:

— Что такое, пан Заноза? Мы целый месяц живем здесь с тобою по-запорожски, то есть по-братски, и хлеб-соль делили между собой без всяких расчетов: что же ты затеял теперь злов дождаться? Кинь, пожалуйста, спесь и поди к нам.

Пан Харитон, оборотясь к молодцам, сказал:

— Я, право, и не заметил, что вы уже обедаете. Ну, хлеб да соль!

— Милости просим!

Так протекли еще две недели. Запорожцы были не скупы, зато и тюремные служители не были к ним суровы. Все, чего ни требовали первые, доставляемо было последними с великою охотою, разумеется, половиною меньше; но что до того? Что пользы в деньгах, когда нельзя сделать из них никакого употребления? А тюремные служители такие ж люди, как и прочие миряне.

Пан Харитон всегда и безотговорочно разделял завтраки, обеды и ужины с молодыми друзьями своими (так он величал уже своих собеседников); время наказания их окончилось, и они очутились на свободе.

ГЛАВА II

Есть о чем подумать

Все трое, пришед в корчму, занимаемую молодыми запорожцами до заключения в городскую тюрьму, в комнате своей признали все в надлежащем порядке. Хозяин оказывал знаки сердечной радости, что таких достойных панов опять у себя видит в вожделенном здравии и невредимыми.

— Это правда, — сказал Дубонос, — что нас ни волосом не тронули; но никто не трогает и жаворонка в клетке, а напротив того, дают ему есть и пить гораздо изобильнее, нежели сколько ему надобно, однакож эта бедная птичка беспрестанно бьется об сетку головой, так что нос ее почти всегда осаднен. Жид, приготовь для троих нас самый лучший обед и третью

постель в этой комнате; а мы, между тем, для большего возбуждения охоты к еде, пойдем пошататься по городу.

Во время прогулки Дубонос сказал:

— Тебе, пан Харитон, известно, что мы все дела, призвавшие нас в Батурии, окончили. Завтра ж напишу об этом куда надобно, получа ответ, пустимся с братом Нечосою в благословенную Сечь. Что ты, пан Харитон, предпринять намерен?

— Сам покудова не знаю! — отвечал сей со вздохом. — Безбожные судьи отняли у меня хутор, землю, дом, семейство, все — и я остался, как видите! Если бы великодушные подкрепления ваши не поддержали доселе тела моего пищею, а дух беседами, то я давно бы погиб с тоски и голода. Явиться мне на родину — то же, что самому искать своего позора. Где я найду убежища? Когда у пана Харитона Занозы было что поесть и попить, о! тогда дом его был полон приятелей; но теперь, я думаю, меня никто и не узнает!

— Знаешь ли что? — воззвал Дубонос: — коль скоро сам ты уверен, да и нам сознался, что на родине тебе делать нечего, то скажи откровенно: знаешь ли на всем земном шаре место, которое было бы для тебя приличнее гостеприимной Сечи? Вот единственное убежище для всех тебе подобных! Что касается до нас, то Запорожье есть наша родина, и в тамошних хуторах проживают наши родители. Что, пан Харитон, не хочешь ли нам сопутствовать и умножить собою число храбрых людей, которых назвать можно военными отшельниками? Там не спросят, что ты и где значился, что имел или иметь хочешь, — скажут прямо: «Будь под нужду храбр, всегда честен, не имей ничего собственного и пользуйся всем, что наше!»

Пан Харитон призадумался, и молодые друзья не мешали ему поразмыслить о столь важном предмете. Запорожцы, разговаривая о путешествии своем из Сечи в Батурии, упоминали имена многих именитых шляхтичей из миргородской сотни, отличных или по храбрым делам, или по имуществу, или по тому и другому; пан Харитон взял это на замечание, но молчал, продолжая размышлять. На возвратном пути Нечоса спросил у своего товарища:

— А как скоро надеешься ты получить ответ на письмо твое?

— Почему ж я могу знать? — отвечал Дубонос насмешливо: — если бы это от меня зависело, то чем скорее, тем лучше.

— Однакож ты знаешь, — продолжал первый, — что от письма того все зависит.

— Одно только, — отвечал другой: — надобно прислать нам побольше денег, и все тут. Чего здесь за деньги не достанешь?

Лошади, оружие, новые платья — все в один миг явится. У нас покуда столько есть, чтобы не казаться нищими и жить не скучая: чего ж более? Пусть пройдет месяц, пусть два или три в ожидании, что нужды? Теперь еще середина весны, а к окончанию лета мы пустимся в дорогу. Что может быть приятнее путешествия в это время года!

Рассуждая о виденном и слышанном, они дошли до своего жилища, отобедали по-праздничному, а после вмешались в толпу веселящихся дарами Божиими и неприметно сами развеселились. Дубонос и Нечоса хорошо играли на бандурах, пан Харитон басил в лад с игрою, посетители плясали казачка и вприсядку, и словом — до самой ночи забавлялись, не подумав: запорожцы о своей Сечи, а пан Харитон о селе Горбылях, о жене и детях и даже о панах Иванах. Куда как приятно после рогожных и войлочных постелей разлечься на перинах!

ГЛАВА III

Крестовые братья

Потру, когда Нечоса и пан Харитон, потянувшись на постелях, открыли глаза, то увидели, что деятельный Дубонос выносил уже из комнаты запечатанное письмо. Нечоса, привстав, сказал:

— Пан Заноза! Друг наш подейтельнее нас. Ну, пусть ты несколько уже поустарел, а мне, право, стыдно против Дубоноса! — С сими словами он вскочил с постели и начал одеваться; пан Харитон ему последовал, и когда кончили христианские обязанности, то есть умылись и сотворили молитвы, то вышли на крыльцо, дабы освежиться воздухом. Скоро подошел к ним Дубонос, поздоровался и сказал:

— Мой гонец уже в городе; заметим же сей день в наших святцах, и первое мая да будет для нас днем одним из праздничных.

По окончании завтрака Дубонос спросил у своего старого друга:

— Ну, пан Заноза, надумался ли ты о нашем предложении?

— Я много размышлял о нем, — отвечал сей доверчиво, — и нахожу, что по длинно мне нигде уже не видать ясных дней, как разве в Сечи Запорожской! Но до нее дойти для меня — человека за сорок пять лет — не только тяжело, но едва ли и возможно! Притом же...

— Что еще за новое препятствие?

— То, — продолжал Занова, — что эта черкеска и все прочее одеяние едва ли могут прослужить мне и две недели. Все, что было у меня в запасной суме, провалилось сквозь землю при заключении меня в темницу.

— Понимаю, — отвечал Дубонос хладнокровно: — объяви только желание, хочешь ли или нет быть запорожцем. В первом случае — вся наша казна общая; в последнем: потребуй, сколько тебе надобно, — и бог с тобою!

— Великодушные молодые люди! — воззвал пан Харитон, глядя на них умильно: — если б и не был я в таких обстоятельствах, в каких теперь нахожусь, то или отвлек бы вас от Запорожья, или сам сделался бы запорожцем. Примите ж слово мое: с сего часа да водворится между нами братство, дружба и любовь. Лета мои, моя опытность, купленная чрезмерно дорогою ценою, дают мне право называться вашим старшим братом. Но это звание не уполномочивает меня угнетать воли ваши, а только дозволяет в нужном случае иметь первый голос в нашем совете; впрочем, прежняя свобода будет неприкосновенна. Довольны ли вы словом моим?

— Совершенно! От всего сердца и от всей души!

— Снимите ж каждый с шеи своей кресты, как я делаю, и оба положите на сем столе!

Дубонос и Нечоса исполнили его желание. Пан Харитон, положив свой крест между их крестами, обратился к образу (и в жидовских корчмах, кроме спальни хозяев, поставлены образа христианских угодников) и, возвыся правую руку, произнес:

— Мати божия! Благослови быть свидетельницею клятвы нашей: любить, охранять и доставлять всякое счастье один другому, как обязаны родные братья! В заключение клятвы сей целуем кресты сына твоего, данные нам при крещении!

Молодые люди с благоговением повторяли каждое слово его.

После сего пан Харитон наклонился, приложил дрожащие губы к своему кресту, и две крупные слезы брызнули на распятие. Из сердца Харитонова не могли бы извлечь их самые жестокие муки; но теперь извлекли нежность и умиление.

Юные собратья его, растроганные до глубины сердец, произнесли новые клятвы — повиноваться ему, как старшему брату, и жить всем вместе, пока смерть или какие другие насильственные случаи не разлучат их. Торжественные обеты кончились взаимными объятиями.

Наряды

По приказанию Дубоноса явился хозяин.

— Иуда! — сказал первый: — ты мне много раз хвалился, что зять твой Давид считается за первого портного в Батуринах; позови же его к нам.

— Как же хорошо, — говорил Иуда с улыбкою, — что он теперь здесь! Давид! Давид, — кричал он, стоя в дверях: — поди сюда к панам за работою.

Опротетью вбегает Давид и униженно спрашивает, что угодно приказать покорнейшему из сынов израилевых.

— Ты видишь нас троих, — сказал Дубонос: — платья наши от дороги поизбились, так сделай нам по паре нового из кармазинного сукна с золотыми кистями да по паре из синего с кистями серебряными; а чтоб больше угодить нам, то поспеши работою.

Давид, казавшийся сначала евреем неробким, теперь опомел и смотрел на Дубоноса неподвижными глазами.

— Что ж ты задумался? Разве работы очень много?

— Высокоименитый пан! — отвечал Давид, согнувшись в пояс: — меня не количество работы остановило; но — с твоего милостивого дозволения — кто заказывает только в одно время, то обыкновенно жалуется вперед.

— Хорошо! — сказал запорожец; отпер свою суму и, вынув из нее кожаный мешок, спросил: — чего ж будут стоить все шесть платьев?

Давид, поправляя еломок, начал считать по пальцам и шевелить губами, наконец сказал:

— Полагая по самой умеренной цене, нельзя взять меньше, — посудите только, какая теперь во всем дороговизна!

— Да говори скорее, меньше чего взять нельзя?

— А содержание работников, их жалованье.

— Если ты сейчас не скажешь цены, то я пошлю за другим портным!

— Постой, постой! Целый свет знает, как паны запорожцы нетерпеливы и вместе с тем как щедры! С ними торговаться есть тяжкий грех, и пусть гром собьет с головы моей еломок и повергнет в грязь; пусть молния опалит мои пейсы...

— Иуда! Посылай скорее за другим портным, скорее, скорее!

— Постой, постой, высокоименитый пан запорожец! За платья, тобою заказанные, нельзя взять меньше шестисот злотых.

— Это очень дорого!

— Посуди, вельможный пан запорожец!

— Хорошо, хорошо; но ни слова более! Довольно ли с тебя — взять теперь две трети означенной суммы, а остальную получить, когда принесешь платья?

— Весьма доволен!

— Снимай же мерки, начав со старшего брата.

Когда Давид размеривал рост и породство панов Занозы и Нечосы, Дубонос делал мысленный расчет, водя пальцем по столу, и наконец, сделав точку, произнес:

— Так! Мерка снята и с него. — Тут он, развязав мешок, высыпал горсти три червонцев.

Пан Харитон, предполагавший, что в мешке серебро, немало подивился, увидя золото; что ж касается до жидов, то они ахнули, оцепенели и попятились назад.

— Дурак! — шепнул Иуда Давиду.

— Клянусь бороною и пейсами покойного отца моего, — отвечал Давид также шопотом: — я этого не предчувствовал.

— Иначе — вот тебе, Давид, вместо четырехсот золотых — сто червонцев! — сказал Дубонос, отодвигая кучу золота.

Давид дрожащими руками пересчитал деньги, опустил в карман и, уходя с несколькими низкими поклонами, обещал изготовить работу как можно скорее.

— Ты, Иуда, останься покуда здесь, — продолжал Дубонос: — мы сделаем тебе некоторые поручения. Первое: прикажи в возок свой впрячь лошадей и дай работника: мы поедем к другу своему, ветошнику Исахару, чтобы купить у него по паре платьев попростее тех, которые теперь заказаны. Второе: вели жене к приходу нашему изготовить хороший обед. Вот и все!

— Высокоименный пан! — отвечал Иуда: — стряпаньем моей жидовки все вы будете довольны; вместо же работника править лошадью буду я сам, дабы напомянуть другу Исахару, сколько радею о его пользе.

— Ничего не бывало, — сказал пан Харитон, — нам теперь не надобны ни твой возок, ни конь, ни работник, ни ты. Ступай-ка готовить обед!

Жид поморщился и вышел, повеся голову.

— Для чего ты это сделал? — спросил Дубонос с доверенностью: — неужели не нужны нам простые платья? Сверх того, здесь удобнее запастись всем нужным, чем в другом месте, где нередко и с деньгами в карманах ходят в сапогах без подошв.

— Это правда, — отвечал пан Харитон, — но неужели не заметили вы, как замялись наши жиды, увидя на столе золото, и как тесть упрекал зятя, что он попросил за платье дешево? Хотя я и сам не слыхал ни одного слова, но их взоры, их ужимки меня не обманули. И теперь, для чего Иуда так охотно взялся

быть проводником нашим? Именно для того, чтобы смигнуться со своим другом, взять за копеечную вещь злотый и после поделиться!

— Понимаю, — сказал Дубонос весело: — оттого Иуда и вышел так печален, что не удалось нас одурачить. Спасибо, любезный брат! И впредь не отрекись пособлять нам своими советами.

Пан Харитон сердечно радовался, что так скоро по освобождении из тюрьмы удалось ему оказать услуги новым друзьям своим. По его совету Дубонос, отсчитав из мешка еще сто червонцев, остальные запер в суму, и все трое вышли на улицу.

ГЛАВА V

Сборы в дорогу

Путники наши отправились прямо на базар, где червонцы разменены на злотые, нанята телега и до полудня нагружена платьем, бельем, обувью и множеством других вещей, коих нельзя достать в стороне полудикой. День прошел в примеривании покупок, и пан Харитон решил остаться навсегда в запорожском платье, а бывшее на нем малороссийское подарил бедному шляхтичу, на ту пору в корчме случившемуся и увеселявшему его заунывными своими песнями.

День проходил за днем, неделя за неделей, и наконец прошло два месяца пребывания в корчме наших братьев, а Дубонос не получал еще столь ожидаемого письма. Нередко случалось, что меньшие братья уединялись, говорили между собой с жаром и утирали слезы. Пан Харитон примечал это, но считал непристойностью выведывать тайны, пока сердца сами не раскроются и не позволят видеть свою внутренность. Он с каждым наступающим днем более и более прилеплялся к Дубоносу и Нечесе. В первом особенно нравился ему жар юности, отважность в каждом движении, быстрота в мыслях и действиях; второй пленял его кротостью нрава, нежностью чувствований и тонкостью суждений. Он привязался к ним отеческою любовью, и в один вечер, когда юноши забавляли его рассказами, он с нежностью произнес:

— Любезные братья! И у меня есть шестнадцатилетний сын! Я умоляю небо, чтобы оно благоволило сделать его похожим на одного из вас: в противном случае — преждевременно низвергнуть в могилу!

Юноши его обняли, и слезы их смешались с его слезами. Что такое сделалось с паном Харитоном? Каким непонятным

чудом человек дикий, запальчивый, мстительный, несправедливый в продолжение нескольких месяцев превратился в человека кроткого, умеренного, непамятозлобивого и в каждом слове, не только в каждом поступке любящего строгую правду? Ах, до сего времени он не имел счастья любить и быть любимым так, как любить должно и как хочет быть любимым доброе сердце! Он любил жену — и был ее мучителем; жена любила мужа — и леденела в его объятиях. Он любил детей, когда их хвалили посторонние люди; дети любили отца и старались избегать его присутствия. Он любил друзей, когда они его ласкали; а они ласкали его тогда только, когда за столом его наедались и напивались. Такого рода любовь может ли осчастливить человека, рожденного даже с самыми счастливыми склонностями?

В первых числах июля под вечер пан Харитон и брат Нечоса сидели у ворот корчмы в крайнем смущении и даже горести, не видя Дубоноса, с самого утра отлучившегося.

— Если б он опять попал в городскую тюрьму, — заметил пан Харитон: — то тамошние прислужники еще его не забыли, и он мог бы в ту же минуту нас о том уведомить!

Вдруг видят, что новая в три лошади запряженная бричка прямо к ним катится, и когда поровнялись, то сидевший на козлах запорожец вскричал: «Здравствуйте!» и с сим словом помчался на двор. «Дубонос!» — воскликнули в один голос пан Харитон и Нечоса и побежали к крыльцу, где остановилась бричка. Дубонос, бывший уже на земле, обняв своих братьев, сказал:

— Прошу извинить, что с доброй воли причинил вам о себе беспокойство; зато теперешняя радость довольно наградит вас!

— Так! — вскричал Нечоса с восторгом: — ты, верно, получил столь долго ожидаемое письмо с родины? Ах! Скажи скорее, что там делается? Все ли здоровы? В каком положении они остались и — ах! — каковы маленькие гости? Как различать их? Бога ради скорее!

— Ты безмерно нетерпелив, — отвечал Дубонос с важностью, — и я хорошо сделал, что, идучи сюда к обеду с прочтенным письмом, пробежал мимо нашей корчмы и бросился на большой базар, дабы искупить все, что мне от него предписано. На первый случай будь доволен немногим; все хорошо: у старшей он, а у младшей она!

Нечоса повис на шее своего брата, и щеки его оросились слезами. Он возвел глаза на небо и вполголоса произнес: «Благодарю тебя, боже».

Такая бестолковщина сначала удивила пана Харитона, и он готов был назвать своих братьев одурелыми, а особливо Нечосу, как Дубонос отвлек его от сего намерения продолжением рассказа.

— Мне предписано, — говорил он, — искупить довольно количество различных вещей: шелковых, бумажных, золотых, серебряных, стальных и проч. и проч., что все тщательно и уложено в большом сундуке. После сего куплена эта бричка польской работы, три добрые лошади с упряжкой, сундук уложен, и тут я догадался, что сидеть на нем путешественникам будет несколько хлопотливо, почему куплена и положена сверху большая перина и покрыта казанским ковром. Уже приговорен мною дородный цыган, который будет править лошадьми во всю дорогу. Он хочет попытать счастья на нашей родине.

Бричка ввезена в сарай и замкнута, лошади выпряжены и установлены в конюшне, корчемному слуге приказано снабдить их обильно овсом и сеном. Иуда, ожидавший их у дверей корчмы, опечалился, услыша, что они в следующее утро его оставляют. Правду сказать, что хотя корчма его никогда не бывала пуста, но редко также случалось ему видеть в ней таких веселых и щедрых гостей, каковыми были наши запорожцы.

ГЛАВА VI

Наши идут

На другой день с восходом солнечным явился цыган Конон, впряг в бричку лошадей и подвез ее к крыльцу. Дорожные сумы, в коих хранилось лишнее платье, белье и некоторые мелкие вещи искупленные, уложены на место подушек, а в ногах помещены баклаги с волошским вином и наливками.

— Конон! — воззвал Дубонос, — где ж твои пожитки? И для них довольно будет места!

— Не думаю! — отвечал цыган: — куда бы, например, девал ты мою наковальню, два больших молота, двое клещей и мех раздувательный? Эти громоздкие вещи перевел я на самые уютные, то есть на ходячую монету, и вырученные за них двенадцать золотых весьма укропно покоятся в кармане. Я оставил для себя самое необходимое: этот кнут в руке и этот нож за поясом!

Дорожные, принеши богу должное благодарение за все блага, им ниспосланные, сели в бричку; Конон взмахнул кнутом, присвистнул, и бричка быстро покатилась. Выехав из города, они пустились по полтавской дороге. Три дня проведши в пути, они к вечеру въехали на землю, миргородской сотне принадлежащую. Проезжая сквозь дубовый лес и увидя прекрасную поляну, они не могли не плениться ее положением.

— Здесь, — сказал пан Харитон, — мы остановимся! Кто хочет есть и пить, пусть ест и пьет; что ж до меня касается, не

хочу ни того, ни другого. Здешний воздух меня давит; запах цветов меня умерщвляет!

В безмолвии меньшие братья дали знак Конону остановиться. Кони выпряжены и пущены на траву. Цыган развел большой огонь и начал — по данному наставлению — приготавливать ужин. На ближнем холме уселся пан Харитон, и на лице его изобразилось нечто такое, что уподобляло его или выше, или ниже человека; а в самом деле он никогда не мог выйти из круга, начертанного матерью его — природою!

— Друзья мои! — сказал он, возведя глаза на юношей, стоявших перед ним в пасмурном молчании. — При вступлении на землю миргородскую сердце мое забилось необыкновенно и дыхание отяжелело. Я вспомнил, что родился под здешним небом, дышал здешним воздухом, народил детей и начал стариться между здешними жителями. Быв довольно достаточен, я проводил жизнь беззаботную и мог бы кончить ее среди довольства и счастья, не заботясь об участи моего семейства; но вдруг из глубины ада исторгается дух вражды и ябеды, вдыхает в меня яд свой, и я закипел страстью к тяжбам бесстыдным. Что из этого вышло? Из достаточного шляхтича — нищий, из семейного — бездетный! Я не знаю даже, что случилось с жалкими жертвами моего беспутства; а если бы и знал, где отыскать их, то как осмелюсь к ним явиться? Что предложу им, когда и сам существую от даров дружбы и великодушия?

— Напрасно так думаешь, — сказал Дубонос отрывисто: — можно ли истинным друзьям и братьям вести между собою какие-нибудь расчеты? Не должно ли все, относящееся до удовлетворения житейским нуждам, быть между ними общим?

— Братья! — отвечал пан Харитон со вздохом: — теперь узнаю только, что одолжать несравненно приятнее, чем одолажаться!

— Если ты столько чувствителен и разборчив, то есть средство и в сем случае помирить тебя с самим собою. Ты видишь по всему, что родители наши люди богатые, а вдобавок скажу, что они люди рассудительные: отпуская нас в Батурин, они благословили и дали на волю нашу избрать себе невест, не смотря на звание, породу и приданое. Ты нередко сказывал, что имеешь двух дочерей, кои в тех уже летах, что могут быть матерями; мы верим словам твоим, что они привлекательны по наружности, добродушны, трудолюбивы: дозвожь нам их увидеть. Может быть, мы взаимно поправимся, и тогда ты благословишь нас. Из братьев мы сделаемся твоими сыновьями, составим одно семейство и надеемся, что ты найдешь опять утраченное спокойствие!

Такое неожиданное предложение немало удивило пана Харитона. Правда, ему иногда мечталось, что сии достойные юноши просят осчастливить их соединением с дочерьми его; но он, видя

большой их недостаток, узнав обширные их сведения, образованность, не смел ласкать себя пустою надеждою, чтобы обыкновенные девушки, притом без всякого приданого, могли им так сильно понравиться; но и теперь, слыша от них такой вызов, он поблагодарил их откровенно за сие новое доказательство неизменного их дружелюбия.

— Однако, — примолвил он, потупив взоры в землю, — сколь ни пленительна для меня мысль ваша, я не смею и подумать, чтоб она когда-либо могла исполниться. Сверх того, скоро ли мы отыщем бедных сирот с несчастною матерью, когда, по всему вероятию, они более всего стараются оставаться в глубокой неизвестности, а вам надобно спешить к своим родителям.

— Можно обойтись без лишней поспешности, — отвечал Дубонос решительно: — и я надеюсь, что, узнав причину некоторой со стороны нашей медленности, родители наши не только извинят ее, но еще одобрят. Словом: мы направим путь прямо к селу Горбылям и если там не получим полного сведения о жене твоей и детей, то пустимся к знакомому нам пану Артамону Зубарю, человеку умному, доброму, с которым познакомились мимоездом и которому дали слово навестить при возвратном пути.

Пан Харитон изменился в лице.

— Как? — спросил он протяжно: — не ослышался ли я? Кого хотите навестить?

— Пана Артамона!

— Разве не известно вам, что он родной дядя, а жена его — родная тетка обоих врагов моих, Иванов?

— Так что ж? Не обманывайся, любезный брат! Пан Артамон, говоря нам о вашей тяжбе, более обвинял своих племянников, нежели тебя. Впрочем, он лично с тобой незнаком, и если ты не хочешь перед ним открыться, то и мы выдадим тебя за путевого нашего товарища. Пан Артамон знается со всеми окольными шляхтичами и наверно известен о местопребывании твоего семейства.

Пан Харитон, со времени заключения братского союза сделавшись гораздо стоворчивее, чем был прежде, а притом надеясь через пана Артамона скорее узнать, чего всем им весьма хотелось, и боясь упустить случай поправить порчу в своих обстоятельствах, скоро склонился на желание молодых друзей и дал слово посетить пана Артамона под собственным своим именем.

— На что скрывать свое имя, — сказал он: — я наделал не более дурачеств, как и мои соперники! Пусть же узнает благородный старец, что чувство раскаяния не чуждо моему сердцу; а где есть место раскаянию, там можно еще ожидать исправления.

Нечаянность

Разумеется, что после сего условия все сделались веселы. Молодые запорожцы наперерыв старались угождать своему старшему брату, и хотя они ужинали в лесу, но легли уснуть на покате зеленого холма с большим удовольствием, нежели бы в лучшей батуринской корчме. На утренней заре бдительный Конон впряг лошадей и разбудил своих панов; все уселись и пустились в дальнейший путь. На другое утро, незадолго до полудня, они въехали в село Горбыли. Бричка двигалась тихо, ибо молодые запорожцы высматривали, где бы поудобнее остановиться для отдыха. Пан Харитон был пасмурен и вздыхал непрестанно.

— Брат! — сказал Дубонос, обратясь к нему: — место сие известнее тебе, чем нам. Скажи, где бы нам пристать, чтоб накормить коней?

— Я думаю, — сказал весьма пасмурно пан Харитон, — всего лучше ехать туда, где менее всего меня узнать могут.

— Хорошо! — подхватил Дубонос: — в первый проезд наш через сие село мы ночевали в корчме жида Соломона; она стоит на другом конце села, по дороге, ведущей к хутору пана Артамона.

Дубонос указал Конону улицу, по которой ехать надобно. У пана Харитона затрепетало сердце: эта улица вела мимо бывшего его дома. Надвинув шапку на брови, он высунулся из брички и решился сколько можно равнодушнее смотреть на разоренное свое жилище.

— В течение десятилетнего позыванья, — сказал он с тяжким вздохом, — я столько претерпел горя, что сей последний удар не будет уже опасен для моего сердца. Когда я увижу пустырь на том месте, где я старался заводить не только все удобства жизни, но и довольство, то уверяю вас, молодые братья, что вместо горестной слезы на глазах вы увидите улыбку негодования на губах моих. Я докажу, что, побратавшись с вами, сделался истинным запорожцем! — После слов сих он закрыл глаза руками, и младшие братья увидели, что сквозь пальцы заструились слезы и потекли по щекам старшего брата.

— Пан Харитон! — воззвал Дубонос: — не думай, что быть запорожцем есть то же, что быть не человеком! Ах! Горе тому, кто не проливал иногда слез горести. Он неспособен в полной мере чувствовать всю сладость, проливая слезы любви

и дружбы. Чувствительность, огражденная верою и благоразумием, есть лучшее, любимейшее дитя промысла, посланное в дар душам добродетельным.

По данному Дубоносом знаку бричка остановилась среди улицы, подле бывшего дома Харитоновы. Он открыл глаза, осмотрелся кругом и чуть было опять не зажмурился, увидя нечто совсем неожиданное. Первое, что бросилось ему в глаза, был новый забор, сплетенный из ивняка, окружавший весь двор его, сад и огород; панский дом, недавно выкрашенный известью, блистал от лучей солнечных; на месте бывшей ветхой соломенной крыши он увидел новую, тростниковую; садовые деревья отягчены были плодами; и — как казалось — никто к ним не прикасался, кроме воздуха.

— Возможно ли, — сказал пан Харитон, отирая глаза, — чтобы бездушный сотник Гордей мог так хорошо устроить неправдою приобретенное имение? И то правда: он с такой же ревностью старался его улучшить, сколько я спешил расстроить и, наконец, совсем погубить! — Он погрузился в задумчивость, и бричка двинулась далее.

Подъехав к домам, принадлежавшим панам Иванам, пан Харитон поднял голову — в надежде найти утешение своему сердцу, увидя одни развалины, ибо ему тогда обстоятельно было известно, что их имение поступило в казну сотенной канцелярии, а в таких случаях не столько набожно поступают, как с своим собственным; но какое ж было его удивление и вместе горечь, когда увидел, что оба сии дома приведены несравненно в лучшее состояние, нежели в каком были прежде. Он быстро взглянул на младших братьев и сказал:

— Неужели и сотник Гордей сделался честным человеком? Дело другое — хлопотать и трудиться для себя, а иное — для общей пользы! Чудеса! О такой небывальщине я и в сказках не читывал и во сне не видывал!

ГЛАВА VIII

Добрый хозяин

Рассуждая о сем неслыханном чуде, наши названные братья неприметно доехали до корчмы жида Соломона, где, остановясь для обеда, велели своему цыгану иметь попечение о лошадях, а сами, усевшись в светелке, продолжали столь любопытный разговор. Когда хозяин, по приказанию путников, велел своей жидовке похлопотать о хорошем обеде, то пан Харитон спросил:

— Скажи, пожалуй, сын Израиля! Давно ли так красиво поновлены дома здешних шляхтичей Занозы, Зубаря и Хмары? За несколько месяцев, проезжая из Сечи Запорожской в Батурин, я видел их совсем в другом положении.

— Чему же ты удивляешься, — отвечал Соломон, устанавливая перед ними сулеи с разными наливками: — прежде дома сии принадлежали упомянутым тобою трем беспутным шляхтичам, которые, ища погибели другим, нашли свою собственную; ныне ж принадлежат они честнейшему пану Артамону Зубарю, который — хотя и христианин — от всех оковых жидов считается мужем богобоязненным и человеколюбивым!

— Как? — спросил пан Харитон, изменяясь в лице: — как имение сие из казны и от панов сотника Гордея и писца Анурия могло очутиться в руках посторонних?

— Самое простое дело! — отвечал жид: — как скоро пан Харитон и паны Иваны по делам выгнаны из домов и хуторов своих добрым порядком, причем последние изрядно еще поколочены, то благонамеренный пан Артамон послал нарочного в войсковую канцелярию с предложением — удовлетворить все положенные от оной взыскания в пользу казны, панов сотника и писца, если все имение Занозы, Зубаря и Хмары законным порядком за ним укреплено будет. Как правительство, так и частные лица, оскорбленные со стороны позывающихся безумцев, с радостью приняли сей вызов; пан Артамон тотчас отсчитал должную сумму и торжественно введен во владение всем имением. У богатого умного человека все идет наилучшим порядком. Вдруг начались во вновь приобретенных домах и хуторах починки и перестройки, и мы не успели оглянуться, как все приняло новый вид или возобновлено старое в лучшем виде. Что вы, паны запорожцы, подумаете о доброте сердца и благоумии пана Артамона? Подданные прежних беспутных владельцев, прежде ахавшие и охавшие беспрестанно, теперь всякий час благодарят бога, что отдал их благодетельному человеку, пекущемуся о счастье каждого столько, как бы о родном сыне или дочери. Верьте слепо, если жид хвалит христианина! Пан Артамон, поправляя все запущенное его предместниками, между прочим, на хуторе пана Занозы приказал выстроить новую голубятню и населил ее бесчисленным множеством самых казистых голубей; на лугу Ивана старшего завел обширную пашку и вдобавок выстроил на выгоне две ветряные мельницы, сожженные бездельником паном Занозою; словом, в поправке клонившихся к разрушению или и разрушившихся зданий, паном Артамоном вновь праведно приобретенных, он поступил не менее умно и расчетливо, как бы был самый разумный, самый опытный раввин жидовский!

Знакомец по слуху

Пан Харитон, выслушав с величайшим вниманием рассказы Соломона, оставался в крайнем удивлении и унынии; на лице его изобразилась тоска, на губах показалась улыбка негодования на самого себя, и на ресницах повисли слезы горести. Долго смотрел он на своих названных братьев и видел их недоумение, даже некоторое сомнение.

— Соломон! — воззвал Дубонос: — в котором же доме или хуторе расположился пан Артамон жительство? Мы с ним хорошие знакомцы и намерены на несколько времени воспользоваться его гостеприимством!

— Этот добрый пан, — отвечал Соломон, — проживает, сколько мне известно, в уединенном своем хуторе, за несколько лет устроенном в лесу его по берегу реки Псела. Там исполняет он втайне человеколюбивые свои обязанности; и поверите ли, — клянусь памятью знаменитого и соименного мне единоплеменника, — не один жид в нашей окрестности обязан ему своим благосостоянием! Как же нам не молить бога о здравии его и благоденствии?

— Хорошо! — сказал Дубонос: — готовь нам поскорей обед, дабы можно было поспеть к вечеру в обиталище пана Артамона!

Жид мигом вылетел из двери.

Обед наших путешественников приближался к концу, как двери светелки быстро отворились. Впереди опрометью бежал Соломон с величайшею заботливостью, а за ним медленно следовал старик, одетый по-городски довольно богато, с веселым лицом, с улыбкой на губах и с дружелюбием в каждом взоре.

— Если не обманул меня жид Соломон, — сказал он, остановясь посередине комнаты, — то найду здесь трех запорожцев, хотевших навестить меня...

— Добродетельный муж! — вскричал Дубонос: — ты и в самом деле видишь здесь старых знакомцев своих, коих за несколько месяцев удостоил своего гостеприимства, — ты видишь запорожца Дубоноса и Нечосу! — Старец распростер свои руки, и юноши погрузились в его объятия.

По прошествии первого восторга все уселись на лавке, и пан Артамон произнес:

— Благодарю вас, молодые друзья, что вы сдержали слово и не поленились заехать к старику, который с великим удовольствием готов угостить вас, и чем далее вы у него пробудете, тем более его обяжете! Но кто сей почтенный запоро-

жец, ваш спутник? Хотя я его и не знаю, но не менее того рад буду видеть и его у себя, как бы старинного знакомца. Кого вы, любезные друзья, избрали себе в товарищи для столь дальнего пути, на того и я готов во всем положиться.

Пан Харитон, ободренный ласковыми словами сего старца, потупя глаза в землю, говорил:

— Пан Артамон! Меня, спутника сих молодых людей, ты давно знаешь по слуху и, вероятно, много раз и справедливо роптал на прежний образ моих мыслей и поступков; претерпенные мною несчастья теперь совершенно меня переменили. В сей корчме мы видется с тобой не надеялись, однако пробирались к тебе на хутор. Я, помня прошедшее, сомневался предстать тебе; но товарищи, уверяя меня в твоей доброте, непамятозлобии, рассеяли мое недоумение; словом: ты видишь перед собой Харитона Занозу!

Пан Артамон сначала казался весьма изумленным; потом любопытно взглянул на кающегося грешника, стоявшего с поникшею головою, наконец с кротостью произнес:

— Что ж такое? Я с паном Харитоном никогда не позывался и не чувствовал от него никакой обиды. Что нам препятствует на будущее время остаться добрыми знакомцами? — Тут он с особенною приязнью обнял пана Харитона, который отплатил ему тем же, и все с веселыми лицами уселись на лавках и начали разговор о настоящих обстоятельствах каждого.

ГЛАВА X

Наши в гостях

Когда Дубонос рассказал пану Артамону о намерении пана Харитона отправиться с ними в Запорожскую Сечь и о желании его еще раз повидаться с своим семейством, прижать всех к отеческому сердцу и, может быть, навсегда проститься, то первый сказал:

— В настоящих его обстоятельствах я сам ничего лучшего не придумаю и желаю всякого счастья в новом роде жизни. Что касается до его семейства, то я мельком слышал, где оно находится, и беру на себя непрременную обязанность отыскать всех и привезти сюда. Вы, думаю; — продолжал пан Артамон к изумленным запорожцам, — от говорливого Соломона успели узнать, что дома панов Харитона и обоих Иванов достались мне; а как на двух моих ближайших хуторах проживает теперь довольное число гостей, то, чтобы не стеснить никого, ни их, ни вас, я прошу усердно, пока пробудете в здешних сто-

ронах, поместиться на хуторе, принадлежавшем до сего пану Харитону. Я, сколько мог, старался панский дом сделать удобным для проживания многолюдного семейства. Слуги и служанки будут вам повиноваться, как самому мне, а дворецкий снабдевать всем нужным, о чем не премину дать нужные приказания. Я хочу сам, пан Харитон, приняться за отыскивание твоего семейства и надеюсь в скором времени иметь удовольствие видеть его в твоих объятиях. Дорога до хутора твоего тебе знакома довольно. Отыскав жену твою и детей, я туда привезу их. Прощайте до времени.

Всяк, читающий сию справедливую повесть, без сомнения догадается, что пану Артамону весьма нетрудно будет отыскать родных своего бедного гостя; итак, нам не для чего идти за ним следом. Трое названных братьев запорожцев, оставшись одни, не могли нахвалиться благородными мыслями и примерно добрым сердцем гостеприимного пана Артамона.

— Не я ли говорил тебе, — сказал протяжно Дубонос, — что сей человек стоит всякого почтения и, несмотря на свою старость, умеет быть любезным первой молодости.

— Это сущая правда, — отвечал пасмурно пан Харитон: — но для меня непонятно, для чего столь умный и добрый человек захотел растравить раны сердца моего, помещая на короткое время в том самом доме, который всегда принадлежал моему роду и мне, и к довершению моего отчаяния сюда же хочет призвать мое семейство, чтобы и оно могло быть свидетелем моего позора и имело право сказать: это все было наше, а теперь чужое; не могли ль и мы сие родовое имение привести в такое же цветущее состояние? О позыванье, проклятое позыванье!

— Почему нам знать, — воззвал Дубонос, — намерения других, пока они не обнаружены? Я той веры, что пан Артамон не без доброго намерения так поступает, а не иначе; но в чем состоит сие намерение, не знаю, да и знать не любопытствую, а доволен тем, что буду в гостях у доброго и честного человека. Мешкать нечего: сядем в свою бричку, и ты укажешь Конону дорогу до хутора.

Пан Харитон, вздыхая от глубины сердца, сел в повозку и, молча указав цыгану рукою дорогу, погрузился в глубокое размышление. Молодые друзья считали непристойностью прерывать оное и также молчали. Через час с небольшим они увидели вдаль обширный сад и в один голос воскликнули: «Хутор!» Пан Харитон поднял голову, поглядел вдаль и, опять потупя глаза, вполголоса произнес: «Так! Эта усадьба принадлежала некогда мне!» Краска стыда и негодования покрыла щеки его; он шептал что-то про себя, ерошил чуб, жмурился и потирал виски,

— Что с тобой делается? — спросил наконец Дубонос: — ты походишь теперь на больного, спящего самым беспокойным сном!

— Ах, — отвечал пан Харитон: — я и действительно как в горячке: сердце непомерно бьется и голова кружится! Как больно, как несносно!

— Перестань! — прервал его Дубонос несколько строго: — неужели такая безделица может столько растрогать разумного мужа в твои лета? Уныние никогда и никуда не годилось! Что кто имел и случайно потерял, то и опять иметь может. Послушай, любезный брат! Нравы и достаток родителей наших нам коротко известны. Если даст бог, что мы дочерям твоим понравимся и с твоего и жены твоей благословения породнимся, то вот тебе правая рука моя в залог, что поместье твое на хуторе и дом в селе будут выкуплены и отданы тебе. Будь же веселее и надейся на милость божию и помощь людскую!

ГЛАВА XI

Утешение

Пан Харитон взял руку своего брата, пожал ее крепко, искры утешения засверкали в глазах его, кровь стала обращаться покойнее, и он улыбнулся, закрутил опустившиеся усы и весело глядел на свое бывшее владение. Панский дом был чисто-начисто выбелен; стекла в окнах вставлены новые, светлые; вместо старой соломенной крыши блистала разноцветная тростниковая; конюшня, сараи, гумно — все поновлено; а что более разлило удовольствие в сердце его — то обширная высокая голубятня, на месте сожженной выстроенная и вся усеянная прекрасными голубями. Крестьянские хаты также приняли новый, лучший вид, и все сады и огороды обнесены прочными заборами; словом: если бы сей помещик перенесен был сонный из батуринской тюрьмы в свое поместье, то он никак бы не узнал его.

Молодые друзья, видя в лице старшего брата знаки непритворного веселия, поздравляли его с такою счастливою переменною, предсказывали еще счастливейшую будущность и с сим въехали на двор панского дома. Кто же опишет радостное удивление пана Харитона, когда увидел всех своих слуг и служанок, выбежавших к нему навстречу под предводительством Луки, любимого своего сопутника во всех поездках! Они все кланялись ему низко и поздравляли с вожделенным освобождением из батуринской тюрьмы и с возвращением

на родину. Пан Харитон, вышед с товарищами из повозки, поблагодарил бывших домочадцев своих за усердие и спросил Луку:

— Ты как здесь очутился?

— Самым простым образом, — отвечал слуга, провожая пана и его товарищей на крыльцо, где, остановясь, продолжал: — когда тебя в Батурине, несмотря на все храбрые сопротивления, сопровождаемые сильными ругательствами, проволокли в тюрьму точно в таком виде, в каком ты волок из своего дома на двор писца Анурия, то один из оставшихся канцелярских подписчиков сказал мне: «Ступай, приятель, домой и служи пану сотнику Гордею как своему законному властелину». Я тогда был в великой печали и досаде, а потому отвечал с издевкою: «Ты, видно, привык в такую дальнюю дорогу пускаться пешком, а у меня, по милости господней и панской, есть возок и два коня!» — «Потише, друг сердечный! — отвечал подписчик насмешливо: — по высокому определению войсковой канцелярии, двух коней, возок и все имущество пана Занозы, сюда завезенное, велено продать и вырученные деньги причислить к войсковой казне». Услыша такую неожиданную весть, я крайне разгневался и хотел было, подражая тебе, кулаками защищать свое право, как невидимо ангел-хранитель шепнул мне: «Остерегись, мужественный Лука, и удалство свое отложи до удобнейшего случая. Твой пан лишился хутора за то, что поколотил писца Анурия; а если ты осмелишься коснуться до подписчика войсковой канцелярии, то с живого сдерут кожу!» Я послушался сего спасительного гласа, тяжко вздохнул и побрел домой, питаюсь именем божиим. Путь не ближний, а потому и времени прошло не мало, пока я дополз до села Горбылей. Как же подивился, увидя, что все в доме нашем переправляется, и когда один старый незнакомый пан, услыша, кто я и откуда, сказал: «Ступай-ка, дружок, на хутор, принадлежавший прежде твоему пану, а ныне составляющий мою собственность вместе с этим домом, со всеми крестьянами, полями, лугами и пашнями; я сегодня там буду и дам тебе работу. Я называюсь — Артамон Зубарь». Поклонясь в ноги новому пану, я отправился на сей хутор. Здесь также нашел великую перестройку как в панском доме, так и в крестьянских избах. Помещик перед закатом солнечным приехал сюда и, собравши около себя всех работников и крестьян, объявил, что я по всем работам, полевым и домашним, назначаюсь управителем и чтобы все повиновались мне, как ему самому. После всего, распустя всех, сказал: «Лука! Я наслышался о верности твоей к прежнему пану, из чего заключаю, что ты и ко мне не менее будешь усерден, делаю тебя вторым после меня во всех распорядках по сему имению!» После

сего, дав пространные наставления, что и как должен я делать, оставил здесь, где и до сих пор нахожусь. За час до твоего сюда прибытия он был на сем хуторе, объявил, что ты скоро с двумя молодыми спутниками сюда же придешь, и приказал, чтобы во все время, какое вы здесь проведете, довольствуемы были, как настоящие хозяева, со всевозможным обилием.

ГЛАВА XII

Умиление

Пан Харитон не мог довольно надивиться добродушию и гостеприимству пана Артамона. Рассуждая о сем предмете, они вступили в покои и, проходя из комнаты в комнату, не могли налюбоваться чистотою и опрятностью, хотя, впрочем, все уборы домашние были весьма просты. Вошед в маленький покойчик об одном окне, они увидели большой кивот, в коем стояло пять больших образов в новых серебряных окладах. Пан Харитон присмотрелся и вскоре, быстро отскочив, вскричал в восторге.

— Боже милосердый! Как возблагодарить за такое благодеяние, хотя бы оно сделано было и на самое короткое время! Посмотрите, молодые друзья мои и братья! В этом кивоте заключаются лики угодников, соименных мне и каждому из моего семейства! Присмотритесь, прочтите! Вот образ моего ангела, вот ангел жены моей, вот обеих дочерей моих, а этот последний сына Власа! Но не понимаю, что значат два маленькие образа в вызолоченных окладах, униженные жемчугом и стоящие в ногах дочерних образов; и имена их: Лолий и Юлия! Вероятно, что у благочестивого мужа есть на попечении еще две особы, носящие имена сии; ибо, сколько мне по слуху известно, во всем родстве пана Артамона никто так не называется!

Пан Харитон, посмотрев еще на образа, пришел в несказанное умиление, начал молиться вслух и так усердно, что спутники его до глубины сердец были тронуты и сам молящийся прослезился. По окончании сего богоугодного дела все три путешественника назначили себе спальню; и хотя усердный Лука показывал три кровати совсем готовые, но пан Харитон с твердостью сказал:

— Если тебе поручено от нового пана делать нам удобное, за что и благодарим его чистосердечно, то вели наносить сюда побольше свежего сена и доставь чистый ковер. Не так ли, дорогие братья, должны ночевать странствующие запорожцы?

— Ты говоришь дельно, — отвечал Дубонос, и Лука со всех ног бросился исполнить данное приказание.

Наши гости уселись в большой комнате на лавке, раскурили трубки и в безмолвии смотрели на закатывающееся великое светило небесное. Наконец оно скрылось, заря вечерняя, мало-помалу бледнея, скоро совсем потухла, и серебристый месяц покатился по голубовому своду; глубокая тишина распростерлась по лицу всей природы, и Дубонос воззвал:

— Не правда ли, пан Харитон, что надежда на благость провидения и совершенное предание участи нашей на волю всемилосердного никогда не остаются без награды? Не ты ли за несколько часов готов был роптать на свою горькую долю? Однако теперь согласишься, что если бы от того не удержался, то поступил бы весьма неразумно и теперь бы сам себя стыдился!

— Пусть так, — сказал пан Харитон, обращаясь к Дубоносу: — ты дорогою утешал меня мыслью, что, коль скоро угодно будет провидению породнить нас, ваши родители в состоянии будут выкупить мое имение и возвратить мне; однако я тогда не подумал о дальнейшем и дал место в сердце своем надежде на радость. Теперь родилась во мне новая мысль, и сердце заныло, оледенело; эта мысль заключала в себе вопрос: что ж будет со мною, что будет с моей старухой, когда вы обеих дочерей моих увезете в Сечь Запорожскую? Хотя бы оба дома, бывшие моими — сей на хуторе, а другой в селе, — опять сделались моими, то без Раисы и Лидии, долженствовавших быть лучшим их украшением, превратятся для нас в мрачные могилы!

— Эх, пан Харитон! — воззвал Дубонос, — ты совсем не хочешь уняться и сам зовешь к себе мрачного духа уныния! Не может ли один миг преобразить вид всей вселенной? Зачем же нам прежде времени горевать, когда надежда манит нас обеими руками к храму радости?

Переменив предмет разговора, они провели остальное время весьма весело, поужинали по-сельски и мирно започивали на сенном ложе.

ГЛАВА XIII

Новая радость

На другой день, едва летнее солнце показалось из-за небосклона, когда молодые запорожцы спали еще крепко-накрепко, пан Харитон вскочил с постели, наскоро оделся и пустился — нужно ли отгадывать куда? — точно так — на голубятню! За ним следовал Лука, лукаво улыбаясь. Когда они взошли на верх лестницы, то слуга весело молвил:

— Видишь ли, пан Харитон, что как рано ни встал ты, а я предупредил тебя. Вот у дверей лежит целый мешок распаренной пшеницы, и вот стоят два ведра свежей воды на обед здеших хозяев.

Пан Харитон, взяв мешок, а Лука ведра, вступили во внутренность. Голуби, зная время, встрепенулись и целыми стаями бросились к прищельцам. Когда пан рассыпал корм в расставленные по разным местам корытца, а слуга разливал по другим питье, то ручные птицы садились им на плечи и на головы, радостно ворковали и порхали с одного места на другое. Это зрелище привело пана Харитона в несказанный восторг; он брал пернатых друзей на руки, гладил их и целовал; в глазах его блистали слезы, сладкие слезы душевной чувствительности и сердечного умиления. Он сел у одного корыта и, поглаживая своих любимцев, упражнявшихся около пшеницы, промолвил:

— Надобно сказать правду, что пан Артамон или добродетельнейший человек, старающийся всеми мерами услаждать горести своих собратий, или искуснейший мучитель, кажущий умирающему от голоду прекрасное кушанье, и когда сей несчастный протягивает к оному свои руки, то его без милосердия прогоняет, твердя: «Иди, умирай в другом месте!»

Когда Лука увидел, что пан Харитон не может довольно насладиться своею любимую охотою, то сказал:

— Не пора ли и тебе, пан, с гостями твоими подумать о завтраке, а после, до обеда, можешь осмотреть весь хутор и порадоваться, видя, что он достался не в дурные руки?

Пан Харитон, горя нетерпением рассказать о новом, не описанном удовольствии, какое вкушал он на голубятне, спустился с лестницы и немало подивился, увидя, что солнце было весьма уже высоко на небе. Он уподоблялся тогда древнему иноку, который, слушая пение райской птички, не чувствовал, как протекли тысяча лет: воркованье голубей было для него не менее очаровательно. Вошел в большую комнату панского дома, он остановился посередине, увидя накрытый стол и крестовых братьев своих, сидящих у окна в сад, в некотором смущении.

Едва услышали они громкую походку, то вдруг оглянулись и, видя своего старшего брата, бросились к нему навстречу с распростертыми объятиями.

— Куда занесли тебя ведьмы, — вскричал Дубонос, — что мы до сей поры тебя не видали?

— Братья! — отвечал им пан Харитон: — я был вне себя — я был на голубятне! О, если б вам быть там случилось!

— Видишь, — сказал Дубонос, — что предсказания мои начинают сбываться! Потерпим и посмотрим, что будет далее! Я с своей стороны твердо уверен, что особенное бедствие есть преддверие к храму счастья, так как за необыкновенными удачами всегда следуют по пятам непомерные потери.

ГЛАВА XIV

То же, да не в том виде

После обеда все три крестовые брата под предводительством Луки пошли осмотреть настоящее состояние сего поместья. Они начали с сада и весьма были довольны, видя, что всякая вредная трава выщипана, деревья подчищены так, что ни одного усохшего сучка нигде не видно было, зато на каждом число плодов, как казалось, превышало число листьев. Довольный участок земли определен для цветника. Налюбовавшись сим прекрасным зрелищем и полакомясь плодами, они пустились далее. В конюшне нашли три статные лошади, а в ближнем сарае — новую повозку и возок. Пробравшись на гумно, они увидели множество огромных стогов разного хлеба, вокруг коих толпилось бесчисленное множество дворовых птиц.

Пан Харитон на каждом шагу восклицал радостно, а младшие братья усугубляли восторг его уверением и даже божбою, что все им видимое непременно будет принадлежать ему, если только его дочери не заупрямятся.

— Тише, прошу потише! — вскричал пан Харитон: — они обе, как только стали несколько разуметь себя, привыкли повиноваться мне с благоговением, и стоит отцу произнести одно слово прежним родительским голосом...

— Нет, пан Харитон! — отвечал быстро Дубонос: — заповождцы — ты, верно, наслышался — принужденной любви не терпят! Да и что приятности — получать прекрасный хлеб из чьей-нибудь руки, когда в глазах дающего вижу слезы горести и на всем лице убийственное уныние?

— Справедливо! — сказал пан Харитон: — но дочери мои так еще робки, так неопытны в делах любовных, что первые молодые достойные люди, представляемые в женихи отцом, непременно должны понравиться, и я уверен, что с первого взгляда понравятся. Одно, что меня останавливает предаться сей лестной надежде, есть сомнение, что они в глазах ваших не будут иметь столько достоинств.

— Полно, полно, любезный брат! — воззвал Дубонос: — одно время выказывает обыкновенно последствия наших замы-

слов и поступков. Пойдем теперь и посмотрим на хуторы врагов твоих, панов Иванов! Тебе как давнишнему соседу должно быть весьма знакомо, в каком состоянии они были до поступления во власть пана Артамона; увидим все и сравним с тем, в каком теперь находятся.

Они пошли, осмотрели все внимательно и везде увидели совершенный порядок, хозяйственное устройство, счастливое изобилие. Быв упражнены сим веселым занятием, они и не заметили, как солнце начало клониться к закату. Идучи домой, они встречены были великим стадом тучных быков и коров, овец и баранов.

— Кому принадлежат богатые стада сии? — спросил пан Харитон и остановился, дабы полюбоваться сельскою, давно невиданною им, картиною.

— Кому другому! — отвечал Лука: — они разделены на все три хутора и пасутся на лугах, для каждого особо отмежеванных.

— Благополучный человек! — сказал с тяжким вздохом пан Харитон.

— Он никогда и ни с кем не позывался, — отвечал просто-сердечный Лука, и все в молчании возвратились на свое становище.

ГЛАВА XV

Приятные вести

Как прошел этот день, почти так же прошло довольно времени. Пан Харитон не пропускал ни одного утра, чтобы не посетить голубятни, когда исправный слуга взбирался туда с кормом и пойлом; послеобеденное время посвящено было прогулкам. Иногда брали они с собою ружья или уды и, на рассвете отправясь за добычею, возвращались ввечеру домой, утомленные телом, но бодрые духом и веселые сердцем. Одно только обстоятельство беспокоило наших друзей, а особливо пана Харитона: они около двух недель не только не видали своего доброго хозяина, но даже не получали о нем никакого известия.

Все начали скучать: молодые братья, что не видят и начала к исполнению страстных желаний своих взглянуть на милых дочерей старшего брата; а сей досадовал, что дался в обман, поверив пану Артамону, что весьма скоро, хотя на самое короткое время, соединится с своим семейством. Такое невеселое расположение сердец у троих друзей не мешало им про-

должать обыкновенные свои занятия, то есть пан Харитон каждое утро лазил на голубятню, а сошедши с нее, все вместе бродили по лесам и болотам за куликами и утками или, сидя на крутом берегу Псела, приманивали к себе язей и карпов.

Однажды немного спустя за полдень все три друга, держа в руках по торбе, прилежно смотрели на песчаное дно речки и, завидя ползающих раков, весьма удобно их ловили; вдруг является на берегу Лука и, сколько есть в нем силы, кричит: «Письмо от пана Артамона!» Все вздрогнули от радости и бросились на берег. «Где, где?» — вопили они, и Лука подал Дубоносу запечатанный сверток бумаги. Сей запорожец, страхнув с рук воду, разломил печать и, — между тем, по данному паном Харитоном знаку, Лука отошел в сторону, — прочел вслух следующее:

«Любезные друзья! Не извиняюсь перед вами, что так долго молчал о себе и о предметах, столь для вас занимательных. Важные семейственные дела — однакож совсем не похожие на позыванья — до сего времени задерживали меня в городе. Все нужное я кончил с успехом и очень тем доволен. Мне известно место пребывания родных твоих, пан Харитон, и завтра же отправляюсь к моему приятелю, у коего полувдовая жена и полусиротевшие дети нашли признание. По прошествии еще одного или двух дней буду я к вам в гости с матерью, с детьми ее и с паном, у коего найду их. Будьте готовы принять всех так, чтоб никому не было тесно. Прощайте.

Артамон Зубарь».

Лица троих друзей покрылись краской радости, и взоры их заблестали.

— Слава богу, — воззвал торжественно пан Харитон, не стараясь скрыть своего восторга. — Слава богу, что мы вельми скоро увидим развязку нашего дела! Если милосердому промыслу не угодно будет простить меня за прошедшие не порядки, бесчинства и даже беззакония, то, соединясь с моими братьями теснейшим союзом, брошусь на колени пред добродетельным мужем, который простер к нам руку помощи во время истинного бедствия, и буду умолять его не оставить своим покровом и защитой злополучное семейство; после того брошусь в бричку, сяду посередине вас, прижму обоих к осиротевшему сердцу, пошлю последний болезненный вздох к моей родине, и — полетим в Сечь благословенную!

Друзья одобрили такие разумные мысли, оделись и возвратились домой. Тут каждый из них несколько раз прочел

радостное письмо и вслух и про себя, и все вообще заключили, что в нем, кроме добрых вестей, ничего не сказано, а потому положено остальные два дня провести в сердечном веселии и в душевном спокойствии. Они и действительно провели время сме без скуки, хотя всякий раз с большим удовольствием смотрели на закат солнца, чем на его восхождение.

Бдительный Лука, узнав заблаговременно, что в скором времени будет к ним пан Артамон с многими гостями, в числе коих прибудет именитая шляхтянка с двумя дочерьми и сыном, со всем усердием принялся за нужные распоряжки, чтобы все посетители могли быть размещены удобно и приятно. К исходу другого дня все готово было к принятию ожидаемых, сердца друзей сильно бились, вздохи волновали их груди; но солнце закатилось, румяная заря запылала на вечернем небе и вскоре погасла; мрак простерся по лицу природы, грусть и уныние объяли сердца и души наших братьев. До самой полуночи сидели они на крыльце, не сказав один другому ни десяти слов; после того, вошед в свою опочивальню, они опустились на душистое сено.

— Прощай, брат Харитон! Добрая тебе ночь! — сказали в один голос молодые запорожцы; пан Харитон вместо ответа вздохнул так, что в третьей комнате слышно было.

ГЛАВА XVI

Чего тут ожидать доброго

На другой день, когда Дубонос и Нечоса проснулись, то старшего брата не увидели уже на сене.

— Нетерпение его не меньше нашего, — заметил Нечоса, одеваясь проворно.

— Кажется, это весьма естественно, — отвечал Дубонос: — известность всегда менее ведет за собой хлопот, чем неизвестность, хотя бы это касалось до будущего нашего блаженства или погибели!

Покуда они оделись, умылись, сотворили свои молитвы и вышли в большую комнату, было уже довольно не рано, почему немало подивились, что старшего брата не нашли и за завтраком, который проворным Лукою, бывавшим с прежним паном своим неоднократно в Миргороде, один раз в Полтаве и, наконец, в Батурине, приготовлен был в наилучшем виде и вкусе. Молодые люди не знали, чему приписать столь раннее отсутствие своего опытного друга; но когда призванный Лука уведомил, что пан Харитон с первым появлением солнца совсем

одетый вышел из дому в сад, запретив ему, верному слуге, следовать за собой, они пришли от того в большое беспокойство и, оставя завтрак нетронутым, пустились его отыскивать.

Обегав весь сад вдоль и поперек, они нашли наконец своего собрата, сидящего на траве у забора, под тенью развесистого вяза. Лицо его казалось встревоженным, и взоры были потуплены в землю.

— Что с тобой сделалось? — вскричал Дубонос: — ты теперь ходишь на такого запорожца, который из-под Турки возвращается в свой курень без *оселедца*¹ и — с пустыми руками!

— Любезные братья, — говорил пап Харитон, вставая с земли: — если б вы знали, что я видел и что слышал!

— А что такое? Неужели Змея Горыныча, которого так испугался?

— Почти так, но только не одного, а двух!

— Ахти! Как это случилось и куда сии змеи скрылись?

— Выслушайте меня и вы согласитесь, что я имею основательную причину призадуматься. Будучи во всю ночь удручаем печальными мыслями, я не смыкал глаз ни на минуту. Что бы могло принудить умного, обстоятельного пана Артамона не сдержатъ слова, добровольно мне данного? Ах! Вероятно он раздумал и не хочет уже докончить мое счастье! Легко станетъ, что злобные, мстительные паны Иваны нашли средство понудить своего дядю возненавидеть меня столько же, сколько сами ненавидят! Для чего не знаю убежища, данного моему семейству! Сейчас полетел бы туда с друзьями своими и, поблагодаря хозяина за оказанное благодеяние, умолил бы его не оставлять и впредь внушений человеколюбия! Но теперь — что буду делать, куда направлю шаги, дабы проведать, где вдова моя и сироты, при всем изобилии, вздыхают и горюют? Мне известны сердца и души жены моей и детей. Несмотря на крутой нрав мой, они меня любили, и надеюсь, что и до сего времени любят. Правда, я навлек на них несчастье; но и сам не низвержен ли в пропасть злополучия? Неужели не достоин я сожаления? Такие горестные мысли терзали мое сердце, и так посудите, как обрадовался я, увидя на востоке зарю огненную! Быстро вскочил с своей постели, и пока умылся и оделся, то блестящий шар огненный воссиял на небе. Я бросился в сад, где в чаще вишневых дерев, павши на колени, начал совершать молитвы.

¹ Что значило у запорожцев слово оселедец, объяснено в повести моей под названием «Бурсак».

ГЛАВА XVII

Занимательный разговор

— Когда кончил я сие дело, — продолжал пан Харитон, — столько усладительное для души каждого человека, а особливо для души несчастного, то начал расхаживать по саду, а пришед на сие место, сел на зеленой траве, и чтобы сколько-нибудь себя рассеять, а притом и вам дать знать о своем местопребывании на случай, если б вы искали меня вздумали, я начал громко свистать и петь казацкие песни.

Язык и губы весьма хорошо исправляли свою должность, так что мои свисты далеко раздавались в окружности; но мысли устремлены были к моему семейству, и при воображении о близкой и вечной с ним разлуке дрожь разливалась в моих жилах, губы леденели, я умолкал и погружался в грусть неоснующую.

В один раз, во время довольно продолжительного безмолвия, я услышал в соседнем саду мужские голоса, ближе и ближе ко мне подававшиеся. Полюбопытствовав узнать, кто в такую пору загулял в сей сад Артамонов, я обращаюсь лицом к плетню, смотрю и — цепенею от удивления и даже ужаса, увидя обоих врагов моих, панов Иванов, стоявших под старым грушевым деревом. Чего тут ожидать доброго? Может быть, они уже знают, что я тут поселен на время! Вероятно, что мои насвистыванья и песни коснулись до их слуха, и, может быть, они начали уже совещаться, чтоб открыть снова позыванья и, лиша меня всего блага, остававшегося на земле, лишить и того, какого еще грешник может ожидать на небеси! Я притаил дыхание, душа моя беспрестанно переселялась из своего места в глаза и уши.

— Твоя правда, — сказал Иван старший, — что всей жизни нашей недостаточно, чтобы в полной мере возблагодарить своего дядю за великодушный его подарок.

— Да! — отвечал Иван младший: — возвратить нам сии хуторы со всеми угодыями, и притом в наилучшем виде, и из обнищавших шляхтичей сделать опять достаточных есть такое благодеяние, которого едва ли мы заслуживали за свое безрассудство, через десятилетние позыванья, оказанное вопреки его советам и даже угрозам.

— Однако согласись, друг мой, — возразил Иван старший, — что мы не столько виноваты, как злой, мстительный Занова, который открыл войну, застрелив множество моих кроликов. Что за важность, если и в самом деле бедные зверьки погрызли в саду его несколько вишневых отпрысков! Деревьев не поят

и не кормят, а от корней их выходят даром молодые деревья; напротив того — всякое животное требует корму и приюту!

— Полно, полно! — подхватил Иван младший: — слава богу, дело уже прошлое! Однако согласись, что хотя Заноза был зачинщик ссоры, но ты подал к оной повод!

— Как так? Разве я подучил кроликов залезть в сад его и грызть растения?

— Не то, друг мой! Как скоро услышали мы ружейные выстрелы, увидели побитых кроликов и узнали тому причину, то тебе следовало сказать: «Пан Харитон! Не по-соседски поступаешь! На что похожа теперешняя твоя храбрость? Когда увидел, что мои кролики у тебя в саду напроказили, то следовало призвать меня, показать и исчислить порчу, и я допустил бы тебя вместо попорченных деревьев вырыть с корнями в саду моем столько ж целых; а теперь мы — квит!» Не правда ли, что Занозе, сколько бы он зол ни был, ничего не оставалось делать, как, поевши твоих кроликов, с терпением ожидать, пока не выйдут из земли новые отростки? Нет! Тебе вздумалось огреть его колом по макуше, и вот истинное начало пагубного позыванья, сделавшего несчастными три семейства.

— Оставим это! Благодаря бога и доброго дядю, мы получили больше, чем потеряли. Но что-то будет с паном Занозою? Как же встревожится он, как ошалееет, когда узнает о перемене нашего состояния! Поделом ему, окаянному! Если б и в самом деле вышел справедливым разнесшийся слух, что какие-то два молодые богатые запорожца пожелали видеть дочерей его и, на них женясь, выкупить ему как хутор со всеми угодьями, так и сельский дом, то я заклинаясь до конца жизни не выкурить трубки тютюну, если этот головорез утерпит, чтобы сызнова не начать позываться с нами или с кем другим, отчего опять потеряет все, что по милости зятьев будет для него приобретено!

— Почему ж ты так думаешь? Дурачиться свойственно человеку во всяком состоянии и возрасте; но кто не вовсе лишен рассудка, тот, рано или поздно, а узнает, что идет по пути неправому. Согласись, что пап Харитон неглуп, и надобно думать, что путешествие в Полтаву, оттуда в Батуриц, а там переселение в городскую тюрьму — могут вразумить и самого неразумного. Если нам так опротивели тяжбы, то почему имеем право заключать, что бывший наш сосед, ничего не выдавший от них, кроме одного горя, и до сих пор не угомонился?

— Я согласен, следуя внушению добродушного нашего дяди, что и пан Харитон сделался опять счастлив в кругу своего семейства; но все еще боюсь; боюсь, что страсть к позыванью и ненависть к нам не искоренятся из его сердца, пока оно не оледенеет!

— Посмотрим. Дядя Артамон обещал сегодня у нас полдничать, так верно что-нибудь скажет нового!

Они удалились. Судите, друзья мои, по собственным сердцам вашим, что чувствовало бедное сердце мое? Угрызение совести, стыд, раскаяние — все терзало, мучило меня несказанно, и в этом-то положении вы меня здесь застали.

ГЛАВА XVIII

Свидание после разлуки

Дубонос, приняв ораторский вид, с важностью воззвал:

— Скажи по совести, любезный брат! Неужели ты заключение пана Ивана старшего считаешь справедливым, и что если бы сие поместье в самом деле поступило в твою собственность, то ты способен был бы потерять его, начав снова пагубные позыванья?

— Да лишит меня мати божия святого своего покрова, если я к кому-либо питаю теперь ненависть или злобу! Надеюсь, что милосердый бог услышит всегдашние мои молитвы и что дух христианского смирения, кротости и миролюбия не отступит от меня, хотя бы во владение мое поступила вся миргородская сотня!

— Слова твои, голос и взор, — сказал Дубонос, обнимая пана Харитона вместе с своим другом, — подают нам несомненную надежду, что со временем все будем счастливы.

Он хотел было сказать еще что-то философское, как бегущий к ним Лука остановил поток его красноречия.

— Вы, паны, здесь пустомелете, — вопиял слуга, — а того не знаете, что пан Артамон с гостями приехал на сей хутор!

— Ах! — вскричали в один голос три друга и онемели.

— Да, — продолжал усердный Лука. — Анфиза с дочерью в бричке, а пан Артамон и Влас верхами.

Запорожцы опомнились, и пан Харитон спросил:

— Что ж ты не упоминаешь о том благодетельном человеке, у которого до сих пор гостили мои домашние?

— Никого не видал более, — отвечал Лука, — кроме старого Архипа, правившего коняими.

— Видно, что он сам пощадил твою разборчивость, — заметил Дубонос, — и не захотел явиться перед тобою вместе с предметами его благотворения. Пойдем!

Быстрыми шагами пустились они к панскому дому и едва вступили во двор, как увидели всех приезжих на крыльце. У пана Харитона начало в глазах двоиться: он сделал несколько

шагов вперед и должен был остановиться, ибо голова закружилась, колени задрожали, и если бы молодые братья не поддержали ослабевшего, то он непременно пал бы на землю.

— Мой муж, Харитон, батюшка, батюшка! — раздалась разные голоса, и Анфиза с дочерьми и сыном устремились к безгласному и все поверглись на грудь его. Раиса, Лидия и Влас целовали его руки и рыдали. Из сомкнутых глаз Харитоновых лились обильные слезы. Дубонос и Нечоса, хотя и запорожцы, не могли также остаться нечувствительными стойками: смотря в слезящие глаза прелестных сестер, они сами прослезились и наряду с детьми обнимали своего старшего брата. Если б не подошел к ним растроганный хозяин, то отец, мать, дети и названные братья до самого вечера не пришли бы в порядок.

— Успокойтесь, — воззвал старец: — я знаю, как сладостно после продолжительной разлуки увидеться с особами, драгоценными для сердца нашего; но это не должно расстраивать ни рассудка, ни здорovia!

Мало-помалу все довольно успокоились, и пан Харитон с чувствительностью благодарил добродушного пана Артамона за труд, предпринятый им в отыскании и доставлении к нему всего семейства.

— Это не стоило мне большого труда, — отвечал старец с улыбкой чистосердечия, — как усадить жену твою с дочерьми в бричку, самому с проворным Власом взмоститься на коней и проехать пять верст полев.

— Ты обещал, — произнес пан Харитон, осматриваясь кругом, — познакомить меня с истинным благодетелем; но я его не вижу! Зачем отказался он быть свидетелем моего счастья и моей душевной благодарности? Ах! Пока я не увижу его, пока не обниму колен его, никак не могу в полной мере быть спокоен!

— Видеть его очень можно, — сказал пан Артамон: — но он чуждается коленопреклонений от кого бы то ни было, а всегда считает себя весьма много награжденным, когда по милости божией сподобится оказать возможное вспоможение своему ближнему. Поздравь же меня, пан Харитон, с сим счастьем и дай обнять себя, как брата! Так — жена твоя и дети, с самого изгнания из сельского дома, гостили у меня на хуторе.

Пан Харитон задрожал во всем теле и не в силах был отвечать объятиями на объятия. Он смотрел на почтенного ласкового старца дико и недоверчиво и наконец вполголоса произнес:

— Как! Ты, дядя злейших врагов моих, панов Иванов, ты...

— Да, да! — воззвал пан Артамон: — я, дядя панов Иванов, но отнюдь не врагов твоих, а особливо теперь, когда я

удостоен промыслом вышнего быть помощником в бедах, постигших как их, так и твое семейство.

Пан Харитон в безмолвии пал на грудь добродетельного мужа, и слезы его, слезы благодарности и умиления, оросили щеки старца.

— Ах! Как счастлива участь обоих Иванов, — произнес пан Харитон, — что имеют в лице своего дяди воплощенную добродетель! Почто у меня нет такого родственника!

— Не обманывайся, — отвечал пан Артамон с кротостью: — я весьма далек еще, чтобы смел назваться добродетельным; а истинно то, что всегда готов с удовольствием делать другим столько добра, сколько бываю в силах. Впрочем, от самого тебя с сей минуты зависит считать меня родственником, другом, братом. Но об этом после, познакомь с своим семейством молодых друзей, и войдем в покои.

Пан Харитон встрепенулся и, ударя себя кулаком по лбу, произнес:

— О чем же до сих пор думала ты, голова бестолковая? Жена! Дети! — продолжал он торжественно. — В сих двух запорожцах видите вы двух великодушных, истинных друзей моих, братьев; итак, без их помощи я погиб бы непременно или, по меньшей мере, лишился бы рассудка. Если бы не они, то вы нашли бы теперь меня не здесь, в полном уме и здоровым, но в Батурине, в доме сумасшедших! Вы должны за меня отблагодарить их.

Анфиза простерла к молодым друзьям руки, и они осыпали их поцелуями; из объятий матери перешли в объятия дочерей и сына, и все в несказанной радости вступили в панский дом, где вместо оставленного завтрака ожидал их изобильный обед.

ГЛАВА XIX

Пужный распорядок

Послеобеденное время проведено в приятных разговорах, в коих господствовали чистосердечие и взаимная, истинно дружеская доверенность. Когда солнце начало склоняться к вечеру, то пан Артамон, встав со скамьи, сказал:

— Мне надобно еще повидаться с племянниками, а потом пуститься в дорогу. Тебя, Анфиза, оставляю на время хозяйской сего дома. Распоряжайся в нем всем, как в своем собственном; здешние слуги и служанки будут повиноваться тебе, как самой Евлампии. Ты, пан Харитон, вместе с своими дру-

зьями можешь заняться хозяйством наружным, и все крестьяне и крестьянки выполняют приказания ваши столь же исправно, как бы оные были мои собственные. Во время сегодняшней беседы нашей Лука повестил о сей воле моей по всему хутору. Для меня было б весьма приятно, если бы ты, пан Харитон, сближился с панами Иванами и чистосердечно с ними примирился. Согласен ли ты забыть существовавшую между вами вражду и во все время, какое пробудешь здесь, считать их не иначе, как добροхотными соседями?

— От всего сердца готов я забыть все оскорбления, обиды и потери, от них претерпенные, а особливо если б был уверен, что и они с своей стороны...

— Не беспокойся, пан Харитон! — воззвал старик и, с веселым видом взяв его за руку, продолжал: — ты только не противься духу миролюбия основать жилище свое в сердце твоём, а за племянников — я ручаюсь. Хотя мне и не всегда можно быть между вами, но и издалека увижу, как вы между собой жить станете. Кто первый подаст повод к вражде и следующим за тем позываньям, тот навсегда лишится моей дружбы. Всякое зло в мире для меня ненавистно, и если я не всегда делаю добро, так это потому, что я человек. Послушай, пан Харитон! Я думаю, что запорожские друзья твои, не оскорбляя твоей чести, могут сделать первый шаг к примирению твоему с панами Иванами. У сих последних есть сыновья, почти равнолетние Дубоносу и Нечосе; пусть молодые люди между собой познакомятся, подружатся, а это неприметным образом и отцов их зазовет к тебе. Когда я услышу, что сие миролюбивое желание мое исполняется, то помолодею десятью годами и ничего не пожалею, что только может служить к удовлетворению ваших желаний, лишь бы оные основаны были на справедливости.

— Но, — подхватил пан Харитон, — если при всей готовности моей не только к примирению, но и к прочному миру и даже к дружбе с панами Иванами я в том не успею?

— Тогда они пеняй сами на себя, — сказал пан Артамон, пожав плечами: — разве кто обязан дать ответ богу и людям за зло, другими производимое? — Тут помолился он пред иконами, простился с гостями, сел в бричку и пустился на хутор пана Ивана старшего.

Пан Харитон, оставшись временным хозяином всего хутора, с восторгом помышлял о том блаженном времени, когда делается настоящим помещиком, ибо от пронизательных взоров его не скрылось, что Раиса и Лидия с первого взгляда пленили сердца его братьев. Когда он при первом удобном случае объявил жене весь план к приобретению потерянного посредством выкупа, то она с своей стороны подтвердила его догадки о впе-

чатлении, произведенном любезными дочерьми на добрых, великодушных и богатых юношей.

Наступила ночь, и молодые запорожцы объявили, что опочивальнею своею избирают беседку в саду, стоящую в конце у забора. Пан Харитон, не находя причины оспаривать сего желанья, охотно на то склонился. Правда, ему хотелось поскорее сблизить между собой молодых людей, распорядясь так, чтоб они как можно чаще виделись между собой; но и то сказать, что панский дом хотя устроен был удобно и снабжен всем нужным, однако всегдашнее пребывание в нем двух посторонних молодых мужчин могло служить для застенчивых девиц некоторым отягощением. Итак, Лука получил приказание натаскать сена в помянутую беседку, запорожцы удалились, и пан Харитон, опускаясь в постель, сказал жене:

— Десять лет прошло, как я с таким спокойствием, какое теперь чувствую, не отходил ко сну! Ах, сколько мы будем счастливы, когда сами себе скажем: добрые дочери поправили то, что злой отец расстроил!

— Я имею основательную причину думать, — примолвила жена, — что твои друзья сделали впечатление на сердца дочерей наших!

— С богом! В добрый час! — молвил пан Харитон, и вскоре все в доме успокоилось.

ГЛАВА XX

Обратимся назад

Думаю, что все, кому случится читать сию повесть, давно уже догадались, что мои молодые запорожцы Дубонос и Нечоса не кто другие, как Никанор и Коронат, ученые сыновья панов Иванов. Что ж понудило их сделаться оборотнями? Как очутились они в Батурине, а особливо в тамошней темнице? Прочтем далее.

По возвращении молодых друзей из Полтавы они — о чем мы давно знаем — страстно полюбили дочерей пана Занозы и получили соответствие. Кому ж открыть тайну сердец своих? От кого искать совета и помощи? Объявить прямо родителям, как бы в другом случае и следовало, в их обстоятельствах значило бы навлечь на себя проклятие отцов своих, а бедных красавиц видеть изувеченными неукротимым паном Харитоном. Итак, любовники прибегли к своему деду, пану Артамону, которого знали в первой молодости и после слышались о его кротости и великодушии. Сего-то доброго старца посетили они

тайно от родителей и открыли со всей пылкостью первой любви состояние сердец своих.

Выслушав повесть их с особенным вниманием, он сказал:

— Дети мои, я весьма далек от того, чтобы законную любовь опорочивать, равно как и честные средства, коими она приобретается; однакож и того не могу одобрить, чтобы заключать обыкновенные союзы без полного согласия родителей: а вы знаете, какую жестокою войну ведут между собой ваши отцы с отцом ваших любовниц! Есть одно только средство, могущее усмирить упрямых ратоборцев и по времени примирить их между собой; однакож вы должны взять терпение. Вам уже известно, что я по прежним связям веду пространную переписку с членами не только сотенных или полковых, но и войсковой канцелярии. Позыванья отцов ваших с паном Харитоновом кончатся так, как и должно, то есть общею гибелью. Если и тогда нравы их не смягчатся, то я готов оказать вам всякое вспоможение; но опять повторяю, что не прежде приступлю к сему, как в помянутое время, которое, как имею причину думать, наступить не замедлит. В течение сего времени вы постарайтесь вызнать нравы невест своих и их обычаи или привычки, которые иногда столь же глубоко вкореняются, как и врожденные склонности. Никогда не забывайте, что вы шляхтичи и что честь должна быть для вас столь же дорога, как самая жизнь. Не подражайте тем чужеземным развратникам, которые готовы резаться или стреляться с друзьями за одно насмешливое слово или даже за один непочтительный взор, а любовниц своих не совестятся доводить до края пропасти и, мгновенно низвергая туда неосторожных, неопытных, легковверных преступниц, считают сие делом богатырским, и кто из таковых витязей не хвастается сим всенародно, тот почитается за самого скромного, честного человека. Я твердо уверен, что вы, быв воспитаны в храме мудрости и чистоты, никогда не поддадитесь льстивому внушению гнусного Асмодея, хотя бы имели все способы к удовлетворению прихотям чувственности.

Старик говорил молодым внукам довольно продолжительную и весьма сильную речь о славе и счастии человека, побеждающего свои страсти, и юноши, выслушав его с должным вниманием, торжественно объявили, что, следуя внушению рассудка, усовершенствованного познанием философии, они нимало не боятся злых козней Асмодея и навсегда пребудут тверды в правилах, почерпнутых ими в Полтавской семинарии.

Добродушный дед, полагая, что достаточно испытал образ мыслей своих внуков и укрепил их в добродетели, отпустил с миром во-свои, наказывая посещать его тайно, дабы не раздражить своих родителей, давно уже против него огорченных за обнаружение и осуждение их глупостей.

Благовременное признание

Никанор и Коронат, быв ободрены ласками деда, возвращались домой весьма довольны своею догадкою — обратиться к нему за помощью и за советом; при всем том им казались излишними и даже смешными увещания пана Артамона, чтоб они в обращении с прелестными сестрами не отступали от путей чести и добродетели.

— Он, конечно, забыл, — произнес с гордой улыбкой Никанор, — что мы потомцы полтавской Минервы и наизусть знаем всю жизнь каждого из древних философов, отличивших себя постоянством и твердостью, которые доходили иногда до бесчувственности; что ж мешает нам уподобиться сим великим смертным и в объятиях прелестных сирен дышать чистою платонической любовью? О дед Артамон! По всему видно, что ты в молодости своей ни в какой семинарии не набирался мудрости!

Из первой части сей повести мы видели, как долго наши стоические философы пребыли тверды в правилах сей секты: все читатели — я надеюсь — еще не забыли ночного приключения на баштане, откуда бедные сестры возвратились домой в полночь и притом в великом беспорядке. Хотя Никанор был тогда, как и во всякое время, храбрее и предприимчивее друга своего Короната, хотя утешал его припоминанием дорогого правила: «все к лучшему», но оставшись один, он погрузился в унылую задумчивость, и поразмыслив хорошенько о причинах и последствиях, ужаснулся и со вздохом произнес:

— Ах! Дед Артамон, и не учась по-латыни, во сто раз умнее многоученных своих внуков, которые в существе не что другое, как высокомерные глупцы, нимало самих себя не разумеющие!

Никанор всю ночь провел без сна, и едва заря занялась на небе, он был уже в дороге. Куда? Нетрудно догадаться: к хутору доброго умного деда. Во время пути он мысленно сочинял речь по всем правилам хрии, не жалея риторических фигур и не скупясь на самые звонкие выражения.

Когда достиг он предмета своего путешествия, то солнце полным кругом блистало на тверди. Быв представлен пред деда, сидевшего за столом со своею старухой вместе с несколькими гостями, у него в доме ночевавшими, Никанор, с городской учтивостью отдав каждому свое почтение, сказал:

— Дедушка, я имею крайнюю надобность переговорить с тобою один на один!

— Ба, ба! — сказал пан Артамон с дружелюбною улыбкою: — пойдем в мою моленную; там никто не помешает тебе свободно объявлять свою тайну.

— Не лучше ли отложить тебе, любезный внук, важную твою исповедь до окончания завтрака? — спросила добрая Евлампия с заботливостью.

— Нет, бабушка. Завтракать можно после или и совсем без него обойтись; но без умного совета, когда настает в нем крайняя нужда...

— Пойдем, пойдем! — прервал слова его дед, и на лице старца изобразились заботливость и беспокойство.

Вошед в уединенную комнату, пан Артамон запер за собой двери и, севши на лавке, произнес:

— Ну, дорогой внук, начинай свое открытие.

Он не успел сказать более ни одного слова, как Никанор, со всем смирением раскаивающегося грешника, припал к ногам его и со слезами на глазах начал рассказывать о своем и друга своего падении, случившемся на баштане пана Харитона. Старик, выслушав все до конца, покачал головой и печально говорил:

— Вот до каких последствий доводит нас излишняя безрассудная надеянность на свои силы! И самый сатана из блистательнейших духов, парящих окрест престола всемогущего, не сделался бы мрачнейшим чудовищем в преисподних геенны, если бы не возомнил, что он могущественнее, нежели каков был на самом деле! Но что пролито, то полно не бывает: Видишь, что в несколько минут можно так напроказить, что во всю жизнь памятно будет! Надобно поправить порчу, и чем скорее, тем лучше! Повинуйтесь моим приказаниям и надейтесь на бога.

Тогда пан Артамон потребовал, чтоб Никанор и друг его Коронат в тот же день по вечеру обвенчались на милых грешницах, но хранили б сие в непроницаемой тайне. Он назначил для сего и церковь, священник коей издавна был ему хороший приятель, о чем и мы уже знаем, равно как и о дальнейшем образе жизни новобрачных. Теперь будет уже для нас понятно, куда Никанор и Коронат скрылись после побега из храма их любви — из хаты шинкаря Кирика и подъяремницы его Улиты. Пан Артамон принял их с лаской и доброхотством и когда услышал о происшедшем, то сказал с улыбкою:

— Теперь настало время и вам действовать. Вчера получил я письмо от давнишнего моего приятеля, старшины батуринаского, который по просьбе моей ни на минуту не выпускает из виду пана Харитона и дел его, производящихся в тамошней канцелярии: от него-то известно мне о имеющем вскоре последовать определении, по силе коего как пан Харитон, так и

отцы ваши лишены будут всего имения и выгнаны из домов своих. Сегодня же отправьтесь в Батурин, а я снабжу вас письмом к помянутому старшине, нужным количеством денег и наставлением, как действовать, дабы под чужими именами, пользуясь крайними обстоятельствами пана Занозы, заслужить его доверенность, обязать одолжениями и всеми мерами постараться довести до того расположения и дружбы, до которых ловкие молодые люди без особенного труда всякого довести могут! Поезжайте с богом и все дальнейшее предоставьте моему попечению. Время от времени вы будете получать от меня извещения о здешних обстоятельствах и равным образом уведомлять меня о себе и об успехах в нашем общем намерении.

Молодые друзья отправились в дорогу; приступим же и мы к окончанию сей повести.

ГЛАВА XXII

Быстрые шаги от вражды к согласию

Два следующие дня, которые провел пан Харитон со всем семейством на прежнем своем хуторе, пролетели как одна радостная, счастливая минута. Родители с несказанным удовольствием примечали, что занимательные столь необходимые для них запорожцы час от часу сильнее прилеплялись к дочерям их, и как Анфизе были они совершенно известны, равно как и прежняя связь их и ее последствия, то она — на глаза своего мужа — казалась весьма хладнокровною в таком деле, от окончания коего зависело будущее всех их благосостояние или конечная погибель.

— Ты совершенно беспечная, неразумная мать, — твердил он всякий раз, когда случалось быть им наедине, — что, когда молодые достойные люди начинают казаться влюбленными в дочерей твоих, ты не стараешься выказать ни одного их достоинства, ни одного из совершенств душевных или доброт сердечных! Ты до такой степени невнимательна к собственной своей пользе, к своему спасению, что, отправляясь сюда с хутора пана Артамона, взяла их с собою без праздничных даже платьев! Разве не знаешь, что если самую белую овечку выпачкать в грязи и навозе, то она походить будет на самого гадкого поросенка? Не думаю, чтобы благодетельный старик, сделав столь много для нас доброго, до сей поры оставил жену мою и дочерей таскаться в том же платье, в коем их вывез из села Горбылей.

Анфиза слушала его с улыбкою и на сильные упреки мужа обыкновенно отвечала:

— Погоди, друг мой! Придет время, так и мы не хуже других принарядимся.

В продолжение сего времени молодые запорожцы — мы не находим за нужное отнимать у них сие звание, подружившее их с таким человеком, от коего некоторым образом зависела дальнейшая их участь, — успели уже несколько раз побывать в домах панов Иванов и по возвращении оттоле не могли хвалиться ласковым приемом. Пан Харитон первоначально спросил:

— Не было ли обо мне речи?

— И очень много!

— Верно, их ругательства и злословия не иссякали?

— Совсем противное! Они от всего сердца радуются, что добрый дядя их не им одним оказывает благодеяния. Даже Иван старший, который показался нам сердитее, угрюмее и надменнее своего друга Ивана младшего, при расставаньи сказал: «Объявите временному соседу моему, пану Харитону, что если и он, подобно нам, переменял свои мысли и правила, то хотя бы прожил несчетные годы, мы готовы быть — при жизни нашей — добрыми его соседями; а при смерти — завещаем своим детям сохранить тот же образ мыслей и поступков. Уверьте его, что я сколько был зол на него за смертную обиду, нанесенную моим кроликам, столько злуюсь теперь на самого себя за поражение, сделанное мною колом по его макуше!

— Насилу образумился! — молвил пан Харитон. — Но что вы ничего не скажете о старших сыновьях их, которые, для отличия от прочих детей шляхетских, по десяти лет мучимы были в Полтаве над латынью?

— Мы их не видали; ибо они довольно давно по семейным делам усланы к некоторым родственникам. Впрочем, если можно верить свидетельству отцов о своих детях, то Никанор и Коронат молодцы неглупые, отважные и могут служить подпорой родителям во время старости.

— Что-то не верится! — сказал протяжно пан Харитон. — Я и от сказочников не слыхивал, чтобы ученые сыновья когда-либо заботились о беспомощной родне своей! Впрочем, это до нас не касается.

На третий после сего день около полудня Анфиза сказала своему мужу:

— Тебе уже известно, что по милости пана Артамона мы жили на его хуторе вместе с семействами панов Иванов. Жены их и дочери весьма любезны, миролюбивы и незлоязычны: они, утешая нас в несчастии, наперерыв старались делать нам возможные угождения и услуги; позволь же мне теперь с дочерьми

навещать их и тем исполнить долг благодарности и доказать, что не менее других знаем правила благопристойности!

Пан Харитон, хотя после некоторого упорства, склонился, однако, на представлении жены, и она немедленно с Раисою и Лидией отправилась на хутор пана Ивана старшего, где — разумеется — оба семейства их ожидали.

Пан Харитон, оставшись один с любезными своими запорожцами, сел у окна и, смотря в задумчивости на голубятню, считал на досуге птиц, садившихся на крыше для отдыха после воздушного плавания; молодые друзья подошли к нему, уселись по обе стороны и, также смотря на голубятню, помогали, казалось, старшему брату поверять его счеты. Приметно было, что на сердце у каждого лежало много, и даже почти наверное можно бы сказать, о чем они размышляли, но ни один не вымолвил ни слова. Такое стеснительное положение было для всех весьма неприятно, а особливо для людей молодых и влюбленных, и потому сии последние решились прервать молчание и приступить к делу.

ГЛАВА XXIII

Давно желанное предложение

— Послушай, пан Харитон! — воззвал Пиканор торжественно, — что скажу я от своего имени и от имени своего младшего брата! Хотя мы и недолгое время провели с любезным твоим семейством, но столько пленились красотой и многими достоинствами дочерей твоих, что без них не можем быть счастливыми! Если ты не находишь причины переменить обещание, данное нам на дороге сюда из Батурина, и если искаательства наши у прелестных сестер сделали какое-либо на сердце их приятное впечатление, то не отрекись дать нам родительское благословение и назови своими сыновьями.

У пана Харитона заблестала радость в пасмурных дотеле взорах, и щеки его покрылись краской удовольствия, давно ожидаемого и наконец полученного. Несколько мгновений смотрел он с нежностью на своих юных братьев и потом, взяв обоих за руки, произнес:

— Я человек простой и чистосердечный и потому без всякого притворства скажу, что предложение ваше исполняет сердце мое неизъяснимою радостью! Не подумайте, что причиною оной есть выкуп моего имения, как вы обещали, — нет, нет! — а единственно то, что и вы с своей стороны понравились дочерям моим: ты — средний брат — Раисе, а ты — младший —

Лидии. Они признались в сем матери, от которой ничего скрытого доселе не имели. Теперь-то чувствую, сколько господь бог правосуден и милосерд! Он не оставил меня без наказания за соделанные беспутства и преступления; но видя чистосердечное раскаяние и склонность к исправлению, он милует и посылает способы к счастью. С этой минуты хотя истребятс между нами сладостные имена братьев, но место их займут еще сладостнейшие имена отцов и сыновей. Подите ж, любезные дети, в мои отеческие объятия и примите мое благословение!

Юноши обняли его с сыновнею горячностью и осыпали руки его поцелуями. Пан Харитон, со слезами на глазах взглянув на небо, произнес:

— Боже, прими сердечную клятву мою: все силы души моей посвящены будут отныне на дела, тебе угодные, чрез которые мог бы я со временем сказать: «Правосудный! Ты неблагоприятному благоволил даровать счастье!»

Когда все опять уселись на прежних местах, то Никанор сказал:

— Пан Артамон столько сделал нам одолжений, столько оказал ласки и доброхотства, что необходимо надобно о намерении нашем его предупредить и просить о принятии участия в будущих наших праздниках. Я уверен, что такая с нашей стороны вежливость будет для него приятна, а доставлять столь почтенному мужу возможное удовольствие да будет для нас всегдашним законом! Ты, пан Харитон, останешься здесь, а я с другом бросимся на коней и полетим в гостеприимный утюр.

Они распрощались, и пан Харитон, оставшись один, предался сердечной, безмятежной радости, хотя несколько и досадовал, что нет с ним жены и дочерей, в коих сердца мог бы перелить избыток своего восторга и видеть всех счастливыми.

Когда он не знал, чем бы лучше занять волнующиеся мысли свои и отогнать злейшего неприятеля всякого удовольствия — скуку, и только хотел было раскурить трубку, как двери в комнату его растворились и к нему вошли — о Апеллес, о Рафаэль или кто другой из подобных вам искусников! Изобразите на полотне или на дереве состояние пана Харитона, в какое пришел он от сего неожиданного явления: к нему вошли оба паны Иваны. Сколько ни храбр был пан Харитон, но тогда совершенно потерялся; лицо его изменилось, он, не двигаясь с места, на котором стоял, произнес:

— Прошу присесть! Конечно, что-нибудь необыкновенное?

— Ты отгадал, — отвечал с дружеской улыбкой Иван старший: — если бы милосердие божие и добродетели дяди нашего

не сделали спасительного переворота в умах и сердцах наших, то мы погибли бы невозвратно со всем потомством! Одолжение твое, оказанное дозволением жене и дочерям посетить жен и дочерей наших, наложило на нас приятные узы благодарности; для сего пришли мы к тебе побеседовать, а после посмотрим, нельзя ли будет поладить делом, какое в головах наших затеялось.

Пан Харитон дал знак слуге, и в одну минуту явилось на столе несколько сулей с разноцветными наливками. С обеих сторон как потчеванье было самое дружелюбное, так и принятие оно нелицемерное. Неприметным образом сердца пирующих расширились для ощущения живой радости, во взорах каждого блистали кротость и дружелюбие, и всякое слово сопровождалось было веселою улыбкою.

ГЛАВА XXIV

Приятный отказ

Тогда пан Иван старший, обратясь к пану Харитону, произнес:

— Мы весьма довольны твоими ласковыми словами и дружеским угощением, однако собственно не за тем пришли сюда. Тот весьма был разумный человек, который первый сказал: «Не купи себе двора, а купи соседа!» Мы, кажется, начали образумливаться и, вероятно, не затем более позыванья; но чтобы прочнее связать узы возобновленного дружества и навсегда истребить корни столь долгое время существовавшей вражды, злобы и ненависти, то мы нашли к сему самый верный способ: у каждого из нас, обоих Иванов, есть по одному возрастному сыну, а ты имеешь двух милых дочерей, которые в тех уже летах, что пора помышлять о замужестве! За несколько времени до того ужасного дня, когда жену твою с детьми выгнали из дому, сыновья открылись нам в любви к дочерям твоим и умоляли дать им наше благословение. Статочное ли было это дело по тогдашним обстоятельствам! Мы от всего сердца желали тебе конечной гибели, ибо и не воображали, что с участью твоей неразрывными узами скреплена будет и наша участь. Посему, дав каждому любовнику по несколько добрых ударов киями, с великою грозою запретили произносить в присутствии нашем имена Раисы и Лидии; а чтоб скорее любовный чад выпарился из голов их, то мы отправили обоих к шурина моему на хутор, верстах в тридцати отсюда находящийся, где они и до сих пор проживают. Теперь при перемене наших

обстоятельств переменились мысли наши, и мы весьма бы охотно назвали дочерей твоих любезными невестками. Если и тебе, пан Харитон, предложение наше не противно, то ударим по рукам и назовем один другого добрыми сватами. Нарочный гонец сегодня же поскачет к сыновьям нашим; завтра они будут здесь, а послезавтра ты будешь иметь двух новых сыновей, а мы столько ж дочерей.

Пан Харитон сидел в великой задумчивости, и на лице его видно было некоторое неудовольствие и досада. Однакож он скоро оправился и, взглянув на соседей с добросердечием, сказал:

— Истинно жалею, что такое предложение слышу от вас уже поздно и исполнить требование ваше совершенно не в силах. Вы знаете несколько двух молодых запорожцев, прибывших сюда со мною из Батурина. Им обязан я всем, что могу назвать еще своею собственностью, то есть жизнью, целостью рассудка и душевным спокойствием, которое ношу в сердце своем. Они полюбили дочерей моих и посватались. Посудите сами, мог ли я в чем-либо отказать столь достойным молодым людям, которые — не говоря уже об истинных благодеяниях, мне доселе оказанных, — обладают весьма многими достоинствами, из коих самое меньшее есть достаточное состояние их родителей. Не скрою от вас, дорогие гости и соседи, обещания женихов, что как скоро сделаются они мужьями, то непременно выкупят у пана Артамона сей хутор и дом в селе Горбылях в мою пользу. Как ни высоко ценю добродетели вашего дяди, но искренно сознаюсь, что жить незаслуженными благодеяниями посторонних людей для непривычного к тому человека — весьма неприятно, горестно!

— Кинем же это, — воззвал пан Иван старший, — и представим, что о сем предмете ни одного слова говорено между нами не было! Если не можем породниться, то и раздруживаться не надобно. Сыновья наши еще молоды и хотя нескорю, но все же выкинут из голов и сердец теперешние глупости, а особливо когда узнают, что их любезные невозвратно принадлежат другим! Прощай, пан Харитон! Я ожидаю тебя к себе завтра отобедать со всем родством твоим и с друзьями запорожцами. Ты сим обрадуешь всех нас несказанно, ибо уверишь, что примирение наше не есть дело прихоти, лицемерия или своекорыстия.

Они расстались, и пан Харитон, провожая их до ворот двора, уверял честным словом урожденного шляхтича, что он довольно с давнего времени перестал на них злоститься, а с настоящего часа начал считать за истинное счастье быть третьим в их союзе и что никогда не изменит сего намерения, если и они противиться не станут.

Брачные условия

В самые сумерки запорожцы возвратились, и по их веселым лицам пан Харитон заключил, что они очень довольны приемом хозяина.

— Что же скажете? — воззвал он с нетерпением. — Что отвечал вам пан Артамон? Доволен ли нашим распорядком? Будет ли к нам на свадьбу?

— Ты сейчас узнаешь образ мыслей его, — сказал Никанор, — и согласишься, что он более желает собратиям своим счастья, нежели мы когда-либо от него ожидали. Выслушай и суди. Как скоро узнал он, что намерение наше в исполнении своем приближается к желанному концу и что ты от всего сердца согласен составить наше счастье соединением с прекрасными дочерьми твоими, причем объявили общее искреннее желание видеть его с почтенною супругою и друзьями принимающего участие в нашем веселии, то пан Артамон с сияющими от внутреннего удовольствия взорами произнес: «Хорошо, друзья мои, все очень хорошо распоряджено; но я, будучи и в ваших летах, при намерении начать что-нибудь новое всегда хотел предварительно узнать, какие из того произойдут последствия! Посему не осудите, если я сделаю вопрос: что станете вы делать, женись на дочерях пана Харитона? Положим, что я, сколько склоняясь на желание ваше, столько и следуя движению моего сердца, соглашусь весьма выгодно уступить вам как хутор, так и горбылевский дом со всеми принадлежащими к ним угодьями; но что из того произойдет? Вы, верно, не захотите подражать великому множеству молодых наших шляхтичей, которые, быв рождены и вскормлены, подобно всем домашним животным, не знают за собой других обязанностей, как в урочное время жениться, народить детей, также вскормить их и с равнодушием ожидать посещения смерти? Обязанности к обществу и отечеству для такого трутня суть слова, совершенно не имеющие значения. Итак, я полагаю, что вы, женись на своих любезных, увезете их на свою родину, где они, сколько от непривычки к новому образу жизни и обращению с людьми, для них чуждыми, столько и от мыслей, что осиротевшие, неутешные их родители при всем изобилии в житейских потребностях горюют беспрестанно и при каждой мысли о милых дочерях, составляющих услаждение для душ и сердец их, проливают горькие слезы...

— Перестань! — воззвал пан Харитон прерывающимся голосом, и слезы покатались из глаз его: — перестань! Это живое справедливое описание будущих ощущений моих прежде времени терзает мою внутренность. О мудрый сердобольный

старец! Никогда не быв отцом, ты превосходно чувствуешь, что значит быть им!

— Послушай далее, и ты утетишься, — сказал Никанор и продолжал: — «Что же будем делать? — спросил я, — чтобы, удовлетворяя страстному желанию сердец наших, не могли наносить тем тоски и горести сердцам других?» — «Я о сем обстоятельстве думал прежде вас, — отвечал он значительно, — и думал тем обстоятельнее, что вижу себя в деле сем посторонним человеком, принимающим в нем одно дружеское участие. Послушайте: как скоро женитесь вы на дочерях пана Харитона, то я, не требуя ни малейшей платы, отдам в вечное и потомственное владение его как хутор, на коем он теперь проживает, так и дом его в Горбылях и приложу все старание, чтобы родители ваши с семьями своими, оставя Сечь, переселились на всегдашнее жительство к нам. У меня довольно хуторов с панскими домами, хорошо устроенными, где могу разместить их с большею удобностью, нежели с какою размещаются они теперь на своей родине. По глазам вашим вижу, что вы в полной мере одобряете мое предложение; но, молодые друзья, делая всем вам возможную угодливость, я потребую и от вас жертвы, которая, впрочем, нимало не тягостна для людей благородно мыслящих, и жертва сия будет состоять в следующем: по прошествии года после женитьбы, когда увидите, что любовь ваша не бесплодна, вы с мужеством должны вырваться из объятий милых жен и пуститься в Полтаву — послужить отечеству. Молодость, изобильная силами души и крепостью тела, делает человека в это время жизни к тому способнейшим. Ты, Дубонос, вооруженный копьем и саблею, причислен будешь к тамошнему полку; а ты, Нечоса, с пером в руке и чернильницей за поясом сядешь за канцелярским столом и будешь отличаться проворством пальцев и твердостью терпения. Мне довольно известны ваши нравы и способности. Но чтобы непрерывными трудами не изнурить себя так, что после — еще в цветущие лета — сделались бы неспособными к продолжению с ожидаемою пользою службы, а притом порадовать молодых жен и оба семейства, вы в каждое лето можете на несколько недель брать увольнение и, проведши время сие в объятиях родственной любви и дружбы, с новыми силами пускаться опять к полезным занятиям! Согласны ли вы на мое предложение?» Вместо ответа мы бросились в его объятия и едва могли произнести: «О Артамон! Как умешь ты благодетельствовать».

Пан Харитон, чрезмерно растроганный, возведя благоговейные взоры к небу, воззвал:

— Боже! Даруй мужу сему блаженство на небеси; а на земли он уже блаженствует, делая всех окружающих его счастливыми и полезными.

Чего недостает еще к свадьбе

Слово, данное панам Иванам, было в точности сдержано, и на другой день пан Харитон со всем семейством и своими друзьями обедал у Ивана старшего, где, разумеется, находился и Иван младший со всем домом. Как сватовство запорожцев не было уже тайною, то и поздравления были бесчисленны. Ничто не могло сравниться с восхищением пана Харитона, видевшего, что его дочери беспреестанно переходили из объятий новых друзей его панов Иванов в объятия жен их. Он не мог надивиться, каким чудом злейшие враги его в столь короткое время могли обратиться в искренних друзей и совершенно забыть об отверженном предложении насчет женитьбы сыновей своих на его дочерях; а что всего более казалось ему задачей, то было обхождение обоих Иванов с запорожцами, которое уподоблялось самому дружескому. Весь день проведен в общем удовольствии, и при расставаньи паны Иваны дали слово участвовать в свадебном празднестве. Когда пан Харитон с домашними возвратился на свой хутор, то нашел в доме великую суматоху. Целый обоз с припасами съестными и питейными прислан был от папа Артамона, и множество стряпух суетились на кухню.

Настало утро вожделенное, столь нетерпеливо всеми ожидаемое, и все в доме пришло в сильное движение. Крестьяне и крестьянки в праздничных одеждах явились на панский двор и благочинно встречены были домашними слугами и служанками. По обе стороны у заборов расставлялись длинные столы для будущего пиршества. У самого схода с крыльца толпились машкары и искусники с гудками, волынками и цимбалами. Вершники, высланные на дорогу для встречи пана Артамона с гостями, прискакали с уведомлением, что он со всеми спутниками уже в виду, и тогда все домашние собрались в большую комнату, куда вслед за ними явились паны Иваны со своими семействами. Пан Харитон и молодые друзья его одеты были в кармазинные запорожские платья с золотыми кистями, шитые батуринским жидом Давидом. Анфиза, а особливо ее дочери блистали в пышных шелковых нарядах, каковых они дотоле и не видавали. Будучи сами по себе прелестны, они тогда казались несравненно еще прелестнее, и пан Харитон не мог ими налюбоваться. Смотри ты на женихов, то на панов Иванов, жен их и детей, он, казалось, говорил: «Это мои дочери! Не правда ли, что они прекрасны, умны, добродетельны?» Все присутствующие понимали значение его взоров, и стыдливые невесты потупляли глаза в землю, а прочие улыбались.

Вдруг на панском дворе раздался радостный вопль; пан Харитон и его гости бросились к окнам и увидели катящуюся праздничную колымагу пана Артамона, за коей следовало множество колымаг, бричек и возков. Все бывшие в доме выбежали на крыльцо для встречи добродушного хозяина с его провожатыми. Само по себе разумеется, что учтивости — от чистого сердца вырывавшиеся — были со всех сторон бесчисленны; на лице каждого блистала непринужденная радость, все обнимались между собою как родные любящие и любимые братья и сестры и в этом порядке вошли торжественно в большую комнату.

ГЛАВА XXVII

Желанная развязка

Смятения, происходящие от избытка сердечной радости, не могут уменьшить чувствований веселящихся, а посему пан Артамон, не дожидаясь, когда утихнут общий шум и восклицания, сказал пану Харитону:

— Что же мы не видим дорогих невест? Их только недостает, чтобы пуститься в Горбыли для отслушания божественной литургии и совершить, что следовать будет!

Пан Харитон дал глазами знак жене, и она пошла, но — к удивлению всех — шагами нетвердыми и закрывая попеременно глаза то тою, то другой рукою. Вскоре после выхода явилась она опять, а за нею следовали обе дочери ее, держа каждая на трепещущих руках по прекрасному малютке. Все гости остолбенели, а пан Харитон задрожал, побледнел и опустился на скамью, подле коей стоял. Анфиза, паны Иваны, их жены и дети утирали глаза, и один пан Артамон пребывал не только покоен, но даже весел. Раиса и Лидия, подошед к отцу, стали на колени, и каждая, подняв вверх своего младенца, трепещущими губами в один голос произнесла: «Батюшка, будь милостив и прости!»

Пан Артамон, видя, что у пана Харитона волосы стоят дыбом и страшные, мутные глаза неподвижно обращены были к дочерям его, коими незадолго он столько много гордился, подступив к нему с ласкою, произнес:

— Что же ты, любезный друг, задумался в такую минуту, когда должно быть веселу и даже говорливу? Встань и надлежащим образом благослови дочерей и — внучат!

Пан Харитон заскрипел зубами, судорожные движения разливались по лицу его и по всему составу. Ему представи-

лось, что злобные паны Иваны заманили в свои сети легковерного дядю и в присутствии такого множества шляхтичей и шляхтянок сделали из него позорище сколько постыдное, столько и убийственное. Добрый пан Артамон, сжался над его состоянием, сказал:

— Ты, конечно, извинишь нам, что столь долгое время таили от тебя истину. Если бы открыли тебе несколько ранее все происшествия, случившиеся по отъезде твоём в Полтаву между твоими домашними, то ты погиб бы непременно! Подними ж дочерей и заключи их в родительские объятия, а после прижми к своему сердцу мужей их, сих молодых великодушных людей, сих запорожцев, моих любезных внуков, сыновей панов Иванов — Никанора и Короната!

Попытай, кто хочет и надеется верно изобразить взор и движение, обнаруженные тогда паном Харитоном! Сначала уподобился он пораженному громом или оледенелому, окаменелому истукану; но скоро луч божией благодати проник в глубину сердца его, озарил и оживил мрачную и изнемогающую душу его; он привстал и, возвыся руки к небу, воззвал:

— Премилосердый! Неужели я, грешный, удостоен тобою толикого счастья?

С быстротой ветра поднял он дочерей с их малютками, заключил в свои объятия и со слезами нежности говорил к предстоящим:

— Я предсказывал, что дочерям своим обязан буду спасением, и пророчество мое теперь исполнилось! Добрые мои запорожцы, неужели из любви к дочерям моим не усомнились вы подвергнуться заключению в темницу и сделаться моими избавителями? О паны Иваны, сколько много облагодетельствовало вас небо, даровав сыновей столько достойных!

Пан Харитон переходил из объятий отцов в объятия детей, а пан Иван старший сказал:

— Если ты считаешь нас счастливыми, что имеем детьми своими сих запорожцев, то не менее того и ты должен быть доволен, что дочери твои избрали себе мужей, их достойных. В заключение скажу, что после всеблагото бога мы дяде Артамону обязаны величайшею благодарностью!

Общее веселие разлилось на лицах всех присутствующих. Все хотели видеть вблизи прекрасных малюток, которых пан Харитон, выхватя из объятий матерей, держал на обеих руках и, осыпая поцелуями, дозволял каждому к ним приближаться и ласкать всячески. Щеки молодых матерей пылали от сердечного веселия; Анфиза и жены панов Иванов с упоением радости смотрели на общее восхищение, и пан Харитон вскричал:

— Если я вкушаю теперь блаженство, большее, нежели какое вкушал когда-либо во всю жизнь свою, то обязан сим милосердому богу и благодетельному Артамону! Поспешим же принести усерднейшие благодарения наши в храме всевышнего, а после — за веселым обедом — поблагодарим нашего гостеприимного хозяина.

ГЛАВА XXVIII

Заключение

По желанию его все в точности исполнилось. Пан Артамон, все его родные, все друзья и гости слушали священнодействие в той же самой церкви, где за год перед тем совершенно памятное нам бракосочетание. Из всех горбылевских шляхтичей один пан Агафон извещен был от пана Ивана старшего о сем нечаянном событии и приглашен со всем родством сперва в церковь, а потом на хутор пана Харитона; но несмотря на сие, церковь была наполнена всеми, сколько-нибудь знавшими того или другого из сих шляхтичей. Хотя пан Харитон и оба паны Иваны ни одним взором не обнаруживали превосходства своего перед прочими, но сие не избавило их от злости, насмешек и почти явного кощунства. Пан Харитон ясно это видел и, взглядывая на прекрасных дочерей своих, весело улыбался; паны Иваны не менее его были в сем случае пронизательны и, также взглядывая на достойных сыновей своих, с бодростью смотрели каждому в лицо и также улыбались. Такое со стороны сих панов невнимание к прежним своим добродетелям, столь ревностно помогавшим им мудрыми советами в каждом позывании, так оскорбило сих последних, что как скоро окончилась литургия, все они и с семействами — один за другим — убралась из церкви и, кроме приглашенных да нескольких крестьян и крестьянок, никого там не осталось.

— Так и надобно, — говорил пан Харитон, сходя с церковного крыльца рядом с паном Артамоном и его племянниками: — я согласен, что гордиться и поднимать нос пред кем бы то ни было из того только, что бог ниспослал нам более даров своих, нежели другим, есть признак замершей души и окаменелого сердца; но и того назову глупою головою, безрасчетною, кто с одинаковою готовностью отдает себя истинному другу, благодетелю и бездушному нахалу, который некогда всемерно ласкал его безумствам только для того, что яствы и напитки глупца услаждали гортань бессовестного!

При въезде на панский двор они встречены были радост-

ными воплями крестьян и крестьянок, собравшихся из всех трех хуторов, и мусийские орудия — гудки, волынки и цимбалы — подняли такой звон, писк и рев, каких со времени основания хуторов тех никто там и не слыживал. Когда все приезжие уместились за столами, в трех комнатах расставленными, то сельский священник благословил хлеб и вино, и пиршество поднялось всеобщее, ибо в то время домашние служители угощали на дворе толпы крестьянские.

По закате солнечном начались прощанья до следующего дня. По распоряжению пана Артамона пан Иван старший повел к себе сына Никанора с Райсою; за ним последовал пан Иван младший с Коронатом и Лидией. Жены их несли малюток на руках, быв сопровождаемы прочими детьми своими, и вскоре каждое семейство скрылось в своем доме. Для гостей, оставшихся еще у пана Харитона, гостеприимный пан Артамон назначил местопребыванием на все свадебные празднества свой большой хутор, куда они и отправилась. Когда остались одни домашние, то пан Харитон, провожая древнего друга своего в назначенную для него опочивальню, с чувством благоговения произнес:

— Теперь только в полной мере чувствую, и ничто в свете не искоренит из души моей сего чувства: одни добродетельные могут быть истинно счастливыми!

Несколько дней сряду продолжались празднества по порядку в домах панов Харитона, Ивана старшего и Ивана младшего; наконец все успокоилось. Посетители, отблагодарив хозяев за самое дружеское угощение, разъехались по местам своим. Вскоре и пан Артамон собрался в дорогу со своею седуо подругою. При расставании он с дружелюбием, но вместе с важностью произнес к собравшимся семействам:

— Друзья мои и дети, расставаясь с вами, я даю обещание посещать вас сколько можно чаще. Надеюсь, что всякий раз, когда вступлю ногой на землю, кому-либо из вас принадлежащую, я ничего ощущать не буду, кроме радости в сердце и спокойствия в духе. Оставляю вам поместья в таком виде, что при добром устройстве они время от времени будут приходить в лучшее состояние. Помогайте один другому чем можете и вы увидите, что от сего не только никто ничего не теряет, но, напротив, каждый будет и в выигрыше. Молодые люди! Помните условие, незадолго между нами заключенное. Исподволь приготавливайтесь, чтобы с наступлением будущей весны охотно могли отправиться в Полтаву. Я сам, вместе с отцами вашими, провожу вас. Но как до сего остается еще довольно свободного времени, то я поручаю тебе, Коронат, описать историю позыванья, происходившего между твоим тестем, отцом и его другом; о пагубных последствиях оного и о счастливом окон-

чании, за которое единственно должно благодарить святой промысл, так милостиво прощающий всякого грешника, чистосердечно раскаивающегося. Чтение сей повести сколько будет полезно для вас, столько и для всякого другого, а особливо для тех несчастных, в сердцах коих злой дух позыванья начнет разливать яд свой!

Добродушный старец уехал, дав родительское благословение всем, от старшего до младшего, и верное предание гласит, что когда он ни посещал дома своих родственников, то всякий раз был весьма доволен, находя между обитателями оных мир, дружбу, любовь и счастье. Коронат также исполнил желание деда, и из сего-то записок выбрал я для своей повести то, что показалось мне нужным и приличным.

ГАРКУША, МАЛОРОССИЙСКИЙ РАЗБОЙНИК

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Повод к месту

Повествователи необыкновенных происшествий!

Всегда ли и все ли вы старались вникнуть в первоначальную причину оных? Ах, как горестно для всякого, не говоря уже для чувствительного человека, видеть, что погибает сочеловек, по промыслу божию снабженный от природы весьма достаточными дарованиями, а потому неоспоримым правом на счастье! Источники злополучия его крылись, с одной стороны, в нем самом, с другой — в предметах, его окружающих.

В прекраснейшей стране под российским небом, в пределах украинских, в помещичьем селении жил молодой пастух Гаркуша. Он был статный, дородный молодец и самый сильный из всей деревни. Все девушки заглядывались на Гаркушу, видели румяные щеки его, черные кудрявые волосы, широкие плечи, крепкие мышцы, и не могли не отворачиваться, смотря на его свиту,¹ всю в лохмотьях, украшенную дегтярными пятнами, прильнувшими к ним клочками овечьей шерсти, и на постолы,² кои казались рыжее глины.³ Он был сирота и беднее всех из деревни. Несмотря на то, самые даже мужчины имели его в почтении. Никто не мог превзойти его в ловкости на кулачных боях, в прворстве на плясках и в звонкости голоса во время песен.

¹ Свита — верхнее шерстяное платье домашней работы.

² Постолы — род кожаных лаптей, употребляемых частью народа, для которой шить сапоги дорого.

³ В Украине у простолюдинов почитается за щегольство, чтоб обувь сколь можно чаще вымазана была дегтем, а особливо в праздничные дни.

Он играл на гудке и волынке не хуже одноглазого деревенского музыканта, который считался чудом искусства во всей округе.

В Малороссии — так, как и во всем свете, — всякий и всякая, идучи в церковь, наряжаются сколько можно великолепно; а как у бедного Гаркуши и самое праздничное платье было хуже, чем у других будничные, то он редко посещал храм божий, а довольствовался во время священнодействия стоять на паперти и со смирением мытаря творить свои молитвы. От природы, подобно всем малороссиянам, не побывавшим еще на Руси, был он набожен и свято соблюдал правила, переданные ему родителями. Он почитал за великий грех по постам есть скоромное, красть, ласково смотреть на пригожую жидовку-шинкарку и тому подобное.

В конце сентября распустил он стада свои, собрал условленную плату, состоящую в съестных припасах, достаточных на прокорм его и двух бодрых псов чрез целую зиму, да деньгами два рубли, и скрылся в уединенную свою хату. К великому его влополучию, — невольный вадох при воспоминании о сем вылетает из груди моей, — к величайшему его злополучию, скажу я, настал день его рождения и — в день воскресный. Ему исполнилось двадцать пять лет. Гаркуша, как стал себя помнить, всегда посвящал его на славословие божье, служил молебн и после отлично угощал — псов своих, ибо никто из людей не удостоивал его посещением, да он нисколько о том и не печалился.

И на сей раз Гаркуша не отступил от своего правила. Он чисто-начисто выбрился, закрутил усы, намазал постолы дегтем, надел довольно чистую свиту и отправился в церковь. Он стал у самого крылоса, ибо никого еще там не было, и начал молиться, как умел. Мог ли он подумать, что с того дня, столько для него святого, начнутся его бедствия? Ах! Лучше, стократно было бы лучше, если б он остался дома и готовил обед для себя и косматых своих собеседников!

Мало-помалу церковь начала наполняться народом, наполнилась, и священнодействие началось. Когда Гаркуша со всем усердием творил земные поклоны, то некто из народа толкнул его в спину столь небрежно, что он плотно стукнулся лбом об пол. Поднявшись, он видит подле себя Карпа, племянника своего старосты.

— Посторонись! — сказал тот надменно.

— Некуда! — отвечал Гаркуша. — И всякий имеет такое же право сего от меня требовать, как и ты.

— Ба! — сказал племянник старосты, — так я равен тебе, негодный?

— Я такой же христианин, — отвечал сей и продолжал молиться; но соперник его шепнул что-то на ухо дьяку Якову Лы-

сому, и сей знаменитый сановник, сошед с крылоса, взял Гаркушу за руку, повел по церкви, потом, выведши за двери, сказал:

— Оставайся здесь, невежа, когда не умеешь смиренно стоять во храме, иначе — ты меня знаешь: покайся во грехе и смирись!

Несмотря на проливной дождь, ветер, град, словом, на все собравшиеся октябрьские непогоды, Гаркуша смиренно простоял на паперти до окончания службы, выждал всех людей и уж хотел вступить в церковь для отслужения молебна, как показался священник со своим причтом. Сколько ни умолял его Гаркуша воротиться, удвоивал и утроивал обыкновенную плату, тщетно! «Для чего не сказал заранее», — был ответ, и скоро все скрылись.

С стесненным сердцем, со слезами на глазах воротился Гаркуша в свою хижину, и в первый раз ласки верных псов не могли развеселить его. Он отобедал без вкуса, пасмурно сел на скамье, и — мщение представилось воображению его в прелестном виде добродетели, или сознания своего внутреннего достоинства. «Виноват ли я, — сказал он с видом презрения, — виноват ли, что никто из предков моих не был не только старостою, но даже ни сотским, ни десятником? Виноват ли, что я молился господу богу в смурой и старой свите, а противник мой в белой и новой свите толкнул меня в спину? И за то лишать меня лучшего удовольствия отслужить молебен ангелу-хранителю? О, это не пройдет вам даром — тебе, пан дьяк Яков Лысый, и тебе, Карп, племянник старосты! И я сумею лишить вас любимых предметов!» Долго рассуждал он о роде отмщения и о способах к достижению оногo. Наконец утвердился в мыслях и произвел в действие свое предприятие.

ГЛАВА 2

Мщение

У пана дьяка Якова Лысого была в саду голубятня, и в ней, — как известно было всему селению, — водились лучшие голуби, и Яков Лысый любил охоту сию более всего и охотнее лазил на голубятню, чем вступал в чертоги жида, содержавшего шинок, хотя и туда ходил он охотнее, чем на крылос. Чтобы удовлетворить своему вкусу, то он располагал время так: в воскресный или праздничный день — по необходимости — бывал он на крылосе, а после посещал прихожан; и как проживал у него отставной капрал, обучавший крестьянских детей грамоте, то посещениям пана дьяка везде были рады. В понедельник лазил

он на голубятню, чистил, выметал перья, переменял корм и питье, сплетал новые соломенные гнезда или чинил старые и любовался, смотря на круги, делаемые козырными в воздухе, или слушая их воркованье. К вечеру собирал своих любимцев, запирал хранилища их деревянною задвижкой и спускался наземь. Во вторник — с утра входил он во храм жидовский, толковал собравшимся посетителям затруднительные места в ежедневных молитвах, рассказывал о подвигах угодников, о проказах злых духов и о прочем тому подобном, а за то во весь день ел и пил на счет благочестивых слушателей. Такое препровождение времени пана дьяка Якова Лысого известно было всему селению, а потому и Гаркуше, и на сем-то сведении — покамест — основал он свое мщение.

В числе имущества Гаркуши были у него доморощенные кот и кошка. Си-то орудия ко мщению запер он в пустой чулан, решившись твердо продержаться там три дня, не давая ни куска хлеба. Сколько бедные твари ни кричали, так звонко, так жалобно, — он пребыл непоколебим в своем слове, говоря им в утешенье: «Поститесь, друзья мои, хорошенько! Скоро я доставлю вам богатое разговенье!»

В сумерки третьего дня, когда глубокий мрак покрыл природу, Гаркуша изловил своих великопостников, запер в кулек и пошел, куда надобно. Для него ничего не значило перелезть забор и взобраться на голубятню. С трепетом сердца отпер он дверь, впустил туда голодных супостатов, запер, сошел на низ и прибыл домой. Он не мог налюбоваться сам собою за такую замысловатую выдумку. Рассуждая о сем доле, он нечаянно попал на мысль, чтобы к довершению своего удовольствия быть свидетелем поражения дьякова при виде разорения.

Поутру на другой день отправился он к жиду, где застал уже велеречивого витию, рассказывающего о каком-то чудесном походе Асмодея. Гаркуша нечувствительно завел речь о голубях и с таким жаром, с таким восторгом превозносил сию охоту, что Яков Лысый умилился. Они попотчевали один другого, и Гаркуша предложил: не продаст ли он пары ему, дабы и он со временем мог наслаждаться подобным благополучием? Хотя и не скоро, однако, видя неотступные просьбы, а особливо двойную плату, ибо Гаркуша давал гривну, когда везде можно было иметь пару за пять копеек, Яков склонился.

— Хорошо, — сказал он, принимая в задаток целый пятак. — Только не сегодня, ибо я по сим дням обыкновенно до ночи не выхожу отсюда. Завтра поутру приходи ко мне, вместе взлезем на голубятню, и ты выберешь.

Того-то и надобно было Гаркуше. Рано поутру посетил он дьяческие палаты, запасшись сверх платы полною сулейкою. Ему хотелось привести хозяина в состояние, в котором всякое

впечатление чувствуемо бывает несравненно живее, порази-
тельнее. Яков Лысый был немаловажный политик. Видя запас
Гаркуши, он поставил на стол пироги, и оба принялись за дело,
безумолчно беседуя о голубях. Настал день — и наши охот-
ники отправились за добычею. Дверь голубятни открыта. Не
только мое, но и Мейснерово перо слабо описать весь ужас, по-
разивший Якова, когда увидел, что две большие кошки броси-
лись к нему под ноги, каждая держа во рту по трепещущему
голубю. Они спустились вниз и скрылись в кустарниках.
Окаменелый Яков неподвижными глазами смотрел вслед за
ними, потом обеими руками ударил себя по лысине и громко
возопил:

— О блаженный Исаакий! Возможно ли? Уж не дьяволы ли
в образе кошек пришли сюда соблазнять меня? Неужели и я
праведен, что они приняли на себя труд сей? Посмотрим!

Трепещущими — Яков от горести, а Гаркуша от удоволь-
ствия — стопами вошли они в голубятню. Пол покрыт был
опрокинутыми гнездами, разбитыми яйцами, издохшими голу-
биятами и перьями. Из возрастных — иные были загрызены,
другие изувечены: кто без ноги, кто без крыла, кто без хвоста.
Яков, видя сие бедствие, зарыдал велегласно.

— Это не даровое, — вопиял он, — конечно, какой-ни-
будь потаенный злодей сочинил мне сию пакость, да примет
его сам сатана в свои объятия! Ни одного голубя нет в целости!
Ну, приятель! Вот твой пятак назад! Видишь — не моя вина,
что отступаюсь от своего слова!

— Очень вижу, — отвечал Гаркуша, хладнокровно при-
нимая свой задаток.

Они спустились: Гаркуша пошел к своей хате, а Яков, —
коему нечего уже было делать на голубятне, — печально побрел
в шинок, где с пролитием многих слез поведал о злосчастии,
сделанном ему демонами, конечно, в отмщение за богоугодную
жизнь его!

— И я видел на обратном пути отсюда, — сказал племян-
ник старосты Карп, — это было третьего дня в глубокие сумер-
ки, одного демона, лезущего через забор твоего сада. Я подошел
ближе и узнал его. Он держал в руках кулек с маленькими де-
монами, которые ужасно мяучили. Любопытство заставило меня
остановиться. Этот рослый демон прошел твой сад и взлез на
голубятню, а что там делал, не знаю. Демон сей попросту, то
есть по-нашему, называется Гаркушею, а малые демоны по го-
лосу совершенно походили на наших кошек.

Кто изобразит ярость, злобу, бешенство, покрывшие про-
странное чело Якова Лысого? Пришед в себя, он бросился в дом
старосты, поведал ему свой убыток, свое отчаяние и — требовал
должного правосудия!

Дело само по себе было такой важности, что необходимо должно было произвести немедленное исследование. Староста течет в сборную хату, созывает десятских и выборных, объявляет им о доносе пана дьяка на Гаркушу и повелевает пред судилище свое представить обвиняемого. Выборные вскоре явились с Гаркушею, донеся, что они застали его хохотавшего, смотря, как коты его забавлялись голубями, причем и сих страдальцев показали, заключив, что и законопротивные кошки были бы так же преданы суду, если бы не ускользнули от рук их. Гаркуша противу таких свидетельств ничего не мог представить в оправданье, почему, яко голобубийца, тать, нарушитель тишины, по мирскому определению изрядно был выстеган лозами и принужден заплатить Якову Лысому в вознаграждение убытка рубль деньгами.

ГЛАВА 3

Вдвойне наказан

Это не то уже для Гаркуши, что быть выведена из церкви. После истязания и заплаты денежной пени он, оставшись один, погрузился в мрачную задумчивость. Темное чувство *справедливости* вперяло ему, что он, конечно, неправ, обидя дьяка самым чувствительным образом; но ему также казалось, что в вознаграждение убытка довольно было взять с него только рубль; а потому стегание лозами было лишнее, и он считал его неправосудным, а потому достойным отщипения. На сем чувствовании он опять остановился.

В самую мрачную осеннюю ночь Гаркуша вторично переправился в сад дьяка, осмотревшись прежде внимательно, нет ли где опять свидетеля его подвигов. С возможным старанием трудился он в продолжение всей ночи и уже на рассвете воротился в хату свою благополучно. Что же он делал? Он подпиллил все лучшие деревья, оставя их на пнях, так сказать на нитке. Яблони, груши и все, что стоило труда, — истреблено было. Одни кустарники смородины, крыжовнику и прочие пощажены были. Как в такую пору года никто не занимается садом, а особливо в Малороссии, где на попечение одной природы оставляют сады на зимнее время, то и пану дьяку Якову в голову не приходила новая пакость, мщением ему сделанная.

Довольно времени прошло со всех сторон покойно, и Гаркуша терпеливо ожидал исполнения своей мести. В ноябре месяце поднялась сильная буря. Яков Лысый с несколькими гостями сидел в теплой храмине, окнами в сад, и громко рассу-

ждал о чертях и оборотнях. Вдруг раздается в саду ужасный треск, как бы целый дом обрушился. С трепетом все вскочили с мест, перекрестились и бросились в сад. Кто опишет общее поражение, а особенно хозяина! Лучшая яблоня, валившись с корня, обрушилась на голубятню и ее стащила с собою на землю. Все стояли разинувши рты, как повалилась груша, там опять другая яблоня и еще другая груша, а в скором времени и все деревья попадали на снег. Пан дьяк дрожал от ужаса, жалости и недоумения, которое тем более его поражало, что в соседних садах нигде не видно было подобного опустошения. Он покушался думать, что тут не без вражьей силы, — как один из гостей посмелее других пошел далее, осмотрел одно дерево, там другое, третье, наконец все и, воротясь к изумленным, сказал:

— Видно, пан дьяк намерен завести винокурню, что столько запас дров. Мудрено ли, что деревья падают, когда он подпилит их?

— Как так?

— Посмотри сам!

Все с любопытством бросились смотреть и увидели, что деревья действительно были подпилены.

— Вот задача! — Яков задрожал; глаза его помутились, щеки побледнели. — Кто ж бы это со мною сделал? — возопил он болезненно. — Беда за бедою! Недавно бездельник истребил голусей моих, а теперь и голубятня на земле!

— Почему знать, — заметил один из гостей с таинственным видом, — может быть, и это его же дело!

На сем замечании все остановились. Начались словопрения, соглашения и противоречия, а все кончилось тем, что клялись как можно внимательнее примечать за Гаркушею; примечали, но ничего особенного не могли приметить.

Может быть, да и вероятно, — многие прежде меня заметили, что праздность и любовь родные сестры. Что делать пастуху в зимнее время? Когда он сыт, согрет, одет и обут, то непременно надобно любить. Многие любители пастушеской жизни повествуют в стихах и прозе, что весна есть самое удобное, самое природное время любви. Может быть, это и правда вообще, но порознь — нет! Кто каждое утро до рассвета должен оставить деревянное ложе свое, собрать блеющих и мычащих собеседников наступающего дня, в течение которого должен внимательно смотреть за ними, оберегать от волков и следствий собственной ревности, тому по возвращении домой ничто на ум нейдет, кроме насыщения и сна. Но зимою — совсем иначе!

Гаркуша из всех девушек в селении привязался к дочери ткача Марине; не потому, что она была недурна собою и достаточная невеста, — но потому, что была невеста Карпа, племян-

ника старосты. Опять ввязалось проклятое мщение, ибо Гаркуша никак не мог забыть что сей племянник обидою, сделанною ему в церкви, был первою причиною настоящего его несчастья.

Марина была девушка сметливая. Она не хотела отказаться от неуклюжего Карпа, поелику он был богат; но также уклониться от статного, сильного Гаркуши казалось ей неразборчивостью. Да и для чего умная хозяйка не может иметь необходимого в доме своем запаса?

Дело пошло на лад. Взоры Гаркуши были красноречивы, слова сладки, а уверения так обольстительны, что Марина недолго колебалась. Он сулил ей золотые горы и представлял картину счастливой любви, сопровождаемой спокойствием и довольством, так красноречиво, что в один из тех часов, в которые и строгие отшельники, чтобы удобнее противиться бесовскому наваждению, должны смотреть на сухой остов, есть один хлеб и запивать водою, — что в один из роковых часов Марина, не имевшая и понятия об остовах и диете, не могла воспротивиться приманчивому демону плоти и отвергла пламенному Гаркуше все, что только могла отверзть ему. Молчаливый овин был торжественным храмом любви, и куча мягкой соломы жертвенником, где принесла она сей богине первую жертву.

Где есть начало, там по обыкновенному ходу природы должны быть продолжение и конец. Начало сделано под благотворным звезд влиянием, продолжение шло наилучшим образом, а конец был — самый обыкновенный. Из сего небольшого предисловия всяк догадается, что посещения овина были не бесплодны, и Марина через несколько недель с плачем повестила своего любезного, что носит уже под сердцем молодого Гаркушу, между тем как свадьба назначена в первый воскресный день.

— Чего ж тут плакать? — воззвал Гаркуша. — Ты таки и выходи с богом!

— Ах, муж мой тотчас обо всем догадается!

— Да, он сметливый парень!

— Он меня будет бить!

— А я его побью, и за каждую пощечину получит добрую поволочку.

— Но что из того будет?

— Что всегда бывает! Кто охоч бить других, тот и сам должен готовиться быть битым!

— Он спросит об имени моего любовника.

— От тебя будет зависеть объявить о том или умолчать!

После сего разговора и некоторых взаимных утешений любовники положили до окончания свадьбы оставить овин, дабы в остальное время невеста могла сколько-нибудь исправить беспорядок.

Шила в мешке не утаишь

Гаркуша употребил всю свою политику, дабы Карп пригласил его на свадьбу в числе бояр,¹ на что сей более склонился, зная удаливость его в игре и пляске. Праздничный день настал и кончился. Жених и невеста — стали мужем и женою, и пир поднялся огромный. Большая половина лучших людей из селения тут присутствовали. Гаркуша играл на гудке, как второй Орфей, и вероятно искуснее фракийского, и плясал запорожские пляски. К полуночи, когда мед, пиво и вино опеломили собеседников и собеседниц, то последние отвели молодую в опчивальню, раздели и уложили в постель; после чего молодой своею собратиею тоже разоблачился, и одни гости воротились продолжать торжество. С четверть часа продолжалось в хранине новобрачных глубокое молчание, как вдруг раздался пронзительный крик, вопль, плач и глухой гул от наносимых полновесных ударов. Гости и гостьи опрометью бросились к дверям и стали прислушиваться; а Гаркуша, видя, что в случае неустойчивости Марины будет ему беда неминуемая, укрался на двор и пустился бежать — без сомнения домой, чтобы обдумать следствия своего поступка и поискать способов выплестись из опасности? Совсем не то! В Малороссии — да, думаю, и во многих местах нашей империи — есть поверье, что отец и мать молодой не участвуют в свадебном пире. Они сидят запершись в своем доме, читают молитвы и ждут, как страшного суда, извещения от зятя или его домашних, какою найдена дочь их. Если в надлежащем порядке, то они дарят вестника, или и двух, щедро потчевают и в радости сердца дожидаются утра; ибо лишь молодые встанут и явятся обществу, то вся ватага идет с торжеством к отцу невесты — и пир снова поднимается. По сему-то обычаю почтенный ткач с супругою и ближними родственниками сидели в своей хате в глубоком молчании. При малейшем шуме они прислушались, не идет ли желанный вестник. Немного за полночь послышался сильный стук у дверей; все вздрогнули и вскочили. Ткач перекрестился, отпер двери, и Гаркуша явился с величавым видом. После обыкновенных приветствий он сказал ткачу с улыбкою:

— Хозяин! Если ты хорошенько попотчешь гостя, то он скажет тебе весть, за которую очень благодарен будешь.

Обрадованный хозяин бросился в другую горницу и вынес оттуда новую шапку. Он подарил ее Гаркуше, а хозяйка поднесла кубок наливки.

¹ Боярин у малороссиян есть холостой детина, жениха приятель, сопровождающий его во время свадебных обрядов.

— Добрые люди, — сказал Гаркуша, — если вы любите дочь свою Марину, то не теряя времени — пображничайте и после можно — спешите к ней на помощь; иначе злодей муж с родством своим убьют ее до смерти! Тогда будете плакать, да поздно!

Окаменелые родители и родственники неподвижными глазами смотрели друг на друга, а Гаркуша, вышед из дому, пустился своею дорогою, не могши нарадоваться успехом своего мщения. Ему и очень жаль было Марины, но он в оправдание свое говорил: «Нет, ничего! Хоть ее и побьют, но дело пойдет своим чередом. Она скоро забудет побои и утешится; но проклятый Карп всякий раз, взглянув на первое дитя жены своей, вспомнит Гаркушу, и кусок хлеба выпадет у него изо рта».

Рано поутру посетил его приятель, дастух Фома, бывший также на свадьбе, и поведал следующее:

— Гости, потеряв терпение дожидаться окончания побранки между молодыми, выломали двери в опочивальне и все туда ринулись. Они увидели бедную молодую, растянувшуюся на полу, и мужа ее, не падающего над нею ни рук, ни ног своих. Увидя гостей, он остановился ратовать, дабы перевести дух; после обстоятельно рассказал о своем несчастье и в доказательство сего представил лоскутья от жениной рубахи.

— Она же, — возопил он, — не хочет открыть и имени моего злодея.

• Гости и гостьи подняли ужасный крик, а оттого и не слышали, как вошла другая толпа на двор, а там и в горницу. Мы не прежде опомнились, как услышали позади себя так же вопль, оглянулись и ахнули. То был свирепый ткач со своими провожатыми. Первый он поднял дубинку и поразил зятя по макушке, от чего тот растянулся подле своей супружницы. Тут последовало всеобщее поражение. Матери молодого и молодой, не теряя времени на пустое болтанье, дали одна другой по доброй пощечине и вцепились в волосы, отцы тому подражали, а мы все — их примеру. Волосы трещали, чубы сделались кармазинного цвета, из глаз текли слезы, а из носов кровь. Бог весть, чем бы это кончилось, если бы премудрый дьяк Яков Лысый не уговорил их речь, какой я отроду не слыхивал. Он из писания доказал, что дело уже сделано и пособить нечем, кроме как сохранием ненарушимой тайны: причем заметил, что дабы обеспечить тайну сию надежным залогом, то родители молодой обязаны дать двойное приданое ее мужу и одарить всех гостей, которые поклянутся не выносить из избы сору. Марина же с своей стороны, дабы доставить мужу случай отмстить за обиду, должна объявить имя своего обольстителя.

Все одобрили спасительный совет Якова Лысого. Муж первый подал согласие, там сваты и сватьи, а наконец и прочие. Одна молодая долго хранила упорное молчание. Ропот опять начал подниматься, и молодой заблагорассудил было нагнуться, дабы опять вцепиться в косы, как ткач, остановив его, сказал:

— Не трудись, дорогой зять! Если сия негодница не скажет нам правды, то я первый оциплю у нее до последнего волосы.

После сего приступили к ней все: кто с угрозами, кто с ласковыми обещаниями, и — она сдалась. Когда дрожащими губами произнесла она имя Гаркуши, то у всех остатки волос стали дыбом. Муж побледнел, отцы побагровели, все пришли в такое исступление, как будто бы объявила она, что имела любовную связь с крокодилом или Змеем Горынычем.

— Ах он, проклятый! — вскричали и гости и ховяева изво всей силы.

— Возможно ли? — вопил пан дьяк, ударив себя по лысине. — Злодей лишил меня целой голубятни, а тут еще влее напраказил!

Староста, подняв руки вверх, воззвал:

— Не будь я староста, если при первом рекрутском наборе не упеку разбойника!

Словом: ни одного мужчины и ни одной женщины не было, которые бы не предали тебя проклятию; но сколько я мог заметить, то сие было действием зависти. Каждый мужчина, смотря на Марину, досадовал, для чего не он избран был ею к разрешению уз девства, и каждая из женщин помышляла: для чего не я была на месте Марины?

Мало-помалу все успокоилось. Молодых снова уложили, а сами принялись за веселье, которое и продолжалось до сих пор; теперь же все ринулись на двор ткача продолжать пир и получать подарки; а я бросился к тебе объявить по дружбе все виданное и слышанное. Прощай!

ГЛАВА 5

Наказанная оплошность

Гаркуша, оставшись один, вместо того чтобы подумать об опасностях, ему угрожающих, не мог нарадоваться мыслью сделаться когда-либо воином. Это состояние нравилось ему преимущественно, но не было никакого способа достичь предмета своих желаний. До сих пор он вел себя так, что помещик его пан Кремень не имел на него никаких жалоб.

Прошел месяц и более после замужества Марины. Начала появляться весна с ее заботами. Нетерпеливый Гаркуша каждую ночь поджидал свою любезную в овине, но тщетно. Хотя связь сию начал он из шалости, но после — сила привычки и время от времени возрастающее чрево Марины поселили в сердце его какую-то нежность и непреодолимое желание обладать ею — если не исключительно, по крайней мере пополам с другим. В церкви, на базаре, где только мог встретиться с прелестницею, делал ей прежние условные знаки глазами и руками — все напрасно! Марина худо на него и глядела. Она или боялась мужа, или нашла в нем нечто такое, чего не имел любовник; как бы то ни было, Гаркуша лишился ее благосклонности и, заметив то обстоятельно, решился, — злой дух опять поймал его в свои сети, — решился отомстить за мнимую сию обиду.

В свободное время, ходя по улицам, по базару или сидя в шинке жиды, повествовал он всякому любопытному и нелюбопытному, что он не только был доступным любовником Марины во время ее девичества, но что она и матерью будет его дитяти, а не Карпова.

Таковые речи недолго кроются в народе. Они скоро достигли мужнина слуха и жестоко оный возмутили. Снова пристал он к жене с допросами, но храбро был встречен противоречием, ругательством и другими женскими орудиями, употребляемыми с немалою пользою в подобных случаях. Карпу и всему родству ничего более не оставалось, как терпеливо дожидаться времени родин. Мир опять водворился в семействе — но надолго ли? И великие люди на некоторых пунктах делают важные ошибки, то пастуху ли Гаркуше остеречься на всяком случае? В одну из ночей, проведенных им в объятиях Марины в скромном овине, он вздумал усилить любовь ее к себе, рассказав подробно удалства свои и хитрые замыслы. При сем случае главное место занимало истребление голубятни и сада дьякова. Мог ли он подумать, что такое хвастовство будет для него гибельно?

В надлежащее время Марина — после семимесячного супружества — благополучно родила здорового мальчика, который, как говорится, был вылитый Гаркуша. Что теперь делать бедной матери, что делать оторопелому мужу, что делать всем родственникам и знакомым? Все чесались в затылках, вздыхали и не знали, за что приняться. Побоями тут уже ничего не сделаешь; одно средство, которым несколько можно поправить порчу, — есть отмщение обидчику. Но как к нему приступить? Преждевременные роды и сходство лица дитяти с лицом Гаркуши для него ничего не значат. Мало ли что бывает на свете.

Марина — как сказано выше — была женщина сметливая, что в просторечии значит то же, что в дворянском слоге изобразится словом: была женщина политик. Она вдруг нашла способ отвратить от себя наступающую бурю и отместить Гаркуше за его злодейскую нескромность. По ее зову собираются к ложу роженицы муж, отец, свекор, свекровь и все ближние. Сим-то, пылающим мщением, открывает она, что если хотят достойно покарать своего обидчика, то она знает к тому вернейший способ. Тут объясняет, что истребивший голубятню и сад у дьяка Якова есть один и тот же Гаркуша, и сие она готова утвердить в суде под присягою. Слышавшие сие несказанно обрадовались. Тотчас послали за Яковом Лысым, и когда он предстал к сонмищу, Марина и ему то же поведала. Дьяк несколько времени пребыл в великом недоумении, а после, ухватя себя за уши, вскричал:

— Дозволю последнему цыгану оторвать оба уха с корнем, если примерно не отщипу проклятому разбойнику Гаркуше. Возможно ли? Голубятня истреблена, сад попорчен, Марина — и того более!

Посланные десятские схватили ничего не знавшего о том подвижника и в мирской избе приковали к столбу, расположившись на другой день произвести суд нелицемерный.

Месяц июль блистал во всем блеске своем. Тщетно бродящие кучи баранов и овец, козлов и коз с ранним утром ожидали своего пастыря, который бы проводил их на пажить. Гаркуша с унынием сердца смотрел в открытое окно на прежних своих собеседников и — стонал; не о том, что он прикован, что постылся около суток, но что некоторое неба или ада вдохновенье — он не мог постигнуть того отдельно — говорило в душе его, что скоро, очень скоро он должен будет представить из себя нечто большее, нежели пастуха Гаркушу. Думаю, что никто не постигает в самом начале следствий первых своих ощущений; и тогда познает их сколько-нибудь основательно, когда на пути его представится огромная скала, запрещающая идти сим путем далее. Он должен или воротиться назад — путем обыкновенным; или карабкаться на гору — путем трудным, опасным, необыкновенным, который должен быть для него источником счастья или злополучия. Гаркуша решился лезть на гору, хотя точно почувствовал, что рано или поздно должен оборваться и низринуться в пропасть.

Мирские судьи собрались. Староста, занявший место председателя, открыл присутствие красивою речью, сочиненною дьяком Яковом Лысым.

Гаркуша слушал против себя обвинение совершенно спокойно, подобаясь человеку, которого приговор к казни уже подписан. Когда заседание кончилось тем, что тяжесть пре-

ступления не может быть достойно наказана определением мира¹ и должно все дело представить на благоусмотрение помещика пана Кремня, дабы он по своей власти назначил казнь, достойную заслугам, тогда отковали Гаркушу и торжественно повели ко двору панскому, стоявшему на выгопе.

ГЛАВА 6

Примерный помещик

Хотя нам до пана Кремня нет теперь особенной надобности, но как он образом жизни своей имел непосредственное влияние на судьбу Гаркуши, то надобно и об нем сказать несколько поивственнее. Это был помещик селения, случайно вышедший, как говорится, в люди из толпы тех, кои сделались теперь его рабами. Этот Кремень, по обычаю всех нищих, сделавшихся богачами, был низок пред высшими его, зато пред своими несчастными подданными злодей, коему подобного вся тамошняя округа не видала. Он был вол, корыстолюбив, мстителен и дерзок до излишества. Не полагаясь на верность крестьян своих, он основал жилище вне селения подле густого леса, обнес его высоким забором, верх которого обшил терновыми снопами. В число служителей его собраны были развратнейшие мужчины и распутнейшие девки. Слугами управлял бесчестный сын его Иван, повор человечества, а служанками — Авдотья, дочь его, до такой степени безбожная, что, будучи двадцати пяти лет, превзошла в мерзостях самых опытных римлянок второго и третьего века. Старший сын сего пана был урожденный дурак, а меньшой очень еще молод и только начинал кое в чем подражать брату Ивану. Из сего всякий видит, что дом пана Кремня был Содом, давно достойный пожерт быть пламенем и земным и небесным.

К сему-то могущему пану представлен был на суд несчастный Гаркуша. Пан Кремень сидел на уступах крыльца в китайчатом халате и курил трубку. Толпа крестьян, держа посередине своего связня, окружила властелина. Яков Лысый, как обиженная особа, красноречиво и подноготно рассказав все злодеяния Гаркуши, свое разорение и требовал наказания и удовлетворения. Староста, десятские и выборные велегласно вопияли, что не могут ужиться с таким злодеем и развратником, а потому он, яко пан их, приложил бы попечение избавить достояние свое от губителя. Пан Кремень, внимательно выслу-

¹ Решением мирской сходки.

шав обвинения, повелел замолчать. Долго осматривал Гаркушу с ног до головы и, видя его совершенно спокойным, спросил протяжно:

— Правда ли, что на тебя сии доносят?

— Правда!

Пан Кремень приведен был в удивление такою искренностью; ибо ни один обвиняемый так скоро не признавался в вине своей. Тогда он, нахмурия брови, сказал к собравшемуся народу:

— Приходите сюда завтра об эту пору. Я подумаю о способах удовлетворить вашим требованиям; а между тем Гаркуша останется в доме моем под здешним надзором!

Просители, хотя и неохотно, удалились. Пан Кремень, оставшись наедине с Гаркушей, спросил:

— Чего достоин ты по собственному рассуждению?

Г а р к у ш а. Особенной от тебя награды! Я о делах твоих столько наслышался, что решился хотя несколько тебе уподобиться. Подобно тебе, не терплю я обид и готов мстить, сколько окажется во мне силы. Дьяк Яков Лысый и племянник старосты Карп меня чувствительно обидели: я отместил и тем с ними расквитался.

П а н К р е м е н ь (*про себя*). Этот молодец по моему вкусу: он имеет дух благородный! (*Вслух.*) Но если ты и подлинно столько храбр на деле, как на словах, то чувствуешь ли себя способным произвести что-нибудь поважнее, нежели пускать кошек в голубятни, подпиливать деревья и беременить девок?

Г а р к у ш а. На все готов отважиться, если только совесть заирать не будет!

П а н К р е м е н ь. А что разумеешь ты под словом совесть?

Г а р к у ш а. Чувство, что я мщу за обиду, а не сам обижаю, накликаюсь на мщение.

П а н К р е м е н ь. Хорошо! Я сегодня же доставлю тебе случай быть мстителем, и за меня. Хотя я самовластный властелин твой и могу располагать тобою по своей воле, но я хочу, чтобы мне повиновались добродушно, а не по принуждению. Если ты поручение мое исполнишь с честью, то не только свободен будешь от всякого наказания, но еще приобретешь мою особенную доверенность. Выслушай, в чем состоит дело. Верстах в десяти отсюда есть селение, принадлежащее пану Балтазару. Этот помещик из немцев. Владения наши река Псел разделяет. Лет пять тому назад стая гусей его и уток заплыла на мою воду, и — не справедливо ли поступил я, велевши загнать их в мой сарай? Дерзкий Балтазар озлобился, нашел случай и из стада моего отбил десять овец с двумя баранами. Долго будет говорить

о всех его нападках, в коих оказывал противу меня свою злобу, и простер ее до того, что, дабы подорвать мои доходы, он на реке Пселе устроил выше моей мельницы о четырех колах свою о двенадцати. Понимаешь ли всю важность обиды? Итак, я на отважность твою возлагаю достойное отмщение. При наступлении ночи, взяв человек шесть из дворовых людей моих, отправившись ты к мельнице обидчика и раскопаешь плотину в удобном месте, дабы и следа обеих не осталось. Мое дело будет вооружить всех вас достаточно.

Гаркуша с восторгом принял предложение и клялся, что произведет мщение в действо, хотя бы по сту чертей оберегало каждый кол и хотя бы мельник был крестным сыном водяного дедушки.

Начало смеркаться. Пан Кремень поднес Гаркуше и шести выбранным головорезам по стакану водки и, вручив по сабле и по паре пистолетов, отпустил с благословением, увещевая как можно стараться, чтоб никто не проведал о их предприятии, ни даже из жителей своего селения. Они, запасшись сверх оружия ломами, заступами и топорами, отправились на свой подвиг.

В первый раз в жизни Гаркуша увидел себя из предводителя быков, козлов и баранов предводителем людей. Гибельное чувство властолюбия, подобно электрической искре, потрясло в основании душу его. Кровь закипела в жилах, глаза запылали. Я уверен, что и Александр Македонский не с большим самонадеянием оставлял свои пределы, дабы вторгнуться в персидские. К несчастью, сие чувство, поселяясь единожды в душе человека, редко его оставляет и почти всегда сопровождает до самой могилы. Если бы Гаркуша был в числе бродяг, прибывших первоначально в новооткрытую Америку, то едва ли бы уступил, если не перещеголял еще знаменитых разбойников Кортеса и Пизарра.

ГЛАВА 7

Первое удаьство

Около полуночи остановился Гаркуша на берегу реки. Мельница Балтазарова была уже в виду. Тут по приказанию его все сопутники натерли лица и руки принесенною сажею, пришли в приличных местах к платью бычачьи хвосты и отправились на промысел. Все было тихо, везде покойно. Они перешли плотину до половины и главный запор вынули. Вода, будучи доселе наравне с берегами, хлынула с ужасным стремлением.

Колеса, жернова, все задвигалось, затрещало, все пошло вверх дном. Устрашенный мельник, выскочив на плотину, крестился и читал громогласно молитвы для прогнания демонов, ломающих мельницы. В то время Гаркуша с товарищами стояла уже на своем берегу реки, радуясь первой удаче и разрывая весьма усердно плотину, что, так сказать, в один миг и исполнили.

На сей неслыханный шум и треск несколько крестьян, привезших по вечеру хлеб для помолу и спавших в ближнем перемехе, прибежали к берегу и, видя там более полдюжины дьяволов, окаменели от ужаса. Гаркуша спросил их охриплым, сиповатым голосом: что они за твари, что в такое время и в таком месте, которое искони принадлежит собственно ему с товарищами, осмелились предстать пред ними? Бедные крестьяне, собравшись с духом, бросились от них опроретью вдоль берега, прося помощи у всех святых. Гаркуша для наведения на них большего страха погнался с товарищами вслед за ними, крича, свистя, каркая, блея и лая. И самый несусеверный крестьянин пришел бы в трепет от такой адской музыки. Скоро увидели они подле набережных кустарников несколько телег, накладенных хлебом, и стреноженных лошадей, вблизи пасущихся. Гений Гаркуши воспламеняется. Он приказывает трем товарищам продолжать погоню с прежними завываниями по крайней мере на версту и после как можно поспешнее возвратиться; а сам между тем с другими тремя бросились к лошадям, переловили, впрягли и ожидали возвращения прочих. А чтобы удостовериться более, что дело сие не есть человеческое, они с каждого воза сняли по мешку, разрубили их на части и на довольное пространство рассеяли рожь и пшеницу, лоскутья мешков бросили у берега, а несколько в воду. Также у лошадей подстригли несколько хвостов и грив и с частями сих украшений то же сделали. Преследователи, возвратясь, донесли, что они загнали беглецов в тростники, буераки и трущобы, откуда, вероятно, до рассвета они не вылезут. После сего, севши на телеги, спокойно отправились окольной дорогою к дому своего пана.

Что касается до представления из себя водяных чертей, то это был обдуманый план Гаркуши; но поступок с крестьянами, о которых он нимало и не думал, должно приписать творческой силе воображения, присутствию духа и дерзости. Чего можно ожидать от теперешнего новичка Гаркуши, когда он делается настоящим искусником в своем деле?

На рассвете дня витязи ввалились на задний двор панский. Пан Кремень, яко деятельный человек, редко просыпал зарю утреннюю. Узнав о прибытии исполнителей справедливой воли его, он поспешил на гумно. Увидя их в таком наряде, он немало подивился. Но когда Гаркуша с жаром и красноречием

рассказал по порядку происшествие и указал на четыре воза с хлебом и на стольких же коней, то пан Кремень так восхитился, что едва удержался, чтобы не обнять изобретателя сей новости. Он обещал им вскорости прислать сытный завтрак и позволил спать до самого вечера, в которое время явиться для принятия дальнейших приказаний. Уходя в свою комнату, он произнес со вздохом:

— Жаль, что такой храбрый и расторопный малый не дворянин! Хотя бы он был беднейший из наших шляхтичей, я не усомнился бы выдать за него дочь мою Авдотью. Чего бы не наделал я с таким зятем?

ГЛАВА 8

Правосудие

Вскорости бдительный дьяк Яков Лысый со вчерашнею сволочью явился во дворе панском, представлен пред судию грозного, произнес вчерашнюю речь и по-вчерашнему требовал правосудия и удовлетворения.

— Это дело, — отвечал пан, — рассмотрел я подробно, вошел во все обстоятельства и считаю Гаркушу не столько виновным, как вы показываете, а напротив, еще обиженным, и удивляюсь, что он не требует от меня должного над вами правосудия. *Во-первых:* ты, бездельник Карп, толкнул Гаркушу в церкви. Знаешь ли, какой это тяжкий грех? Вместо того чтобы смиренно просить извинения, ты начал невежничать и браниться. Ты же, корыстолюбивый дьяк Яков Лысый, вместо того чтобы по долгу своему вывести из храма зачинщика брани Карпа, ты вывел невинного Гаркушу? Знаешь ли, что сказано в писании? Не взирайте на лица богатых и бедных не обидите! *Во-вторых:* все вы знаете, что и маленький щенок огрызается, когда его дерут за ухо, а большой кобель и укусит. Как же можно было Гаркуше не отомстить за себя в обиде, всенародно ему нанесенной? Видите все, что дьяк Яков Лысый сам был причиною опустошения своей голубятни. *В-третьих:* Карп, видя таковое похвальное дело Гаркуши, вместо того чтобы сохранить должное молчание и радоваться, что не ему отпустили, донес о том по начальству, и Гаркуша был наказан вдвойне, телесно и душевно, ибо умные люди считают деньги другою душою в человеке. Судите сами, справедливо ли это? *В-четвертых:* Гаркуша разрешил узы девства у невесты Карповой! Это похвально! Истинная экономия требует, чтобы не запускать долгов, ибо они пропасть могут, и так они только расквитались. Но дьяк Яков

Лысый оставался еще в долгу, и довольно важным. Гаркуша подпиллил деревья в саду его; сего требовала строгая справедливость. Ведь чего-нибудь стоят спина Гаркуши и рубль денег! Вы теперь все квиты, и я строго запрещаю — под опасением моего гнева и моих арапников — возобновлять вражды и неустойства. Я думаю, что и сам царь Соломон не иначе рассудил бы это дело.

Произнесши слова сии с величайшею важностью, он вышел. Долго просители стояли безгласны, смотря друг на друга и не веря своему слуху. Наконец, утерши пот, в который их бросило, и почесавши затылки, побрели они с панского двора повеся головы. К пущему их бешенству Гаркуша в самый полдень, имея *бриль* набекрень, разгуливал по селению, попевал весело и громко посвистывал.

Перенесемся теперь в село Балтазарово. С великим недоумением слушал он повесть мельника о ночном ратоборстве ночных дьяволов с его мельницею. Прочие крестьяне с плачем то же подтверждали, доказывая, что те же злые духи поели их лошадей, хлеб и самые телеги, что видеть можно было из огрызков.

По довольном обдумывании пан произнес со вздохом:

— Неужели я в целой здешней округе грешнее всех дворян, что нечистая сила на меня одного обрушилась? Хотя я и не смею назваться праведником, ибо это дело закрытое, однако могу по сущей справедливости сказать, что сосед мой Авраамий Кремень грешнее всякого грешника! О тезоименитый мне угодник! Какой луч разума поразил меня прямо по лбу? Не от злобы ли сего заклятого я терплю новые пакости? Так! И сомневаться нечего! Много ли, по-вашему, было нечистой силы?

— Тьма-тьмушая! Целый берег наполнен был — с нами крестная сила! Какие же страшные! Черны, как сажа, а хвосты — о господи — совершенно бычачьи!

Пан Балтазар вторично задумался, и как он был от природы более молчаливого, нежели болтливое свойства, то не менее как через четверть часа произнес следующее:

— Готов побожиться, что страх удвоил или утроил всякий предмет в глазах ваших. Чтобы нам узнать настоящую истину, приказываю тебе, мельник, и всем вам, обиженным, запасшись на три дня кормом, тихомолком итти в лес, окружающий вертеп пана Авраамия, и как можно внимательнее примечать, не перенесли ли туда дьяволы чего-нибудь от хлеба, телег и лошадей ваших? Если предвещание мое сбудется, то уверяю вас панскою честью, что все мы не останемся без отмщения!

Не так вышло, как думалось

Два дня прошли, и подданные пана Балтазара, сидя в трущобе недалеко от дома пана Аврамия, ели, пили, спали и, проснувшись, недоумевали, почему они ничего особенного не видят? Мельник, будучи по обыкновению догадливее прочих, с важностью заметил, что, повидимому, они вместо трех назначенных дней просидят и три месяца, если волк или медведь не заманят туда охотников, и что, не вышедши на свет, они в потемках ничего не увидят. Таковое замечание принято было с должным уважением, и наши лазутчики, оставя на своем логовище одного с ружьем для охранения припасов от зверей и хищных птиц, пошли украдкой к выходу из лесу. Едва они высунули носы из-за деревьев, как невдалеке увидели кучу верховых и стаю собак. Мгновенно прилегли они в кустарнике, в надежде, что охотники скоро проедут. Когда те приблизились на такое расстояние, что можно было отдельно различать предметы, то пораженные соглядатаи узнали страшного пана Кременя, окруженного псарями, и под некоторыми из последних — своих коней. Хотя хвосты и гривы были у них пристрижены, однако бедняки не могли ошибиться в прежних своих сотрудниках. Они бы подняли сильный вопль, а может быть, и целое сражение, если бы то был не всеужасный пан Кремень с своими витязями, коих считали могущественнее чертей, а особенно когда ими *сам* предводительствовал, — так обыкновенно они изъяснялись, говоря о пане Аврамии, который славился удалее самого Вельзевула. Посему удвоившись тяжким вздохом; мельник дал знак, и все, прилегиши ниц, притаили дыхание. Таковая мудрая предосторожность не послужила им на сию пору в пользу. Резвые собаки, играя по сторонам дороги, нашли лазутчиков и подняли страшный лай и вой. Вдруг охота остановилась, и пан Кремень, взводя курок, сказал:

— Ребята! Будьте осторожны! Может быть, дикий зверь! Какое же счастье!

Однако, сколько собаки ни приставали, дичина не являлась, пока одна из них не укусила мельника в ногу. «Чип!»¹ — заревел сей, и пан Кремень вскричал:

— Разбойники! Смотрите, чтоб не ушел ни один!

Витязи окружили кустарник и только лишь хотели спешиться, как притаившиеся, видя, что молчанием не отбоярятся, встали, распрямились, сделали земной поклон пану и только разинули рты, чтобы промолвить слово, другое, как грозный Авраамий воззвал:

¹ То же, что цып.

— Свяжите бездельников; впредь воровать не станут! Пленники были скручены и с торжеством ведены на задний двор панский, где обыкновенно производились дела, требующие особой тайности. Тут-то пан Кремень, окруженный толпой псарей, воссел на ячменный сноп и голосом Пилата спросил:

— Где же вы разбойничали? Много ли у вас товарищей? Сколько накраденных денег и вещей? Где все то хранится? Где и кто атаман ваш?

— Высокомочный пан! — отвечал мельник с трепетом. — Мы не разбойники, а подданные пана Балтазара. После того как я, мельник, донес ему о разорении мельницы и пропаже хлеба и коней сих бедняков, что все мы приписывали — ибо мы православные — злобе водяных бесов, пан нас разуверил, приписывая всю пакость сию тебе, и приказал подстеречь, не окажется ли чего из пропавших животов у тебя. Он пророчил правду. Этот гнедой мерин точно принадлежит вот этому Кузьме; эта негая кобыла — этому Фоме; этот буренький...

— Бездельник! — вскричал пан Кремень с гневом. — Как смеешь ты передо мною сплетать такую ложь? Все ли вы здесь?

— Нет! — отвечал уstraшенный мельник. — Там, в лесу, стережет наши дорожные кисы товарищ Демьян.

— Приведите и его сюда со всем разбойничьим снарядам, какой при нем сыщете!

Четверо псарей, провожаемые одним из пленных, отправились в лес, а между тем Авраамий приказал всех остальных обыскать старательно. Чего искать? На каждом из них было по рубаше, портах, постолах и гаману с тютюном.¹ Пан Кремень и сам очень знал, что более ничего не сыщет, но он был великий политик и ни одного случая не опускал, где бы можно было извлечь свою пользу! Скоро привели оберегателя лесной трущобы и принесли ружье, нож, кису со съестным запасом и мешок с верхним платьем.

— Ба, ба! — вскричал пан Кремень. — Видно, вы не на короткое время расположились разбойничать в моих местностях? Какое же ружье! Словно добрая пушка! А нож! Настоящий палаш!

Тут началось следствие по форме. Узники чистосердечно поведали все, что знали. Авраамий, выслушав их с притворно недоверчивым видом, сказал, оборотясь к псарям:

— Как бы нам добратся правды?

— Если рабу твоему дозволено будет промолвить слово, — отвечал Гаркуша с низким поклоном, — то я надеюсь скоро узнать правду с некоторою прибылью. Вели мне и человекам пяти из псарей отправиться к границам владения Балтазарова. Мы

¹ Гаман — кожаная сумка, в коей хранится табак, трут и огниво.

возьмем с собою мельника, а прочие останутся здесь вместо закладу. Сии добрые люди пусть поручат ему взять со двора каждого должный выкуп. У кого не сыщется пяти рублей денег, тому дозволено будет выставить дородного бычка или бодрую лошадку, кто что имеет лишнего. Впрочем, мельник должен ве-дать, что если хотя малейше изменит нам, то со всем имуществом его поступлено будет хуже, чем с мельницами пана Балтазара, и товарищи его околеют в хлебных ямах. ¹

Пан Кремень милостиво одобрил представление нового любимца; пленные с охотою согласились пожертвовать частью своего имущества за искупление свободы, мельник с своими провожатыми отправился в путь, а прочие, по обыкновению, заперты в овин.

ГЛАВА 10

Другая ошибка

Когда сии пешеходы достигли берега реки, прямо против селения Балтазарова, мельник оставил их, подтвердив клятвенно в самой скорости воротиться с выкупом; а наши собиратели пошли и полегли в кустарнике. Солнце начало клониться к своему закату, а мельника нет; оно совсем склонилось, а мельника нет как нет! Витязи наши начали беспокоиться, а Гаркуша сильно досадовал, что оплошал и не запасся орудием в случае нужной обороны. Уйти так, с пустыми руками, значило подвигнуть пана на праведный гнев и сделаться посмешищем целого двора его, а особливо быв до сего времени предметом общего уважения за первый подвиг, сделавшийся всем известным. Месяц показывал уже время около полуночи, а в лесу и перелесках, на воде и на поле все тихо, все спокойно. Один долгоногий бусел ² ревел в болоте. Тут послышался разговор невдалеке, там ближе и ближе, а вскоре предстал пред ними и мельник в сопровождении молодого парня, обремененного ношею.

— Не взыщите, молодцы, — сказал мельник, — что я против воли заставил вас прождать лишний час времени. Теперь был день рабочий: кто в поле, кто в лугу, кто на огороде. В самые сумерки собрались миряне. Пока уговорил одного, другого, ан и ночь на дворе. Однако, думаю, будете мною довольны. Вместо того чтобы затруднять себя, как предполагал ты, Гаркуша,

¹ В Малороссии за недостатком леса к построению амбаров для сохранения разного рода хлебных семян вырывают в земле просторные ямы, обшивают соломкою и обмазывают глиною.

² Бусел — род цапли.

быками и лошадьми, я умел собрать надлежащий выкуп деньгами, которые весьма уютно лежат теперь у меня за паузой. А как вы постились немало времени, то сын мой принес с собою кое-чего, чем можем позабавиться и после отдохнуть до зари, а там с божиею помощью пустимся в дорогу и, верно, прибудем в ваше селение прежде, нежели пан Кремень откроет глаза свои.

С общею радостью принято было сие предложение, все уселись кружком, и мельник, растянув кису, вытряхнул на траву множество всякой всячины. Все прельстились услужливостью угостителя и принялись за работу с такою ревностью, что около получаса общее молчание нарушаемо было только чавканьем и клокотаньем. Тут начались балясы, острые поговорки и молодецкие замыслы.

— Мне слышится, как будто что-то шумит в лесу, — сказал Гаркуша, прислушиваясь.

— И мне тоже, — подхватил его товарищ.

— Чему быть об эту пору? — возразил хладнокровно мельник. — Разве заблудившийся баран или овца! Однако я посмотрю! — С этими словами он встал и пошел прямо на шум, который становился ближе, ближе, а через минуту Гаркуша и его сподвижники увидели себя окруженными целою толпою народа, и притом вооруженного. Мудрено ли, что десятка два мужчин, обдумавших заранее свое дело, без малейшего труда связали шестерых гуляк, ничего не опасавшихся. Всем им скрутили назад руки и, опутав одною веревкою, привязали к иве; сами развели огонек, начали продолжать пир и в глаза насмехаться бедным узникам.

— Неужели, глупые, — возгласил мельник, величавшийся беспримерным удальством своим, — неужели вы думали, что я променяю добро своего пана, даром, что он немец, на вашего бездельника, душегубца? Как же я рад! О беззаконники! Приняли вид богопротивных чертей, разломали мельницу, увели скотину с хлебом. О, это даром не пройдет вам, иначе — последует преставление света!

Рано поутру узники представлены пред пана Балтазара, и красноглаголивый мельник подробно донес о всех обстоятельствах и о всей замысловатости, коею полонил таких разбойников, которые не устрашились представить из себя дьяволов. Пан, поглядев себя по брюху и распахнувши халат, достойно похвалил удальство мельника и, обратясь к узникам, спросил:

— Как осмелились вы, послушавшись своего пана злодея, пуститься на такое богопротивное дело, которое, быв исследовано правительством, должно быть очищено не менее, как кровью и вечною ссылкой?

Ответчики молчали. Иной бледнел, другой трясся, и сам Гаркуша стоял в безмолвии. Но не надобно забыть, что в ту ужасную

пору, когда в глазах всех пленных едва мерцал свет угасающего угля, взоры Гаркуши издавали тусклый блеск зажженного молнией дуба. Пан осматривал их долго и каждого порознь и улыбался, видя их робость, заключая из того, что он человек немаловажный. После сего, подумав несколько, произнес протяжно:

— Теперь докажу вам, мои подданные, что я настоящий немец, следственно благограумен и миролюбив! Этого (указывая пальцем на Гаркушу и его советелей), и этого, и этого, и этого — посадите в гумно и заключите там до утра, не давая ни есть, ни пить; сей час исполните мое повеление!

Оно было исполнено частью слуг его в ту же минуту, и храбрую дружину повели в гумно, заперли и приставили кустодию, из старого хромого десятского состоящую, который и начал ковылять взад и вперед около дверей.

В половине дня по панскому приказу представлен был из гумна один пленник по имени Охрим. Балтазар воззвал:

— Ты ступай к своему пану и скажи, что если он хочет избавиться моего мщения, и мщения примерного, — ибо я сам примерный человек, — то пусть исполнит немедленно следующее: за разоренную им мельницу, за пограбленных лошадей и за телеги с хлебом — пусть заплатит немедленно тысячу рублей; пусть освободит невинных моих подданных с честью и тем докажет, что он, а не я, неправ!

Бедный уаник, пребыв несколько времени в унынии, отвечал с робостью:

— Мой пан — я его очень знаю — не поверит, чтобы кто-либо осмелился делать ему подобные предложения, а назовет меня оскорбителем своей чести.

— О! Этой беде очень легко пособить можно! — отвечал пан Балтазар. — Я сделаю знак, по которому он, увидя тебя за версту, сейчас догадается, что ты не выдумщик, а именно мною отправленный вестник!

Тут он шепнул что-то на ухо одному из слуг, и вестника схватили, посадили на скамью, сжали и увещевали быть терпеливым и неподвижным, если не хочет ороситься своею кровью. Тут надменно выступил один из служителей, держа в одной руке конечный отломок косы, а в другой горшок с теплою водою.¹ Он намочил голову и усы неподвижного пленника и чисто-начисто выбрил левый ус и правую сторону головы.

— Ступай с богом, — сказал пан Балтазар, весьма довольный своею выдумкою. — Немецкие головы весьма способны к изобретениям! — говорил он, набивая трубку табаком, и весело улыбался.

¹ У малороссийских крестьян для бритья употребляется отломок косы вместо бритвы.

Когда поднесли к лицу печального Охрима кусок зеркала, то он заплакал и вышел, проклиная внутренне всех панов на свете. Вошел в чащу леса, он предался отчаянию, лег под ракитником и не знал, должно ли ему в таком постыдном виде явиться к своему пану или умереть голодною смертью, избегая неслыханного позора.

ГЛАВА 11

Не безделица

Между тем как он размышлял прямо по-малороссийски, то есть: лежа на боку, обратимся к Гаркуше с его товарищами. Полет времени всегда ровен, плавен; но творения всякого рода, безногие, двуногие и многоногие, меряют его по своим ожиданиям.

Пан Балтазар, наслаждающийся всеми возможными благами, и не приметил, что на дворе ночь. А как верные служители донесли, что он не тверд уже на ногах, то пан, поверя их совести, опустил в постель и уснул богатырским сном. Весь дом тому же последовал.

Гаркуша с унылою душою, с тощим желудком, с запекшеюся гортанью сидел на соломе повеся голову. Глубокое молчание царствовало в хлебной обители. Неподвижными глазами смотрел он на воробьев, кои, пролезая сквозь щели забора, составляющего гуменные стены, угнезживались в соломенной крыше, или на мышей, выставляющих головы из снопов пшеничных. Вдруг воспрянул гений его от усыпления. Он встал и, протянув правую руку к соучастникам своей неволи, сказал:

— Товарищи! Клянусь вам моими усами, что скоро освобожу вас, если только вы согласитесь меня слушаться. Где пролезет воробей или мышь, там может пролезть и бык, если робость и уныние не превратят его в осла. У нас отобраны ножи, но не отрублены руки. Этого мало, что я освобожу вас; надобно *отмстить*, надо показать бусурману, что он не в Германии. Слушайте моих приказаний!

Тут вскарабкался он на скирду ржи и приказал товарищам кидать к нему снопы из другой. Он мостил их в виде пирамиды и менее чем в час успел подойти к самой крыше. Тогда начал он разгребать солому в крыше, выламывать прутья, служащие стропилами, и все скоро увидели небо сквозь дыру, в которую человек легко пролезть может. Сопед вниз, он потребовал от всех пояса и, связав концы с концами, нашел, что их достаточно для спуска со стены гуменной. Тут все полезли наверх. Он спустил каждого поодиночке и, приказав как можно скорее переправиться за реку и его дожидаться, сам спустился

на низ, выломил из стены два сухие прута и начал тереть их один об другой. Он трудился до пота лица и к не-описанному удовольствию сперва почувствовал запах дыма, а вскоре увидел и огонек. Он поджег места в десяти солому и, видя, что успех отвечал его ожиданию, бросился вверх, вылез, спустился вниз и, подобно оленю, бросился бежать. Какое-то смутное чувство его преследовало; он не прежде осмелился оглянуться, как перешед реку и соединясь с своими товарищами. Тут опомнился он и, оборотясь, увидел, что гумно пана Балтазара багрело в пламени; клочки соломы, извиваясь в воздухе, падали на крыши крестьянских домов, ветерок пособлял действию, и вскоре большая половина селения превратилась в огненное озеро. «Так мстит Гаркуша», — сказал он с улыбкою, но улыбка сия не была уже для него отрадною. Неизвестный голос говорил ему: «Это уже не шутка! Это другое дело, чем истреблять голубей и сад дьяка Якова Лысого! Зажигатель!» Он дал знак, и все молча пошли путем своим, на каждом шаге останавливаясь и посматривая на пламя, нимало не уменьшающееся. В эту минуту — он сам после признавался — согласился бы своими слезами и кровью потушить пламя. Ему и на мысль не приходило обидеть жалких крестьян, отмщевая их помещику. Сердце его на части разрывалось. Прошед несколько сотен шагов, они услышали в стороне шорох, приблизились и нашли бедного Охрима в жалком состоянии. Узнав от него всю подробность, Гаркуша вскричал:

— Клянусь, что я сделал доброе дело, зажегши гумно! И крестьяне проклятого Балтазара участвовали в его преступлении, во-первых, пойман нас так лукаво, а во-вторых, обидев столь чувствительно Охрима. Ветерок недаром повеял на селение, а не в поле; жаль только будет, если дома пана и мельника уцелеют!

Изнурены будучи голодом и усталостью, они не прежде явились к своему пану, как по восходе уже солнечном. Пан Авраамий ахнул, увидя их, а особливо Охрима; и когда выслушал подробно донесение, вскричал:

— Очень хорошо, что вы так строго наказали нечестивого Балтазара, но то худо, что вы, помня о самих себе, забыли о своем пане! Вы отмстили за свое оскорбление — так; но разве я не обеспечен в лице вашем? Разве нельзя было, пользуясь общею суматохою, ворваться в дом Балтазара, где, вероятно, никого не было, разломать шкапы и кое-чем меня потешить. Ах, Гаркуша! Я не ожидал сего от твоей сметливости! Но так и быть! В другой раз будь благоразумнее. Подите теперь в мою поварню, утолите голод и жажду и отдохните после трудов!

Гаркуша едва мог понимать, за что пан Авраамий недоволен; однако клятвенно обещался, что впредь к пользам его будет усерднее.

Когда они удалились, пленные Балтазаровы были выведены из овина. Им всем обрили головы и усы, сняли свиты, настегали спины добрым порядком и отпустили с миром во-своися. Прошло несколько дней в совершенном покое, и дело казалось забытым.

В один поздний вечер пан Кремень, сидя на крыльце, курил трубку; а Гаркуша, не будучи им примечен, дремал в углу сеней в ожидании, когда пан отправится в опочивальню. Вдруг прискакала дорожная повозка, и из нее вылетел Иван, сын помещика. После обыкновенных приветствий он уселся подле отца, и между ими произошел разговор, из которого Гаркуша не проронила ни одного слова. Он был бы гораздо счастливее, если бы оглох на ту пору.

О т е ц. Ну, каково дела наши идут в городе? Хотя одно приближается ли к окончанию?

С ы н. Напротив! Одним делом оно умножилось. Проклятый немец подал прошение, в котором ясно и обстоятельно изобличает тебя в разорении своей мельницы и в сожжении селения. Имена участников в сем деле, начиная с Гаркуши, означены. Я советовался с другом нашим Кохтем, секретарем суда, и он, пожав плечами, сказал: «Очень плохо! Велика будет милость господня, если вы отделаетесь потерей дворовых людей, в беззаконии сем уличаемых; да и они счастливы, что я для отца твоего беру в них родственное участие. Все искусство приложу в их пользу и полагаю, что большей беды не будет, как только что их добрым порядком выстегают и сошлют в каторжную работу».

О т е ц. Спасибо! Пан Кохоть мужик добрый и умный.

С ы н. Завтра чуть свет прискачет сюда исправник с командою для захвачения обвиняемых.

О т е ц. Милости просим! Как скоро увижу, что не будет способа отбояриться легче и дешевле, то Гаркушу с товарищами обвиню одних во всем и отдам обеими руками: пусть съедят их хоть с костями. На место их — есть у меня ребята удалые!

ГЛАВА 12

Ужасная крайность

После сего разговор продолжался несколько времени; настала полночь, и они разошлись, отец в свою спальню, а сын — на девичью половину. Темнота ночная препятствовала им приметить Гаркушу. Он выполз из сеней бледен, как смерть; чуб его стоял дыбом; холодный пот с бровей струился на усы. Все движения лица его изображали гнев, негодование, ужас и злобу.

В короткое время собрал он шестерых товарищей в своих последних подвигах, привел их на гумно и, став посередине, скавал твердым голосом:

— Друзья-сотрудники! Мы служили своему пану с верностью собак и надеялись получить пользу. На поверку выходит противное. Он, как и другие паны, горд перед нами, робок перед высшими. Заставляет нас быть орудиями его лихоимства и мщения и, в случае нужды, не умеет или не хочет защитить нас. Это есть неблагодарность, достойная мщения, и не наказанною не останется. Все мы считаем себя рабами панов своих: но умно ли делаем? Кто сделал их нашими повелителями? Если господь бог, то он мог бы дать им тела огромное, нежели наши, руки крепче, ноги быстрее, глаза дальновиднее. Но мы видим противное. Если бы можно было, вы бы увидели пана Кремня, растянувшегося у ног моих от одного удара! И при всем том — этот человек неблагодарен!

Тут Гаркуша со всем витийством рассказал им намерение пана их выдать. Все ахнули и опустили головы.

— Не печальтесь, друзья, прежде времени, — воззвал Гаркуша. — Я знаю средство самому спастись и вас избавить от гибели. Ничего от вас не требую, кроме мужества, терпения и неперемennого повиновения воле моей; но клянусь вам, что воля моя единственно обращена будет к пользе каждого и общей. Давно слышал я,¹ что на границах китайских есть область, мало кем населенная. Там реки полны рыбою, леса всякою дичью; сады беспрестанно цветут и приносят плоды; поля и огороды, не быв ни вспаханы, ни засеяны, сами собою приносят пшеницу, тютюн и всякие овощи. Посудите, каково жить там! Не станем знать ни панов, ни панцины; будете только водить стада, пить вино и пиво, курить тютюн и делать, что кому заблагорассудится! Хотя я и не знаю настоящей туда дороги, но язык доводит и до Киева; надобно все итти к востоку. А как в дороге понадобятся оружие и деньги, то благоразумие требует заготовиться и тем и другим заблаговременно. Что скажете, друзья мои?

Храбрые слушатели развесили уши и разинули рты при описании прелестной стороны Китайской. Да и что в самом деле для украинца может быть сладостнее, как, лежа на боку, пользоваться всеми дарами роскошной природы? Все единогласно приняли предложение, дали присягу в сыновнем послушании своему предводителю, а он им в любви братской и защите. По его наставлению залезли они в кладовую и оружейную пана,

¹ Ложный слух, распространившийся в Украине, что всем дозволено населять прекрасную землю Китайскую, был причиною, что многие семейства, даже целые селения с женами, детьми и имуществом собирались в путь. Правительство должно было употребить воинские команды для установления заблуждающихся.

взяли, что могли взять из ножей, кортиков, пороху, пуль и денег. Обритого Охрима навьючили съестным и питейным снадобьем и пустились в путь первую встретившеюся дорогою. Они были верстах в десяти от селения, как начала показываться заря утренняя. Они своротили с дороги к перелеску и расположились завтракать. Мужество Гаркуши ободрило наших путешественников. Одни наперерыв хвалили землю Китайскую, другие делали уже предположения, как будут там веселиться.

Тут увидели, что на дороге повозка, окруженная четырьмя конными, остановилась прямо [у] их лагеря. Гаркуша посмотрел пристально, разгладил усы и сказал хладнокровно:

— Божусь, что это исправник с солдатами, и идут, чтоб забрать нас в город. Но не пугайтесь! Уберите скорее харч и питье в сумы и ни о чем не заботьтесь; я один за всех отвечать буду.

— Если же он захочет употребить насилие? — возразил мудрый Охрим.

— Насилие? — сказал Гаркуша с улыбкою князя преисподней. — Посмотрим!

Они встали. Гаркуша, опершись на свое ружье, спокойно, повидимому, ожидал приближения исправника, ибо и подлинно этот проезжий был исправник и шел, окруженный всадниками, к храбрецам, показавшимся ему почему-то подозрительными. Он подошел, осмотрел всех внимательно и, видя, что ни один, по примеру своего коноводца, не снимает бриля, спросил с грозным видом:

— Что вы за люди?

Г а р к у ш а. Казаки, и вышли теперь на охоту. Но кому какая до нас нужда?

И с п р а в н и к. Право? Исправнику нет нужды знать, что кто делает в уезде? В здешних местах и не слыхали о волках или медведях, а вы все вооружены, как будто готовясь против турка!

Г а р к у ш а. На всякий случай надобно быть готову!

1-й и з к о м а н д ы. Позвольте доложить, что я сих панов охотников всех знаю. Они подданные пана Аврамия Кремня.

2-й и з к о м а н д ы. Я то же утверждаю.

3-й и з к о м а н д ы. И я то же.

И с п р а в н и к. Так нечего и думать долго. Их надобно забрать с собою на всякий случай. Возьмите их!

Г а р к у ш а. На всякий случай, думаю, ничего не надобно делать, а особливо людям, называющим себя панами.

И с п р а в н и к. Мне мешкать нечего. Сегодня же должен представить присутствию все следственное дело к суждению. Возьмите их и перевяжите.

Г а р к у ш а. Милостивый господин! Не заставляй нас сдѣлаться против воли великими преступниками! Не скрою от тебя,

что мы все подданные пана Аврамия, но оставь нас в покое, как мы оставляем свою родину и отправляемся к стороне Китая. Намерение наше твердо, и — позволь доложить и не гневайся — ружья заряжены пулями, и тесаки отпущены.

Услышав последнее замечание, исправник шага на три отскочил назад; но, вспомянув свою должность и устыдясь команды, которая и не пошевелилась, вскричал:

— Посмотрим, кто осмелится оказать мне послушание! Ребята, берите их!

— Не гневи бога, — сказал Гаркуша с диким взором, — заставляя нас сделаться злодеями!

— Вздор! — вскричал исправник и первый выступил вперед с распростертыми руками.

— Ну, да будет один бог судьбою между мною и тобою! — вскричал свирепо Гаркуша и, произнеся: — Друзья, за мною! — выпалил в несчастного исправника.

Товарищи ему последовали, и в один миг исправник и двое из команды разлеглись на земле; двое остальных, в коих, вероятно, метил Охрим, ударились бежать, и никто их не преследовал.

Подобно Каину по убиении брата Авеля, стоял Гаркуша бледный и трепещущий над издыхающими трупами. В первый раз сделавшись убийцею, он не понимал, существует ли на здешнем свете, или с последним издыханием убиенного и он переселяется в обители преисподняя!

Я полагаю, что в таком случае Александр Македонский, НаDIR Персидский, Аттила Гунский и Тамерлан Татарский не могли бы удержаться от трепета.

Такое производит действие впервые пролитая кровь, хотя бы даже кровь преступника. Что же убийца невинного человека должен чувствовать? Что — кроме ада в душе своей, в сердце, в теле, в мозгу, во всем своем составе? Положение ужасное, достойное всякого сожаления, но — ах! — и наказания.

ГЛАВА 13

Жребий вынут

По прошествии нескольких минут ужасного, убийственного молчания Гаркуша первый получил порядочное ощущение своих чувствований, взглянул на небо, перекрестился дрожащею рукою и, опершись о дерево, — ибо колени его тряслись, как тростник во время вихря, — прерывающимся голосом сказал к окаменелым своим товарищам:

— Друзья мои! Видите ли вы эти ручьи пролитой крови? Это огненная река, отделившая нас навсегда от прочих человек. Возвратиться в прежнее состояние — значит прежде времени погубить себя и телесно и душевно. Ужасный начин сделан. Успокоить души наши уже невозможно. Остается одно средство быть еще сколько-нибудь не без утешения, и это средство есть — заморить совесть, так, чтобы она не имела ни сил, ни времени напоминать нам прошедшее. Как это сделать, спросите вы? Итти вперед дорогою, которую теперь бог указал нам. Будем мстить злым людям, а особливо так называемым благородным, из числа которых этот кровожадный волк, алкавший нашей гибели, принудил нас, — всевидящий бог и вы, друзья мои, были свидетелями, сколько просил я, чтоб он оставил нас в покое и не накликался на смерть, — принудил нас сделаться убийцами, сделаться злополучнейшими людьми, которых когда-либо освещало солнце божие! Не может быть, чтобы дело сие [осталось] без самого внимательного, самого строгого исследования. Нас будут искать с двух сторон: со стороны оскорбленного правительства и со стороны бездушного пана Аврамия. Продолжать путь до границ Китая было бы безрассудно. Надобно дожидаться, пока дело это хотя несколько позабудется и жар преследователей утихнет. Итак, мы отправимся в самую густую, непроходимую часть сего бора. Пока у нас есть порох и дробь, мы голодать не будем. Я слышал, что лес сей наполнен дичью, и в середине его самые отважные проникать не осмеливаются; одни — боясь злых духов, а другие разбойников, третьи же волков и медведей. Там-то мы покудова оснуем наше жилище, а в случае оскудения в житейских припасах один из нас вечернею порою будет входить в ближнее селение и запастись всем нужным. Жребий бросим, кто и когда должен подвергаться опасности для общей пользы. Самого себя не исключаю в сем случае от выемки жребия. Но как в теперешнем нашем положении не только нужен, но даже необходим порядок и строгая подчиненность, иначе мы неприметным образом погибнем, подобно червям древесным, и как вы уже избрали меня своим начальником, то я в присутствии бога и вас всех клянусь для вашей безопасности не жалеть последней капли крови моей; клянусь не прежде проглотить каплю воды, пока не увижу, что имеете довольно для утоления жажды; не прежде возьму ломоть хлеба в руку, пока не уверюсь, что вы все сыты будете; не прежде предамся сну, пока не рассмотрю и не устрою, чтоб все вы спали безопасно и покойно. В утверждение клятвы моей целую ружье в дуло, прося бога мстителя разрешить его и поразить меня, если клялся не от чистого сердца. После от вас того же потребую!

После сей речи Гаркуша заряжает ружье пулею, взводит курок, ставит у дерева и, произнесши: «Боже правед-

ный! Внемли клятве моей!» — с величайшим благоговением целует его в дуло. Отошед несколько шагов, он продолжает:

— Теперь каждый из вас клянись: беспрекословно исполнять все мои повеления, отнюдь не спрашивая, для чего я то или другое приказываю. Помощником себе избираю Артамона, коему в случае моих отлучек повиноваться точно, как самому мне. От стана, который выберу я для нашего временного укрытия, никто не смеет отойти далее пятидесяти шагов без моего позволения. У нас все должно быть общее, так как участь наша есть общая. Когда рассужу я напасть на проезжих или даже на панов в хуторах их, всякая добыча, самая маловажная, должна быть представлена на мой произвол. Я один буду знать, что причислить в общую казну или что подарить кому. Вражда, ссоры и прочие неистовства не будут терпимы между нами. Всякий, преступивший мои повеления, будет наказан по важности вины своей. Себе предоставляю в случаях важных, как то: в измене, побеге, трусости и тому подобным, наказать смертью виноватого. Согласны ли, друзья?

По некотором молчании вся дружина диким голосом возопила:

— Клянемся жить и умереть с тобою! Клянемся повиноваться тебе, как отцу и пану!

После сей клятвы каждый с трепетом благоговения подходил к ружью и целовал в дуло.

По окончании обряда Гаркуша приказал трем из товарищей зарядить ружья пулями на случай встречи с диким зверем, ибо людей они не ожидали; а трем дробью, чтобы по дороге не пропустить случая запастись зайцами, тетеревами и прочею дичью. Устроив таким образом, взвалили Охриму на плечо ношу и пустились в чащу леса.

Они шли по течению солнца. Чем далее подвигались во внутренность бора, тем казался он непроходимее. Необъятной величины дубы, сосны, вязы и тополы нередко на довольноное пространство времени скрывали от них образ солнца. Им встречались глубокие болота и пространные топи, из коих некоторые они вброд переходили, а другие должны были обходить кругом. Солнце совершило уже две трети своего течения, а беглецы и не думали остановиться. Гаркуша, в душе которого пылало адское пламя, шел вперед и не чувствовал усталости. Его лицо, облитое потом и кровью, ибо он нисколько не остерегался и шел напролом, представляло улыбку, которая ужасала самых его товарищей. За час до заката солнечного прибрели они к краям не очень просторной, но ужасной бездонной пропасти. Ее точно можно бы счесть бездонною, если бы не мелькал на дне густой древний осияник, которого серебристые листья беспрестанно

колебались. Внимательно посмотрел Гаркуша вниз, долго рассматривал со стороны правой и левой, потом голосом тихим сказал:

— Видите ли, братья, как милосердый бог печется и о грешных несчастных тварях своих! По наружности судя, так эта пропасть будет колыбелью дальнейших подвигов наших. Сядем здесь и подкрепим силы свои пищею, а после постараемся сойти вниз. Хотя с первого раза кажется это и невозможно, но так обыкновенно представляются нам все опасности, пока они вдалеке, как скоро же приблизятся, то надобно быть великим трусом, чтобы затрепетать перед ними. Мы должны быть готовы по роду избранной жизни испытывать это каждую минуту.

ГЛАВА 14

Пустыня

Утоля голод и жажду, мучившие наше товарищество, они поднялись и пустились обозревать драгоценную для них, но неприступную пропасть. Путь их был сопряжен с довольными трудностями. Им попадались костры огромных деревьев, ниспроверженных бурей или расщепленных молниею. Нередко встречались глубокие рытвины, по дну которых извивались быстрые ручьи и с шумом низвергались в пропасть. Таковые маловажные препятствия ни на минуту не могли остановить Гаркушу и его спутников. Прежде нежели туманные сумерки покрыли дубраву непроницаемым покровом, они обошли вокруг прелестной бездны, останавливались — так сказать — на каждом шаге, разглядывали в двенадцать глаз, но — все тщетно. Края пропасти почти со всех сторон заросли шиповником, терном, волчьими ягодами и прочими дикими растениями. Куда ни взглянут, везде отвесные стены, везде неприступность. Они возвратились на прежнее место с тем же успехом и не могли не вздохнуть, взглянув один на другого.

— Не для чего крушиться, — сказал Гаркуша. — Одна настигшая ночь причиною, что мы не отыскали сходу в блаженное убежище. Не будь я атаман ваш Гаркуша, если завтра не будем обедать в вожделенном месте!

В первый раз еще — и то почти невзначай — назвал он себя атаманом и невольным образом затрепетал. Мысль, к чему обязывало его сие звание, во всю ночь не давала ему покоя. Товарищи, заключив, что титул сие ему нравится, во всю жизнь не называли его другим именем.

Опустошив все без остатка, что было в суме Охрима, шайка расположилась под ветвистыми деревьями, и в скором времени все захрапело. Вероятно, никакая мысль о завтрашнем дне их не беспокоила. Зато Гаркуша ворочался на зеленой траве и не мог сомкнуть глаз. Прошедшее его терзало; настоящее было так незнакомо, что мысли и ощущения души его точно так же блуждали в головном мозгу, как сам он блуждал в сей пустыне. Будущее было для него не что другое, как привидение, укутанное частым покровом. Он не знал, прелестный ли образ увидит, сдернув покрывало, или ужасное страшилище. Заря утренняя застала его в таком мучительном состоянии. Он встал, подошел к пропасти и, севши на краю оной, смотрел на густой туман, в пространстве ее колебавшийся. Время от времени заря становилась багрянее, и вскоре воссияло лучезарное солнце. Бесчисленное множество диких птиц подняли свои поздравительные крики; глухие тетеревы хлопотали на густых ветвях ольхи; лесные голуби ворковали над его головою; со дна пропасти отывались кряканья диких уток и гоготанье гусей. Мимо ног его пробежало несколько пар резвящихся зайцев. Гаркуша, все это видя и слыша, умилился, сотворил молитву и сказал: «Здесь нельзя умереть с голоду: надобно только иметь запас в хлебе, соли, порохе и дробе».

Рассматривая пропасть при свете ярких лучей солнечных, увидел он, что половина дна ее покрыта непроницаемым лесом, а другая высокою зеленою травою, испещренною бесчисленными цветами. Такой вид еще более воспламенил желание его овладеть прекрасною пустынею. Когда он мечтал о сем час от часу с большим жаром, увидел на противоположной стороне пропасти лисицу, которая саженья в двадцати от края скрылась в терновник, таща задавленного гуся. Это сначала не обратило его внимания, но он вскочил с места с пылающими глазами, когда весьма скоро потом увидел, что зверь тот на дне пропасти добычей своей потчует двух молодых щенков своих. Сердце его билось так сильно, что колени дрожали и он едва держался на ногах. Несколько успокоясь, поднял он своих товарищей и с неописанным восторгом поведал им о своем открытии. Все подняли радостный вопль, бросали вверх шляпы, прыгали и считали себя людьми преблагополучными. Когда порывы неожиданной радости укротились, Гаркуша заметил, что в общественной кесе совсем пусто и надобно подумать о ее пополнении. Вследствие сего он приказал Артамону с Охримом готовиться в дорогу для добычи продовольствия всей дружине. Он весьма хорошо знал характеры своих товарищей. Ему известно было, что Артамон во всякое время готов сразиться хотя с сотнею дьяволов; а Охрим, повидимому трусливый Охрим, на хитрые выдумки, плутовства разного рода, притворство и способность

без кровопролития присваивать себе стяжание ближнего — был удалее всех из шайки. Он в состоянии был провести польского жида и итальянского монаха. Посему-то атаман сделал его купчиною и казнохранителем и особенно уважал за такие общепользные дарования. Дабы сколько-нибудь узнать положение мест, окружающих избранное ими становище, Гаркуша взлез на верх самой высокой сосны и с четверть часа рассматривал окрестности со всех сторон. Спустясь с дерева, он сказал товарищам:

— Дремучий лес сей к востоку и закату солнечному кажется бесконечным, зато ширина его не так обширна. Если не обманывает зрение, то по правую руку простирается не далее десяти верст. Там синеются верхи церкви и колокольни, и наверное полагать можно, что большое селение снабдит нас всем необходимым. Артамон и Охрим! Ступайте с богом! Держитесь средней дороги между восходом и заходом солнца. В селе скажитесь егерями пана Каракаша; объявите, что он сам на охоте уже около недели, что домашний запас весь изошел и что вы посланы запастись еще на неделю. Вот вам десять рублей денег. Пан Каракаш так прославился удальствами разного рода, или, лучше сказать, головорезничеством, что всякий опасется вам не верить и в чем-либо отказать.

ГЛАВА 15

Надежное убежище

Купчины отправились, а Гаркуша с остальными четверья удальцами пошел искать сходу в пустыню. Так он назвал и другим велел называть известную провалину. Они дошли до того места, где скрылась лисица, и ничего более не видали, кроме переплетшихся шиповника, терну, коровьяку¹ и крапивы. Один из свиты сделал предложение, чтобы, не теряя времени, начать саблями срубать кусты и тем очистить дорогу, но Гаркуша сейчас заметил им, что по истреблении сей ограды и самая пустыня потеряет свою цену, потому что тогда откроется всякому вход свободный.

По его приказанию и примеру срубили они длинные еловые шести и, разводя ими сцепившиеся и глистые сучья, вступили в сей перелесок. Они двигались медленно и на каждом шаге вперед тщательно рассматривали по шву земли, жадничая уви-

¹ Растение ветвистое в средний рост человеческий, на коем плоды род орехов, усыпанных острыми иглами; внутри семена.

деть что-нибудь похожее на спуск. Около часа прошло времени, что они проползли три или четыре сажени, и атаман, который взял за правило всегда и везде быть впереди, первый увидел у ног своих пространную расселину. Он радостно вскричал; товарищи, сколько могли, к нему поспешили и, то же увидя, так же воскликнули. Они легли ниц у сей норы и жадными глазами глядели внутрь ее. Она шла косвенно, а потому на несколько аршин была слабо освещаемая лучами солнца, и далее следовала мгла непроницаемая. Присутствие духа не оставляло Гаркушу никогда. Он сейчас приказал нащипать сухих сосновых лучин, которых на каждом шаге было великое множество, чтобы, зажегши по пучку, пуститься в расселину. Приказание его было исполнено так скоро, как только обстоятельства позволяли. Посредством гаманных огнив развели они огонек, каждый зажег по большому пучку лучины, а по другому взял в запас, и, опираясь на свои шесты, вступили в пропасть. Атаман, по обыкновению, шел впереди. Прошед шагов десять, потеряли они свет дневной. Они заметили, что расселина сия сделана в давние времена или текшим тут постоянным ручьем, или сильным напором снежной воды, только не руками человеческими. Она была так высока, что человек среднего роста мог проходить не нагибаясь; была довольно обрубиста, однако с помощью шестов наши землеоткрыватели шли мало спотыкаясь и весьма редко должны были прыгать вниз на аршин или полтора. Путешествие их было крайне медленно, ибо осторожный коноводец не прежде делал шаг вперед, как обстоятельно рассмотрев по крайней мере пространство шага на два дальше. Прошло более двух часов, и к неописанной их радости увидели брезжащий свет дневной. Дыхание у них остановилось, ноги задрожали. Они шли, не говоря ни слова, и весьма в недолгое время увидели себя под светлым небом в прекраснейшей долине. Гаркуша первый сделал три земных поклона, и прочие ему последовали. Распрямясь, он сказал им:

— Наконец главное желание наше господь бог услышал! Мы достигли такого пристанища, которое по всему кажется довольно безопасным. Вход в сию пустыню показался нам трудным с первого только взгляда. Уверяю, что кто пройдет им раз десять, тот уже без огня может выйти и спуститься в четверть часа. Купчин наших прежде вечера ожидать нельзя, а я чувствую позыв на еду. Пойдем в тот лес, в коем должны мы основать прочное свое жилище, разведем огонь, и хотя у нас нет ни хлеба, ни соли, но и без сего мы обойтись постараемся. У нас довольно зайцев, тетеревей и куликов. Изжарим на вертеле и — покамест будем сыты. Велика власть господня!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Час от часу глубже

Наши несчастливцы пошли к лесу и на пути не могли не останавливаться, видя во многих местах сверху и из середины стен своей пустыни низвергающиеся ручьи, кои все стремились в средину леса. Они решились следовать по течению одного из них и скоро вступили в самый лес, состоящий большею частью из ольховых, сосновых и осиновых деревьев. Сей, так сказать, преисподний лес не был так запущен, как верхний. Валежнику было мало, и везде проход свободный. Они прошли примерно четвертую часть версты, как приведены были в приятное удивление, увидя у ног своих довольно обширный пруд, в который втекало более пяти потоков. Не успели они вымолвить по одному слову, как окаменели от поражения, увидя против себя на другом берегу пруда, между орешником, с полдюжины хат. Несмотря на то, что времени стояли они подобно истуканам; и получив употребление чувств, лишены еще были языка. Гаркуша протянул руку к хижинам и указал на них пальцем со взором, спрашивающим: «Видите ли?» Товарищи в знак ответа пожали плечами. Вторичное молчание. Гаркуша, получив первый разрешение языка, сказал:

— По всему видно, что пустыня сия обитаема; только для меня удивительно, что вчера при солнечном еще сиянии, обходя кругом сие место, мы не заметили и следа ноги человеческой. Жить здесь дровосекам или угольщикам совсем не для чего; во-первых, что наверху лес крупнее и бесчисленно раз его более, чем здесь; во-вторых, вынос отсюда всякого изделия так затруднителен, что один безумный ремесленник здесь поселится. Непременно это притон разбойников!

Товарищи его задрожали, помертвели. Гаркуша продолжал:

— Чего же вы испугались? Разве мы не с тем вошли в сию дубраву, чтобы рано или поздно познакомиться с людьми сего рода, подружиться, войти в один состав и действовать под общим знаменем? Пойдем теперь же, друзья, и посетим хижины.

Он насыпал свежего пороху на полки ружья и двух пистолетов; прочие сделали то же, и все бодро пошли освидетельствовать хижины. Они остановились у самой большой, имевшей в длину саженой десять, стояли довольно времени, прислушались, но ничего не слышали, кроме пisku мышей.

Обошед кругом, они заглядывали в каждое окно, из коих половина была выбита, но ни одного существа живого не видали.

Наконец осмелились войти. Весь дом состоял из трех обширных комнат. Первая — по виду — была поварня. Тут нашли они несколько деревянной, чугунной и железной посуды, мало уже годной к употреблению. В углу на полке разбросано было несколько ломтей хлеба, по которому можно было судить, что он лежит тут не один месяц. Там же валялся кулек с крымскою солью — зеленою, какую в Малороссии дают лизать овцам и коровам, чтобы придать им охоты к еде и тем молоко улучшить. Вторая и третья комнаты были совершенно пусты, однако последняя обведена у стен широкими лавками, и в одном углу лежало несколько кулей полугнилой соломы. Оставя сии чертоги, они обошли все прочие; нашли одну пустоту, обветшалость, и умно рассудили, что хозяева по каким-нибудь причинам оставили — и притом давно — сию обитель; почему они имели законное право, яко одного ремесла люди, завладеть сим наследством. Они возвратились в первую избу, которую тогда же нарекли атаманскою, скинули свои вооружения, которые на себе имели более двадцати четырех часов, и, по приказанию атамана, Харьку, который был поваром на кухне пана Аврамия, принялся застряпню; заплесневелые корки хлеба были тщательно собраны и опущены в ближнюю копанку, и Гаркуша с остальными товарищами сел на берегу пруда в тени пушистой ивы и предался рассуждению. По долгом со всех сторон молчании Гаркуша промолвил:

— Правду говаривал сельский наш священник, что милосердый бог все на свете сем устроил прекрасно! Посудите сами: не выведи меня дьяк Яков Лысый из церкви, я и не подумал бы истравить голубей его кошками; не сделай этого, не был бы сечен и ограблен; без сего — не истребил бы сада дьякова и в целый век не был бы в числе дворовых удалцов пана Аврамия. Непременно надобно было разломать плотину, сжечь полдеревни пана Балтазара и, наконец, застрелить исправника и двух драгунов, чтоб сподобиться овладеть такою прекрасною пустынею. Ах, друзья мои! Какая разница рыскать по полям и лесам за зайцем или лисицею, подвергаясь каждую минуту опасности сломить себе шею — а для чего? Чтобы за осторожность на панской конюшне не содрали арапниками кожи от пят до макуши; или охотиться с тем, чтобы иметь удовольствие и товарищей и себя попотчевать дичью? Но как праздная, ленивая жизнь нам не властна, то я, по должном соображении и нужном осведомлении как об окрестных, так и отдаленных местах, выведу вас на дело, и вас и меня достойное. Вострепещут гордые властелины в кругу своих челядинцев и внукам своим с ужасом рассказывать станут, каков был Гаркуша и друзья его!

Он умолк, но взоры его пылали огнем убийственным. Товарищи с благоговением на него смотрели и клятвенно уверяли снова, что нигде и ни для чего не отстанут от такого храброго человека.

Наконец Харько кое-как сладил с своим обедом. Когда все в третьей комнате (которую с сего времени будем называть спальнею) сели на полу в кружок, он поставил перед ними пару жареных зайцев, пару глухих тетеревей и несколько куликов. Хотя все это сходнее было бы назвать сушеным, а не жарким, но они напали с такою жадностью, какая прилична молодым, здоровым, усталым, проголодавшимся людям. По окончании сей братской трапезы они разложили кули с соломою, заперли изнутри двери и — предались покою. Немало подивились они, проснувшись, когда увидели, что светлая серебристая луна отражалась на стене в головах их.

Первая мысль, их поразившая, была об отсутствии Артамона и Охрима. Опротетью бросились они из хижины к пруду, прислушивались, притаивши дух, но ничего не слышно было. Большую часть ночи просидели они у пруда, делая каждый свои заключения.

— Если они сбились с пути, — заметил Гаркуша, — и заночевали в дубраве, то беда не велика; завтра при утреннем свете найдут дорогу. Если же, от чего боже сохрани, они признаны и попались в когти земской полиции, то весьма плохо. На Артамона я надеюсь, как на самого себя, он скорее околет в пытке, чем откроет убежище друзей своих; но Охрим не таков.

— Ты худо знаешь Охрима, атаман! — возразил Харько с самонадеянием. — Божусь тебе, что если они попались, то Артамона более опасаться надобно. Охрим и не допустит себя до пытки. Он поведет сыщиков, обещая открыть наше убежище, будет водить по лесу взад и вперед до тех пор, пока найдет случай обмануть их и скрыться.

— Дай бог, — сказал Гаркуша, — чтоб он не имел нужды оказывать пред полициею свой разум; да, кажется, в простом селе и трудно быть узлану.

Он отправился в свой дом, а за ним и все. Ужин не пошел им на ум, и они ринулись на кули свои.

ГЛАВА 2

Полезное знакомство

С появлением зари все товарищество было уже у пруда. Молча поглядывали они на высокие стены, окружавшие их обитель. Как наверху, так и в долине — везде тихо, глухо. Взошло солнце лучезарное, и они со стороны прежнего своего логовища услышали громкий свист. Быстро вскочили с мест

и хотели поднять радостный вопль; но атаман сурово запретил подание малейшего голоса, пока условный знак выполнен не будет.

Вскоре раздался второй и третий свист, и они услышали клокочанье глухого тетерева. Гаркуша выстрелил из пистолета, сверху отвечали двумя таковыми же выстрелами. Тут атаман воззвал: «Наши! Берите лучину, идем наверх!»

Нечего описывать общей радости при свидании друзей-сотрудников. Домоседы немало удивились, увидя, что Артамон и Охрим навьючены были каждый с головы до пояса, но при них была еще клячонка, так обремененная поклажей, что едва держалась на ногах. Они все трое были освобождены от тягости, которую другие, не исключая и атамана, разделили по себе и начали спускаться в пустыню. Все кончилось благополучно, даже и кляча сведена была и пущена на траву, а витязи с радостными восклицаниями сложили ноши у пруда и начали их рассматривать. Когда все было выложено на траву, Охрим, поглядев голую голову, ибо волосам некогда было еще отрасти после памятной операции, сделанной над ним паном Балтазаром, с улыбкою произнес:

— Видишь, атаман, и вы, братья, что мы в покупке были гораздо осмотрительны. Тут нет ни куска мясного, ибо в нем мало надобности. Эти два мешка, которыми был я навьючен, наполнены баклагами с добрым вином; лошадь волокла мехи с хлебом, мукою, крупкою, солью и ветчинным салом — вещами, для нас необходимыми; Артамон же нагрузил свою ношу котлом железным, сковородами, деревянными чашами, ложками и прочею нужною мелочью. Не знаю как вы, а мы ужинали плохо; итак, пусть досужий Харько состряпает сытную кашу, а я между тем кое-что порасскажу о вчерашнем происшествии.

С радостью принято было предложение, и Харько, чтобы не лишиться рассказов сладкоглаголивого Охрима, тут же на берегу поставил треног и начал свое дело, а Гаркуша, попотчевав из новой баклаги себя и каждого из братии, ожидал повествования, которое и началось следующими словами:

— Хотя мы были и налегке, однако дорога отсюда в правую сторону столько же затруднительна, как и до сих мест всеми нами пройденная. Столько же валежнику, такие же озерки, топи и болота; а сверх того мы остерегались, чтобы не оцарапаться и не подать жителям дурных о себе мыслей, почему и должны были останавливаться почти на каждом шаге для сделания охотничьими ножами заметок на деревьях. Когда выбрались мы на чистый обширный луг и село представилось глазам нашим не далее версты, то уже был полдень. Мы удвоили шаги и скоро

очутились на базаре, где к нашему счастью был торговый день и народу сила несметная. Никто не только не вздумал спросить нас, что мы за люди, но и не глядел. Всякий занят был или куплею, или продажей. Для освежения ослабевших сил зашли мы к шинкарке, молодой веселой бабе; познакомились с нею и упросили уступить на короткое время уголок в шинке для складки товаров, кои искупить намеревались, пока не подъедет наша подвода. Тут пустились мы в куплю. Артамон крепко торговался, хлопотал, усовещивал дорожающих продавцов; а я на досуге искусным образом брал придачу и относил на место складки. Коротко сказать: когда каждый из нас по три раза воротился с базара, то ахнули, увидя товары другого. Мы чувствовали, что не в силах снести и половины, а денег у нас оставалось еще весьма довольно. Так-то прибыточен был мой промысел. Когда мы не знали, что делать, я нечто вспомнил, взял товарища за руку, и опять пошли на базар. Там в некотором отдалении от толпящегося народа стояла телега, запряженная в одну лошадь. Подле сидел средних лет мужик, повеся голову и кидая вокруг мутные взоры. Он тяжело вздыхал и с унынием ломал на руках пальцы.

— Молодец! — сказал я. — И с лица (которое было совершенно баранье) кажешься ты честным человеком! Не болен ли ты?

— Поневоле будешь болен, когда придет беда!

— Об заклад бьюсь, что ты не имеешь денег!

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что с великою завистью посматриваешь на этот шатер, в котором разливается пенник! Скажи-ка нам всю правду да сделай небольшое одолжение, так и будешь с деньгами, а сверх того не худо попотчеван. Ты видишь, что мы егери, следовательно, на базар не ходим.

Мужик посмотрел на нас, как на ангелов-хранителей, и после рассказал, что зовут его Иваном, что он подданный пана Яцька, которого хутор и дом верстах в пяти от села; что имеет злую жену, по жалобам которой много раз уже отведывал он панских арапников; что жена послала его на базар, наложив в телегу разного рода круп, гороху, яиц и проч., велела все продать и на вырученные деньги купить горшков, соли, мыла и проч. Что он вчера ввечеру все это сбыв весьма выгодно за четыре золотых; что дьявол, в образе кума, к нему подсудился и они вдвоем променяли все золотые на несколько кварт пенника!

Окончив свое повествование, он спросил дрожащим голосом:

— Чем могу оказать вам услугу?

Мы объявили, что столько накуплено у нас товару, что не

сможем донести до своей телеги, стоящей за селением; а потому если он ссудит на самое малое время своей лошадей, то мы охотно дадим ему целый рубль, а сверх того по уговору хорошо попотчует. Кто бы на его месте не согласился на такое лестное предложение? В один миг отпряг он свою клячу, телегу поручил смотрению соседа, мы отправились к шинкарке, навьючили лошадей и самих себя, и все трое пустились в дорогу.

ГЛАВА 3

Наружность обманлива

— Судя по взорам и ужимкам нашего нового знакомого, нельзя было наверно заключить, что ему скорее хотелось: получить ли в свои руки рубль или приложиться к баклаге.

— Пан егерь! — сказал он, обратясь ко мне, — у тебя в мешках что-то сильно болтается. Нельзя посмотреть, что такое?

— Как только дойдем до того перелеска — видишь, — то отдохнем и заглянем в свои мешки!

— До перелеска? Да это дремучий непроходимый бор, в который подальше не ходит ни одна душа человеческая. Там с давних лет постоянно живут одни черти да разбойники!

— Мы далеко не пойдем! Разве мы не христиане и не честные люди, чтоб не бояться чертей и разбойников? Однако согласись: не посреди же дороги остановиться!

— И то правда!

Болтая всякую всячину, нечувствительно вступили мы в лес и, прошед несколько шагов, остановились, ибо Иван никак не соглашался идти далее, представляя очевидные опасности. Мы развьючили лошадь и, привязав к дереву, пустили на траву, а сами, рассевшись в тени, принялись за баклагу, хлеб и сало. Сохраняя сами возможную умеренность, мы не только не удерживали Ивана, но еще поощряли почаще лобызаться с прекрасною баклагою, и это было ему весьма мило. Когда молодец полуодурел, то я с видом простосердечья сказал:

— Надобно думать, что ваш пан Яцько человек весьма бедный!

— А почему?

— Потому, что вы, горемыки, не имеете свободной чарки вина!

— Не то! Он богаче всех жидов вместе в нашем околотке; но только так скуп, что сам едва не околеваает с голоду. Кроме денег, он у нас берет всякою всячиной. Сохрани боже, если в

праздничный день поутру кто-нибудь не принесет ему хотя пятка яиц. Как раз придерется — и поминай себя, как звали!

— Много ли вас всех в хуторе?

— Только десять хат; но зато у него в целых трех селах много подданных, много поля и много лесу. Деньги со всех сторон плывут в сундуки его, а оттуда уже никуда не выплывают. Он постоянных слуг не держит, чтобы — говорит — избавиться лишнего расхода. Из нас два мужика и две бабы или девки в доме его на очереди всякий день днюем и ночуем, а обед и ужин приносим с собою. У него есть жена, возрастной сын и дочь, которые все в скряжничестве ему не уступают.

Между тем как Иван рассказывал многие примеры скупости панов своих и беспрестанно промачивал горло, солнце спустилось за лес, рассказчик растянулся на траве и захрапел. Зная, что он нескоро будет в силах подняться, мы положили в карман его рубль денег, чтобы сдержать честное слово, навьючили лошадей и пустились в дальнейший путь. Мы не прошли и третьей доли дороги, как поднялся туман, глубокие сумерки объяли все темнотою, и мы никак уже не могли распознавать значков, насеченных нами на деревьях. Хотя мы очень об вас крушились, представляя ваше беспокойство, но пособить было нечем, и мы решились провести ночь в лесу. Своротя несколько вправо, выбрали местом ночлега маленькую равнину у корня древнего развесистого дуба. Сложив с себя и с лошади ноши, мы разлеглись на траве и, раскуривши трубки, спокойно ожидали приближения сна.

ГЛАВА 4

Безбородый атаман

— Не успели мы выкурить по другой, как услышали в довольном расстоянии свист, крик, ауканье, хохот и такой вообще содом, что волосы у Артамона стали дыбом, а я стал дрожать как в лихорадке. Видно, знакомец наш Иван говорил правду, что лес этот весьма не пуст. Вскоре показался дым, и мы основательно заключили, какого рода должны быть сии ночные путешественники. Вместо прежнего страха напало на меня непреодолимое любопытство увидеть поближе лесных панов, и сколько Артамон ни представлял мне о неблагоразумии тех, кои подвергаются опасности без нужды, я не утерпел и, помолясь соименному мне блаженному Охриму, пополз на брюхе сколько можно осторожнее, следуя на голоса, которые ни на минуту не умолкали. С терпением все преодолеть можно. Сколько ни ватрудни-

тельно было мое положение, однако я продолжал, и хотя рак мог бы опередить меня, но я дополз до своей цели. Прилезши к калиновому кустарнику, я остановился. За кустом непосредственно следовала довольно просторная лужайка, посередине которой на разведенном огне варилось и жарилось кушанье. Человек с двадцать, исправно вооруженных, находились там в разных положениях. Одни лежат пели песни; другие молча курили трубки; третьи боролись; четвертые пили.

Особенное внимание мое привлек на себя молодой красивый человек, сидевший у огня с обнаженною правою рукою, облитою кровью. Около его с приметным усердием и заботливостью уживался высокий плечистый усач. Он обмыл рану вином, приложил какой-то мази, обвязал и, с улыбкою закручивая усы, сказал:

— Уверяю, атаман, что через шесть дней ты так же проворно и легко будешь владеть саблею, как и до сего неприятного случая.

Едва не ахнул я, услыша, что атаманом величают молодца без усов и без следа бороды, но еще более удивился и оторопел, когда услышал следующий разговор.

А т а м а н. Через шесть дней, говоришь ты, Сильвестр, а не прежде могу я владеть саблею? Какая досада!

С и л ь в е с т р. Что же делать! Кто бы мог подумать, что мы, нападши на купеческий обоз, встретим такую задорную оборону? Правда, глупцам изрядно досталось: они большею частью побиты или ранены и лишились многих хороших вещей, но и мы потеряли двух храбрых товарищей (*весьма тихо*) и ты, прекрасная Олимпия, ранена! Твоя драгоценная кровь...

А т а м а н (*прерывая его, так же тихо, но сурово*). В последний раз говорю тебе, чтобы никогда не называл меня сим ненавистным именем. Вольно было природе подшутить надо мною, произведя на свет девочкою. И перемогла, поставила на своем, и для всех вас не что другое, как Олимпий, атаман ваш!

Тут атаман встал, подошел к толпе пирующих и принял участие в их празднестве. Сильвестр поднялся, бормоча что-то сквозь зубы, и соединился с прочими. Еда поспела, и когда они опорожнили все из котлов и фляг, атаман сделал вопрос: «Чай, храбрые наши товарищи давно уже дома с купецкими пожитками!»

1-й р а з б о й н и к. Надобно думать! Только позволю сказать, атаман, что прежнее наше жилище мне и до сих пор больше нравятся.

2-й р а з б о й н и к. Там мы не знали расставлять часовых. Спи себе на здоровье, сколько хочешь, и ухом не веди. А теперь не задремли!

3-й р а з б о й н и к. Сколько там в пруде рыбы! Сколько, бывало, на зиму насушим мы яблоков, груш и терну!

А т а м а н. Кажется, вы все неглупые люди, а судите по-ребячески. И я не говорю, чтобы в старом нашем провалье было худо, когда нас было не более двадцати человек и когда мы считали себя довольными, если имели что есть и пить. Но когда общество наше начало умножаться достойными членами; когда понадобились нам лошади, телеги, запас без малого для пятидесяти человек, то не вы ли сами видели невозможность сделать все порядочно в захолустьи? Самая же главная неудобность состоит в том, что если земская полиция о нас пронюхала, то для нас довольно было пяти человек, поставленных у выхода; и нашей дружины целая сотня должна по временам или околеть с голоду, или быть перебита, как хомяки, выгоняемые из нор своих вливаемою туда водою. Теперь, напротив, мы при виде первой неудачи имеем пять выходов; а притом и пожитки наши хранятся по равной части в трех разных местах. Выкурят из одного — у нас еще останется два приюта. Довольно об этом! Хотя для меня крайне неприятна эта рана, но быть так! Послушаем опытного Сильвестра и целые шесть дней посвятим покою. Как скоро же я выздоровею, то, не теряя времени, выберу человек двадцать и поведу на хутор богатого скряги пана Яцька. Надобно его избавить от лишнего беспокойства. Теперь отправимся к своему лагерю. К рассвету мы там будем.

После сих слов все скоро убрались и, затянув походную песню, удалились. Я до тех пор лежал, пока доходили до меня голоса их; как же скоро все утихло, я встал и без труда нашел Артамона, бодрственно меня дожидавшегося. Меж тем как я рассказывал товарищу о виденном и слышанном, как делали свои замечания, а более всего дивились, нашед атамана над полу-сотнею храбрых мужчин молодую девку, чего прежде ни в одной сказке и слыхом не слыхивали, взошла варя, а вскоре и солнце показалось. Мы, навьюча лошадей и сами себя, пустились в путь и — как видите — совершили оный благополучно.

ГЛАВА 5

Важное предприятие

— Теперь я понимаю, — сказал Гаркуша, — отчего не оказали вы ни малого удивления, увидя здесь пруд и хижину. Благодарю тебя, Охрим, за твое усердие и расторопность. Мне будет дело употребить в пользу собранные тобою сведения. Мы не постыдим себя и не допустим, чтобы девка нас перещеголяла. Я уверен, что судьба предоставила нам проучить пана Яцька и облегчить сундуки его. Дело это произведем мы в действие на

пятую ночь, дабы тем более досадить безусому атаману. А как у нас мясной провизии не далее станет, как на сей только день, то мы после обеда и отдыха, оставя здесь Охрима и Харька, отправимся на охоту на двое суток.

— Почему же я, — возразил Охрим, — не гожусь вместе с вами сражаться с зайцами, драхвами или даже с одичавшими свиньями. ¹ Вот когда пойдете на пана Яцька, то, пожалуй, я и останусь здесь на часах. С ночлегов, которые, вероятно, не будут отдалены, я буду приносить всю добычу на край пустыни и кидать ее с места первого нашего притона. Харько будет подбирать и на досуге чистить, солить и вообще предохранять от порчи.

Все согласились на сие требование, и когда солнце перекапилось гораздо за половину дневного пути своего, охотники выбрались из пустыни в дубраву.

Во время двухдневного их странствия по лесу ничего достопамятного ни в пропасти, ни в лесу не случилось. Охотники набили великое множество двух- и четвероногой дичи и, между прочим, добыли две свиньи, что более всего их тешило. Охрим все это время от времени перекидывал в пустыню, а Харько подбирал и, как знал, приготавливал впрок. Наконец в условленное время витязи возвратились в свое жилище и другие два дня провели в еде, питье и спанье, дабы собраться с силами, нужными для побеждения пана Яцька и овладения его сокровищами. Наконец настал и пятый день, и сердца их затрепетали. От страха или радости? Они и сами не знали!

ГЛАВА 6

Явление кстаги

Надобно заметить, что у прозорливого Гаркуши не одна охота была поводом к выходу из пропасти. Охота сама по себе; но ему хотелось вместе с тем обстоятельно осмотреть хутор пана Яцька и его окрестности; хотел назначить место приступа самое удобное, дабы успех был несомнительнее. Посему на другой день после полдень, спрятав съестные припасы в заметном месте, приказал он Охриму выводить из лесу. Некоторые из товарищей осмелились возразить, что такое предприятие производить днем

¹ В Малороссии есть обычай, чтобы сохранить экономию, в начале весны выгонять в леса целые стада свиней, гусей и уток; а в глубокую осень собираются загонять в дома. Ни одного разу не проходит, чтобы не оставалось в лесу третьей части. Они со временем совершенно дичают.

спасно; но Гаркуша с важностью отвечал, что если они будут бояться дневного света, то никогда не достигнут той великой цели, до которой предположил он достигнуть сам и довести всех их. Он присовокупил, что как обиды, деланные им и бесчисленному множеству подобных им несчастливцев, совершались и совершаются открыто, явно, то справедливость требует, чтобы и отмщение, или, лучше, мздовоздание, было так же — если не теперь, когда силы их еще слабы, то после, когда они укрепятся присоединением к ним храбрых людей, в которых недостатка не будет, — было открыто, явно — пред людьми и пред богом!

Никто не смел ему возражать, хотя ни один не чувствовал в себе той твердости, того огня, которые одушевляли атамана. Он в короткое время умел так приковать их к себе, к образу чувств своих и мыслей, — не знаю, можно ли так выражаться, — что они, хотя с трепетом, по одному мановению начальника готовы кидаться в огонь и воду. Итак, Охрим, привеся к поясу полную баклагу и спрятав в торбу кое-что съестное, повел их по догадкам к выходу, и они часа через два или три увидели сквозь редкий березняк луг, поле и селение. Сим березняком пошли они в правую сторону, следуя рассказам Ивана, и в самом деле, пройдя с небольшим пять верст, увидели хутор (без сомнения пана Яцька), расположенный на холме, вокруг которого зеленели сады, а в долине протекала речка.

Солнце было еще очень высоко и жар весьма ощутителен, почему и без того утомленные пешеходы решились отдохнуть в тени. Они вошли подальше в лес и разлеглись на мягкой траве. Запас благоразумного Охрима весьма пригодился. Они довольно рассуждали о средствах, как удобнее пленить пана, и об употреблении богатства, которое, без сомнения, им достанется, как услышали невдалеке легкий шум, сопровождаемый тяжкими вздохами. Они протянули головы и увидели крестьянина, севшего под осиною весьма от них близко.

— Клянусь ангелом-хранителем, это Иван, базарный наш знакомец, — сказал Охрим тихо; Артамон подтвердил то уклонкою головы. — Посмотрим, что-то он тут делать будет!

Иван сидел молча и, повеся голову, полез за пазуху; вытащил изрядную флягу, осушил половину, не переводя духа, и опять задумался. Потом встал, вынул из кармана веревочные вожжи и полез на осину. Он прикрепил их к самому толстому сучку, сделал порядочную петлю, спустился с дерева, сел, кончил расчет с флягою и, крепко вздохнувши, произнес следующие слова:

— Надобно признаться, что свет этот для нашего брата никуда не годится! Одно мученье, и — каждый день! Посмотрю, каков-то другой! Если и он таков же, опять повешусь и пойду

в третий и до тех пор буду вешаться, пока на котором-нибудь не сделаюсь паном! И в самой вещи — куда это годится? За всякую малость — пан бьет, жена бьет, сын и дочь матери помогают. Ах, как жаль, что не увижу исполнения последних моих желаний; а я очень уверен, что они исполнятся, ибо поп в селе не раз говаривал, что завещание умирающего человека должно быть неотменно исполнено. Итак, желаю: чтоб пан Яцько со всем семейством дочиста были ограблены: влее этой муки для них не придумаю. Далее: чтоб дом мой сторел вместе с женою; чтоб сын сделался разбойником, перерезал бы шею множеству панов, а после был пойман и предан в руки полиции, а там уже будут знать, что с ним сделать; чтоб дочь моя — чего бы пожелал сей негоднице? Чтоб дочь моя вышла замуж за ревнивого старика, который бы мучил ее лет десять каждую минуту и наконец, ощипавши все волосы, ни одного не оставя, утопил бы или задушил ее! Вот последнее желание умирающего Ивана.

ГЛАВА 7

Отчаянный

Сказав сии слова, Иван перекрестился, поклонился на восток солнца и вторично полез на осину.

— Этот человек, — сказал Гаркуша, — сверх нашего чаяния, нам весьма пригодится!

Он вскочил, все за ним и бросились к отчаянному. Увидя их, он так испугался, что свалился с дерева, зажмурил глаза и притаил дух. После узнали они, что он счел их за лесных чертей, пришедших за его душою. Немалого труда стоило им уверить его, что они люди, и барыша честного люди, и христиане, готовые оказать ему всякую помощь, только бы и он не отрекся сделать им с своей стороны некоторую услугу. Иван, ободренный их словами, согласился засесть с ними около баклаги и, проглотив добрый прием, развеселился и поведал следующее:

— Без сомнения, эти почтенные паны (указав на Артамона и Охрима) объявили уже вам, в каком положении оставили меня при входе в лес, когда увели мою лошадь. Проснувшись, я долго не мог догадаться, вечер ли то был или утро. Видя множество крестьян, идущих в село для продажи лишних изделий, я утвердился на последней мысли. Встав, я почувствовал в пустом кармане тяжесть, опускаю руку и — вынимаю деньги. С великой

радостью пересчитываю и, нашедши целый рубль, не знал, что с ним и делать. Я мало печалился, не видя своей лошади, и пошел прямо в село. Я думал один золотый оставить в шатре, а на четыре искупить все, что жена приказала. Опять нечистый дух наслал на меня соседа, под сбережением коего оставил я свою телегу. Коротко сказать: мы пробыли до ночи и — я започивал. Пробудясь, немало подивился, видя, что лежу на лубке — в сарае, — я задрожал, осмотревшись, — в сарае пана Яцька и прикован к стене железною цепью. Не успел я опомниться, как вошел ко мне сосед и самым печальным голосом поведал, что вчера, видя меня в плохом состоянии, не решился оставить на базаре, а взвалив на телегу, повез домой в хутор. Жена, вышедшая на стук за ворота, видя, что я на чужой телеге, что со мною нет ни денег, ни ожидаемых покупок, не пустила на двор, а потому он решился отвезти меня на двор панский, где я тотчас и был припрятан. Едва сосед вымолвил последние слова, как явился сам пан Яцько с другим моим соседом. Он начал расспрашивать о телеге, о лошади и о деньгах, вырученных за проданные снадобья. А как я отвечал, что черти меня соблазнили и я совсем не знаю, куда что делось, то он с умильным набожным видом отвечал:

— Друг мой! Ты теперь то видишь, как грешно, как опасно связываться с нечистою силою. Я — из христианской любви — тебе открою, как можно ограждаться от наваждения бесовского!

Он дал знак, усердные соседи на меня бросились, в три мига разоблачили, оставя на ногах одни постолы, и по другому панскому знаку начали наделять батогами.¹ Я вертелся и кричал, пока был в силах кричать и вертеться, а лишась их, замолчал и лежал спокойно. Когда увидел пан, что я еле жив, велел перестать и сказал ласково:

— Ну, голубчик, ни на кого не пеняй, как на себя! До будущего утра ты останешься здесь в покое; но как в твоём положении отягощать желудок очень опасно, то не велю давать тебе ни куска хлеба; воды же получишь целое ведро, пей на здоровье, сколько хочешь!

Он вышел с моими соседями, которые скоро принесли воду, поставили подле меня, дали дружеский совет не грустить и вышли, заперши за собою дверь. И самая говорливая шинкарка не в силах будет рассказать вам о мучении, какое претерпел я во весь день и во всю ночь. Поутру явился пан с соседями.

— Иван! — сказал он. — Ты с сего часа свободен на целые два дня. Что хочешь, то и делай; но только чтобы к вечеру

¹ Батог — коим погоняют быков и лошадей.

другого дня ты был на дворе моем с телегою, с лошадью и деньгами; если же не так, то советую тебе лучше утопиться или повеситься, потому что я велю тебя угощать каждое утро так, как угощал вчера, пока не отыщешь своей пропажи.

Меня расковали; я оделся и, поклонясь пану за ласку, вышел из сарая, со двора, из хутора и пошел — куда глаза глядят; но они глядели к гибельному для меня селу, и — я опять очутился на базаре.

По словам соседа, я сейчас нашел свою телегу; но что мне с нею без лошади делать? Я ходил по всему селению, думая, не забрела ли она из лесу туда, — все по пустякам. На мои вопросы отвечали насмешками. Одурь взяла меня. Избитый, голодный, усталый, бросился я в густой бурьян у одного забора и провел ночь хотя покойнее, чем прежнюю на лубке, но все же бессонную. Воображение будущего истязания кидало меня то в жар, то в озноб. Я был болен, пока не решился принять последнее лекарство — умереть. Вдруг горесть моя исчезла; взойшло солнце, и я выполз из своего ночлега, пошел к сберегателю моей телеги и ему же ее продал за два таляра. ¹ Умиравшему человеку житейское на ум нейдет; а потому без дальних размышлений очутился под шатром и начал душу свою приготавливать к походу на тот свет. Путь неближний, и хороший запас нужен. Целого таляра не стало. Я ощутил в себе несказанную решимость. Душа так и рвалась из тела вон! Не теряя времени, оставил я базар и село, и как не было глубокой речки ближайшей, то я и побрел к хутору. Отсюда видно на берегу несколько ветвистых ив. Там совершенный омут. Я разделся, помолился и опустил на дно. К несчастью, я сизмаленька великий искусник в плавании. Едва коснулся ногами дна, как опять очутился наверху, и, вместо того чтобы тонуть, я исправно плывал. Между тем мало-помалу приобретенная храбрость души моей выпарилась, и я опять очутился на берегу, оделся — и, вспомня, что еще остается один род смерти, пошел обратно в село. Зная на опыте, как трудно умирать с тощею душою, и имея желание повиснуть в сем лесу против самого хутора, чтоб скорее меня увидели и казнились мои убийцы, я купил флягу, наполнил ее добрым вином и решился не дотрагиваться до него, пока не прииду на самое место смерти. Я так и сделал; душа моя, вспомня о батогах, которыми терзали бедное тело и обещались терзать еще более, готова была его оставить, как вы, паны, помещали мне, — не знаю — к счастью ли моему или горшему несчастью!

¹ Таляр — называется 60 коп. медною монетою.

Условия

В сем месте повествования Иван замолчал, вздохнул и опустил голову к груди. Гаркуша с жаром протянул к нему руку и сказал:

— Клянусь тебе, что к счастью, только ты сам не должен от него бегать, пока оно тебе улыбается. Понимаешь ли ты, что значит великое сладостное чувство, называемое мщением?

— Нет!

— Я тебе скажу пояснее, и ты, без сомнения, поймешь меня, иначе — ты не человек, а ком движущейся грязи! Отвечай откровенно: если бы какие добрые духи или сильные люди отдали тебе в руки пана Яцька со всем родом и жену твою с детьми и сказали: «Иван! Делай с сими злодеями, что изволишь. Жена не пустила тебя к себе на двор, от того пан узнал твой промах, содрал с тебя кожу и обещал задираť всякий раз, как скоро она подрастать станет». Что бы ты с ними сделал?

— Да этому быть нельзя!

— Представь, что это уже сделалось; и — клянусь отречься навсегда от милосердия ко мне царя небесного, если через три дня сего не будет, — отвечай, что ты тогда сделаешь?

Иван помертвел; с робостью смотрел в глаза Артамону и его собратий; и опять мысль: не с чертями ли он беседует, потрясла все телесное и душевное существо его. Он молчал, потупя глаза в землю. Гаркуша сейчас понял мысль бедного человека; почему, дабы вывести его из жестокого недоумения, он сотворил молитву и перекрестился; товарищи его то же сделали. Иван мало-помалу ободрился и весело сказал:

— Вижу, паны, что вы совсем не черти. Теперь скажу вам, что с паном Яцьком и его семьею, равно как с моею женою и с детьми поступил бы точно так, как желал им, готовясь удавиться!

— Bravo! — вскричал Гаркуша. — Знай же, что это чувство, тобою ощущаемое, называется *мщением*, и в ком нет его, в том нет и любви к самому себе; в ком же и сие чувство угасло, тот перестань называть себя человеком. Слушай, Иван, внимательно: лошадь твоя в нашем кочевьи, в котором мы для охоты пробудем еще довольно долго. Пойдем с нами. Возьми свою лошадь и сверх того пять рублей денег. И то и другое представь своему пану. Скажи ему, что на ярмарке во время твоего сна один знакомый весельчак, желая подшутить, увел лошадь с те-

легою; узнав же теперь, что ты за такую шутку его вытерпел тьму ударов, возвратил все и сверх того дал еще деньгами. На выкуп же твоей телеги и на закупку вещей, женою тебе наказанных, возьми еще пять рублей — с тем, однако, чтобы в роковом шатре не засиживаться! Доволен ли?

Бедный Иван растянулся у ног атамана и едва со слезами на глазах мог пробормотать кое-что о благодарности.

— Благодарность твоя будет состоять в следующем: в третью после сего ночь ты непременно должен быть на дворе панском; если нельзя явно, так хотя скрытно. Как скоро услышишь ты, что филин прокричит за воротами три раза, отопри их как можно тише. Там будем мы и поможем тебе отомстить. А до тех пор — ни одной душе о сем ни слова, иначе...

Словцо *иначе* выразил Гаркуша таким тихим, протяжным, дребезжащим голосом, что Иван задрожал, прервал его и клялся сколько мог усерднее, что все приказания исполнит в точности, то есть не засидится под шатром, сохранит тайну и отопрет ворота.

Склонясь на сие так охотно, Иван ни за что не соглашался итти далее в лес. Почему братство удовольствовалось дойти с ним до того места, с которого Охрим увел его лошадь. А как он места сии знал обстоятельнее прочих, то и послан был атаманом за лошадью; а во время его отсутствия все занялись особенно расспросами о великости имения пана Яцька, об образе его жизни, привычек, о храбрости и пр. Солнце было далеко от заката, как Охрим возвратился с лошадью и отдал ее восхищенному Ивану. Гаркуша, вручив ему первые пять рублей, велел поспешать на ярмарку, взять обратную телегу и, искупив все, что жена наказывала, сколько можно поспешнее возвратиться назад за другими пятью рублями. Иван взмогился на своего иноходца и полетел к селу. Он честно сдержал свое слово и воротился так проворно, как его и не ожидали. Может быть, страх прогневить таких милостивых панов или опасение лишиться обещанных пяти рублей проворно выгнали его из-под гибельного шатра. Гаркуша, осмотрев его покупки, был доволен, отдал деньги, благословил и, отпуская во-свояси, напомнил о его обязательстве. Когда Иван поворотил к хутору, атаман с дружиною тихими шагами пошли к своей пустыне, куда и достигли благополучно и где праздные два дня провели прямо по-праздничному, как сказано выше. Настал третий, роковой день.

Несчастный мечтатель

С появлением дня всякий принялся за работу. Кто чистил ружье, кто оттачивал саблю, кто пробовал в цель из пистолетов. До самого полудня вся дружина занята была приготовлением к самой лучшей стычке, и хотя все работали усердно, но внимательный Гаркуша не мог не заметить, что товарищи его были пасмурны, мало что один с другим говорили, и казалось, каждый готовился на смерть. Ах! Если б они тогда еще могли опомниться! Но Гаркуша не допустил до того. Обедом поторопили, и когда он готов был, атаман — в первый раз своего господства — почти принуждал собратию почаще прикасаться к баклаге. Бодрость — или, правильнее, — самозабвение разлилось в душе каждого, и они, разлегшись отдыхать под тенью дерева, хвастали один перед другим, рассказывая о будущей удаче в своем. Один Гаркуша, уединясь в самую густую часть леса в своей лощине, говорил сам с собою: «Итак, настал наконец день, в который выступлю я из общего круга, для чело- веков назначенного! Доселе был я постепенно: шалун, обманщик, зажигатель, убийца — и все против моей воли. До сего до- водили меня злость и корыстолюбие! Теперь уже я сам собою решаюсь сделаться — милосердный боже! — сделаться разбой- ником! Почему же так? Кто назовет меня сим именем? Не тот ли подлый пап, который за принесенное в счет оброка крестьян- кою не совсем свежее яйцо приказывает отрезать ей косы и продержать на дворе своем целую неделю в рогатке? Не тот ли судья, который говорит избличенному в бездельстве компанейщику: «Что дашь, чтобы я оправдал тебя»? Не тот ли священ- ник, который, сказав в церкви: «Не взирайте на лица сильных», в угодность помещику погребает тихонько забытых батогамы или уморенных голодом в хлебных ямах? О беззаконники! Вы за- были, что где есть преступление, там горнее правосудие воздви- гает мстителя? Так! Я мститель и не признаю себе другого имени!» Так-то мечтал несчастный, которого необразованная душа не могла привести в порядок ощущений, рожденных бурей страстей его! Ах, как жаль, что природа, одарившая сего погибающего столь щедро прекрасными дарами духа и тела, для чего не была она на то время в дружеской связи с судьбою, которая, — поставив его в лучшем кругу обществен- ном, — подарила бы отечеству, а может быть, и всему свету бла- готворителя смертных, вместо того что он выходит ужасный бич их, тем опаснейший, что мечтает быть исполнителем горней воли!

Закатывающееся солнце краем круга своего коснулось уже небосклона, как Гаркуша с братством своим достигли перелеска

против самого хутора пана Яцька и расположились в том самом месте, где они познакомились с Иваном. Время текло для них весьма медленно, и храбрецы легко бы опять призадумались, если бы атаман не умел зажечь их своими рассказами о будущей их покойной, счастливой жизни.

— Несколько удачных опытов, — говорил он, — и мы богаты; отправимся в места самые отдаленные, где бы мы были совершенно неизвестны, обзаведемся хозяйством, не будем знать над собою никаких начальников, кроме бога и царя, и под ними собственно избранные нами. Кто тогда может быть нас благополучнее?

Таковые речи атамана и воспламененное от вина воображение вновь раздули угасающие искры мужества слушателей, и вся шайка, хотя и малолюдная, казалось, составляла одного человека. Настала ночь глубокая. Гаркуша с товарищами отправился к панскому дому, перешел через мостик речку, и скоро все очутились у ворот.

ГЛАВА 10

Разбойник

Охрим, который был великий искусник подражать голосу многих зверей и птиц, по условленному знаку три раза прокричал филином. В непродолжительном времени ворота отворились, и явился бодрственный Иван. Витязи немедленно его обступили, благодаря за сдержанное свое слово.

— Паны! — сказал Иван. — Вы пришли очень кстати. — При сих словах он надел бриль на сторону головы. — Все панство спит, и в хуторе нет никого, кроме нас с соседом, а все в поле на панской работе и не прежде придут, как завтра к вечеру. Сказывайте, что я должен делать?

— Вести сейчас в панскую опочивальню, — сказал Гаркуша, — а предварительно снабдить нас веревками и фонарем!

Иван бросился в конюшню и мигом воротился с требуемыми вещами. После сего все вместе сколько можно тише вошли в дом, а там и в спальню. Пан Яцько, нимало не предчувствовавший имеющейся постигнуть его судьбины, покоился глубоко сном подле своей паньи. Шайка разделилась. Трое бросились на пана, а двое на его супругу; Иван усердно присвечивал. Прежде нежели сонные могли хорошенько опомниться, уже были крепко-накрепко скручены по рукам и по ногам. Пан Яцько, зная, что из мужчин, стоящих назваться сим именем, никого нет дома, не почел за нужное кричать и сохранял голос свой для

нужнейшего времени; зато жена его, хотя также знала, что все люди в поле, а на двух очередных девок мало было надежды, — однако так завопила, что у всех завяли уши. На вопль ее прибежали полунугие сын и дочь и вмиг были схвачены, скручены и положены на полу рядом. Поднялся двойной крик, подобный крику журавлей, когда хитрый охотник подкрадется и по целому стаду выстрелит. Гаркуша, видя, что увещания его не пугаться совсем не действуют, вероятно оттого, что никто из них не мог слышать слов его, вынул из-за пояса пистолет, взвел курок и сказал:

— Если вы не уйметесь, паньи и ты, молодой пан, то я принужден буду однажды навсегда остановить язык ваш и заткнуть горло.

Сия краткая речь, проговоренная с приличным взором и движением, подействовала успешнее, чем Цицеронова за Милона.

— Пан Яцько! — воззвал Гаркуша: — мы проезжие люди и посбились в дорожном запасе. Слыша же, что ты заживной человек и притом весьма ласковый, зашли к тебе отужинать.

П а н Я ц ь к о (*с тяжким вздохом*). Ах, честные паньи! Вам, видно, злодеи наши донесли ложно. Мы люди крайне небогатые, и от одного дня к другому почти ничего не остается.

Г а р к у ш а. Мы неприхотливы и малым довольны будем. Но чтоб тебя не беспокоить, то мы сами потрудимся поискать чего-нибудь. Где твои ключи? Поддай сюда!

П а н Я ц ь к о. Я никогда при себе не держу их, да и не от чего. Они всегда у жены.

Ж е н а. Я отдала их дочери.

Д о ч ь. Я, гуляя по вечеру в саду, уронила в траву и никак не могла найти.

Под густыми черными бровями Гаркуши заблестали глаза, подобно двум свечам, являющимся страннику в ночь темную на местах топких. Но он вдруг удержал себя и произнес, повидимому, довольно равнодушно:

— Мы для того и путешествуем, чтоб научиться переносить всякие неудобства. Ты Кузьма, и ты Охрим, останьтесь здесь для соблюдения покоя, а прочие ступайте со мною.

Они зажгли несколько свечей, оставили часть с кустодиею, а с прочими пошли по указанию Ивана. Что значили запоры и замки панские пред орудиями разбойников? Как гнилая ве-тошь, все расплозлось под их ломом, и внутренность прельстительного сундука отверзлась. Все ахнули от радости, видя дородные кошельки, серебром начиненные; а в одном шелковом довольно количество цельных голландцев. Осмотрев другие сундуки, не нашли ничего, кроме платья, белья и мелких потребностей пана, жены его, сына и дочери.

— Иван! — сказал Гаркуша. — Подведи к крыльцу две лучшие лошади из конюшни с четырьмя крепкими переметными сумами.

В ожидании Ивана они начали осматривать покои пана, нашли изрядный запас в добрых наливках и начали лакомиться, послав к Охриму и Кузьме полную сулею, дабы и тем не скучно было глядеть на вздыхающих узников. На стене где-то найдены большие серебряные часы и представлены атаману. Гаркуша, взглянув на них, пришел в смущение и сказал:

— Пospешим! Скоро займется заря! (В короткое время пребывания его в доме своего пана Аврамия успел он выучиться различать по часам время, хотя еще не дошел до того, чтоб мог продлить их движение.)

Когда он хотел послать к Ивану с приказанием поторопиться, тот, вошед, объявил, что лошади готовы; почему, нимало не медля, все имущество пана Яцька перекладено из сундуков в переметные сумы; серебро, платье, белье, даже убранство женское казалося им неизлишним. Золото атаман припрятал к себе. Тогда, сменя Охрима Исаком, велел первому немедленно с тремя другими поспешать с сокровищем в пустыню, что в ту же минуту и предпринято. Оставшись сам-третей, атаман явился в хранине скорби и сетования, сказал самым важным голосом:

— Согласись, пан Яцько, что все на свете сем подвержено беспрестанным переменам, быстрым, неожиданным. Ты это неотменно знал, ибо уже полусед; или, по крайней мере, должен был знать, ибо ты родился, рос и начал стариться паном и христианином. Для чего же ты мучил каждодневно людей, поставленных судьбою к твоим услугам? Разве не довольно с тебя было — в праздности, неге, совершенном бездействии, лежа — как говорится — на боку, есть, пить, курить тютюн и спать? Для чего ты мучил самого себя, не пользуясь самым необходимым и подвергаясь чрез то истощению сил и болезням? Разве теперь приятно будет тебе видеть крепкие сундуки свои опустошенными совершенно? Не походишь ли ты на того богача, которому сказано было: «Безумный! Ты собираешь богатства, не зная, кому что после тебя достанется!» Ну, пусть так! Лишением серебра и золота, выплавленного — можно сказать — из крови, поту и слез твоих подданных, ты и семья твоя уже наказаны; но все еще остаетесь в долгу относительно к беднякам, которых вы называли *своими*, и долг этот так запущен, что может сделаться неоплатным, если я теперь же не возьму на себя труда поквитаться вас. Сим поступком исполню я волю правосудного неба, рано или поздно карающего беззакония, и сделаю вас счастливыми. Поверь мне, пан Яцько, с сегодняшнего утра ты можешь наслаждаться жизнью. Кто запрещает тебе быть бережливым, домостроительным, степенным человеком, каковых есть до-

вольно, — это добродетель, приятная и самому и другим; но неумеренная скупость, постыдное скряжничество есть порок гнусный, отвратительный, недостойный терпим быть в обществе человеческого! От этого-то порока постараюсь я отучить всех вас...

Он дал знак — и пана Яцька митом сволокли с постели на пол; а догадливый Иван в минуту явился с пребольшою вязанкою лоз. Начался урок — единственный в своем роде. Несмотря на вопли мужа, жены, сына и дочери — Гаркуша холоднокровно говорил:

— Сему никогда не бывать бы, если бы вы помнили, что вы состоите из такой же плоти и крови, как ваши подданные. Вы этого не хотели знать, не верили. О! Справедливость требует уверить вас в сей истине! Продолжайте, почтенные наставники! Продолжайте как можно ревностнее; добрые люди сии того стоят!

Пан Яцько перестал вопиать и клясться, что впредь будет отцом своих подданных и самым чивым человеком. Дан знак — и его перестали увещевать, а принялись за панью, а напоследок за достойные отрасли знаменитого дома. Когда же все весьма достаточно были наставлены, как должно вести жизнь прямо панскую, Гаркуша сказал:

— Я сам, пан Яцько, медицину знаю не плоше тебя; и, кажется, поступлю основательно, когда тебя и семью твою оставлю в сем положении до возвращения с поля крестьян твоих. До тех пор вам вредно было бы что-нибудь есть или пить. Оставайтесь с миром — и помните Гаркушу!

Он вышел с своею свитою — и прямо на двор Ивана. Там тоже досталось жене его, сыну и дочери, да и с лихвою. Разумеется, что разъяренный Иван не жалел ни рук своих, ни ног, ни языка. После сего все простились с хутором, не прежде, однакож, пока Кузьма и Исак не понавелись еще раз в панскую кладовую и не взяли на дорогу кое-чего, утоляющего алчбу и жажду.

ГЛАВА 11

Новый собрат

Когда вступили они в пределы леса и Иван, отчасти догадываясь, какого рода были новые его знакомцы, благодетели и мстители, начал балясничать со всею веселостью свободного человека, предполагая наверное, что и он за оказанную им услугу будет принят в товарищи сего прекрасного общества, чего ему хотелось от чистого сердца, — Гаркуша, остановясь, сказал хотя ласково, но весьма важно и решительно:

— Иван! За оказанную тобою нам услугу ты должен быть награжден. Тебе ни воротиться к пану, ни следовать за нами невозможно. На границах Китая есть места, где люди ведут жизнь пресчастливую. Я отсчитаю тебе пятьдесят червонцев, и сих денег на первый случай весьма для тебя достаточно, а между тем и мы все не замедлим прийти туда же и жить будем по-братски.

Атаман вынул кису с золотом и начал считать, как Иван, переменявшись в лице и со слезами на глазах, сказал ему:

— Благодарю за щедрость! С меня довольно будет и одного червонца, чтобы купить веревку и столько запасти жидкой силы для придачи храбрости душе своей, что надеюсь повиснуть на дереве без малейшего страха! Да и куда пойду я с деньгами? На заставе меня спутают, а увидя золотые деньги, запропасть навек. Притом же я не только не знаю дороги до Китая, но в первый раз об нем и слышу. Всего лучше умереть добровольно и на своей родине. Мне ничего не осталось желать на сем свете. Пан Яцько с своею семьею и жена моя с своею не скоро забудут друга своего Ивана.

Такие речи опечаленного Ивана тронули и самого Гаркушу; а Исак и Кузьма — хотя были свирепейшие головорезы из всей шайки — явно взяли сторону обманувшегося в своих надеждах и представили атаману, что отпустить его от себя значит предать на жертву очевидной гибели.

— Может быть, и так, — отвечал Гаркуша, — но я обявлялся пещись о безопасности целого братства. Кто из вас поручится мне, что тот, кто изменил своему господину и предал его в неизвестные руки, не скорее, не охотнее сделает то же и с нами? Исак, отведши его на сторону, сказал:

— Разве мы не то же бы самое сделали с вероломным паном Авраимом, хотевшим пожертвовать нами для своей безопасности, если бы только были в возможности? Мы изменили ему побегом; при всем том — думаю, надеюсь, уверен, — что нет нигде общества дружнее нашего, радетьнее к общим пользам, вернее в своих клятвах!

— Иван! — воззвал Гаркуша, подошед к нему. — Ты хочешь быть членом нашего общества! Знаешь ли, к чему обяжет тебя исполнение сего желания? Ты должен будешь отказаться от многих привычек, которые, вероятно, превратились в тебе в самую природу; должен будешь сохранить умеренность во всем, хотя с первого раза, может быть, покажется тебе, что в нашем братстве все позволено; ты должен будешь приучить себя с величайшим терпением сносить холод, зной, голод, жажду и бодрствовать тогда, когда все в мире покоится. Строг и взыскателен был пан твой Яцько; но клянусь тебе общим судьбою нашим, что я — поставленный провидящим небом в начальники

нашего общества, еще строже, еще взыскательнее. Я всякому отец, друг и брат, пока он того достоин; в противном случае — судья самый неумолимый. Малейший вид раскаяния, уныния, покушения к измене наказан будет мучительнейшею казнью!

— Хотя бы эта казнь была ужаснее казни адской, — отвечал Иван решительно, — я желаю быть вашим собратом. В чем мне раскаиваться, когда из раба делаюсь свободным? От чего приходиться в уныние, когда не буду видеть более ни скряги пана, ни злобной жены своей с безбожными детьми ее? В чем изменит тот, который решается или быть вами принят в свое общество, или умереть насильственной смертью? Что же касается до перенесения с терпением холода, голода и жажды, то обойди всю Украину, боюсь, нигде и никого не сыщешь столько к тому привычними, как подданные нашего пана Яцька!

— Когда так, — сказал Гаркуша величаво, — то и я согласен. Поздравляю тебя; ты наш собрат!

После сего, непосредственно по приказанию атамана, Иван приведен был Исаком к присяге на верность; облобызал десницу атамана и ланиты новых собратий и с великим восхищением следовал за ними. Однако Гаркуша, хотя и совершенно был уверен в его к себе преданности, не хотел оставить правил осторожности и потому, приближаясь к пустыне, когда еще и краев ее не видно было, приказал завязать Ивану глаза, что в тот же миг было исполнено, и ему не прежде их открыли, как на берегу пруда у своих хижин. Новый собрат был представлен остальным членам почтенного общества, и все единодушно были тем довольны.

ГЛАВА 12

Успешная дерзость

Излишним будет сказывать, какое поднялось торжество по случаю одержания победы. Едва ли и удалцы безграмотного атамана Пизарра столько тщеславились, получив вероломством в плен и задушив добродушного Аталибу, монарха Квитского, как величались безумцы наши, рассказывая один другому то, что все они видели, слышали и делали и что поэтому всем было известно. Они превозносили кротость, милосердие и бескорыстие атамана и клялись, что каждый из них на его месте поступил бы суровее. Гаркуша на лезть сию, нимало ему не льстившую, отвечал:

— Видите ли, братья, сколько один удачный опыт переменил вас? Не вы ли, вступая за мною в ворота панские, не только казались, но и в самом деле были смущенны, робки, ото-

ропелы? Из сего каждый заключи, что атаман лучше знает ваши способности, нежели вы сами! Каждый из вас до сих пор спал — в течение тридцати лет и более, — теперь надобно умеючи разбужать вас! Пусть день сей и другой посвящены будут совершенному покою; а после я с несколькими из вас отправлюсь дня на три или и более в ближний город для закупки свинца и пороха и надлежащего обозрения недалных хуторов и осведомления о их помещиках. Сделав сие, мы рассудим вообще, как, когда и на кого обратим гнев и мщение или пощаду и милость!

Не распространяясь подробно в описании всех дел атамана Гаркуши и его шайки, которые с увеличением успехов придавали ему более и более дерзости, воспаляли и без того буйное, не знающее границ полету своему воображение и уверяли, что он действительно избран небом быть судьей над неправосудием, над жестокостью и вообще над несправедливостью, скажем, что по окончании осени он разграбил более десяти хуторов и свирепствовал над помещиками оных, простирая жестокость свою до того, что нескольких умертвил мучительною смертью. После каждого нового нападения шайка его умножалась приметно. Лишенные за распутную жизнь звания своего церковники, здоровые нищие, лишившиеся всего имущества своего от лени, пьянства и забиячества, избалованные слуги господские, которым всякая работа казалась несносным отягощением, беглые рекруты, не нашедшие себе нигде надежного приюту, — все таковые были принимаемы в сообщество Гаркуши, только бы имели они крепкие руки и ноги. Когда он увидел себя неограниченным повелителем сотни бездельников, готовых сразиться с целым адом, то дерзость свою простер до того, что напал на большое селение. Там встретили его порядочно; вышло кровопролитие, с обеих сторон падали ратующие, и — хотя крестьяне сражались за свое имущество, за безопасность семейств своих, за самую жизнь свою, но будучи вооружены только кольями, цепами и косами с редкой заржавленной рогатиною, которою ратовали предки их с ведьмами, оборотнями и вовкулаками, могли ли устоять против большой толпы отчаянных злодеев, которые очень знали, что если попадутся в плен, то погибнут позорною смертью, и если отступят, то тут же падут под ударами атамана или своих начальников, ибо он из шести земляков своих, бежавших с ним от пана Аврамия, пятерых пожаловал в есаулы и всю шайку разделил им в управление, предавая себе власть неограниченную над всеми. Разбойники одержали совершенную победу, выгнали крестьян из селения, разграбили дома, не пощадив даже и двух церквей, взяли все, что только им приглянулось, и кончили тем, что по приказанию своего властелина зажгли село местах в двадцати, покидали в пламя трупы убитых своих товарищей и крестьян и с неописан-

ным торжеством отправились в свою пустыню. Когда достигли оной и в атаманском доме сложили свою добычу впрямь до раздела, Гаркуша велел всем выстроиться у пруда и, ставши на середине, произнес следующую речь:

— Надобно сказать правду, храбрые друзья мои, что мы в течение лета и осени довольно потрудились, столько, что [без] нарекания совести можем провести в покое наступающую зиму. Последний поход наш в годе сем — будет венцом наших подвигов. До наступления весны всякий из вас может заняться тем, что ему более нравится. Все позволяю: но только с тем, чтобы в обществе нашем не было ни ссор, ни ябед; тем менее зависти и злости. Если кто-либо изобличен будет в сих преступлениях, жестоко накажется. Всякой необходимой потребности для нашего общества — если не ошибаюсь — будет достаточно до самого лета. Мы будем сыты и согреты. Бог никогда не оставляет людей, чтущих и исполняющих волю его. До сих пор били мы злых людей и обогащались их достоянием. Теперь будем бить волков и медведей и обогащаться теплыми их шкурами, а сии звери в лесах то же самое, что между нами дворяне. Однако без моего ведома никто да не осмелится сделать хотя шаг из нашей пустыни. Когда же дождемся весны и дубрава наша опустится снова густыми, непроницаемыми листьями, а озера и болота растают и сделаются непроходимыми, тогда, соверша господу богу надлежащее благодарение за успехи в минувших опасностях и испрося от него благословение для будущих, выступим из сего зимовья на дело, и я надеюсь, что в течение будущего лета возьмем приступом столько сел, сколько в сию кампанию взяли хуторов. Я почту себя счастливым, если правосудный бог услышит и удовлетворит умеренному моему желанию, состоящему в том, чтобы военные действия следующего года кончились — взятием какого-либо города. Но как для этого надобно непременно удвоить число нашей собратии, то у меня взяты уже к тому надлежащие меры. Впрочем, уверяю вас, что прежде поступившие в службу мою всегда будут иметь преимущество пред последне-принятыми, если только всегда будут храбрые, честные люди. Может быть, некоторых из вас соблазняет сегодняшний случай, что я, не пожалев крови человеческой, сожег в пламени многих старцев, жен и младенцев и что не усомнился разорить две церкви. Всякий из вас, о сем недоумевающий, пусть припомнит, что дело мое и дело общее — есть мщение за обиды, причиняемые сильными слабым. Не посылал ли я к священникам с повелением объявить всем жителям селения, что я иду к ним с миром, а потому и они приняли бы меня как гостя и друга? Не довольствовался ли я одним требованием выдать мне панов своих с семействами и совершенно положиться на правосудие мое и кротость? Вы сами были свидетелями, что вместо

исполнения умеренных моих желаний высокомерные и вместе подлые пастыри воспламенили умы словесных овец своих буйством и ожесточением. Ослепленные поселяне вместо принятия нас с распростертыми объятиями как своих избавителей выступили противу нас как врагов своих и — были наказаны за свое неразумие. Что же принадлежит до церквей, то им давно известно, что они сооружены осмью панами, живущими в селе том, на складочные деньги, вымученные у бедных подданных и полученные от гнусной, беззаконной торговли дочерьми тех несчастных, сынами и братьями. Согласитесь все, что таковые памятники людского беззакония не должны быть терпимы тем, кто праведным небом избран быть мстителем беззаконий!

ГЛАВА 13

Разбойничье зимовье

Так умствовал несчастный иступленник и так развратных послушников своих делал еще развратнее. Однако, истребляя в них мало-помалу последние чувства человечества, с истреблением благоговения к предметам священным, он всячески старался ни на волос не ослабить своего самовластия. Спокойно слушая насмешки и хулы над святынею и ее служителями, он не оставил бы без строгого взыскания и малейшее против особы своей невыгодное слово; да и примера не было, чтобы как тогда, так и после хотя один из шайки осмелился даже в его отсутствии сделать о поступках его какое-либо противное суждение. Все были уверены, что каждый их шаг, каждое слово совершенно известны атаману.

В течение прошедшего лета и половины осени все свободное время посвящено было на построение жилищ для умножающейся братии. Чтобы не разредить пустынного леса, они рубили годные деревья наверху и низвергали вниз. За работниками и материалами дело не останавливалось, ибо в шайке были искусники во всяком роде рукоделий. К означенному времени, когда объявлен всем зимний отдых, у них готовы были с дюжину просторных хат, вокруг пруда расположенных, а для атамана выстроен домик на таком месте, что он из окон своих мог видеть, кто выходил, где был и когда возвращался; прежние же хаты обращены в магазинны для поклажи хлеба, соли, вина, всего мясного и рыбного, разного рода вооружений и одеяния всех состояний, не исключая даже нищенского и монашеского. Деньги хранились в доме атамана, а порох, пули и дробь в особом подземном погребе.



Не должно оставить в молчании, что Гаркуша с первого своего подвига против пана Яцька при всяком случае не упускал объявить своего имени. Было ли это глупое тщеславие, или ребяческая ветреность, или непомерное самонадеяние, или все вместе, определенно сказать нельзя. Вероятнее же заключить можно, что таковым поступком, совершенно неупотребительным между людьми его промысла, хотел он утрашить умы жертв своего неистовства, дабы они тем скорее покорялись воле его; к подкреплению же планов сей политической уловки он, не подражая никому из прежде бывших бичей человечества, а внушенный собственным дарованием, или — как он изъяснялся — своим ангелом-хранителем, имел, где только почитал за нужное, шпионов, через которых узнавал мнения о себе народа и правительства. Шпионы сии являлись в разных одеяниях; шатались по церквам, базарам и шинкам и рассказывали легковерному народу о своем атамане чудеса, которые приводили всех в трепет. Они за несомненную истину рассказывали, уверяя, что слышали от самих очевидцев, что Гаркуша имеет у себя шапку-невидимку, с которою может быть везде и во всякое время, видеть и слышать все, не будучи сам ни видим, ни слышим; что никакая пуля его не возьмет; а если кто хочет в него попасть, то должен стрелять не в него, а в тень его. К сим нелепостям присовокупляли они великое множество других, суеверные крестьяне вздыхали и не знали, что думать и делать; они пожимали плечами и сквозь слезы говорили: «Видно, так угодно богу; видно, мы много грешны, что он насрал на нас беду тяжкую!»

Настала зима с своими сопутниками — снегами, морозами, ветрами и метелями. Дубровье сделалось еще непроходимое. Кроме свиста бурь, реву медведей и завывания волков — ничего не слышно, — кроме обнаженных деревьев с седыми ветвями, кроме бугров снегу, день ото дня увеличивающихся, ничего не видно. Однако в пустыне много тише и покойнее. Высокие обрубистые стены и густота леса около хижин защищали их от ветров. Разбойники проводжали время в еде, питье, спанье и картежной игре; и как атаман до сих пор не давал никому собственно денег, кроме как для нужд общественных, то они играли в простые игры; и сим способом предусмотрительность атамана избавила шайку от ссор, драк и легко могшего произойти убийства. Чем же занимался сам атаман в своем уединении? А уже известно, что беспокойный дух его не мог проводить продолжительное время зимнее в праздности; делить же беседу и забаву своих подчиненных — он считал теперь за нечто низкое, могущее обесславить имя его и поколебать власть и господство. Он окружил себя пятью есаулами (как сказано выше, ибо Харько в военные дела вовсе не мешался, а с помощником своим Ива-

ном знал только атаманскую поварню); с ними проводил утра за трубками тютюну при рассуждениях о прошедшем и предприятнях насчет будущего. Скоро, однако, нового собрата нарек он есаулом, приобщил к лику избранных и, нашед в нем столько же приятного собеседника во время мира, сколько прежде находил храброго наездника во время войны, подарил полную своею доверенностью, а мало времени спустя и прочие есаулы увидели, что он того стоил, и полюбили от всего сердца. Вся шайка не могла не одобрить такового выбора атаманского.

ГЛАВА 14

Есаул Сидор

Новый любимец сей назывался Сидором. Все, в чем мог он жаловаться на природу, обидевшую его при рождении, было то, что он вышел на свет с ногами, похожими на букву «S», и головою, похожею на сомовью. Он был единственный сын сельского священника Евплия, а потому чадолюбивый отец заблаговременно начал приспособлять его к занятию некогда своего места.

До пятнадцатилетнего возраста Сидор рос, как растет жеребенок, не знающий за собой никакого дела. Едва мог он кое-как по складам прочесть однажды в сутки трисвятое и господню молитву. О сем пекся заботливый дядя Макар, отставной капрал, меньшей брат Евплия, а отец никак не решался мучить ребенка. Когда же сей суровый дядя указал родителям, что ребенок их начинает мешать девкам полоть огород, то они взяли то в рассуждение и с пролитием обильных слез отвели его в школу к пану дьяку Сысою, человеку, правда, суровому, но зато первому грамотею в селении. Менее чем в две недели прозорливый дьяк увидел, что ученик его ничего не знает; а потому, чтобы не потерять доверенности, принялся, вопреки сильным увещаниям родителей Сидора, наставлять его по своей методе. За каждую букву, ошибочно произнесенную, ударял он его по спине деревянною колотушкою; такой способ научения мудрости показался родителям крайне неудобным, и они хотели взять сына обратно, но воинственный дядя его, который, вероятно, не одну стойку выдерживал каждодневно, весьма обстоятельно и сильно тому противился, доказав а posteriori,¹ что если они возьмут сына из школы, то отец должен будет иерейство свое

¹ На основе опыта (ред.).

передать в чужой род, ибо законом-де запрещено постригать безграмотных. Притом — представляя себя в пример — говорил: «За одного битого двух небитых дают, да и тут не берут», и что «ученье свет, а неученье тьма». Такowymi доводами убеждены были родители совершенно и, вместо того чтобы взять сына домой, решились поручить дяде его высечь, дабы впредь учился прилежнее, а не жаловался на учителя пана дьяка Сыся. Дядя охотно и ревностно исполнил сию их волю, и Сидор в первый раз ощутил на себе действие лоз и ловкость замашек дядиных. С тех пор перестал он жаловаться на пана дьяка, но учился попрежнему, а потому и колотушка почти не сходила со спины его. Так прошел год, так прошел и другой, и родители Сидора, к неописанной радости, услышали, что сын их выучил многотрудный часослов и совокупными силами принялся за многотруднейшую псалтырь и рукописание. Торжество сие скоро умалилось несчастливым происшествием. Сидор на беду свою прельстился на спелые большие дули, росшие в саду дьяка Сыся. Избрав время, когда все ученики твердили свои уроки во все горло, а учитель бегал от одного к другому с плетью, Сидор отпросился за нуждою из школы и — прямо в сад, а там и на грушу. Когда он вдоволь насыщался вкусными плодами, проснулась дьячиха, недалеко спавшая в гороховой борозде своего огорода, и, увидя вора, закричала: «А что ты делаешь?» У Сидора опустились руки, косые ноги одна от другой — как то от электрической силы — бросились в разные стороны, и он — по вечным законам природы — полетел вниз головою. Растянувшись у корня древесного, он кричал ужасным образом, стонал и катался по земле. Дьячиха бросилась повестить о том мужа, который, услыша, опрометью побежал к недужному, и вся школа за ним последовала. Сидора нашли едва дышащего. По надлежащем осмотрении нашли, что он лишился навсегда левого глаза, который и увидели вскоре висевшим на остром сухом суке дерева. У него также переломлена была правая нога, и весь избит до крайности. Оторопелый дьяк не нашел ничего лучше, как отнести его к родителям, что исполня с помощью жены и нескольких учеников, объявил отчаянным, что Сидор, воровски взлезши на грушу, оборвался и был сам причиною своего несчастья.

— Точно так, батюшка! — подхватила дьячиха. — Я, увидя его на дереве, ни слова более не сказала, как только: *а что ты делаешь?*

— Так ты его испугала, — вскричала попадья, отвечивая ей пощечины.

— Так он же сам собой сорвался, — заревел дядя Макар, вцепясь одною рукою в пучок пана дьяка Сыся, а другою со всего размаху стуча по голове его, спине и ребрам.

Горестное зрелище сие кончилось тем, что пан дьяк с женою были избиты, измяты, исковерканы от макуш до пят и выброшены за ворота с угрозами искать на них в Консistorии. Ученики, помогавшие нести к отцу Сидора или только из любопытства за ним следовавшие, довели кое-как дьяка с сожительницею в дом их и уложили в постель, в которой пролежали они целую неделю.

ГЛАВА 15

Удар за ударом

К счастью Сидора, дядя Макар был несколько лет службы своей лазаретным прислужником, а потому пластыри и примочки гораздо ему примелькались. Он принялся пользоваться племянника, и когда в первый раз надобно было натереть Сидора спиртом, то он к великому своему недоумению на спине его заметил изрядный нарост, простиравшийся между крыльцами во всю спину. Изумленный дядя начал разглядывать, ощупывать сию прибыль и скоро уверился, что это зародыш будущего горба. «Вот тебе и колотушки учительские!» — думал он и решился ничего не говорить о сем родителям. Мало-помалу Сидор начал оправляться и через три месяца совершенно выздоровел, а горб с каждым днем увеличивался. Родители то заметили и зарыдали и плакали бы долго, если бы красноречивый дядя Макар не уверил их совершенно, что горб нимало не попрепятствует племяннику его быть попом, ибо всякие ризы делаются такого покроя, что хотя бы кто имел горб верблужий, приметно не будет!

Сидор остался в доме родительском и сам себя совершенствовал в науках читать псалтырь, требник, жития угодников и писать с титлами, словотитлами, ериками и кавыками. Более трех лет все шло успешно; как неожиданное ужасное происшествие поколебало навсегда покой святительского дома и погрузило оный в бездну злополучия.

Подобно громовому удару, мгновенно ниспадающему на предмет своего поражения, получен был отцом Евплием циркулярный указ из Консistorии, коим предписывалось, чтобы он в самоскорейшем времени представил сына своего в семинарию, ибо-де сделано постановление, чтобы все первородные священнические сыновья, должествующие занять места отцов своих, непременно были люди ученые. Отец и мать ахали и крестились; но разумный дядя Макар произнес с важностью:

— Чего же вы испугались? Разве наш Сидор неграмотен? Поезжай с богом в город; пусть там испытают его во всякой учести; я поручаюсь, что он лицом в грязь не ударит!

Когда настал день отъезда в город, то Макар сказал своему брату:

— Недавно вошла мне в голову предорогая мысль, которая как не совсем еще созрела, то я не прежде тебе ее открою, как по прибытии в город, и для того-то я с вами еду.

Приехав на место и отдохнув от дальнего пути, Макар сказал:

— Послушай, брат! Если ты представишь сына своего ректору семинарии, то делу твоему и конца не будет; я на людей сих довольно насмотрелся. Он пошлет тебя по всем мытарствам; ты должен будешь на каждом шагу развязывать мошну свою, исправно вытряхивать, и все будет казаться мало. Мысль моя, о которой говорил тебе еще в селе, состоит в том, чтобы затеяться прямо к преосвященному, представить ему Сидора, челобитье в руку и просить приказания испытать в науках сына и дать в том свидетельство, дабы ты мог быть благонадежен, что священство от него не ускользнет.

— Но ты забыл, братец, — отвечал со вздохом Евплий, — что значит доступ к архиерею — для нашего брата!

— Ничего! — возразил Макар. — Ты то забыл, что я последние два года службы провел с полком в сем городе; знакомых у меня много, а в числе их один из келейников его преосвященства; малый пожилой, веселый, гуляка. Когда ему сунешь в руку красную да письмецо от друга его Макара, так позолоченные двери мигом для тебя отворятся.

Отец Евплий послушался благого братского совета; начали приготавливать писания общими силами, а Сидора заставили с утра до ночи потеть над минеями, патериком и проч. и писать каракули под титлами и с кавыками. Когда все было изготовлено, отец Евплий, предварительно отправившись один на святительский двор, отыскал по надписи нужного ему человека, и когда тот прочитал письмо и прилежно рассмотрел вложенную в оное красную бумажку, то принял его ласково и, не откладывая дела вдаль, назначил другой же день для представления Сидора его преосвященству. Хотя на таковые обещания архиерейских келейников столько же полагаться должно, как на обнадеживания губернаторских секретарей, однако сей муж был — не ручаюсь, может быть первый раз в жизни — устойчив в своем слове и на другой день во время, близкое к полудню, ввел в письменную комнату владыки отца Евплия с сыном. Архипастырь, уставший — как приметно было — от умственных упражнений, в простом комнатном одеянии ходил взад и вперед, и сия-то простота одежды придала бодрости нашим поселянам,

Архиерей (*осмотрев пристально обоих, а особливо сына*). Чего ты, честный иерей, от меня хочешь?

Евплий (*земно кланяясь*). Прошу всеуниженно удостоить прочтением сие рукописание! (*Подает ему просьбу.*)

Архиерей (*прочитав, с недоумением*). Этот молодец—сын твой?

Евплий. Единородный!

Архиерей (*к Сидору*). И ты так сведущ в науках, как в просьбе сей написано?

Сидор (*отважно*). Не хвастовски сказать, редкий меня перещеголяет!

Архиерей. В каких же особенно ты упражнялся?

Сидор. Во всех!

Архиерей. Это уже слишком много! Будь со мною как можно чистосердечнее и не скрывай сил своих и не бери на плечи лишней ноши сверх возможности снести. Которая часть философии тебе более нравится и которую ты преимущественно занимался?

Сидор. Такого имени отродясь и не слыхивал; а есть у нас в селе одна Софья, дочь нашего знахаря; но я не занимался ею, и она мне не нравится: такая рябая, такая косая.

Архиерей (*удивленный*). Не столько ль же знаком ты и с богословием?

Сидор. О нет! С Софьею я знаком; а о бже и об ослах только что читывал!

Архиерей. Прекрасно!

Евплий (*низко кланяясь*). Милостивейший архипастырь!

Архиерей (*к отцу*). А сколько лет твоему сыну?

Евплий. Двадцать два невступно.

Архиерей. Не вини меня, честный отец, что непременно должен отказать в твоей просьбе. Если бы сын твой и не был такой невежда, каков он есть, то все же я не властен рукоположить его. Всмотрись-ка в приятеля хорошенько! Разве забыл ты, что священнослужитель не должен иметь никакого порока на своем теле?

Евплий. Святитель божий! Чем виноват бедный сын мой, что из утробы матерней вышел косолапым? Что злобный учитель дьяк Сысой за всякую ошибку стучал его колотушкою в спину, от чего он сделался горбат? Что коварная дьячиха его испугала, и он, оборвавшись с груши, лишился глаза?

Архиерей. Понимаю! Чистый ли и звонкий имеет он голос?

Евплий. Да такой-то чистый и звонкий, что его дальше слышно, чем звон самого большого колокола в селе нашем. При том же у него не один голос: он ржет жеребцом, мычит быком, лает собакой, мяучит кошкою.

Арх и е р е й. Довольно, довольно! Вижу дарований твоего сына и в удовольствие твое и сего родственника твоего (*указывая на келейника*) я готов согласиться, чтобы он был дьячком в селе вашем. Это все, что только я могу для вас сделать. Ступайте с миром!

Он вышел в другой покой, а остолбенелые просители простояли бы долго на одном месте, если бы путеводитель их не указал им дороги, не свел с лестницы, а там и со двора.

Отец и сын, утирая кулаками пот, едва переводили дыхание от горести, гнева, бешенства и отчаяния. — «Проклятый дьяк! Злокозненная дьячиха! — Чорт велел мне послушаться брата! — И отдавать тебя мучителю Сысою! Тогда б ты был с глазом — и без горба! — Был бы попом! — И собирал ховтуры.¹ Он назвал тебя невеждою! — Поэтому и ты в глазах его такой же невежда; ибо всему свету известно, что я читаю и пишу почище твоего! — Ах, горе! Хоть в воду кинуться!»

ГЛАВА 16

Мнение дьячка

Так восклицали отец и сын, идучи к своему подворью. Дядя Макар, узнав все происшедшее, чуть не взбесился; он проклинал всех, кто только приходил ему на ум, и клялся отомстить за увечье, сделанное его племяннику и тем удалившее его от законной чести.

Прибыв домой, хотя еще довольно времени тосковали, но зная, что пособить нечем, принялись за обыкновенные дела свои. Один Сидор, будучи уверен, что затверживание святцев и пролога ему более не нужно, дабы не быть в праздности; которые единогласно порицали отец его и дядя, лежа в саду или в огороде, — начал посещать сельский шинок и затверживать новую науку — забывать житейское горе. Он так был прилежен, что редкий день обходился без увещаний отца, чтоб посократил к науке сей ревность.

Прошло лето и осень, и настала зима, время отдыха после трудов сельских. Хотя Сидор сам чувствовал, что он с косыми лапами, с горбом и об одном глазе, прибавя к тому сомовью голову с рыжими курчавыми волосами и лицо, усеянное веснушками, наружным видом способен более пугать, нежели прельщать миловидных девушек; однако, следуя влечению природы, он

¹ Сям словом называется доход церковнослужителей, получаемый от свадеб, похорон, крестян и проч.

Не пропускал ни одного вечера, чтобы не присутствовать на посиделках. Чтобы видеть к себе по крайней мере равнодушие, а не отвращение, то он никогда не ходил туда с пустыми руками. Всякий раз, когда он там появлялся, молодцы ожидали доброй попойки, а девушки пряников, орехов и других лакомств. У Сидора был и свой доход. Как Сысой и жена его были главным виною всего несчастья, постигшего дом пастыря, то, чтобы не оставить того *без отпущения*, первоначально отец Евплий воспользовался дозволением преосвященного и просил по форме наречь сына его в дьяки к своему приходу, что и было сделано. Итак, при всяких требах, куда призывали Евплия, он, оставляя в покое пана дьяка Сысою, брал с собою сына, которому и доставался весь доход дьяческий. Скоро прозорливый Сысой приметил ущерб своих доходов, и если бы не поддерживало его ученье ребят, то ему оставалось бы приняться за соху и борону, о чем без трепета не мог он и помыслить.

Сидор, располагавший самовольно доходом нового своего звания, скоро узнал на опыте, что его крайне недостаточно для угощения посиделочных приятелей и приятельниц. В сем случае прибегнул он к двум вспомогательным средствам: у матери выменивать, а у отца красть. В том и другом мало-помалу сделался он великим искусником.

Хотя во время таковых его упражнений наш Карамзин едва ли знал склады азбучные, следовательно, и общество ничего об нем не знало, однако пан дьяк Сидор поступил почти так, как поступал за несколько веков *счастливый Карла*, чем и сделался любезным *Прекрасной царевне* и воссел на троне после тестя своего *царя Доброго Человека*. Сидор догадался, что рассказывание былей и небылиц, повестей о разбойниках, колдунах, мертвецах, ведьмах и оборотнях весьма нравилось сельским красавицам, хотя иглы и веретена выпадали иногда от страха из рук их и они громко вскрикивали, когда затейливый Сидор, описывая влюбленного сластолюбивого лешего, целующего сонную пастушку, пришедшую в лес за грибами, подкрадывался к той, которая была к нему ближе других, и прикладывал к щеке ее свои губы. На сей конец — то вымениванием, то меною, то куплею, то кражею в короткое время собрал он довольно книг по своему вкусу и читал их в досужее время с жадностью.

Настало время весеннее, и поселяне с обновленными силами принялись за работы. У всех хозяев поля подобились коврам зеленым, распещренным яркими цветочками. Каждого огород, блестя в бесчисленных цветах и видах, веселил зрение и хозяина и постороннего. Все видели в нем прокормление во дни осени и зимы. В сие время вздумалось кому-то из родственников пана дьяка Сысою, в ближнем селе обитавшего, жениться.

Дьяк приглашен был на свадьбу со всем родом и племенем; а как сего звания люди за тяжкий грех считают отказаться от подобного зова, то и он, распустив школу на три дня, отправился со всем семейством, поручив смотрение дома старому батраку своему. По прошествии трех суток гуляки возвратились в свою обитель. Дьяк лег отдыхать, а дьячиха пошла посмотреть огороды. Она ахнула и всплеснула в отчаянии руками, увидя горестное состояние одного. Вся зелень поблекла и лежала на земле. Ее тыквы, огурцы, арбузы, дыни, капуста и проч. представляли вид глубокой осени, когда все, возраставшее весной и созревшее летом, превращалось в гниль безобразную и — исчезало. Она подошла к ульям (которых в конце огорода было до десятка) и видела изредка пчелку, печально жужжащую на листке ближнего растения. Бледная, плачущая, отчаянная дьячиха, ломая руки и трепля себя за уши, вбежала к храпешему дьяку, разбудила его своим визгом и возопила:

— Ты здесь спишь, а не посмотришь, что там делается! У нас нет более огорода!

Дьяк. Куда ж он девался? Уж не поехал ли на свадьбу?

Жена. Безумный лежебок! Поди взгляни только, и твой пучок станет дыбом, как хвост у кургузой собаки.

Дьяк. Посмотрю завтра, погляжу и подумаю.

Жена. Все растения лежат на грядах и завяли. Нет целой ни одной репки!

Дьяк. Все поправится, я тебе в том порукою! Видно, батрак или совсем не поливал, или поливал очень много. Завтра, завтра...

Жена. Около ульев твоих порхает не более десяти пчелок и...

Дьяк. Ай, беда! Видно, разлетелись. Солнце еще не закатилось!

Жена. На всех трех грядах твоих ни одного стебелька тютюну нет в целости!

Дьяк (*вскочив*). Как так? С нами бог! (*Убегает, за ним жена.*)

Дьяк скакал с гряды на гряде, ни на что не обращая внимания. Добежав до своих гряд с тютюном, он остановился, смотрел на них помертвелыми глазами и наконец, возведши их горё, произнес со стоном:

— Чем я прогневил тебя, господи, что ты покарал меня так жестоко во глубине души моей?

С горьким плачем поднимал он каждый стебелек, некоторые выдергивал с корнем, но не мог ни по чему домыслиться, что было бы причиною сего опустошения. Подошел к ульям, увидел, что жена говорила правду. Осматривая прилежно, они увидели

наверху каждого несколько небольших просверленных дырочек; подняли один, другой, все — и нашли во всех пчел мертвых и соты растопленные.

Первая дьячиха, яко баба разумная, догадалась, что беда сия произошла не от чего другого, как от кипятка, налитого в ульи злоумышленным недругом!

— Так от того-то и огород пропал, — вскричал дьяк, ибо он был весьма прозорлив. — Посмотри на корень этой моркови, этого пастернаку, — гляди — не точно ли они вареные?

Утвердясь на сей мысли, они не могли домыслиться, кто бы такой был им злодеем, и по долгом размышлении заключили, что некому больше, кроме проклятого уродливого Сидора, который в самой церкви не упускал случая дразнить его и делать возможные пакости. Но как это доказать? Кто мог это видеть? Кому он об этом скажет? Ах, горе! Ах, беда!

ГЛАВА 17

Кто бабке не внук?

Хотя дьяк Сысой в каждый воскресный и праздничный день громогласно читал в церкви о кротости, терпении и непаятозлобии, однако не хотел отстать от своей собратии и решился — *отмстить*. Он поступил довольно хитро, ибо, не разблаговещивая о своем намерении, он тихомолком принялся с батраком перекапывать гряды; устроил все попрежнему, засеял новыми семенами и насадил рассады. Он был уверен, что путного ничего не выйдет, ибо в других огородах все почти уже отцвело, однако утешался мыслью, что сим распоряжением соблазнит злодея ко вторичному беззаконию, какое прежде сделано. Когда поднялись растения, то дьяк тайну свою под страшным заклетием молчания вверил двум своим соседям и уговорил их проводить с ним и батраком его ночи в огородном сарае, где хранились заступы, грабли и прочая утварь, необходимая к возделыванию земли. Он обещал, что они ни разу не заснут с сухим горлом, а сверх того в каждый служебный день будет дарить им по освященной просфоре.

Читатель, думаю, давно догадался, что опустошение Сысоева огорода было дело пана дьяка Сидора. Вдобавок скажу, что не одного. Дядя Макар, отчаявшийся видеть дорогого племянника своего в святительских ризах, поклялся непримиримым *мщением* виновникам сего несчастья. Как скоро передали они — в селах обыкновенно всякий шаг каждого всем известен, — что дьяк отлучился в другое селение, то умели

весьма искусно батраку его подложить целый рубль денег. Бедняк как скоро их увидел, то счел кладом, посланным ему от бога; а будучи человеком благочестивым, положил употребить находку на дела душеполезные. Он отложил целый пятак, чтобы в первое воскресенье поставить к образам свечки; две копейки роздал нищим, а на остальные запасшись вином, заперся в доме, занявшись надлежащим употреблением своей покупки. Все это не ушло от внимания мстителей. Они запаслись котлом и, вскипятив воды, закрались в огород, полили исправно гряды и просверленные ульи и в полном торжестве возвратились домой. Немало дивились они, что дьяк совершенно никому не жаловался, и обрадовались, увидя, что он в другой раз засеял и насадил огород, предположив истребить и сей, как прежний.

Когда растения расцвели и показались плоды, то дьяк и жена его начали сами даже думать, что к осени хотя половина созреет и будет обращена в прок.

Злодеи расположились иначе. Они ожидали только первой темной, дождливой ночи, дабы предприятие свое произвести в действо. Ожидание их исполнилось. Приблизился день пророка Ильи; воробьиная ночь настала с ужасною грозой; проливной дождь низвергался с мрачного неба; гром ревел со всех четырех сторон; молния, убивающим огнем своим раздирая тучи, освещала пасмурную, унылую природу. Это не утрашило наших мстительных витязей. Как с кипятком лазить через забор затруднительно, да дождем и сыростью истребило бы силу, то дядя Макар запасся острым тесаком, а Сидор косою. С сим вооружением очутились они в огороде и начали свое упрямление.

Караульчики, не спавшие как от звуку грома, так и занятия около дьяковой квартиры, услышали сперва легкий, а после довольно приметный шум в огороде. Они мгновенно вскочили, перекрестились и начали внимательнее прислушаться.

— Это точно, — сказал тихонько дьяк, — как будто что рубят!

— Нет! — возразил сосед, — точь в точь как будто косят!

— Выйдем же!

— А если это дьяволы, которые — известно — боятся грома и, может быть, прячутся под твои растения!

— Хорошо вам, что огород не ваш, а я не побоюсь и дьяволов!

Сказав это, он первый вышел из сарая; пристыженные соседи и батрак за ним последовали. Они стояли у дверей — и не дерзали двинуться вперед. Вдруг разлилась в небе — подобно речке — огненная молния и осветила все поприще.

Дьяк и сподвижники его ясно и отдельно увидели ратоборцев и в один голос воскликнули:

— Пан Макар с паном Сидором! Доброе дело! Честные люди! Посмотрим, что-то скажет земский суд, а думаю, что без награды не оставят!

Паны Макар и Сидор, увидевшие также дьяка и его товарищей, воспользовались темнотою, опять мгновенно наставшею, и обратились в бегство. Избавясь опасности быть пойманными, они трусили последствий просьбы дьяковой. Проклиная его тысячекратно за хитрость, обмоклые и прозябшие прибрели домой, и — сон от них удалился. Помолчав несколько, Макар сказал:

— Прослужа в поле более двадцати пяти лет, я привык быть на ногах; у тебя хотя ноги и не прямы, но, кажется, здоровы, а горб отважному детине не помеха; да и одним глазом глядя, можно хорошо видеть. Признаюсь, что жить у брата и за каждый кусок хлеба кланяться мне надоело; зная же и тебя, уповаю, что при мысли провести жизнь в дьячках твои курчавые волосы расправляются. Согласись со мною, что за мщение наше дьяку Сысою с нас взыщут весь убыток и — бог знает, что сделают со мною; а тебя, наверное, Консистория года на два засадит в монастырскую тюрьму, где просидишь ты на хлебе и на воде, будешь толочь воду, сеять муку и весьма исправно каждый вечер получать в спину на сон грядущий дюжины две-три сухими воловьими жилами.

При сем описании Сидор задрожал. Тогда дядя сделал ему полную доверенность, объявив, что всего лучше и безопаснее обобрать родителя до последней копейки, одеться сколько можно исправнее и — пойти на волю божию — сколько можнс подалше.

Племянник на сей раз был послушнее всех разов. Они заперли снаружи храмину, в коей опочивали родители, и без всякого труда взяли приступом сундук, в коем хранилось серебро и золото; ибо отец Евплий был гораздо небог, жил нетаровато, охотно ходил в гости и весьма неохотно принимал к себе. Наклав в карманы сей жизненной эссенции, они туго набили мешочек бельем и обувью и — перекрестясь — оставили дом и селение, несмотря, что гроза не совсем еще утихла. Вероятно, что и отец Евплий с своей подъяремницею от стуку громового и молнийного блику всю ночь не спали, потому что проснулись довольно поздно. Работница, подошедши к дверям, удивилась, видя, что они снаружи накинута петлею. Она приложила ухо и услышала, что хозяйева там и уже встают; почему, постучавшись легонько, советовала выйти, потому что гости дожидаются; после чего, сняв петлю, пошла в свою кухню. Сколько удивился отец Евплий, увидя в светелке своей дьяка Сысою с женою, батраком и двумя соседями! Дьяк, прокашляв-

пись, начал говорить затверженную речь, в которой объяснил о прежнем истреблении своего огорода и пчельника и о случившемся в прошлую ночь, в которую и деревьям, особливо молодым, порядком досталось от тесака и косы. Не обинуясь, объявил он имена губителей, причем представил свидетелей-очевидцев и требовал удовлетворения, угрожая в противном случае принести жалобу земскому суду, который, надеется он, не оставит оказать ему законное правосудие!

Отец Евплий крайне подивился, слыша такую новость. Он велел тотчас позвать сына и попросить брата; но работница, выведши его в сени, объявила, что обоих и следа нет, и когда сделала свои догадки о накинутаой петле, то слушатель, схватя себя за бороду, опрометью бросился к сундуку, нашел его в жалком состоянии, заглянул во внутренность и, как спок, повалился наземь. Прибежавшая на крик работницы хозяйка, видя причину мужнина поражения, подняла такой вопль, такие проклятия, что дьяк Сысой, сочтя, что в нее в ту пору вселился нечистый дух, со всеми своими опрометью бросился вон. Несколько дней прошло в объяснениях между ими, в спорах и жалобах, а кончилось тем, что отец Евплий совершенно отрекся от сына и брата и объявил дьяку, что буде он возьмет на себя труд поискать беглецов и посчастливится ему поймать их, то он охотно предаст бездельников в его руки и отнюдь вступаться не станет. Сим кончилась преднамереваемая тяжба; теперь обратимся к нашим странникам.

ГЛАВА 18

Промышленники

Я думаю, что судьбу сих беглецов всякий предузнает, ибо она общая всем беспутным людям, не полагающим буйству своему никаких пределов. Пока продолжалось лето и велись деньги, они ничем не занимались, кроме одними веселостями, и не прежде подумали о способах провести безнужно зиму, как увидели на головах своих снег, почувствовали в теле дрожь от морозу, проникавшего сквозь дыры их кафтанов, и нашли карманы свои совершенно пустыми. Что теперь делать? За что приняться? У обоих великая была охота попытаться искать счастья в искусстве тихомолком присваивать себе чужие вещи, но дядя был уже довольно стар, а племянник тяжел на ногу. При первом опыте они были захвачены и так допрошены, что оставили и село, в коем находились, и вместе сию хлопотливую промышленность.

Прибывшись в другое селение, они выдали себя за нищую братию, на что очень и походили, — и начали распевать про Лазаря у окон благочестивых крестьян и крестьянок. Сим средством они предохранили себя от голодной и холодной смерти, но не могли сами себе не признаться, что под кровом дома отца Евплия было гораздо уютнее. Воспоминание о том погружало их в уныние; но при мысли возвратиться — они содрогались. Претерпеть стыд раскаяния — было в головах их ужасное мучение. Так-то ожесточены были сердца сих *несчастливиц!*

Деревня не город. Скоро все, слышавшие мурлычание наших виртуозов, сопровождаемое бречанием на бандуре, утвердили наизусть песнь о Лазаре, и крестьянские мальчишки и девчонки, сопровождавшие их целыми стаями, наперед еще затягивали пение; и пристыженные Амфионы с открытыми ртами замолкали и отходили от окошка. Хохот взрослых приводил их в отчаянье, и они оставили сие село, вознамерясь никогда уже пред бессмысленною чернью не выказывать великих своих дарований.

В городе — куда прибило их ветром — поприще действия их расширилось, но встретились также и неудобства, которые они могли бы легко предвидеть, именно: они были не одни; и все им подобные, снискивавшие себе кусок хлеба оказанием дарований в музыке и пении, — были их искуснее. Шатаясь из улицы в улицу, от одного дома к другому, в один вечер прибрели они к стенам девичьего монастыря и по умильной просьбе были пущены в ограду, получили ночлег в коровнике и довольную пищу от трапезы благочестивых сестер.

На другой день отперли их не рано и повели представить честной матери игуменье. Она была полная, дородная женщина лет под сорок; имела свой собственный доход с поместья, ей принадлежащего, и употребляла его как умела, не заботясь, что в ней тучность, душа или тело. Она была веселого нрава и особенно любила таких же подруг своих; а старых, брюзгливых, набожных стариц не могла терпеть и явно насмеялась над их богохульством, так называла она наружное смирение, и доказывала, — из чего заключить надобно, что была не последняя философка, — что не надобно уподобиться лживым фарисеям, которые всегда являлись народу с постными рожами.

Когда вошли в келью ее наши странники, она сидела на мягкой софе, окруженная пятью или шестью молодыми пригожими сестрами с румяными щеками, огненными глазами, смеющимися губами. Перед ними на столе стоял сытный завтрак. Осмотрев их внимательно с головы до ног, она подняла такой сильный хохот, что окна задрожали; сестры духовные ей усердно подтянули, и вышел такой шум, крик от полувыгова-

риваемых слов и невнятных восклицаний, что Макар и Сидор покушались думать, что они зашли в дом веселых сумасшедших. Насмеявшись досыта, мать настоятельница пожелала знать, что они за люди, чем питаются и где имеют пристанище?

Сидор удовольствовал ее любопытство, рассказав, разумеется, пополам с ложью — свою и дядину историю, и заметил, что тронул тем чувствительные сердца игуменьи и ее собеседниц!

— Когда то справедливо, — сказала она, выслушав повесть Сидорову, — что ты нам о себе рассказал теперь, то, видно, счастливая звезда вела вас невидимо к нашей обители. Если вы имеете одну только добродетель, но добродетель необходимую, то с сего же часа можете прославлять благодать провидения, столь много о вас пекшегося!

При ужасном слове: *добродетель* — Макар и Сидор вздрогнули и побледнели, ибо наслышались об ней много кое-чего такого, что было им крайне не по вкусу и что мать Маргарита не оставила бы, конечно, без замечания, если бы смотрела тогда им в глаза, а не в серебряный кубок с медом.

— Какая же это добродетель? — спросил Сидор, понизив голос и опустя руки.

— Она называется, — отвечала мать, — *скромность*, или *молчаливость*, и для сметливого человека соблюдать ее уставы ничуть не тягостно. Она столько необходима как в светском, так и в духовном звании, что человек, преисполненный всех достоинств, а не имеющий скромности, — есть человек пропащий! Состоит она в том, чтобы язык твой был в совершенном повиновении рассудку; чтобы он отнюдь не осмелился за монастырскими стенами промолвить хотя полслова о том, что внутри оных глаза твои видели, уши слышали, руки осязали, нос обонял — и он сам чувствовал вкусного или противного! Находите ли себя способными следовать правилам сей добродетели?

— О, — воззвал дядя Макар с бодростью, — если не более потребует от нас сия добродетель, то я как за себя, так и за своего племянника ручаюсь, что будем предобродетельными людьми на свете!

— А когда так, — отвечала мать Маргарита, — то с сей минуты вы не имеете нужды морозить пальцы, брэнча на бандуре, и подвергаться опасности ослепнуть, деручи горло из-за куска хлеба. Твоя должность, старик, будет блюсти врата обители. Попросту — ты будешь привратником и должен особенно знать, кого и когда впустить и выпустить и кому отказать. Мы живем мирно и лишних гостей не принимаем. Мать Аполлинария, правящая должность привратницы, все растолкует тебе обстоятельно! Ты же, молодец, будешь у нас звонарем, ибо теперешний весьма стар и хил и для него взойти

на вышнюю лестницу нашей колокольни так тяжело, что бедный едва не задыхается. Пора дать ему отдых!

Честная двойца сия с того же дня вступила в отправление должностей своих. Им отведены пристойные жилища: привратнику в избушке подле ворот, а звонарю в подвалах колокольни. Дядя понятлив был к наставлениям матери Аполлинарии и с удивительным прилежанием вытверживал условные знаки, которыми должен был окликать толкущих в двери, и вслушивался в ответы, по коим догадывался, отверать ли оные или нет. В короткое время он — как говорится — так въелся в свою должность, что учительнице стоило только намекнуть, он уже понимал и никогда не делал ошибки. Должность сия и потому казалась ему прелестною, что почти ни одна впускаемая особа не проходила ворот без того, чтобы бдительному сторожу оных не сунуть в руку нескольких серебряников, и как с утра до самого вечера ворота были отверзты для всех, то Макар свободно шатался по городу, заходил, куда влекли его голод или жажда, и сколь усердно он утолял обоих, всегда помнил о монастырской добродетели и никогда не изменил ей ни одним нескромным словом.

Смиренномудрый звонарь Сидор не менее был доволен своим состоянием. С малых лет привыкши лазить по лестницам, размахивать коромыслом и действовать веревками на колокольне родителя, он принялся и здесь с таким усердием и искусством, что веселые инокини покушались иногда плясать под его вызванивание.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1

Затем

Таким-то образом прошла зима, весна, лето — и — целые три года. Сидор днем звонил и спал — и чего же еще более?

Я уверен, что, взяв все четыре части света, все сословия, начиная от скиптродержца до водоноса, не сыщется человека, который бы всегда был доволен настоящим своим положением. Иногда и корона так же бывает тяжела для головы ее носящего, как пятиведерный кувшин с водою для плеч имеретинца в Тифлисе. Итак, весьма вероятно, что и на Сидора находили минуты, когда он зевал, не чувствуя охоты ко сну. Природные склонности его созревали постепенно, а монастырская припущенность, с каковою — сперва по необходимости, а после и

по привычке — весьма искусно скрывал он движения чувств своих, усовершенствовала в нем склонность к уверткам, хитростям, обманам, всякого рода притворству во взорах, словах, речах, движениях и даже поступках, которая в часы размышления, ибо и Сидор начал уже размышлять, уверила его, что он рожден к чему-то большому, виднейшему, чем лазить на колокольню и вызванивать разные звоны. Такие мысли занимали его иногда долго и сильно впечатлевались в его воображение, которое время от времени делалось стремительнее и тем беспокойнее, что не имело цели, предмета, обладание которым могло бы несколько остудить его. Я думаю, что если бы в то время встретился с ним опытный честный, благонамеренный человек и принял бы на себя труд вывести бедного, заблудшего Сидора на тропинку, ведущую к добру и чести, то он мог бы еще сделаться путным человеком и, следовательно, счастливым: но судьба иначе распределила.

Сказано выше, что свободное от должностей и отдыха время дядя и племянник, шатаясь по городу или заседаая в шинках, где — как известно — собираются праздные люди всяких состояний, возрастов и склонностей, убивали часы свои. На ту пору слух об успешных подвигах Гаркуши носился уже в тех окрестностях и наполнял умы и воображение пустомелей всякого рода. Уже более пяти хуторов лучших помещиков были разграблены, а хозяева отчасти бесчеловечно истерзаны или даже замучены до смерти. О таких злодействах всякий судил по-своему, соображаясь с своими чувствами и обстоятельствами. Чернь рассуждала о нем более со стороны выгоды, как о своем отмитителе, а прочие, которые известны там под названием полупанков,¹ предавали его проклятию и пророчили, что рано или поздно, а получит казнь достойную; словом, на базарах и в шинках столько тогда было простых и жарких споров, доходивших даже до брани и драки, о делах и будущей участи (ибо язва политики, зашедшая к нам по большей части от немцев, из коих некоторые за свои дипломатические суждения достойны окончить жизнь в доме сумасшедших, распространилась по городам и селам) Гаркуши и его собратии, сколько спустя половину столетия говорено и писано было о Наполеоне Буонапарте.

В одном из таких заседаний случилось, между прочим, сойтись двум великим спорщикам: уездного суда повытчику и ближнего села атаману,² который считал себя в сословии дворян, потому что многие ему равные то же делали, и присваивал титул пана, которое в Малороссии дается мужу, обла-

¹ Сим именем зажиточные паны называют панов бедных.

² Атаман есть в свободном селе староста.

ченному в синюю черкеску, как в Испании дон — имеющему при бедре саженную шпагу, или в Великой России барин, которым все бородатые величают небородатых. После жаркой замысловатой речи, в которой пывтычк доказывал, что Гаркуша преполезный человек на свете, подобный хорошему хозяину, истребляющему в саду своем репейник и крапиву, дабы помочь заглушенным растениям оправиться и принести ожидаемый плод, — атаман, не нашед приличных выражений к опровержению доводов соперника, прибегнул также к сравнениям и с видом надменности, свойственным дворянину в отношении к разночинцу, сказал:

— Гаркуша твой не что другое есть, как вор, кроющийся от всего света, и до сих пор никто хорошенько не видал его. Прочти-ка ты историю о нашем Ваньке Каине или о французском Картуше! То-то были настоящие мастера своего дела! Они никого не боялись и среди белого дня в славных столицах, в многолюдных собраниях и театрах — не только являлись, но и производили лучшие удальства свои!

Пывтычк в свою очередь не нашелся, что отвечать. Ему отроду не случилось слышать ни о Ваньке Каине, ни о Картуше. Словопрение кончилось, и всякий принялся за дело, для которого пришел в шинок. Один Сидор поражен был словами атамана. Он так много наслышался о Гаркуше, так высоко ценил его достоинства, что, слыша о людях и его превосходивших, не знал, что и подумать. В нем родилось мгновенно страстное желание узнать об них покороче; а потому, отозвав рассказчика в другую комнату и представя к услугам его кварту вишневки, просил сказать ему что-нибудь о тех великих людях, о коих повествовал он так витиевато. Сей добрый человек объяснил, что их нет уже на свете, а остались только описания их подвигов; и он может от приятеля своего завтра же доставить их на некоторое время.

Он сдержал обещание, и Сидор получил в свои руки драгоценную книгу, в коей описаны подвиги упомянутых витязей.

ГЛАВА 2

Понятный ученик

Сидор перенес книгу под самую главу колокольни — и в первое досужее время принялся читать с таким иступленным жаром, с такою ненасытною жадностью, с каковою обыкновенно нововоспитанный молодой человек, вышедший только из-под власти франко-наставника, совершенно новый в любовных

тайнствах, закравшись в будуар старшей сестры или матери, — читает гнусные сочиненьица французские, украшенные приличными вишетами и картинками. Последствия одни — погибель — если случай или провидение не подадут скорой спасительной помощи.

Зволяр наш почти наизусть вытвердил жизнеописания своих героев, которые прельщали его более, нежели Александра Ахиллес и Карла Александр. Немного приводило его в смятение и даже в замешательство окончание тех несчастливцев, но Сидор приписывал то собственной вине их. «Если бы, — говорил он сам себе, — не столько дерзости, надежды на удачу, а более осторожности, скромности и недоверчивости к постоянству счастья, не быть бы одному на колесе, а другому под кнутом. Если же, как тут пишется, такие дела грешны, незаконны, то разве у нас нет покаяния? Мало ли что делали другие, о коих читывал еще дома, а как раскаялись — все как с гуся вода! Так сделаю и я! Потружусь лет десяток, полтора — соберу хороший достаток, чтоб после с седыми волосами не лазить по лестницам колоколен и не быть за бессилие выгнану, как сделано с моим предшественником, и не торчать целые ночи у ворот, подобно дяде моему Макару, — а после, оставя все суеты мира сего, выберу убежище подальше от родины, перемену имя и расскажусь в прежних делах своих, буду жить по-пански. У меня будет по крайней мере один музыкант и один машкара да две или три красавицы, которые не будут бояться дневного света, подобно монастыркам. Непременно иду к Гаркуше и сделаюсь ему собратом. Не у всякого охотника разрывает ружье и его убивает; не всякий кузнец сожигает пальцы об раскаленное железо; не всякий рыболов утопает! Попытаем счастья!»

Странный случай способствовал намерению сего сумасброда и ускорило его исполнением.

Под вечер одного сентябрьского дня, к великому недоумению задумавшегося Сидора, всполз на колокольню дядя Макар и сказал ему:

— Давно заметил я, племянник, что тайная тоска грызет твое сердце. Я молчал, потому что не люблю выведывать того, что другие скрывают, а сверх того боялся проступить против монастырской добродетели. Теперь вышел у меня такой казус, что никак не могу скрыть его перед тобой. Слушай: сего дня после обеденной трапезы отправился я по обыкновению к шинкарке. Когда я забавлялся там, чем бог послал, и рассуждал с прихожими о том, о сем, что только не нарушало правил нашей добродетели, в речь мою ввязался молодой мужчина и, повидимому, шляхтич. Скоро к нему пристало еще человека четыре,

и беседа сделалась общею. Противу всех шинкарных обыкновений, вместо того чтобы начать спором, потом дойти до ссоры, а кончить поволочкою, новые знакомцы мне только подтакивали, взапуски потчевали добрыми наливками и совсем не держались нашей добродетели в рассыпании мне похвал. Все, что ни впадало мне на ум, было весьма разумно, и, по их словам, я малым чем был глупее пророка Наума. Когда мы — или лучше я — довольно понабрались веселого духу, то шляхтич приказал шинкарке кое-что изготовить к полднику, а в ожидании оного предложил прогуляться за городом. Я приглашен вместе с прочими и, ничего не предчувствуя, пошел за ними. Как скоро очутились мы в ближнем перелеске, шляхтич остановился и, миг из веселого товарища сделавшись совершенно важным, вытащил из-за пазухи одною рукою пистолетище величиною с карабин, а другою кошелек и, взведши курок, сказал:

— Пан привратник! Я имею нуждичу поговорить с тобою откровенно и начну уверением, что пистолет заряжен пулею и что в кошельке ровно десять имперялов. Не робей, дружиче, и, выслушав меня с таким же вниманием, с каким выслушиваешь, стоя ночью у ворот своих, условные знаки, скажи откровенно, что ты из двух выберешь, услужить ли мне и взять это золото или, в случае измены, иметь пулю в голове своей. Ты нигде от меня не спрячешься!

Видя роковую перемену в поступках и словах шинкарного моего друга, я задрожал; а он, увещевая меня быть храбрым, продолжал:

— Я урожденный шляхтич и имею неподалеку отсюда небогое поместье. С малых лет начал я любить прекрасную Анюту, дочь одной шляхтянки, нашей соседки. Ах! Как была она прекрасна в дни своей невинности. По смерти родителей, оставшись двадцати лет и сделавшись самовластным паном над имением и над собою, я открыто предложил руку свою милой Анюте. Как я был гораздо их богаче, то мать дала полное свое согласие, к чему немало способствовало незадолго полученное ею известие, что единственный сын ее, любимый матерью страстно, служащий в нашем губернском городе и имевший в руках своих все бумаги на имение, по случаю женитьбы своей на выезжей польской актрисе один из двух хуторов продал, а другою заложил. О дочери и говорить нечего. Когда все готово было к моему счастью, злые духи принесли в дом моей невесты старую тетку, монахиню из здешнего монастыря, которая вздумала весьма жестоко мстить демону плоти за его неистовства, оказанные над нею во время ее молодости. Не знаю, что ведьма та болтала дочери и матери, только за неделю до свадьбы через нарочного мне объявлено, чтобы я не беспокоился посещать

более дом их, ибо, — и теперь едва могу выговорить от гнева и бешенства, — ибо Анюта — идет в монахини! Нечего тебе описывать тогдашнее мое состояние. Ты не шляхтич, так у тебя другая кровь и другое сердце; ты не поймешь меня. Все старания мои увидаться с Анютою, которая после отказа казалась мне гораздо прекраснее, чем прежде, остались тщетные. В самый тот день, когда назначено было венчать нас, она произнесла роковую клятву — увы! — совершенно отличную от предполагаемой мною. Целый месяц считали меня сумасшедшим и держали взаперти; после я опомнился и плакал тоже месяц. Начало выхода моего было в монастырскую церковь. Я увидел Анюту в черном платье, и незалеченная рана раскрылась. Всякий день я видел ее и всякий день становился влюбленнее. Казалось, что она меня и не видела, и глаза ее вечно или смотрели к небу, или обращены были в землю. Наскуча роковым состоянием, столько меня мучившим, я осмелился написать к Анфизе — новое имя ее — записочку, которая состояла не менее как из семи с половиною строк и которую сочинял я не более как семь дней. В ней живо описана была безмерность страсти моей, непомерное биение сердца, kloкотание крови, кружение головы и трясение рук и ног. Мне удалось подкупить одну из старых сестер, и записка была верно доставлена. Посуди о моем восхищении, когда получил ответ руки моей любовницы, в котором писала она, чтоб я успокоился, что она должна была уступить доукам тетки и матери, а слыша о кротком, снисходительном, ангельском нраве матери Маргариты, решила произнести клятву и надеть черную рясу. Она назначила мне свидание на кладбище монастырском, где, упоенная любовью, ободренная чистым сиянием месяца, единственного свидетеля пламенных обниманий наших, — забыла Анюта безрассудную клятву свою и — сдалась — о! Как опишу тогдашнее счастье, блаженство, оживлявшее сердце, душу, все бытие мое! Сия вожделенная жизнь продолжалась два года и теперь — теперь только пресеклась, и я — или возвращу ее, или перестану существовать. Ровно теперь один месяц и три дня, как обожаемая Анюта перестала внимать моим воздыханиям, разделять мои страстные восторги. Тщетно делал я условленные знаки — тщетно ржал ослом, хрюкал свиньею и завывал филином. Адские врата не отверзались, — и я должен был заключить, что ты имеешь приказание не впускать меня в часы, назначенные для любви и блаженства.

Решительный

— Ко всему мною сказанному, — продолжал любовник, — прибавлю, чтобы ты, впусая меня с одним из друзей, ничего не опасался. Самая важная беда, могущая постичь тебя, когда проведают о твоей ко мне услужливости, состоять будет в том, что выгонят из обители шелепами. Плюнь на все! Я дам тебе в своем владении убежище, снабжу всем, что только нужно для покойной и довольной старости, ибо уверен, что хотя ты и не молод, но жизнь еще не надоела. Выбирай теперь же, кого ты хочешь во мне видеть, убийцу ли своего или друга и благодетеля.

Так проговоря, уставил он на меня глаза свои, которые в самом деле были весьма страшны или мне так казались. Видя неминуемую, я недолго колебался и, приведши на память, что сам человек военный, выпрямился и отважно сказал:

— Государь мой! Было бы тебе известно, что я не всегда отправлял должность привратника. В свою очередь и я служил в полках и отставлен капралом; а потому всякий догадается, что я мужик не трусливый и если теперь избираю кошелек, а не пулю, так это единственно из угождения тебе, из желания услужить — ибо человек, берущий взятки, — может-таки что-нибудь сделать, а с разможенной головою никуда не годится. Из сего прошу заключить, что я принимаю деньги; но принимаясь оказать вам услугу на счет моей совести, я, кажется, имею некоторое право спросить, что вы намерены сделать, как скоро впущены будете во внутренность обители.

— Я и сам теперь не знаю, — отвечал он, — ибо ход происшествий в таких случаях назначает нам продолжение и конец. Надобно быть ко всему готовым и сохранить присутствие духа; надобно прежде все нужное видеть, слышать, понять — потом уже сказать: так или не так!

Находя себя в необходимости на все с ним соглашаться, ибо — между нами сказано — и в самом деле жизнь мне еще не совсем надоела, — я взял деньги, условился в знаке и бросился к тебе, любезный племянник, спросить совета: ум хорошо, а два лучше.

Сказав сие, дядя задумался; племянник в том подражал ему. Молча смотрели они один на другого и время от времени отрывисто произносили: «Ну? — Что? — Надумался ли? — Не ладится? — Экая беда! — Целое горе!»

Погодя немного Сидор изменился в лице. От сильного волнения крови оно вдруг побагровело, веснушки сделались черны,

курчавые волосы еще более съезжились, и он, выпуча глаз свой и удара кулаком в лоб, произнес:

— Я решился, и пусть черт возьмет меня с телом и душою, если не исполню своего намерения!

Отставной капрал задрожал, услыша такую клятву, каковой не слыхивал отроду; но еще в больший пришел ужас, когда услышал, что намерение Сидора состоит в том, чтоб своею особою умножить число Гаркушиных послушников.

— На что похожа теперешняя жизнь наша, — продолжал он, выслушав дядины возражения. — Ты уже дождался развязки и будешь убит, как неверный турка, или выгнан из монастыря с нечестием, и — вероятно — заставив прежде несколько месяцев попоститься в здешней юдоли и вытерпеть несколько сотен ударов в спину. Но у тебя есть прибежище — хутор твоего шляхтича; а случись со мною подобное — я погиб! Словом — я решился и ни для чего не перемену своих мыслей!

После долгого прения дядя и племянник согласились, чтобы, не рассуждая много о будущем, положить всю надежду покамест на нового знаконца шляхтича; а чтобы не смотреть ему всегда в глаза, то не худо заглянуть в сундуки церковные. Им весьма не трудно было исполнить свое намерение, ибо церковные ключи были у звонаря и он всегда имел беспрепятственный туда вход и оттуда выход, а обходиться с запертыми сундуками было для них не первоучинка. Они, запасшись всем нужным на дорогу, легко могли бы уйти и одни, но опасаясь погони, поимки и ужасных от того последствий, с нетерпением ожидали своего покровителя.

Усердный к новому своему знакомцу привратник Макар, чтобы угодить ему в полной мере, во весь вечер отказывал всем ночным посетителям, уверявая их приходит на другой день в ту же пору. Честные сестры, видя, что у них пусто, немало тому дивились, но как часы пробили полночь, то они зажали до утра смеющиеся рты, затушили огни и, рассуждая, как отмстить своим поклонникам, обманувшим их в надежде свидания, опустили руки, куда которой рассудилось, — и скоро сомкнули вежды, а все это сказать попроще — заснули.

Как видно, то сего только ожидал нетерпеливый шляхтич. Когда отперта была калитка, то к удивлению дяди и племянника — вместо условленных двух человек — ворвались около двадцати. Они окружили звонаря и привратника, и шляхтич сказал:

— Я догадываюсь, Макар, что сей посторонний детина есть твой племянник, а потому вместо подозрения в измене я еще рад, что, не искавши, его вижу. Надобно тебе признаться, что в продолжение нескольких часов склонность моя переменяла предмет свой. Я хочу госпожу Анфизу оставить в покое, а вместо того поздороваться с другою. Пан звонарь! Проводи

нас в церковь, да как можно тише, скромнее. Иначе — слышали ли вы о Гаркуше? Он перед вами!

При сем роковом имени дядя затрясся всем телом, а племянник, будучи поражен не меньше, — от испугу, радости и беспамятства, совокупно в нем подействовавших, получил — удивительное дело! — необыкновенную силу разума и, сделав около себя правую ногу полкруга, стал на колени и хотя не очень твердым, однако внятнм голосом произнес:

— Величайший из всех обитавших под солнцем! Давно сердце мое избрало тебя своим наставником, повелителем, владыкою! Сегодня дал я святую ненарушимую клятву служить тебе рабски, если удостоишь назвать меня собратом храброй твоей дружины! Ты видишь нас готовых к дороге, и эта дорога вела к тебе. Хотя глупые и злые люди утверждали, что ты не можешь сравниться с Ванькою Каином и Картушем, однако я не верю им и считаю обоих в сравнении с тобою обыкновенными *шишиморами*!

Гаркуша, шляхтич, Макаров знакомец, был действительно атаман и отвечал, что о таком предложении подумает, — и приказывал вести себя в церковь, что и было сделано с величайшей услужливостью.

ГЛАВА 4

Извергы

Ничего не было священного для сих извергов; чего не могли унести с собою, то было перепорчено. По выходе из храма Гаркуша велел на дверях оного написать свое имя и время посещения.

Макар, выпустя всех и вышед сам из ограды, запер ворота тщательно и побрел с племянником вслед за шайкою, которая в знак бодрости распевала веселые песни. До самого рассвета шли они полями и перелесками, а тогда очутились в довольно частой роще и выбрали ее местом отдыха.

Атаман приказал представить к себе дядю и племянника. Осмотрев обоих внимательно, он произнес:

— Ты, дядя Макар; уже стар и бессилен, а потому для меня бесполезен. Ты неосторожно сделал, что оставил мирную обитель. Сидор! Твой стан, взор и все лиценаертание — мне полюбились. С первого на тебя взгляда увидеть можно, что ты рожден храбрым человеком и предназначен умножить собою число подвластной мне дружины. Но прежде, нежели удостою тебя сей чести, ты должен выдержать испытание, какое назначу!

Сидор поклялся, что он не откажется исполнить все, что только будет в его возможности, и атаман продолжал:

— Что ты сделаешь с сапогами ветхими, которых уже носить не можешь?

— Я их кидаю!

— Точно так поступать надобно и со всякою всячиной, как то: со скотами двуногими и четвероногими. Дядя твой прожил гораздо долее, нежели сколько нужно, чтобы быть кому-либо полезным! На этом дереве — теперь же повесь его, а я — на этом же месте назову тебя своим собратом!

Хотя пан Сидор и приготовился быть храбрейшим человеком, однако, услыша такое предложение, изменился в лице, а о дяде Макаре и говорить нечего. Он едва мог удержаться на ногах; Гаркуша хранил холодное молчание, а шайка подняла громкий хохот. Всех любопытные взоры обращены были на Сидора.

Если кто представит себе человека, колеблемого разными, но равно жестокими страстями, не знающего, куда обратиться, ибо везде очевидная погибель неизбежна, тот представит себе чудовищного Сидора, с помертвевшим лицом, стоявшего неподвижно с устремленным вниз глазом и опущенными руками. Пот градом лился с лица его, и одно колебание колен показывало, что он еще не в могиле. Гаркуша продолжал:

— Вижу, что иногда нечаянность происшествий может поколебать твердость и самого отважного человека, но такое потрясение должно быть мгновенное. Врожденное чувство великости опять вступает в права свои, и — герой опять является героем. Подайте веревку пану дьяку Сидору! Я уверен, что он выдержит сей опыт и сделается достойным нашего собратства!

Подобно глиняной статуе, оживленной огнем Прометеевым, пан дьяк Сидор встрепенулся, бледность уступила место багровой краске, глаз воспламенился огнем ужасной решимости, и эта решимость не была в нем следствием отчаяния, нередко производящего такие подвиги, на какие размышляющий о причинах, их ходе и окончании никогда не отважится. Нет! Сидорова решимость была настоящая готовность сделаться алодеем и на первом испытании — одним скачком, так сказать, — перескочить половину пути своего. Он произнес громовым голосом:

— Великий атаман! Ты во мне не ошибаешься! Если я от слов твоих позамялся, то это, точно, была минутная слабость! Дядя Макар! И подлинно ты пожил довольно на свете, и уповаю, что расстанешься с ним без особенной скорби. Я знаю, что ты наделал достаточное число грехов всякого рода, за которые не избежал бы дьявольских объятий на том свете, если бы время службы твоей в монастырской обители не давало тебе

некоторого права к сопротивлению власти вражьей. Ты так верно служил избранному стаду смиренных отшельниц, что они, конечно, не забудут тебя в своих молитвах. Итак — прежде нежели нагресишь снова, не выгоднее ли, будучи полуправедным, затесаться в обители вечной веселости? Честнейший дядя Макар! На котором дереве желаешь вознестись в вечность? Я надеюсь, что снисходительный атаман позволит тебе таковой выбор!

Дядя, получивший в свою очередь употребление чувств, начал доказывать свою невинность, свою услужливость, свою старость, которая и без веревки не замедлит спихнуть его в могилу, тщетно: атаман был непреклонен, дал знак, и мужественный Сидор накинул петлю на выю дяде Макару, который, видя, что сопротивление продлит только страдание, смиренно шел по направлению веревки.

Уже все приготовления к воздвижению дяди Макара были готовы, и племянник с непоколебимым мужеством готов был приступить к самому делу, как атаман еще сделал знак остановиться и сказал торжественно:

— Bravo, пан дьяк Сидор! Теперь ясно видим, что монастырская жизнь не развратила врожденных в тебе достоинств. С сей минуты ты собрат наш! Макар будет жить; я и ему найду должность!

Сидор произнес клятву в верности обществу и атаману, принял поздравления и — пил из общей баклаги. Достигнув своей пустыни, они несколько дней пиروвали, а после Макару — названному инвалидом — поручено было смотрение над чистотою во всей обители, а Сидор с первой вылазки начал служить в поле. Во время осад он превосходил всех жестокостью, буйством и остервенением, что между братиею называлось храбростью и твердостью духа. Равномерно в низших плутовствах не было ему подобного. Прежде нежели атаман нападал на какой-нибудь хутор или панский дом, Сидор бывал там в различных видах, одеянии, звании. Особливо с неподражаемым искусством представлял он нищего. Все крестьяне сожалели, слыша басни, им о себе рассказываемые, а заунывные песни его отворяли ему двери в домах панских. Он все высматривал, подслушивал, делая местные соображения, сообщал все атаману, который, по тому уже расположась, нападал на неосторожных, грабил, жег и мучил помещиков, имевших несчастье не понравиться кому-либо из крестьян своих. Таковыми-то достоинствами пан дьяк Сидор, мало-помалу входя в любовь и почтение великого своего атамана, сделался, наконец, особливим его наперсником, и вся шайка оказывала ему явное преимущество. В сем-то положении дел застигла их зима в пустыне, как сказано выше.

Чудное посольство

Всякое другое общество, проводя зиму в подобном месте, быв в веселостях своих ограничено начальником, всего боящимся, везде подозревающим, почло бы себя близким к аду; но буйная сволочь сия отнюдь не унывала и утешала себя представлением будущей весны и сопутствующих ей вольности, или, лучше, своевольтва, и возможных увеселений повкусу каждого.

Наконец и весна воскресла. Снега растаяли; ручьи зажурчали в тесных берегах своих; ранняя трава показалась, и почки с каждым днем более распускались и зеленели.

Атаман, собрав к себе есаулов, говорил им:

— Вожделенное время настало, и мы могли бы уже, испрося благословение от неба, начать свои подвиги, однако я имею основательные причины отложить открытие оных до конца сего месяца. Время сие препровождено может быть попрежнему, но не запрещаю охоты. Каждый из вас может увольнять на сей промысел вдруг двух и трех из подвластных ему работников, но с тем, чтоб они к ночи возвращались и отнюдь не дерзали выходить из пределов леса. Уверьте их, что мною давно обдумано, что, как, когда и кому делать!

Отпустя прочих, он оставил при себе Охрима и Сидора. Он сказал им:

— Верные друзья мои! Вы, которых мужество и расторопность испытаны мною во многих важных случаях, послушайте меня и судите, пекусь ли я о благосостоянии вверенной мне промыслом собратии. Вы согласитесь, что чем кто преднамеревается к важнейшему делу, тем более должен укрепить свои силы. Вам известны планы действий наших в наступающее удобное время, а потому не станете противоречить, что непременно должно, по крайней мере, удвоить наше людство. Набирать из тех, коих приводит к нам скудость, претерпеваемые угнетения, опасение народной казни и другие подобные случаи, весьма неудобно. Не говорю, что тут крайне осторожну надобно быть против измены, другие препятствия отяготительны. Приучать каждого к действию ружьем и саблею, знакомить с неизвестным им послушанием, придавать бодрости в опасных обстоятельствах — хотя трудно и скучно, но все-таки возможно; но кто даст изворотливость истукану; кто вперит ум в чугунную голову; кто одушевит сердце каменное? Это выше сил человеческих и — следственно, наших! Для сего-то я нашел средство — если бы только удалось оно — вдруг братство наше увеличить присовокуплением сотни храбрых опытных молодцов, которым

ничто уже между нами дико не покажется; а сверх того, судя по общим слухам, они должны быть недалекими нашими соседями. Думаю, что многоопытный Охрим меня понимает!

— Давно понял, великий атаман, — вскричал Охрим, — о каких людях говоришь ты; но не отгадываю найденного тобою средства к соединению двух храбрых сословий.

— Средство это, — отвечал Гаркуша, — состоит в соединении. Разве не соединены две особы, когда только одни их руки скованы между собою цепями неразрывными? Разве не соединятся между собою два общества, когда атаманы их соединены будут узами любви? Так, друзья мои! Для общего блага я готов пожертвовать своею свободою и женюсь на Олимпии, хотя бы даже — чего я, однако, не ожидаю — она была на то и не согласна. Вас обоих, и только одних — а для всех других из дружины сие мое намерение до времени должно быть тайною, — избираю на сие важное дело! На ваш разум полагаясь, представляю вам самим найти дорогу к обиталищу Олимпии, явиться к ней в виде послов моих и предложить ей руку мою. В палате моей выберите одежду и оружие, какие заблагорассудите, и возьмите казны, сколько пожелаете. Благословение мое денно и ночью будет вам сопутствовать.

Выслушав такое предложение, Охрим и Сидор наполнились некоторым восторгом, похожим на вдохновение. Они торжественно клялись употребить все способности душ своих, чтобы в точности исполнить его желание. Запасшись всем нужным в сию дорогу и посоветовав атаману нимало не беспокоиться, хотя бы целую неделю не видал их возвращения, в самый полдень вышли они на поверхность — и пустились в дорогу.

ГЛАВА 6

Дальновидные

Дальновидные послы наши очень знали, что если они, бродя по ужасному лесу, будут отыскивать нареченную невесту своего атамана, то могут прошататься даже целый год, а все выйдет попустому; почему пробрались прямо в знакомое село, где хотя слух о их подвигах весьма распространился, но как по политике атамана никто из них не сделал там никому обиды, — то, по всему вероятно, — если бы и вся шайка в один раз туда нагрянула, едва ли обратили бы на себя подозрение в обывателях. Они затеяли, чтобы каким-нибудь образом признать хотя одного из почтенных рыцарей лесной невесты и посредством его узнать ее обиталище. На сей конец соглядатаи бродили по шинкам,

базарам и церквям, но, к неудовольствию, нисколько не успели в своем предприятии. Они везде встречали обыкновенные лица, не имеющие на себе никаких особенных отпечатков, и так провели три дня. Четвертый был день базарный. Сидор и Охрим отправились на сборное место, условясь смотреть внимательно на каждого из продающих и покупающих, и первый присовокупил, что он и одним глазом надеется более увидеть, чем многие другие двумя.

Проходя ряды, где торговали всякой всячиной, они и действительно не пропускали ни одного мужчины, чтобы не обратить на него самых внимательных взоров; но к большому их негодованию до самого вечера все их созерцания были бесполезны. Наконец надежда их оживилась. В последнем ряду они заметили двух казаков, кои покупали чугунные и железные вещи, порох, дробь и свинцовые прутья, а между тем двое нищих терлись позади их и оказывали великое искусство в проворстве рук своих.

— Сидор! — сказал тихонько Охрим. — Протри-ка глаз свой и рассмотри вот этих четырех занимательных особ! Что ты об них скажешь? А мне кажется, что одного из сих казаков я уже видел в качестве лекаря!

Пан Сидор, оборотясь к нему, с надменною улыбкою произнес:

— Что ты говоришь, дорогой собрат! Разве не знаешь, что я, набираясь некогда премудрости у проклятого дьяка Сысой, нажил горб и лишился глаза? Из сего заключи, что я не плоше твоего вижу, слышу и чувствую. Теперь-то начнем действовать во славу божую и во спасение людям!

После сего они не выпускали уже из виду означенных людей, и когда сии, нагрузясь всем нужным, удалились с места торжища, а потом и из села, то и наши посланники следовали за ними. Первые, несколько раз оглядываясь назад и видя подозрительных последователей, недоумевали, что надобно думать и делать. Когда же они, вступая в известный лес, то же видели, то сделали наскоро совет, остановились и, дождавшись приближения нахальных незнакомцев, с суровыми взорами их окружили. Тогда один из них — теперь скажем, что догадка мудрого Охрима была на сей раз весьма справедлива: это и действительно был несколько уж нам знакомый Сильвестр, — он спросил:

— Приятели! Что вы за люди и чего от нас хотите, что следите по пятам нашим?

Тут Охрим распрямился и, завернув шапку набекрень, сказал:

— Не подивись, приятель, если услышишь нечто новое: я тот, который без малого за год пред сим имел честь

самолично видеть твое искусство, с каковым ты в одну ночь в сем же лесу перевязывал рану на руке — атамана-девки.

Кто опишет всю великость удивления, поразившего умы Сильвестра и его спутников? Они раскрыли рты, делали разные движения руками и все, устремля изумленные взоры на Окрима, не отвечали ему ни слова. Охрим, немаловажный наблюдатель сердец человеческих, пользуясь таким их онемением, с большею отвагою продолжал:

— Вижу, что вы по нечаянности моего слова несколько оторопели. Чтобы привести вас, столь достойных удальцов, в положение, вас и нас достойное, скажу, что я и сей достойный собрат мой Сидор служим есаулами под славными знаменами знаменитого атамана Гаркуши, о коем, наверное, вы довольно слышались и от коего отправлены полномочными послами к храброму атаману Олимпию, о подвигах коего с достойною дружиною и мы весьма известны. Общая польза обоих обществ требует личных соглашений, а от того весьма много зависеть будет. Посему именем своего атамана просим представить нас пану Олимпию и надеемся, что просьба Гаркуши, объявляемая его послами, без исполнения не останется.

Разумеется, что после такового предисловия Сильвестр и его спутники начали дружески обнимать Сидора и Окрима и по требованию последних тут же повели их в стан Олимпия. Подвиги Гаркуши в течение одного года новой его жизни произвели то, что всякий из подобных ему извергов считали за честь видеть его, слушать и даже ему повиноваться.

ГЛАВА 7

Что-то будет?

Сидор, яко многоученый человек, взял на себя обязанность сочинить мысленно речь и проговорить ее пред атаманом Олимпием, почему во всю дорогу не вмешивался в разговоры новых друзей своих; зато усердный Охрим неумолкну повествовал о подвигах атамана Гаркуши и всего братства. Сильвестр не хотел унижить славы и своего атамана, и таким образом все не приметили, как достигли становища. Они увидели довольно обширную долину, окруженную древними дубами, соснами и елями. Посередине сей лощины разбито было до двадцати палаток, из коих одна отличалась своею обширностью и вышиною. По обе стороны сего холстяного городка расставлены были разного рода телеги и повозки, между коими находились

вдовольном количестве лошади, быки, овцы, бараны и даже свиньи. Все же становище обнесено было сплошными рогатками.

Когда к сей крепости путники приблизились, то Сильвестр, обратясь к Сидору и Охриму, сказал:

— Братцы! По нашему уставу, я не смею вести вас далее без дозволения атамана: побудьте здесь, а я постараюсь возвратиться поскорее.

Он с сопутниками своими вошел за ограду, а посланники начали на досуге рассматривать стан. Многие из обитателей оного глядели любопытно на пришельцев, но видя, что они пришли с их братиею, не беспокоили их неуместными вопросами. Местах в пяти разведены были большие огни, у коих на треногах висели огромные котлы. Хозяева занимались различными потехами. Сильвестр воротился и объявил, что атаман еще со вчерашнего вечера с двадцатью храбрецами отправился в дальний поход на важный промысел и, вероятно, до будущего утра домой не будет.

— Однако старший есаул, из уважения к славному имени Гаркуши, дозволяет вам провести ночь в сем стане. Итак, милости просим. Мы вас сытно накормим, и вы переночуете в моей палатке с пятью подвластными мне богатырями.

Как сказано, так и сделано.

ГЛАВА 8

Сватовство в лесу

Едва занялась заря утренняя, как все в становище зашевелилось и вскочило на ноги. Громкие голоса людей, раздававшиеся с разных сторон, ржание коней, мычание быков и блеяние овец — представляли из сего разбойничьего гнезда селение в дни ярмарки. Взошло солнце, Сидор и Охрим вылезли из своего шатра и увидели, что огни пылали во многих местах и готовился завтрак. Разбойники заняты были различными упражнениями: одни чистили ружья и пистолеты, другие оттачивали ножи и сабли, а некоторые, не имея за собой никакого дела, валялись на траве, курили трубки и — калякали.

Как уже всему стану известно стало, что в нем находятся два есаула Гаркуши, прибывшие от него послами к их атаману, то многие из шайки их окружали и почтительно приветствовали. Особливо есаулы весьма старательно расспрашивали о нраве и образе жизни Гаркуши, о законах, какие дал он обществу, и о способах, какими он ведет войну. Разумеется, что всякий посол всемерно должен стараться о возвеличении чести его

пославшего, а посему и Сидор наговорил о Гаркуше столько необыкновенного, чудесного, что все слушатели разинули рты и притаили дыхание. Хотя они и по общему слуху удивлялись отважности, уму и счастью сего атамана, но по словам Сидора Гаркуша был отважнее Еруслана Лазаревича, разумнее Картуша и счастливее мальчика в семимильных сапогах.

Когда кашевары объявили, что завтрак готов, то есаулы хозяева пригласили в кружок свой есаулов гостей. Они уселись около огромного котла с кашею, приготовленною с бараниной и свиным салом. Сначала пошла кругом изрядной величины баклага, гостям поданы большие деревянные ложки, и все начали насыщаться.

Как скоро котлы и баклаги сделались пусты, то в некотором отдалении раздался пронзительный свист, а вскоре послышался пистолетный выстрел. Вся шайка вскочила на ноги, и в молчании — казалось — чего-то ожидали. Другой свист и другой выстрел. Разбойники стояли в прежнем положении. Третий свист и третий выстрел. «Наши, наши!» — воскликнули все и бросились за рогатку. В непродолжительном времени показалась ватага, человек из десяти состоящая. Домоседы встретили их радостным воплем и поздравляли с победою.

— Не очень радуйтесь, — сказал атаман: его сейчас можно было узнать по тому, что из всей шайки у него одного не было усов, — вы видите, что я привожу людей половиною меньше, нежели сколько повел на промысел. Нас так встретили, как мы никогда и не ожидали. Из сего основательно заключаю, что тут не без измены. Все меры приложу открыть преступника, и — о боже! — и адские мучения ничего не значат пред теми, какие ему назначу!

Он вступил за рогатку и, приметя незнакомых людей в Сидоре и Охрине, обратясь к старшему есаулу, спросил:

— Это что за пришельцы? Наружность их кажется мне подозрительною!

— Никак! — отвечал есаул. — Они честные и храбрые люди, ибо служат под начальством Гаркуши в почтенном звании есаулов и присланы от своего атамана к тебе с какими-то важными предложениями!

Атаман Олимпий приметно удивился.

— От Гаркуши — ко мне — с предложениями, — сказал он протяжно. — Какие же предложения может сделать мне атаман ваш? — спросил он у посланников.

— Великий атаман! — отвечал Сидор, распрямясь, сколько ему было можно. — Дело, за которым к тебе мы присланы, такой важности, что можем сообщить о нем одному только тебе!

Атаман, опять осмотрев их внимательно, сказал:

— Хорошо! Я согласен! Но не спавши две ночи сряду и проведя полторы сутки в беспрестанных трудах и в движении, я имею нужду в отдыхе. Подождите в моем стане. Вы будете в обеденную пору исправно накормлены, а там я позову вас и выслушаю!

Сказав сии слова, атаман простился с есаулами и скрылся в шатре своем. Несколько за полдень Сидор и Охрим позваны были к атаману и нашли его лежащего на кожаном тюфяке, на траве разостланном. Всю домашнюю утварь составляли два ружья, три пары пистолетов, две сабли, два большие ножа и с десять деревянных обрубков, служащих на место седалищ. На сделанный ими поклон атаман привстал, сел на тюфяке и сказал ласково:

— Садитесь, паны, и объявите, в чем состоит предложение, которое через вас хочет сделать мне храбрый атаман ваш?

Пан Сидор разгладил чуб, протер глаз и, выставя правую ногу вперед, а правую руку подняв вверх, раздувши ноздри, произнес:

— Знаменитый атаман! Начальник наш атаман Гаркуша желает тебе здравия и долгоденствия! Он наслышался о великих твоих подвигах и надеется, что и его дела не уклонились слуха твоего. Ты имеешь довольно число храбрых витязей под своим начальством, но и его дружина достаточна была — ты сам это неоднократно слышал — к разорению многих богатых хуторов, к наказанию панов их за гордость и бесчеловечие; она достаточна была — согласишься, высокоименитый атаман, что ты с своею дружиною отнюдь не отваживался на подобный подвиг, хотя в военном деле упражняешься уже около пяти лет, — на осаду целого селения и на победу над оным! Уединясь на глубокую осень и на зиму в свою пустыню, которую некогда занимал ты со своим братством, мы предались покою после трудов летних, но душа Гаркуши не могла терпеть праздности: с позволения его — мы — есаулы — каждый день по несколько часов должны были проводить в его доме, где беседовали о подвигах, какие намеревались предпринять с наступлением весны.

«Наконец солнце стало ярче, дни яснее и продолжительнее. Снега начали таять, и на проталинах запели птички. С обрубистых краев нашего становища полилась вода в тысяче местах и, сливаясь в малые ручьи, погрузалась в озеро. Несколько дней назад поутру Гаркуша велел позвать к себе меня и сего друга Охрима. Когда явились мы, он сказал: «Братья! В прошлый годный поход мы довольно отличились, но могли бы отличиться и более, если бы посильнее были. Хотя я надеюсь, что в этом

со временем, наверно, успеть можно, но вы знаете, сколько я нетерпелив, и ждать долго приближения времени к отличию — для меня несносно! Думая о сем день и ночь, я — к услаждению моего сердца — нашел, наконец, средство, по коему можем теперь же силу свою удвоить. Вы все знаете, что в сих сторонах, и всего вернее, что в сем же лесу, обитает многочисленная дружина, предводимая атаманом — девицею Олимпией! Отправьтесь как можно скорее к ней, объясните о моих мыслях и желаниях, предложите ей мою руку и собранные богатства и просите о согласии на соединение обоих храбрых обществ. О! Если только сия мужественная девица склонится на мое предложение, то чего мы с нею не наделаем? Теперь трепещут нас хутора и села, а тогда затрепетали бы целые города с пригородками!» Что скажет мужественный атаман, прекрасная Олимпия, на сие предложение?»

Сидор низко поклонился; умолк и багровый глаз свой устал на лицо Олимпии. Она довольно времени погружена была в задумчивость, потом, тяжело вздохнув, встала и, подошед к послам, произнесла:

— Чудное дело, что сколько я ни старалась скрывать пол свой; эта тайна дошла уже до ушей Гаркуши! Не скрою, что предложение вашего атамана действовать соединенными силами — мне нравится; но сделаться его женою — это сопряжено со многими затруднениями! Ах! Было время, и время пагубное, когда я испытала тяжкое иго рабства, испытала насилие и бесчеловечие, и потому настоящая свобода для меня прелестна. Впрочем, я уверена, что Гаркуша, если бы когда и увидел меня своей женою, никогда не покусится и подумать, что я раба его. В таком важном случае есть о чем подумать! Прежде, нежели скажу что-нибудь решительное, мне нужно видиться и поговорить с Гаркушею. Если он поклянется устоять и сохранить условия, какие предложу ему, то, может быть, и я упрямиться не стану. Я позвала бы его сюда, но некоторые из дружины много раз уже делали мне подобные предложения, итак, в глазах их производить свадебные переговоры значило бы — по моим мыслям — оскорблять их нежность и разборчивость. Если чему быть, так пусть сбудется то в его стане. Я весьма хорошо знаю дорогу и рассказываю, что если теперь отправиться, то до самой ночи не успеем на место, а это было бы неприлично. Итак, переночуйте здесь, и рано поутру пустимся в путь; между тем я сделаю нужные распоряжения насчет моей отлучки. Вы угощены будете по-пански. Прогуливайтесь по стану и даже за оградю, но далеко не заходите, ибо места совершенно вам незнакомые и дело идет к ночи. О предложении вашего атамана настоящей истины никому ни слова. Завтра вы будете призваны в шатер мой! До свиданья!

Встреча невесты

Паны есаулы Сидор и Охрим, вышед из ставки атамана Олимпии, встречены были всеми чиновными людьми ее дружины. Все любопытствовали знать, о чем шло дело с атаманом? Посланники были так хитры, что отбояривали всех объявлением о намерении своего атамана, соединя оба ополчения, напасть на город, который к тому способнейшим покажется, для чего и нужно сделать особенное распоряжение, и что их атаман Олимпий отложил дать решение свое до утра на другой день.

Есаулы и отважнейшие из шайки Олимпийной ахнулы, услыша о таком ужасном намерении, каковое им до сих пор и в голову не входило. Посланники это приметили, сейчас приняли на себя надменный вид, раздули щеки и ноздри, и все начали ласкаться к ним, как к людям особенного достоинства. Всякий из есаулов наперерыв желал иметь их на ночь в своей палатке; но они, из благодарности к первому из шайки сей знакомцу, Сильвестру, склонились на его усиленную просьбу и шатер его назначили местом своего ночлега.

Едва взошло солнце, Охрим пробудился и, не видя подле себя товарища, почел, что он вышел за какую-нибудь нуждою. Одевшись, он сам вышел из шатра, но к великому удивлению нигде не видал Сидора. У кого из шайки о нем ни спрашивал, всякий отвечал, что он лучше других должен о том ведать, проведя ночь в одной ставке. Вскоре нарочный позвал его к атаману, и Охрим пошел с крайним смущением, которого никак не мог рассеять и тогда, когда предстал к нему. Первый вопрос его был:

— Где же собрат твой?

— Ничего не знаю! — отвечал есаул печально, — даже не знаю, что и думать!

Олимпия, помолчав несколько, сказала с улыбкою:

— Я догадываюсь, где он. Всего вернее, что усердный есаул, не дожидаясь твоего пробуждения, пустился к своему стану, дабы предупредить атамана о моем прибытии. Я все приготовила к моему отсутствию дня на три или и более; ибо если предложение Гаркуши и не исполнится, то все-таки мне хочется познакомиться с Гаркушею и погостить у него несколько времени и, буде можно, перенять несколько отважных ухваток! Я из своих никого не беру, да и не нужно. Путь неближний. Подкрепим силы завтраком и пустимся в дорогу.

Когда мы в самом начале сей повести уведомили читателя о наружности и дарованиях Гаркуши, то справедливость требует хотя в нескольких словах показать, какова была его

невеста. Кто может представить женщину около двадцати пяти лет, росту несколько выше обыкновенного для ее пола, с большими черными пламенными глазами, сверкавшими из-под густых бровей, с приятным лицом, но выражающим гордость, самовластие и непокорность, женщину с широкими плечами, с возвышенной грудью, с полными крепкими руками — тот несколько представит в воображении своем атамана Олимпию.

Позавтракав по-разбойничьи, то есть наевшись на целый день, они оставили становище. Неудивительно, что Олимпия, прожившая в сих местах около пяти лет, весьма твердо знала дорогу; при всем том, когда прибыли они ко спуску в пустыню, солнце было уже почти на половине дневного течения. Охрим заметил, что грудь у Олимпии начала подниматься выше обыкновенного и загорелые щеки ее побагровели. Они спустились вниз и вступили в долину. Первый предмет, им встретившийся, было зрелище особенного рода. Вся шайка разделена была на пять ватаг, и впереди каждой стоял есаул ее. Сидор начальствовал передовою и, прохаживаясь рядом с атаманом взад и вперед, несмотря, что был об одном глазе, первый приметил прибытие желанной невесты, надвинул шапку набекрень, схватил атамана за руку, оборотил его к идущим и произнес громко: «Она!» — махнул рукою, и в тот же миг передовая ватага дала ружейный залп. Гаркуша, одетый в запорожское кармазинного цвета платье, опоясанный дорогою саблею, сняв шапку, пошел навстречу госте. Залпы из всех пяти ватаг кончились, и начался беглый огонь из ружей и пистолетов.

Подошед к своей воинственной нимфе, Гаркуша произнес:

— Я считаю себя весьма счастливым, что вижу в сей прелестной области мужественного атамана — прекрасную Олимпию! Из сего доброго начала я дозволю себе предсказывать, что и конец надежды моей будет желанный!

— Я и сама не менее рада, — отвечала Олимпия, устремив на него пламенные глаза, — что имею случай видеть близ себя человека, которому во всей округе нет подобного в храбрости и замыслах.

После сих обоюдных учтивостей они обнялись по-братски и с нежностью поцеловались. Гаркуша, взяв гостью за руку, повел к жилищам, где увидела она на берегу пруда обширный шатер. Посередине оного стоял стол, прибранный на десять человек. Тарелки были оловянные, а ложки серебряные, что доказывало важность, вкус и щегольство хозяйина. Шайка, встречавшая гостью, расположилась позади шатра. Гаркуша с почтительной нежностью усадил невесту за стол и сам сел подле нее. Есаулы уместились по обе стороны, и, к удивлению Олимпии, в скором времени уместились противу их священник и дьячок. Пиршество было такое, какого ни у одного из окольных

панов не бывало ни в именинные дни. Под конец, когда хозяин, взявши в руку серебряную стопу с наливкою, возгласил: «За здравие храброй Олимпии!», шайка опять подняла пальбу и продолжала до тех пор, пока не встали из-за стола. Есаулы и прочие гости, чувствуя себя нетвердыми на ногах, кое-как побрели к своим хатам, все со стола было собрано, разбойники расположились невдалеке на лужайке обедать и бражничать, и в шатре остались одни — жених и невеста.

ГЛАВА 10

Девка-витязь

Гаркуша, взяв Олимпию за руку и смотря на нее умильно, сказал:

— Храбрая девица! Если что-нибудь из военных дел моих дошло до твоего слуха, то ты везде со стороны моей видела быстроту и решительность в действиях. Мое всегдашнее правило было и будет, чтобы, если что доброе можно сделать сегодня, того отнюдь не откладывать до другого дня. Итак, любезная Олимпия! Если предложение, объявленное моими есаулами, тебе не противно, то зачем медлить? Священник с дьячком заманены в стан мой; скажи одно слово: «я согласна!», и мы в сию же минуту сделаемся мужем и женою!

— Гаркуша! — отвечала Олимпия, сжав его руку. — Я от природы чистосердечна, а теперь и подавно не имею надобности скрытничать. Итак, скажу, что по слуху о твоих успехах в своем звании я тобой пленилась, а теперь, видя и твою наружность, я одобряю прежние о тебе мысли. Однако можно быть хорошими знакомцами, мало зная один другого, но между мужем и женою — это не годится. Расскажи мне без всякой утайки главнейшие обстоятельства своей жизни; я сделаю то же; и если тогда признаем, что можем ужиться между собою, то я подам тебе руку, и пусть священнослужитель благословит союз наш!

Гаркуша с удовольствием принял предложение и со всей искренностью рассказал важные случаи его жизни, или, лучше, случаи прошлых полутора лет, ибо до того времени жизнь его была так единообразна, как жизнь быка или барана, и Гаркуша не прежде проснулся от душевного сна, как увидя, что дьяк Яков Лысый тащит его за ворот из церкви, и почувствовав, что он делает сие несправедливо и достоин отпущения. Олимпия слушала рассказ своего любовника с великим вниманием. Несколько раз она улыбалась, а еще чаще глаза ее вос-

пламенялись гневом и щеки покрывались густым румянцем негодования и готовности к мщению. Когда Гаркуша дошел до настоящей минуты и замолчал, то Олимпия, взглянув на него пасмурными глазами, сказала со вздохом:

— Сколько я могу судить, ты ничего не сделал такого, за что бы могла угрызать тебя совесть: ты или защищался сам, или защищал других от злобы и насилия, наказывал беззаконных. Но со мною был один несчастный случай, который до самой могилы не перестанет терзать душу мою и приводить в содрогание сердце. Выслушай повесть мою и суди, могу ли я постоянно сохранить свое спокойствие и можешь ли ты быть счастлив в объятиях женщины, мне подобной?

Я родилась подданной богатого пана Гуржия, проживавшего на хуторе в двадцати верстах от ближнего отсюда селения. У пана все семейство состояло из одного сына Турбона, который был годами пятью меня старше. Когда я начала себя чувствовать, то, вместо того чтобы участвовать в играх равнолетних мне девочек, я вмешивалась в кучи мальчишек, ездил на них верхом или допускала на себе ездить, смотря на чьей стороне был выигрыш, а к вечеру, перед возвращением в дома, мы бабавы свои оканчивали кулачным боем, и я нередко являлась к отцу и матери окровавленная, с общипанными волосами. Отец мой, походя нравом и хватками на своего вздорного пана, был у него дворецким, следовательно, имел возможность удовлетворять свое и панское лихоимство, злость и прочие страсти. Он сквозь пальцы смотрел на сомнительное поведение жены своей, а моей матери, которая почти без всякого закрытия своевольно обходилась с паном, и по всему дому носился слух, что в бытии моем дворецкий не имел ни малейшего участия. И действительно: пан одевал меня гораздо наряднее, нежели прочих девчонок, живших в доме; почти каждодневно призывал к себе, делал небольшие подарки, но вместе с тем и строгие увещания, чтобы не вмешивалась в игры совсем не девичьи. Он даже к словам присовокуплял иногда угрозы и побои, но ничто не помогало. Я терпеть не могла обходиться с девочками, а везде искала мальчиков, заводила между ими ссоры и драки и не могла налюбоваться, смотря на текущую из носов кровь и на клоchy волос, летающие по воздуху. Иногда случалось, что они, проникнув мое лукавство, кидались на меня по два и по три. Я отнюдь не робела, встречала их храбро, и поволочка начиналась нарядная. Конечно, я возвращалась домой вся в крови, но и нахалы оставались не в лучшем состоянии.

Поверишь ли, Гаркуша, что такой род жизни провела я до девятнадцатилетнего времени. Тщетно мать — отца давно уже

не было на свете — учила меня шить, пряхть, вышивать, — я ничего понимать не хотела. Когда она подходила ко мне с поднятым кулаком, я вставала с лавки и также поднимала кулак. Что оставалось ей делать? Она обыкновенно жаловалась пану, я была призываема, получала добрые пощечины и палочные удары в спину, но это ни на минуту не переменило образа моих поступков. Вместо того чтобы, получа достаточное истязание, с плачем воротиться в свою хату, я бодро выбегала на улицу и до тех пор бежала не останавливаясь, пока не нагоняла или не встречала какого-нибудь возрастного мужчины (с мальчиками давно перестала связываться), и тогда останавливала его или звонкою пощечиной, или исправною подзатыльщиной. Пока пораженный мог опомниться, я успевала наделить его дюжиною ударов. Я так прославилась уже по всему хутору удалством, что многие, почувствовав силу кулаков моих, бросались от меня бежать, как от бешеной собаки; но многие, стыдясь поддаться девке, присанивались, между нами начинался жестокий бой, крик и брань, и все продолжалось до тех пор, пока кто-либо из проходящих не разнимал нас, кидая издали в лица пыль, грязь или снег, что случалось, судя по времени года. Мать моя, надеясь, что, может быть, я, живучи между комнатными девушками, мало-помалу отстану от своих воинственных привычек и стану походить на настоящую девку, попросила своего благодетеля мне назначить небольшой чулан в панском доме, куда я и переселилась.

ГЛАВА 11

Злодеяние

— За шесть лет перед сим, также в весеннюю пору, пан Гуржий разболелся, и посланный в город нарочный привез сына его Турбона, который служил писцом в сотенной канцелярии, и хотя он почти ежегодно на несколько дней навещал отца, но я, живучи в своей хате, не имела ни разу случая вблизи его видеть. Теперь зато виделась почти беспрестанно, и по прошествии двух недель бытности его на хуторе я заметила, что он отличает меня от прочих дворовых девок. Однажды, встретясь со мною в дверях, он стал впереди и с улыбкою сказал:

— Олимпия! Я наслышался, что ты храбрая и сильная девка! Это мне приятно! Я также детина не трус и не бессилен, так мы легко поладим. Дай только мне уложить старика в могиле!

После сих благопристойных речей он с наглостью схватил меня за руку, но я сурово рванулась, отскочила назад и ушла прочь.

Вскоре после Пасхи пан Гуржий упокоился. В доме поднялась суматоха по случаю приготовления наряда, в коем не стыдно было бы мертвецу опуститься в землю. Двое нарочных посланы в город за гробом и за духовенством. В сумерки того же дня, видя, что комната, в коей лежал покойник, весьма освещена, мне захотелось посмотреть, каков он и во что одет. Вошед туда, я увидела одного Турбона, который, поправляя на отце саван, насвистывал казацкую песню. Усмотрев меня, он сказал весело:

— А, красавица! Ты пришла полюбоваться, глядя на старого мертвого своего пана? Пустое! Гораздо выгоднее любоваться, смотря на живого и молодого!

Тут он подошел ко мне с распростертыми руками и хотел обнять, но я так сильно толкнула его в грудь, что он отлетел на несколько шагов назад и затылком стукнулся об стену. Оправясь от удара, он поправил взъерошенный чуб и смотрел на меня зверски; однако скоро улыбнулся и сказал:

— Олимпия! Ты весьма непристойно шутишь с своим паном! Тебе нельзя не знать, что здесь на хуторе есть конюшня, а в ней — арапники!

С этими словами он опять подошел ко мне с прежним намерением, но я такую отвесила ему пощечину, что он попятился в правую сторону и, не удержавшись на ногах, упал боком на труп отцовский. Не дожидаясь, когда он оправится, я вышла, уединилась в свой чулан и проспала до утра весьма покойно.

На другой день прибыли из города посланные, привезли для пана последний дом, а для провожания его до землянки священника и дьячка. Все было сделано надлежащим порядком, пан Гуржий засыпан землею, Турбон сытно угостил прибывших посетителей и к вечеру остался в панском доме один с слугами и служанками, для которых назначен был праздничный ужин, за коим господствовало изобилие в пище и напитках. Заступивший место отца моего дворецкий принудил меня выпить два кубка меду. Вскоре почувствовала необыкновенную склонность ко сну, ушла в свой чулан и, не успевши даже порядочно раздеться, бросилась на постель и сейчас заснула крепко-накрепко.

Не знаю, долго ли пробыла в сем положении, только начала чувствовать, что меня душат. Через минуту я поняла — даже во сне — что не душат, а, напротив, ласкают особенным образом. Чувствуя причиняемое мне насилие, я стенала, но не могла проснуться, так сильно было действие сонного зелья, данного мне в меду проклятым дворецким. Наконец я пробую-

дидась от сна, но — увы! — когда злодеяние в полной мере было уже исполнено. При свете горящих свеч я увидела гнусного Турбона. Первое ощущение мое было бешенство; первое стремление задушить его или, по крайней мере, вырвать глаза, но, ах! Я ощутила, что руки мои и ноги крепко привязаны были к четырем концам постели. Я прилагала все усилия, чтобы разорвать свои оковы, — тщетно! Мое неистовство забавляло злодея.

— Олимпия! — сказал он с улыбкою. — Ты девка в поре, а столько несметлива! Вместо того чтоб [проводить] дорогие часы с паном в удовольствии, ты сумасшествуешь, но поверь, что сим увеличиваешь только мои утехы! Скрипи себе зубами, проливай слезы злости, вертись во все стороны, это, право, по новости своей весьма забавно! — Сказав сии слова, он сошел с постели, приблизился к столу, осушил целый кубок вишневки и потом, наливши в другой раз, подошел ко мне и сказал: — Суровая Олимпия! Я за твоё здоровье выпил, выпей и ты за мое!

— Чудовище! — вскричала я с яростью и стиснула губы и зубы.

— О! — говорил он, поставя кубок на постели. — Есть средства укрощать зверей самых сердитых!

Он отошел к окну и в ту же минуту возвратился с деревянным клином, и сколько я ни усиливалась зажимать зубы, но не могла, он открыл мне рот столько, что можно было цедить в него жидкость хотя из бочонка. Тогда он начал вливать в меня свою вишневку, и я должна была глотать, если не хотела захлебнуться. Когда в кубке не осталось уже ни капли, то он поставил его на стол, а сам попрежнему обратился ко мне. К чему я, несчастная, должна была обратиться, чтобы избежать дальнейшего мучения? Видя, что усилиями ничего не могу сделать, я прибегла к просьбе и со слезами сказала:

— Беззаконник, богоотступник, изверг! Разве не внушали тебе с малолетства, что душа всякого покойника до шести недель по кончине, не оставляя земли, блуждает около своего жилища? Посуди, что должна чувствовать душа отца твоего, видя такое твоё неистовство! Что будет с тобой, если он каждую ночь станет тебе являться или душить тебя?

— Глупенькая! — отвечал Турбон насмешливо, продолжая ласкать меня. — Если душа отца моего затеет мне являться; то я в городе отслужу по нем панихиду; а буде начнет озорничать, то велю на могиле его вколотить целую осиновою сваю!

Что мне отягощать тебя, — продолжала Олимпия, взяв Гаркушу за руку, — описанием мерзостей, коим ночь та была свидетельницею? Не только вся ночь, но и большая часть утра проведена в одном и том же беззаконии. Второй кубок влит в меня так же насильственно, как и первый, но третий, четвер-

тый и так далее — пила я добровольно, испытав, что сопротивление лишит меня зубов, а пользы нисколько. Наконец мы оба от утомления и силы выпитой вишневки совершенно обессилели. Турбон, сколько ни был нетверд на ногах, мог еще развязать мне руки и ноги и, идучи около стены ощупью, вышел из комнаты и запер за собою двери. Я скоро погрузилась попрежнему — не в сон, а некоторого рода в бесчувствие.

ГЛАВА 12

Порок приманчив

Проговоря слова сии, Олимпия бросила испытующий взор на своего собеседника и, увидя во взорах его и во всем лице признаки злобы, бешенства и жажду крови, упала на грудь его и обняла с горячностью.

— Видишь ли, друг мой, — говорила она томным голосом, — до чего довели нас злые, развратные люди — тебя пан Авраамий Кремень, а меня пан Турбон Гуржий! Слушай далее и услышишь больше.

Когда я несколько опомнилась от пагубного самозабвения, то приподняла голову, привстала и, сидя на постели, взглянула в окно. Солнце было уже гораздо за полдень. Я спустилась с постели и хотела подойти к окну и, открыв его, вздохнуть свежим воздухом; но колени мои затряслись, голова закружилась, и я, не могши ступить вперед ни шагу, опять опустилась на постель. Тяжкие вдохи меня задушали, и горькие слезы лишали зрения. Вдруг дверь моего чулана отворяется, и входит жена дворецкого.

— Здравствуй, Олимпия! — сказала она весело, садясь у ног моих. — Я раз двадцать прислушивалась у сей двери, но ничего не слыша, не смела войти, ибо пан Турбон, уезжая в город, именно приказал мне иметь о тебе попечение и ничем не беспокоить, а довольствоваться, чего только душа пожелает. Какой же нежный обед для тебя приготовлен! Как, право, счастлива ты, Олимпия, что, даже будучи девкою, по одной только наружности удостоилась такой чести от молодого пригожего пана. Много у нас в доме девушек, которые по всему могут назваться девушками, а он на них и не смотрит. Такой затейник!

О! Если б была я на ту пору в обыкновенном своем положении, дорого бы сей бездельнице стоили бесчестные слова ее. В знак негодования и презрения я отвернулась к стене и не

отвечала ни слова. Долго болтала несносная баба всякий вздор, но не получая никакого ответа, вышла и по прошествии некоторого времени воротилась в сопровождении одной горничной девки, принесшей обед. Склонясь на их убеждения чего-нибудь отведать, а к тому же почувствовав некоторый позыв на еду, я попросила придвинуть стол к постели и подкрепила пищу истощенные свои силы. Что распространяться в рассказывании о несносном состоянии, в каком я находилась. Коротко скажу, что по прошествии трех суток я столько оправилась, что могла довольно твердо ходить. Пан Турбон не возвращался еще из города, и я не прежде его увидела, как по прошествии двух недель после пагубной ночи. День клонился к вечеру. Лишь только услышала я на дворе стук проезжавшей повозки, то бросилась в свой чулан и заперлась. По прошествии довольно времени я слышала у дверей моих стук, но не дала ответа. Стук повторен с удвоенною силою, — я молчала. Тут, по некотором молчании, Турбон сурово воззвал:

— Олимпия! Сейчас отпрись, или я велю выломать дверь! Ты меня довольно знаешь!

Видя, что против властного изувера упорством ничего не сделаю, я отперла дверь и отошла к окну. Турбон вошел, сопровождаемый двумя дюжими слугами, несшими большие корзины. Пан, севши на лавке подле меня и видя, что слезы из глаз моих капали на пол, ласково сказал:

— Перестань печалиться, Олимпия! Я тебя отлично люблю и впредь любить не перестану, если ты добровольно соответствовать будешь моим желаниям. Посмотри сии корзины, и ты найдешь в них довольно разного рода материй — бумажных, шелковых и шерстяных. Я привез с собою из города портного жида, который с завтрашнего дня и начнет шить для тебя обновы. А между тем я сейчас пришлю к тебе несколько пар праздничных платьев моей матери. Сего вечера ты ужинаешь у меня. Прощай покудова! — Он встал, обнял меня и поцеловал.

Я стояла, как окаменелая, и не понимала ни одного своего чувства. Это его более ободрило. Он прижал меня к груди и — поцеловал меня с нежностью. Видя, что я стояла в прежнем положении, он сыпал — так сказать — поцелуями и не прежде унялся, как я, легонько высвободясь из рук его, отступила назад. Тогда он, пожав мне руку, вышел.

Я села на лавку и задумалась, но ничего решительного не могла придумать. «Что мне делать? — говорила я сама себе. — Сопротивляться? Конечно, можно, — но — только до некоторого времени, а все кончится тем же, чем началось! Как может бедная подданная девка избегнуть хитростей или даже и явного насилия от своего пана? Не в полной ли я состою у него власти?» Я опять задумалась, но вскоре ободрилась и сказала вслух:

«Что ж такое? Если это будет грех, то не я в нем виновата! Кому приятно страдать и мучиться, а пан над телом моим имеет полную волю! Не лучше ли покориться своей доле и пользоваться на часок довольством?»

Остановясь на сей отрадной мысли, я успокоилась, вздохнула в последний раз, отерла последнюю слезу и подошла к корзине с подарками. Там нашла я несколько кусков разных шелковых и других материй и мелких золотых вещей. Не успела я налюбоваться сими гостинцами, как в камору мою вошла Лукерья, пожилая девка, прислуживавшая покойной панье и ею любимая.

— Олимпия! — сказала она, положив на лавку узелок. — По приказанию молодого пана Турбона я с сей минуты стану тебе прислуживать, как прежде служила матери его до самой ее кончины. Пойдем теперь же в овин, где для тебя приготовлено довольно горячей и холодной воды. Ты более двух недель не радела о чистоте, а знаешь, как это вредно!

Я не противилась, и мы с Лукерьею отправились на место очищения. Она несла с собою узел. Дело известное. Меня обмыли со всевозможным тщанием с головы до ног, одели в сорочку и ситцевое платье покойной паньи, в ее чулки и башмаки, и в сем торжественном облачении вышел из овина, увидела, что глубокие сумерки покрывали уже землю и что в панской спальне мелькал огонь. Едва вступила я в сени, как жена дворецкого встретила меня ласково и, взяв за руку, проводила в опочивальню пана. Он казался обвороженным, видя меня в том уборе. Коротко да ясно: мы отужинали вместе, и я не прежде проснулась, как рев пастушьей трубы, собирающей вверенное ему стадо, раздавался несколько раз вокруг двора панского.

ГЛАВА 13

Сего и ожидать должно было

— В упоении чувств протекло более полугода, и я к неопisanному ужасу удостоверилась, что во внутренности своей ношу залог преступления. У меня потемнело в глазах, и холодный пот полился со лба. Известно, что человек, видя приближение к себе какого-нибудь несчастья, старается всячески себя обманывать и не прежде удостоверяется в бедствии, как когда оно сядет ему на шею. Так и со мною. Мне хотелось уверить себя, что приметы мои обманчивы и что когда-то нечто подобное случалось со мною и прежде. Я не говорила никому о своих

догадках, и так прошло около двух месяцев. Тогда-то нечего было уже сомневаться или догадываться. Движение младенца было весьма ощутительно. С горьким плачем я уведомила о сем Турбона, и он, обняв меня с горячностью, сказал:

— О чем же печалишься? Разве я так беден, что дитя может быть для меня в тягость? Успокойся, Олимпия! Посмотрим, что бог пошлет нам, а там и подумаем, каким образом устроить счастье будущего нашего гостя или гости.

Я успокоилась и с того времени равнодушно смотрела на работу Лукерьи и двух горничных, занятых приготовлением белья для дитяти. Время текло в приятном единообразии, и хотя тогда была весьма суровая зима, но я не чувствовала ее жестокости. Быв одета в богатую заячью шубу, я в хорошие дни прогуливалась по хутору с кем-либо из дворовых девушек, ибо мне казалось стыдно и совестно гордиться своим преимуществом. Турбон нередко уезжал на охоту, или к кому из окольных шляхтичей, или в город. Как по введенному обычаю и дом наш был весьма нередко посещаем, а мне неприлично было казаться на глаза посторонним, то чуланчик мой прибран довольно нарядно, и главное украшение его составляла пышная постель покойной паньи. Надо сказать правду, что хотя я и лишена уже была главного удовольствия бороться и драться с мужчинами, однакоже проводила время свое весьма нескучно.

Так прошло окончание зимы, так прошла весна и начало лета. Я чувствовала, или, лучше сказать, верила многоопытной Лукерье, что месяца через два, или и ближе, разрешусь от удручающего меня бремени. Турбона не было дома уже недели с две, и как он — по словам его — щадил мое положение, с некоторого времени меня уже не беспокоил, то я мало и заботилась о долговременной его отлучке.

В одно прекрасное утро в начале июня, когда я, освободясь от сна, нежилась в мягкой постели и любовалась трепетанием дитяти, вдруг послышала в доме сильную тревогу, громкий говор людей и всеобщую суматоху. Я не иначе сочла, как что Турбон из поездки своей возвратился, и потому ожидала его к себе с полунетерпением. Однако вместо пана быстро вошла ко мне Лукерья с изменившимся лицом и, подошед к постели, сказала:

— Ах, милая Олимпия! Что я должна сказать тебе? Весьма худые вести! Собери врожденную тебе крепость телесную и душевную! Знаешь ли что?

— Ах! Говори скорее, — сказала я вполголоса, севши на постель. — Что еще за новое бедствие мне угрожает? Я ко всему готова!

— Милая дочь моя! — продолжала Лукерья со вздохом. — Правду нам, девкам, твердили ежечасно матери и бабки, что

панская к нам любовь мягче вешнего снега. Сейчас растает и наделает только грязи. Ты слышала теперь возню в сем доме: это был знак, что привезли приданое и его по удобности размещают, ибо наш пан за неделю перед сим женился на какой-то вдове Евфросии и к вечеру будет сюда со всем новым родством и знакомыми. Пан Турбон хочет, чтоб ты с получения о сем вести тотчас из панского дома перебралась в хату к своей матери, причем дозволяется тебе взять с собою все, что ты получила от пана во время годичного с ним знакомства!

О Гаркуша! Мне показалось, что земля подо мною расступилась и дитя, во мне трепетавшее, превратясь в тяжелый камень, тянет меня в бездонную пропасть. Однакож — благодарение небу! Я недолго пребыла в сем адском положении.

Бодрость моя возобновилась: гнев и мщенье волновали грудь мою, и я, скрежеща зубами, вскочила с постели, накинула на себя прежнее тиковое платье и босыми ногами бросилась вон из гибельного дома. Мать моя, услужливыми людьми еще прежде обо всем уведоменная, встретила меня с рыданием и, повиснув на шее, возопила:

— Ах, Олимпия! Ах, дочь моя! Что из нас будет?

Не отвечая ни слова — ибо я не в силах была разнять челюстей — я вырвалась из рук ее, вбежала в светелку и кинулась на скудную постель.

ГЛАВА 14

Важный оборот в деле

— Пробыв довольно долго в полубесчувствии, я, наконец, пришла в себя, и размыслив, что сего рано или поздно, а ожидать надобно было, я несколько утешилась, привстала и немало удивилась, увидя на полу три большие коробки, а мать свою сидящую на полу и с довольным видом выкладывающую из них мое белье, лучшие платья и разные золотые украшения, коими даровал меня Турбон при всяком возвращении из города. Это привело меня снова в неописанный гнев; я вскочила с постели, бросилась в сени и, возвратясь с топором, намеревалась все вещи превратить в мелкие лоскутья. Мать, бросясь ко мне на шею, вскричала:

— Безумная! Что ты хочешь делать? Если эти вещи тебе не надобны, то они мне пригодятся! Кому угрозишь ты, причиняя сама себе убыток, и притом добровольно? По милости покойного пана я запаслась порядочным достатком, который от продажи сих украшений еще умножится. Здешний дворецкий

мне приятель и по моей просьбе назначен в сию должность на место покойного отца твоего. Через него выпрошу я, чтоб нам отвели хату вне панского дома. Живущий в ближнем селе полупанок ¹ Захар, не один раз будучи свидетелем твоей храбрости, пленился тобою и охотно на тебе женится, как скоро сделаешься свободна от двух тяжестей, то есть от Турбона и дитяти. Это он часто мне сказывал. Посуди, как это хорошо будет! Турбону должно быть стыдно, если не отпустит тебя на волю; ежели ж он такой бездельник, то я за тебя и за себя внесу выкуп, сколько ему угодно, ну хотя бы пятьдесят рублей!

Говоря сию речь, мать укладывала имение мое в свои сундуки, а я, сидя на лавке у окна, неподвижными глазами смотрела на двор. Мать собралась и пошла в панский дом и скоро возвратилась. Пришла обеденная пора, и я по просьбе матери несколько поела. С каждым проходящим мигом я делалась покойнее, а к вечеру довольно холоднокровно слушала стук колес, а после смотрела на въехавшие колымаги и нарядные повозки. Правда, что сердце мое трепетало, когда Турбон вышел из колымаги и стал на крыльце с молодою женою, но оно успокоилось, когда они скрылись в доме, и я с некоторым уже любопытством рассматривала приехавших гостей, жен их и детей. В самые сумерки вошел к нам дворецкий с веселым видом. Положа перед матерью на стол изрядной величины кожаный мешок, он сказал:

— Это все серебряные деньги, и пан Турбон дарит его вам обоим за оказанные услуги — одною отцу, а другою сыну. Однако благодеяния его сим не ограничатся. Дня через два или через три, когда поразъедутся гости, он велит лучшую хату на хуторе очистить для вас и постарается — сколько теперь ему можно будет — сделать жизнь вашу веселою. Вам в новом жилище прислуживать будут работник и работница. Прощайте!

Мать моя с восхищением считала и пересчитывала деньги и не могла довольно прославить щедроту панскую. Три дня прошли в обыкновенных занятиях, то есть: я спала, сидела у окна или бродила из светелки в кухню и обратно, ела и опять спала; мать поутру стряпала, а после обеда работала иголкой. Исстари заведенное обыкновение с панской кухни приносить в нашу хату говядину, домашних птиц и вообще все съестное и теперь исправно было исполняемо, с тою разницею, что прежде делалось было открыто, а теперь весьма скрытно, и только в глубокие сумерки нам доставляем был запас для будущего дня. Через приносившего мы узнали, что наша панья была безобразная, злая, своенравная вдова, но зато весьма богатая. Это решило Турбона принять ее руку, ибо она сама начала за

¹ Шляхтич, не имеющий крестьян, то же, что одподворец.

него свататься в отмщение детям за то, что сын тайно женился на самой бедной шляхтянке, а дочь также тайно вышла замуж за молодого есаула из полупанков. Мало-помалу гости и гостьи разъехались, и к исходу третьего дня в доме, кроме хозяев и служителей, никого не осталось. Еще прошли три дня, но мы о выводе нас из панского двора ничего не слышали. Около полудня на третий день пришедший дворецкий объявил с печальным видом, что он теперь — ничего более в доме не значит. Сегодня поутру, — говорил он, — когда уже все готово было к отъезду наших панов для посещения всех тех, кои были у них на свадьбе и после здесь гостили, панья сделалась вдруг нездоровая, и до такой степени, что слегла в постель. Что оставалось делать пану Турбону? Он сел в повозку один — и поехал. Как скоро панье сказано было, что повозка скрылась уже из виду, то панья, проворно соскочив с постели, позвала меня, потребовала ключей и велела следовать за собою с одним из пожилых служителей, привезенных ею в числе прочих из своего поместья. Мы осмотрели кладовые и погребя, и при взгляде на каждую вещь — панья ахала и качала головою. Тут уже почувствовал я, что дело добром не кончится. По возвращении в хоромы я нашел в столовой комнате всех слуг и служанок, половину коих составляли приехавшие с нею. «Рабы и рабыни! — воззвала панья, звеня ключами. — Обозрев домашнее устройство моего мужа, я нашла его в самом жалком положении, а всему причиною то, что Турбон, будучи еще молод и неопытен, оставил в качестве дворецкого сего плута, бездельника, расточителя, которого в сию важную должность выбрал старый глупый отец его. Я избираю Луку (продолжала она, указывая на спутствовавшего нам при осмотре) в сию должность. Повинуйтесь все приказаниям его, как моим собственным, ибо он будет передавать вам мои повеления!» Она дала знак, и все разошлись, а я прибрел к вам, чтобы о сей новости уведомить и сказать, что вы уже не можете ожидать от меня ни малейшей помощи.

ГЛАВА 15

Несчастливая

— Едва он окончил слова сии, как дверь быстро отворилась и в комнату вошла незнакомая панья в сопровождении трех дюжих слуг. Она была высокого роста, смугла лицом, имела впалые глаза, блестящие огнем злобы и неистовства. Я сейчас догадалась, что это пугалище была наша панья Евфросия, и из почтения привстала с лавки. Осмотрев меня внима-

тельно, и в особенности мою дородность, она обратилась к прежнему дворецкому и, повидимому холодно, спросила:

— Ты, голубчик, зачем здесь?

Бедный служитель оторопел и отвечал — одним молчанием.

— Вижу, — говорила панья с злобною улыбкою, — что ты здесь заговорился до того, что забыл и выход. Укажите дорогу сему доброму человеку!

Тут мгновенно двое слуг бросились на дворецкого, впились руками в его чуб и поволокли к дверям, а третий со всего размаху бил кулаками марш по спине его. Страдалец вопиял изо всей силы, но сей торжественный ход не прежде кончился, как выволокли его из сеней на двор, где, дав несколько пинков, предоставили ему на волю бежать или остаться на месте, а сами возвратились к нам в светелку. Сердце мое трепетало от негодования, я смотрела на злобную женщину с ужасом и омерзением.

— Так это та ведьма, — возвала она, указывая на меня пальцем, — которая околдовала дурака Турбона, нажила от него прибыль, расточала его имение и верховодила в доме, как законная жена и урожденная шляхтянка! О господи! Долго ли попустишь ты греху и нечестью возносить кичливый рог свой? Как дерзнула ты износить платье покойной паньи твоей? Как дерзнула ты, нечестивая, спать на ее постели? Как дерзнула ты — я начинаю задыхаться от праведного гнева и бешенства! Поступите с сею беззаконницею так, как я приказала!

Тут трое слуг возвысили руки, вооруженные нагайками, и со всех сил поразили меня по чему ни попало. Сначала глаза мои потемнели, все существо взволновалось, но — благодаря бога — я в ту же минуту опомнилась, а особливо получив вторичные удары. Я как отчаянная бросилась на одного из бездельников, вырвала из рук его нагайку и вскричав:

— Безбожная панья, чертоподобная Евфросия! Неужели ты ни за что считаешь терзать незащитную? — с сими словами я — сколько было в руке моей силы — огрела ее нагайкою по макуше, в другой раз, в третий — и она с ужасным воплем и воем опрокинулась на землю.

— Убейте до смерти сию злодейку, — вопияла она, скрежеща зубами и катаясь по полу, — растерзайте ее на части; я за все отвечаю!

Видя, что мне не житье там более, я распрямилась (несмотря, что удары нагаек сыпались на меня градом), перекрестилась перед образом, поклонилась рыдающей, отчаянной матери и — побежала. Мучители гнались за мною, произнося наглые насмешки, ругательства и не переставая поражать нагайками. Уже далеко отбежала от хутора, но они от меня не отста-

вали и, может быть, не унялись бы до ночи, если бы не увидели ехавшего вдали какого-то пана с псарями. Это остановило бесчеловечных, и они поспешно обратились к хутору, а я, страшась кому-либо показаться на глаза в столь расстроенном виде, бросилась в сторону и, залезши в высокую рожь, легла в борозде. Пан проехал мимо с своим людством, и я несколько успокоилась. Тогда первые мои мысли были: «Что я? Где я? Куда я?» Все соединенные чувствования души и ощущения сердца ответствовали: «Ты несчастная! Ты на распутья без пищи и покрова! Одна судьба знает будущие пути твои!»

Став на ноги, я обзвелаюсь вокруг и, нигде никого не видя, пустилась далее. На дороге встретила я хутор, там село, там еще хутор и не решилась никуда пойти, стыдясь представить из себя нищую, когда незадолго была настоящею паньею. По случаю — на дороге нашла я на целое семейство, собиравшее на ниве горох. Я отнеслась к сим добрым людям о своей крайности и получила целый хлеб, кусок свиного сала и несколько луковиц. С сим запасом пустилась я далее и продолжала путь до глубокой ночи, не зная сама, где и чем окончится мое путешествие. Заночевала я в одном перелеске, в густом орешнике. На другой день рано поутру отправилась я в дальнейший путь, несмотря, что черные тучи покрывали все небо. Встретив при дороге большое село, я только напилась воды из протекавшей там речки и прошла мимо. До самых сумерек брела я, и ноги стали отказываться. Вдруг полился дождь, засверкала молния, и раздались ужасные удары грома. Я была почти в отчаянии и если бы в то время встретила какой-нибудь бездонный буерак, то непременно бы в него стремглав бросилась. К особенному моему счастью случилось, что я находилась тогда при входе в сей лес. Видя его чащу, необозримость, я произнесла: «Слава богу! Здесь умру я без свидетелей!» Перекрестясь, я пошла напролом. Дождь — по густоте деревьев — не столько уже меня беспокоил, но блески молнии и удары грома постепенно увеличивались. Ужасный мрак покрывал небо и землю, платье мое на каждом шагу трещало; ветви били меня по лицу; кровь, смешавшись с дождевою водою, с потом и со слезами, ручьем текла по щекам моим, но — я пробиралась далее и далее. Вдруг почувствовала я, — при сей мысли и теперь еще дрожь разливается по всему телу и рассудок теряется, — вдруг почувствовала я — приближение родов! Ноги мои подогнулись, и я опустилась на траву под ветвистою елью. В сии решительные минуты я занята была двумя предметами: читала вслух молитвы, какие знала, и предавала проклятию себя и виновника настоящего моего злополучия. Несколько времени сносила я несказанные мучения и, наконец, — родила. До сих пор сама не знаю, ка-

кого пола был младенец. Едва раздался в окрестности болезненный вопль несчастного дитяти, я наполнилась незнакомым дотоле мне бешенством и отчаянием, привстала и произнесла: «Бедное, отверженное небом творение! Зачем явилось ты на свет? Что я теперь буду с тобой делать? Не гораздо ли лучше не существовать тебе, нежели провождать такую же презренную жизнь, какую провождает злополучная мать твоя? Мати божия! Прости мое невольное злоупотребление!» С этими словами я схватила кричащего младенца на руки и — в один миг задушила!

Гаркуша побледнел, и глаза его помутились. Он молча склонил голову на обе руки и оперся на стол; Олимпия, унылая трепещущая Олимпия приняла такое же положение. Глубокое молчание господствовало в шатре. Одни слезы, текущие сквозь пальцы, показывали, что они — не два оледеневших трупа!

ГЛАВА 16

От первой встречи — все

Мало-помалу ужасное волнение крови у жениха и невесты начало униматься. Гаркуша первый раскрыл глаза и, устремив их на несчастную, не мог удержаться от содрогания. Она лежала грудью на столе и — стонала.

— Милосердный и правосудный боже! — сказал атаман вполголоса. — Ты видишь мучение твоих творений — сжался над ними! Так, Олимпия! Ты имеешь основательную причину горько плакать! Много пролил я крови человеческой, но клянусь, что совесть меня не зазирает, ибо кровь та была — кровь преступников и губителей; но лишать жизни творение столь невинное — о Олимпия! Чувствую, сколь положение твое было ужасно, и удивляюсь, как не пала ты под ударами бедствия, тебя постигшего!

Олимпия наварыд рыдала, и Гаркуше немало труда стоило сколько-нибудь ее успокоить. Когда открыла она глаза и распрямилась, то Гаркуша, взяв ее за руку и обняв с умилением, говорил:

— Ты знаешь, что я человек неученый; но по особенному содействию промысла уже более полугода имею в стане своем преученного человека, которого за сие возвел в почтенное звание есаула, удостоил своей доверенностью и каждодневно

пользовался его разумными суждениями. Его видела и ты, милая Олимпия, в виде моего посла к тебе с одним глазом во лбу и с горбом на спине. От него-то понабрался я довольно познаний и теперь скажу тебе, что хотя грех, тобою сделанный, весьма велик, но он был произволен, и если бы за день перед тем бесчеловечная Евфросия так безбожно с тобою не поступила, то и ты не имела бы побуждения лишать жизни создание, от тебя же жизнь получившее. Я совершенно извиняю твой отчаянный поступок, ибо уверен, что и без того младенец погиб бы неотменно, промучившись бытjem своим несколько лишних часов. Продолжай, Олимпия, свое повествование. Уверяю тебя моею любовью, почтением и общею пользою, что случившееся с тобою бедствие нисколько не уменьшает моих к тебе страстных чувствований и главному делу отнюдь не будет помехою!

Олимпия отерла слезы, вздохнула и продолжала так:

— Удрученная отчаянием, расслабленная в теле и в духе, изнеможенная от усталости, от голоду и холоду, я свернулась на сырой траве и мысленно молила бога скорее согнать меня с лица земли. В непродолжительном времени я услышала подле себя легкий шорох, и тут же раздался грозный голос: «Кто здесь?» Я не удержалась, чтоб не вдрогнуть, но не отвечала ни слова. Вопрос повторен — но ответа не было. Тут послышалась я, что высекают огонь, и в скором времени увидела зажженный фонарь в руках пожилого человека в синем казацком платье. На поясе висел у него длинный кортик, а за поясом заткнута была пара пистолетов и большой нож в ножнах. Подле него стоял другой, несколько помоложе, точно так же одетый и так же вооруженный.

Старший, подошед ко мне, осветил со всех сторон, осмотрел внимательно и, увидя подле меня оледеневшего младенца, отступил в сторону с приметным ужасом. Он кидал то на меня, то на дитя дикие взоры и наконец, подступя ближе, спросил вполголоса:

— Скажи мне правду, кто ты, несчастная? Может быть, я могу помочь тебе!

— Мне помочь? — сказала я полумертвым голосом, приподнявшись на руку. — Сострадательный человек! Оставь алополучную умереть здесь от изнеможения и голода! Ты сделаешь мне истинное благодеяние, когда меня приколешь!

— Боже мой! — вскричал незнакомец: — мне уже за пятый десяток; много претерпел я всякого горя, но никогда не имел несчастья, чтобы видеть при себе человека, умирающего с голоду или имеющего нужду, чтобы приколоть его для

избавления от продолжительного страдания! Марко! Набери побольше сухих сосновых и еловых сучьев и разведи огонь, а я сейчас назад буду.

Всякий исполнил свое дело. Марко начал кортиком обру-
бать сучья, а старик, взяв дитя мое на руки, стал пробираться
сквозь густые кустарники и скоро скрылся. Марко в несколько
минут развел большое пламя у ног моих; старик также скоро
возвратился с кожаной сумою и двумя суконными свитами. Он
сел подле меня, помог привстать и, говоря: «Подкрепи, бедная,
свои силы!» — развязал суму, вынул хлеб, кусок сала и ба-
клагу. Налив дубовый кубок вина, он дал мне выпить и,
отрезав хлеба и сала, просил покушать.

Ах! Все избранные яства за столом Турбона никогда не
казались мне столько вкусными, крепительными. Я приметно
оправилась и мысленно благодарила бога, пославшего мне
в пустыне вместо ожидаемой смерти неожиданную помощь.
Когда огонь совершенно разгорелся, то Марко по приказанию
старика вынул из сумы большой кусок жареной баранины и,
вздев на ореховый сук, стал разогревать. В течение сего вре-
мени я, ободренная ласками незнакомцев, рассказала старику
коротенько всю причину моего злополучия и последствия
оного. Выслушав меня внимательно, он воскликнул:

— О паны, паны! Какое может быть бедствие, какого не
наделали бы вы между своими подданными? Не будь я Дохиар,
если не отмщу проклятому пану Турбону и безбожной, жене
его за сию несчастную жертву изуверства одного и бесчелове-
чия другой! Боже! Обрати грех сей на нечестивые их головы!

Насытись горячим жарким и обогрившись воле огня,
я почувствовала новую жизнь и от всего сердца благодарила
великодушного Дохиара за благовременную его помощь.

— Дочь моя! — отвечал старик. — Что я для тебя теперь
сделал, то должен бы делать всякий человек, а особливо хри-
стианин. Подожди! Утро вечера мудренее. Может быть, мне
удастся сделать для тебя что-нибудь и большее. Тебе весьма
нужно успокоенье: вот тебе свита. Ты, Марко, разложи вновь
побольше костер дров, и мы оба переночуем подле нашей бедной
гостыи, одевшись другою свитою.

Я улеглась у корня древесного; добрые незнакомцы одели
меня свитою, я скоро заснула весьма крепко, а когда просну-
лась, то солнце блистало уже выше вершин самых высоких
сосен. Приподнявшись, я увидела, что угостители мои сидели
уже у огня и завтракали.

— Я очень рад, — сказал с видом непритворного удоволь-
ствия Дохиар, — что теперь вижу тебя гораздо спокойнее и
здоровее, нежели какою видел с вечера. Придвинься к огню,
поешь и приготовься к дороге ближайшей. Я, занимаясь охо-

тою, имею свое становище в сем лесу и, будучи паном, содержи при себе двадцать охотников. Из вчерашнего твоего рассказа знаю, что ты на всей земле божией не имеешь надежного пристанища. Уверяю, что у меня в стане тебе будет покойнее, чем в доме изменника Турбона.

Чувствуя себя совершенно оживленною в силах, я встала, оделась в свиту, и все трое пошли в дальнейший путь.

ГЛАВА 17

Разбойница

— Мы проходили местами, кои, казалось, до того времени никем из людей посещаемы не были. Инде должны мы были перелезть через великие бугры дерев, наваленных одно на другое, а после итти по колени в тине или обходить необозримые топи. Товарищи мои нимало не теряли своей бодрости и шли, разговаривая о веселых предметах. Дохиар как скоро замечал следы хотя малейшего уныния или усталости, то останавливался и в утешение мое говорил: «Будь смелее, любезная дочь! После трудов — отдых бывает приятнее! Прежде полудня мы будем на месте моего стана».

Ты согласишься, Гаркуша, что после всего случившегося со мною накануне такая проходка была для меня крайне обременительна, едва возможна, и я готова была в изнеможении упасть на землю. Дохиар то приметил, и вместо того чтобы на меня вознегодовать, он сжалился, посадил на траву и, сказав Марку нечто на польском языке, начал посекать кортиком ивовые ветви, а Марко, сидя на земле, приводил их в порядок и переплетал одну с другою и концы связывал скрученными травяными веревками. Дохиар присоединился, и в скором времени поспели носилки, на каких у нас на хуторе вынашивали всякий сор с заднего панского двора. Они меня бережно усадили, подняли на плечи и весьма проворно пустились далее. Прежде я одна задерживала ход их. Я не знала, чему приписать такое доброхотство, и, узнав на опыте, сколь вероломны люди, начала питать некоторое подозрение, однакож — оно оказалось несправедливым.

Незадолго до полудня мы очутились на довольно обширной равнине. Ношаки мои остановились и опустили носилки на землю.

— Олимпия! — сказал Дохиар. — Войдем в наше становище. Проход туда, конечно, мрачен, но зато когда дойдешь до жилищ, то тебе покажется, что очутилась в раю господнем.

Что много говорить? Я в крайнем изумлении очутилась на

еем самом месте, где теперь сидим, увидела этот лес, этот пруд, эти хаты, кои ты поновил и число их гораздо приумножил. Навстречу нам выбежало до двадцати полуодетых мужчин, однако у каждого на опояске висел большой нож. Все радостно воскликнули:

— Здорово, атаман! Добро пожаловать!

Тут-то догадалась я, в чьих руках нахожуся, и трепет разлился в каждом суставе моего тела. Дохиар то приметил, но притворяясь, что ничего особенного не видит, с веселою улыбкою обратился к окружавшей шайке и произнес:

— Братцы! До сих пор мы погубили много беззаконных душ, не хотевших удовольствоваться дарами божьими, ниспосылаемыми на них туне, а всегда алкавших более и более. Кто поручится, что в числе тех беззаконных не погубили мы души кроткой и убогой? Теперь провидение посылает нам случай загладить грех свой, буде он сделан. Вот девица, которую вам представляю, — девица храбрая, отважная, сильная (вы не смотрите на теперешнее ее бессилие: оно случайное и скоро пройдет), есть дочь моя, наследница моей власти, моей славы и — имущества. Принесите ружье мое, зарядите пулю и присягните ей в верности, в послушании и неограниченной покорности!

Естественно, что вся шайка пришла в крайнее недоумение, и раздался ропот. Я со слезами на глазах упала к ногам его и стонущим голосом произнесла:

— Сжался над тою, которой спас ты жизнь! Зачем без нужды погублять меня?

Дохиар с пламенеющими взорами поднял меня одною рукою и прижал к себе, а другую простерши к шайке, громоподобно возгласил:

— Кто сию же минуту не повинуется повелению своего атамана, тот личный враг его!

Все вздрогнули от сих ужасных слов. Один разбойник опрометью бросился к атаманской хате и возвратился с заряженным ружьем. Он поставил его у сей самой ивы и отошел в сторону. Пока он был в отлучке, то по его приказанию баклагы ходили проворно из рук в руки; итак, не диво, что к возвращению его лица всех покрылись румянцем, и глаза заблестали дружественною любовью. По порядку каждый подходил к ружью, читал себе отходную в случае измены, крестился и целовал в дуло. Когда обряд сей кончился, то Дохиар, обняв меня со всею родительскою нежностью, произнес:

— Олимпия! Отныне — ты милая дочь моя, утешение моей угрюмой старости! Были у меня и собственные дети, но те же паны разными образами меня их лишили. Забудем об этом! Марко! Отведи моей дочери спальню в моем доме, где ей полюбитя, и из кладовой моей выдай полную пару лучшего казац-

кого платья со всем вооружением. С сего времени ты, дочь моя Олимпия, будешь называться сыном моим Олимпием, и надеюсь, что в стыде меня не оставишь!

Я пошла за степенным Марком, выбрала себе на чердаке чулан с маленьким оконцем, оделась, вооружилась и пошла к сословию витязей. Я сама не могла разобрать ни одного из чувств своих. Я знала, к чему новое звание меня обрекало, содрогалась и, однакож, была довольнее, нежели в доме Турбона. Мысль — иметь некогда возможность отомстить за все бедствия, насилием мне причиненные, вливала в душу мою такую отраду, которая видна была в каждом моем шаге, в каждом взоре, в каждом движении. Вся шайка и сам Дохиар, видя таковую во мне веселость, не могли не восхищаться. Опять поднялись обнимания и посыпались поздравления; обед был самый панский, и атаман для такого радостного дня всю шайку удостоил приглашением к столу своему.

В коротких словах сказать: прошло три года жизни моей в сем приволье, и я успела отличиться противу всякого из братства в неустрашимости и замыслах. Во всех стычках на дорогах и при осадах хуторов, — старый Дохиар не дерзал и подумать о чем-либо важнейшем, — я всегда была подле него, прикрывала его своим телом, нередко бывала ранена, излечивалась и опять безобоязненно пускалась туда же. Дохиар почти боготворил меня, и не раз мне приходило на мысль, нет ли и здесь сетей на меня бедную, но проходящие месяцы и годы, в кои, кроме родительской ласки, я ничего от атамана не видала, удостоверили меня; что могу обходиться с ним как с самым чадолюбивым отцом. Хотя он — будучи уже стар, следовательно, угрюм и подозрителен, не хотел и слушать, чтоб хотя одним человеком умножить наше общество, однако — в угодность мне — дал дозволение принять в оное еще до десяти человек, что я и исполнила с наистрожайшим испытанием.

Время течет и приносит с собою то радости, то печали. За два года пред сим я и Дохиар, накупивши кое-каких нужных для нас вещей в городе, в сопровождении десяти товарищей приближались уже к лесу, настигнуты были командою земской полиции. Началось сражение; мы разбили сопротивных, разогнали их, но Дохиар был тяжело ранен. На свите мы донесли его до сего места, где он, приняв от всего братства вторичную присягу на верность мне в неограниченном повиновении, скончался. Видишь ли у того мшистого утеса огромный ясень, у корня коего устроена церковная насыпь? Может быть, ты не однажды отдыхал на том дерне, — так знай, что ты отдыхал на могиле Дохиаровой!

Что говорить об остальном времени? Я надеюсь, что ты столько же наслышался о делах атамана Олимпия, сколько ему

врезались в память подвиги атамана Гаркуши! Теперь душа моя, мое сердце, мои мысли — тебе столько известны, что можешь тотчас распределить, чему быть и чему не бывать.

— Любезная Олимпия, — отвечал Гаркуша, припавши к груди ее, — дело решено, и будет то, что угодно богу, а мы...

Он свистнул, и вмиг явился Охрим.

— Проводи невесту в мою кладовую, — сказал атаман. — Прошу тебя, моя любезная, на время, какое пробудешь здесь, одеться в платье, более свойственное твоему полу; ты окажешь тем несказанное для меня удовольствие.

Олимпия улыбнулась и пошла за Охримом. Гаркуша, оставшись один, погрузился в глубокую задумчивость. Сам есаул Сидор, желавший с ним поговорить, видя издали властелина своего в сем замысловатом положении, не решился его беспокоить, а лучше ждать, пока прекрасная невеста выведет его из оногo.

ГЛАВА 18

Брак двух разбойничьих атаманов

Пан Сидор, видя, что Гаркуша не переменяет пасмурного вида, прибегнул к единственному средству его рассеять. Он начал свистать и петь так звонко, что вся шайка, бывшая в некотором отдалении, подняла ужасный хохот. Атаман, подозвав сего певчего, спросил:

— Что за причина такой неумеренной веселости?

— Что за новость? — воззвал Сидор. — Где же и повеселиться, как не на весельи? ¹

— Это правильно, — сказал Гаркуша. — Однако веселиться можно только тогда, когда нет за нами никакого особенного дела. Хорошо ли ты все устроил и будем ли мы довольны вечерним угощением, равно как и все братство?

— О господи! — воскликнул Сидор, всплеснув руками. — Да если бы пожаловало к нам все шляхетство с пяти соседних хуторов с женами и детьми, то все были бы довольны и пищею и напитками, а о братстве и говорить нечего. Как скоро солнце спустится за бор, то человек двадцать примутся за стряпню, а между тем в ожидании ужина я кое-чем вас позабавлю.

— Кстати, — воззвал Гаркуша. — За суетами мне не удалось тебя спросить, каким искусством ты затащил сюда священника с причтом?

¹ В Малороссии весельем называется свадьба.

— Самое простое дело, — отвечал Сидор. — Получив от тебя приказание достать священника и ввести его сюда с возможною осторожностью, я взял четырех удалцов из своего отряда и прямо отправился на известный тебе луг, где пасутся наши лошади. Отделив пару, пустились мы к выходу, где в непроходимой трупце хранится несколько повозок. Впрягши коней в одну из них и приказав товарищам дожидаться меня лежа на траве, проворно поехал я в наше село и прямо завернул на двор попа Ериомы. Вошед в светелку, я с печальным видом сказал:

— Честнейший иерей! Пан Яцько находится при смерти и имеет набожное желание покаяться в своих прегрешениях. Благоволи, всечестный отец Ериома, сесть со мною в кибитку и с дьяком Ерохой, потому что пан Яцько хочет прежде отслужить молебен, и если не будет помощи, тогда уже прибегнуть к исповеди, — и отправимся на хутор.

Поп задумался и после сказал:

— Это очень хорошо, что пан твой при смерти, ибо без того никогда бы не вздумал раскаиваться. Но вот, мой свет, что очень плохо. Я довольно наслышался о пане Яцьке и несколько знаю его лично. На хутор его путь неближний, и прогуляться попустому, право, невесело. Поди-ка, дружок, к товарищу моему отцу Варсонофию; он меня помоложе и легче на подъем; а я послужу дома и посмотрю, не пошлет ли милосердый бог на кого-либо из здешних прихожан лихой немощи, — так это будет поздоровее!

— О велелебный отец Ериома! — сказал я со слезами на глазах. — Тебе нельзя не знать, как приближение смерти перемняет людские нравы! Пан Яцько теперь настоящий мот, если только не грешно сим именем назвать умирающего. Вот тебе и ясное тому доказательство! — Я вытащил из кармана кошну и, отсчитав пять рублевиков, а в сторону отложив два, сказал: — Это только задаток, отец Ериома, тебе, а это дьяку Ерохе!

У Ериомы радостью заблестали глаза. Он, с улыбкою уложив свою добычу под образами, сказал:

— Вижу, что пан Яцько не лишился еще благодати! Пожди немного; сейчас явится и дьячок Ероха.

Он и в самом деле скоро воротился с гостем.

— Вот тебе, пан дьяк, — говорил он, указывая на рублевики, — за будущие труды, и сей молодец сказывает, что это только задаток!

— Уверяю моею честью и совестью, — говорил я набожно, — что под подушкою у пана Яцька отложено уже для твоего превелебия пять рублевиков, а для твоей чести — три.

— О, когда так! — вскричал пан дьяк с восторгом, пряча в карман деньги, — то я готов хотя за тридевять земель. Думаю также, — продолжал он, разглаживая усы, — что домой с пустыми желудками не отпустят.

— Статочное ли дело! — вскричал я. — Вам столько предложено будет всякого съестного и питейного, что дай только всевышний силу со всем управиться!

Скоро уселись мы в кибитку, я взял вожжи, приударил коней, и они поскакали из села в поле. Отец Ериома, видя, что я, вместо того чтобы ехать по дороге в хутор, переехал ее и пустился напрямик к синевшемуся лесу, спросил торопливо:

— Хорошо ли ты знаешь дорогу?

Я отвечал, что битая дорога от весенней воды так перепорчена, что непременно опрокинемся и переломаем себе шею; а я намерен ехать целиком. Говоря слова сии, я усердно погонял коней. Отец Ериома молчал, но дьяк Ероха был неутомимого десятка.

— Дружище! — вскричал он. — Ты и не думаешь своротить к хутору, а едешь все к лесу. Уже едва видна наша колокольня, а лес как на ладони. Сейчас сворачивай, или я тебе сверну шею!

Я не отвечал ни слова, а приударил лошадей и поскакал с новою силою.

— Ну, честный отец! — сказал пан Ероха вполголоса. — Чуть не в западню ли мы попались! Сворачивай! — вскричал он с бешенством. — Разве ты — трекоаянный — везешь духовных особ в омут, на съедение волкам, а может быть, и нечистой силе?

Я засмеялся громко и, въезжая в перелесок, хотел было начать над ними издеваться, как почувствовал сильный удар по уху; шапка далеко от головы отлетела, и обе руки дьяческие впились в мой чуб. Поп Ериома, ободренный храбростью своего дьяка, подсел ко мне и со всего размаху начал стучать по горбу. Мне, конечно, досадна была такая их невежливость, но что ж делать? Одно другого нужнее. Ни на что не смотря, я продолжал пробираться сквозь лесняк, который, час от часу становясь гуще, делал дорогу с каждым шагом затруднительнее; седоки мои, видя, что дерганьем за чуб и ударами по горбу ничего не сделают, начали силиться, чтобы вырвать у меня из рук вожжи и самим уже повернуть назад. Они и действительно — хотя и не легко — могли бы успеть в своем намерении; но, к счастью, трущоба наша была уже не далее пятидесяти сажень. Я остановил лошадей, напряг всю крепость груди и так отчаянно свистнул, что у самого в ушах зазвенело и едва не свихнул челюстей. Вдруг привстали мои товарищи, я дал знак, и они опрومتью ко мне бросились. Иерей и дьяк, догадавшись, у кого они в руках, пришли в несказанный ужас, забились в самую глубь кибитки и зажмурили глаза. Храбрецы приблизились, а на вопрос: что сделалось и для чего я остановился, я коротко объявил о нахальстве, надо мною произведенном. Они хохотали и вели лошадей далее. Я, оборотясь к пленникам, с великою важностью произнес:

— Ты, честный отец Ериома, сделал великую горбу моему обиду; ты достоин наказания и был бы строго наказан, если б я не был так великодушен и мягкосердечен, а более всего подвигает меня к снисхождению то, что и мой родитель есть такой же перей, как и ты. Но что касается до тебя, высокоименитый пан дьяк Ероха, то тебе такое потворство грешно сделать. Я сам довольное время был дьяком, так ты мне равный, а от равного терпеть обиды, и притом невинно — как-то совестно! — Проговоря сии слова, я взял его бережно за пучок и наклонил голову к своим коленям; потом с расстановкою начал стучать кулаком по спине, как молотом по наковальне. Я приговаривал:— Вот видишь, честный дьяк Ероха, что значит озорничать?

Я не прежде унялся от своего занятия, как повозка остановилась у трущобы. Тогда — по совету нашему — Ериома и Ероха сошли на землю, кибитка спрятана, и мы пустились домой. Когда достигли луга, где паслись кони, то своих туда же пустили, гостям завязали глаза и, взяв каждого под руки, — прибыли сюда.

Лишь только Сидор окончил рассказ о своем утреннем походе, как показалась у крыльца атаманского дома Олимпия, шедшая к шатру в сопровождении Охрима. Она одета была в розовое штофное платье; на шее висела цепь жемчужная, а черные косы, сложенные на голове в виде венца, переплетены были золотыми и серебряными лентами. Когда она вошла в ставку Гаркуши и с улыбкою к нему приблизилась, то он не мог на нее посмотреться, не мог удержаться, чтоб не обнять с нежностью и не поцеловать страстно.

Солнце коснулось небосклона, и невдалеке от хат разбойничьих мест в десяти запылали костры высокие, и человек с тридцать принялись застряпню. Священник с дьяком явились под навесом. Поднялась суматоха немалая. Стол накрыт большою скатертью, на конце коего поставлено с дюжину горящих свеч. Полы ставки опущены; отец Ериома облачился и спросил: «Где же у вас венцы и вино?» Все стали втупик, даже сам Гаркуша, который отроду не бывал ни при крещеньи, ни при венчаньи. Он пасмурно посмотрел на есаулов, вокруг его стоявших, и спросил с негодованием:

— Чего от меня еще хотят? Всякого волошского вина у нас довольно; но какие то венцы?

— Не тревожься, атаман, — воззвал Сидор, — разве я сам не дьячествовал при отце моем? Разве не знаю, что нужно бывает при каждой духовной требе? Отец Ериома! С помощью божиею начинай свое дело, а я сейчас назад буду!

Он выбежал вон. Священнослужитель поставил сочетающихся у стола, на коем с сего конца лежал образ, тревник,

кольца и горели две большие свечи. Не успел он прочесть второй молитвы, как Сидор явился с салфеткою в левой руке и со стаканом красного вина в правой. Уложив и уставив и то и другое посередине стола, он раскрыл салфетку, и присутствующие увидели два пренарядные венца, сделанные из разноцветной фольги, перевязанной розовым шелком с такими же клеточками. Благосклонный взор атамана отблагодарил его. Священный обряд приближался к концу, и Сидор начал уже задыхаться, ибо он во время бракосочетания так нещадно драл горло, что во всем провалы слышно было. Когда Гаркуша поднес к губам стакан с вином, Сидор, приподняв полу ставки и высунув голову, закричал: «Ребята!» В один миг раздалось пятьдесят голосов: «Виват! виват!» — и залп из пятидесяти ружей потряс воздух. После сего начался беглый огонь из пистолетов.

Гаркуша, облобызав — следуя словам священника — трижды свою молодую, принимал торжественно поздравления от двух духовных и от пяти есаулов. Он, вынув из кармана два сафьянных мешочка и подавая один отцу Ериому, сказал:

— Вот тебе за труды, честный иерей, двадцать рублевиков, — а другой дьяку Ерохе. — Вот тебе десять. Сегодня неудобно будет моим богатырям проводить вас во-свои. Подождем до утра. Здесь проведете вы ночь не менее покойно, как и в домах своих. Что же, пан есаул Сидор, ты обещался в ожидании ужина кое-чем нас позабавить!

— Что обещал есаул Сидор своему атаману, — отвечал сей, делая левою ногою около себя полкруга, — того без исполнения никогда не оставит. Милости прошу за мною!

Когда все вышли из ставки, то Гаркуша с душевным удовольствием увидел сажень в десяти другую, с поднятими полами. Она освещена была великим множеством свеч. Посередине стоял стол, весь уставленный лотками с великим множеством различных сушеных плодов и разноцветными сулеями. Вне ставки сидело до двадцати певчих и музыкантов, которые, опорожнив уже одно из стоявших перед ними трех ведер вина, с несказанным рвением подняли вопль и зазвенели на разных инструментах. Прочие члены шайки, усевшись несколько поодаль, поставили между собой целый чан охлаждающего и веселящего напитка и скоро всем ужасным хором запели свадебные песни. Таковое веселье и после великолепный ужин продолжалась до самой полуночи; после чего все собеседники, чувствуя большую потребность во сне, нежели в продолжении веселья, и пользуясь теплым весенним воздухом, разлеглись на траве, где кому случилось; Гаркуша, взяв за руку молодую жену, отправился в дом свой, и всеобщая глубокая тишина распространилась по всей пустыне.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА 1

Брачное торжество

Всякий легко догадается, что такое великое происшествие, каковое было бракосочетание двух разбойничьих атаманов, через целые три дня шайкою Гаркуши торжествовано было в пустыне самым блистательным образом. С восходом солнца торжество открывалось ружейными и пистолетными выстрелами, что и заставляло новобрачных оставить свое ложе и являться к друзьям и братьям. Едва Гаркуша с Олимпиею показывались на крыльце атаманского дома, как все толпившиеся около оною пять есаульств поднимали шумный радостный вопль и производили громкие рукоплескания. Тут в разных местах начиналось приготовление завтрака, а между тем усердные подчиненные старались увеселить своего начальника с его молодою женою музыкою, пением, пляскою, борьбою и кулачными боями. Увеселения сии с самого утра до поздней ночи непрерывно продолжались в пустыне, и для шайки ничего не могло быть приятнее, как видеть, что не только атаман Гаркуша, но и жена его без дальних околичностей вмешивались в общие игры и на кулачных боях без малейшего неудовольствия сносили пощечины и подзатыльщины; зато и сии дерзкие нахалы, попавшись в руки Олимпии, не вырывались из них с целыми носами и ушами. Такое досужество ее несказанно тешило Гаркушу.

К ночи третьего дня брачных торжеств дано было общее приказание, чтобы поутру с восходом солнца вся шайка была под ружьем и готовилась провожать молодую жену атамана с такою же почестью, с какою встречала ее за три дня в виде невесты. В урочное время Гаркуша с своею женою, одетою уже попрежнему в мужское платье с пышным вооружением, . . .

.
.

М. П. Погodin
1800 ~ 1875

ИЗДАНИЕ



НИЩИЙ

Вы знаете, друзья мои, старинную любимую мою привычку шататься в народе, присматриваться к лицам и образам добрых соотечественников и прислушиваться к речам их и поговоркам, в веселые и печальные минуты жизни, когда выражусь их пословицею, — у них что на уме, то и на языке. Вы поверить не можете, с каким удовольствием провожаю я, например, какого-нибудь архангелогородца, приехавшего в Москву с семгою, на колокольню Ивана Великого, показываю ему оттуда Москву белокаменную, рассказываю о сорока сороках московских церквей, о славных удалцах, которые расставляли на кресте плошки, и проч. и проч. На всех гуляньях в Марьиной роще я всегда бываю в толпе народной, вступаю в разговор со всяким встречным, смеюсь, балагурю и каждый раз возвращаюсь домой с новыми мыслями о свойствах, хороших и дурных, благословенного народа русского. Таким образом легко мне было познакомиться и с героем моей повести. Теперь слушайте.

Часто проходил я Покровку. На углу подле церкви Воскресения в Баратах встречался я всегда с нищим, который с первого почти взгляда привлек мое внимание; но, не знаю почему, при всех моих филантропических видах я всегда довольствовался подаванием ему нескольких копеек, когда у меня случались они в кармане, и проходил мимо, как будто оправдывая пословицу: «сытый голодного не разумеет».

Наружность его, однакож, оставила во мне впечатление. Мой нищий был росту среднего; волосы черные с частою проседью покрывали его голову; из-под густых навислых бровей видны были глаза, когда-то яркие; покрытый морщинами лоб, бледное лицо со впалыми щеками доказывали ясно, что сей труженик приближается, наконец, к концу своего земного стран-

ствования, которое было нелегко для него. Одежда его состояла в смуром армяке, из-под которого видны были лоскуты нагольного тулупа, в шапке, когда-то плисовой, теперь вытертой, бесцветной, с меховым околышем, которую держал он под мышкою, наконец в сапогах с кое-где прорванными голенищами и толстой веревке, коею был подпоясан. Он стоял, прислонясь спиною к углу и опираясь на суковатую палку. Физиономия его никогда не изменялась, никого из проходящих не просил он о подавании ему милостыни, никого не сопровождал молящими глазами. Это придавало ему вид какого-то благородства: казалось, он стоял на своем месте.

Недавно пошел я прогуливаться... только что прочитав объявление о моей книге какого-то рецензента, который не хотел или не умел признать ее достоинства. Мне было очень досадно и, разумеется, хотелось найти товарища в досаде. Нищий стоял на углу. Я подхожу к нему и начинаю разговор:

— Ты, старинушко, кажется, не сходишь отсюда?

— Здесь мое жилье, — промолвил он тихо, оглянувшись на меня, и снова опустил свою голову.

— Довольно ли дают тебе, не нуждаешься ли ты в чем?

— Бог дает день, бог дает и пищу.

— Сколько лет тебе?

— Идет на шестой десяток.

— Однакож по виду ты кажешься гораздо старше. Верно, много горя пришлось тебе измыкать на своем веку?

— Век прожить — не поле перейти, — отвечал он, вздохнул как бы невольно и кулаком утер слезы, навернувшиеся у него на глазах.

Мне не хотелось беспокоить его на первый раз своими вопросами и возбудить в нем недоверчивость. Я подал ему обыкновенную милостыню и пошел мыкать свое малое горе.

Между тем старик возбудил во мне желание познакомиться с ним покороче. Всякий раз, проходя мимо его, начал я с ним кланяться, подавал ему что-нибудь, сопровождая свое подаяние ласковым видом, ласковым словом... и заметил, наконец, что он чувствует ко мне благорасположение. О святое участие! Какой целебный бальзам проливаешь ты на страждущую грудь несчастливца!

Таким образом по прошествии некоторого времени я осмелился спросить у него о подробностях его жизни.

— Ах, барин, — отвечал он, — я запечатал было свое горе, зачем заставляешь ты меня вскрыть его опять? Но ты добрый человек; у меня всегда бывает теплее на сердце, когда посмотрю на тебя... изволь, я расскажу тебе...

— Пойдем же ко мне теперь, друг мой. Я живу отсюда

недалеко. Мы поужинаем вместе чем бог послал, и после ты расскажешь мне свои похождения.

Старик согласился. Мы отправились, и вот что я услышал от него после ужина.

— Я родился в крестьянстве, в Орловской губернии, за Мценском. Отец мой был зажиточен: хлеба у нас стояли всегда скирды непочатые, закромы полны, покосов, скотины, одежды, всего вдоволь. Семья у нас была большая, но мы жили согласно, и нам во всем спорилось. Батюшка любил меня: я был у него как порох в глазе. Когда подрос я, меня отдали к сельскому дьячку на выучку. Грамота мне далась и полюбилась, и в год стал я читать и писать скорешенько. С тех пор до самой нищеты я всегда доставал себе кое-как разные книги и вытверживал их почти наизусть. Воротясь домой из ученья, принялся за работу, сперва за легкую, а потом и потяжеле, косил, пахал, боронил, сеял, и возмужал наконец совсем. В деревне своей был я одним из первых молодцов, на работе, на гуляньи всегда впереди. Песню ли спеть, проплясать ли в хороводе, побегать ли в горелки, рассказать ли быль или сказку какую, пошутить ли с красными девушками на посиделках — на все было взять меня, и они говаривали, что красивее, удалее Егора не отыщешь во всем околотке. Мне минуло 20 лет. Батюшка сказал, что пора уже посадить меня на тягло, пора женить доброго молодца. Мне и самому стало уже об этом смышляться: часто заглядывался я на старостину Алексашу, часто бегали у меня мурашки по сердцу, когда, ходив вместе по ягоды, за орехами, оставался я наедине с нею. Дивеса происходили со мною. Ни слова, бывало, не вымолвишь, шатаешься, как шальной, только что взглянешь иногда украдкою, — заглядывала иногда и она и краснела, а у меня и пуще горело ретивое. Алексаша была девка кровь с молоком, ростом почти с вас, барин, глаза голубые навывкате, щеки алые, как маков цвет, волосы русые, в длинные косы заплетенные, спускались с плеч, белогрудая, полноликая... Как, бывало, нарядится она в красный сарафан, как, бывало, распустит переплетенные лентами косы, как, бывало, повернет плечами в пышных полотняных рукавах, так поневоле призадумаетесь. А какая была она добрая, какая приветливая: никто не отходил от ее окошка без подаяния — или хлеба ломоть, или кусок пирога, или слово доброе подаст, бывало, всякому бедному. Никто у нас в деревне не мог на нее пожаловаться — словом, сказать тебе, барин, по сердцу приплась мне Алексаша. Я начал ласкаться к ней: в лес ли пойдет она в воскресный день по ягоды с подругами, я как тут; в хоровод ли выйдет поплясать — поспел и туда, и всегда находил случай сказать ей что-нибудь ласковое, приятное, — из города никогда не воротился без гостинца; либо ленту, либо повязку, что-нибудь при-

несу моему другу. И она полюбила меня, — я заметил это; всегда, бывало, на ней моя запонка; моя лента всегда в косе развеивается; никогда не проходил я мимо их дома без того, чтоб она меня не увидела из своей светлицы и не сказала мне: «Здравствуй, добрый молодец!» — «Ах, здравствуй, красная девица!»

Слезы полились градом из глаз моего нищего при сих словах. Он замолчал: воспоминание об утраченном счастье теснилось, кажется, в скорбную его душу... ему хотелось пожить еще, подышать тою благодатною жизнью, которая доставалась в удел ему. Мысли перелетали по лицу его.

Мне было жаль выкликнуть его из этого мира воображения, который один остается в утешение для несчастных, и я молчал, смотря на него с состраданием.

Наконец он опомнился и начал продолжать свою повесть:

— Все наши деревенские спознали про любовь мою: товарищи начали говорить мне, что зевать нечего, что должно поговорить с Алексашею, да и сказать родителям, чтобы они начали свататься. Я решился сделать по их совету.

«Это было пред первым Спасом, — малина давно уже поспела. Обыкновенно по праздникам хаживали мы, парни и девки, из деревни, ватагою человек в двадцать, в лес по ягоды, — пошли как-то и тогда. Я не покидал Алексаши. Слово за слово, мы заговорились с нею и отстали от своей гурьбы... никого не слышать было около нас. Время было жаркое, полуденное, — ветерок затих, — ни травка, ни листик не шевелились, только под кустиками кое-где провевала прохлада. Усталые, мы сели на траву. Солнце пекло нас, как будто огнем обдавая, а в сердце у меня был огонь еще горячее; я насилу переводил дыхание, сдерживал себя и молчал... Алексаша также молча разбирала малину и украдкою взглянула на меня такими глазами, такими глазами, что я почти вышел из себя и, иступленный, бросаясь к ней на шею, воскликнул: «Милый друг мой! Любишь ли ты ме...» — «Ау! ау! ау! ау!» — послышалось в стороне. Алексаша тотчас вскочила, но ответ ее был уже на устах моих: она поцеловала меня горячо, горячо. Знал и я счастье на сем свете! Мы скоро пристали к своим, а возвратясь домой, я тотчас пошел к батюшке и матушке. «Благословите меня, родные. Я нашел свою суженую». Старики расспросили меня и согласились. Начали свататься с старостою и старостихою. Дело шло хорошо. Положили и время, в кое играть свадьбу. Алексаше начали готовить приданое. Сельские девушки собирались уже к ней и пели свадебные песни. Батюшка достраивал мне новую избу. Съездили мы в поезде к невесте с дружками, с дядьками и поддядьками. Алексаша по нашему обычаю сидела в своей избе, накрытая длинным полотенцем, в кругу своих подруг, которые пели величальные песни, сидела наклонившись и никуда не глядела.

Подле нее посадили лучшую красавицу из нашей деревни. И вспоминать мне это весело! Как скоро я вошел в избу, ко мне подвели их обеих и велели узнавать невесту. Я узнал ее, и дружка заставил нас поцеловаться, невестины родители благословили нас. Тут начали дариться, и велели нам сесть за девичий стол, а поевжие сели за большой стол. Батюшка и матушка угощали их своим привезенным вином и хлебом. Когда первый стол был кончен, тогда невестины отец и мать посадили нареченного зятя за большой стол со всем поездом и начали угощать их уже своими припасами. Только что мы распировались, только что начало говоритья вольнее, веселее, — шасть в избу барский дворецкий и сказывает, что барин вслед за ним будет на короткое время в деревню по каким-то делам и останется у старосты... Меня как мороз по коже подрал, лишь только я услышал об нем. Все взволновались, засуетились, — начали думать, мерекать — как быть, что делать, и наконец решились отложить свадьбу до отъезда баринова, ибо нареченному тестю, по его должности, некогда стало снаряжать ее. Гости разошлись. Барин и в самом деле тотчас приехал. На другой день поутру я сбежал к Алексаше и поговорил с нею в огороде. Он видел ее. Перед вечером я побывал опять у ней, моей любушки. Она была грустна, хотя и старалась утешить меня. Я не слыхал ее утешенья: тоска-свинец мне на сердце; веще, предвещало оно беду неминучую. Тяжело было мне, когда я простился с нею. Дома места сыскать не мог... мешался туда и сюда. Матушка подумала, что меня схватила огневка. Кое-как промаячил я ночь, которая показалась мне целою зимою... На другой день чем свет бегу я околицей к старостиной избе — по задворку, под плетнем лежали два барские лакея, и я нечаянно услышал их речь... поминают имя Алексаши, барина. Я остановился, стал слушать, — что же услышал я, царь мой небесный! — и теперь еще мутится в глазах моих... Злодей! Он... Ах, Алексаша!»

Нищий замолчал снова. Эта минута живо представилась его воображению, он весь дрожал, глаза его сверкали. Насилу мог я успокоить его.

— Я упал без памяти, — стал продолжать он тихим голосом. — Не помню, много ли, мало ли времени лежал я на том месте. Помню только, что опамятовался я на другой день к своему горю в нашей избе. Матушка вспрыскивала меня богоявленскою водою. Я опамятовался, но память у меня была не прежняя: я помнил только то, что у меня есть на свете злодей, кровный, лютый, — всего прочего как будто и не было, или, лучше, все представилось мне моим злодеем. Ничего не мог я различить: все в голове моей было вверх дном... но нечаянно попался мне в глаза нож. Его я различил, его узнал я с радостью, почувствовал, что такого друга мне надо, схватил и побежал

благим матом к старостиной избе... вбегаю... все пусто... спешу в светлицу Алексашину... нет никого... Я сел на кровать ее, стал озираться вокруг себя и в бешенстве скоблить косяк своим ножом. В это время вошел ко мне батюшка, который поспешил вслед за мною, подумав, что я хочу сделать что-нибудь над собой. Он рассказал мне, рыдая, что старосту с женою барин переселил в дальнюю вотчину, Алексашу же взял с собою. Я слушал и скоблил.

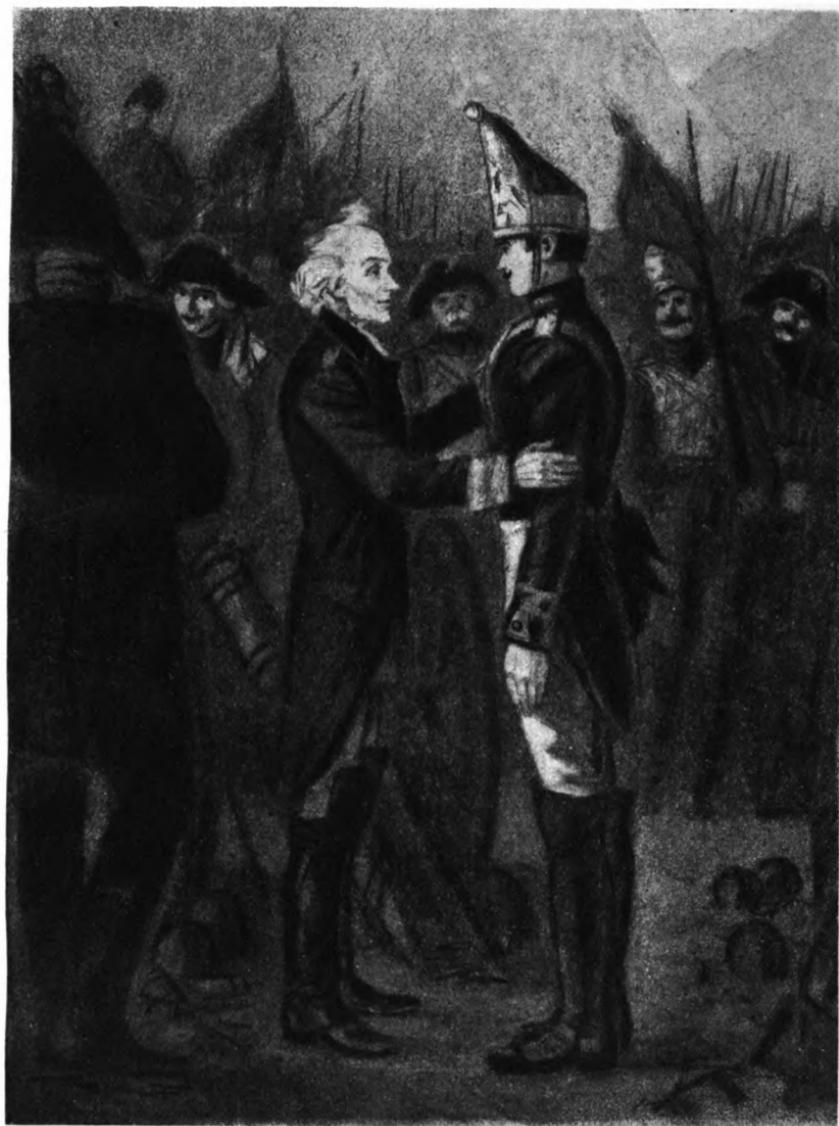
«— Куда уехал он? — спросил я, наконец, дрожащим голосом.

«— В Курскую вотчину.

«Ты не спрячешься от меня в Курской вотчине», — подумал я и вместе с батюшкою пошел тихими шагами к своей избе. Дяди, тетки, братья старались развеселить меня... Я веселился только смотря на свой нож, думая, как я засажу его под сердце своему злодею, как скажу ему, что Алексаша была моею невестою. Между тем смышлял я вырваться поскорее из нашей деревни. Это было трудно, потому что все домашние за мною присматривали. Наконец выбрал время: на заре, когда все еще у нас спали — из мужиков же никого не было дома, — я встал, снарядился в дорогу, попробовал свой нож, отточил его на камне, сходил на погост, помолился спасу да святому Николе и пустился в путь по курской дороге. Итти мне было весело, как будто на пируванье какое. На третий день увидел я нашу деревню. Там был у нас сват с матерней стороны. Я к нему — будто зашел повидаться из ближнего города, куда приехал за поваром, между тем выпрашиваю о господине. «Он здесь», — отвечал мне сват и рассказал, когда и куда выходит он со двора, когда бывает на работе. Мы поужинали вместе и на другой день перед рассветом расстались... Я стал шататься в околотке, высматривал места, улучал время и наконец рассчитал, что лучше всего управиться можно с моим злодеем из-под мостика над оврагом, по которому проходил он всегда на поле. Спрятался, дожидаясь, как ворон крови... идет он с двоими... заворочалось у меня сердце! Только что сошел он с горки и ступил на мостик, я, как волк, выскочил с другой стороны прямо к нему навстречу и закатил нож... но второпях попал не туда, куда надо, а в руку. Хотел было попытаться еще раз и не успел... меня схватили. Ах, господи! И теперь вспомнить не могу того времени: что было тогда со мною? Сердце в куски разрывалось, как будто у меня отнимали опять мою Алексашу. Нет, мне было еще тяжелее. За это меня... но что было, то прошло; так тому и быть».

— Что же случилось с тобою после?

— После через сколько-то времени отдали меня в солдаты. Я был в каком-то забытьи, не чувствовал, не думал ничего. На



другой год полк наш выступил в поход — мы шли мимо народов иноплеменных, на нас не похожих, чрез многие страны чужие, по высоким горам, переправлялись через широкие реки, глубокие пропасти и пришли наконец в... как бишь называют эту страну — там всегда бывает очень тепло, на небе всегда ясно, воздух такой легкий?

— Италия?

— Да, да, Италия. Туда приехал к нам генерал наш Суворов, и началась война. Кровь в первом сражении, мною увиденная, возбудила во мне жизнь. Я почувствовал в себе какое-то движение и полюбил кровавую сечу. Всегда дрался я как отчаянный и заслужил похвалу от начальников. Меня представили Суворову как отличного солдата: на мне было ран двадцать на груди, на руках, на лице. «Помилуй бог, какой красавец!» — сказал он, целуя меня в лоб. И поверишь ли, барин, несмотря на мою тоску-змею, я находил еще какую-то отраду в службе с нашим батюшкою Суворовым. Мне, бывало, весело смотреть, как он на коне ездит по рядам и кричит нам: «Ребятунки! Вперед — с нами бог!» Так и рвалась душа и руки за ним. После был я под туркою, под шведом, а наконец в Грузии. Выслужив двадцать пять лет, получил отставку и пошел в свою родину, но не дошел, — верст за сорок так стало мне тошно, тяжело, так возобновилось в памяти все бывшее, прошедшее, что я не мог итти далее, воротился и в ближайшем городе принялся к поцу в батраки, работал лет пять, пока во мне были силы, но я выбился из сил, и есть мне было нечего. Руки поднять я на себя не мог: мне натолковали сызмаленька, какой это страшный грех, — к тому же я ослабел и телом и духом. Я решил итти в Москву и питаться милостынею. На святой Руси с голоду не умирают — говорит пословица. Нелегко мне было, однакож, привыкать и к новому ремеслу. Много, — знаете вы теперь, ваше благородие, — перенес я на своем веку, но, бывало, когда какой-нибудь щеголь пройдет мимо меня и грубым голосом на смиренную мою молитву скажет: «Бог даст», — тогда я чувствовал новую болезнь, как будто оставалось еще в моем сердце здоровое местечко, которое только сим постылым отказом уязвлялось. После и от того мне уже не было больно, напротив — мне казалось, что я становился богаче, когда кто-нибудь не подавал мне ничего, и беднее, когда я получал милостыню. Тепер же все равно.

— И неужели ты, — спросил я его, — идя в Москву почти мимо своей родины, опять не зашел к своим родителям?

— У меня заржавело сердце, ваше благородие. Я не мог им обрадоваться; может быть, и на их ласку мне стало бы скушно смотреть; зачем же было тревожить их своим явлением. К тому же я у них давно в поминаньи.

— А об Алексаше осведомлялся ты?

— Об Алексаше я спрашивал. Она зачахла и умерла года через два после моего приключения. Барин бросил ее задолго еще перед смертью.

Мы говорили несколько времени о походах суворовских; было далеко уже за полночь.

Я уложил своего гостя и сам лег спать, думая о слышанном. Какие страшные сны виделись мне, друзья мои!

На другой день рано поутру проснулся гость мой и собрался в дорогу.

— Послушай, старинушко, — сказал я ему, — не хочешь ли ты жить у меня? Ты будешь сыт, обут, одет...

— Нет, ваше благородие, спасибо за ласку: я привык к своему состоянию, — отвечал он мне и отправился, опираясь на свою клюку.

А.А. Бестужев-Марлинский

1797 ~ 1837

ИСПЫТАНИЕ



ЛЕЙТЕНАНТ БЕЛОЗОР



МОРЕХОД НИКИТИН



ИСПЫТАНИЕ

I

...В благовоном дыме трубок,
Как звезда, несется кубок,
Влажной искрою горя
Жемчуга и явтаря;
В нем, играя и светлея,
Дышит пламень Прометей,
Как бессмертия варя!

Невдалеке от Киева в день зимнего Николы многие офицеры *.-ского гусарского полка праздновали на именинах у одного из любимых эскадронных командиров своих, князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже кончился, но шампанское не уставало литься и питься. Однакоже, как ни веселы были гости, как ни искрення их беседа, разговор начинал томиться, и смех, эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах. Запас уездных новостей истощился; лестные мечты о будущих вакансиях к производству, любопытные споры о построениях, похвальба конями и даже всевозможные тосты, в изобретении копх воображение гусара, конечно, может спорить с любым калейдоскопом, — все наскучило своей чередою. Остряки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не смешат. Язык, на который, право не знаю почему, скорее всего действует закон тяготения, заметно упорствовал подниматься к небу; восклицания, и вздохи, и табачные пуфы становились реже и реже, по мере того как величественные зевки, подобно электрической искре, перелетали с уст на уста...

Я мог бы при сей верной оказии, подражая милым писателям русских новостей, описать все подробности офицерской квартиры до синего пороха, как будто к сдаче аренды; но зная, что такие микроскопические красоты не по всем глазам, я разрешаю моих читателей от волнования табачного дыма, от бря-

канья стаканов и шпор, от гомеровского описания дверей, исстрелянных пулями, и стен, исчерченных заветными стихами и вензелями, от висящих на стене мундштуков и ташки, от нагорелых свеч и длинной тени усов. Когда же я говорю про усы, то разумею под этим обыкновенные человеческие, а не китовые усы, о которых, если вам угодно знать пообстоятельнее, вы можете прочесть славного китолова Скорезби. Впрочем, да не помыслят поклонники усов, будто я бросаю их из неуважения; сохрани меня Аввакум! Я сам считаю усы благороднейшим украшением всех теплокровных и хладнокровных животных, начиная от трехбунчужного паши до осетра.

Но вспомните, что мы оставили гостей не простясь, а это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, не подстрекаемая великим двигателем сердец — банком, склонила головы свои на край стола, между тем как остальные, более крепкие или более воздержные, спорили еще, сидя: «что красивее, троерядный или пятирядный ментик?» Вдруг звон колокольчика и топот злой тройки заглушили их прения. Сани шаркнули под окном, и майор Стрелинский уже стоял перед ними.

— Здравствуй, здравствуй! — летело к нему со всех сторон.

— Прощайте, друзья мои! — отвечал он. — Отпуск у меня в кармане, кони у крыльца, и ретивое на берегах невиских; я заехал сюда на минуту: поздравить милого именинника и выпить прощальную чашу. Сто лет счастья! — воскликнул он, обращаясь к князю с бокалом шампанского и дружески сжимая его руку. — Сто лет!

— Милости просим на погребенье, — отвечал, усмехаясь, Гремин, — и я уверен, что ты заключишь старинную дружбу нашу похвальным словом над моею могилою!

— Похвальным словом? Нет! Это слишком обыкновенно. Да и зачем хвалить того, кого не за что бранить? Впрочем, как ни упорен язык мой на панегирики, твоё желание одушевляет меня казарменным красноречием. Не хочу, однакож, проникать в будущее — нет, я произнесу только надгробное слово этим живым и чуть живым покойникам, за столом и под столом уснувшим. Начинаю с тебя, милый корнет Посвистов, ибо в царстве мертвых и последние могут быть первыми. Да покоится твоё романтическое воображение, которое, чуть бывало орошено ромом, пылало как плум-пудинг! Тебе недоставало только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы никто не понял, и грамматики, чтобы быть прозаиком, которого бы никто не читал. Сам Зевес ниспослал на тебя сон в отраду ушей всех ближних!.. Мир и тебе, храбрый ротмистр Ольстредин: ты никогда не опаздывал на звон сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что не можешь сесть, и, натянувшись, не в силах встать!

Да покоится же твое туловище, покуда звук трубы не призовет тебя к страшному расчету: «Справа по три и по три направо кругом!» Мир и твоим усам, наш доморощенный Жомини, у которого армии летали, как журавли, и крепости лопали, как бутылки с кислотными жидкостями! Системы не спасли твою операционную линию... ты пал, ты страшно пал, как Люцифер или Наполеон, с верхнего конца в преисподнюю подстолья!.. Долгий покой и тебе, кларнетист безмольной памяти Бренчинский, который даже собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним духом отдувал любой акт из Фрейшица; а теперь одна аппликатура V. С. Р. со звездочкой низвергла тебя, как прованскую волынку. И тебе, лорд Байрон мазурки, Стрепетов, круживший головы дам неумолимостью ног своих в вальсе, так что ни одна не покидала тебя без сердечного биения — от усталости; ты вечно был в разладе с музыкою — зато вечно доволен сам собою. Мир сердцу твоему, честолюбец Пятачков, хотя ты и во сне хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сусликов, что глядишь на меня, будто собираешься рассуждать, и, наконец, все вы, о которых так же трудно что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать, покойтесь на лаврах своих до радостного утра — да будет крепок ваш сон и легко пробуждение!

— Аминь! — сказал Гремин, смеючись. — Тебе, однакож, пришлось бы, в награду за речь эту, променять не одну пару пуль или иззубрить не одну саблю, если б господа могли все слышать.

— Тогда я не счел бы их мертвецами и не сказывал бы надгробной проповеди. Впрочем, с теми, кто не принимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцовою монетою.

— Полно, полно, любезный мой Дон Кихот; мы между друзьями. Не спеши прощаться: мне нужно дать тебе поручения в Петербург немного поважнее покупки ветишкетов и помады. Через четверть часа колокольчик будет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга.

Они вышли в другую комнату.

— Послушай, Валериан! — сказал ему Гремин, — ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму с золотыми колосьями на голове, которая свела с ума всю молодежь на бале у французского посланника три года тому назад, когда мы оба служили в гвардии?

— Я скорее забуду, с которой стороны садиться на лошадь, — вспыхнув, отвечал Стрелинский, — она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трефовой даме, которая сроду мне не ругивала. Однакож страсть моя, как прилично благородному гусару, выкипела в неделю, и с тех пор... но далее: ты был влюблен в нее?

— Был и есмь. Подвиги мои наяву простирались далее твоих сновидений. Мне отвечали взаимностью, меня ввели в дом ее мужа...

— Так она замужем?

— По несчастью, да. Расчетливость родных приковала ее к живому трупу, к ветхому надгробию человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе и питаться искрами взглядов и дымом надежды. Но между тем как мы вздыхали, семидесятилетний супруг кашлял да кашлял — и, наконец, врачи присоветовали ему ехать за границу, надеясь, вероятно, минеральными водами выпредить из его кошелька побольше золота.

— Да здравствуют воды! Я готов почти помириться за это с водой, хотя календарский знак Водолея на столе вечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздравляю, mon cher Nicolas;¹ разумеется, дела твои пошли как нельзя лучше!..

— Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял ее с собою.

— С собою? Ах он, чудо-юдо! Таскать по кислым ключам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли, вместо того чтобы, оставя ее в столице, украсить свое родословное дерево золотыми яблоками. Это умертвительное неуменье жить в свете!

— Скажи лучше, упрямство умереть кстати. Он воображал, постепенно разрушаясь, что обновит себя переменою мест. При разлуке мы были неутешны и поменялись, как водится, кольцами и обетами неизменной верности. С первой станции она писала ко мне дважды; с третьего ночлега еще одно письмо; с границы поручила одному встречному знакомцу мне кланяться, и с тех пор ни от ней, ни об ней никакого известия: словно в воду канула!

— Ужели ж ты не писал к ней? Любовь без глупостей на письме и на деле все равно, что развод без музыки: бумага все терпит.

— Да я-то не терплю бумаги. Притом куда бы мне адресовать свои брандскугельные послания? Ветер плохой проводник для нежности, а животный магнетизм не открыл мне места ее процветания. Потом иные заботы по службе и своим делам не давали мне досугу заняться сердцем. Признаюсь тебе, я уж стал было позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает даже ядовитые раны ненависти: мудроно ли ж ему выдымать фосфорное пламя любви? Но вчерашняя почта освежила вдруг мою страсть и надежды. Репетилов в числе столичных новостей пишет мне, что Алина возвратилась из-за границы

¹ Мой милый Николай (ред.).

в Петербург — мила, как сердце, и умна, как свет; что она сверкает звездой на модном горизонте что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манер ридикюля, а мужчины выучились пришепывать страх как приятно; одним словом, что, начиная от нижнего этажа модных магазинов до ветреного чердака стихокропателей, она привела у них в движение все иглы, языки и перья.

— Тем хуже для тебя, любезный Николай! Память прежней привязанности никогда не бывала в числе карманных добродетелей у баловниц большого света.

— В этом-то все и дело, любезнейший! Отлучка полкового командира привязала меня к службе; а между тем как я сижу здесь сиднем, она, может, изменяет мне. Сомнение для меня тяжеле самой неблагоприятной известности, хуже вексельной отсрочки. Послушай, Валериан! Я тебя знаю давно и люблю так же давно, как знаю. Коротко и просто: испытай верность Алины. Ты молод и богат; ты мил и ловок, — одним словом, никто лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и выиграть сердце безумною пылкостью. Дай слово — и с богом.

— Возьми назад свое и убирайся к чорту! Подумал ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь силок другу и подруге, с опасностью потерять обоих? Ты знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых серег, чтобы влюбиться по уши, и поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто б она была соляной обломок Лотовой жены, а я профессор Стокгольмского университета!

— По этому-то самому, милый Валериан, я больше полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на хладнокровие другого. Три дня ты будешь от ней без ума, а через три дня или она станет от тебя без памяти, или своей верностью приведет тебя самого в память. В первом случае я раскланяюсь с своими надеждами — не без сожаления, но без гнева. Ведь не один я бывал в сладком заблуждении, не один останусь и в любезных дураках. Но в другом — тем сластнее, тем вернее будет обладание любимым сердцем. Мила неопытная любовь, Валериан, но любовь испытанная — бесценна!

— Видно, нет на свете такой глупости, которую умные люди не освятили своим примером. Любовь есть дар, а не долг, и тот, кто испытывает ее, ее не стоит. Ради бога, Николай! Не делай дружбы моей оселком.

— Я именем дружбы нашей прошу тебя исполнить эту просьбу. Если Алина предпочтет тебя, очень рад за тебя, а за себя вдвое; но если она непоколебимо ко мне привязана, я уверен, что ты, и полюбив ее, не разлюбишь друга.

— Можешь ли ты в этом сомневаться? Но подумай...

— Все обдуманно и передумано; я неотменно хочу этого, а ты несомненно это можешь. В подобных делах друг твой настоящий новгородец: прям и упрям. Да или нет, Стрелинский?

— Да! Слово это очень коротко, но мне так же трудно было выпустить его из сердца, как последний рубль из кармана в полудороге. Впрочем, я утешаю себя тем, что ты и я, как очень легко статься может, опоздали и найдем одуванчик вместо цветка. Тут еще есть бездельное обстоятельство: уверен ли ты, что супруг ее убрался в Елисейские?

— Ничего не знаю. Репетилов ни полслова об этом. Однако, хотя бы жизнь его была застрахована самим Арендтом, природа должна взять свое, и последний песок его часов не замедлит высыпаться!

— Bravo, bravo, мой Альнаскар! Это несравненно, это неподражаемо! Мы запродали шубу, не спросясь медведя. Опыт наш начинает привлекать меня, — за него надо взяться из одной чудесности. Я твой.

— Постой, постой, ветреник! Ты еще не спросил у меня фамилии нашей героини. Графиня Алина Александровна Звездич. Помни же!

— А если забуду, то наверно, по рассказам твоим, могу о ней осведомиться в первом журнале или в первой модной лавке. Что еще?

— Ничего, кроме моего почтения твоей тетушке и сестрице. Она, говорят, вышла из монастыря?

— И мила, как ангел, пишут мне родственники.

Друзья расстались.

Между тем гостей развели и развезли. Все утихло, и тем грустнее стало Гремину одиночество после шумного праздника. Платон уверял, что человек есть двуногое животное без перьев; другие физиологи отличали его тем, что он может пить и любить, когда вздумается; но ощипанный петух мог ли бы стать человеком или человек в перьях перестал ли бы быть им? Конечно, нет. Получил ли бы медведь патент на человеческое достоинство за то, что любит напиваться во всякое время? Конечно, нет. В наш дымный век я определил бы человека гораздо отличительнее, сказав, что он есть «животное курящее, animal fumens». И в самом деле, кто ныне не курит? Где не процветает табачная торговля, начиная от Мыса Доброй Надежды до Залива Отчаяния, от Китайской стены до Нового моста в Париже и от моего до Чукотского носа? Пусться в определения, я не остановлюсь на одном: у меня страсть к философии, как у Санхо-Пансы к пословицам. «Мыслью, — следовательно, существую», — сказал Декарт. «Курю, — следовательно, ду-

маю», — говорю я. Гремин курил и думал. Мысли его невольно кружились над камнем преткновения для рода человеческого — над супружеством. Есть возраст, в который какая-то усталость овладевает душою. Волокитства насучивают, кочевая, бездомная жизнь становится тяжка, пустые знакомства несносны; взор ищет отдохновения, а сердце — подруги, и как сладостно бьется оно, когда мечтает, что ее нашло!.. Воображение рисует новые картины семейственного счастья; тени скрадены, шероховатости скрыты — *c'est un bonheur à perte de vue!*¹ Мечты — это животное-растение, избегающее в сердце и цветущее в голове, — летали вместе с дымом около Гремина и, как он, вились, разнообразились и исчезали! За ними и холодное сомнение, за ними и желчная ревность проникли в душу. «Доверить испытание двадцатилетней светской женщины пылкому другу, — думал он, нахмурясь, — есть великая неосторожность, самая странная самонадеянность, высочайшее безумие!»

— Какой я глупец! — вскричал он, вскочив с кушетки, так громко, что легавая собака его залаяла спросонков. — Эй, пошлите ко мне писаря Васильева!

Писарь Васильев явился.

— Приготовь просьбу в отпуск.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, — отвечал писарь и уже отставил было ногу, чтобы повернуться налево кругом, когда весьма естественный вопрос: для кого? перевернул его обратно.

— На чье имя прикажете писать, ваше высокоблагородие?

— Разумеется, на мое! Что ж ты вытаращил глаза, как мерзлая щука? Напиши в просьбе самые уважительные пункты: раздел наследства или смерть какого-нибудь родственника, хоть свадьбу, хоть еще что-нибудь глупее этого... Мне непременно надо быть в Петербурге. Командование полком можно сдать старшему по мне. Скажи ординарцу, чтоб был готов везти пакеты в штаб-квартиру, а сам чуть свет принеси их ко мне для подписки. Ступай.

Кто разгадает сердце человеческое? Кто изучит его воздушные перемены? Гремин, тот самый Гремин, который за час перед этим был бы огорчен как нельзя более отказом Стрелинского на чудный вызов свой, теперь едва не в отчаянии от того, что друг согласился на его просьбу. Придавая возможность и существенность воздушным своим замкам, он как будто забыл, что есть на свете другие люди, кроме их троих, и что судьба очень мало заботится, согласны ли ее приговоры с нашими замыслами.

¹ Это бесконечное (безбрежное) счастье (ред.).

«Стрелинский проведет недели две в Москве, — думал он, — и я скорее его прикачу в Петербург. Статься может, я уж встречу его счастливым, и свадебный билет разрешит друга от излишней обязанности... Как мила, как богата графиня!!» В этих утешительных мыслях заснул наш подполковник, и зимнее солнце осветило ординарца его уже на полдороге к бригадному командиру с просьбою об увольнении в отпуск.

II

If I have any fault, it is digression.

*Byron.*¹

Святки больше всех других праздников сохранили на себе печать старины, даже и в Финской Пальмире нашей, в Петербурге. Один из друзей наших въезжал в него сквозь московскую заставу в самый рождественский сочельник, и когда ему представилась пестрая, живая панорама столичной деятельности, в его памяти обновились все радостные и забавные воспоминания детства. Между тем как дымящаяся тройка шагом пробиралась между тысячами возов и пешеходов, а ухарский извозчик, заломив шапку набекрень, стоя возглашал: «Пади, пади!» на обе стороны, он с улыбкою перебирал все степени различных возрастов, сословий и образованности, по мере того как они развивались перед его глазами. Вещественные образы пробуждали в душе его давно забытые обычаи, давно простывшие знакомства и множество приключений буйной его молодости в разных кругах общества.

В самом деле, какое разнообразие забот в различных этажах домов, в отдельных частях города, во всех классах народа. Сенная площадь, думал гусар наш, проезжая через нее, в этот день наиболее достойна внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра и на камчатных скатертях вельможи и на обнаженном столе простолюдина — покупателей их. Воздух, земля и вода несют сюда несчетные жертвы праздничной плотоядности человека. Огромные замороженные стерляди, белуги и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном обществе. Оципанные гуси, забыв капитолийскую гордость, словно выглядывают из возов, ожидая покупателя, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тетерева с зеленеющими елками в ножках тысячами

¹ Если я в чем виноват, то только в отступлении. *Байрон (ред.)*.

слетелись из олонецких и новгородских лесов, чтобы отведать столичного гостеприимства, и уже указательный перст гастронома назначает им почетное место на столе его. Целые племена свиней всех поколений, на всех четырех ногах и с загнутыми хвостиками, впервые послушные дисциплине, стройными рядами ждут ключницы и дворецких, чтобы у них на запятках совершить смиренный визит на поварню, и, кажется, с гордостью любуясь своею белизною, говорят вам: «Я разительный пример усовершенствования природы; быв до смерти упреком неопрятности, становлюсь теперь эмблемою вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окорока, сохраняю платье вашим модникам и зубы вашим красавицам!»

Угол, где продают живность, сильнее манит взор объедал, но это на счет ушей всех прохожих. Здесь простосердечный баран — эта четвероногая идиллия — выражает жалобным бляньем тоску по родине. Там визжит угнетенная невинность, или поросенок в мешке. Далее эгоисты телята, помня только словицу, что своя кожа к телу ближе, не внемлют голосу общей пользы и мычат, оплакивая скорую разлуку с пестрою своею одеждою, которая достанется или на солдатские ранцы, или, что еще горше, на переплеты глупых книг. Вблизи беспечные курицы разных наций, и хохлатые цесарки, и пегие турчаночки, и раскормленные землячки наши, точь в точь словоохотные кумушки, кудахтают, не предвидя беды над головою, критикуют свет, который видят они сквозь щелочки своей корзины, и, кажется, подтрунивают над соседом, индейским петухом, который, поджимая лапки от холоду, громко ропщет на хозяина, что он вывез его в публику без теплых сапогов.

Словом: какое обширное поле для благонамеренного писателя басен! Сколько предметов для самой басни, где поросенок нередко учит нравственности, курица домоводству, лисица политике или какой-нибудь крот читает диссертацию о добре и зле не хуже доктора философии! Да и одному ли писателю апологов легко подбирать здесь перья? Проницательный взор какого-нибудь пустынного Галерной гавани, или Коломны, или Прядильной улицы мог бы собрать здесь сотни портретов для замысловатых статей под заглавием: «Нравы», как нельзя лучше. Он бы сейчас угадал в толпе покупщиков и приказного с собольим воротником, покупающего на взяточный рубль гусиные потроха, и безместного бедняка в шинели, подбитой вощином, сжимает в кармане левою последнюю пятирублевую ассигнацию, словно боясь, чтоб она не выпорхнула, как воробей, — и дворецкого знатного барина, торгующего небрежно целый воз дичины, — и содержателя стола какого-то казенного заведения, который ведет безграмотных продавцов в лавочку рас-

писываться в его книге в двойной цене за припасы, — и артиста французской кухни, раздувающего перья каплуна с важным видом знатока, — и русского набожного повара, который с умиленным сердцем, но с красным носом поглядывает на небо, ожидая звезды для обеда, — и расчетливую немку в китайчатом капоте, которая ластится к четверти телятины, — и повариху-чухонку, покупающую картофель у земляков своих, — и, наконец, подле толстого купца, уговаривающего простяка крестьянина «знать совесть», — сухощавую жительницу иного мира — Петербургской стороны, которая заложила свои янтари, чтоб купить цикория, сахарцу, кофейку и волошских орехов, выглядывающих из узелка в небольших свертках.

Площадь кипит. Слитный говор слышится издалека, сквозь который только порой можно отличить слова: «Барин! Барин! Ко мне! У меня лучше, у меня дешевле, для почину, для вас!» — и тому подобное. В улицах толкотня, на тротуарах возня по разбитому в песок снегу; сани снуют взад и вперед — это праздник смурых извозчиков, так характеристически названных Ваньками, на которых везут, тащат и волокут тогда все съестное. Все трубы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над Петрополем. Отовсюду на вас пылят и брызжут. Парикмахерские ученики бегают как угорелые со щипцами и ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают в форточках головы немочек в папильотках. Ремесленники спешат дошивать заказное, между тем как их мастера сводят счета, из коих едва ли двадцатый будет уплачен. Купцы в лавочках и в гостином дворе брякают счетами, выкладывая годовые барыши. Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся наперегонку, встречаются, путаются, ломают, дают. Гвардейские офицеры скачут покупать новомодные эполеты, шляпы, аксельбанты, примеривать мундиры и заказывать к Новому году визитные карточки — эти печатные свидетельства, что посетитель радехонек, не застав вас дома. Фрачные, которых военная каста называет обыкновенно «рябчиками», покупают галстухи, модные кольца, часовые цепочки и духи — любуются своими ножками в чулках à jour¹ и повторяют прыжки французских кадрилией. У дам свои заботы важнейшие, которым, кажется, посвящено бытие их. Портные, швеи, золотошвейки, модные лавки, английские магазины — все заняты, — ко всем надобно захватить. Там шьется платье для бала; там вышивается золотом другое для представления ко двору; там заказана прелестная гирлянда с цветами из «Потерянного рая»; там, говорят, привезли новые перчатки с застежками, там надо купить модные серьги или браслеты, переделать

¹ Ажурные (ред.).

фермуар или диадему, выбрать к лицу парижских лент и перепробовать все восточные духи.

У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун Рождества есть детский праздник. На столе в углу залы возвышается дерево, подернутое покрывалом Мизиды. Дети с любопытством заглядывают туда, и уже сердце их приучается биться надеждой и опасением. Наконец наступает вожделенный час вечера. Все семейство собирается вместе. Глава оного торжественно срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает Weihnachtsbaum¹ в полном величии, увенчано лентами, увешано игрушками, красивыми безделками и нравоучительными билетиками для резвых и ленивых, — каждая вещь с надписью, кому, и каждому по заслугам. Этот Pour le mérite² радует больше и невиннее, чем все награды честолюбия в позднейших возрастах. Вечно люди осуждены гоняться за игрушками; одно детство счастливо ими без раскаяния.

Наконец день Рождества христова светает в тумане, и вы волею и неволею пробуждены крикливым пением школьников, которые, как волхвы, путешествуют с огромною звездою из картона, с разноцветною фольгою, прорезью, подвесками и свечами. Колокола звонят, и после обедни священники со всем причтом объезжают приход для христораславления. Обед сегодня есть семейное собрание, и горе тому племяннику, который осмелится не приехать поцеловать ручку у тетушки и отведать гуся на ее столе. Со второго дня начинаются настоящие святки, то есть колядованья, гаданья, литье воска и олова в воду, — где красавицы мнят видеть или венец, или гроб, то сани, то цветы с серебряными листьями, — наконец, подблюдные песни, беганье за ворота и все старинные обряды язычества. Но увы! — подблюдные песни остались у одних только купцов, расспросы прохожих об имени и слушанье под окнами — у одних мещан. Средний круг дворянства в столице оставил у себя только фанты — заведение не вовсе русское, но весьма приятное; но хорошее, лучшее общество ограничилось одними балами, как будто человек создан для башмаков. Оно отказалось даже от jeux d'esprit,³ быть веселым и умным кажется нам слишком обыкновенно — слишком простонародно!

— Помилуйте, господин сочинитель! — слышу я восклицание многих моих читателей. — Вы написали целую главу о Сытном рынке, которая скорее может возбудить аппетит к еде, чем любопытство к чтению.

— В обоих случаях вы не в проигрыше, милостивые государи!

¹ Рождественская елка (ред.).

² За заслуги (немецкий орден) (ред.).

³ Остроумные игры (ред.).

— Но скажите по крайней мере, кто из двух наших гусарских друзей, Гремин или Стрелинский, приехал в столицу?

— Это вы не иначе узнаете, как прочитав две или три главы, милостивые государи!

— Признаюсь, странный способ заставить читать себя.

— У каждого барона своя фантазия, у каждого писателя свой рассказ. Впрочем, если вас так мучит любопытство, пошлите кого-нибудь в комендантскую канцелярию заглянуть в список приезжающих.

III

Вы клятву дали? Эта клятва
Лишь перелетным ветрам жатва.

В числе самых блистательных балов того года был данный князем О*** три дня после Рождества. Кареты, сверкая гранеными фонарями, как метеоры, влекомые четверками, неслись к расsvещенному подъезду, на котором несчастный швейцар в павлиньем своем уборе попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы выпархивали из карет и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистая цветами радуги и блестками золота. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету, вслед за разряженными своими матушками и тетушками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкою — на значительные взоры своих приятельниц, между тем как на них наведены все лорнеты, все уста заняты их анализом, но, может быть, ни одно сердце не бьется истинною к ним привязанностию.

Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей во фраках и мундирах; теснота в зале танцев, и не от танцующих, но от зрителей, безмолвие в комнате шахматов, ропот за столами виста и экарте, за коими прошедшее столетие в лицах проигрывало важность свою, а нынешнее свою веселость; ловля выгодных женихов и невест везде — вот что занимало три четверти общества, между тем как остальные были жертвою тайной зевоты — «не утолимою никаким сном», как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками (marriage-hunters) обоих полов. Рассеянно, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна NN прогуливалась

в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка; зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магической буквою на эполетах; как приветливо протягивала она ему руку свою, будто говоря: «она ваша», поправляя другою длинные свои локоны и длинные свои перчатки, и доселе безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсонову фонтану в Петергофе, который брызжет только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У***: она, кажется, только что покинула грифель, но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве в чин того и того-то, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то, ибо протекция в нашем веке стоит наследства. Взор ее не замечает ничего, кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей созвездием брака, и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свила себе гнездышко. У мужчин, имеющих за собою породу, или богатство, или чины, или перед собой виды и надежды, те же затеи, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка прелестна, — думает один, — но отец ее молод, бог знает, сколько проживет он лет и денег. Эта умна и образована, дядя ее на важном месте, но, говорят, он колеблется, — тут надобно подумать, то есть подождать. Вот эта, правда, не очень красива и очень недалеко, зато как одушевлена! Чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших приданых. Я невольник ее!» И вот наш искатель, подсев сперва к матушке ее, со вниманием слушает вздоры — старая, но всегда удачная дипломатика, — потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывается, считая в мыслях ее червонцы.

Бал уже склонялся к концу, и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно весел, как вдруг шум и восклицания: «маски, маски!» привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле, два блестящих кадрили, один в испанском, другой в венгерском костюмах, заслуживали внимания равно по богатству, по вкусу уборов и по стройности замаскированных. Обежав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам. Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырех дам сделать им честь украсить кадрили их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостью и развязностью движений, новостью и благородством фигур. Наконец послышалась одушевленная живая музыка французского

кадриля, и одна из масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они все сделали для общества, если надели на себя пышный костюм, маска, доселе безмолвно стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную расшитую золотом епанчу, вдруг сбросила с себя ее на пол и легкою стопой приблизилась к графине Звездич, окруженной вздыхателями.

— Дозволит ли графиня незнакомцу иметь счастье танцевать с нею? — произнес испанец почтительно, прижав к груди берет свой, украшенный перьями и бриллиантами.

— Очень охотно, прекрасная маска, — вставая, отвечала графиня. — Новые знакомства нередко избавляют нас от скуки старых, и в этом отношении я уже вам обязана, — прибавила она, лукаво поглядывая на оставленную группу. — Впрочем, быть может мы не совсем незнакомы друг другу?

— Я здесь чужестранец, графиня. Да если бы и не был им, все нашелся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового.

Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно-укорительного тона испанца.

— Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова, сказанные шутя, — отвечала она, — но полноте скрытничать: мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше, — продолжала она, стараясь заглянуть под полумаску.

— Я не знал, что графиня в тысяче прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения... Я очень сомневаюсь, чтобы мое имя могло быть напечатано на золотом листе месяца; но во всяком случае позвольте избавить вас от усталости произносить его, — я называюсь Дон Алонзо де Гверера е Молина е Фуэнтес, е Риго е Колибрадос...

— Довольно, слишком довольно имен в наказание за мое любопытство, но слишком мало к его удовлетворению. Итак, Дон Алонзо, вы меня знаете?

— Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину!

Танцы разлучили их, и им во все время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадриль восхитил всех; игроки бросили карты, домино и шахматы; все стеснилось в любопытный круг около танцующих, и отовсюду слышалось: Ah, qu'ils sont charmants! Ah, comme c'est beau ça!¹ Особенно графиня и кавалер ее казались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ними — они пересияли все сопернические звезды, и

¹ Ах, как они очаровательны! Ах, как это красиво! (ред.)



любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая ее на место посреди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил «осчастливить» его на попури — и снова получил согласие. Попури и котильон (которые сливаются ныне воедино) — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовую женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния. Счастлива дама, которой достанется в удел не угрюмый мечтатель, разбирающий в то время последне-прочитанную фразу Окена, и не безумолкный попугай, который на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому фортуна дарует даму, отражающую все ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими: «oui, Monsieur; certainement, monsieur». ¹ Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на котильон! Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заране, чтобы заставить себя «ангажировать» тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться. Слепое счастье, однакоже, послужило испанцу: никто за неделю не звал графиню на попури, а толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и воображая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь, под гром музыки, под говор соседей, уединен с нею в амбразуре окна, Дон Алонзо мог говорить все, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелой с цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум неистощим, когда нас понимают; он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольна была друг другом как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос. «Это Гремин, — думала она сама с собою, — тут нет никакого сомнения! Что мудреного приехать ему в отпуск». Но вдруг этот голос изменялся, и одна учтивая приветливость следовала, как холодная тень, за выражением ласки. Со всем тем какая-то невольная доверенность овладела графинею, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердечный, как вдруг испанец отвел от Алины доселе вперенные на нее взоры и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия спросил:

— Скажите, графиня, неужели это прыгающее *memento mori* ² — князь Пронский? Он так часто меняет свои покровы, прически и мнения, что немудрено ошибиться! Боже мой, как он прыгает! Он чуть-чуть не запутался в люстре.

— Не дивитесь этому, Дон Алонзо: разве не видим мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?

¹ Да, сударь; конечно, сударь (*ред.*).

² Помни о смерти (*ред.*).

— Совершенная правда, графиня. Но флюгера кончают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь кажется с каждым годом легче и легче, так что в сотый день своего рождения, можно надеяться, он, как шампанская пробка, вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях, *pendant*¹ князя Пронского, вдова генерала Крестова, графиня?

Наклонение головы уверило испанца, что он не ошибся.

— Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем как он будто ждет от нее благословения, а не любви. Позвольте еще испытать ваше терпение, графиня: кто этот человек с прагматическими пуговицами и пергаментным лицом, стоящий в рисовальной позиции?

— Это представитель всех предрассудков века Людовика XIV, кавалер посольства, Сен-Плюше. Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего не забыл, но вечно доволен сам собою, а это чего-нибудь да стоит. Но как вам нравится сосед его, наш любезный соотечественник? Он так влюблен в себя, что беспрестанно смотрится в свои пуговицы, где нет зеркал.

— Он бесценен, графиня! Если б доктора согласились общею подпискою воздвигнуть монумент болезням, он мог бы служить идеалом для статуи бога насморка. Но через пару далее его, я почти готов парировать, длинная фигура в белом кирасирском вицмундире — ротмистр фон Штраль. Как похож он на статую командора, который в первый раз слез с лошади, чтобы позвать Дон Жуана на ужин! Дама его, если не ошибаюсь, Елена Раисова? Но она напрасно раздувает опахалом своим внимание в неподвижном рыцаре... Конгревовские ракеты ее остроумия лопают в пустыне.

— Вы, Дон Алонзо е Фуэнтес е Колибрадос, не более щадите наш пол, как и своих собратий. Должно полагать, вы многое претерпели от женщин?

— И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня, — отвечал с чувством испанец, устремляя на нее сверкающие глаза. Графиня, чтобы избежать сего тона, обратила разговор на прежнюю струю.

— Вы сказываетесь новичком, Дон Алонзо, в Петербурге и на бале, — и потому я дивлюсь, что до сих пор не спросили меня о двух героях наших увеселений, о Касторе и Поллуке каждой мазурки, каждого кадрили. Я разумею о графе Вейсенштейне, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Фиери, его друге. Они путешествуют, смотрят свет и показывают себя... неужели вы до сих пор не видали графа Вейсенштейна?

¹ Пара (*ред.*).

— Я ничего не видал, кроме вас!

— Так должны заметить его неотменно. С какими глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать! Вот он проходит мимо... молодой человек с усиками в венском фраке... но вы не туда смотрите, Дон Алонзо!

— Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня!.. Так это-то милый крокодил, который за каждым *déjeuner dansant*¹ глотает по полудюжине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом? *Mais il n'est pas mal, vraiment.*² Жаль только, что он как будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета.

— Вслед за ним вертится маркиз Фиери.

— Прекрасные бакенбарды! Выразительные глаза! И он смотрит ими так уверительно, как будто говорит: любите меня, или смерть!

— Многие находят его весьма остроумным.

— О, бесконечно остроумным! Все маркизы имеют патент на остроумие до двенадцатого колена. Я уверен, что с запасом модных галстухов и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичисбеизма и венской любезности!

— И вы не ошиблись, Алонзо! Он очень занимателен в дамском обществе и не считает пол наш какую-нибудь варварийскую республикою!

— Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня?

— Конечно, Дон Алонзо, в ваше отечество, в отечество истинного рыцарства, между тем как вы, вместо того чтобы защищать прекрасных, объявляете им войну злословия.

— Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем.

— Вы, кажется, хотите лестию выкупить наперед какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на часах против вас, Дон Алонзо. Compliments врага — опасные переметчики.

— Они выдуманы не для вас, графиня; самые затейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами.

— Я не предполагала, что земля ваша так же легко произрастает лесть, как апельсины и лимоны!

— На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однакоже, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце мое на устах, графиня, и потому мудрено ль, что, пораженный достоинствами или красотой, я не могу таить чувства? Вы можете обвинить мои выражения, но искренность — никогда.

¹ Завтрак с танцами (ред.).

² Но он, право, недурен (ред.).

— Вашу искренность, Дон Алонзо! Я не имею на нее никакого права, да и можно ли узнать душу, не выдав лица, ее зеркала. Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества.

— Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог, с этим костюмом сбросить с сердца воспоминание... более, чем воспоминание настоящего. Но позвольте мне хранить маску... может быть, для обета своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят вуаль, чтобы возбуждать любопытство, не могли изумлять красотой... может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо мое.

— Чем более хотите вы таиться, тем вернее узнаю я вас. Но погодите: я женщина, и вы мне дорого заплатите за свое упрямство.

— Верьте, графиня, я уже плачу за него и... — Вихорь вальса умчал графиню на середину, где законы попури заставили ее протанцевать соло в *pastourelle*,¹ одной из фигур французских кадрилией.

— Вы мечтаете? — сказала графиня, возвращаясь на место.

— И мечтой моей наяву были — вы. Я любовался вами, прекрасная графиня, когда, склонив очи к земле, будто озаря порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину — в небо!

— О нет, нет, Дон Алонзо! Я бы не хотела так неожиданно покинуть землю; мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно!... Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, Дон Алонзо!

— Не более, как историк, графиня... беспристрастный историк, — возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился... Невольное: «ах!» вырвалось у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремина. С сильным волнением сжимая руку маски, она произнесла:

— Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом; он должен помнить, как виноват он перед...

Графиня не успела кончить слова, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки.

— Я этого требую, — отвечала графиня, и незнакомец исчез, как сон. Котильон и ужии показали ей двумя вечностями. Она была задумчива, рассеянна; отвечала «нет», где надобно было говорить «да», и «мне очень жаль» — вместо

¹ В пасторали (*ред.*).

«я очень рада». «Она хочет нас мистифицировать», — говорили между собой модники. «Она, верно, гадает о суженом!» — подумала горничная Параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон.

Если б кто-нибудь догадался сказать: «она влюблена», тот бы, я думаю, ближе всех был к истине.

IV

Для нас, от нас, а, право, жаль:
Ребра Адамова потомки,
Как светлорадушный хрусталь,
Равно пленительны и ломки.

Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стекол графини Звездич, но в спальне ее за тройными занавесами лежал еще таинственный мрак, и бог сна веял тихим крылом своим. Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сначала, и душа постепенно берет верх над внушениями тела, по мере того как сон становится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются, видения светлеют, и сцепление идей, образов, приключений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени; но это жизнь сердца... оно еще бьется, оно еще горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия. Такие мечты лелеяли сон Алины, и хотя в них не было ничего определенного, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было все, чем любит наслаждаться юное воображение. Начальные грезы ее были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То около нее кружился чудесный вальс, составленный из эплетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов... вся лавка Петелина танцевала казачка. То, казалось, она подавала пилюли покойнику мужу; то снова погружалась в баденские воды, будто в поток забвения... и вдруг стены третьей станции вставали около нее с лубочными своими портретами, на которые глядит она, переписывая давно нам знакомое послание, и вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся; он готов выпрыгнуть из рамок, но она сама кидается к нему навстречу... «Это вы, Гремин!» — вскрикивает графиня... «Нет, это Блюхер». И снова гремит и мчится котильон, и снова слышатся ноты французского кадрили... какой-то незнакомец

в испанской мантии на гусарском долломане приближается к ней и... Но перечесть все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву, и потому я скажу только, что часы добивали десять, когда колокольчик графини слился с последним их ударом. Параша распахнула внутренние ставни, отдернула занавеси и уже несколько минут стояла у ног кровати с раскинутою шалью, но Алина Александровна изволила еще почивать с открытыми глазами, еще на кругу ее полога мечты проходили, подобно фантазмагорическим теням.

— Он придет, — наконец весело произнесла она, сбрасывая одеяло, — он скоро придет.

— Кто, ваше сиятельство? — простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться.

— Кто? — Графиня задумалась. Она чувствовала, что на простой этот вопрос не могла отвечать утвердительно. — Увидим! — отвечала она со вздохом. — Накажи только швейцару, что если придет молодой гусарский офицер, которого он до сих пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?

— Слышу, ваше сиятельство — только не понимаю, — прибавила Параша потихоньку.

И сама графиня худо понимала, что с нею случилось. За чашкой чаю и за туалетом она имела довольно времени обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости, как встретить человека, который был так близок ей во дни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфетный девиз изъяснением и первое милое личико любезным предметом; человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий и к которому вдруг, в один вечер, привязалось сердце ее вновь со всем пылом новой страсти, со всею свежестью мечты, доселе ею не изведенными! Странность ли его появления, таинственность ли его поступков, воспоминание ли прежнего или *беспричинная* прихоть, только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанце. Она звала его Гремин, а думала о ком-то другом; ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремине: ее пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски так, что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нем Гремина. Она кончила, однакож, заключением, что свет и опыт удивительно как развертывают молодых людей и что любезность Гремина достигла теперь полного цвета... «Но я должна со всем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я не даром прожила три года на белом свете с тех пор, как и мы жили в Аркадии: я буду с вами холодна, как мрамор».

— Однакож, который час, Параша?

— Три четверти первого, ваше сиятельство!

— Эти часы ужасно отстают, Параша. На моих уже пятьдесят минут первого.

«Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они: любовь прилипчивая болезнь, ваше сиятельство», — сказал бы я графине, если б я был ее служанкою, но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы ввернуть словцо очень кстати.

Между тем Параша, окончив свою должность при туалете, вышла; но графиня все вертелась еще перед трюмо в прелестном утреннем платье и, подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера, разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утонченною небрежностью. Крепко забилося сердце ее, послышав скрип колес по морозному снегу и тройное падение подножки у крыльца. В ту же минуту Параша, запыхавшись, вбежала в комнату.

— Приехал, ваше сиятельство! — сказала она.

— Чему же ты обрадовалась? — возразила графиня с приторным равнодушием. — Дай мне платок и скляночку с духами.

Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хотелось.

— Разве ты его видела, Параша? — сказала она ласковее, набрасывая шаль на локти.

— Мельком, сударыня; я не нагляделась бы на него; уж можно сказать — молодец. Строен, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство, а светлые кудри и белокурые усы вьются колечками.

— Светлые кудри, Параша? Ты, верно, ошиблась: у него волосы чернее моих!

— Может статься, и ошиблась, ваше сиятельство; он был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан — так и зыблется до самого воротника!

— А воротник его коричневый, не правда ли, Параша?

— Коричневый, ваше сиятельство... я не видела гвардейских офицеров с такими воротниками, — однакож он, верно, гвардеец... у него такая прекрасная карета...

— Это он, — произнесла графиня, не слушая ученых замечаний своей горничной, и решительно протекла все комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость ее оставила, и она долго держалась за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец дверь распахнулась, и графиня, опустя очи,

вошла в гостиную, краснея подняла их — и что же? перед нею стоял белокурый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини, — она неподвижно глядела на незнакомца... но он, вероятно более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов первый прервал молчание:

— Я должен просить у вас прощения, графиня, и за вчерашнюю мистификацию и за странность настоящего визита. Дон Алонзо осмеливается представить вам гусарского майора Валериана Стрелинского, а Валериан Стрелинский дерзает ходатайствовать за испанского гидальго, хотя с большим сомнением насчет действительности обоих и взаимных порук!

Смущение светской женщины — минута. С любезно-шутливым тоном отвечала она:

— Напрасное сомнение, господин майор! Я очарована случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, ничего не теряю в вашем превращении.

— Ваши слова для меня оракул, графиня, и, позвольте сказать, на этот раз так же двусмысленны. Ничего не теряете, сказали вы, но из чего? Из хорошего или дурного мнения обо мне?

Есть люди, умеющие так естественно говорить самые обыкновенные вещи, предлагать самые нескромные вопросы в мире, что в их устах они нисколько не кажутся странными и с первой минуты знакомства располагают всякого к подобной же откровенности. Стрелинский принадлежал к их числу.

— Вы слишком требовательны, майор, — отвечала графиня, улыбаясь. — Теперь вы бы могли усомниться в истине моего ответа, потому только, что он сказан при первом вашем посещении: я храню это удовольствие для позднейшего знакомства.

— Но как осмелюсь я скучать вам повторением визитов, не уверенный в прощении за первый? Вы желали видеть меня без маски, графиня: будьте же снисходительны к моим самородным странностям. Руку на сердце и скажите искренно: вы не меня ожидали увидеть в Дон Алонзе?

— Я не ожидала увидеть вас, Стрелинский! Но вы знаете, что не всегда желают, кого ждут...

— И, позвольте докончить речь вашу, — иногда терпят, кого не ждут, — не так ли, графиня?

— Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой переводчик добрых мыслей. Я думала, что утро излечит вас от вчерашней неприязни к женщинам, но теперь вижу, что вы неисправимы.

— Неисправим, что до искренности, графиня. Я солдат, и вечный, неизменный отзыв мой — *истина* во всех случаях жизни, в уединении и в шуме света, при последнем, как и при

первом свидании, и я не обинуюсь скажу вам: я так высоко ценю ваше доброе расположение, что и часовая неизвестность о нем мне будет тягостна.

— Я думаю, Стрелинский, удовольствие, с которым провела я время, танцуя с вами, может служить тому лучшим поручительством.

— Вы так добры, так снисходительны, графиня! Со всем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим комплиментом за минувший вечер.

— Не вполне, майор? — отвечала графиня, шутя и как будто не угадывая, на что метил Стрелинский. — Неужели же вы уделяете из него часть своему испанскому платью? Я уверена, что вчерашний Дон Алонзо и в гусарском мундире будет так же весел и любезен, как прежде, и постарается вновь перенести роскошные цветы Гренады под хладное небо нашего отечества.

— Небо везде небо, графиня, хотя не каждый может, не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! И не все цветы орошены благотворною росой...

Он замялся, не зная, какой родительный падеж прибрать сюда, но глаза договорили его мысль лучше слов, и, как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась на это. Даже если верить достоверным историкам (вы знаете, что и Наполеон не казался героем своему камердинеру, и Клеопатра была не более, как женщина, в глазах ее наперсницы), — то при слове «небо», которому влюбленный майор дал нежное значение звуком голоса, что-то похожее на вздох вырвалось из груди ее.

Потом разговор склонился на летучие новости, которыми испещрена всегда столичная атмосфера. Потом графиня рассказывала маленькие приключения своих путешествий так мило, Валериан слушал так внимательно! — а это великое искусство, особенно с женщинами: они требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и глазами, и скорее простят всякую глупость, когда вы им говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. Одним словом, между новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто против одного: Амур был настройщиком этого лада. Они шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе. И между тем очи обоих вели столь сильный перекрестный огонь, что он не только им, но и сторонним мог казаться потешным. Один мой приятель говаривал, что сердце юноши — лядунка с порохом, сердце женщины — склянка с духами; но как бы то ни было, и то и другое вещи легковозгораемые, и потому казалось весьма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени. Но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, ни безделиц, лежащих на сердце. Приданое Евы — любопытство и оскорбленное

самолюбие — подстрекало графиню узнать, каким образом могло кольцо, подаренное Гремину, перейти в руки Стрелинского. Она не скрывала от себя, как ни досадно то было, что майор по вчерашним словам угадал ее тайну, если тайной что-нибудь ему было прежде, ибо встрече с собой она не считала случайною, и потому, возвратив улитку разговора на маску его, она слегка похвалила его умение превратить себя из блондина в черноволосого и искусство менять голос по произволу — и пошла прямо к цели.

— Откровенно скажу вам, Стрелинский, — примолвила она, — вы бросили меня в туман загадок, недоумений. Особенно эмалевое кольцо ваше с изумрудом ввело меня в ребяческое заблуждение... мне показалось, оно не вовсе мне незнакомо.

— Кольцо это, — отвечал Стрелинский, как будто пробуждаясь от сна и подавая его графине, — кольцо это сделано было года два тому назад в подражание кольцу одного из друзей моих, только что приехавшего из Петербурга. Я счел его модным; вкус в отделке и форма мне понравились, и услужливые киевские жида тотчас сработали что-то подобное. Все это было делом случая, но теперь кольцо мое получило для меня новую цену, как заветное звено лестного вашего знакомства, графиня.

Между тем лицо графини прояснилось... Рассмотрев кольцо, она уверилась, что оно только издали похоже на подаренное ею некогда и не носило на себе знака давно стертой с ее сердца привязанности. Самолюбие ее было утешено, и она, отдавая кольцо Стрелинскому, очень благосклонно возразила ему:

— Вы напрасно приписываете магнитную силу этой безделке. Не она, а любезность ваша причиной знакомства. Посещающая почтенную вашу тетушку, мы и без этого случая конечно бы узнали друг друга. Кроме того, живучи в одном кругу, вероятно ль, чтоб мы где-нибудь не встретились? Кстати, о балах, Стрелинский, где вы будете встречать Новый год? Что до меня касается, я отозвана уже за месяц на ежегодный и единственный бал к княгине Бдрис. Вы, кажется, родня им?

— Впервые благодарю богов — я ей племянник. По крайней мере, я должен веровать в это по самым чувствительным доказательствам. Она не упускает ни одного случая пожурить меня, сажает за детский стол, когда за большим тесно, и по-московски нередко потчевает шипучим медком вместо шампанского. Но погода прекрасна, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар своим присутствием? — прибавил Стрелинский, вставая.

— Я только в надежде скорого возврата лишаю себя удовольствия вашей беседы, Стрелинский! Я всегда вам рада...

прошу не принять этого за пустой звук и жаловать ко мне попросту, без чинов. Каждый вторник добрые приятели и подруги посещают меня, и если вам не будет скучно с нами убить время...

— Скажите лучше, оживить время, графиня... Верьте, что если б мне должно было покупать минуты вашей беседы целыми годами жизни, я и тогда счел бы себя счастливым, наслаждаясь, как бабочка, одной весною. Мицкевич говорит, что в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень.

— Не забудьте, что у нас зима! — сказала графиня, улыбаясь, и Стрелинский раскланялся со вздохом.

«Славно сыграно, Валериан!» — могут воскликнуть читатели сходящему с лестницы Стрелинскому; но сам он, ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, совсем не думал расточать себе подобные похвалы: он чувствовал, что испытание за друга становилось ему постороннею вещию; что теперь влюбленному и, может быть, любимому тяжка была бы холодность графини, мучительна разлука с ней и несносна ее перемена; одним словом, что собственное его благополучие зависело от ее взаимности. «Все это пройдет, все это минет, — говорил он сам себе. — Я слишком ветрен для постоянной любви». Но это не проходило. «Стоит только избегать случаев видеть ее дня три, и сердце мое погаснет, как лампада без масла!» — думал он и, чтобы оправдать такую благоразумную решимость, поскакал с повинною головою к княгине Бѳрис, чтобы не пропустить бала, где будет прелестная и разумная божественная Алина. Любовь щедра на эпитеты и обоготворения; но пройдет время, и, отступники своих идолов, мы первые готовы сокрушить их и громить прежние наши святилища.

В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на танцевальных завтраках, на званных обедах, на прогулках и катаньях, без всякого намерения, бог знает как, Алина встречалась с Валерианом: тут нет еще дива, но странно было то, что они почти все время проводили вместе. Из одной учтивости подходил он к ней сначала; но потом слово за слово, взор за взором — мечтатель забывал свет и время, и только злоеший крик лакея: «Графини Звездич карета!» разрушал его упоение и с превысшенных сводил в прохладные сени. Графиня любила театр, — Валериан хорошо знал и мастерски судил его. Графиня в совершенстве владела арфюю, — Стрелинский уверял, что он страстный охотник до музыки, что он dilettante ¹ от султана до шпор, — и потому странно ли, что он так часто являлся в ее ложе или садился подле нее в концертах? Все это было из любви к искусствам, не более.

¹ Любитель (ред.).

Немного труднее найти было отговорку слишком частой случайности, благодаря которой ему удавалось подавать руку графине при переходе из гостиной в столовую, и тонкий наблюдатель мог бы похвалить его глазомер, — когда он, будто вовсе не замечая, так расчетливо становился в ряд кавалеров, что ему всегда выпадала на долю рука Алины и, стало быть, место подле нее за столом... Нежная улыбка, ласковое словцо и порой легкое давление милой руки бывали наградою его хитрости.

— *L'amour est l'égoïsme à deux*, ¹ — сказала мадам Сталь, и весьма справедливо. Стрелинскому лестно было получить от графини преимущество над толпою вздыхателей многоречивых и без речей, когда свивались круги мазурки или французских кадрили; а графине, с своей стороны, казалось приятно иметь кавалером такого отличного танцора, как Стрелинский. В кругу общества и в тиши уединения они нравились друг другу остроумием и оригинальностью; и наконец, когда оба они заглядывали в будущее, то, конечно, не могли найти друг для друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, тот и другая независимы и богаты — случай, удаляющий всякую мысль о корысти: все благоприятствовало обоюдной склонности.

Графиня подружилась с сестрою Стрелинского Ольгою, дивясь, как до сих пор она не умела оценить всех любезных ее качеств. Валериан удивлялся, с своей стороны, тонкости вкуса графини в выборе знакомых и, подобно блуждающей доселе комете, начал обращаться в кругу их. Нужно ли сказывать, какое солнце покорило его центровлекущей силе своей?

V

Она расцветала, как девственная мечта юности; была чиста и прелестна, как земля в первый день творения.

Старинная эпитафия.

В домашней жизни Валериан был едва ли не счастливее, чем в свете. Подле сестры своей Ольги отдыхал он сердцем от остроумия модных умниц и от безумия собственной страсти. Подле нее утихало волнение сомнений, и ревность свивала коршуновы крылья свои. В самом деле, трудно было и самому мизогину не полюбить это невинно-милое существо. Воспитанная в Смольном монастыре, она, подобно всем подругам своим, купила неведением бездельи общежития спасительное неведение ранних впечатлений порока и безвременного мятежа страстей.

¹ Любовь — это эгоизм вдвоем (*ред.*).

Она прелестна была в свете как образец высокой простоты и детской откровенности. Отрадно было успокоить взор на светлом лице ее, на котором еще ни игра страстей, ни лицемерие приличий не впечатлели следов, не бросили теней. Отрадно было согреть сердце ее веселостию, ибо веселость — цвет невинности. В мутном море светских предрассудков, позолоченной испорченности, суетного ничтожества — она возвышалась, как зеленющий свежий островок, где усталый пловец мог найти покой и доверие. Она не могла понять, для чего бы ей стыдиться слез умиления при рассказе о великодушном поступке или румянца негодования, слыша о низостях людских. Не понимала, почему неучтиво сказать человеку в глаза: «ах! как вы добры!» или: «ах! как вы злы!» если он то заслуживал; не понимала, почему ей неприлично сесть подле умного молодого человека, с которым приятно разговаривать, и почему она обязана слушать нелепости пожилого потому только, что он со звездой. Она нередко смешила вас самыми странными вопросами, но чаще приводила в смущение самыми пронизательными. То забавляла незнанием самых обыкновенных вещей, то изумляла новостью мыслей, глубиною чувств и непоколебимостию воли на все прекрасное. Не говорю о прелестях, коими одарила ее природа, не говорю о совершенствах, данных образованием. Она горячо и нежно любила брата, который остался ей единственным другом, единственным покровителем на земле. Веселить, радовать, предупреждать малейшее его желание было сладчайшею заботою Ольги. Она играла для него на пиано, пела его любимые песни, порхала перед ним, как ласточка, и рассказывала анекдоты своей монастырской жизни, как, например, однажды целый класс перепадал в обморок от того, что одной показалось, будто она увидела ужасного зверя — мышшь! Как они целые три ночи не спали от страха от какой-то птицы, которая «половину была кошка, а половину не знаю чего», укала и сверкала глазами под окошком. Валериан смеялся от чистого сердца, между тем как сестра не вовсе понимала, что так смешного было в ее рассказах. «Впрочем, — прибавляла она, извиняясь, — я была тогда такая *кофейная*».

Чтобы вполне понять эту фразу, надобно знать, что в Смольном монастыре три возраста воспитанниц отличаются тремя цветами платья: кофейным, голубым и белым, из коих первый присвоен самому младшему, и потому между старшими возрастами название кофейной служит как бы упреком в простоте.

— Дай бог, — возражал тогда Валериан, лаская ее, — чтобы ты всегда осталась кофейною сердцем.

Однажды вечером Ольга фантазировала на фортепиано, между тем как брат, задумавшись, слушал ее, облокотясь о ручку кресел, и вдруг она вспрыгнула весело, схватила Валериана за руку и, быстро глядя ему в глаза, сказала:

— Не правда ли, братец, ты женишься на графине Звездич? Полуизумлен, полусмущен словами сестры, в которых заключались и неожиданный вопрос и вместе нежная просьба, он долго, долго смотрел на нее, может быть разгадывая ее мысли, может быть собирая свои, и, наконец, отвечал с улыбочкой:

— Какой ветер наваял тебе, милая, такую странную мысль?

— Странную мысль, братец? Напротив, мне кажется, самую естественную. Если бог не судил вам родиться братом и сестрою, чтобы делить горе и веселье, то думаю, к этому нет другого пути, кроме женитьбы. Как могли бы иначе соединиться два сердца, которые любят друг друга?

— Но кто тебе сказал, что мы любим друг друга?

— Ах, какой ты лицемер, братец! И перед кем же? Перед сестрою своею! Разве я не люблю тебя? Разве родные не друзья, дарованные небом? Да и почему тебе скрывать свою привязанность к особе, достойной любви?

— Мир, мир, моя проникательная сестрица! Положим, в угоду тебе, что я влюблен в Алину. Но теперь вопрос: любим ли я взаимно?

— В этом я порукою, *mon frère*,¹ графиня любит тебя, как я сама.

— Я не думаю, что она избрала сестру мою наперсницею своих тайн.

— О нет, братец! Прямо она не говорила мне о том ни слова; но она так часто говорит о тебе, так охотно встречается с тобою, что склонность ее только тебе может казаться тайною. Я мало знаю свет, людей еще менее; но есть вещи, которые угадываю я собственными чувствами.

— Ты просвещеннее, нежели я думал, любезная Ольга.

— Просвещеннее! Это похоже на упрек, братец; вот каковы мужчины! Вы преследуете нас за наше неведение и еще больше гневаетесь за наше познание. Ты несправедлив оттого, что тебе досадно, как могла неопытная монастырка проникнуть в тайнства своего скрытного братца. В самом деле, как уметь и как сметь отличать любовь от ненависти! Нет, *mon frère*, я скорей имею право сердиться за твою недоверчивость и за то, что ты воображал меня такою простенькою.

— Я точно виноват, я в самом деле несправедлив против тебя, моя милая, добрая Ольга! — сказал с нежностью Валериан, поцеловав ее в чело. — С этих пор между нами нет тайн.

— Это напрасно, Валериан. Я не хочу того знать, что мне знать бесполезно; но может ли быть чуждо душе моей все, что касается до твоего счастья? Признаюсь тебе в моем ребячестве, я уже не раз строила воздушные замки, соединяя тебя в мечтах

¹ Мой брат (*ред.*).

с графиней. Как весело, как радостно тогда будет нам!.. Мы поедем жить в деревню, по которой я так давно вздыхаю во сне и наяву. Мы будем всегда вместе, счастливы тем, что мы вместе, вдалеке от докучливых гостей. Невидимо полетит для нас время, летом с природой, зимой с дружеством, всегда с любовью. Мы будем гулять, кататься в лодке, ездить верхом — я надеюсь, ты мне позволишь это, братец? Ты купишь для меня хорошенькую лошадь, — не правда ли? Вечеру мы за чайным столиком шутим, смеемся, потом поем, танцуем. Читаем Вальтер-Скотта; иногда и рассуждаем очень серьезно, — ведь нельзя век толковать о безделицах. Иногда к нам будут приезжать соседи-антики и добрые наши знакомые: верно, и князь Гремин не забудет прежних друзей своих.

— А тебе нравится князь Гремин, Ольга? — спросил Валериан более для избежания решительного ответа, нежели для удовлетворения любопытства.

— Я очень люблю его, братец, и от самого малолетства. Ты так часто ездил с ним в монастырь, он называл меня *sa cousine*¹ и так охотно слушал мое болтанье, что я только перед ним и тобою не краснела говорить. Бывало, я нетерпеливо жду, когда вы приедете; а бывало, и праздник не в праздник, когда вас нет. Я крепко плакала по вас обоих по переводе вашем из Петербурга; признаюсь тебе, братец, в моем ребячестве; я еще до сих пор берегу на память прекрасное куриное перо, выроненное из султана князя.

— Султаны, душенька, делаются из петушьих перьев.

— Как будто это не все равно, *mon frère*? Разве петух не брат курицы?

— Так, но не совсем так. Например: ты мне сестра, а не смешно ли б было, если бы кто-нибудь, принимая одну за другого, сказал, что у Ольги прекрасные усы? Однако что далее?

— Чем далее, тем ближе к моему ребячеству. Ты, я думаю, помнишь, братец, с какой снисходительностью расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях; как ясно поправлял мои заблуждения и шутя развивал мои мысли, учил доброму, и так просто, так понятно! Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед своими учителями, — зато мне было так весело, когда он хвалил меня! Больше всего я любила слушать исторические анекдоты, — он очень мило их рассказывал. Я плакала, слушая о бедствиях Марии Стюарт! Я привыкла ненавидеть коварную Елисавету, хоть ее и называют доброю и премудрою. Я научилась любить Генриха IV, отца и друга своих подданных, за то, что, будучи добрым царем, он не разучился быть добрым человеком. Князь заставил меня восхищаться гением нашего

¹ Моя кузина (ред.).

великого Петра, скромного в счастье, непоколебимого в беде — и всего более под Прутом, когда он пишет указ сенату не слушать его впредь, если он, принужденный турками, повелит что-нибудь недостойное себя или России. Где найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей любви к отечеству!! Ах, братец, я очень люблю князя!

— В самом деле, Ольга? — сказал Стрелинский и погрузился в думы, равно об Ольгином, как и своем будущем. «Не будь этого проклятого письма от Репетилова к Гремину, — думал он, — и мы оба могли быть счастливы; я с Алиной, он с Ольгой. Ни мне нельзя желать лучшего зятя, ни ему лучшей жены. Одна только кротость Ольги может умерить вспыльчивость его характера; только с нею нашел бы он покой, о котором напрасно мечтает: светская женщина — вечно будет ему виной сомнений и ревности. Теперь совсем иное дело. Я не опасаясь прежней привязанности Гремина, но его всегдашнего упрямства. Он готов уверить меня и уверить себя, что влюблен до безумия; вот уже два раза я писал к нему — и нет ответа; это что-нибудь да значит! Но как бы то ни было, я не уступлю Алины другому, даже другу, ни за какие блага, ни от каких бед в мире! Любит или притворяется она, что любит меня, но должна быть моею, несмотря ни на что минувшее, ни на что будущее. Я решился».

VI

Так! Я мечтатель, я дятя,
Мой замок карты, — но не вы ли
Его построили, шутя,
И, насмехаясь, разорили!

В книге любви всего милей страница ошибок; но всему своя пора. Теперь Алина уже не та шестнадцатилетняя, неопытная женщина, увлеченная потоком примеров и обольстительною логикою обожателей, которая, обрадована первой связью, как новою игрушкой, и воображая себя героинею романа, писала страстные письма к князю Гремину. С тех пор, однакож, только в этом могла она упрекать себя, только над этим мог подшучивать Стрелинский, хотя он, движимый ревностью, испарил землю и воздух, желая узнать что-нибудь похожее на любовь в целой жизни графини. Строгость настоящего ее поведения была примерна в отношении ко всей молодежи, которая вилась около нее. Едва кто-нибудь из них переступал границу шутки, едва произносил одну влюбленную ноту, не только слово — мыльный дождь нравouchения и град насмешек разражались над голо-

вой селадона. Привыкнув за границею обходиться непринужденно с мужчинами, она никогда не позволяла их вольности превращаться в своеволие, и между тем как ее красота и любезность привлекали всех, ее осторожность держала всех в почтительном отдалении. Стрелинский, правда, составлял исключение, но и он уже не раз испытал на себе, что природа и светская любовь не делают скачков, а потому как ни уверен был, что его любят взаимно, но роковое слово: «люблю!» двадцать раз замирало на устах, прежде чем он выговорил, как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад от аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, казалось, испугана этим словом — «люблю вас», как выстрелом, — как будто каждая в нем буква составлена из гремучего серебра! И как ни приготовлена была она к объяснению, как ни уверена была, что это должно случиться рано или поздно, но вся кровь ее сердца вспыхнула в лице, когда Стрелинский, улучив гибкую минуту, с трепетом открыл любовь свою... Оставляю читателям дорисовать и угадать продолжение этой сцены. Я думаю, каждый со вздохом или с улыбкою может припомнить и поместить в нее отрывки подобных сцен своей юности, и каждый ошибется не много.

Прелестны первые волнения и восторги страсти, когда неизвестность воздвигает частые бури сердца, но еще сладолюбивее покой и доверенность открытой взаимности. Тогда в любви находим мы все радости, все утешения дружбы, самой нежнейшей, самой предупредительной, и если первый месяц брака называют *медовым*, то первый месяц открытой любви по всем правам именовать можно *нектарным*, — это небосклон после грозы: светлый, но без зноя, прохладный без облаков.

Слившись сердцами, графиня и Стрелинский вкушали негу сего лучшего возраста любви, не отнимая уст от чаши. Прямой, откровенный, благородный характер майора только по наружности казался противоречием с утонченным, светским обращением графини. Как скоро взаимное уважение и сердечная теплота растопили оковы приличий, или, лучше сказать, принужденностей, нежная искренность и беззаветное доверие заступили в ней место недоступности и тонкого злословия. Даже робость, несомненный признак истинной любви, заменила самоуверенность. Совет Валериана сделался ей необходим для самых безделок в выборе нарядов; его одобрение на каждый шаг в обществе, его добрые мнения для всех протекших и настоящих случаев жизни. В один-то из подобных часов излияний душевных Алина рука с рукой подле Стрелинского, любуясь выразительными его очами, говорила:

— Валериан! Свет может осуждать меня за легкомыслие первых лет моего замужества, но твое сердце меня оправдает. В пятнадцать лет меня посадили за столом подле какого-то

старика, которого я запомнила только по чудесной табакерке из какой-то раковины. Вечеру мне очень важно сказали: «Он твой жених: он будет твоим супругом»; но что такое жених, что такое супруг, мне и не подумали объяснить, и я мало заботилась расспрашивать. Мне очень понравилось быть невестой: как дитя, я радовалась конфетам и нарядам и всем безделкам, которые мне дарили; я готова была расцеловать старого графа, когда он подарил мне прелестные золотые часы, потому что в недавно брошенных мною игрушках были только оловянные. Наконец я стала женою, не перестав быть ребенком, не понимая, что такое обязанности супружества, и, признаюсь, потому только заметила перемену состояния, что меня стали величать «вашим сиятельством». Долго не замечала я, что муж мой мне не пара ни по летам, ни по чувствам. Для визитов мне было все равно, с кем ни сидеть в карете, дома же он слишком занят был своими недугами, а я своими забавами и гостями. Однакоже в семнадцать лет заговорило и сердце... оно стеснилось неведомою грустью, желало чего-то непонятного: это была потребность любить, и я полюбила во всей невинности души. Ты знаешь, кто был предметом этой склонности, и я благодарю провидение, что оно судило мне встретиться с человеком благородным, который не думал, не только не желал употребить во зло мою неопытность. Скорая разлука показала, однакож, мне, как ошиблась я в своих чувствах. Я приняла за любовь желание нравиться, желание предпочтения от человека, предпочитаемого другими. Тщеславие и охота быть, *как другие*, довершили кружение головы; я уверила себя, что страстно люблю князя Гремина, потому что он казался мне достойным такой любви. Может статься, если бы он поддержал такое расположение перепискою, я бы привыкла к этой мечте, будто к чувству, и верность, которую обожала я как достойная поклонница сентиментализма, могла бы вовсе переменить судьбу мою. Но он, едва мы расстались, оказался весьма невнимателен; я была от того вне себя, называла это холодностью, укоряла в неблагодарности, в измене и забыла его скорее, чем надеялась. За границею, чаще сама с собою, чаще с людьми образованными, я почувствовала необходимость чтения и жажду познаний. Хорошие книги и еще лучшие примеры и советы женщин, умевших сочетать светские качества с высокими правилами, убедили меня, что, и не любя мужа, должно любить долг супружества и что величайшее из несчастий есть потеря собственного уважения. Кочевая жизнь не давала мне даже случая к постоянным знакомствам, и сердце мое только во сне видело счастье: в вихре забав, в кругу искателей я осталась свободна. Муж мой умер, и я целый год траура провела в уединении, с немногими подругами, читая в собственном сердце помощью книг и разгадывая книги по сердцу: это возродило

меня. Я постигла тогда умом, что до тех пор заключалось в чувстве; уверилась, что благополучие есть невинность и находится в нас самих. Я не разлюбила ни удовольствий, ни выгод света; по крайней мере, я могла бы теперь лишиться их если не без сожаления, то без ропота. Но возвратясь в Россию, обязанности к родным и обществу не дали мне времени образумиться... Меня засыпали приветствиями и приглашениями, лестью и любезностью, но я уже предохранена была от этого чада: я знала, что всякая парижская новинка хоть на миг, но всегда увлекает внимание публики, а поклонники в несколько вечеров успели наскучить своими переслащенными фразами, так что я больше, чем когда-нибудь, почувствовала пустоту сердца. Совершенная бесхарактерность молодых людей наших, «эти образы без лиц» навели на меня неизъяснимую тоску. Я ужаснулась, не найдя русских в России. Простительно еще быть легкомысленным во Франции, где на каждом шагу находишь пищу любопытству, рассеянию, самой лени, где каждая безделка носит на себе печать образованности и даже глупость не лишена остроумия. Но можно представить себе, как несносны слепки парижского мира в России, где можно толковать только о том, чего у нас нет, и где половина общества не понимает, что сама говорит, а другая, что ей говорят: одна, поторопившись выучить привозное, как попугай, другая — опоздав учиться от застарелых предрассудков. В это время я встретила с тобою и до сих пор не умею себе объяснить, какой судьбой я так быстро увлеклась сердцем? Признаюсь, обманутая ростом и голосом, я сначала приняла тебя за Гремина: я сгорала любопытством, желая увериться в своей догадке, но скоро к нему примешались чувства нежнейшие. Я верила и не верила, что ты Гремин; не столько воспоминание прошлого, как прелесть новости заманивала меня далее и далее. Я должна была сердиться на князя, но вместо того была благосклонна к новому знакомцу. Я должна была обходиться осторожнее с незнакомым и доверялась, как старому другу; одним словом, я не знала, что говорила и делала!.. Остальное тебе известно, милый Валериан... и бог тебе судья, если когда-нибудь заставишь меня раскаяться в любви моей!

Валериан был восторжен; ему казалось, гармоническая музыка сфер гремела *туш* его благополучию, и он, с пылкостью юноши целуя оставленную ему руку, хотел, по гусарской привычке, клясться всем, что есть и чего нет на свете, в неизменности любви своей, но Алина остановила этот порыв достоинства.

— Не клянись, Валериан, — сказала она с нежностью, — клятва почти всегда неразлучна с изменой, я знаю это на опыте. Я больше верю благородству твоих чувств, нежели поруче звуков, волнуемых и уносимых ветром: мы уже не дети.

С обеих сторон делались приготовления к браку, хотя о нем еще не было прямых условий. Валериану, однакоже, они были необходимы: он начертал план для будущей жизни, которая вовсе не могла понравиться графине и о которой колебался он открыть ей. Между тем как товарищи и приятели считали его только ветреником, заботливым, как прожить свои доходы, — он втайне делал все пожертвования для улучшения участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуиспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемною головою устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством. У него не было недостатка ни в деньгах для обзаведения, ни в доброй воле к исполнению, ни в познаниях сельского хозяйства, приобретению коих посвятил он все досуги свои; недоставало только опытности, но она приходит сама собою; притом первую песенку не стыдно спеть и зардевшись, говорит пословица. Мысль облегчить, усладить свои будущие заботы любовью милой подруги и согласить долг гражданина с семейственным счастьем ласкала Валериана; однакоже, несмотря на силу страсти, намерения его были тверды; в важных обстоятельствах жизни он умел владеть собою; но чем непреклоннее была воля его, тем нерешительнее становился он открыть ее Алине. Он чувствовал, какой жертвы требовал; знал, как трудно для молодой прекрасной и богатой женщины отказаться от света. «Но это будет испытанием ее привязанности, — думал он. — Если ж нет? Нет! Женщина, которая предпочтет мне светскую жизнь, не знает и не стоит истинной любви». Скоро представился и случай к объяснению.

Это было на масленице, после катанья с английских гор. Ледяные горы, милостивые государи, есть выдумка, достойная адской политики, на зло всем старым родственницам и ревнивым мужьям, которые ворчат и ахают, но терпят все, покорствуя тиранке-моде. В самом деле, кто бы не подивился, что те же самые недоступные девицы, которые не смеют перейти через бальную залу без покровительницы, те же самые дамы, которые отказывают опереться на руку учтивого кавалера, когда садятся они в карету, весьма вольно прыгают на колени к молодым людям, должествующим править на полету аршинными их санками вниз горы и по льду раската. Между тем, чтобы сохранить равновесие, надобно порой поддержать свою прекрасную спутницу — то за стройный стан, то за нежную руку. Санки летят влево и вправо, воздух свищет... ухаб... сердце замерло, и рука невольно сжимает крепче руку: и матушки дуются, и

мужья грызут ногти, и молодежь смеется; но все, отъезжая домой, говорят: «Ah! que c'est amusant!»,¹ хотя едва ли половина это думает.

Валериан и графиня, конечно, были в сей половине, потому что возвратились с катанья очень довольны прогулкой и друг другом, и холод, казалось, только возбудил обоих любовников к особенной нежности. Стрелинский избрал этот час к решительному откровению и предупредил Алину, что так как дело идет о благополучии их обоих на всю жизнь, то он не хочет прибегать ни к каким околичностям, ни к каким сетям льстивой логики или цветам красноречия, дабы убедить или увлечь ее, но просто изложит свои намерения и просит только одного, чтоб она беспристрастно обсудила их и откровенно сказала на то ответ свой.

— Во-первых, милая Алина, — сказал он, — я решился оставить службу для исполнения других обязанностей отечеству, которые надеюсь выполнить лучше, прямее и полезнее, нежели обязанности воина в мирное время.

Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, которым играла она.

— Но разве ты, друг мой, не можешь служить отечеству по части гражданской или дипломатической? — произнесла она почти просительным голосом.

— Я не довольно приготовлен, чтобы стать полезным как судья; службу в департаментах считаю механической, а быть дипломатом несовместно с моими склонностями, ни с моими правилами. Во-вторых, мы оставим столицу.

Алина молчала.

— В-третьих, — тут Валериан развил пред нею подробный чертеж своих замыслов для устройства имения, для усовершенствования земледелия и заводов, для образования крестьян своих; показал, как благодетелен будет пример его для всего человечества и для окружающих помещиков в особенности. Но когда объявил, что все это требует неусыпного и безотлучного надзора, светлое лицо Алины подернулось думою, и она опустила руку Валериана.

— И это решительно? — спросила она печально.

— Решительно. Подробности будут зависеть от воли Алины Александровны, но целое остается нерушимым. На краткое время мы будем приезжать в которую-нибудь из столиц, но только на краткое время.

— Мои советы и мнения, следовательно, теперь бесполезны, — сказала Алина, несколько тронутая.

— Но твое согласие необходимо к моему счастью, обожаемая Алина! С тобой каждая минута ознаменована будет для меня

¹ Ах, как это забавно (ред.).

новым блаженством, как для всех окружающих нас добрыми делами. Ты будешь ангелом красоты и доброты для меня и для всего, чем я владею. О! Не разрушь рая, мною созданного, которым я так долго ласкал свое сердце... Милая, бесценная Алина! Я жду приговора. В искреннем ответе твоим моя судьба: могу или нет назвать тебя моею?

— Через три дня ты узнаешь мой решительный ответ, Валериан; только дай мне слово не говорить со мной, не писать ко мне, не искать случаев со мною встретиться во все это время. Я хочу обдумать все на свободе, удаленная от влияния страстей.

— Жестокая женщина! Три дня — век для влюбленного!

— Жестокий человек! Деревня — вечность для женщины!

С этими словами Алина исчезла.

— Понимаю! — сказал Стрелинский с горькою усмешкою, между тем как холодный пот проступал на его сердце, и тихими стопами вышел из комнаты графини.

VII

Burleigh

Ihr wart es doch, der hinter meinem Rücken
Die Königin nach Fotherinaschloss
Zu locken wustet?

Leicester

...Hinter eurem Rücken?
Wann scheuten meine Thaten eure Stirn?

Schiller. ¹

— Подполковник князь Гремин! — провозгласил слуга, возвещая гостя тетке Стрелинского, которая, сидя одна в гостиной, раскладывала «grande-patience». ² — Прикажете принять-с?

— Милости просим, — отвечала она, снимая очки и расправляя шаль свою. — Видно, князь недавно в Петербурге? — прибавила она.

— Только вчера с дороги-с. Они хотели видеть Валериана Михайловича; однакож когда узнали, что вы не выехавши, преслили доложиться. — Сказав это, слуга поспешил пригласить приезжего.

¹ Б э р л е й. Так это вы сумели за моей спиной заманить королеву в Фотрингский замок?

Л е й ч е с т е р. ...За вашей спиной? Когда ж я в своих делах укрывался от вашего лица?

Шиллер.

² Гранпасьянс (ред.).

Князь Гремин, которого долг службы удержал во фронте вопреки всех его надежд, и просьб, и желаний, должен был вести полк на другие квартиры на границу Литвы, и он тем скорее помирился с судьбою, что обязанности по делам хозяйства и занятий строя и новые знакомства в кругу польских дворян давали ему тысячи развлечений и забав. Он бы, вероятно, и вовсе отдумал ехать в отпуск, если бы внезапная смерть одного из дедов в Петербурге не призвала его туда для получения наследства и всех хлопот, с наследствами неразлучных. Пылкий только на день в преследовании замыслов, внушенных прихотью, он не слишком дивился молчанию Стрелинского и очень покоен сердцем приехал в столицу. Но когда на него полились новости о близком браке Валериана с графиней Звездич, он был оглушен и раздражен этим водоворотом. Ревность его пробудилась. Мысль, что он в этой связи играл смешную роль Кристины, привела его в бешенство; удача Стрелинского, которую он величал измзсною и коварством, вызвала его на месть. В этих враждебных мыслях поскакал он в дом прежнего друга, чтобы излить на него всю желчь своего негодования; так-то зло направленные страсти и худо понятые правила чести превращают самые благоразумные существа в кровожадных зверей! Не оставив дома Валериана, князь, однакоже, почел неприличным не засвидетельствовать почтения его тетке, и вот, скрыв досаду свою как благовоспитанный офицер, пробирался он в гостиную, не брякнув ни саблей, ни шпорами, но в зале он невольно остановился, увидев и услышав Ольгу, которая, ничего не зная о госте и ничему не внимая вокруг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый выразительный голос свой звуками фортепиано:

Скажите мне: зачем пылают розы
Эфирною душою по весне
И мотылька на утренние слезы
Манят, зовут приветливо оне?
Скажите мне!

Скажите мне, не звуки ль поцелуя
Дают свою гармонию волне?
И соловей, пленительно тоскуя,
О чем поет во мгле и тишине?
Скажите мне!

Скажите мне, зачем так сердце бьется
И чудное мне видится во сне:
То грусть по мне холодная прольется,
То я горю в томительном огне?
Скажите мне!

Ольга умолкла; но князь еще слушал, и между тем как персты ее перебегали, фантазируя, по клавишам, его взоры точно так же странствовали по всем чертам певицы. Он едва верил глазам своим, чтобы это была та самая Ольга, которую он

так любил как дитя, которую покинул, когда она едва становилась девушкой, и которая теперь предстала ему во всем блеске, в полном цвету очаровательных прелестей! Он любовался и стройным станом ее, и аттической формой рук, и высоким челом, на коем колебались гроздья русских кудрей, и яхонтовыми ее очами, в коих сквозь дымку мечтательности сверкали искры души, вместе гордой и нежной; ее лицом, на коем разлит был тонкий румянец, как юное утро мая, и невинная беспечность с глубокою чувствительностью; брови ее так выразительно подняты были думою, уста ее так мило сомкнуты улыбкой, казалось, она усмехалась девственным мечтам своим, созданиям пробуждающейся любви; казалось, она ловила взорами отдаленное в очарованный круг фантазии, которая, подобно часовой стрелке, пробегает время и пространство, не удаляясь от средоточия своего, сердца... и все было прелестно в ней... и волшебство звуков, проникающих душу, и красноречие безмолвия, пленяющее взор. Это не было уже земное существо для Гремия; это был идеал совершенства. Он тогда только прервал свое созерцательное молчание, когда Ольга, повторяя в задумчивости припев песни, вполголоса произнесла: «Скажите мне!»

— Я могу только то сказать вам, сударыня, — сказал Гремий с чувством, — что вы поете, как ангел.

Ольга вспрянула с криком радостного изумления...

— Ах! Боже мой, это вы, князь Николай! Вообразите себе: я сейчас о вас думала, и вы передо мной, как будто мысль моя перенесла вас в столицу! — Яркий румянец вспыхнул розами на щеках Ольги.

— Вот доказательство, что вы можете творить чудеса, Ольга Михайловна! И вы еще не забыли меня?

— Я не так ветрена, князь Николай, чтобы позабыть своего кузена и наставника.

— Считаю себя счастливым, удостоясь внимания особы, столь полной совершенств!

— Скажите, князь: неужели правда есть игрушка, пригодная только малолетним? Вы сами учили меня всегда говорить истину, а теперь, когда я в состоянии ценить ее, говорите мне комплименты. По крайней мере, я искренно скажу вам, что мне приятно бывало думать о вас, потому что мысль эта неразлучна с воспоминанием самой счастливой поры моей — жизни в монастыре.

— Мне кажется, сударыня, вы бы скорее могли обвинять обманчивый свет, вселивший вам недоверчивость, скорее скромность свою, чем правдивость.

— Полноте ссориться, князь Николай, и еще в первый раз после долгой разлуки. Я рада вам тем более, что вы приехали, как нарочно, помочь нам развеселить брата: он два дня сам

не свой: печален, и сердит, и прихотлив, как никогда в жизни. Но тетушка, верно, ждет вас, пойдете!

Князь был принят, как родной. Доброта почтенной тетки Стрелинского и чистосердечная веселость, непринужденное остроумие Ольги очаровали его. Час мелькнул, как минута, и негодование его вовсе было утихло, как вдруг голос усатого слуги: «Валериан Михайлович приехал и просит к себе на половину» — бросил всю кровь в голову князя; он раскланялся и поспешил к Валериану.

Валериан с распростертыми объятиями встретил Гремина.

— Только тебя недоставало, милый князь, — вскричал он, — чтобы посмеяться удаче наших предприятий и поздравить меня с роковым успехом!

— Я приехал не поздравлять *вас*, господин Стрелинский, — отвечал Гремин насмешливо-холодно, отступая, чтобы уклониться от объятий. — Я приехал только поблагодарить вас за ревностное участие в моем деле.

— Вы? Господин Стрелинский? Право, я не понимаю тебя, Гремин!

— Зато я очень хорошо вас понял, слишком хорошо вас узнал, господин майор!

Во всякое другое время Стрелинский никак бы не рассердился на обидную вспыльчивость друга и, вероятно, шутками укротил и пересилил бы гнев его; но теперь, огорченный сам холодностью графини, колеблем сомнениями, поджигаем ревностью, пошел навстречу неприятностей, решаешь платить насмешкой за насмешку и дерзостью за дерзость.

— От этого-то вы и ошиблись: все, что *слишком*, — обманчиво. Не угодно ли присесть, ваше сиятельство! Начало вашего приветия похоже на нравоучение, а я не умею спать стоя.

— Я постараюсь сказать вам такие вещи, господин майор, которые лишат вас надолго охоты ко сну.

— Очень любопытен знать, что бы такое помешало моему сну, когда меня убаюкивает чистая совесть!

— О! Вы невинны, как шестинедельный младенец, как церковная ласточка! Напрасно было бы и осуждать человека, у которого совесть или нема, или принуждена молчать.

— Я не беру на свой счет этих речей, князь; мой язык не имеет причин разногласить с совестью именно потому, что она светлее клинка моей сабли. Скажите лучше по-дружески и без обиняков: чем заслужил я такой гнев ваш?

— По-дружески? Мне, право, странно, что вы, разрывая все узы, все обязанности дружества, опираясь на него, требуете доверия! Впрочем, вы живете ныне в большом свете, где любят давать векселя на имя, которого давно нет.

— Князь! Вы огорчаете меня своим неправым обвинением более, чем обидными выражениями. Но будьте хладнокровны и рассмотрите пристальнее, чем виноват я против вас? Вспомните, кто предложил мне испытание, кто неотступно требовал моего согласия, кто принудил взяться за эту роковую порученность? Это были вы, князь, вы сами. Я убеждал вас отказаться от подобного предприятия, я вам предсказывал все, что могло случиться и случилось волею судьбы. Сердцем *нельзя* владеть по произволу.

— Но *должно* владеть своими поступками. Так, милостивый государь! Я просил, я убеждал, я заставил вас взяться за это дело; но в качестве друга вы бы могли сами рассудить несообразность такой просьбы и поправить мою ошибку, вместо того чтоб ее увеличивать, ловить на нее свои выгоды и употреблять во зло мое доверие; мы всегда худые судьи в собственных делах, но бесстрашный и беспристрастный взор дружбы долженствовал бы соблюдать мою пользу, а не прихоти!

— Странно, право, что вы делаете для себя монополию из своих правил. Мы худые судьи в своем деле — это чистая правда, и я сам мог увлечься любовью, которую хотел только испытать.

— Вы бы должны были предупредить это или, по крайней мере, удалиться, заметив опасность для самого себя, но нет, вам угодно было оседлать судьбу для извинения своей двуличности и утешать меня, как зловещая птица, старинною песнею светских друзей: «Я говорил тебе: быть худу! Я тебе предсказывал! Я предупреждал тебя».

— Не забудьте, князь Гремин, что я взялся быть вашим испытателем, но не стряпчим и не строил себе дороги из развалин вавилонского вашего столпа к небу.

— Поздравляю вас, г. Стрелинский, с этим небом, но, признаюсь, ему не завидую. Я уже излечился от охоты искать своего счастья в женщине, которой привязанность изменчива, как цвет хамелеона; и в доказательство — вот как ценю я подарки и поминки ее!

С этим словом он бросил в пыл камина письмо и перстень графини.

— Нельзя не похвалить вас за такую решимость, князь; немного ранее она была бы еще больше кстати. Графиня забыла вас так же, как и вы ее, очень скоро после разлуки. Все это было — детская прихоть.

— Прошу извинить меня, г. майор, равно от ваших похвал и откровений. Мы не Дафнис и Меналк, чтобы вести словесную войну за вопрос, кого она любит или не любит. Только не радуйтесь и вы своим торжеством... женщине, изменившей одному, легко изменить и другому и третьему.

— Будьте скромнее насчет графини, Гремин! Я сносил многое за самого себя, но когда вы дерзаете нападать на доброе имя дамы, это выходит и выводит из границ самого уступчивого терпения... я не ангел.

— Очень верю, г. Стрелинский. Я так же далек от этой мысли, как вы от этого достоинства... Но угрозы ваши мне забавны, господин майор.

— А мне жалок ваш характер, г. подполковник!

— Нельзя ли узнать, почему вы достаиваете меня своим сожалением?

— Потому, что вы ослеплены пустым тщеславием, оскорбленным самолюбием, бесстрастною ревностью, а быть может, и самую мелочную завистью, скачете за тысячу верст для того, чтоб огорчить, обидеть, уязвить человека, который до сих пор любил и уважал вас.

— Вы мне доказываете любовь свою даже и этими речами, г. Стрелинский; что же касается до вашего уважения, я только расклинаюсь, что прежде ценил его, и теперь оно столько ж для меня занимательно, как ветер в Барабинской степи... Прекрасное дружество! Почти женится, и не написать мне ни строчки, оставить меня в таком неведении, что я узнал о свадьбе вашей от трактирных маркеров!

— Я писал к вам два раза, но, вероятно, переход полка замедлил доставку писем; а что до свадьбы моей, городские слухи опередили правду. Статься может, она никогда не состоится. Я до сих пор не заверен словом в совершенном согласии графини.

— Вы писали! Вы не уверены! Я, право, не ожидал, чтобы вы так скоро выучились прибавлять ложь к лицемерию!

— Ложь! — вскричал Стрелинский, задыхаясь от гнева: — ложь! Одна кровь может смыть это слово!

— Почему же и не так! — отвечал князь презрительно, качаясь на стуле. — Любовь и кровь старинная рифма.

— Это решено... это кончено. Однакоже не испытывайте меня далее, Гремин; не заставьте насказать вам таких вещей, которые не должны быть произносимы между благородными людьми. Когда мы встретимся?

— И встретимся, конечно, впоследствии — завтра. Кто бы из нас ни лег, я всегда буду в выигрыше не дышать одним воздухом с тем, кто заплатил мне за всю дружбу такую...

— Удержитесь, князь! Есть слова, за которые не спасут вас ни память прежней приязни, ни кровля гостеприимства.

— Вам очень пристало говорить о приязни, когда вы превратили в желчь о ней воспоминание. А что до прав гостеприимства, я не вымаливаю у них покровительства: моя сабля мне лучший защитник.

— Бросьте пустое хвастовство, князь Гремин; завтра, так завтра. Выстрел самый остроумный ответ на дерзости.

— А пуля самая лучшая награда коварству. Завтра вы уверитеесь, что я не из той ткани, из которой делаются свадебные подножки, и не бубновый туз, чтобы в меня целить хладнокровно. Мой секундант не замедлит посетить вас сегодня же.

— Очень рад.

Друзья-недрузи расстались, пылая гневом.

VIII

Я был отважно хладнокровен;
Но признаюсь, на утре лет
Не весело покинуть свет,
И сердца бой не очень ровен,
Когда вопросом: «Быть иль нет?»
Вам заряжают пистолет.

Ольга не могла сомкнуть глаз в течение целой зимней ночи. Как ни мало извела она света, но частые рассказы о поединках уже познакомили ее с этим кровавым предрассудком, а необычайная угрюмость и принужденная шутливость брата, весть, что он круто говорил с князем Гремичным наедине, и позднее посещение незнакомого офицера возбудили в душе ее все опасения и страхи. Не понимая причины, она видела возможность ссоры между братом и Гремичным. Далеко до зари она была уже одета и бродила, как тень, по тихим и пустым комнатам. Ужасное сомнение волновало грудь ее; она желала и страшилась узнать роковую истину, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку. Несколько раз на цыпочках прокрадывалась она к братней половине, но там было все мертво и темно. Вдруг конский топот у крыльца привлек все ее внимание; белый султан мелькнул у братней маленькой лестницы, и вешее сердце ее замерло... тяжкое предчувствие оледенило кровь. Она слышала говор в ближней комнате и не смела слушать: она хотела удалить безнадежную известность, но братская любовь преодолела все. Притаив дыхание, взглянула Ольга в замочную скважину: против самых дверей топилась печка и озаряла комнату багровым полусветом своим. Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули — дело, которое он прерывал частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.

— Bonjour, capitaine, ¹ — сказал артиллерист входящему, — все ли у вас готово?

— Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, другая Лепажка; мы вместе осмотрим их.

— Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?

— Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностью.

— О, не надейтесь на это, ротмистр! Мне уже случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули — я и теперь краснею от воспоминания — не дошли до полства, и как мы ни бились догнать их до места — все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами — величиной едва не с горный единорог, и хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля, и менее горошинки и более вишни, — производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу?

— Классическая истина! — отвечал кавалерист, улыбаясь.

— У вас полированный порох?

— И самый мелкозернистый.

— Тем хуже: оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что пскра и вовсе скользит по нем.

— Как мы сделаемся со шнеллерами?

— Да, да! Эти проклятые шнеллеры вечно сбивают ум мой с прицела и не одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Л****ой погиб от шнеллера в глазах моих: у него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров — почти невозможно и всегда бесполезно, потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его, и тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволить же — долго ли потерять выстрел; шельмы эти оружейники: они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелецкого клоба!

— Однакож, не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной, а в остальном положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?

— Я согласен на все, что может облегчить дуэль: будет ли у нас лекарь, г. ротмистр?

— Я вчера посетил двоих и был ввешен их корыстолюбием... Они начинали предисловием об ответственности и кон-

¹ Здравствуйте, капитан (*ред.*).

чали требованием задатка; я не решился вверить участь поединка подобным торгашам.

— В таком случае я берусь привести с собою доктора, величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он рещался, не колеблясь. «Я очень знаю, господа, — говорил он, навивая бинты на инструмент, — что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества!» Но что удивительнее всего, он отказался за поездку и лечение от богатого подарка.

— Это делает честь человечеству и медицине. Валериан Михайлович спит еще?

— Он долго писал письма и не более трех часов, как уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастьи пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредя внутренностей, если они сохранят свою упругость; кроме того, и рука натошак вернее. Позаботились ли вы о четверместной карете? В двуместной нельзя ни помочь раненому, ни положить убитого.

— Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попроще извозчика, чтобы он не догадался и не дал знать.

— Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях: барьер попрежнему — на шести шагах.

— На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает дуэль, — вспышка и осечка не в число.

— Какие упрямы! Пускай бы за дело дрались, так и не жаль пороху, а то за женскую прихоть и за свои причуды.

— Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.

— Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, не много делают нам чести. Итак, ровно в полдень, и за Выборгскую заставаю?

— В полдень, и там. Невдалеке от трактира, на второй версте, где мы съедемся, влево от дороги, есть пустой и довольно светлый ток; в нем мы будем защищены от ветра и сверкания солнца. Я надеюсь однако, что мы прежде чем сведем их, испытаем все средства к примирению? Смертной обиды между ними не было, и может, нам удастся кончить дело извинением.

— Я бы готов был целый год принимать заряды вместо того, чтоб жечь их, если б удалось нам это: но, признаюсь, мало имею надежды на успех. Говорить соперникам о мире, когда они поехали на поле, все равно, что давать лекарство мертвецу. Пули твои никуда не годятся! — вскричал нетерпе-

ливо старику-слуге артиллерист, бросив пару их на пол. — Они шероховаты и с пузырьками.

— Это от слез, Сергей Петрович! — отвечал слуга, отирая заплаканные глаза. — Я никак не могу удержать их: так и бегут и порой попадают в форму. Да и руки мои дрожат, словно у предателя Иуды. Что скажут добрые люди, когда узнают, что я отлил смертную пулю моему доброму барину, — какой грех ляжет на душу! С каким сердцем встречу барышню Ольгу Михайловну, если бог попустит мне видеть смерть барина! Он один ей вместо отца родного! Ваше высокоблагородие! Заставьте за себя молить бога, отведите барина от греха или от беды своей, уговорите, упросите его; мы... все...

Старик не мог продолжать от рыданий... Артиллерист, тронутый сам, старался утешить его:

— Полно, полно, старик! Как не стыдно тебе расплакаться, как теленку. Ты сам в 14-м году был в делах с бариним, ты знаешь, что не все пули бьют и не все раненые умирают, притом мы постараемся и уладить полюбовно.

Ольга не могла слушать далее; голова ее кружилась, колени изменяли. Ужасные подробности поединка рисовали пред нею кровавыми чертами картину братней кончины... «Раненого или убитого, — повторила она, упавая в кресла. — Убитого!» Мысли ее помутились... страх ледяною рукою своей сдвигал сердце.

Есть минуты, есть часы тоски тяжелой, неизъяснимой... разум тогда, будто пораженный параличом, вдруг прерывает ход свой, но чувство, отравленное полным понятием о величии беды, подобно лавине, рушится на сердце и погребает его в хладе отчаяния, немого, но глубокого, бесчувственно-мучительного! Тогда очи не находят слез, уста выражений, и тем ужаснее тоска, сосредоточенная в груди, тем едче слезы, каменеющие на сердце, которое, как подземная жила, переполненная пылающею серой, рвется сбросить с себя громаду и, готовое расторгнуться, не может сдвинуть груза, его удушающего, не может отрезать палящего вздоха.

Ольга не плакала, ибо не могла плакать, ничего не слышала, ничему не внимала она. На все приглашения, на все вопросы тетки отвечала она отрицательным движением головы и не трогалась с места. Наконец, когда ясный уже луч солнца, проникнув туманы, упал на чело ее, она как будто очнулась от болезненного забвения, подобно Мемноновой статуе на равнинах Фиваиды. «Где братец?» — спросила она, вставая. «Уехал!» — было ответом, и она снова погрузилась в мрачное онемение, вперив неподвижные очи в окно. По лицу ее то мелькало нетерпение ожидания, то улыбаение надежды умолить брата, но всего чаще, всего мрачнее ложилась тень отчаяния,

ибо разум уверял ее, что никакие доводы, никакие чувства не могли совратить Валериана с пути, однажды избранного; притом же она очень хорошо постигала, что судьба поединка зависела всего более от обидчика, то есть князя Гремина. «И он, которого я считала благороднейшим существом, он, которого любила, которого воображала братом — брату, жаждет теперь крови и смерти. Ах! Как злы люди», — думала она. И между тем часы текли за часами, било одиннадцать, и вся душа Ольги перешла в зрение; как на перст судьбы, глядела она на тихо переступающую стрелку... еще четверть, еще... и она воскликнула: «Все погибло! Он не хочет даже проститься с сестрою, он боится быть тронутым моею горестию... Боже великий, подкрепи меня!» Ольга поверглась ниц перед образом, и решимость осенила свыше теплую мольбу ее.

На второй версте по дороге к Парголову направо на холме виден простой русский трактир, выкрашенный желтою краскою, — свидетель многих несчастных сцен или веселых примирений зимою. Летом никто из порядочных людей не посещает его, равно за неопрятность, как и потому, что окрестные дачи в это время кипят народом и, следовательно, не могут быть поприщем поединков. Вся трактирная челядь высыпала на крыльцо, завидя две кареты и парные сани, пробивающиеся к ним сквозь сугробы снега, блестящего миллионами звезд на солнышке. Это, как можно было угадать, был поезд вовсе не свадебный, поезд наших дуэлистов. Противников развели по разным комнатам. Артиллерист вызвался ехать вперед приготовить место и утоптать смертную тропу. Доктор пригласил другого секунданта сыграть партию в биллиард, и вот соперники наши оставлены были сами себе на раздумье.

Валериан был угрюм, но с каким-то удовольствием смотрел на безжизненный снег, покрывающий саваном долину, на траурную зелень елей. Он пламенно и нежно полюбил графиню, и ее холодность, ее легкомыслие сокрушили все его надежды. Он улыбкою встретил мысль о смерти, потому что смерть никому не кажется так утешительна, как обманутой или неудачной любви. «Три дня — и нет ответа, — думал он. — Это самый понятный ответ! Ей жаль лучей своего сиятельства; ей приятнее переживать светскую скуку в кругу модных обезьян, чем наслаждение жизнью с мужем — человеком; ей лстнее вселять мечты и желания в других, чем мыслить и чувствовать наедине с другом или с собою. Да будет! Благодарю судьбу, что она заранее спасла меня от легкомысленной женщины. В сладком чаду заблуждений, в очаровании страсти мне бы тяжело было вырваться из объятий счастья. Но теперь я равнодушен

к жизни; я презираю свет, в котором любовь — тщеславие, а дружество — прихоть. Но ты, Алина, ты виновна более всех! Необыкновенная смертная, ты увлеклась стадом обыкновенных женщин... Ты одна могла создать мое счастье, ты одна могла ценить мою любовь, и я, не утешен взаимностью, сойду в могилу — и за тебя! Алина! Алина! Ты оценишь меня, когда меня потеряешь!» Слезы навернулись на глазах Валериана. Но, право, не знаю, почему ни одна из них не посвящена была сожалению о сестре: таковы все влюбленные; во время своей горячки у них нет ни думы, ни слова, кроме о милой, и даже умирая, они больше думают о том, как понравятся в гробу своей возлюбленной, нежели о том, как станут плакать о них родные.

Зато если в одной комнате Ольга была забыта для любви, в другой по той же причине она была предметом восклицаний и вздохов. Князь Гремин сидел там мрачнее сентябрьского вечера и очень заунывно барабанил пальцами по столу; но или сосновая эта гармоника не могла вполне выразить печальных его мыслей, или сам он был непривычный виртуоз на этом инструменте, только фантазия его походила на погребальный марш, достойный похорон kota мышами. Как ни забавно-жалобна была, однакож, его музыка, его думы были вовсе не забавны. Когда погас первый пыл негодования, он горько раскаивался в своей дерзкой вспыльчивости: совесть громко укоряла его в обиде старого друга, и для чего, для кого? Для той, которой уже давно не любил он, для той, которая сама его забыла; не имея другой цели, кроме препятствия в счастье сопернику из пустого тщеславия! Но всего убедительнее действовала на него логика любезности и красоты Ольги; все силлогизмы его оканчивались и начинались укорительным вопросом: «Что скажет на это сестра Валериана?» Ненависть в жизни, если он убьет противника, или презрение после смерти — за вражду — непременно должныствовали быть уделом его, а Гремин глубоко чувствовал как благородный человек и как пламенный мужчина, сколь тяжело было бы ему сносить не только ненависть или презрение, но даже равнодушие Ольги, достойной всякого уважения «и любви» — приговаривало сердце, «и может быть, неравнодушной к тебе» — шептало самолюбие. Но голос предрассудков звучал, как труба, и заглушал все кроткие, все добрые ощущения. «Теперь уже поздно раздумывать, — сказал он со вздохом, разрывающим сердце. — Нельзя возвратить сделанного, стыдно переменять решенное. Я не хочу быть сказкою города и полка, согласясь мириться под пистолетом. Люди охотнее верят трусости, чем благородным внушениям, и хотя бы еще лестнейшие надежды, еще драгоценнейшее бытие лежали в душе моем, я и тогда послал бы выстрел Стрелинскому».

— Все готово, князь! — сказал секундант его, распахнув дверь. — Остается только зарядить пистолеты, и, как водится, мы просим вас при том присутствовать.

Противники вошли с разных сторон, холодно и безмолвно поклонились друг другу, и между тем как Гремин остановился у стола, на котором готовилась роковая трапеза, Стрелинский подошел к доктору, который без милосердия один-одинехонек гонял шары по бильярду. Больно душе видеть людей перед поединком, еще большее быть посредником в оном. Невольно желаешь зла другому, потому что желаешь сохранения своему товарищу, и это чувство проливает на все церемонную принужденность, между тем как все стараются быть необыкновенно веселыми — соперники, чтоб показать свою смелость, а секунданты, чтоб поддержать ее.

Валериан, познакомься на переезде с доктором-оригиналом, шутя спросил его, обращаясь к прерванному в карете разговору:

— Отступаетесь ли вы, любезный доктор, от чудесной гипотезы своей, что когда-нибудь люди научатся прививать детям хорошие качества, как коровью оспу, и лечить от страстей, как от прилипчивых болезней?

— Для чего мне быть отступником от своих рассуждений, когда вы не хотите покинуть свои предрассуждения? — отвечал доктор и положил красный в лузу.

— Жаль, право, что я не родился позже веками пятью: очень бы любопытно посмотреть, как станут вылечивать от любви испанскими мушками или от злости припарками и лигатурами!

— От злости и теперь в простом народе лечат припарками и перевязками так, как встарину от сумасшествия чахоткою, — только едва ли с успехом. Но почему не предположить, что при всеобщем усовершеннии наук нужнейшая из них не выйдет из настоящего дряхлого своего младенчества? Тогда, Валериан Михайлович, мне бы гораздо приятнее было предупредить вашу раздражительность какими-нибудь сладкими пилюлями, нежели вытаскивать свинцовые из ваших костей.

— То-то будет золотой век для медиков!

— Золотой для медицины, а бессребренный для медиков, которые до сих пор, наравне с крапивным семенем судей, живут на счет глупости, или пороков, или бедствий человеческих!

— Почтенный доктор, — прервал речь его артиллерист, заряжая вторую пару, — решите спор наш: я говорю, что лучше уменьшить заряд по малости расстояния и для верности выстрела, а господин ротмистр желает усилить его, уверяя, что сквозные раны легче к исцелению, — это статья по вашему департаменту.

— Дайте руку, господин пушкарь в превосходной степени. Мы должны быть друзьями и соседями не только потому, что ваше училище, где научают убивать по правилам, рядом с нашей клинкой, где учат исцелять людей, но и потому, что природа всегда подле яду помещает противоядие. Вы смеетесь, вы говорите, что это два зла вместе, — пусть так. Только увеличьте заряд, если нельзя вовсе его уничтожить. На шести шагах самый слабый выстрел пробьет ребра; и так как трудно, а часто и невозможно вынуть пули, то она и впоследствии может повредить благородные части.

— Высокoblагородные части, — сказал, улыбаясь, Гремин, — мы оба штаб-офицеры; но шутки в сторону, доктор: откуда, почитаете вы, всего безопаснее вынимать пулю?

— Из дула, — отвечал доктор очень важно. Все засмеялись.

— Не угодно ли будет, князь, снять эполеты? — сказал один из секундантов, укладывая пистолеты в ящик. — Золото слишком видная цель для противника.

— Вы так строги, любезный посредник мой, что я того и жду приглашения оставить здесь голову, потому что она еще виднейшая цель... — В это время послышался стук у дверей.

— Боже мой! — воскликнул артиллерист, закрывая плащом оружие. — Не дадут подраться покойно! Кто там?

— Ездовой графини Звездич спрашивает майора Стрелинского, — произнес за порогом маркер точно таким же голосом, как возвещает он «двадцать три и ничего!»

Стрелинский одним прыжком был уже в сенях.

— Вас просит видеть какая-то дама, — сказал Гремину трактирный мальчик, вбегая с другой стороны. Князь вышел, пожимая плечами. Но вообразите его изумление, когда стройная незнакомка отбросила вуаль с лица своего, и в ней он узнал Ольгу, со всеми прелестями юности, в полном вооружении невинности и собственного достоинства.

— Ольга! — воскликнул он, пораженный еще более, чем удивленный. — Ольга, вы, вы здесь?

— И вы причиной тому, князь Гремин, — отвечала Ольга с гордою твердостью. — Если б я и не знала опасностей моего поступка, то одно изумление ваше открыло бы мне все; но я все знаю и на все решилась. Пускай свет назовет меня безрассудною искательницей приключений, пускай стану я сказкою столицы, пусть эта минута бросит вечную тень на остаток моей жизни, — но не должна ли я презреть всем тем спасения брата, которого хотите вы погубить! Но я не упрекать вас пришла, князь Гремин, но просить, но убеждать, умолять вас: забудьте кровавадную ссору вашу, открытую мне случаем. Заклинаю вас именем бога, которого забываете, именем человечества и

разума, которые попираете вы ногами, именем прежней дружбы и вечной любви ко всему, что драгоценно для вас в этой жизни и лестно за могилой! Вы искали поединка, и от вас зависит прекратить его, князь! Примиритесь с Валерианом! Спасите меня от горького чувства видеть убийцу в брате или от неутолимого плача по нем. Что станется тогда со мной в этом враждебном свете без друга, без советника и покровителя? Как мало жила я и как несчастна, что дожидая до ужасной поры, в которую два существа, уважаемые мной больше всего в мире, готовы растерзать друг друга!

Сначала голос Ольги был тверд и выразителен, но когда речь коснулась до братской привязанности, он стал тише и нежнее, дыхание прерывалось, замирало; тоска высоко вздымала грудь; очи ее, отягченные слезами, наконец пролили их в три ручья, и она, рыдая, опустилась на стул. Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и благородного, тронутый до глубины души прекрасным самоотвержением Ольги, стоял в восторге нем и неподвижен. Он поглощал взорами великодушную примирительницу. Сладостное чувство умиления проникло все его существо; одна искра чистой любви осветила всю его душу. Как молния превращает полюсы компаса, так всемогущие слезы невинности превратили в доброту все семена зла и злобы, в груди таящиеся. Он был уже счастлив, ибо высочайшее счастье есть сознание чужих совершенств, сознание высокого и прекрасного.

Ольга, однакож, почитая безмолвие князя колебанием или отказом, гордо встала и произнесла, сверкая взором:

— Но знайте, князь Гремин, если речь правды и природы недоступна душам, воспитанным кровавыми предрассудками, то вы не иначе достигнете до брата моего, как сквозь это сердце. Не пожалев славы, я не пожалю жизни.

— Нет, нет, существо неземное! — воскликнул Гремин. — Свою жизнь, хотя бы тысячу раз обновленную, готов теперь пожертвовать я за вас, за Валериана! Ольга! Ваше великодушие победило меня!

С этим словом он вошел в залу и громко сказал Валериану:

— Господин майор! Я прошу у вас извинения в своей горячности; очень сожалею о том, что вчера произошло между нами, и если вы довольны этим объяснением, то сочту большую честью возврат вашей дружбы.

Стрелинский, вовсе не ожидая такой развязки, перешитывал весело какое-то письмо, — очень вежливо, однакож очень охотно протянул руку Гремину.

— Тому легко примирение, — сказал он, — кто сам имеет нужду в прощении. — И друзья обнялись снова друзьями.

— Господа секунданты! Скажите по совести, не имеем ли мы в чем-нибудь укорять себя, как благородные люди и офицеры? — сказал Гремин.

— Никогда и никто не усомнится в вашей храбрости, — отвечал гвардеец, обнимая князя.

— Признаться в своих ошибках есть высшее мужество, — возразил артиллерист, сжимая руку майора.

— Сделав все для света, я прошу у тебя, любезный Стрелинский, для самого себя пяти минут особенного разговора.

Рука об руку с князем вошел Валериан в другую комнату весело и беззаботно, но чело его подернулось как заревом, когда он увидел там сестру свою!

— Что это значит? — вскричал он грозно. Но когда сестра с радостным приветом: «Вы не будете врагами, не будете стреляться!» упала к нему на грудь бесчувственная, голос его смягчился... — Ольга! Ольга! Что ты сделала? — произнес он печально. — Невинная и неопытная душа, ты погубила себя! — Тихо опустил он на софу драгоценное бремя, и невольный взор упрека пронзил сердце Гремина; между тем призванный доктор суетился около Ольги.

— Друг! Друг! — сказал глубоко тронутый князь. — Не уничтожай меня: я сам чувствую, сколько бед накликало мое безрассудство; подумаем лучше, как исправить ошибку. Поездка сестрицы твоей едва ли утаится от клеветы, и бог весть, какими баснями украсит ее свет! Чувствую, что я не стою этого ангела, но чувствую, что без нее нет для меня счастья на земле... и если сердце ее не занято... если... я, как старый друг твой, спрашиваю тебя, Валериан... хочешь ли ты иметь меня зятем?

Стрелинский мрачно взглянул на него...

— Князь! Я откровенно скажу тебе, что прежде не желал бы лучшего мужа Ольге, но вчерашняя твоя горячность за графиню заставляет меня сомневаться в счастье сестры!

— Валериан! Не разрывай могил минувшего... кто не был молод! От сего дня я новый человек; прежняя привязанность к сестрице твоей обратилась в страсть неодолимую и неизменную.

— Верю, — сказал Валериан, пожимая руку друга, и указал на сестру, которая начинала приходить в себя. — Милая, добрая Ольга! Здесь ты видишь людей, тобой примиренных и благодарных; но, кроме благодарности, здесь есть некто, желающий получить награду, заслужив наказание: он уверяет, что любит тебя, клянется в верности... доканчивайте, князь Гремин!

Гремин с пылкостью и страхом вступил в трудное объяснение.

— Я буду краток, — сказал он, приближаясь к Ольге, — как ни вредно виноватому быть им. Так, Ольга, я дерзаю искать руки вашей, хотя в глубине души сознаюсь, как недостойн я такого блаженства. Не говорю теперь о взаимности, я буду счастлив и тем, если вы меня не ненавидите, и терпеливо стану ждать чувств нежнейших, как награды.

— Теперь я не имею никакой причины ненавидеть вас; я, напротив, обязана вам благодарностью! — возразила Ольга едва внятно.

— Это лишь слабый образчик моей беспредельной покорности; имея образцом такого ангела, какое доброе качество мне недоступно? Ольга! Жизнь без вас для меня пустыня, с вами — рай: решите участь мою!

Ответ Ольги можно было прочесть в каждой черте лица, в трепетании каждой жилки; слезы наслаждения стояли в ресницах, румянец счастья пылал на щеках ее... все сны, все мечты ее разгадались; она была так невинно счастлива, но ей было так ново и страшно это положение; наконец она приклонила милое лицо свое к плечу Валериана и тихо, тихо сказала:

— Братец, отвечай за меня!

— Князь Николай! Вручаю тебе лучшую жемчужину моего бытия. Есть бог в небе и совесть в сердце, если ты не сделаешь мою Ольгу счастливою!

Тут положил Валериан руку сестры в руку Гремина, и седьмое небо распахнулось для влюбленного.

— Я сегодня так счастлив, что боюсь, не во сне ли вижу все это. Друзья мои! Вот письмо от Алины, — примолвил Валериан, отдавая для прочтения письмо Гремину. Гремин читал:

«За свою недоверчивость, милый Валериан, ты заслужил наказание и получил его, но чего эта шутка стоила моему сердцу! Как можно было сомневаться, что куда б ни забросила тебя судьба, куда бы ни увлекла воля, в горе и счастья я всегда с тобой неразлучна. Впрочем, эти три дня я посвятила на убеждение моих нравственных и политических опекунов; теперь все в порядке, и я могу ехать за тобой к полюсу, не только в прекрасную деревню. Сегодня ожидаю неверующего на мир, и через два месяца, о сладкая мысль! я буду уже иметь священное право называться *твоею* Алиною!»

Поздравления и объятия полетели к счастливцу... Сам доктор, со слезами умиления на глазах, смотрел на небо, скинув ошибкою парик вместо колпака: «Еще пара таких женщин, — бормотал он, — и я выброшу всех редких букашек за окно! Жаль только, что Ольга заставит меня переправить целую главу о женщинах!»

Стрелинский, посадив сестру свою в карету, остановился у дверец.

— Господа! — сказал он. — Милости просим ко мне откушать и запить прошедшие безрассудства. Господ же секундантов, благодаря сверх того за их участие, прошу сделать нам честь переменить роли секундантов на должность шаферов у меня и жениха сестры моей, князя Гремина!

Он умчался при радостных приветях.

Восхищенный князь, обнимая с радости всех и каждого, сказал доктору, приглашая его сесть с собою в карету:

— Я надеюсь, и для вас, почтеннейший друг наш, приятнее видеть свадьбу, чем похороны.

— Я не бываю на свадьбах, чтобы не заставить краснеть других, ни на похоронах, чтобы не краснеть самому, — отвечал доктор, садясь в сани.

— Теперь, однакож, дело идет не о проводах невест или мертвецов в новый для них мир, а только о проводах масленицы. Валериан ждет вас к дружескому обеду.

— Непременно буду, охотно буду, но теперь еще рано, и я заеду к себе приписать кое-что к моей диссертации.

— Конечно, о страстях устрицы? — сказал Гремин, улыбаясь.

— Напротив, об удачных глупостях человека, — возразил доктор.

ЛЕЙТЕНАНТ БЕЛОЗОР

ГЛАВА I

Прощай, прекрасная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катяшь волны голубые
С неподражаемой красой!

А. Пушкин.

В то время, когда полчища Наполеоновы праздновали в Москве собственную тризну, русский флот, соединенный с великобританским, блокировал при голландских берегах флот французский, запертый во Флессингене. В самое бурное время года, в открытом море, на ужасной глубине, лежал он на якорях, в беспрестанной борьбе со стихиями и каждый час готовясь на бой с неприятелем. За ним была пустыня океана, кругом подводные скалы, впереди грозные батареи; но он, словно крепость, воздвигшаяся со дна, стоял неподвижно, — и неслыханная дотоле блокада сия доказала свету, что русские умеют торжествовать не только над гением человека, но и над всеми силами природы.

В октябре месяце бури были ужасны и продолжительны; кто терпел их в море под парусами, тот может судить, каковы они для флота на якорной стоянке, где каждый вал, встречая неподвижную громаду, поражает ее всю силою и обрушивается на нее всю толщею своею. Корабль стонет и дрожит тогда, как прикованный великан, бессильный убежать от валов или всплыть на них. Продолжительный тяжкий скрип расходящихся членов, оглушающий рев всплесков, свист ветра в блоки и шум ударяющихся снастей — наводят тоску на сердце. Везде вы видите угрюмые лица; все как будто ждут чего-то рокового, и только изредка слышится голос вахтенного лейтенанта, словно голос духа, повелителя стихий; пронзительные свистки отвечают на призыв его; море бушует.

Ураган, свирепствовавший с 16 на 17 число октября, сокрушил на берегах Англии и Голландии множество судов. Ночь

эта была страшна для осаждающих; вся опытность моряков истощилась, чтоб устоять на якорях или, в случае обрыва, вступить под паруса для избежания неминуемого кораблекрушения при берегах. Посреди мрака и воя ветра временно сверкали пушечные выстрелы, возвещающая «бедствую!», фальшфейеры искрились, как блудячие огоньки над могилами, — корабли ежеминутно были в опасности свалиться.

Рассвет оказал всю бедственность их положения: линия была расстроена, корабли дрейфовали с двух якорей; на многих переломаны были стеньги и рей; иные, сорванные со ступов, высучили канаты и под штормовыми парусами боролись вдаль с вихрями; почти у всех изорванные и спутанные снасти висели в беспорядке; отопленные накрест нижние рей придавали еще более дикости виду их; волнение ходило горами. Картина была ужасная!

На русском корабле «Не тронь меня» оказалась сильная течь; он замыкал линию слева, почти опираясь на каменную грядку подводных камней, которая на полмили простиралась в море параллельно с берегом. Прибой к ней, производящий неправильное волнение, называемое моряками *толчей*, всего более раскачал связь уже не нового корабля. Поставили запасные помпы, вооружили цепные; матросы работали неутомимо, но гибель была недалеко: вода лилась в расходящиеся пазы, и как ни ровняли канаты, но то один, то другой вытягивался в струну, готовясь лопнуть, офицеры с недоверчивостью поглядывали на третий. К счастью, с рассветом шквалы затихли, и хотя ветер дул еще сильнее, но волнение и качка стали правильнее. Мало-помалу все начало приходить в порядок: выстроили линию, убрались с повреждениями. Веселость возвратилась к усталым пловцам, лишняя чарка водки — и все забыто.

В четыре часа, то есть в восемь склянок, при смене вахт вступающий в должность лейтенант, осмотрев все работы, подошел к капитану, ходившему по своей стороне шканцев, для рапорта о состоянии корабля.

— Г-н капитан, — сказал он, приподняв свою круглую шляпу, — вахта принята благополучно, ветер сильный норд-норд-вест, глубина по лоту 78 сажен, канатов на битенге по 191-й, воды в льяле...

— А что помпы — помпы, Николай Алексеич? — прервал его капитан, беспokoясь о течи.

— Все исправны; мы их держим на храпу, — отвечал лейтенант. — Не будет ли каких приказаний, капитан?

— Покуда никаких, Николай Алексеич, кроме благодарности вам за то, что вчерась заранее успели спустить марсарей. Опоздай вы часом, наверно бы не удержались на якоре, да

немудрено потерять бы и рангоут, а без него плохая шутка: разом повиснешь на какой-нибудь скале устрицею или пойдешь на дно хватать морские звезды.

Лейтенант был настоящий моряк, доброго, но сурового лица, загоревший от солнца всех климатов и несколько сутуловатый от привычки ходить под палубами. Шляпа его была надвинута на самые уши; пестрый шотландский плащ играл около его тела; в руках держал он лакированный жестяной рупор (разговорную трубу). На слова капитана он улыбнулся с довольным видом.

— Это игрушка, — отвечал он, — когда мы хозяйничали с Сенявиным в Адриатике, так, бывало, и стены спускали в четверть часа.

— Ныне это признано вредным, Николай Алексеич, — возразил капитан, пускаясь опять ходить. — Снасти и ванты, спутанные на эзельгофте, представляют ветру большую площадь, нежели на выстронной стене.

— Хорошо, что здесь нет осенью тифонов, — продолжал лейтенант, обращаясь к лейтенанту Белозору, у которого снял он должность, — а поневоле бы стали делать все по-нашему. Бывало, эти смерчи, как бесы перед заутреней, вьются около носу; но если страшно попасть к ним в передел, зато весело глядеть, как они образуются и рушатся попеременно. Черное облако вдруг, как ворон, слетает на море, свертывается воронкой, то вытягивается ниткою на вихре, то бежит столбом, и между тем как молния обвивает его и море кипит, словно котел, видно, как смерч пьет воду.

— Плохой же он моряк, Николай Алексеич, — отвечал шутя Белозор, статный молодой человек, на котором из-под распахнутой шинели виден был аксельбант. На русском флоте адъютанты многих адмиралов поступают для кампаний в флотские должности по чинам. Белозор был из числа их. — Я уверен, что наши балтийские тифоны, — примолвил он, — бывают опаснее для пуншевых стаканов, чем для заливов и проливов соленой воды.

— Конечно так, моя невская яхточка, — ему бы следовало поучиться у нашего брата, старого моряка. Вода создана для рыб и раков, вино для женщин и детей, мадера для мужей и воинов, но ром и водка — для одних геросв.

— Следственно, бессмертие для меня закупорено навеки: я не могу равнодушно глядеть на бутылку с ромом.

— И я тоже, любезнейший, и я тоже; у меня сердце бьет рынду, когда я завижу ее. Послужи с мое да испытай столько же бурь, тогда уверишься, что добрый стакан грогу лучше всех непромокаемых шинелей и всех противопростудных лекарств; как цапнешь темную, так два ума в голове; на валы

смотришь, как на стадо барашков, и стеньги хоть в лучок гнутся — и горюшка нет!

— А какова была прошлая ночь? Если б не темнота, и на твоём лице, Николай Алексеич, полюбовались бы мы милостивою бледностью.

— Чорт вытрави мою душу, если мое лицо не столь же мало сделано для румянца, как и для бледности. Буря моя стихия. Подавай нам почаще таких ночей, по крайней мере не заржавеет; а то скука возьмет, стоя на якоре до того, что он пустит корни, как пульс оцупывать канаты и сквозь сон покрикивать: заложить сей-тали, — не зевать на стопорах! То ли дело шторм? Уму, и рукам, и горлу раздолье: вся природа пляшет тогда по дудке твоей!

— Слуга покорный за ваше раздолье... Вчерась я промок до самой души, проголодался, как морская собака, и должен был холоден и голоден отправиться спать, потому что нельзя было развести огня ни под котлом, ни в камине. К довершению удовольствия меня дважды выкинуло качкой из койки, на которую сквозь палубу, как в решето, лилась вода струями.

— Ах ты, прятничная рыбка, любезный мой Виктор Ильич! Тебе бы хотелось, небось, чтобы корабли плавали в розовом масле, ветер только целовал паруса, выкроенные из дамских платьев, и лейтенанты танцевали бы только повахтенно с красавицами!

— Без всякого сомнения, не отказался бы я погреть теперь сердечко подле какой-нибудь леди в Плимуте или дремать в тамошней опере после сытного обеда, чем слушать медвежий концерт ветров и всякую минуту ждать отправления в безывестную экспедицию.

— По мне, на берегу в тысячу раз больше всяких опасностей, того и гляди, что спроворят кошелек или сердце. Когда ты обманом прибуксировал меня в доме Стефенсов, я не знал, в которую сторону обросопить нос... пол в гостиной, казалось мне, волнуется, и я обходил каждую фарфоровую вазу, как подводный камень. А пуще всего, эта проклятая мисс Фанни павела на меня зажигательные свои глазки так мстко, что я готов был бежать от нее по 15-ти узлов в час... Да ты не слушаешь меня, рассеянная голова!

В самом деле, Белозор, стоя на пушке, уже стремился взорами к берегам Голландии, как скоро мысль его попала на проторенную дорожку — на женщин. Подобно голубю, отпущенному с ковчега, она летела в край неведомый и возвратилась с веткою маслины. Заветный берег казался ему раем: там живут добрые умные люди, там цветут красавицы, и в них, может быть, бьются сердца, готовые любить и достойные любви!.. Двадцать пять лет — опасный возраст, милостивые государи,

особенно для людей, заключенных в пловучем монастыре, и Белозор, волнуемый болезнью, которую мы привыкли называть молодостью, воспламенился пред неясною, неопределенною мечтою своего создания. Он так нежно, так страстно глядел на Голландию, как будто в ней зарыт клад его счастья, невозможность подстрекала еще больше его любопытство побывать там, и он, любуясь на плотины, о которые оперлось море и из-за коих виднелись только мачты кораблей, как подводный лес, да там и сям крылья мельниц и стрелы колоколен, хотя и не выронил слезы, которая бы очень романически сорвана была вихрями и слилась с бездною океана, но вздохнул, и вздохнул очень глубоко. Не могу скрыть этого важного обстоятельства как верный историк и покорный слуга истине.

Уже начинало смеркаться. Ветер засвежел снова и скоро обратился в шторм; но как все предосторожности были приняты, экипаж с уверенностию ожидал ночи. В это время в тесном горизонте показались паруса трехмачтового корабля, идущего с океана. Гонимый бурей, он быстро приближался к флоту под рифмарселями. Скоро разглядели, что это военный английский корабль, красный флаг его сверкал, как молния в тучах. Все трубы, все глаза обратились на пришельца.

— Посмотрим, каково этот джентльмен ляжет на якорь в такую бурю! — сказал лейтенант Белозор.

— Он просто сумасброд, — прибавил вахтенный лейтенант, — форсирует парусами, входит в линию, когда в одни снасти дует так, что нельзя справиться. Посмотри, как гнутся его стеньги, мне кажется, я слышу, как трещат они. Или у него в кармане есть запасные мачты, или черти вместо матросов.

Опознательный флаг взлетел на адмиральском корабле и повторился на репетичном фрегате, который нарочно стоял на виду за линией, но приближающийся корабль бежал вперед, не отвечая.

— Что это значит? — вскричали многие с изумлением, — нет ответа!

— Он держит прямо на каменную гряду, — с беспокойством сказал вахтенный лейтенант. — Смотреть хорошенько сигналы.

Три флага вместе мелькнули на адмиральской грот-стеннге.

— Номер 143! — закричал штурманский ученик.

Лейтенант развернул сигнальную книгу.

«Идущему с моря кораблю войти в линию и лечь на якорь подле флагманского слева».

— Есть ли ответ? — с нетерпением спросил вахтенный лейтенант.

— Никак нету-с, — отвечал штурманский ученик.

Недоумение и страх всех возрастали с каждою минутою.

Тот же сигнал повторился, но с выговорной пушкой, — корабль, как будто не обращая на то внимания, катился прямо на роковую банку. Напрасно адмирал поднимал остерегательные сигналы за сигналами, он не убавлял парусов, не переменил направления; все с замиранием сердца смотрели, как он несся к верной гибели.

— Он не понимает наших сигналов, — вскричал вахтенный лейтенант, — он, верно, идет не из Англии для освежения наших кораблей, а с океана; только неужто незнакома ему эта гряда? Она означена на всех картах!

— Он погибнет! — произнес Белозор, — если сию же минуту не ляжет в бейдевинд.

Мгновение было роковое. Вахтенный лейтенант, вскочив на сетку и наклонившись всем телом вперед, так увлекся видом чужой опасности, что изо всей силы кричал им по-английски:

— Don't skud away, my boys! hand a port and close up to the wind! Не держи прямо — лево на борт, круче к ветру! Лево на борт! — повторял он, махая шляпой, как будто бы голос его мог пронзить расстояние и рев бури.

Наконец на корабле, казалось, заметили всплески бурунов, которые, как печь, дымились прямо перед их водорезом, и люди закипели на нем, как муравьи, реи обратились вдоль корабля, передние паруса заполоскались с отданными шкотами, и бизань, самый задний парус, распахнулась, чтобы ветром, в нее ударяющим, быстрее поворотило судно боком, но не успела бизань наполниться, как порыв бури вырвал ее вон; лопнувший парус грянул, как выстрел, и лоскутья разлетелись по воздуху.

— У него отбит руль! — произнес лейтенант, отвращая глаза: — ему нет спасенья!

Мертвая тишина воцарилась между зрителями. С ожиданием, расторгающим душу, устремили все глаза на жертву, которую влекла неумолимая судьба к бездне. Страшно видеть смерть и одного человека, но быть свидетелем прогибели многих сот товарищей и не иметь возможности помочь им неизъяснимо ужасно!

Обреченный смерти корабль, — будто корабль-привидение, который мечтают видеть порой суеверные пловцы в вечной борьбе с непогодами, исчезая и появляясь на страх им, — лишенный средств управлять бегом, с новой быстротой кинулся по ветру. На нем видна была тревога: люди взбегали и сбегали по вантам, сетки унизаны были матросами, они простирали руки, прося о помощи, и напрасно: последний час их пробил.

Со всего расходу ударился он о подводную скалу. Этот удар отдался в сердцах всех наблюдателей, исторгнув из них стон сострадания. Стеныги, мачты, самая громада корабля разрушилась в обломки, и в один миг; паруса, затрепетав, разлетелись, как перья, огромный вал поднял разбитый остов и снова грянул его о незримые утесы.

— Все кончилось! — сказал Белозор, всплеснув руками в тоске отчаяния. В самом деле, там, где за минуту был корабль, теперь кипели одни буруны, распыскиваясь попрежнему друг о друга, и только вихорь завывал, только алчное море ярилось и бушевало.

— Флагман поднимает сигнал, — закричал с юта штурманский ученик. — Нумер 107: помочь утопающим.

— Благородное приказание, — сказал капитан, следя глазами трех человек, которые всплыли на рею и, заливаемые волнами, боролись вдаль со смертию. — Благородное приказание, но его невозможно исполнить.

— Стыдно будет русскому находить в том невозможность... — с жаром возразил Белозор, — позвольте мне, капитан, взять какое-нибудь гребное судно.

Капитан, вполовину недовольный противоречием, вполовину изумленный смелостью Белозора, строго взглянул на него и отвечал:

— Я не могу вам запретить этого, г. лейтенант, но поверьте моей опытности, что вы утопающих не спасете, а себя утопите.

— Я рад гибнуть там, куда призывает меня *долг чести и человечества*. Итак, я могу?..

— Можете: я позволяю, но не советую вам. Все большие гребные суда на рострах, а мелкие — все равно что гроб.

— Я готов пуститься в решете, — вскричал обрадованный Белозор, — веселей гибнуть вместе с другими, чем глядеть, сложа руки, на их погибель. Охотники, за мной!

Там, где дело идет о великодушной смелости, между русских солдат в охотниках не бывает недостатка. Человек тридцать кинулось за отважным лейтенантом, но он, выбрав пятерых самых проворных, сжал руку другу своему Николаю Алексеичу и вскочил в четверку, висящую на боканцах, при кликах товарищей: благополучного возврата!

Грунтов и тали, то есть веревки, ее держащие, были обрваны, и он полетел в разверзтую пучину.

ГЛАВА II

О боже! Как мучительно казалось мне утопление! Какой ужасный шум воды в ушах моих! Какие отвратительные зрелища смерти пред глазами! Мне снилось, будто я вижу обломки тысячи страшных кораблекрушений, тысячи трупов, коих грызли рыбы; слитки золота, огромные якоря, груды жемчугов, неоцененные камни и украшения, разбросанные в глубине моря; иные сверкали в человеческих черепах, во впадинах, где витали некогда очи!

Шекспир.

Нислав с вышины борта двухдечного корабля, шлюпка исчезла в брызгах и пене, и в один миг великий вал унес ее далеко за корму. Пловцы наши едва, едва успели шапками отчерпать воду, и Белозор в тот же час велел поставить мачту и поднять до половины парус. Когда он оглянулся, флот был уже далеко позади, и он чуть различил стоящего у вант вахтенного лейтенанта, который следил взорами бесстрашного друга. Рей, на котором спасались утопающие, порой вииден был, всходя на валы, мелькая концом паруса; но этот самый парус, вздуваемый иногда ветром, заставлял обращать рей беспрестанно и погружал в воду прильнувших к нему несчастливцев. Напрасно всползали они наверх, чтоб дышать воздухом, строптивое бревно топило их снова и снова, и когда подоспела помощь, силы их оставили: Белозор уже никого не нашел на нем.

Пожалев о безвременной гибели утопших, надо было позаботиться о собственном спасении. Нечего было и думать о возвращении на корабль против ветра и волнения; Белозору оставалось одно средство — отдаться произволу стихий и попытаться счастья пристать к берегу, чтобы на нем провести ночь и переждать, покуда стихнет буря. Вздумано — сделано. Правя гораздо левее города, он стрелой летел ко враждебному краю, где смерть или плен сторожили его. Он хладнокровно смотрел на влажные утесы, с плеском и воем паперерыв догоняющие утлую ладью. Кипя, склонялись они кудрявыми главами над кормою, готовясь обрушиться, рушились и выносили ее на хребте своем, как ореховую скорлупу. Сам Белозор сидел на руле, трое отливали воду, а двое остальных держали на руках шкоты. Видя спокойное лицо начальника, они полагали себя в полной безопасности. Скоро совершенно стемнело. Вдали замелькали между валов огни городские и послышался ропот прибой, словно шум толпы народной. Белая гряда бурунов, как рубеж смерти и жизни, кипела перед ними; матросы, притаив дыха-

ние, крестились, ожидая удара; страшно плескалось и стонало море между камнями.

— Не робей, ребята! — говорил Белозор своим людям, — куртки долой, и если опрокинет, хватай весла, и чуть коснулся дна, карабкайся дальше, чтобы другой вал не утащил опять в море! Держись!

Как щепку, взбросило ялик на бурун и стремглав ударило его на камень. Перекинутые через эту водную стену спорных валов, оглушенные падением, пловцы наши спасены были только веслами, за которые они уцепились, ибо плавать не было никакой возможности. Уже все матросы были на берегу, но Белозор не показывался. Добрые матросы бежали навстречу каждому валу, думая выхватить из него любимого начальника, но он разбивался в пену, убегал, набегал снова — и все напрасно! К счастью, когда вдребезги разрушилась шлюпка, Белозор удержал в руке своей руль, которым правил, и он-то дал ему силы удержаться на толчее, в которую попался; мощный вал далеко выбросил его на берег.

Притаясь в кустах ив, коими обсажены все голландские плотины для скрепы их, наши моряки дрожали от холода, но веселость, это ничем не угнетаемое качество русского народа, и тут их не покидала.

— Ух, какой ветер! — сказал урядник, пожимаясь, — чуть душу не вывет.

— Держи крепче зубами, — возразил другой.

— Шути, шути! — отвечал урядник. — Выползли мы, как раки, чтоб не замерзнуть, как ужам после Воздвиженья.

— А вот взойдет казацкое солнышко, так просушим сапоги, а сами надрожимся до поту, — прибавил третий.

— Уж этот месяц — светит, а не грест, — даром у бога хлеб ест. Покурил бы, право, хоть трубки, авось бы стало теплее, — сказал четвертый.

— Жаль, брат, что ты раньше не догадался, — возразил второй: — из глаз у меня, как с огнива, искры посыпались, когда головой ударился о плотину.

— Что вы раскудахтались, словно куры в корабельной клетке, не даете доброму человеку заснуть, — сказал третий матрос. — Спи, Юрка, небось нашему брату не впервые в грязи отдыхать, оно и мягче; чурку в головы, лег — свернулся, встал — стряхнулся.

— Лечь-то ляжешь, и в бараний рог свернуться не хитро, а уж встать-то как бог даст, — отвечал Юрка.

— Вот нашел, о чем заботиться, — примолвил урядник. — Показать только линек, и так благим матом вспрыгнешь, словно заяц с капусты.

Так шутили между собой полунагие матросы и между тем

зябли без всяких шуток. Белозор, который желал теперь быть за тридевять морей от земли, которая за несколько часов казалась ему обставанною, напрасно завертывался в мокрую шинель свою — холод оледенял его члены.

— Вставай, ребята! — сказал он наконец, — пойдем искать ночлега: авось набредем на добрых людей, что нас не выдадут, а утром, коли стихнет буря, захватим рыбацью лодку и опять в море!

Так передавал он подчиненным надежду, которой не имел сам.

— Только не расходитесь, — примолвил он, пускаясь вперед по плотине, — да не говорите громко по-русски, чтоб не наделать тревоги.

— Меня не узнают, — уверительно сказал Юрка, — я таки маракую толковать на их лад.

— Где же ты научился говорить по-голландски? — спросил Белозор, очень довольный, что будет иметь переводчика.

— Ходил за рекрутами в Казанскую губернию, Виктор Ильич, так промеж них наметался по-татарски.

— И ты воображаешь, что тебя голландцы поймут, когда ты станешь болтать им по-татарски?

— Как не понять, ваше благородие, ведь все одна нехристь, — отвечал очень важно Юрка.

Сколь ни печально было положение Белозора, но он не мог удержаться от смеха. Запретив, однакож, своему доморощенному ориенталисту выказывать свою ученость, он, как новый Эней, вел маленькую дружку куда глаза глядят. Долгая узкая дорога, насыпанная валом по низменному берегу, вела все прямо, но куда? — рассмотреть было невозможно. С обеих сторон то просвечивали болота, то чернелись ямы торфа, подле коих возникали пирамиды его, изрезанного в кирпичи. Шумный ветер препятствовал слышать какой-нибудь голос.

Прошедши таким образом версты две внутрь земли, наши путники обрадованы были журчанием воды, как будто прорывающейся сквозь затвор мельницы, и скоро достигли до уединенного каменного строения, примыкающего к шлюзу огромного болота. Колесо не действовало, и вода, пущенная в русло, шумела тем сильнее. На дорогу не было окон, но по болоту змеилась полоса света, вероятно из обращенного на него окна... Русские остановились в раздумьи: итти ли, не итти ль им в средину.

— Ну что, ежели там французы! — сказал Белозор.

— Хоть бы целая рота чертей, ваше благородие, — возразил урядник, — все-таки лучше, нежели умирать с холоду.

— Я так голоден, что готов съесть жернова, — прибавил другой.

— А я так устал, что засну между шестернями, — присовокупил третий.

— Плен краше смерти, Виктор Ильич, — возгласили они вместе, — ведь французы нас не съедят!

— Не в том дело, друзья мои. Надо бы так умудриться, чтобы за один ночлег не заплатить свободою; надо биться до самого нельзы, чтоб избегнуть плена; мельница далеко от другого жилья, и мы волей и неволей заставим хозяина скрыть нас, а утро вечера мудренее. Вооружитесь-ка, чем попадетсЯ, да войдем потихоньку!

Выдернув рычаг из вѳрота на подъеме шлюза, Белозор ощупью отыскал дверь: против всякого чаяния она была отперта настежь. Вступая в широкие сени, которые служили вместе и мучным амбаром, насилиу доискались они между мешками входа в комнаты. С трепетанием сердца повернул Белозор ручку и очутился в теплой и светлой поварне, в этой приемной палате голландцев. В огромном очаге, у которого стенки выложены были изразцами, а чело из красной меди, весело пылал огонь, и близ него на вертеле разогревался кормный гусь. Светлые кастрюли дымилась на чугунной плите. Кругом на полках из лакированного бука низалась как жар сверкающая посуда. Осанистые кувшины и жеманные кофейники со вздернутым носиком, подбоченясь, красовались в углу на горке. Цветные склянки вытягивали утиные шейки свои друг перед другом; высокие бокалы, как журавли, стояли на одной ноге, и несколько старовечных чайников с длинными носами точно рассказывали что-то друг другу на ухо. Во всем виден был домовитый порядок, пленительная чистота и какое-то приветливое гостеприимство. Самые блюда будто сверкали радушною улыбкою.

К удивлению, однакоже, они не видели никого в этом приюте, словно духи приготовили ужин для голодных странников, которые с каким-то благоговением разглядывали все безделицы и поглядывали на яства. Только у дверей на гладком кирпичном полу, свернувшись, лежала собака, но она не лаяла, не шевелилась.

— Экая благодатная земляца, — сказал один матрос, — и собаке-то ночью службы нет!

— Она, брат, неспроста не лает, — робко молвил другой, указывая на зажженное ромом блюдо плум-пудинга, — здесь все заколдовано.

— От часу не легче, — вскричал урядник, отворив двери в соседнюю комнату и увидев на постели женщину со связанными руками и платком во рту, — что бы это значило?

— Видно, говорлива была, — сказал другой. — Ведь хитрый же народ эти голландцы: умудрились целенать баб, когда

им нечего делать. Да такую заведенцию и нам бы перенять не худо, а то как они разболтаются, хоть святых вон понеси!

— Да вот и мужчина! — вскричал третий, запнувшись за чье-то туловище. В самом деле, толстый мельник, что можно было угадать по напудренному его платью, закрыв от страха глаза, лежал связанный на полу... Шум в следующей комнате прервал их рассуждения о странных обычаях в Голландии. Казалось, кто-то говорил повелительно, другие голоса, напротив, жалобно упрашивали. Дверь была заперта.

— Отворите! — вскричал Белозор по-французски, внемля стуку и крику за дверью. — Отворите! — повторил он, потрясая задвижками, — или я выломлю двери!

— *Quel drôle de corps s'avise d'y faire l'important* (кто смеет там важничать)? — отвечали ему многие голоса на том же языке.

— Отворите и узнаете!

— *Va te faire pendre* (убирайся на виселицу), — было ответом: — *nous sommes ici de par l'empereur Napoléon* (мы здесь по приказу Наполеона).

— Если б вы были здесь по приказу самого сатаны, и тогда отворите, или я раскрою не только дверь, но и черепа ваши!

Громкий смех, перемешанный с выразительными клятвами французских солдат, вывел его из терпения; удар ноги высадил двери с петель; они, треща, упали в середину; неожиданное зрелище представилось глазам его.

Четверо французских мародеров, полупьяные, полуоборванные, заняты были грабежом; один, держа свой тесак над головой старика, сидящего в креслах, шарил у него в карманах; другой грозил карабином на прелестную девушку, которая на коленях умоляла о пощаде отца; третий осушал бутылку с накрытого для ужина стола, прибирая в карманы ложки, между тем как четвертый ломал штыком замок железом окованного сундука, который противился его усилиям.

— *Halte là, coquins!*¹ — произнес Белозор, и вышибленный из рук француза карабин грянулся на пол; вместе с этим он дал такого пинка другому, который грозил старику, что тот полетел в угол. Два камня засвистели еще, и один из них угодил прямо в бок ломающему сундук; он захохотал и выронил штык из рук своих.

— *Sauve qui peut, nous sommes cernés* (спасайся, кто может, мы окружены)! — вскричали испуганные мародеры и опрометью кинулись в растворенное окошко; все это было делом одной минуты.

Старик голландец, одетый в китайский халат, с изумлением поворачивался на креслах то вправо, то влево, и на полном,

¹ Ни с места, негодяи (*ред.*).

как месяц, лице его, увенчанном бумажным колпаком, очень ясно видно было, как пробегали облака сомнения: к какому роду причислить своих избавителей? Полдюжины полуодетых, или, лучше сказать, полураздетых людей, с небритыми бородами и бог весть какого племени, заставляли его думать, что он переменял только грабителей, не избегнув грабежа. Восклицания: «genadiste Good, ¹ два аршина с четвертью!» и потом: «аа!», которое переходило в «оо» и кончилось на «ээ» — двугласных, составляющих основу голландского языка и нрава, доказывали, что ни ум, ни сердце его не на месте. Зато милая дочка его была гораздо признательнее и доверчивее: неожиданный переход от страха к радости так поразил ее, что она чуть не кинулась на шею к Белозору и, схватив его за руку, в несвязных восклицаниях благодарила за избавление. Он раскланивался, она приседала, оба краснели, не зная сами, отчего; старик поглядывал на ту и на другого.

Наконец, всмотревшись хорошенько в открытое, благородное лицо юноши, голландец будто отдохнул.

— Кому одожен я столь важною услугою? — спросил он по-французски, приподнимаясь с кресел и снимая колпак.

— Человеку, брошенному бурей на ваши берега, который просит у вас не только гостеприимства, но и убожища, — отвечал Белозор, — я русский офицер! — С сим словом он сбросил с себя шинель и показал аксельбант свой.

— Русский офицер! — вскричал голландец, опускаясь в кресла, как будто эта весть придавила его.

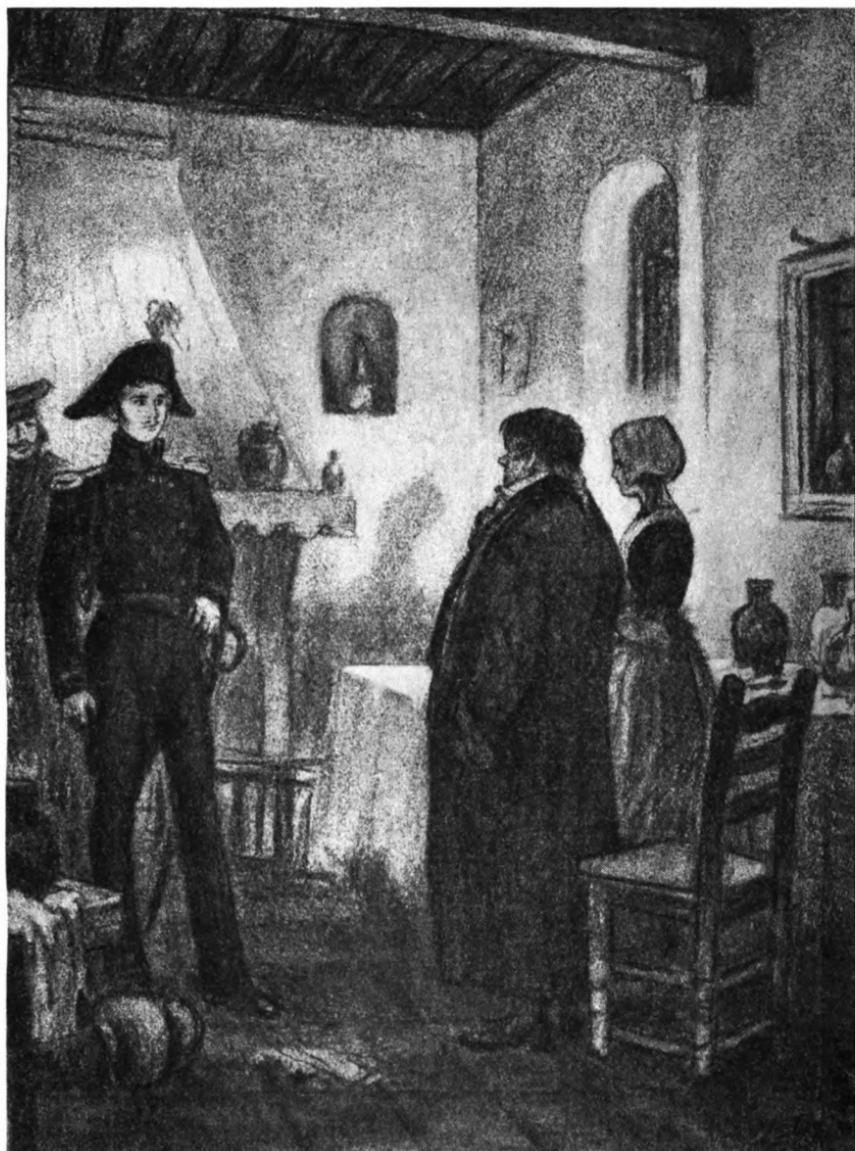
Такое начало не много предвещало добра Белозору. Он знал, что в Нидерландах была тьма партизанов нового французского короля Луциана, и легко могло статься, что хозяин был одним из них.

— Могу ли надеяться найти в вас друга или, по крайней мере, великодушного неприятеля? Если вы не решитесь скрыть нас у себя на время, то не передавайте французам.

— Stoop, stoop, ² молодой человек! — вскричал с жаром голландец. — Август ван-Саарвайерзен никогда не был предателем, и все голландцы друзья русским со времен вашего Великого Питера, в особенности я; у двоюродного деда моей жены учился он плотничать в Саардаме. Я так же ненавижу французов, как и ты: от всего сердца. Проклятые эти мыши сгрызли наш кредит, как свечку, своюю континентальною системою и заставили меня, первого суконного фабриканта в Флессингском округе, работать на своих грабителей солдатские сукна. Правда, я от этого подряда не в накладе, но слава, слава моих сукон пропадает теперь... а какие у меня делались сукна!

¹ Милосердный бог (ред.).

² Стой, стой (ред.).



Мягче бархата, крепче кожи — и шириной в два аршина с четвертью, sapperloot!¹ Ты у меня безопасен на несколько дней вместе со своими земноводными; вот моя рука, и дело в шляпе. Ступай-ка, приятель, сними свой свежепросольный мундир, и потом за рюмкою мы потолкуем, как все уладить.

Ван-Саарвайерзен вывел матросов в поварню и поручил избавленной поварихе угощать их, и скоро они уже разговаривали между собою, болтая каждый без умолку по пальцам и языками, будто понимая друг друга как нельзя лучше. Виктору же указал он небольшую комнату, принес ему стеганный халат, сухого белья, одним словом ухаживая, как за сыном.

Через четверть часа наш герой явился в столовую, хотя странность наряда пугала его более, чем неприличие в нем показаться на глаза красавице. Необходимость, впрочем, служила ему и убеждением и извинением; только он никак не согласился надеть на голову пенковый парик от простуды, несмотря на все увещания хозяина.

Ужин был подан.

Белозор будто ожил, мало что ожил, будто вновь одушевился. Благотворная температура комнаты, вкусные блюда, славное вино, а что всего важнее, близость миловидной девушки развернули его ум и чувства необыкновенною веселостию. Он чокался с хозяином, смеялся с дочкой его, бросал ему шутки, ей приветы и, несмотря на промен пламенных взглядов, не забывал работать ложкой и вилкою. Таков человек, милостивые государи, такова вся природа: жаворонок с неба летит на землю за червячком.

Получив хорошее воспитание, ограниченное, так сказать, столичною жизнью, он свободно мог изъясняться по-французски, а немецкий язык был ему почти природным по матери, урожденной эстляндке, и потому беседа их была тем живее, тем непринужденнее. Иной, взглянув со стороны, подумал бы, что Белозор вырос в доме Саарвайерзена.

— Ну, герр Виктор, — сказал хозяин, отдыхая от смеха, — ты чудо-малый, и мы с тобой скоро не расстанемся!

— Не нахожу слов выразить мою благодарность...

— Да, пожалуйста, и не ищи: ты вперед заплатил за постой. Знаешь ли, от какой потери спас ты меня своим неожиданным приходом? Sapperloot! Это не безделица: я получил сегодня от французского комиссарства за сукна двадцать тысяч золотых латников; но четверо мародеров, наверно, захватили бы их в плен, если б успели сделать пролом в этом сундуке. Ты очень кстати упал, как с облаков.

— Скажите лучше, выброшен из кита, словно Иона; однакож если мне удалось испугать нескольких бездельников,

¹ Тьфу (ред.).

самому придется бегать добрых людей не лучше их. Я думаю, завтра вы нарядите нас в мучные мешки, герр Август?

— Не думаешь ли, приятель, что Август ван-Саарвайерзен, первый фабрикант своей области, живет на мельнице? Два аршина с четвертью! Нет, брат, это случаем остался я здесь почевать, запоздав счетами с своим мельником. Карету я послал в город кой за какими покупками, и завтра мы преспокойно покатаемся в ней на завод мой — фламгауз. Матросов твоих оденем в фризские куртки и, пускай не погневаются, запрем на заводе в особую комнату, и вон ни погой: выдадим их за машинных мастеров для станков нового изобретения; такие секреты у нас не редкость. Тебя же пожалуем в дальние родственники; будто приехал из Франкфурта погостить и поучиться порядку; а между тем приищем верных людей, которые бы взяли доставить вас мимо брандвахты на флот. Теперь это не легкая вещь: строгость невероятная, время осеннее; но пусть говорят, что угодно, а мы докажем, что золото плавает на воде!

Белозор чуть не прыгал на стуле от удовольствия; мысль, что он проведет несколько дней близ Жанны (так называлась дочь хозяина), делала его счастливым. Несколько дней — это целый век для юноши, так, как червонец — неистощимая казна для дитяти. Воображение надувало своим газом шар его надежды, и сердце мечтателя летело с ним за облака. Прелесть романтической встречи занимала его более, чем истинное желание. Полон любовной чепухой, раскланялся он с добродушным голландцем и с резвою его дочкою, — и сон, как пуховик, охватил восторженника своими ласкательными крылами.

ГЛАВА III

In slumber, I pry thee how is it,
That souls are oft taking the air,
And paying each other a visit,
While bodies are — Heaven knows where.

*Thomas Moore.*¹

Расскажите, пожалуйста, каким образом бывает во сне, что души прогуливаются (это спрашивает Мур) и платят друг другу визиты, между тем как тела бог весть где? Этот же самый вопрос повторял сам себе Виктор, пробужденный звоном

¹ Я спрашиваю тебя: как происходит,
Что во сне души поднимаются в воздух
И посещают друг друга,
В то время как тела находятся бог знает где.

Томас Мур (ред.).

серебряного колокольчика в комнате Саарвайерзена от сладкого сна и еще сладчайшего мечтанья, в котором образ милой голландочки играл, кажется, не последнюю роль.

Он улынулся и вздохнул, заметив, что прильнул устами к подушке, которую страстно прижимал к груди своей, но вспомнив, что одно ласковое слово наяву лучше сонного поцелуя, он поспешно вскочил с постели, повернул кран, вделанный в стене, и с помощью душистого мыла, щеточек и гребеночек сгладил с лица своего все следы кораблекрушения. Туалет юноши короток: ему стоит только освежить то, что даровала природа, между тем как человеку в летах надо не только скрыть недостатки, но еще подделать красоты, которых уже нет. К большому удовольствию Виктор нашел на месте халата франтовской сюртук, привезенный уже из города. Преобразившись таким образом в гражданина и закрутив перед зеркалом черные свои волосы в крупные кудри, Виктор явился в общую комнату, в которой дымился уже самовар, как жертвенник.

— Поздняя птичка, поздняя птичка! — сказал Саарвайерзен, протягивая к нему руку. — Долгий сон — два аршина с четвертью!

Но когда Жанни, подняв на него свои голубые глаза, произнесла свой: «*Bonjour, m. Victor*»,¹ — голос у него замер вместе с дыханием и лицо загорелось, как утреннее небо: так прелестна, так очаровательна показалась ему голландочка. Волосы трубами распадались по статным плечам ее из-под легкого кружевного чепца, живописно сдернутого лентою. Вдохновенный фламандскою поэзией, я бы сказал, что румянец на щечках ее подоился розам, плавающим на молоке. В ямочках, напечатленных улыбною, таились микроскопического роста амуры; два полшара, будто негодюя друг на друга, пробивались сквозь ревноую ткань утреннего платья, и легкий стан, который, кажется, манил руку обнять себя, и, наконец, две ножки, кои обращали в клевету укор путешественников, будто в Голландии нет стройных следков, — ножки, которые сам причудливый Пушкин мог бы поместить вместо эпитафии какой-нибудь поэмы, — одним словом, все, от гребенки до булавки, восхищало в ней нашего героя. Жанни с кофейником в руке олицетворяла для него Гебею, разливающую нектар небожителем, который потягивали они, конечно, не от жажды, но от скуки, и он признавался мне, что никак не рассердился бы на случай, если бы с этой полубогиней повторилось несчастье, не терпимое этикетом олимпийского двора, за которое она отставлена была без мундира и удалена от пресветлых очей тучегонителя Зевса.

¹ Здравствуйте, г. Виктор (ред.).

Он был еще в том золотом возрасте, когда мы не ищем связей, но жаждем любви и, послушные внушениям сердца, предаемся ей беззаветно, требуем нераздельной взаимности. Впоследствии, испытанные и, может быть, усталые в игре любви, мы гоняемся более за умом, нежели за чувством, и блестящие дамы увлекают нас скорей, чем застенчивые девушки. Тогда вкус наш притуплен: ему нужна острота для возбуждения, и сидя подле прелестной скромницы, только из учтивости поглощаем мы зевоту и потихоньку шепчем с Байроном; то ли дело дама! для ней не нужно переводчика, чтобы понять, о чем говорится, и, водя вас за нос и приклеивая вам нос, она дарит приятнейшими часами; а девушки умсют только прелестно краснеть, притом же они так пахнут бутербродом (toasts)!

Виктор, как мы уже сказали, не достиг еще до этой премудрости и, полюбя душой, искал только души, которая бы вполне отвечала ему, любил для того, чтобы любить, а не умничать. Сердце его полетело навстречу девственному сердцу Жанни, которая недавно бросила куклы и еще не привыкла к автоматам — одноземцам своим. Семнадцать лет роковое время даже по Брюсову календарю, а Брюсов календарь, как вам известно, безошибочный оракул, и появление Викторовой звезды на сердечном горизонте милой голландочки грозило каким-то чудным сочтанием планет.

Приятная наружность, веселый, откровенный нрав, а всего более бесстрашие его для спасения утопающих, помощь, им оказанная, и опасность, всящая над его головою, — все это вместе заронило в грудь Жанни такие искры, которые не хуже греческого огня зажгли бы сердце в воде, не только во фламандском тумане. Как ни малоопытен был новичок наш, однакож заметил, что если перед ним не спускали еще флага, по крайней мере салютовали равным числом вздохов — вещь, равно лестная его самолюбию, как и радостная для его склонности. В короткое время их знакомства они уже бегло изъяснялись пламенным наречием взоров и в один час говорили друг другу столько новостей посредством этого телеграфа, что сердцу было на целую неделю работы пояснять и дополнять недосказанное. Жаль, право, что в наш изобретательный век не приспособят этого наглядного, или, лучше сказать, ненаглядного средства ко взаимному обучению. Я уверен, что самый тупой ученик с помощью пары женских глазок в несколько заседаний станет понимать обо всем, как славный Пико де ла Мирандола, который на 12-м году выдерживал ученые споры на всех живых, мертвых и полумертвых языках.

Занят или, лучше сказать, поглощен созерцанием своей Жанни, молодой моряк очень рассеянно отвечал на вопросы и

шутки хозяина; но, к счастью, тот, прихлебывая звездистое кофе, дымя трубкою и пробегая листок купеческой газеты, мало обращал внимания на все, что не носило на себе вида нумерации.

Скрипнувшая дверь заставила, однакож, всех обратить на все взоры; входящий в комнату был человек высокий, худощавый, в черном фраке, скроенном еще во времена Рюйтера, в плисовых штанах с тяжелыми пряжками и в дымчатых шерстяных чулках, замкнутых в обширные башмаки. Лицо его походило на солпечные часы — так выставлялся вперед тонкий нос его; мигая, он так высоко подымал брови и так бросал зрачками, как будто они хотели перепрыгнуть через нос, чтобы повидаться. Он беспрестанно силился улыбнуться, но, правду сказать, оставался при одном желании. Очень значительно покрывивая, стал он раскланиваться, и при каждом сгибе осанистая коса его перекатывалась со стороны на сторону; казалось, хребет его и его коса (то есть хвостик, прицепленный разумнейшим из существ к своему затылку) были рождены друг для друга; невозможно было представить себе эту спину без косы или эту косу без такой спинки. Чудак этот был бухгалтер Саарвайерзена — занятие, которое можно было угадать по исполинской книге, которую тащил он под рукою: на ней, на зеленом сердечке, написано было заглавными буквами: *Groos Buch*.¹

— Добро пожаловать! — вскричал хозяин, завидя его. — Мы тебя только и ждали. Дай-ка твоего табачку, Гензиус!

Гензиус, который был, так сказать, двуногою табакеркою хозяина, скрипнул систематически крышкою и с почтением поднес табак Саарвайерзену.

— Ну, что новенького в городе? — спросил тот, понюхивая.

Рот Гензиуса растворился, как шлюз.

— Ничего, — отвечал он.

— Что говорят оранжисты, что делают наполеоновцы?

— То же, что и прежде, — возразил преважно бухгалтер.

— Ну, брат Гензиус, из тебя и пробочником не вытянешь весточки; будь я король, я бы как раз произвел тебя в тайные советники. Расписался ли, по крайней мере, ван-Заатен в получении последней отправки сукон?

Этот вопрос навел Гензиуса на родную колею; он с торжествующим видом раскрыл книгу и указал на страницу, унизанную нулями, как бурмицкими зернами. Лицо хозяина проясняло.

— Чудная сделка, славный барыш, — ворчал он про себя. — Право, завод мой не воздушные вавилонские сады,

¹ Главная книга (ред.).

и мой кредит крепче пирамиды фараонов. Ну, господа, теперь можно и отправляться im Goodens naamen (во имя божие).

Все было готово к отъезду в одну минуту. Карета, запряженная четверкою огромных фризских коней, потрясла шоссе, подъезжая, и путешественники покатались в ней к столцице фабриканта. Хозяин с дочерью поместился в задней половине, Гензиус и Виктор в передней, и он так был доволен, так восхищен, сидя против милой голландочки, что, сколь ни новы были для него окружающие предметы, сколь ни любопытно путешествие по чуждой земле, он ни разу не выглянул за окошко. Многие с нетерпением скачут по дороге, не наслаждаясь удовольствием ехать от излишнего желания доехать; напротив, мой Виктор был счастлив путешествием, одним путешествием; он желал бы сделать из него вечное движение: весь мир его качался тогда на одних с ним рессорах. Он умолял только судьбу, чтобы она наслала на колесницу их морскую качку, чтобы дорога была круче и ухабистей, и знаете ли, для чего? — чтобы колено его могло коснуться колена красавицы — опыт, который ему удался только однажды и оставил сладостное ощущение навсегда. Очень любопытно бы знать, какой степени электричества доступно колено хорошенькой женщины? Виктор уверял меня, что он почувствовал тогда удар, как от прикосновения к электрической рыбке, а что всего замечательнее, удар этот произошел, несмотря на то, что ни в одном из них не было отрицательного электричества. Предлагаю эту задачу на разрешение гг. физиологов.

Итак, милостивые государи, вы бы напрасно ждали от Виктора кудрявых рассказов о своей поездке, о том, пуста или населена была дорога, живописно или однообразно местоположение, по горам или по болотам ехал, о том, что встретил он достойного внимания и недостойного памяти, ни очень любопытных рассуждений о характере народа, основанных на фигуре кровель, на счетах трактирщиков и на ухватках почтальонов, ни встреч, никогда не бывалых, ни историй, никогда не случившихся, — одним словом, ничего, составляющего основу романических путешествий. Но зато он очень хорошо познакомился со всеми прихотями Жанни и мог описать вам топографию малейшего родимого пятнышка на ее лице.

Между тем плавно зыблющаяся карета быстро неслась далее, приближалась и приблизилась к мете. Виктор был в каком-то забытьи; он не замечал не только ученых толков Саарвайерзена о постройке и поправке плотин, не только серебряной табакерки Гензиуса, которую тот подносил, потчюя гостя, к самому носу, но даже времени и пространства. Такие часы сладостны и невозвратны; многими крестами означены они в истории нашего сердца, и увы! — крестами надгробными;

они драгоценнее для нашей памяти целых годов, заметных для света и, может быть, славных или выгодных для самих себя, но пустынных для души, с которой обрывают они радости зимнею своею рукою.

Приехали... Дверцы распахнулись... Виктор очнулся наконец, как лунатик, пробужденный на колокольне; но когда нежная ручка, опершись на его руку при выходе из кареты, нежно пожала ее, когда ангельская улыбка отвечала на его приветствие, когда серебристый голос произнес: «Вот ваша темница, Виктор!», то он готов был божиться, что дом Саарвайерзена, построенный в тяжелом фламандском вкусе, осьмое чудо света и во сто раз прелестнее всех мавританских замков в Альгамбре, — верьте после этого описаниям любовников!

Попросту сказать: дом этот, построенный на обширной площадке, весьма походил на карточный. Он сложен был из пеструкатуренных, но гладких кирпичей, и высокая кровля его убрана в узор муравленою черепицею. Возвышение, заменяющее крыльцо, простиралось во всю длину дома, и висячий балкон служил оному навесом. Окна нижнего жилья были до самого пола; в середине над прилепом (карнизом) чернелись часы, которые словно аргусовыми очами глядели на два крыла строений, в которых помещены были службы и фабрика. Двор, несмотря на осеннее время, был чист, как стекло; стены, вымытые мылом и вытертые щетками, лоснились; окна сверкали ясными стеклами, рамы и двери лаком и бронзой; необыкновенный порядок был виден во всем.

Жанни, как ветер, порхнула в объятия своей матери, голландской барыни в полном смысле слова. Вообразите себе барашка, сделанного из масла, которого произвела рука домашнего ваятеля для увенчания кулича о Светлой, и вы схватите нечто похожее на фроу (vrouw¹) Саарвайерзен, прибавя, разумеется, к этому целые пуки брабантских кружев, ключей и приседаний. Иль если вы видели в Эрмитаже куклу хозяйки Петра Первого, вы видели мать Жанни. Впрочем, никто в свете не мог быть добрее и ласковее ее.

Волей и неволей потащили молодца осматривать комнаты; неумолимые хозяин и хозяйка терзали его, как журналисты читателей при академической выставке: каждая редкость была ему колесом пытки. Виктор слушал крепя сердце.

Внутренность покоев, то обитых богатыми восточными тканями, то убранных резьбою на орехе, отличалась более

¹ Госпожа (ред.).

чудесностью и богатством, нежели вкусом и красою. Огромные японские вазы из синего с золотом фарфора стояли, прегордо надувшись, по углам, и в них красовались бархатные и парчевые цветы, разливая земное благоухание. Дело затейливых одноцветцев Конфуция, восковые и фарфоровые мандарины насмешливо качали головками на закраинах каминов, и только одни картины Теньера, ван-дер-Неера, ван-Остада, Рембрандта, Вувермана и других известных живописцев фламандской школы заслуживали внимания.

— Каков этот Ван-Дик, дружище, аа? — сказал хозяин. — Закладую его против мускатного ореха, если в самом Брюсселе найдется ему пара! А этот портрет нашего героя Витта? От него поневоле сторонисься, чтоб не задеть за нос, — так он выходит из рам. Вот вид морского сражения, за которое расстреляли англичане своего адмирала Бинга для ободрения прочих: настоящее Зюйдерзее со своими желтыми валами; небо таст, дым разлетается — чудо, а не картина! Этот кальян выменял или, правду сказать, выманил я у английского путешественника, — он принадлежал шах-Аббасу. Эти часы в виде петуха достал я прямо из Кантона. Они подарены императором Юнтчаном Мудрым мандарину, которому он очень милостиво отрубил голову за возмущение, поднятое иезуитами... Это кинжал Типпо-Саиба, эта вилка от того самого пожа, которым убит Генрих IV, это... — Но, милостивые государи, у меня нет прекрасной дочери, для которой бы вы стали, подобно Виктору, слушать все описания игрушек, и редкостей, и сосудов, орудий домашних, а потом: почему это так, а не иначе, и вновь: почему иначе, а не так, как у прочих.

Через всеневную, потом праздничную спальню добрались, наконец, до торжественной, и она, как десерт, заключила пластический обзор. Госпожа Саарвайерзен с гордым видом показывала чужеземцу вышитые сю ковры, кружева, одеяло и наслаждалась изумлением его при виде брачной кровати, истинного памятника ее искусства, который, по ее мнению, передаст ее славу позднешему потомству. Десять уступов подушек мал-мала меньше восходили к бессмертию двумя пирамидами, и красный атлас проглядывал на них сквозь батистовые наволочки, словно заря. Кружевной полог спускался к ним навстречу, подобный туману, и стеганое хитрыми узорами голубое покрывало вздымалось морем. Смертный, который бы дерзнул лечь на это божественное ложе, конечно бы утонул в жарких волнах гагачьего пуха, и потому оно от незапамятных времен назначалось только покоить взоры.

Посвященный во все элевзинские таинства Саарвайерзенова дома, Виктор отдохнул за столом от скуки и усталости и, весело кончив вечер, заснул весьма доволен собою и судьбою.

ГЛАВА IV

Довольно я скитался в этом мире
Вдали моих отечественных звезд:
Я видел Рим — величия погост,
Британию в морской ее порфире,
Венецию, по Попелуев мост —
Милее мне, чем Ponte de Sospiri.¹

Мерно и однообразно текла жизнь обитателей фламгауза. Маятник счетом назначал долготу их занятия, их досугов, колокол неизменно звал к столу и к отдыху, даже к самому удовольствию. Хозяин почти беспрестанно был занят надзором за фабрикой или расчетами по выделке и торговле. Хозяйка же хотя бы по своему состоянию могла избавить себя от хлопот за мелочными потребностями домоводства, но домоводство была единственная страсть, коей была она доступна.

Мужчина — создан для внешности, для кочевья, женщина — творение домоседное; она призвана природой для украшения внутренней жизни, очаг — ее солнце. Вы бы не усомнились в этой истине, видя, как госпожа Саарвайерзен, подобно увесистой планете, кружилась около огня, заимствуя от него свет и румянец. Как философ-путешественник, возметающий стопами властительный прах Рима и внимающий голосу гробов, вещаниям истуканов, изувеченных веками, казалось, вслушивалась она в знакомый, хотя немой язык разбитой, но склеенной посуды, на которой видны были печати всех периодов просвещения. Там чайник без носу, там безухая чашка напоминали ей урок Экклезиаста о суете мира, там несколько поколений разнovidных рюмок живописали в лицах историю Нидерландов. Как романтик нашего времени, одержимый бесом бесконечности, бродит по горам и по долам, вызывает с Манфредом или Фаустом гениев стихий и разгадывает говор листьев, шум водопада, рев моря, — она пристально внимала ропоту кастрюль, шипению теста, и тайны варенья и печенья открывались пред ней в тишине и уединении. Наконец, не так старательно слагает начальник какого-нибудь отделения бумагу, за которую ожидает креста, не так лепит дипломат из форменных фраз ноту в надежде быть кавалером посольства, не так рачительно выкрадывает модный стихотворец эпитеты в нелепое стихотворение, которое назовет он поэмою, как внимательно готовила она вафли, и правду сказать, изо всех упомянутых дел едва ли ее было не самое трудное и, без сомнения, гораздо полезнейшее для человечества. Что касается до изобретатель-

¹ Известный в Венеции мост Вздохов близ площади св. Марка, соединяющий палаты дома с темницами.

ности, она не уступала никакому Перкинсу, Дженкинсу и Донкинсу. Ее маринованные угри были удивлением всех хозяек за сорок миль в окружности; да кроме того, она выдумала особый род яблочного пирожного, неизвестного дотоле в повременных летописях, и назначала передать этот важный секрет своей дочери в день замужества в приданое.

Итак, когда мать Жанни проводила большую часть времени в созерцании горшков, бисквитных щипцов, раков, роз и бабочек, напечатанных на формах для студней, когда отец ее являлся только домой, подобно карпам в пруде Марли — по звону колокольчика, молодые люди были вместе неразлучно. То Виктор, сидя подле пальцев Жанни, читал ей какие-нибудь стихотворения, то Жанни поглядывала через плечо Виктора, когда он рисовал ей что-нибудь в альбом. В междудействиях, которые можно бы назвать настоящей завязкою драмы, он рассказывал ей о русской зиме с большим жаром, она слушала с большим вниманием, даже порой вскрикивала: «Ах, как бы мне желалось это увидеть!» — «А почему же нет?» — возражал рассказчик, устая на нее свои выразительные очи... Жанни обыкновенно со вздохом опускала тогда свои и принималась за работу... Я, право, не знаю, о чем она тогда мечтала.

Виктор был от природы весьма веселого нрава и, оживленный желанием нравиться, становился еще любезнее: шутки его могли бы заставить самого кота смеяться, но он еще был стоик в сравнении с резвостью Жанни. Воспитанная с младенчества во французском пансионе, она приобрела все милые качества француженок, не потеряв простосердечия своей родины, и уже блистала полной красотой молодости, сохранив всю прелесть младенчества. Виктор после шумной веселости впадал нередко в глубокую задумчивость, в грусть, может быть, сладчайшую самой радости, необходимую для сердца, чтобы вкусить минувшее блаженство и отдохнуть для будущего; но Жанни была игрива неизменно, чувство любви было еще для нее забавою, а не наслаждением. Виктор бесился на такое равнодушие, и его угрюмость была новым поводом к шуткам. Она, как муха, кружилась, порхала, колола нетерпеливого и скрывалась неуловима. Так прошла целая неделя ненастного времени.

Наконец погода разгулялась, и Жанни предложила ему посмотреть сад, устроенный в настоящем голландском вкусе: дорожки, отбитые по тесьме, лужайки, усыпанные разноцветным блестящим песком в виде звезд, кругов, многоугольников, точь в точь блюдо винегрета, горки наподобие миндального пирога, деревья и кусты, обстриженные стенками, столбами, шарами, так что вы можете подумать, будто здесь природа сделана столяром. Мраморные герои, полубогини и полные боги — произведение фламандского резца, несмотря на туч-

ность свою, собирались, кажется, отдернуть казачка, и лев с важностью стоял над водоемом, ожидая воды, которая лишь капала с морды его, как будто он получил насморк. Нигде и ничего не было видно естественного: там возвышались жестяные цветы на решетке, ограждающей лабиринт величиною в две сажени, там стибался мостик, по которому не прошли бы рядом две курицы, там сидели деревянные китайцы под зонтиками, скрываясь от летнего солнца в октябре, там охотник с невероятным терпением метил в утку, которая двадцать лет не слетала с озера... Увидя на башенке оранжереи неподвижно стоящего аиста, Виктор спросил у своей путеводительницы, не фарфоровый ли он?

Жанни засмеялась.

— Мы не язычники, господин Виктор, — возразила она, — и хотя у нас, как у египтян, эта птица в большом уважении, но мы еще не воздвигаем ей храмов, ни идолов.

— Жаль, очень жаль; ваш Гензиус, кажется, рожден быть великим жрецом этого долгоногого домашнего божества.

— А как нравится вам сад наш, господин критик?

— Чрезвычайно любопытен; это палата редкостей; жаль только, что я не могу видеть его в полном блеске зелени и цветов.

— В этом вы можете утешиться; не велика жатва осени после ножниц нашего садовника, и сад этот имеет неоцененную выгоду быть летом, как зимой, неизменно скучным. Что касается до цветов, я покажу вам их царство, где цветут они, как ваши северные красавицы, в теплицах.

Жанни растворила двери оранжереи. Башенка, сквозь которую вошли они, занята была птичником: за светлую бронзовую сеткою порхало множество мелких заморских птичек; иные клевали зерна, рассыпанные по полу, другие увивались около гнездышек. Любимые канарейки Жанни слетались к ней, едва она простерла руку, садились на плечо, ели сахар из уст ее. Виктор любовался этой картиной.

— Это очень мило, — сказал он, — но я во всем вижу, что вы любите своих гостей превращать в пленников.

— Напротив, я из чужих пленников делаю гостей: выпустить этих бедняжек на волю в нашем климате значит погубить их безвременно.

— О, конечно, вы так добры, Жанни, так ласковы, что не только мирных канареек, но и смелого сокола заставите забыть свободу.

— Сокола, Виктор? Благодарю вас за него; теперь, слава богу, не мода носить дамам на руке этих хищных птиц, как видно на старинных картинках; я бы страшилась сокола и за себя и за маленьких питомцев моих!

— И страшились бы напрасно, Жанни; ручной сокол преуспевшая птица; он бы доволен был конфетами и ласками вашими.

— Чтобы взвиться под облака и улететь?

— О нет! Чтобы сидеть под кровлей вашей смиреннее голубка!

— Вы чудесный рассказчик, Виктор! Вы скоро уверите меня, что у сокола и когти для красы; но оставим летучее племя для этих растущих мотыльков, которые к красоте воздушных детей весны присовокупляют благоухание и постоянство. Это любимое общество батюшки.

— Цветоводство приятное занятие для преклонного возраста, как воспоминание прежних радостей и полезный урок нам.

— О да, господин мудрец! Я сама бы любила цветы страстно, если б они не были так изменчивы и кратковременны. Надобно иметь или тысячу сердец, или одно очень хладнокровное, чтобы видеть их увядание и утешаться вновь и вновь.

— Цветы счастливее нас, Жанни: мы изменяемся и вянем, подобно им, но они не страдают, подобно нам!

— Стало быть, и не знают наших удовольствий! Я не завидую цветам. Вы, конечно, знаток в ботанике, Виктор?

— Только любитель, Жанни, только любитель; я не отличу лупинуса от цветного гороха и знаю лилию только по гербовнику. Ваши термины: *bulbata*, *barbata*, *angustifolia*, *grandiflora* — для меня арабская грамота.

— И вы в святилище цветов, в доме известного цветослова, не краснея, хвалитесь этим?

— По крайней мере сознаюсь в своем невежестве, но не каюсь в нем. Я, как соловей персидских поэтов, обожаю розу, одну белую розу, и в этом отношении могу поспорить с первейшими ботаниками, которые слышат даже, как растет трава, что не ошибусь в выборе прелестнейшей.

— Это не очень мудрое предпочтение, господин мудрец, и вам, чтобы хоть сколько-нибудь сохранить уважение батюшки, надо поучиться толковать с ним о листках, и лепестках, и венчиках, и пестиках всех редких цветов без лицеприятия.

— Ваш совет для меня закон, Жанни; я готов охотно не только прилепиться к цветку, подобно пчеле, но прирасти к земле, как цветок, если вы сами посвятите меня в рыцари теплицы. От кого лучше, как не от самой Флоры, могу я научиться изъяснять свои мысли о цветах, а может быть, и свои чувства цветами! Не начать ли с сего дня благоуханных уроков, Жанни?

— Чем скорее, тем лучше. Вот этот цветок, например, называется малайская астра.

— То есть звезда, — тихо повторил Виктор, заглядывая в очи своей учительнице, — я знаю две звезды, которых краше

не найти в целом небосклоне: к ним и по ним правил бы я всегда бег свой над бездной океана.

— Ах, оставьте, пожалуйте, в покое ваш океан и удостоите сойти с неба...

— Ничего нет легче этого, Жанни, когда небо удостаивает сходить на землю.

— Зато ничего нет труднее, как понимать вашу поэзию! Вот родня вашей любимицы — rose musquée; ¹ вот махровая роза; вот тюб-роза.

— Прелестные цветки! Им недостает только шипов, чтобы поспорить с настоящей розой.

— В самом деле так? Я замечу это в своем травнике, Виктор... Вот китайский огонь.

— Который имеет зажигающее свойство только в ваших руках — не правда ли?

— Вот мандрагора, про которую индийцы рассказывают, будто она кричит, когда ее срывают со стебля.

— И верно кричит: «не тронь меня»?

— Я не решалась никогда оскорблять ее чувствительности; теперь берегитесь, чтоб не заснуть: вот все племена маков; из них свит венец Морфея и льется опиум в испарениях!

— Не страшусь несколько их усыпительного влияния, находясь так близко к противоядию. Я говорю по опыту, Жанни: обыкновенное приветствие ваше «доброй ночи, Виктор» вместо доброй ночи дает мне злую бессонницу.

— Бедненький Виктор! Теперь я знаю, отчего он бредит иногда наяву! Но на чем мы остановились? На гарлемском жонikle, на капском ранункуле, на писаном тюльпане? — И то нет! Ваша рассеянность прилипчива, господин ученик; но вот кактус, который цветет однажды в год, и то ночью. Надобно несколько зорь сряду стоять на часах, чтобы иметь наслаждение увидеть пышный белый цвет его с оранжевыми окраинами; и вообразите, только два часа красуется он и потом опадает мгновенно.

— Хоть два часа, но он цветет, он манит взоры, он радует сердце прекрасных. Я бы готов был годами жизни купить подобное счастье!

Виктор пламенно глядел на Жанни, Жанни безмолвно смотрела на Виктора.

— Как здесь жарко! — сказала она, отбрасывая от лица воротник голубых песцов, и задумчиво взялась за дверную ручку. — Повторим первый урок и посмотрим, что заслужит ученик мой: место ли в углу или позволение бегать по двору? Например, скажите мне имя этого цветка? — примолвила она, сорвав тюб-розу.

¹ Мускусная роза (ред.).

— Не знаю, — отвечал Виктор, не сводя очей с очей Жанни.

— Но что ж вы знаете, боже мой? — вскричала она.

— Любить, любить пламенно, — возразил с жаром Виктор, схватив нежную ручку ее.

— А что значит любить? — спросила она с простосердечием.

А что значит любить? — повторяю сам я, обращаясь к читателям... и вопрос этот, право, не так глуп, как он кажется сначала. Я много читал в книгах, еще больше слышал мнений людских об этом предмете и ни одного согласного. Один говорит, что любить значит желать, другой, что любить — отказываться от природы; тот уверяет, что нет любви без денег, другой, что нет ее для богачей. Лишь Сократ сказал философическую истину, назвав любовь стремлением к возрождению посредством красоты, но это определение страсти — не описание ее действий, не характеристика ее феноменов; и что вы ни говорите, а, кажется, я останусь при своем вопросе.

Не дивитесь же, милостивые государи, что этот простой вопрос ужасно смутил неопытного любовника; он вовсе не был приготовлен разминивать свои чувства на мысли и мысли на выражения. Нить его идей прервалась, бодрость на дальнейшее объяснение его оставила; он произнес несколько неясных звуков, потупил очи на цветок, который Жанни держала еще в руке, и, желая найти точку опоры, сказал:

— Это колокольчик?

Должно полагать, у него крепко звенело в ушах, когда он назвал тюб-розу колокольчиком.

Жанни не могла удержаться от смеха.

— Нет, Виктор, нет, вы отчаянный ученик — в вашей памяти, как в снегу, не расти цветам.

— Лишь бы мне не были чужды цветочные венки, прекрасная Жанни! Менее ль прелестна райская птичка от того, что мы не знаем ее родины? Менее ль благовонна роза, если назовут ее другим именем?

— По крайней мере, не менее забавно. Заметьте, Виктор, листки этой тюб-розы; колокольчики не распускаются так широко; пестики их гораздо ниже и пушистее; притом образование самого цветка...

Жанни толковала очень подробно. Виктор, казалось, слушал очень прилежно и, чтобы лучше рассмотреть цветок, поднес к самым глазам руку Жанни, на которой лежал он.

Виктор, изволите видеть, был немножко близорук. Между тем длинные локоны ее касались лицу ученика, а волосы, как вам известно, есть самый сильный возбудитель электричества. Оттого прекрасному полу так нравятся гусарские усики, от того же самого и Виктор почувствовал на сердце прикосновение к своему челу кудрей красавицы... Невольно он поднял очи:

перед ним дышали вешнею свежестью румяные щечки, и благоухающие губки распустились, как заря. Это было выше сил его. Он прильнул своими устами к устам искусительным, и вздох изумления исчез в жарком поцелуе!

Видали ль вы когда-нибудь две ясные капли росы рядом на листе винограда? Они долго дрожат, потрясаемы дуновением ветерка, и вдруг, как будто одушевясь, сливаются воедино и крупной слезой ниспадают, сверкая. Так точно слились устами наши любовники, забывая весь мир в упоении восторга. Поцелуй — сладостное чувство, милостивые государи! Новейшие физиологи недаром назвали его шестым чувством, изящнейшим, нежели все прочие, и природа не без цели одарила одного человека таким нежным орудием оногo — устами с чрезвычайно тонкою оболочкою. Всегда приятен вольный поцелуй, но что может сравниться с первым, девственным поцелуем любви? Соберите золото, власть, славу, даже самое обладание — все, все, что люди привыкли называть счастьем, и если вы испытали все это, сознайтесь, что оно не в состоянии дать вам радости, чистойшей сих невозвратных мгновений.

Эти мгновения миновали для Виктора. Жанни с сердитым видом вырвалась из его объятий.

— Я никогда не ожидала от вас этого, господин Виктор, — произнесла она голосом обиженной гордости и, как серна, прыгнула за дверь теплицы.

Изумленный любовник остался на месте с распростертыми руками... Если б граната лопнула в его кармане, он бы менее был испуган, чем такую нежданною строгостью.

ГЛАВА V

Les femmes ont l'humeur légère,
La nôtre doit s'y conformer;
Si c'est un bonheur de leur plaire,
C'est un malheur de les aimer.

Парну.¹

Виктор протирал глаза, не веря сам себе. «За что ей рассердиться? — думал он. — Кажется, она была равнодушна ко мне, благосклонно слушала мои вздоры и, если меня не обмануло зрение или самолюбие, очень понятно отвечала на пылкие

¹ Женщины легкомысленны,
И мы должны с этим сообразоваться.
Если нравиться им — счастье,
То любить их — несчастье.

Парни (ред.).

взгляды. Конечно, поцелуй был неожиданный, но не похищенный силою, и, сколько могу припомнить, ее губки не убежали от моих. Теперь или ранее обманулся я?»

Волнуем сомнениями и страхом, что заслужил гнев своей любимой, Виктор, как подсудимый, явился в столовую; но он напрасно умоляющими взорами ловил взоры Жанни: она, как ртуть, убегала от встречи. Злая девушка с гордой холодностью и с видом обиженного достоинства уклонялась от разговоров, и когда виновный бе-мольным тоном обращал к ней вопрос, то односложные *да* или *нет*, словно иголки, входили ему в сердце.

В первый раз заметил он, что Гензиус несносен со своими расспросами: как ведется в России гросбух? разделяют или соединяют в одну тетрадь *credet* и *debet*? венецианскую или амстердамскую методу предпочитают для счетов и красными ли цифрами вписывают транспорт? — у человека, который не знал иного транспорта, кроме срывающего четыре куша с банкомета. Заметил, что шутки хозяина длиннее двух аршин с четвертью и что страх утомительны рассуждения хозяйки о разнице, существующей между предохранением, охранением и сохранением пикулей, об упадке просвещения, что ясно доказывается введением сапогов вместо башмаков с тонкими подошвами, и, наконец, о размножении моли, верного предвестника близкого преставления света.

Между тем Жанни оставалась неизменно равнодушной, и тем сильнее кипел Виктор. Раздраженный таким упорством, он, наконец, убежал в свою комнату с твердым намерением не выходить из нее ни к чаю, ни к ужину.

— Это ни на что не похоже, — говорил он сам с собою, отмеривая саженные шаги по паркету, — так молода и так упряма! Что я говорю упряма? Так причудлива, так зла! Хорошо, что она выказала себя сначала, а то, чего доброго, пожалуй, влюбился бы в нее по уши, которые не стали бы от того короче!

Тут он вздохнул, вспомня, какое маленькое у нее ушко; от ушка далее и далее; наконец он сел, как будто жлая рассмотреть образ, носящийся перед его глазами.

— Да, да, это правда, она хороша, слова нет, что хороша, — приговаривал он будто нехотя, — сложена — чудо! Умна, как день, но зато уж зла, как медяница, как змея с погремушками... Я поздравляю себя, что разлюбил ее, что равнодушен; нет, мало равнодушия, что ненавижу ее. Слуга покорный, мамзель Жанни, вы можете пленять теперь на свободе эту двуногую треску — Гензиуса, я, право, сам умею платить леденцами за леденцы.

Урочный час пробил, и откормленный слуга явился в дверях.

— Самовар подан! — возгласил он однозвучно.

Виктор глядел на него, расширив глаза, как будто слуга произнес что-то на санскритском наречии.

— Пожалуйте кушать чаю! — сказал вестник.

— Кушать чаю? — повторил Виктор умильным голосом. — Сейчас иду, друг мой! — Иду, но для того, чтобы показать спешнице, что значит оскорбленная любовь! — присовокупил он, оправдываясь перед собою.

С небрежным видом вошел Виктор в гостиную и, вместо того чтоб сесть попрежнему подле Жанни, рассыпаясь жемчугом в иносказательных приветствиях, подсел к старику хозяину и пустился шутить с ним наперегонки. Но Жанни, которая прежде всех, бывало, показывала зубки, когда он выказывал остроумие или рассказывал что-нибудь смешное, теперь не удостоивала его шуток даже улыбкою, заводила незначащий разговор с матерью и, будто назло ему, все делала наоборот. Обыкновенно в первой степени любовного масонства ученики стараются узнать и угадать все вкусы, все прихоти, все причуды милой особы и таким нежным вниманием, такими маленькими услугами пробивать тропинку до ее сердца. Подобный размен предупредительности уже существовал между нашими любовниками, и они оба могли перечесть по пальцам, что каждый из них любит или не любит особенно; ни одна безделица, которую только глаз любви может заметить, только сердце любви оценить, не предлагалась без взаимной придачи улыбки или слова. Напротив, теперь Жанни будто вовсе забыла привычки Виктора. Чай, вопреки его вкусу, был сладок, как варенье; ему предлагали сливок, хотя он никогда не употреблял их, и, что всего обиднее, не дослушав его речей, Жанни обращалась к другим с пустыми вопросами. Виктор выходил из себя, стараясь казаться хладнокровным. Жанни казалась ему чудовищем, но чудовищем самым милым в свете; он готов был тогда разбраниться с нею навек и расцеловать в пух.

Беда, когда западет в ретивое страсть, которой мы не в силах ни бежать, ни победить!

Я, право, не знаю, что важнее для любовников: первая ли благосклонность или первая ссора? Беда вдвое, когда они приходят вдруг, подобно радуге в бурном дожде.

Виктор возвратился от ужина разогорчен и отчаян, видя свою покорность отвергнутой с равнодушием и свою гордость униженной пред невниманьем. «О женщины, женщины! — восклицал он, — существо бессердечное, легкомысленное, коварное, неблагодарное!»

Он не первый и не последний вымещал на целой половине рода человеческого досаду на одну девушку. В любовных и в политических упреках обе стороны бывают обыкновенно чрезвычайно несправедливы: старое и новое, небывалое и

былое — все смешано вместе, все обрывается на голову обвиняемого; каждый умильный взгляд, каждый поклон ставится ему в благодеяние, то есть в обвинение за неблагодарность.

Злая филиппика Викторова кончилась тем, что он решился писать к *жестокоей*.

Начинать переписку побранкой довольно щекотливая вещь; она казалась, однакож, самую естественною и всего более справедливою для неопытного моряка. Забавно было видеть, как он грыз перо и разрывал листы за листами, то находя выражения свои чересчур жесткими, то некстати нежными. Не раз вскакивал он и отворял окно, будто нажидая прилива красно-речия от полнолуния, или с жадностью затягивался трубкою, высасывая из нее вдохновение с дымом. Пламенные нелепости текли струей на бумагу и, подобно ракете, рассыпались звездами слов. Чего там не было? И обольстительные упреки, и нежные угрозы, и клятвы, и обеты — словом, все выходы сердечного безумия, все грезы любовной горячки, все, кроме того, что хотел сказать он, и того менее, что должен был говорить. Изъяснение это было вкратце, — и на третьем листе он дописывал начало, как вдруг ему показалось, будто буквы растут, растут перед пером его, что они, свившись хвостами и усами, начинают извиваться и прыгать, как змеи. Изумленный таким явлением, Виктор снял со свечи, протер отяжелевшие глаза — не тут-то было! — дети азбуки не унимались: строчки бегали вкось и вдоль и словно дрались между собою, запятыс и многоточия (вещь необходимая в любовном письме, как дробь в охотничьем заряде) летели со стороны на сторону, целые фразы кружились, смешивались, перескакивали бог весть куда, до того, что у Викторова зарыбило в глазах. Неодолимый зевок как очарованием разверз его челюсти, и голова тихо, тихо скатилась на неоконченное письмо.

В младенчестве слышал я сказку о добром молодце, который, украв у соседа петуха, набрел, пробираясь через кладбище, на толпу мертвецов. Забавники того света, покинув могилы, чтоб погреть свои кости на месяце, играли, перекидывая своими головами, как мячом; гробовые одежды лежали рассеяны. Испуганный вор, зная, что оборотни так же боятся пения петуха, как мы стихов Котова, так давнул несчастного вестника зари, что он закричал кукареку благим матом. Смутились пляски покойников; каждый, надевая голову, какую послал ему случай, и одежду, какая попалась под руку, швырком и кувырком кидался в могилу. Наутро любопытные нашли весь гробовой мир вверх дном: известный красавец лежал с беззубою головою старухи, у старика профессора философии накинута была набекрень детская головка, отставной солдат с деревян-

ною ногою лежал в душегрейке, а кирасирские ботфорты красовались на маленькой ножке танцовщицы.

Проснувшись на заре, точно в таком же беспорядке нашел письмо свое Виктор. Напрасно перечитывал он его сверху вниз и снизу вверх, добиваясь толку; напрасно искал он, что ему хотелось вчера выразить, — это было настоящее вавилонское смешение языков. «Или я сегодня умнее вчерашнего, — сказал он наконец, раздирая в куски послание, — или вчера был так мудрен, что сегодня себя не понимаю. Что бы подумала обо мне Жанни, если бы я грянул в нее такую нескладицею?»

Совершив *auto-da-fé* над лоскутками, Виктор вышел в сад подышать свежим воздухом и собраться с мыслями на новое объяснение. Окрестный вид был истинно фламандской школы: небо, подернутое байкою туманов, обстриженные деревья осыпаны пудрой инея; вдали фабрика, у которой длинные трубы торчали, как ослиные уши, и даже аист на башенке оранжеи — все напоминало картины Вувермана. Сам не зная как, очутился он у дверей теплицы: сердце вечно влечет нас туда, где вкусило оно наслаждение, как в родину своего счастья. Из нее выходил садовник с лейкою в руке и с трубкою в зубах.

— Там никого нет? — спросил Виктор, желая сказать что-нибудь голландцу.

— *O neen, mijn heer*,¹ — отвечал тот, подвигая на сторону колпак свой, — как никого нет? Там премножество птиц и цветов.

— Утиная шутливость, друг мой! — возразил Виктор, захлопнув за собой двери.

— *Soe, soe!*² — произнес голландец, пыхнув очень значительно дымом и качая головою; дальнейших объяснений думы его надобно было бы ожидать, как поздней капусты. Он удалился, улыбаясь лукаво.

Печально поглядел Виктор на милующихся канареек, быстро пробежал стопами и взорами цветники и ряды редких плодоносных и душистых деревьев; он заметил, как склоняли цветы друг к другу вспрыснутые головки свои, будто желая поделиться освежающею влагою. Пусть кто хочет говорит, что любовь есть безумие, — по-моему, в ней таится искра высокой премудрости. В ней мы испытываем по чувству то, к чему приводит нас впоследствии философия по убеждению. Каким благородным доверием, какою чистою добротою бываем мы тогда переполнены: в каждом человеке находим тогда друга, в милом цветке, в тихом кустарнике — родного; мы считаем людей и видим себя

¹ О нет, сударь (*ред.*).

² Так, так (*ред.*).

самих лучшими, и точно были бы таковыми, если б это умиление, творящее около нас новый мир и украшающее старый, было прочнее, постоянное. Разница только в том, что философия исторгает человека из общей жизни и как бездителя возвышает над природою; а любовь, побеждая его частную свободу, сливает его с природою, которую он, одушевляя, возвышает до себя. Сладостны созерцания и мудреца и любовника, хотя ощущения последнего живее, а понятия первого явственнее. Любовник, кажется, внемлет сердцем биению жизни во всем творении, гармонии блага во всем творимом. Пред умственными взорами другого расцветают мрачные бездны, развивается свиток судьбы миров и народов. Только это двойное созерцание дает человеку вполне насладиться своим совершенством то в самозабвении, то в забвении всех зол, его окружающих. В это время он поглощает минувшие, настоящие и будущие наслаждения, слившиеся в тихом восторге!

Полон подобными чувствами, если не подобными мыслями, стоял мечтатель Виктор перед кустом тиб-роз, свидетелем его счастья и горя. Душа его плавала, как индийская пери, в испарениях цветов, забыв досаду и надежду, довольная собственной любовью, одною любовью: чувство, непонятное многим, но тем не меньше сладкое для немногих. Вдруг, вовсе неожиданно, он был исторгнут из своей задумчивости свежим звонким поцелуем, и громкий смех, за ним последовавший, заставил его вздрогнуть, хотя вовсе не от испуга; смех этот в свою очередь заглушен был звуком поцелуев Викторовых, которыми осыпал он резвую Жанни, ибо это была, конечно, она.

— Полно, полноте, Виктор! — кричала красавица, заслоняя уста ручками, которые отнимала опять, чтобы скрыть от лобзаний, — я, право, опять рассержусь на вас; я возвратила вам только ваш злой поцелуй: я не хотела принимать подарков от таких дерзких людей.

Виктор остановился.

— Очень хорошо, Жанни; когда дело пошло на расчеты, возвратите мне сполна полученные теперь, и я доволен.

— Да вы несноснее нашего бухгалтера, Виктор! Легко сказать — счетом, а кто бы успел считать их? — возразила Жанни, и между тем щеки ее пылали прелестным румянцем, глаза яснили невинною веселостью. Вся она была так просто-сердечно игрива, — Виктор растаял.

О прежней ссоре не было и помину. Он тихо обвил руку около стройного ее стана и неприметно привлек к себе очарованную очаровательницу; но она будто убегала от милых уст, уста ее преследующих, так что Виктор срывал поцелуи, как розу за розою.

— Мы перечтем снова, — произнес он, и между всяким словом было *тире* из звуков, которых по сию пору никто не вздумал изобразить каким-нибудь иероглифом.

В поверку счета вкрадывались ошибки, и проверка начиналась снова и снова. Я уверен, что это была первая арифметическая задача, доставившая столько удовольствия ученикам. Итоги не были еще подведены, а уже они дружески говорили *ты* друг другу. Никто из них не помнил, когда и кем было произнесено это слово.

— Я хотела помучить тебя, Виктор, — говорила Жанни, расправляя розовыми перстичками волосы на голове его, — но, признаться, мне дорого стоило притворство, и я целую ночь упрекала себя. Пришедши сюда полить цветы мои, я долго любовалась тобою, — примолвила она, скрывая горящее лицо на груди счастливецца, — и, наконец, не выдержала, чтоб не поцеловать тебя. За что, скажи, я так люблю тебя, причудливый, злой Виктор?

— За что я обожаю тебя, коварная девушка?

— Не сердись вперед, Виктор, — ты так страшен в гневе; мне становится холодно в сердце, когда я о том вспомню.

— Не играй вперед любовью, милая Жанни! Кто так хорошо умеет притворяться равнодушным, тому недалеко до настоящего бесстрастия, — по крайней мере мысль, что ты так же легко можешь лицемерствовать в нежности, как в холодности, меня убивает!

— О нет, друг мой, — отвечала она простодушно, — я уже привыкла быть равнодушною, а люблю впервые.

— И последние, Жанни?

— Однажды и навсегда, Виктор!

— Я твой до гроба! Любить тебя, Жанни, буду я и в самой вечности!

В этот раз Жанни уже не думала спрашивать, что значит любить? И Виктор не пошел бы в карман за словом, если б она о том спросила.

Удивительно, какие быстрые успехи делает в этой науке сердце человеческое в самое короткое время! Один разве животного-магнетический сон, который учит по-латыни и по-гречески в одну засыпку, может поспорить с платоническою методою. Вчерашние новички становятся вдруг такими стратегиками в любовной войне, что, пожалуй, научат учителей.

Любовники наши расстались, осыпая друг друга уверениями; они поспешили в свои комнаты, чтобы наедине с собою каплей по капле вкусить свое блаженство.

«Я, Душенька, люблю Амур!»
 Потом заплакала, как дура;
 Потом, не говоря двух слов,
 Заплакал с нею рыболов,
 И с ним взрыдала вся натура.

Богданович.

Каждый день с рассветом являлся Виктор в оранжерею, да и прелестная голландочка не опаздывала приходить туда кормить своих канареек, лелеять свои цветы заморские. Само собой разумеется, что не забывала и милого моряка, который стал ей теперь дороже всех птичек и всех тюльпанов вместе. О чем водились у них речи, того не дошло до моего сведения. Крылатому племени всегда не до чужих песен, цветы молчаливы с природы, а от флегмы садовника можно было услышать только: соо, соо, сопровождаемые весьма значительными и вовсе непонятными пухами табачного дыма. Полагать должно, они не скучали, и хотя словарь счастливых очень ограничен, — но они не могли наговориться об одном и том же и всякий раз имели что-нибудь прибавить ко вчерашнему.

Живучи в таком элизиуме, наш лейтенант вовсе позабыл о море и флоте, о своих и неприятелях, и сколь ни горячий патриот был он, но редко впадала ему на ум горькая мысль, что французы идут в сердце отечества.

— Нет, Русь не падет! — восклицал он, пылая, — Наполеон поскользнется в крови нашей! — и успокаивался и утешал себя верою, что все это скоро кончится, и оправдывал себя вопросом: что могу я сделать? Любовь обезмолвила, наконец, все прочие чувства; завтра для него не существовало; он сам не жил в самом себе — он будто променялся душою с милою.

Однакож этот промен был невыгоден для Жанни, и она узнала сладость грусти, рассеянность завладела и ею. Домашний порядок, доселе верный, как часы, совсем потерял черед под ее надзором. Однажды в пальцах вместо какого-то узора она вышила целую строчку литер V по зубчикам косынки. В расходной тетради вместо итога явилась чья-то мужская голова — Юлия Цезаря, по ее сказкам матери. В часы, назначенные поварне, ей хотелось танцевать, в часы уроков на арфе — молиться. То забывала она ключи в ящике, то вместо сладкого миндаля насыпала для пирожного горького, то оставляла стул посреди комнаты — вещь, которая для матери ее была страшнее планеты, грозящей стоптать землю. Наконец уж и сам отец заметил, что дочь не в своем уме, когда она налила ему кофе без сахару и в задумчивости сорвала какой-то чудесный тюльпан, что искони считалось смертным грехом в доме его.

— Два аршина с четвертью! — вскричал он, отворив большие глаза. — Это что-нибудь да значит!

Между тем, однакож, как Амур готовил суматоху в семье Саарвайерзена, судьба сбиралась изломать его стрелы.

Уже миновало две недели пребывания Виктора, и он, притаясь, не думал напоминать об отправлении; а старик, чрезвычайно довольный его обществом, казалось, совсем забыл, что Виктор не домашний. Даже добрая хозяйка привыкла к нему, по собственному ее признанию, будто к старому ореховому комоду, который отдан был за нею в приданое. Притом поздняя осень делала затруднительным, если не вовсе невозможным плавание по бурному побережью Зюйдерзее, а дурная погода избавляла от гостей, которые бы могли подозревать или угадать что-нибудь в странствующем приказчике, на которого, правду сказать, он нисколько не походил с головы до ног и с речей до поступков. Словом, все обнадеживало нашего моряка, что он долго просидит на мели, а там, а там — доживем, увидим, — случится, так подумаем! И между тем часы летели, и сердце отживало годы счастья.

Утром первого ноября, светел, как майский мотылек, порхнул Виктор в теплицу и нашел там Жанни в горьких слезах. Долго не отвечала она нежным вопросам его, и отзывом на них были только новые слезы, новые стенания.

— Мишули мои радости, — наконец произнесла она. — Виктор меня покидает!

— Какие черные мысли, милая Жанни, — скорее замерзнет пламень, чем я изменю тебе!

— Ах! Зачем ты не изменишь мне? Тогда, по крайней мере, я бы в гневе и в презрении нашла отраду разлуке! Менее ли я несчастна теперь, теряя тебя невинного!

— Не огорчайся, милая, будущим горем, оно далеко, еще все может перемениться к лучшему!

— Не верю я, не хочу я верить ничему лучшему, когда все, что казалось таким, меня обмануло. Зачем я полюбила тебя, Виктор!..

— Я не понимаю тебя, милая!

— Я бы рада была, чтобы ты не слышал и не понял никогда вести разлуки, если б это могло удержать тебя со мною.

— Возможно ли: мне готовят отправление?

— Оно уже решено. Батюшка сегодня поутру нанял рыбаков на большом боте, чтобы тайно провезти тебя на эскадру; завтра ночью ты отправляешься!

Безмолвен и бледен стоял Виктор перед плачущею любезною; наконец вспомнил, что он, как мужчина, должен утешать ее; но Жанни, которую горесть сделала причудливою, с сердцем отвергала его изношенное красноречие:

— Не огорчай меня, Виктор, своими утешениями, я не хочу и не могу быть покойна; с тобой вместе ладья показалась бы мне люлькой, но воображая тебя на ней одного, я всякий час буду страшиться потопления... И потом, ты уедешь в Англию, в свою милую Россию, забудешь меня, изменишь мне, почему я знаю, может быть станешь смеяться над простотой Жанни, когда Жанни будет плакать, горько плакать!..

Рыдания прервали слова ее.

Виктор не мог удержаться, чтоб не выронить пары две заветных слезинок, однакож, лаская и уговаривая, уговаривая и лаская, ему удалось понемногу успокоить Жанни.

— Я откроюсь твоему родителю, — говорил он, — и буду просить руки твоей; я не вижу причин отказа и потом невозможности возвратиться к тебе: война ведь не вечна, как любовь наша. Притом еще два дня могут принести много перемен!.. — Жанни поглядела исподлобья, как будто в нерешимости, утешиться ей или нет; наконец улыбка проглянула на милом лице ее, словно луч солнца сквозь вешний дождь: юность так охотно вверяется надежде и сама спешит навстречу обмана.

Уже все собрались к обеду.

Хозяин, заложив руки в карманы, преважно рассказывал Виктору о новом изобретении цилиндрических ножниц для стригальной машины. Гензиус, глядя на картину, изображающую столовые припасы, наигрывал носом песню нетерпения. Жанни, грустно подняв брови и склоня голову на плечо, украдкой поглядывала на лейтенанта, и уже хозяйка вошла в комнату с рдеющими от огня ланитами и с вестью об обеде в устах, как вдруг Саарвайерзен, взглянув на термометр за окошко, вскричал:

— Так и есть, вот болтун Монтань к нам тащится.

— Капитан Монтань! — вскричала испуганным голосом хозяйка.

— Это настоящее божеское посещение, — сказал Саарвайерзен.

— Разоренье, да и только, — сказала госпожа Саарвайерзен.

— Он для меня несноснее барабана, — сказал первый.

— Он для меня страшнее моли, — сказала вторая.

— Он переломает мои тюльпаны и оборвет цветки с лимонных дерев для настойки, — сказал хозяин.

— Передвигает с места всех мандаринов и перервет мои ковры своими варварскими каблучищами, — сказала хозяйка, брянда, однако, связкою ключей.

Делать было нечего; живучи за городом, теряют право отказывать скучным людям, и несовместно с добротой, не только с учтивостью отказать приезжему из-за 15-ти миль. Прия-

тель-неприятель уже всходил на лестницу, и гостеприимное «прошу пожаловать» встретило его у порога, между тем как он напевал еще песню:

Les français ont pour la danse
Un irrésistible attrait,
Et de tout mettre en cadence
Ils ont, dit-on, le secret;
Je le crois,
Quand je vois
Ces grands conquérants du monde
Faire danser à la ronde
Et les peuples et les rois! ¹

Двери отворились, и капитан garde-côte ² Монтань-Люсак влетел на цыпочках в комнату. Он был человек лет тридцати пяти от роду и вершков тридцати пяти от полу, с кроликовыми глазами, с совиным носом и с настоящею французскою самоуверенностью. На нем был синий мундир с одним эполетом, и он подпирался шпажкой, которая, вместе с тонкими козьими ножками, делала его весьма похожим на треногую астролябию.

— Ma foi, ³ — сказал он, раскланиваясь с видом благосклонности, — недаром говорят, что в рай претрудная дорога. Ваш фламгауз, mon bon monsieur Sarvesan, ⁴ — настоящий рай магометов, потому что одна mademoiselle Жанни стоит всех гурий вместе, — и с этим словом он так махнул мокрою шляпою, что брызги полетели кругом.

— Вы так любезны, капитан, — отвечала Жанни с лукавой улыбкой, вытирая платком платье, — что нет средств *сухо* принять ваши приветствия!

— Вы божественно-снисходительны, м-ль Жанни, — возразил, охорашиваясь, француз, вовсе не замечая насмешки, — и я принес жертву вашей божественности — премиленький рисунок воротничка, — в нем вы покажетесь как персик между листьями. А вам, madame Surversant, — сказал он, обращаясь к хозяйке, — выписал я рецепт, как сохранять в розовом варенье природный его цвет.

¹ Французы имеют к танцам
Непреодолимую склонность,
Они обладают, говорят, секретом
Заставлять все двигаться в такт;
Я этому верю,
Когда вижу
Этих великих завоевателей мира,
Заставляющих танцовать поочередно
И народы и королей!

(Ред.).

² Береговая охрана (ред.).

³ Ей-богу (ред.).

⁴ Мой милейший господин Сарвезан (ред.).

— Лучше бы научили вы средству сохранять ковры от мокроты, — отвечала она, с ужасом глядя на струю дождя, текущую со шляпы героя.

— Капитан неизменный угодник дамский, — молвил хозяин, трепля его по плечу, — у него в кармане всегда найдется про них какая-нибудь игрушка и в голове запасный комплект!

— Par la sainte-barbe (клянусь пороховою каморою), — возразил капитан, вытягивая свой туго накрахмаленный воротник, — мое сердце готово всегда упасть к ногам прекрасных, а шпага встретить неприятеля!

— Славно сказано, капитан, — только, видно, у вас сердце некрепко привязано, когда вы можете выкидывать его, как червонный туз; ну а кстати, о шпаге: много ли ей было работы пронзать и шупать тюки с запретными товарами?

— Я задавлен делами, *vrai dieu*,¹ задавлен! — отвечал французик, зачесывая на обнаженный лоб скудные волосы. — Ваши соотечественники вместо благодарности нашему доброму императору за то, что он не столкнул Голландию в море, беспреестанно заводят по всем шинкам заговоры, а забияки русские и англичане того и жди что нагрянут на берег! Знаете ли вы, что они затеяли тайную высадку, чтоб захватить крепость и порт, — безделица! К счастью, сударь, я своею проникательностью уничтожил их замыслы и спас город: злодеи были захвачены, и в чем, как вы думаете? — В ромовых бочонках, сударь, в ромовых бочонках!

— Вам должно воздвигнуть статую во весь рост на бочонке вместо подножия, — сказал, улыбаясь, хозяин.

— Этого мало, гер *Sans-fer, Sans-ver-Sarrasin*,² — извините, пожалуйста, я не в ладу с голландскими именами, — вообразите себе, что эти вандалы англичане, эти враги человечества, то есть французов, собрались нас зажарить заживо вместе с домами и кораблями, открыли в Лондоне подписку, наняли контрабандистов, чтоб ввести потихоньку зажигательные вещества в курительном табаке, в свечах, в колбасах, в копченых рыбах, даже в помадных банках, сударыня, даже в помадных банках; все каблук французских генералов начинены были порохом: злодеи хотели поднять на воздух каждого из нас поодиночке...

— И вы опять открыли их?

— *Mais cela va sans dire* (это и без слов разумеется), под крыльями французского орла, и до тех пор, покуда я охранитель берегов здешних, вы можете спать как за каменной стеною.

¹ Истинный бог (*ред.*).

² Игра слов, вернее созвучий: *sans fer* — без железа; *sarrasin* — сарацин (*ред.*).

— Не угодно ли же гению-хранителю отведать нашего обеда? — сказал хозяин, наскучив его болтаньем, — суп и железо надо обрабатывать, покуда они горячи!

Таможенный храбрец жеманно подал свой локоть хозяйке, Виктор дочери, а сухощавый Гензиус и шаровидный хозяин, как постный сочельник и сытное Рождество, замкнули шествие.

Я думаю, известно всем и каждому, что бог отдал французам майорат любезности с дамами, по крайней мере Монтань-Люссак нисколько не сомневался, что он урожденный остроумец и непобедимый человек в искусстве нравиться. Правда, что переслащенные комплименты его подернулись уже мохом со времен Франциска I, но зато он отпускал их Жанни самым новым, хотя весьма смешным образом. Обо всем другом рубил он сплеча, не краснея, и между тем не забывал стакана, ни тарелки. Изгоняемая из желудка и головы его пустота разрешалась безмерным хвастовством.

— А каков наш маленький капрал? *Soit dit sans vous déplaire* (не во гнев вам будь сказано), — сказал он, качаясь на стуле. — С каждой почтою присылает он к нам ключи какой-нибудь столицы; нас ожидают уже в Петербурге, и тамошние дамы заказали 30 тысяч пар башмаков для встречного бала! Что это за прелестная земля Московия, когда б вы знали! — Рай, а не край.

— Вы разве были там? — спросил Виктор.

— Я не был, *mais c'est égal*: ¹ мой брат сбирался туда ехать. Представьте себе, что там падает осенью град в гусиное яйцо, из которого пекут превкусные хлебы; соболи водятся там в домах, как у нас мыши, а всего забавнее, что для верховой езды в горах употребляют лошадок, называемых *коньяк*, которые не больше собаки.

— Я думаю, однакож, что храбрые ваши одноземцы не много найдут прелести и поживы в краю, нарочно опустошенном, — сказал Белозор.

— *Bagatelle* — сущая безделица, — возразил капитан. — Что значат русские морозишки для испытанных гренадеров, которые кушали мороженое, приготовленное во льдах Альпов, и на штыках жарили крокодилово мясо на солнце Египта. *Allons, chantez moi ça*, ² я сам стоял на биваках в пирамиде Вестриса.

— Может быть, Сезостриса, хотите вы сказать, — заметила Жанни.

— *Vous y êtes, mademoiselle* (вы угадали), но это все равно, дело в том, что Московия не чета Египту; пройти ее вдоль и поперек нам так же легко, как сложить песню.

¹ Но это безразлично (*ред.*).

² Ну, рассказывайте (с недоверием или иронией) (*ред.*).

— Трудно только войти, — сказал с насмешкою Виктор.

— А, а! Господин любит пошучивать, но от этого нашим не хуже: за ними ведут огромные стада мериносов.

— Уж не хочет ли Наполеон заводить там суконные фабрики? — спросил лукаво хозяин.

— Покуда нам довольно и голландских, — отвечал капитан, — нет, сударь, баранов едят, из кож шьют шубы, костями мостят дорогу для артиллерии и даже обсаживают ее в два ряда финиковыми косточками: надо у этих варваров образовать даже климат, и благодаря стараниям Фуше теперь он немногим уступает итальянскому. Да, сударь, что Наполеону вздумалось, то свято. При торжественном вступлении его в Москву...

— В Москву? — вскричал Виктор, едва не вскочив со стула. — Эта шутка переходит уже границы терпения!

— Шутка? Не вы ли, полно, шутите, господин странствующий рыцарь Меркуриева жезла? Видно, вы жили под землей, если не слышали этой новости; даже в Пекине немые толкуют об этом!

Надобно сказать, что флот давно не получал известий с театра войны, а ван-Саарвайсрзен не хотел печалить русского вестью о взятии его отечественной столицы.

— Москва точно взята, — сказал он ему по-немецки: — но ваши стоят крепко; будь мужественен, Виктор, умерь себя.

Но эта весть как громом поразила юношу, и, наконец, худо скрытая досада овладела им.

Болтун продолжал попрежнему:

— Да, сударь, перед Москвою мы разбили 500-тысячную армию, которою командовал Суворов или Кантакузен, *ou quelque chose comme cela*; ¹ тут дрались даже старики с бородами по колено, которые служат им вместо лат или наших хвостов на кирасирских касках; картечь или пуля ударит, да и запутается в волосах!.. При этом деле были два полка самодов на лыжах — *mais on enfile ça comme des grenouilles* ² — в полдень все было кончено, и бояре в длинных своих кафтанах, любя французов от души, на руках внесли победителя в город. По русскому обычаю герою поднесли в пироге запеченного китенка, по счастью накануне пойманного в Белом море.

— Оно полторы тысячи верст от Москвы, — с презрением сказал Виктор.

— Точно так, точно так и было до Петра Великого; но он для удобства столицы велел подвинуть его поближе. Ручаюсь вам, сударь, что Петр был моряк, каких мало, и если б подольше поцарствовал, то весь бы свет обратил в океан и посадил на корабли. Но я удаляюсь от рассказа. К вечеру дан был бал, на

¹ Или что-то вроде этого (*ред.*).

² Но их нанизывают, как лягушек (*ред.*).



котором музыку составлял звон всех московских колоколов; говорят, что эффект был восхитительный! Для редкости два эскадрона пленных казаков отличились в народном танце, который у них известен под именем *пляска*. Все лица днем и все улицы ночью были иллюминированы. От избытка приверженности к вождленным гостям жители зажгли дюжину церквей и несколько кварталов.

— Чтобы все французы погибли там! — вскричал Виктор. В этот миг слуга принес английские газеты.

— Москва освобождена... Французы бегут! — вскричал Саарвайерзен, взглянув на первый лист, и передал его Виктору. Весть об изгнании была там напечатана большими буквами. Восхищенный Виктор сначала обратил благодарные очи к небу, но потом желание укротить хвостуна вырвалось у него на смешками:

— Итак, господин капитан, ваши египетские герои бегут не оглядываясь!

— *Sur ma foi*,¹ — вскричал тот, — это газетный вздор, это зажигательные известия английские; я никогда не видывал, чтобы французы от кого-нибудь бегали...

— Может быть, оттого, что вы бывали тогда *впереди всех*, — сказал Виктор насмешливо.

— Мне кажется, господин рыцарь аршина, вы на мой счет изволите забавляться? *Douze mille bombes!*²

— На ваш счет, господин герой таможни? — Нимало: я бы ничего не поверил вам в долг.

— Знаете ли, кому вы говорите, сударь? Ведаете ли вы, что я происхожу по прямой линии от славного Монтаня, который так же умел владеть пером, как шпагою?

— В таком случае вы оправдали на себе басню, в которой гора породила мышь!³

— Я мышь? Я, сударь, мышь? Как старинный дворянин, я бы доказал вам дружбу, если б вы стоили острия моего клинка, но знайте, что он действует и плашмя.

— Дерзкий хвостун! Если бы мы были не в доме почтенного человека, вы бы получили должную награду; впрочем, вы можете счесть, что взяли ее.

— Так знайте и вы, что если б не этот стол, я бы пронзил вас насквозь, — вскричал ретивый француз, — и с этой минутой вы можете считать себя мертвым!

Эта выходка рассмешила всех как нельзя более. Нахотавшись досыта, сам Виктор негодовал на себя за вспыльчивость. Истинно смешно было сердиться на этого шута. Согласие

¹ Клянусь (*ред.*).

² Двенадцать тысяч бомб (*ред.*).

³ Игра слов — *montagne* [гора] и *Montaigne*.

восстановилось за бутылкой шампанского, которую гости распили за здоровье победителей, каждый разумея в тосте, кого ему хотелось.

После кофе капитан с значительным видом приблизился к хозяину, прокашлялся, как проповедник, который собирается говорить поучение, выставил вперед козлиную ножку и умильным голосом попросил хозяина удостоить его минутным, но особенным разговором о важном, очень важном деле. Слыша это, все лишние поспешили удалиться.

ГЛАВА VII

Утешься! Индия осталась за нами.

Н. Хмельницкий.

О чем и как шла таинственная беседа Монтаня с хозяином, история умалчивает. Только через полчаса двери кабинета растворились шумя, и капитан, надувшись, как индейский пехотинец, с гневным видом вышел оттуда, крутя свой хохол; между тем Саарвайерзен провожал его повторениями:

— Нос, сударь, нос, — говорю я вам, — нос в два аршина с четвертью!..

Не взглянув ни на хозяйку, которая сидела с Гензиусом за пикетом, ни на Жанни, которая речитативом повторяла с Виктором песню собственного сочинения, сердитый герой перешагнул через комнату ворча и, не поклонившись, хлопнул дверью. Слышно было, как, сходя с лестницы, он приговаривал: «Да, да, господин Сар-сар-сер-ве-зан, вы мне дорого заплатите за эту обиду, — да, да, г-н Сар-сур-сир», — между тем как наконецник волочащейся по ступенькам шпаги вторил ему. Скоро раздался бряк подков двух лошадей у крыльца, и через минуту герой был далек от дома и мыслей его обитателей.

В это время Виктор и Жанни, кончив свое совещание, решительно встали оба и вошли в кабинет Саарвайерзена. Старик ходил по комнате против своего обыкновения весьма скоро; на лбу его еще видны были морщины досады, но он разгладил их, взглянув на дочь свою. Ласково притянул он ее к себе и поцеловал в голову.

— Добрая девушка! — сказал он. — Не правда ли, ты еще не хочешь покинуть отца своего?

— Для чего вы меня об этом спрашиваете, батюшка? — робко возразила Жанни, пойманная, так сказать, врасплох.

— Так, милая, так; мне пришло на мысль, что весною видел я молодых ласточек, которые чуть оперились и хотели покинуть

кров родимый: бедняжки попадали из гнезда и достались на потеху школьникам. Девушки похожи на ласточек, Жанни...

— Не знаю, батюшка, только я не желала бы век разлучиться с вами, но не желала бы разлучиться и с... Батюшка, обещайте мне исполнить то, об чем я вас попрошу.

— Изволь, изволь, моя милая; конечно, тебе понравилась какая-нибудь игрушка: перстенок, или шаль, или заморская птичка? Хоть райскую куплю, душенька; плуты купцы ухитрились и в раю пайти товар для вас. Говори; я ничего для тебя не пожалею.

— О нет, батюшка. Я так задарена вами, что мне ничего не остается желать в этом отношении, но... но вы не рассердитесь, батюшка?

— Рассержусь, если ты долее станешь скрываться. Нужна ли тебе компаньонка позабавнее, я выпишу такую, что в три дня уморит тебя со смеху; нужна ли мадам поученее, я найду такую, перед которой и мадам Сталь — не больше как словесная пирожница; хочется ли танцмейстера, вмиг доставлю такого искусника, что протанцует тебе гавот в бутылке.

— Вы все шутите, батюшка... а я...

— А ты, небось, в первый раз вздумала важничать? Очень бы любопытен знать, что за дело запало тебе в голову?

— И в сердце, батюшка... Мы... я, Виктор...

— Да, кетати, друг Виктор, — сказал хозяин, прерывая ее и дружески сжимая ему руку, — знаешь ли, что нам скоро должно расстаться?

— Я для этого-то и пришел к вам, почтенный хозяин мой. Нам должно расстаться или ненадолго, или навсегда. Коротка будет речь моя: ни мой, ни ваш откровенные нравы не имеют нужды в длинных околичностях и блестящих словах... Я люблю дочь вашу, она любит меня, ваше согласие даст нам счастье. Заверенный словом вашим, я по окончании войны прилечу сюда жениться.

— Жениться! — вскричал с изумлением Саарвайерзен, отступая на три шага... — Жениться? Это коротко и ясно, Виктор, и быстро хоть куда, да едва ли и не безрассудно также! Сегодня никак целый свет взяла охота свататься на моей дочери: не успел сжечь с рук этого фанфарона, эту таможенную мышеловку, Монтаня, и другой готов уже на смену.

— Я смєю надеяться, Саарвайерзен, вы не ставите меня на одну доску с этим искателем кладов?

— Сохрани меня бог, два аршина с четвертью! Я скорей бы согласился на своей фабрике век выделывать попоны, чем позволить выставить его клеймо на лучшей моей ткани!

— Почтенный господин Саарвайерзен, я никогда бы не дерзнул искать руки вашей дочери, если б не имел на то единствен-

ного, по-моему, права: ее взаимности и пламенного желания сделать ее счастливою!..

— Любезный батюшка, я сердечно люблю Виктора! — вскричала Жанни, ласкаясь к нему.

— Ты сердечно говоришь пустяки, моя милая... Скажи-ка лучше, в котором боку у тебя сердце? — возразил отец. — Девушки еще за куклами так же часто говорят *люблю*, как дьячки *аминь*, нисколько не понимая, что это значит, и я двлюсь только одному, как смела ты сказать это слово чужеземцу, не спросясь ни отца, ни матери и раньше 18-летнего возраста. Что касается до тебя, Виктор, тебе немудрено было полюбить хорошенькую девушку и единственную наследницу!..

— Саарвайерзен, вы можете отказать мне в благосклонности, но не в уважении... Я имею в России независимое состояние и везде доброе имя и не полагаю, чтобы я подал вам повод сомневаться в моем бескорытии. Отдайте мне Жанни, как она стоит перед вами, и я буду не менее счастлив, не менее благодарен... Я буду богач, когда Жанни принесет мне в приданое любовь свою и согласие ваше...

— Хорошо сказано, молодой человек, и, что еще лучше, благородно почувствовано; но подумай и посуди сам, есть ли в твоём предприятии хоть нитка благоразумия? Я знаю о тебе столько же, как о летучей рыбке, которая взлетает над морем и опять скрывается в море. Не обижаю тебя сомнением, верю всем словам твоим, хотя при записке в долговую книгу супружества надобно бы для дочери желать должайшего знакомства и вернейшей поруки, но вспомни, что каждый шаг твой здесь куплен опасностью. Монтань уже подозревает что-то и не преминет донести своему правительству, у которого я давно на худом счету. Я сам собираюсь отсюда убраться тихомолком, куда минут смутные обстоятельства. Кроме того, волей и неволей мы в войне с русскими, и бог весть, когда она кончится. Да если б и кончилась скоро, — скоро ль тебе будет возможно приехать сюда? Посуди притом, каково будет нам, старикам, разлучиться с любимой дочерью...

— Даю вам священное слово каждые два года приезжать сюда на несколько месяцев; готов даже навсегда поселиться с вами...

— И этого не хочу, любезный Виктор... Жена должна для мужа покинуть все на свете, но мужу для жены стыдно забыть отечество. Скажу тебе откровенно, ты мне понравился, и будь ты одноземец мой, я бы не заикнулся назвать тебя зятем, если б даже кошелек твой можно было продеть в иголку, но отпустить дочь за тридцать земель... она так молода, ты так ветрен, что через полгода, статья может, оба не вспомните и не захотите узнать друг друга.

— Если б нам не суждено было видеться до второго пришествия, я и там бы встретил Жанни как супругу моего сердца, — сказал Виктор.

— Никто, кроме Виктора, не будет моим мужем, — приговорила Жанни решительно.

— Все это очень громко и очень ломко, друзья мои; вы говорите в горячке, а горячка есть болезнь, и непродолжительная. Рад верить, впрочем, что любовь ваша не полиняет ни от времени, ни от препятствий, и по тому-то самому полгода, год разлуки нисколько не помешает делу. Если ты возвратишься к нам в тех же мыслях и найдешь Жанни с теми же чувствами, — с богом, — я не стану противоречить, а между тем мы лучше узнаем о тебе, а Жанни испытает себя.

— Могу ли я принять это за неизменное слово? Можем ли променом колец заверить будущий союз наш?

— Что касается до моего слова, любезный Виктор, ты можешь построить на нем замок, не воздушный замок, разумеется, а другое считаю излишним. Зачем надевать на себя путы, бесполезные между людьми благородными и предосудительные, если судьба разведет вас... Ты человек военный, тебя могут убить, и тогда Жанни останется вдовою, не быв супругою. Теперь обрученье ваше походило бы на обрученье дожа с морем.

— Это не пустой обряд, почтенный Саарвайерзен, не вздорная прихоть, нет, — это утешение сердцу, это залог будущего счастья... Скрепите же его, освятите его своим благословением, дайте мне отраду считать себя не чуждым вашему семейству, дайте мне лестное право называть Жанни своею невестою, называть вас отцом своим...

Виктор склонил колени, прижимая руку старика к груди...

— Батюшка! — восклицала Жанни, возводя к нему заплаканные очи и объемя его колени, — сжальтесь, не будьте суровы, сделайте счастливыми детей своих!

— Полно, полноте, дети! — вскричал почти тронутый старик, вырываясь из их объятий. — Что это за картина венецианской школы! Что это за водевильные песни... Встаньте, утешитесь... и я с вами разрюмился... слезы каплют у меня с лица, будто с молодого сыра. Встаньте, говорю я вам; я дал слово, и более ни слова... Не требуйте ничего лишнего, если не хотите, чтоб я отказал и в этом. Я должен быть рассудителен за вас, чтобы кто-нибудь из вас не пенял на меня. Завтра вы расстанетесь, а будущее зависит от вас самих. Дайте мне время образумиться.

Виктор ясно видел, что это полусогласие было чуть-чуть не отсроченный отказ; Жанни глотала все доказательства отеческие, как зерна перца; но делать было нечего, и оба они, поцеловав у старика руку, удалились с кисло-сладкими лицами.

Малорослый сын великой нации ехал в город, рассыпая проклятия на обе стороны; досада его раздражалась еще более тряскою рысью огромной фризской лошади, на которой он был точно миндаль на прянике. Не умея порядочно ездить, он беспрестанно скользил то вправо, то влево по широкому седлу. Слутник его, морской солдат самой разбойничьей физиономии, тащился сзади, скорчившись на тощей кляче, как на салинге, и, куря коротенькую трубку, при каждом скачке капитана приговаривал: «Проклятые лошади!»

— Лошади и люди, Брике, вода и земля — все негодно в этой несносной стороне, douze cents bombes!

— Это и мое мнение, mon capitaine!¹ — примолвил Брике.

— Это и мое убеждение, Брике, мое душевное убеждение. Что такое здешние мужчины? — Гордые лавочкиники! Что такое здешние дамы? — Бестолковые поварихи. А девушки? — Это ходячие кувшины с молоком. Никакого тона, mon cher,² никакого умения жить в свете, ни малейшего взгляда отличать достоинства... для них кусок лимбургского сыра с червями предпочтительнее любого дворянина с 13 поколениями предков!

— Это ясно, как шоколад на воде, капитан, и я, право, расчесал себе голову, отгадывая, почему вздумалось вам удостоить это утиное племя своим выбором; правда, мамзель Саарвайерзен богата, и жениться на ней...

— Скорее женюсь я на адской машине, чем на этой голландке. Все, что я рассказывал тебе прежде, была одна шутка, douze cents bombes, если не шутка! Я только для забавы посватался на дочеру суконника, и как ты думаешь, он принял мое предложение?

— Разумеется, кинулся к вам на шею с расстегнутыми карманами и сердцем, — отвечал лукаво Брике.

— Rien moins que ça, (ничего менее этого) Брике: он дерзнул отказать мне...

— Вы шутите и со мною, капитан!.. Полагаю, что в его кочане немножко поболее смысла.

— Весь его смысл не стоит пары собачьих подков, Брике; он отказал наотрез. Он вздумал, что он очень важный человек оттого, что на полу у него бархатные ковры, а на столе фарфоровые плевательницы! Велика птица! Да если б его сукном можно было обтянуть земной шар, а червонцами запрудить Зюйдерзее, я и тогда отсмею ему насмешку. Не его чета были бургомистры амстердамские, да и те перестали ковать колеса и коней серебром, а его-то и подавно можно просеять сквозь судебное решето.

¹ Мой капитан (ред.).

² Дорогой мой (ред.).

— Не только можно, да и должно, капитан, — он закостенелый оранжист.

— Он мятежник — это по всему видно. Во-первых, читает английские газеты.

— Во-вторых, богат, как жид.

— В-третьих, — да что за счеты? Виноват кругом, да и только.

— В-четвертых, держит у себя подозрительных людей.

— Каких подозрительных людей? — сказал Монтань, обернувшись к своему оруженосцу, — про каких людей говоришь ты?

— А вот извольте видеть, *mon capitaine*: недели с две тому назад ходил я с товарищами дозором...

— Знаю, знаю, приятель, каким дозором ты ходишь: каждый гульден тебе кажется запрещенным товаром, и ты конфискуешь их в свою пользу. Я ничего не хочу слышать, Брике, но попадешься, пеняй на себя: Наполеон не любит дележа.

— Всякому свое ремесло, капитан: кто любит брать города, кто ломать сундуки.

— В том только разница, что кто ограбит королевство, тому ставят торжественные ворота, а кто крадет из-за замка, тому виселицу. Да не о том дело, приятель: о каких подозрительных особах говорил ты мне?

— Ходя дозором, как имел я честь доложить вам, увидел я, что шесть человек вошли на мельницу вашего нареченного тестя. Вот меня и взяло любопытство: дай посмотрю в комнату; влез на окно, гляжу и вижу...

— Во сне или наяву, Брике?

— Я бы желал тогда быть на моей койке, капитан, и храпеть во славу божию, вместо того чтоб дрожать, увидя там забияк, вооруженных с головы до ног и таких страшных с ног до головы, что наши саперы старой гвардии показались бы перед ними голубками; они говорили таким дьявольским языком, что у меня и до сих пор звенит в ушах.

— Это, наверно, английские зажигатели, Брике.

— Они так и глядели, капитан, как будто у них в каждой пуговице сидело по целой роте чертей. Вот и заметил я, что молодой человек, который казался их атаманом, увидел меня сквозь стекло, и все восьмеро с воплем кинулись за мною в погоню.

— Ты, помнится, сказывал, что их было шесть человек?

— Я сначала обсчитался, капитан, только знаю, что *оба* они в меня выстрелили; да я не дурак, ночь была претемная, кинулся на землю и прижался к ней, как подошва. Они долго искали меня, но види, что ничего не видно, ждали, ждали, *да и пошел*

— Чудеса ты рассказываешь, Брике; ну что ж потом?

— Потом я давай бог ноги, убежал, не оглядываясь...

— И только?

— О нет, капитан, совсем не только! Сегодня за полчаса перед этим, после вашего обеда, стою я смиренно в поварне. Выходит туда так называемый племянник хозяина закурить сигарку. Я сейчас в карман, оторвал клочок от вашего счета с президентом муниципалитета, или нет бишь, от...

— Чтоб чорт взял тебя с твоими присказками! Говори коротко и просто.

— Чего проще этого, капитан, что он раскурил сигарку и сказал мне: «Спасибо, друг мой!»

— Я тебе отблагодарствую этим бичом так, что ты и вперед закаешься терзать меня своими семимильными рассказами!

— Тут каждое слово — дело, капитан. Вот изволите видеть, как он раскурил сигарку, глядь я, ан это тот самый молодой человек, который за мной гнался с мельницы.

— Может ли быть? Нсужто в самом деле! Да это находка, друг мой! Теперь говори, что я не гений, я с ничего заметил в этом насмешнике врага Франции и уж пугнул за него хозяина порядком.

— А пять человек, как я узнал стороной, спрятаны у него на фабрике. Старик сказывает, что они машинисты, да чорт ему верит. Верно бьют фальшивую монету, ведь неспроста же он так богат.

— Еще лучше, еще превосходнее, Брике!.. Теперь и у нас перестанет ходить в карманах сквозной ветер. Завтра же чем свет донос правительству, что такой-то фабрикант печатает у себя возмутительные прокламации, собирает оружие, а что главное всего, держит англичан для зажжения города... Славно, Брике... бесподобно! Будет чем погреть руки!

— И давно пора, капитан, а то, право, срам Франции, что она позволяет этим кургузым жидам толстеть и богатеть. Разве даром мы великая нация?

— Как попадет к нам в лапки, да пристращают в военном суде дюжиною свинцовых пуль, так радехонек будет отдать свою Жанни за самого сатану, не только за меня, дворянина с 13-тью поколениями... Государственная измена — это не шутка, г-н Сарвезан, — это не шутка!

Деля в мыслях добычу, капитан с достойным своим наперсником въехал в крепость при ниспадающей ночи.

ГЛАВА VIII

Вот так-то свет идет; но почему он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак.

Фонвизин.

Попутру на другой день приказ захватить Саарвайерзена был подписан комендантом Флессинга, и двенадцать солдат для исполнения этого наряжены. Отдавая, однакож, Монтаню повеление, комендант заметил ему, что безрассудно было бы арестовать человека, всеми уважаемого и очень любимого рабочими, посреди его фабрики, где народ может возмутиться и отбить пленника; а потому советовал выманить его оттуда под каким-нибудь предлогом и потом взять в укромном месте и без шума. Капитан отдавал в заклад всех своих предков, что он смастерит дело так искусно, что сами бесы будут краснеть от зависти.

Случай, эта повивальная бабушка всего худого и доброго, натолкнул как будто нарочно капитана на долгоногого Гензиуса, который, как аист, шагал по кирпичной набережной мутного канала. За ним шел человек в матросской куртке с узлом в руках. Монтань остановился: нос таможенного есть самый чувствительный инструмент в своем роде; встарину верили в чудесный прутик, открывающий клады и ключи; этот прутик в наше время осуществился в носу досмотрщика: лучше всякого ворона чуют они добычу, и будь контрабанда спрятана хоть в желудке, от них она не скроется.

«Тут что-нибудь недаром, — подумал капитан, поворачивая носом, как флюгером... — Гензиус выходит от банкира. Гм, гс! Этот рыбак самый удалой смоглер и уж не раз вырывал у меня из-под носа лакомые куски, — верно какая-нибудь отправка в поход. Да уж не сношения ли с неприятельским флотом?.. Зачем эти сделки денежные? Почему он взял, чорт ведает откуда, чужого человека, когда своя контора набита поденщиками? Что за связка у него в руках?»

И вот капитан мой уже бежал вслед за Гензиусом и, запыхавшись, схватил его за полу.

— Bonjour, дорогой Гензиус, — сказал он.

Гензиус кисло улыбнулся, отвечая поклоном, и хотел продолжать путь свой, но безотвязный капитан повесился у него на рукаве.

— Куда идете? — спросил он.

— Прямо по дороге, — отвечал он.

— Замысловато, господин Гензиус, очень замысловато, это доказывает, что натошак и голландский ум может летать, по крайней мере, как волан... Но так как я уверен, что вы

не променяете добрый завтрак на всю остроту человеческого рода, то не угодно ли будет сделать мне честь: завернуть в ближайшую гостиницу? Что там за портер! Я хоть таможенный, да гляжу на все то сквозь пальцы, что чежу сквозь зубы.

— Портер? — произнес Гензиус, облизываясь, и уж ступил было в сторону, когда мысль, что ему еще куча дела по поручениям хозяина и по закупкам Белозора, остановила его, будто камень преткновения.

— Благодарю покорно, — отвечал он со вздохом, — ни минуты нет времени, до другого раза, капитан...

— И, полноте, господин бухгалтер! Сухое и перо не пишет, и чтобы подкрепить ноги, надо приласкать брюхо.

— Чувствую истину этого и не могу ею воспользоваться. Прощайте, капитан.

— Жаль, право жаль, любезный господин Гензиус, а мне бы надо было поговорить с вами о новом подряде на сукна. Я сегодня по поручению генерала поеду в фламгауз.

— И поедете напрасно; хозяин мой сегодня целый день будет считаться с мельником, — ныне начало месяца!

«На мельнице? Ага! — радостно подумал Монтань. — Золотой бочонок сам катится к нам в погреб. Дельно! Теперь, господин счетчик, можешь итти, куда хочешь: я вытащил из твоего носа червячка и без завтрака».

— Брике! — вскричал он, — следи этого архибестию рыбака Фландеркина, пошли вслед за ним человек пять издали и скажи: если увидят, что он готовится спустить лодку в море, цап его за бок и тащите ко мне на брандвахту; остальных солдат положи, когда стемнится, в засаду близ мельницы Саарвайерзена и всех, кто в ней, захвати и веди в город за конвоєм... мужчин и женщин. Смотри же, не выпускай никого, а пуще всех старика.

— Будет исполнено, капитан! — отвечал Брике, — только при дележе не забудьте, что я вас навел на дичинку, а то до сих пор начальники брали деньги, а мне оставляли одни тычки, — только из этой поживы они не брали законной себе доли.

— Будет всем пожива, — отвечал капитан, потирая руки.

Таким-то образом высокоумный Гензиус, желая избавить хозяина от посещения некстати, предал его в руки бездельников. Таким-то образом и самая извинительная ложь рано или поздно, но всегда становится вредною.

К вечеру Саарвайерзен с Виктором и дочерью, которая настояла на том, чтобы проводить своего жениха, приехали на мельницу. Матросы их ждали там еще с прошлой ночи, и когда стало смеркаться, все было готово к отправлению. Покуда

еще хоть день, хоть час, хоть миг остается до разлуки, сердца любовников не перестают еще надеяться; они, кажется, ждут чуда, которое отвлечет ее, но зато тем ужаснее бывает для них минута расставания; она всегда для них внезапна и будто рассекает их пополам. Жанни плакала и молчала, напрасно шутил над нею отец, напрасно утешал Виктор, и наконец все трое уселись, как будто провожая кого-то не к избавлению, а на казнь. Время уходило... Саарвайерзен вынул часы и, не говоря ни слова, подавил пружину: они звонко пробили пять.

Виктор встал с тяжким глубоким вздохом; рыдая, упала Жанни на грудь отца.

— Прости, Виктор, прости навечно; я предчувствую, что мы более не свидимся, — произнесла она, — прости!

Виктор пламенно поцеловал оставленную ему руку, и его слеза канула на нее.

— Достойная Жанни, — сказал он, — пусть эта капля будет печатью душевного союза, и да откажет мне бог в слезах в горькие часы жизни, если и для каких бы то ни было радостей замедлю своим возвратом.

— Два аршина с четвертью! — вскричал отец, обнимая отъезжающего и вытирая о его плечо глаза свои. — Откуда набралась вы этих романических покровок?.. Ну, утешься, причудница, успокойся, моя милая: новая весна приносит новые цветы, и коли вы в самом деле так друг друга любите, мы вас обстрижем под одну ворсу.

— В чудные веки мы живем, в чудные веки! — ворчал Саарвайерзен, влезая на лошадь. — Вчерась еще поутру я бы ручался, что моя Жанни не отличит петуха от курицы, а теперь? Два аршина с четвертью! И еще не дождавшись законного возраста... Смотри, пожалуй.

От мельницы шли две дороги к морю: одна прямо, по которой шел Виктор после кораблекрушения, другая правее на Дендермонд; по сей-то последней отправились наши путники. Виктор ехал безмолвен, снедая печаль в сердце. Саарвайерзен, видя, что с влюбленными плохая беседа, разговаривал с проводником, несшим фонарь. Матросы, идучи позади тихомолком, шутили промеж собою.

— Что ж мы, братцы, станем рассказывать товарищам у табачного бака, коли бог принесет на свой корабль? — сказал урядник.

— Что лягушки здесь царствуют, а люди живут, как у нас лягушки, — отвечал один.

— Вот уж напрасно охаял Голландию, — возразил другой, — стыдно где пить, тут и рюмки бить. Чего тебе здесь недоставало? Можжевеловой — хоть не пей, свежины вдоволь. Закорми чушку, она станет жаловаться, что бока отлежала.

— И впрямь, брат, грешно словом укорить наших хозяев: чего только душеньке угодно, давали: хлеб белый, как месяц, сыр объяденье, да утром еще и кофей!

— Хвали, хвали хозяев, а они себе на уме: ржаной корочки допроситься я не мог, а эти опресноки оскомину набили. Видел, брат, я, что они и с кофей-то одной жижицей нас потчевали, а гущу всю себе оставляли. А про сыр и говорить нечего — весь в дырах! Небось, молодые сыры подальше хоронят; а уж и подметил я у них здоровенные, что твой кирпич. В одном фунте фунта два будет!

— У всякого своя заведениция, — примолвил Юрка. — В чужой монастырь со своим уставом не ходят. По мис, там такое было житье, что коли во сне увижу, так, я думаю, сыт буду.

— У лентяя вечно масленица на уме, — возразил урядник. — То ли дело между своими на службе: горя много, да уж зато и утехи вдвое. Нароботаешься на вахте до упаду, насмеешься за ужином досыта и, не дослушав сказки, засыпаешь, убаюкан бурей в койке, и гоголем вскочишь, когда закричат: марсовые, наверх! Дай бог, братцы, увидеться с земляками; хорошо в гостях, а дома лучше!

— Дай бог, дай бог обняться с нашими нстронскими! — воскликнули умиленные матросы, прибавляя шагу.

Без всяких неприятных встреч отряд достиг до берега. Темное море плескало в него тихую зыбью. Запорошенные инеем дороги и плотины, будто раскинутые холсты, тянулись вдаль и сливались с туманом, который начал подыматься. Нигде не слышно, не видно было ни души.

— Фландеркин-флаат! — произнес проводник, ударяя в ладоши. — Он здесь должен был нас дожидаться.

После многих побегушек в разные стороны оказалось, что нет ни лодки, ни нанятых рыбаков в окрестности. Саарвайерзен потерял терпение: неустойка в слове была для него подлее, чем воровство, хуже, нежели убийство.

— Sapperloot! — вскричал он: — я живьем истолку эту ходячую треску. Взять даром деньги и не исполнить слова — это неслыханно! Я его так взогрешу, что мои талеры растают у него в кармане... Проклятый пьяница!.. Верно, где-нибудь теперь прохлаждается в шинке; но будь я не я, если он не завертится кубарем от этой плети, прежде чем у него высохнут губы.

Но брань ничему не помогала. Положение Белозора и матросов его было самое критическое, и наконец Саарвайерзен, послав на Викторовой лошади проводника влево, поскакал сам внутрь земли искать рыбака в его домике, восклицая, что он разрубит его кулаком своим не хуже сукновального молота и сделает из его спины клетчатую шотландскую тартану!

Мало-помалу затих его голос и тяжелая ступь лошади по шоссе.

Виктор, видя, что рыболов или обманул, или изменил, решил пойти по берегу влево для встречи с ним или для изыскания другого способа спасения. Поровнявшись с тем местом, где выброшен был бурей на берег, заметил он нечто белое.

— Посмотри, — сказал он уряднику, — мне что-то видится впереди!

— Если б я не знал, ваше благородие, как разбило в щепы нашу четверку, я бы подумал, что это она ожила и выползла на берег, как тюлень!

В самом деле, то была шлюпка, обороченная вверх дном.

— Тише, тише, ребята! — сказал Белозор. — Мне кажется, подле ней вижу я людей, спящих под парусом; да вон на козлах блестят и ружья: это, должно быть, досмотрщики. Ползком подберемся к ним и накроем врасплох, как утят в гнезде.

Едва дыша приближался Белозор впереди всех... Но французы спали крепким сном, и захватить их было нетрудно. С криком кинулись наши сперва на ружья, потом на сонливцев и, пригвоздив штыками углы паруса к земле, как перепелок из-под сети вытащили поодиночке пленников, связывая им руки и клепля рот. Из четырех оставили только одного без повязки для допроса.

— С какого ты судна? — спросил его Виктор.

— Мы таможенные солдаты, — отвечал он, — с брандвахты (patache) «Le Priseur». ¹

— Кто у вас капитан?

— Монтань-Люссак.

— Старый знакомый. А зачем вы на берегу?

— Не знаю; четверо наших, по приказу капитана, отправились в средину края; мы берегли шлюпку.

— Благодарю, что сохранили ее для нас. Теперь, братцы, перенесите этого молодца в шлюпку, пускай он лежит на дне вместо балласту.

Шлюпка была уже спущена на воду, и матросы, опершись на весла, с нетерпением ждали приказа отвалить.

— Не прикажете ли остальных на упокой? — сказал Юрка, замахаясь багром на связанного солдата.

— Пошел в свое место, — гневно вскричал Виктор, — и помни, что русские не бьют лежачего. Все ли готово?

— Все до крошки! — отвечал урядник. — Крестись, ребята, весла на воду... гребите!

¹ Призер.

Между тем как это происходило на берегу, Жанни одна с своей кручиной сидела в комнате мельника. Глубокую истину заметил тот, кто сказал, что женщина, любя впервые, любит любовника, потом уже одну любовь. В первом случае вся она быстро поглощена бытием друга, и малейший страх за него, кратчайшая с ним разлука для нее уже истинное бедствие. Во всех последующих любовник для нее уже не предмет, но только средство наслаждения, и проливая слезы разлуки, она уже озирается кругом, ее сердце, как пустой дом, требует постояльца: любовь для нее уже не страсть, а привычка.

Но Жанни любила впервые и со всю пылкостью души чувствительной, с безграничным доверием доброты. В краткий век этой девственной склонности она пережила все возрасты страсти, кроме ревности, и можно представить ее отчаяние, когда тот, который, как светильник, озарил пред нею мир, лежавший доколе пред ее очами темною громадою, увлечен был от нее судьбою, от нее, жаждущей любить, тоскующей разделить любовь свою... Сердце ее, кипящее юностью, легко прияло впечатление страсти, как плавкое стекло, и как со стекла, чтобы сгладить это впечатление, можно было не иначе, как разбив его. В это время убежал к ней Гензиус с бледным, вытянутым лицом...

— Где ваш батюшка? Где все они? — спросил он торопливо.

— Там, где бы желала быть и я, — отвечала Жанни, не обращая внимания на необыкновенные приемы бухгалтера.

— Ради Groos-buch, юнг-фров, скажите, по какой дороге поехал ваш батюшка? Ему грозит большая опасность!

— Батюшка в опасности? — вскричала, вспрынув, испуганная Жанни. — За что? От кого в опасности?..

— Бургомистр Гоог-Воорст-ван-Шпан...

— Какое мне дело до вашего бургомистра? Скорей и яснее!

— Я сам запыхался, как ветряная мельница, юнг-фров...

Говорил я вашему батюшке, что быть беде за русских, которых держал он на фабрике, а Монтань и подвел к этому свои итоги; он донес правительству, что ваш батюшка держит у себя зажигателей англичан, печатает прокламации против Наполеона и хочет изменой захватить крепость. И вот его велено заключить в темницу и судить военным судом... Спасибо за уведомление бургомистра Гоог-Воорст-ван-Шпандербергера, а то бы...

— Заключить! Судить!.. Умертвить его! У тигров всегда виноват человек... Недоставало только этого к нашему несчастью... Что же вы стоите, сударь? Бегите, скачите, летите навстречу батюшке, уведоьте его; пусть он бежит за границу. Есть у него деньги с собою? Если нет, возьмите эти брильянты, которые получены только что из переделки...

— У меня в кармане значительная сумма, взятая от банкира; притом же...

— Спешите, сударь, говорю я вам, — воскликнула Жанни, почти выталкивая Гензиуса и рассказывая ему, где и как он наверное найдет отца ее. — Пусть не беспокоится он о нас; с нами ничего не сделают.

— Дай бог, чтоб ничего не сделали, сударыня, — говорил Гензиус, вскарабкиваясь на каретную лошадь. — Беда, если и мужчина попадет в когти этих разбойников, а храни бог, как девушка. — Удар бича, которым попотчевал мельник его буцефала, прервал речь всадника, и скоро вдали умолк скок неопытного гонца.

Жанни была в неопишемом положении: любовь к отцу заставила ее на время забыть даже любезного, не только самую себя. Она уговорила старика слугу, приехавшего с ней за каретою, сесть верхом и ехать отыскивать отца. Кучер был проводником. Итак, она осталась одна со стариком мельником и его женою. Запершись кругом, со страхом ждали они известий... Через час места послышался стук у дверей.

— Отворите, — произнес грубый голос, — отворите по приказу правительства. Если вздумаете сопротивляться, с вами поступлено будет как с мятежниками и дом ваш разграблен дотла!

Это был Брике с командою.

— Боже мой, — вскричала хозяйка, — это голос того же разбойника, который вязал нас две недели назад! Когда господь избавит Голландию от этих гербовых злодеев!

— Что ты колдуешь там, старая ведьма? — возгласил Брике. — Отворяй, или мы высадим двери прикладами!

— Что нам делать? — шептала Жанни хозяйка. — Их много, и двери недолго продержатся. Что нам делать? Мы пропали с добром и с косточками!

— О вещах не горюй, старуха, — возразил хозяин, — добрый наш господин втрое заплатит за все; но что будет с вами, сударыня!..

— Что угодно богу, — с твердостью сказала Жанни, — я скорее умру, чем живая отдамся в руки этих наглых бездельников... Хозяин, задержи их всякими средствами, а я бегу встретить своих или кинуться в воду...

С этим словом она накинула шубу свою, схватила ящик с бриллиантами и выпрыгнула в окно.

Она уже была далеко, когда треск одних за другими падающих дверей долетел до ее слуха.

Быстро, не отдыхая, бежала она по плотине к морю; страх придавал ей силы, надежда окрыляла ноги.

— Батюшка! Виктор! — кричала она, слыша за собою гонящихся солдат. — Виктор! — повторяла она исчезающим голосом, видя отваливающую шляпку, но слабые звуки умирали на ветре. — Спасите! — восклицала она в тоске отчаяния, но спасение ее бежало. Задыхаясь, изнемогая от усталости, простирала она руки к морю, но безжалостное заглушало мольбы ее плеском.

— Виктор! — вскричала она в последний раз и упала без чувств на холодную землю.

ГЛАВА IX

...За счастьем, кажется, ты по пятам
несешься,

А как на деле с ним сочтешься —
Попался, как ворона в суп.

И. Крылов.

Знакомый голос проник до сердца Белозора: шляпка дала крутой оборот, взрывая волны, и через минуту Жанни лежала уже на руках друга; но между тем погоня была близка... С бранью и проклятиями бежали к берегу солдаты. Что было делать Белозору? Оставить ли невесту свою в жертву дерзости и своевольства? Нет, нет... Он бережно поднял драгоценное бремя и прянул в шляпку...

— Отваливай! — вскричал он, и шляпка ринулась с берега, как испуганный лебедь.

— Остановитесь! — летело вслед ему. — Стой! или мы будем стрелять! — кричал Брике. Ружья патруля сверкали.

— Позволяю! — отвечал Белозор, спуская курок пистолета, — и Брике покатился в воду. Беглый огонь полетел в шляпку, но мрак и волнение мешали цельности выстрелов.

Скоро выгребли беглецы из полета пуль, и матросы только смеялись, слыша, как свистят они и падают в море.

— Спасибо за парадные провода! — кричали они беснующимся французам, и между тем с каждым взмахом веслами быстрая шляпка, шипя, взбегала на волны, как будто порываясь взлететь над ними. Одно звучное ударение в уключины и плавное колебание судна погрузили Жанни в глубокий сон из бесчувствия. Прислоня голову милой к груди своей, Белозор прислушивался к ее дыханию; оно было легко и покойно, но зато Виктор был далек от покоя... Он со страхом замечал, как свежал ветер, как сильней и сильней плескалось волне-

ние. Непостоянное течение менялось, туман неся над водами... С каждым мигом надежда добраться до флота, далеко лежащего от берега, становилась несбыточнее.

— Держись на веслах! — сказал он, желая обознаться, куда грести. Матросы безмолвно, опершись о вальки весел, глядели на воду. Непроницаемый туман клубился окрест, и только шум всплесков о водорез, только брызги их были ответом на взоры и внимание Виктора. Брошенная на волны бумажка тихо плыла влево; но кто поручится, что ветер и течение не изменились? И нет компаса, чтобы их поверить.

— Мы заблудились, ваше благородие, — сказал урядник, — если выгребем в открытое море, то погибнем без сомнения, а если снесет нас к берегу, то не миновать плена.

— И еще вернейшей смерти. Теперь с нами поступят как с беглецами, особенно за убитого... Но стой, это колокол, раз, два, три! Било 8 склянок.

Нигде так величественно не слышится бой часов, как над бездной океана во мгле и тишине. Голос времени раздается тогда в пространстве, будто он одинокий жилец его, и вся природа с благоговением внемлет повелительным вещаниям гения веков, зиждущего незримо и неотклонимо.

Колокол затих, гудя.

— Это, должно быть, ваша брандвахта, — вскричал с радостью Белозор к связанному французу. — Сколько на ней команды, друг мой? Но смотри, не хвастай!

— Более, чем нужно, чтобы развешать вас вместо фонарей по концам рей, — отвечал француз, ободренный близостью своих.

— Ты не будешь этим любоваться, если не перестанешь остриться некстати. Мы, русские, любим посмеяться смешному, но не берем его в уплату. Говори дело, мусье, а не то я пошлю тебя на исповедь к рыбам!

Видя, что его не шутя подняли над водою, пленный оробел.

— На судне осталось только 12 человек, — отвечал он.

— Тем лучше, — сказал Белозор. — Ну, товарищи, нам единственное спасение завладеть тендером. Не скрываю от вас: дело опасное, зато уж молодецкое; славы и денег будет столько, что и внучатам не прожить. Грянем, что ли, ребята?

— Грянем, Виктор Ильич, постояим за матушку Русь, знай наших нетронских! В огонь и воду готовы! — вскричали в один голос удалые матросы.

— Вот спасибо, ребята! С вами и месяц за рога сорвать — копейка, — жить весело и умереть красно! Осмотрите же, братцы, захваченные ружья, и как скоро привалим к борту, скачи через сетку и прямо сбивай с ног встречного и поперечного, забивай люки и вяжи или коли упорных. А между тем

обвертите шейными платками вальки, чтобы они не брякали в уклочинах; только бы добраться, а то все наше: пей — не хочу!

Скользя как тихая тень, понеслась шлюпка, и скоро они разглядели одномачтовую брандвахту, которая то вздымалась на валах высоко, то с шумом ударяла своим бугшпритом в воду. За сеткою мелькала одна голова часового.

— Qui vive? ¹ — раздалось с борта.

— Отвечай отзывом, — шопотом сказал Белозор пленнику, приставя пистолет к груди.

— Le diable à quatre (бес вчетвером), — закричал тот.

— C'est un bon diable (это добрый чорт), — примолвил часовой и беспечно оборотился, чтобы вызвать наверх офицера; но Белозор, перескочив в это время на палубу, не дал ему даже пикнуть, и в один миг все было исполнено по приказанию.

Палуба находилась во власти русских, а внизу никто и не подозревал о том.

Белозор, рассмотрев сквозь стеклянный люк, что в капитанской каюте сидят за столиком трое офицеров и шумно разговаривают за бутылками, потихоньку спустился по трапу (лесенке) к дверям и остановился послушать речей их.

— Ты прелюбезный злодей! — говорил Монтаню один из таможенных чиновников.

— Настоящий людоед на женские сердца! — примолвил другой.

— Небось, на контрабанду и шашни не дам промаху; сам сатана мог бы у меня взять несколько билетов для науки в любовной охоте: одним камнем двух птиц зашибу. — Это говорил Монтань.

— А что, сердечко-то, верно, в золотой оправе? — произнес первый голос.

— Ха, ха, ха! — отвечал капитан: — голландское сердце всегда в кошельке; как помокнет в тюрьме, так мой старик станет мягче своего сукна. Уж к судьям отправлен ящик с шампанским подогреть их патриотизм; обвинение важное, и только рука Жанни выскоблит его.

— То есть, когда мы говорим рука, то, конечно, разумеем под этим не одни пальцы, — сказал другой, — но и кольца, и перстни, и все, что в ней и на ней?

— Да уж что толковать об этом; будущий тесть мой богат, и я заживу, как маршал, разграбивший провинцию. За здорье нареченной моей!

— То есть за толстоту мешков ее приданого! — вскричали оба.

¹ Кто идет? (ред.).

— Само собой разумеется, — возразил Монтань, — что я жену считаю приданым, а гульдены, будь они старше Нового моста, своею супругою. Между тем пускай ждет старый скряга нанятой лодки, когда они у нас за кормою, да чай уж теперь и сам к неожиданным гостям в гости собирается. Я велел привести сюда только молодого забияку, который вздумал надо мной подтрунивать. Завтра опечатаем фабрику, *et vogue la galère* (плыви, корабль), как не отдать дочери за француза!..

— И старого дворянина, — молвил другой лукаво.

— И таможенного капитана императорской службы! — гордо воскликнул Монтань. — Господа, здоровье Наполеона! За ним мы всегда правы и всюду хозяева!

Все подняли бокалы, восклицая:

— Да здравствует маленький капрал! Подавай сюда русских, мы сотне хвосты оциплем!..

Дверь скрипнула, и Белозор упал, как звезда с неба, и, напив порожний бокал, дал знак изумленным французам, чтоб они подождали...

— Здоровье императора Александра! — крикнул он; но гости поглядывали друг на друга, как будто спрашивая отгадки этой мистификации.

— Пейте, господа! — грозно воскликнул Белозор, — или я заставлю вас выпить соленое море вместо шампанского; вы хотели оципать сотню русских, ваше желанье исполнено: я русский!

— Это уж чересчур дерзко, — вскричал Монтань, хватая Виктора за ворот. — Не бойтесь, господа, это тот самый шутник, про которого я вам рассказывал; видно, воротилась наша шлюпка и привезла пленника. Смотри, пожалуй, да какой ты забияка!

Белозор хладнокровно оторвал от себя Монтаня, как кошку, и бросил его на стул.

— Что я приехал на твоей шлюпке, это сушая правда, капитан! Только меня не привезли сюда, я сам за долг счел отплатить визит любезному другу. Пейте же, господа, говорю я вам, за здоровье русского царя, или я раздроблю голову упрямым... Что вы глядите на меня?.. Вы мои пленники, господа! Я имею на то трехгранные доказательства! Гей, наши!

Разбитые стекла капитанского люка, звеня, посыпались на стол, и несколько ружей, наведенных на офицеров, засверкали с палубы: они опешили на стульях, а храбрый капитан залез под стол.

— Вы можете вести переговоры из вашей крепости, — сказал ему Белозор, — но знайте, что прелиминарная статья есть все-таки здоровье императора Александра... Да здравствует победитель Наполеона!

Французы, морщась, выпили свои бокалы.

— Теперь, господа, пожалуйте ваши шпаги: я ручаюсь вам за целость вашего имущества и невредимость ваших особ; но пусть один из вас потрудится сойти в матросскую каюту, разбудить поодиночке людей и также выслать их наверх; но я предуведомляю вас, что если вы вздумаете сопротивляться, я подниму всех на воздух; у меня 30 человек на палубе, и ваш же фалконет наведен в пороховую камеру. Остальные останутся при мне заложниками.

Сказано — сделано. Не зная, зачем и куда, вылезали матросы из люка; их хватали, вязали и укладывали, как селедок. Трое освобожденных рыбаков-голландцев помогали русским. В четверть часа судно было в полной власти их, и как ветер крепко дул с берега, то Белозор велел отрубить канат, отдал паруса и быстро покатился в океан, рассекая туман и волны. Нужно ли рассказывать, что пробужденная Жанни все еще не верила, что она видит это не во сне? Так чудно, так необычайно казалось ей все, что происходило.

Сквозь туман, летящий клубами с болотистых поморий, повременно сверкали фонари на флоте, и наконец Белозор явственно разглядел крайний корабль свой «Не тронь меня». Надобно вам сказать, что во время якорной стоянки вблизи неприятеля посылаются обыкновенно кругом каждого корабля дозорный катер, и таким-то катером встречено было судно Белозора... Молодой мичман, командовавший оным, не разглядел в тумане приближающегося и потому не мог опознать издали; но вдруг заметя парус, выходящий из паров, дал по нем выстрел из фалконета и изо всех сил пустился грести назад. В один миг распространилась тревога по всей линии, батареи открылись и осветились, фитили засверкали везде; черные громады кораблей казались тогда стойкими чудовищами, готовыми изрыгнуть смерть и гром. Напрасно кричал Белозор, что он русский, что он ведет призовое судно, — голос его замирал в шуме ветра. Видя опасность, он направил ход прямо к носу корабля, чтобы находиться вне выстрелов боковых орудий, но эта надежда была недолговременна. Когда он находился не далее полутора кабельтова от «Не тронь меня», погонные пушки были привезены и готовы. Им даже слышно было, как лейтенант командовал: «Обдуй фитиль! Пли!»

Выстрел взревел; огненное облако озарило ночь, и ядро с плеском ударилось в воду подле тендера, прыгнуло через, разбив гафель, и пошло рикшетами далее.

— Покуда снимают с нас только шапки, — сказал Белозор, глядя на сорванный топсель, — но скоро доберутся и до головы.

— Вторая! Пли! — раздалось с фор-кастля.

Это ядро дало всплеск подле самого носа и, свистя, перелетело вдоль тендера: оконтуженный французский офицер упал на палубу.

— Ядро виноватого найдет! — сказал один матрос.

— Не хотел бы я и за сто рублей стоять на его месте, — молвил Юрка.

— Полно дорожиться, и 50 линьков было бы довольно, — возразил, шутя, урядник.

— Это еще яблочки, — сказал третий, — а вот скоро потчуют смородиной, — держите шире карманы!..

— Что вы тут болтаете, как сороки! — вскричал Белозор. — Кричите-ка громче пушек, а не то дорогá нам будет расплата за непрошенные гостинцы.

— Не стреляйте! — заревели матросы на тендере. — Мы русские, мы нетронские!

Фитиль остановился над пушкой.

— Долой паруса и держите под наветренный борт, если вы русские, — раздалось сверху.

Приказ был исполнен, и скоро вооруженный баркас пристал к борту тендера. Дело объяснилось; их сочли брандером, но теперь, ступив на корабельные шканцы, Белозор не успевал отвечать на сотни вопросов, задаваемых дружескими объятиями. Все толпились кругом его, шумели, кричали: «Он воротился! Белозор воскрес!» — и никто не понимал друг друга. Наконец любопытные должны были уступить место Николаю Алексеичу, как старому другу найденного.

— Ну, брат, чародей ты, Виктор, — говорил он, обнимая друга со слезами на глазах, — на огне не горишь, на воде не тонешь. А мы про тебя у всякой селедки расспрашивали, — ни слуху, ни духу! И вдруг, когда полагали, что тлеешь на дне морском, словно оторванный верп, ты прикатил к нам подо всеми: живехонек и здоровехонек!

— Да и прикатил-то еще не один; этот тендер вырезал я из-под батарей Флессинга; но об этом долга песня, только ты, Николай Алексеич, сократил было ее: если б еще ядро чокнулось с моею посудинкою, то встреча была бы поминками.

— И что за счеты между своими, — ты бы из воды сух вышел... Да это что у тебя за яхточка на бакштове? — примолвил лейтенант, поглядывая на Жанни, которая робко озиралась на незнакомцев. — Недаром, право, мы приняли тебя за брандера; в таких глазках больше огня, нежели нужно, чтоб поднять на воздух весь союзный флот.

— Я тебе поручаю, любезный друг, занимать мою спутницу в кают-компани, покуда я объяснюсь с капитаном.

— В уме ли ты, Виктор? Я лучше соглашусь принимать порох с сигаркою в зубах, чем провести полчаса с прекрасною девушкою.

— Это будет тебе отместкой за встречу!

Капитан принял Белозора, как отец спасенного сына, и, когда тот рассказал свое похождение вкратце, уверил его, что такой подвиг не останется без представления со стороны высшего начальства и без награды от государя. Но вдруг, переменя ласковый на строгий тон, он спросил его:

— Какую девушку привезли вы с собою?

Белозор покраснел и смешался. Капитан, качая головою, слушал доводы, почему ее необходимо должно было взять с собою.

— Все это прекрасно, Виктор Ильич, — возразил он, — и очень справедливо, но всем ли вероятно? Для людей мало быть честным, надобно и казаться таким же. Ваше самоотвержение для спасения утопающих, ваше чудесное возвращение с призом, даже громкая встреча, все обратит на вас внимание всех офицеров соединенных флотов; но это же самое возлагает на вас тройную обязанность сохранить свое имя не только без упрека, даже без сомнения... А кто, не зная вас, не подумает, что этот роман изобретен для прикрытия любовной связи!

— Капитан! — вскричал Белозор, вспыхнув...

— Выслушайте меня хладнокровно. Гораздо лучше узнать от друга то, что могут говорить о вас насмешники за глазами или намекать вам о том лично. Вы будете сердиться, а над вами станут смеяться; вы будете стреляться и еще больше огласите эту сказку, придадите ей существенности. Во-первых, вспомните, как строго запрещают морские законы присутствие женщин на корабле в военное время: с какими же глазами я поеду рапортовать о том адмиралу?.. Конечно, первый вопрос его будет: что она — жена или сестра господина лейтенанта?

Белозор мрачно потупил очи.

— Положим, что я представлю ему неотвергаемые причины, как бесчестно и бесчеловечно было бы оставить ее в руках французов, положим, что он всему охотно поверит, — могу ли, однакож, я передать это убеждение всем англичанам, которые никому не уступят в злословии. Но допустим, что эта мнимая любовная выходка не только не повредит вам во мнении старых моряков, но сделает вас героем молодых; не должны ли вы позаботиться о чести этого невинного существа, которому вы случайно стали единственным покровителем? Доброе имя девушки, Виктор Ильич, — крылья мотылька: одно прикосновение уносит с него золотой пух невозвратно.

— Это был безрассудный поступок с моей стороны, — сказал Виктор печально.

— По крайней мере, несчастный случай. Кто будет защищать ее от насмешек, кто будет иметь право отомстить за оскорбления? Где и с кем будет жить она на корабле, не подвергая теперь — своей скромности и всегда — своего доброго имени?

— Вы меня ужасаете!.. Но мог ли я, должен ли был поступить иначе?.. Что прикажете делать мне теперь, капитан?

— Прошу и советую, если вы цените уважение всех людей благомыслящих, женитесь на ней.

— Жениться? — вскричал изумленный нечаянностью Белозор. — Мне жениться?..

— Конечно, вам. Вы не удостоили меня полною доверенностью, Виктор Ильич, но у влюбленных душа пробивается сквозь поры, и мне сдается, что эта девушка вам нравится, то есть очень нравится?..

— Это дело не так страшное, капитан: она моя невеста.

— Какой же я чудак! — воскликнул с радостью капитан. — Уговариваю, когда надо было только намекнуть! За чем же дело стало? По рукам, да и к налою!

— Так скоро, капитан?

— Сей же час, сию минуту!.. Не должно, чтоб ни одна заря не рассвела над ней необвенчанной, если хотите, чтобы ее честь не знала сумерек. Я уступаю вам свою каюту, и могу ли поздравить себя дружкой?

— И другом истинным, капитан! — произнес тронутый Белозор, простирая к нему руку. — Я сам бы никак не придумал уладить дело, хотя оно было самою лестною моею мечтою, и по неопытности настроил бы хлопот и себе и другим. Но у нее есть родители, люди очень богатые... подумают...

— И раздумают; нужда переменяет даже законы. Они сначала, быть может, и посердятся, потом поплачут, а потом простят и станут благодарить. Я иду распорядиться.

Если б Виктор не любил Жанни, то красноречие самого адмирала белого флага не убедило бы его, но тут несколько слов капитана бросили искры в порох. Небольшого труда стоило ему уговорить и Жанни: необходимость брака была слишком очевидна, и когда сердце заодно с разумом, согласие на устах. Мигом поспели из тонкой меди согнутые венцы, и жених с невестою, украшенные юностью и любовью, весело приступили к брачному налою. Николай Алексеич держал венец над невестою, краснея сам пуще ее и не зная, на которую ногу ступить. Капитан нашептывал что-то на ухо жениху, и толпа офицеров окружала счастливую чету с ропотом ободрения. Вся команда, взмостясь на пушки, с любопытством глядела на обряд, невиданный под палубами: слабо озаренная батарея исчезала во тьме, и плеск валов и завывание ветра придавали какое-то священное величие этому торжеству.

Сладко сорвать поцелуй втайне, сладко получить его неожиданно, но всего сладостнее лобзание венчанья, когда в глазах всего света, не краснея, вы можете назвать милую *своею*. Какой-то неизъяснимый, священный восторг проник молодых, когда они слились устами, запечатлевая поцелуем союз супружества... Это был задаток будущего блаженства, будущего благополучия. Шампанское запенилось, и Жанни, стоя на пороге спальни, пылая как роза, благодарила всех присутствующих.

— Приятной ночи! — сказал капитан, раскланиваясь с лукавою улыбкою, и задернул двери.

Канва для пылкого воображения.

Поутру захваченные Монтанем голландцы возвратились на берег и привезли матери Жанниной известие о ее замужестве. Через три дня флот пошел зимовать к Чатам, и первый, кого встретили на берегу новобрачные, был Саарвайерзен. Старик плакал и смеялся, сердился и радовался вместе, но все кончилось как нельзя лучше. Через неделю получили письмо от матери, в котором она присылала свое благословение, но, между прочим, уведомляла, что она горько плакала от мысли, как несчастна была дочь ее, не имея для свадебного стола секретного яблочного пирожного и для брачной постели пуховиков гагачьих! Жанни улыбнулась и, зарумянившись, склонилась в объятия своего Виктора.

— А, а! — сказал Саарвайерзен. — Два аршина с четвертью, видно, ты была счастлива и без яблочного пирожного!

ЭПИЛОГ

В 1822 году под осень я приехал в Кронштадт встретить моряка брата, который должен был возвратиться из крейсёрства на флоте. Погода была прелестная, когда возвестили, что эскадра приближается. Сев на ялик у гостиного двора, я поехал между тысячи иностранных судов, выстроенных улицами, и скоро выпрыгнул на батарею купеческой гавани; она была покрыта толпою гуляющих: одни, чтоб встречать родных, другие, чтоб поглядеть на встречи. Ленты и перья, шарфы и шали веяли радугою. Веселое жужжанье голосов словно вторило звучному плеску моря; песни, стук, скрип блоков, нагрузка, оснастка по кораблям, крик спящих между ними лодочников и торговков, словом, вся окружная картина деятельности оживляла каждого какою-то европейскою веселостью. Только одни огромные пушки, насупись, глядели вниз через гранит бруствера и будто надувались с досады, что их топтали дамские башмаки.

Увиваясь между пестрыми рядами, меняясь вопросами со знакомыми, поклонами с полужа знакомыми и приветствиями с пригоженькими, я был поражен необыкновенною красотою одной высокого роста дамы; она стояла на парапете, устремив глаза на приближающийся флот. Ветер, врываясь под соломенную ее шляпку, взвевал роскошные ее локоны и обдувал стройные формы стана — но какого стана! Вы бы не спали три ночи и бредили три дня, если б я мог вам нарисовать его! Правой рукой держала она шелковый зонтик, а левую опирала на плечо мальчика лет осьми, миловидного, как амур. Он так нежно припадал к ней, она так ласково улыбалась ему, оба они составляли столь прелестную купу, что я загляделся и заслушался, хотя она не говорила ни слова. Есть возраст, милостивые государи, в который шум женского платья кажется нам очаровательною музыкою Эоловой арфы или даже, если вы имеете романтическое ухо, гармоникой сфер.

Я несколько раз вспрыгивал рядом с нею на парапет; шпоры мои брякали на чугуне пушки, сабля исторгала искры из гранита, но все эти проделки не выманили у прекрасной незнакомки ни одного взора, ни малейшего внимания. Самолюбие мое было обижено до конца ногтей: имея тогда красные щеки, черные усы и белый султан, я полагал, что имею право по крайней мере на ласковый взгляд каждой женщины; но это подстрекало меня: я хотел упорством победить упорство и, как бог Термин, прирос вблизи, любуясь ее ножками, карауля взгляды и в отмщение наводя свою трубку на море.

Флот приближался, как станица лебедей. Корабли катились величаво под всеми парусами, то склоняясь перед ветром набок, то снова подвигаясь прямо. Легкий передовой фрегат в версте от Кронштадта начал салют свой... Белое облако вырвалось с одного из подветренных орудий, другое, третье — и тогда только грянул гром первого. Дым по очереди салютующих кораблей долго катился по морю и потом тихо, величественно начал всходить, свиваясь кудрями. Едва отгрянул и стих гул последнего выстрела, корабли, по сигналу флагмана, стали приводить к ветру, чтобы лечь на якорь. Несколько минут царствовало всеобщее молчание. Внимание всех обращено было на быстроту и ловкость, с которою команды убрали паруса, что называется, *на славу*, и вдруг заревела пушка с Кроншлота, — все дрогнуло; дамы ахнули, закрывая уши! Ответные семь выстрелов исплинских орудий задержали завесой дыма картину... Когда его пронесло, весь флот стоял уже в линии, и несколько шлюпок, как ласточки, махали крыльями по морю, спеша на радостное свиданье.

Адмиральский катер гордо пролетел сквозь купеческие ворота; за ним, как быстрая касатка, рассекала зыбь легкая

гичка с широкой зеленой полосой по борту. Статный штаб-офицер с двумя орденами на груди стоял в ней, сложа накрест руки, и хотя зыбко было его подножие, но он стоял твердо, будто на каменной плите.

— Это он, это твой папенька! — вскричала радостно красавица, указывая малютке на шлюпку, и кинулась к пристани... Вспрянув опять на ограду, она простирала руки навстречу супругу; огонь нетерпения пылал в щеках ее; взоры ее лобзали уже милого гостя... И он увидел ее, увидел сына, которого подняла она в воздух, и, отверзши уста, упершись ногой в край шлюпки, чтоб перепрыгнуть на берег, он был живое изображение мужественной любви. Я забыл о стане, забыл об очах и кудрях прекрасной незнакомки: я любовался уже одной душою ее, я мечтал о завидной доле счастливец — ее мужа.

— Шабаш! — крикнул урядник, и весла ударились в лад об воду. Как сокол, складывающий крылья, чтобы сильнее ударить, сложились они, и два крюка, словно когти, возникли пред грудью...

— С какого корабля? — спросил часовой, между тем как шлюпка описывала быстрый полукруг.

— Фрегата «Амфитриды».

— Кто офицер?

— Капитан 2-го ранга Белозор! — отвечал урядник. Супруги уже лежали друг у друга в объятиях.

1830

Дагестан.

МОРЕХОД НИКИТИН

A sail, a sail — a promised price to hope!
Her nation, flag? What speaks the
telescope?
She walks the waters like a thing of life
And seems to dare the elements to strife.
Who would not brave the battle fire, the
wreck,
To move the monarch of her peopled deck?

Byron. 1

В 1811 году в июле месяце из устья Северной Двины выходил в море небольшой карбас. Надо вам сказать, что в 1811 году в июле месяце, точно так же как в настоящем, 1834 году, до которого мы дожили по милости божией и по уверению календаря академии, старушка Северная Двина выливала огромный столб вод своих прямо в Северный океан, споря дважды в день с приливом, который самым бессовестным образом вторгался в ее заветные омуты и превращал ее сладкие, благородные струйки в простонародный рассол, годный разве для трески. Обязан я вам и объяснить по долгу литературной совести, что карбасом в те поры, как доселе, называлось судно шагов восемнадцать длиннику на шесть ширины, с двумя мачтами однодревками, полусшитое корнями, полусбитое гвоздями, из которых едва ль пятая часть были железные. Палубы на карбасе обыкновенно не полагалось, на корме и на носу небольшие навесы образовали конурки, где на кучах клади только русская спина, и только одна спина, могла уютиться, скрутиться в три погибели. Вследствие чего, как вы сами усмотреть благоиз-

¹ Корабль, корабль — надежда на приз! Какой он нации, под каким флагом? Что говорит зрительная трубка? Он идет по волнам как одушевленный; он, кажется, вызывает на бой стихии. Кто побояется огня, воды, чтоб только пройти властелином по этому многолюдному деку?

Байрон (перевод автора).

волите, в середину судна белый свет и бесцветная вода сверху и снизу, справа и слева могли забегать и проживать безданно, бесплошно. Посудина эта, или, выражаясь учтивее, этот корабль, а слово «корабль», заметьте, произвожу я от «короба», а короб от «коробить», а коробить от «горбить», а горб от «горы»: надеюсь, что это ясно; какие-то подкидыши этимологи производят «корабль» от какого-то греческого слова, которого я не знаю, да и знать не хочу, но это напраслина, это ложь, это клевета, выдуманная каким-нибудь продавцом греческих орехов: я, как вы изволите видеть, коренной русский, происхожу от русского корня и вырос на русских кореньях, за исключением биквадратных, которые мне пришлось не по зубам; а потому, за секрет вам скажу, терпеть не могу ничего заморского и ничему иностранному не верю, — итак, этот корабль, то есть этот карбас, весьма походил на ладью, или ладью, или лодку, древних нордманнов, а может стать и аргонавтов, и доказывал похвальное постоянство русских в корабельной архитектуре, но с тем вместе доказывал он и ту истину, что мы с неуклюжими карбасами наследовали от предков своих славено-руссов отвагу, которая бы сделала честь любому hot pressed (силой завербованному) моряку, танцующему под свисток man of war¹ на лощеной палубе английского линейного корабля, или спесивому янки, бегущему крепить штык-болт по рее американского шунера.²

Да-с! Когда вздумаешь, что русский мужичок-промышленник, мореход, на какой-нибудь щепке, на шитике, на карбасе, в кожаной байдаре, без компаса, без карт, с ломтем хлеба в кармане плывал, хаживал на Грумант — так зовут они Новую землю, — в Камчатку из Охотска, в Америку из Камчатки, так сердце смеется, а по коже мурашки бегают. Около света опоясать? Копейка! Послушайте, как он говорит про свои странствия, про которые бы французы и англичане и в песнях не напелись и в колокола не назвонились, и вы убедитесь, что труды и опасности для него игрушка. «Забрались мы к Гебридским да оттуда *на перевал* в Бразилию, в золотое царство махнули. Из Бразилии *перетолкнулись* в Камчатку, а оттолкь ведь на Ситку-то *рукой подать!*» Вот этаких удалцов подавай мне — и с ними хоть за живой водой посылай! Окиан встрется? — Окиан шапками вычерпаем. Песчаное море? — Как тавлинку вынюхаем! Ледяные горы? — Вместо леденца сгрызем! Где ж это сударыня Невозможность запропастилась? Выходи — авось на подметки нам пригодится! Под кем добрый конь авосьмасти, тому лес не лес, река не река: куда ни поскачет, дорога;

¹ Военный (ред.).

² В насмешку англичане называют северо-американцев — yankee (янки).

где ни обернется, простор. На кита, так на кита, экая невидаль! Зубочисткой заострожим! На белого медведя? Щелком уьем; а в красный час и лукавый под руку не подвертывайся. Нам уж не впервые на зубах у него гвозди ковать, в нос колечко вдевать. Правду сказать, русак тяжел на подъем; раскачать его трудно: зато уж как пойдет, так в самоходах не догонишь. Куда лениво говорит он первое: «Ась?» Но когда после многих: «Да на что мне это! Да к чему мне это! Живет и так; как-нибудь промаячим!» — доберется он до: «Нешто попытаем!» да «Авось сделаем», — так раздайтесь, расступитесь: стопчет, и поминай как звали! Он вам перехитрит всякого немца на кафедре, разобьет француза на поле и умудрится на заводе лучше любого англичанина.

Но к делу. В 1811 г. еще ни один пароход не пугал своими шумными колесами рыбного народа в реках русских, и потому двинские рыбки безбоязненно высовывали головки свои, чтобы полюбоваться на вороной, как соль, карбас и тех, которые им нравились. Вот физиологические подробности, полученные мною от одной из очевидиц, щук: несмотря на архангелогородскую соль и непривычное ей путешествие в розвальнях, слог этой щуки так цветист, как будто бы она кушала сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок; должно думать, что предметы, отражаясь в тысяче граней рыбьих глаз, производят необыкновенное разнообразие впечатлений в их мозге; образчик прилагается в подлиннике.

Река, — рыбы всегда начинают речь с своего отечества, с своей стихии: благоразумные рыбы! в этом они несколько не следуют сосцепитательным сочинителям, которые всего более любят говорить о том, что они знают наименее, — река чуть струилась; корабль катился быстро, напутствуемый теченьем и ветром; пологие берега незаметно текли мимо его, и если б кой-где стоящие на якорях суда не оказывали бега судна, как поверстные столбы, то пловцы в карбасе могли бы подумать, что они неподвижны: столь однообразно-пусты, так безмолвно-мертвы были окрестные тундры. Тогда еще не видно было на берегах Двины сахарных и канатных заводов и ни одна верфь не готовила бросить в воду юных скелетов корабельных, еще не одетых дубовою плотью. На всем пространстве от Соломбола до устья не встретилось им ни одной живой души, хотя разноцветный мох подернут был оранжевою ягодой морошки...

— Отличное противоскорбутное средство! — замечает мой приятель, медик. — Природа помещает всегда противоядие вблизи яда. Как мне известно, морошка составляет теперь отрасль торговли Придвинского края: ее для английского флота вывозят тысячами сороковых бочек.

...Морошки, раскинутой причудливыми узорами, подобно фате северной красавицы...

— Лучше бы сказать, подобно русскому ситцу, — говорит один женатый помещик, — потому что русские ситцы-самоделки точь в точь морошка по болоту.

Рыба сморкает нос и продолжает:

Только одинокий журавль, царь пустыни, бродил там, как ученый по части зоологии...

Он, то есть журавль, а не ученый, втыкал нос в мутную воду, в жидкий ил и, вытащив оттуда какого-нибудь червячка или пискаря, гордо подымал голову. Оглянувшись на карбас, он рассчитал глазомерно расстояние и, уверившись, что находится вне выстрела, погнался за резвою лягушкой, беспечно кивая хвостиком. Он нашел лягушку гораздо занимательнее людей.

И справедливо: барон Брамбеус хоть вовсе не похож на журавля, а чуть ли не того же мнения. — Лягушек не лягушек, скажет он, а что устриц я всегда предпочту людям! Во-первых, древность происхождения устриц глубже всякой летописи и несомненнее Несторовой, так что сам барон Кювье не отыскал пятна в их предпотопной генеалогии; во-вторых, они постоянно китайцев в своих мнениях: рождаются себе и умирают у скалы, к которой приросли, и с доброй воли не делают фантастических путешествий; и в-третьих, не заводят в старом море юной литературы.

Судя по хладнокровию или, лучше сказать, по беспечности, с какою четверо мореходцев, составлявших экипаж карбаса, спускались в шумный бурун, образованный борьбою речной воды с напором возникающего прилива, их можно было бы зачислить в варяжскую дружину, не подводя под рекрутскую меру. На руле сидел здоровый молодец лет двадцати семи: волосы в кружок, усы в скобку, и бородка чуть-чуть закудрявилась; на щеках румянец, обещавший не слинять до шестидесяти лет, с улыбкой, которая не упорхнула бы ни от девятого вала, ни от сам-девять сатаны; одним словом, лицо вместе сметливое и простодушное, беззаботное и решительное; физиономия настоящая северная, русская.

По одежде он принадлежал к переходным породам. На голове английская пуховая шляпа, на теле суконный жилет с серебряными пуговицами; зато красная рубашка спускалась по-русски на китайчатые шаровары, а сапоги, по моде, сохранившейся у нас со времен Куликовской битвы, загибали свои острые носки кверху. По самодовольным взглядам, которые бросал наш рулевой на изобретенный им топсель, вздернутый сверх рейкового паруса, — он принадлежал к школе нововводителей. У средней мачты, в парусинной куртке и в таких

же брюках, просмоленных до непроницаемости, сидел старик лет за пятьдесят, у которого благословенная борода была в явном разладе с кургузым матросским платьем: явление странное всегда и нередкое до сих пор. Издавна ходил он по морям на кораблях купца Брандта и компании, но напрасно уговаривали его хозяева обрить бороду. Ураганы могли терзать ее, море вцеплять в нее свои ракушки, вкраплять соляные кристаллы, случай заедать в блок или в захлест каната, но владетель ее был непоколебим ни насмешками юнгов, ни ударами судьбы. Он не возлагал даже на нее постризала, и она в природной красе, во весь рост, расстилалась по груди и по плечам упряма. Дядя Яков, так звали этого чудака, сидел на бочонке русского элемента, квасу, и сплескивал, то есть страшился, веревку. У ног его почти лежал молодой парень лет двадцати, упершись ногою в борт и придерживая руками шкот, угловую веревку паруса. По его свежему лицу, по округлым, еще не изломанным опытом чертам, по любопытству, с каким поводил он вокруг глазами, даже по неловкости его, больше чем по покрою кафтана, можно было удостовериться, что он не просоленный моряк, новобранец, только что из села.

На носовом помосте лежал ничком, свесив голову за борт, коренастый мореходец с физиономией, какие отливает природа тысячами для всенеднего расхода. Не на что было повесить на ней никакого чувства, а мысль, будь она кована хоть на все четыре ноги, не удержалась бы на гладком его лбу. Он поплывал в воду и любовался, как струя уносила изображение его жизни, и потом запевал: «Ох, не одна! Эх, не одна!» — и опять поплывал. Он принадлежал к бесконечному ряду практических философов, которые разрешают жизнь самым безмятежным образом — работать, когда нужно, спать, когда можно.

Молодой человек, сидевший на руле, был полный и законный хозяин карбаса вместе с грузом и временный командир, капитан или воевода дяди Якова, Алексея, племянника по его сердцу, и неизбежного Ивана по сердцу всему свету. Оставшись сиротою на двенадцатом году возраста, он, как большая часть удалых ребят Архангельской губернии, нанялся юнгою на английский купеческий корабль и мыкался бурями и волнами до двадцати двух лет, имея удовольствие получать щелчки от шкиперов всех наций и побранки на всех языках. Наскучив бесприютною жизнью матросскою, он пристал к истинно почтенному классу биржевых артельщиков, людей испытанной честности, трезвых, деятельных, смысленных, и потом взят с хорошим жалованьем в контору одного из богатейших иностранных купцов Архангельска. Через шесть лет он был уже в состоянии покинуть чужое гнездо. Его томила охота отвесть своего сча-

стья, поторговать на свое имя, — и вот он купил и снарядил карбас, — и вот он теперь уже в пятый раз, в другое лето, пускается в море.

Впрочем, никогда еще Савелий Никитич — это было его имя — не пускался в море с таким запасом веселости, как этот раз. Причину тому я знаю, — да и чего я не знаю? Не хочу таить ее за душой. Он, — в добрый час молвить, в худой помолчать, — задумал жениться. Дочь его соседа, также архангельского мещанина, как он сам, Катерина Петровна, прелестная, как все Катерины вместе, и миловидная, как ни одна из Катерин, до сердца приглянулась нашему плователю. Его воображение, изощренное морским воздухом, и во сне ничего не грезило свежее, умнее и достойнее этой русской красавицы. Ему всего более понравилось, что она порядком отбояривала от себя молодых флотских офицеров, которые, сверх обязанностей по службе, берут на себя образование молодых девушек во всех портах пяти частей света. Одним словом и наконец, он, раскинув умом-разумом, подвел итоги своих карманов, пригладил голову кваском и, благословясь, пошел сватать свою зазную к отцу ее. С самой Катериной Петровной он, должно быть, давно стакнулся; и хоть я не был свидетелем, да уж на свой страх говорю вам, что молодежь моя променяла между собой не одну клятву любви и верности с приложением взаимных поцелуев. Как быть, милостивые государи! В торговле всегда есть контрабанда, в сватовстве потаенные сделки.

Савелий расчувствовался; упал на колени перед отцом Катеньки, просит благословения.

Старик отец погладил его по голове и поднял; погладил себя по бороде и сказал:

— Послушай, Савелий Никитич! Ты добрый человек, ты смысленный и честный парень; спасибо, что пришел ко мне прямо без свах, и тебе я скажу прямо без обиняков: ты мне по душе, я не прочь породниться с тобою; однако...

Ох, уж мне это однако вот тут сидит, с тех пор как учитель хотел было, по его словам, простить меня за шалость, однако высек для примера; с тех пор как мой искренний друг и моя вернейшая любовница клялись мне в привязанности и за словом, однако, надули меня... Однакож оставим это «однако».

Савелий, не смеядохнуть, стоял перед стариком, высасывая глазами догадки из его лица, но слово «однако», произнесенное с такою расстановкою, что между каждым слогом уложиться могло по двадцати сомнений, распилило его сердце пополам, и опилки брызнули во все стороны.

— Од-на-ко (после ко две черточки), — произнес старик и почесал в затылке, потому что затылок есть чердак человеческого разума, в который сваливают весь хлам предрассуд-

ков, всю ветошь нравоучений, колодки давно стоптанных мнений и верований, битые фляжки из-под воображения; или, лучше сказать, он гостинодворская темная задняя лавка, в которую обыкновенно заводят приятеля-покупателя, чтобы сжить с рук полинялый, староманерный товар. — Однако, Савелий Никитич! Ведь не мне жить с тобой, а дочери, а за ней приданое не богато. Я и сам с копейки на копейку перепрыгиваю. Рад бы душой, да кус небольшой: у меня же сыновья подростки. Опять и дочери своей мне не хочется видеть в нужде, лучше заживо в землю закопаться. Впрочем, вокруг Катеньки, сам ты известен, женихи, словно хмель, увиваются.

«Пропала моя головушка!» — подумал Савелий.

— Не в укор тебе будь помянуто: покойник батюшка твой сидел в лавочке, да выехал из ней на палочке: благодаря мичманам проторговался; заплатился добром за свою простоту и пустил тебя круглым сиротою кататься, словно медный грош, по белу свету. Не осуди, брат Савелий! Имя твое знаю я, отчество знаю, а животов не знаю. Скажи мне, как на духу: есть ли на что у тебя хозяйством обзавестись да себе на прожиток и детям на зубок придобуть?

Савелий вытащил бумажник, показал ему свои аттестаты, выложил тысячу рублей чистогану, да еще тысячи на полторы квитанций купленным товарам: это для мещанина не безделица.

— Притом я имею суднишко и кредит, — сказал он, — ношу голову на плечах и, благодаря создателя, не пустоголов, не сухорук. Прошлый год я выгодно продал в Соловках свои товары, был там и по весне; да если с тобой поладим, так с жениной легкой руки в Спасово загovenье опять пушусь. Что ж, Миرونч: аль другие-то лучше меня? Позволь!

— Ну, Савелий, руку! Только свадьбе быть после Спаса. Ты наперед съездишь в Соловки да собьешь копейку на обзаводство; а то с молодой женой ростням конца не будет. Не поперечь мне, Савелий, у меня слово с заклепом.

— Это очень хорошо! — сказал Савелий. «Это очень плохо!» — подумал Савелий.

Но делать было нечего: довелось согласиться на отсрочку. Благословили образом, обручили, а между тем, покуда подружки-голубушки шили Кате приданое да пели, — между тем как отец и мать ее пиди да плакали, карбас Никитина снарядился и нагрузился. Минута разлуки была уже за плечами, уж на плече, уж расправляла крылья, чтоб улететь, а наши милые, или, как выражаются архангелогородцы, бажонные обрученники, о том и думать не думали. Дядя Яков принужден был вытащить жениха от невесты волоком. Попутный ветер казался ему самую противною погодой; но ветер пересилил любовь. Савелий выпил

последнюю каплю наливки, сорвал последний поцелуй с губок невесты. Сладка ему была капля, поцелуй еще слаще: век не расстаться бы с ними, однако он расстался. Ему надо было спешить уехать, чтобы поспешнее приехать. Он прыгнул в карбас, цепь с громом скользнула со сваи, карбас отчалил.

Долго стояла Катя на набережной, провожая глазами суженого, махая белой рукой; сердце ее вещевало не на доброе: она залилась слезами и пошла домой, вытирая их миткалевым рукавом своей сорочки. С Савельем было не лучше: покуда видна была Катя, он оглядывался до того, что чуть шеи не вывихнул, а потом взгляды его ныряли в воду, — словно он обронил туда свое сердце, — словно он с досады хотел ими вагачь струю-разлучницу. И наконец, переполненный горечью сосуд пролился: слезы брызнули из глаз бедняги в три ручья, — и именно в три, потому что две струйки сливались у него на носу и катились вниз рекою, точь в точь как Юг и Сухона образуют Северную Двину. Это, однакож, облегчило Савелья; он отдохнул; доброе солнышко так весело взглянуло ему в очи, что он улыбнулся; ветер спашнул и высушил даже следы слез; вот и надежда-летунья начала заигрывать с его душою. И чего, в самом деле, доброму молодцу было печалиться? Впереди его — золото, назади — любовь!.. Правда, между этими оконечностями лежали две бездны моря, усаженные опасностями от бурь и каперов, — тогда с англичанами была война, — да ведь бог не без милости, казак не без счастья: не в первый раз ему было с морем переведываться. Пять часов пути и шестьдесят верст расстояния прокрались мимо, как беглецы, и вот почему наш Савелий так беззаботно, так весело пускался в бурун, разграничивающий соленую воду от пресной.

И шибко, со всего разбега ухнул острогрудый карбас в бой шумящего, плещущего бара — так шибко, что брызги засверкали и рассыпчатая пена обдала пловцов с головы до ног. Карбас черпнул. Испуганный, облитый Алексей выпустил шкот из рук своих; парус заполоскался, карбас возник, взбежал на хребет вала и мигом стремглав промкнул сквозь водяную грядку. Через пять минут он гоголем плыл уже по морю, которое с ропотом наступало на берега.

— Что, Алексей, — спросил новобранца Савелий, усмехаясь, — аль тебе не любы крестины морскою водою?

— Хороши, — отвечал Алексей, вытирая лицо, — только без каши и крестины не в крестины.

— Погоди, брат Алеша, мы тебя в соленой купели выкупаем. Тогда уж с веслом и за кашу посадим тебя, — помеси, да и в рот понеси, — кушай да похваливай. Захочешь ли браги — брага у нас шипучка; зелено вино с пенкой не купленные, не меренные, — пей, сколько в душу войдет.

— Спасибо на ласке! Подноси сперва старшим, дядюшка, — лукаво отвечал Алексей.

— Ты в море гость, мы хозяйева, — сказал Савелий: — а гостей потчуют не по летам.

— Однако, — молвил дядя Яков, оглядывая в дозор небосклон, — не придержать ли нам на вечер-то вдоль берега? Что-то очень парит: словно пыль пылит над тундрой. Подыметса, перовен час, разыграй-царевич, — так и нам в открытом море без беды беда придет.

— Волка бояться, в лес не ходить, дядя Яков! — возразил Савелий. — Ветер, словно клад, не во всякую пору дается: упустим его, так трудно будет на него карабкаться после. А когда теперь на норд-вест заберемса, так уж поветер-то как по маслу скатим в Соловки, когда вздумается. Небо чисто.

— Нешто! — сказал дядя Яков и принялся доплетать узел веревки.

— Вестимо так! — сказал Алексей, как будто что-нибудь понял, и принялся зевать в обоих значениях этого слова. Иван не рассуждал и не говорил: он поплеывал в море. Савелий по привилегии, данной всем людям, у которых звенит что-нибудь в голове или в кармане, строил воздушные замки. Карбас, пятое действие нашей драмы, покачиваясь с боку на бок, изволил плыть да плыть в необъятное море.

День шел в гости к вечеру. Прибережье никло; островок Мудюг, стоящий на часах у входа в Двину, окунывался, и опять выглядывал, и опять окунывался в воду. Скоро земля слилась в темную полосу, в черту едва видную; вал заплеснул и эту черту, — прощай, моя родина! Бездонное небо, безбрежное море обнимают теперь утлое судно. Только вольный ветер да рысчучие волны напевают ему в лад свою вечную непонятную песню, возбуждая думы неясные о том, что было и что будет, о том, чего никогда не было и никогда не будет.

Не знаю, случалось ли вам испытывать чувство разлуки с родным берегом на веру зыбкой стихии. Но я испытал его сам; я следил его на людях с высоко настроенною организацией и на людях самых необразованных, намозоленных привычкою. Когда почувствуешь, что якорь отделился от земли, мнится, что развязывается узел, крепивший сердце с землею, что лопают струна этого сердца. Грудь становится больно и легко невозобразимо!.. Корабль бросается в бег; над головой выхотса морские птицы, в голове роятса воспоминания, они одни, гонцы неутомимые, несут вести кораблю о земле, им покинутой, душе о былом невозвратном. Но тонет и последняя альциона в пучине дали и последняя поминка в душе. Новый мир начинает поглощать ее. Тогда-то овладевает человеком грусть неизъяснимая, грусть уже не земная, не земляная, но еще и не вовсе

небесная, словно отклик двух миров, двух существований; развитие бесконечного из почек ограниченного; чувство не сжимающее, а расширяющее сердце, чувство разъединения с человечеством и слияния с природою. Я уверен, оно есть задаток перехода нашего из времени в вечность, дивз из октавы кончины.

И неслышимо природа своей бальзамической рукою стирает с сердца глубокие, ноющие рубцы огорчений, вынимает занозы раскаяния, отвевает прочь думы-смутницы. Оно яснее, хрусталеет, — как будто лучи солнца, отразясь о поверхность океана и пронзая чувства во всех направлениях, передают сердцу свою прозрачность и блеск, обращают его в звезду утреннюю. Вы начинаете тогда разгадывать вероятность мнения, что вещество есть свет, поглощенный тяжестью, а мысль, нравственное солнце, духовное око человека, сосредоточивая в себе мир, есть вещество, стремящееся обратиться опять в свет посредством слова. Тогда душа пьет волю полную чашею неба, купается в раздольи океана, и человек превращается весь в чистое, безмятежное святое чувство самозабвения и мироневедения, как младенец, сейчас вынутый из купели и дремлющий на зыби материнской груди, согретый ее дыханием, улелеянный ее песнью. О, если б я мог вымолить у судьбы или обновить до жизни памятью несколько подобных часов! Я бы...

— Я бы тогда вовсе не стал читать ваших рассказов, — говорит мне с досадою один из тех читателей, которые непременно хотят, чтоб герой повести беспрестанно и бесценно плясал перед ними на канате. Случись ему хоть на миг вывернуться, они и давай заглядывать за кулисы, забегать через главу: «Да где ж он? Да что с ним случилось? Да не убит ли он, не убит ли он, не пропал ли без вести?» Или, что того хуже: «Неужто он до сих пор ничего не сделал? Неужто с ним ничего не случилось?»

— Я бы вовсе не стал тогда читать ваших рассказов, г. Марлинский, потому что — извините мою откровенность — я уже не раз и не втихомолку звал при ваших частых, сугубых и многократных отступлениях. Хоть бы вы за наше терпение перекувыркнули вверх дном этот проклятый карбас, который ползет по воде, как черепаха по камням. Так нет, сударь: всплыл, как всплыл. Думаем, вот сцапает он Савелья за вихор, минуя брандвахту, и откроет в нем какого-нибудь наполеоновского пролаза или морского разбойника. Не тут-то было! Вместо происшествий у вас химическое разложение морской воды; вместо людей мыльные пузыри и, что всего досаднее, вместо обещанных приключений ваши собственные мечтания.

Я ничего вам не обещал, милостивый государь, говорю я с возможным хладнокровием для авторского самолюбия, про-

колотого навывлет, самолюбия, из которого еще каплет кровь по лезвию насмешки. Ваша воля — читать или не читать меня; моя — писать, как вздумается.

— Но, милостивый государь, я купил рассказ ваш.

Я не приглашал вас; не брал вас с учтивостию за ворот, как это делается в свете при раздаче лотерейных билетов или билетов на концерт для бедных. Вы купили рассказ мой и можете сжечь его на раскурку, изорвать на завивку усов, употребить на обертку ваксы. Вы купили с этим право бранить или хвалить меня, но меня самого вы не купили и не купите, я вас предупреждаю. Перо мое смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да: верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге без заповеди, куда глаза глядят. Я так и делаю: бросаю повод и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, замечает ли ветер след мой, прям или узорен след мой. Перепрынул через ограду, переплыл за реку — хорошо; не удалось — тоже хорошо. Я доволен уже тем, что наискался по простору, целиком, до устали. Надоели мне битые укаты ваших литературных теорий *chaussées*, ваши вековечные дороги из сосновых отрубков, ваши чугунные ленты и повешенные мосты, ваше катанье на деревянной лошадке или на разбитом коне; ваши мартингалы, шпихцигели и шпаниш-рейтеры; бешеного, брыкливого коня сюда! Стэпи мне, бури! Легок я мечтами, лечу в поднебесье; тяжек ли думами, ныряю в глубь моря...

— И приносите со дна какую-нибудь ракушку.

Хоть бы горсть грязи, милостивый государь. Она все-таки будет свидетельницей, что я был на самом дне. Для купца дорог жемчуг; естествоиспытатель отдает свой перстень за иную подводную травку. Что прибавит жемчужина к итогу счастья человеческого? А эта травка, может быть, превратится в светлую идею, составит звено полезного знания. Желаю знать: купец вы или испытатель?

Читатель мой дворянин, не только личный, но, может стать, двуличный, наследственный: он никак не хочет назваться купцом. Опять он терпеть не может и естествоиспытателей всех родов, которые пластают, потрошат природу, рассекают мозг, и сердце, и карманы человеческие вживе, будь они хоть пятого класса, и ловят там насекомые мысли, пресмыкающиеся чувства. Да мало того, что они нащипливают все это на остроумие и выставляют на благорассмотрение почтеннейшей публики; они подслушивают у дверей кабинетов, заползают под изголовья супружеские, втираются в сени палат, подкапываются под гробы, проникают всюду, как золото, впиваются в души, как лезть, и потом, милости прошу! все ваши тайны вынесены уж на толкучий.

— Нет, я не купец, не испытатель, — говорит он. — Я просто читатель.

Я кладу свои замечания в ум ваш, как свои деньги в ломбард: на имя неизвестного!

Вот, по крайней мере, ясно и неоспоримо. Не надейтесь же получить более четырех законных процентов, в этого вам за глаза. Правда, я веду слово про архангельского помещика Савелия Никитина и ручаюсь, что для русского анекдот этот будет занимателем по тому уж одному, что он не выдумка. Но кто вам сказал, что сам я менее занимателен, чем Савелий Никитин? Знаете ли, сколько страстей перемолол я своим сердцем? Какие чудные узоры начеканил мир на моем воображении? И если б я вздумал перевести с души на ходячий язык свои опыты, мечты и мысли, вы, вы сами, сударь, нашли бы эти записки занимательными не менее «Записок Трелонея» или «Последней нескромности современницы».

— Ради Смирдина, сделайте это поскорее, любезнейший! И тисните в большую осьмушку с готическим заглавием и с виньеткою Жоанно. Я страх люблю виньетки и мемуары, особенно вроде Видока. Даете вы слово? Скажите ж — да! Полноте упрямячь: снимите долой лень свою!..

У нас печатная сторона человека всегда будет походить на подкладку из одних афиш комедианта Цапата в Жильблазе; и вот почему, милостивый государь, если вы хотите узнать меня, то узнавайте кусочками, угадывайте меня в стружках, в насечке, в сплавке. Не мешайте ж мне разводить собою рассказы о других: право, не останетесь в накладе.

Я поднимаю спущенную петлю повести.

Савелий сидел, задумавшись, на руле. Сердце его то вздувалось, как парус, то опадало, как волна. Чувство беспредельности завладело им, и тогда на вопрос — о чем ты думаешь? — он мог бы отвечать — ни о чем! — по всей правде; потому что все мысли, все ощущения в такие часы подобны каплям, вдруг улетученным в безвидные пары: они разливны, смешанны, безграничны. Товарищи Савелья больше или менее погружены были в такое же безотчетное немое созерцание и внимание природы в себе и себя в природе, в чувство сознания, неразлучного событию, доступное, как я думаю, всем животным.

Наконец племянник дяди Якова, который, по всей вероятности, нехотно расстался с избой своей и косой своей и косой своей любушки, с горелкой и с горелками, первый сломал общее молчание:

— Эка притча, подумаешь ты! Ухитрился же человек в корыте по морю плавать, бога искупать! Аль земля-то клином сошлась? Аль на земле угодьев ему не стало?

— Молчал бы ты, молчал, — возразил с досадою дядя Яков. — Коли в мореходы пошел, так по земле нечего гужить! Земля: эка невидаль! Видишь, что выдумал!

— Право, дядя Яков, не я ее выдумал.

— Тебе ль ее выдумать, когда ты об ней подумать-то путем не умеешь! Земли-то у нас много, да в земле мало: за-неволю пришлось рулем море пахать. Небось, любишь ты и крупчатик съесть, и синий кафтан напялить, и почаевать порой: а разве тонкое сукно да сахар у нас на берегах растут? Ась? Вот и плывут удалые головы за море, по красный товар. В лес не съездишь, так и на полатях замерзнешь.

У глупцов голова ни дать, ни взять азиатский каравансарай: голые стены без хозяина. Мысли приходят в нее неизвестно откуда, уходят незнаемо куда. Слово «море» пролетело сквозь уши Ивана и спустило пружину песни. В голове его ничего не было, кроме песен; он затянул:

За морем синичка не пышно жила;
Не пышно жила, пиво варивала,
Солоду кушила, хмелю взаимы вяла.

В свою очередь слово «пиво» чудным сцеплением идей пробудило в Алексее пивное воспоминание, и он, вытирая мечтательную пену с губ своих, сказал:

— Знаешь ли что, дядя Яков? В иную пору мне бы и в ум не впало тужить по родине, а теперь у нас в деревне праздник на дворе, так если бы удалось престолу свечку поставить, — повиднее бы в море пускаться.

— Молод, брат, ты, Алеша, да вороват! Не свечка, а петка у тебя на уме. Не молиться, а столовать тебя охога разбирает. Старики не даром сложили пословицу: кто на море не бывал, досыта богу не маливался. Да уж коли здесь мало простору, так в Соловках молись — не хочю. Добрые люди с краю земли пешком туда ходят на богомолье, а тебе к случаю, без труда, выпала такая благодать — чудотворцам Зосиме и Савватию поклониться, к мощам приложиться, чудесам их подивиться! Ахнешь, брат, как повидишь, из каких громад сложены стены монастырские! Вышины — взглянь, так шапка долой; толшины — десять колесниц рядом проскачут; и каждый камень больше избы. Ведь святым угодникам ангелы помогали: человеку ни вздумать, ни сгадать, не то чтобы руками поднять такое беремя.

— Аль Соловецкий-то остров утес, дядя Яков?

— В том-то и диво, что не утес. Берег как Двинский: песок, где-где с подводными валунами. А птицы-то, птицы что там! На заре инда стон стоит! Гусей, лебедей, словно пены: под божью тенью рай для них. Никто их не бьет, не пугает

сердечных. У самых ворот журавли на одной ножке стоят, дикие утята полощутся и усатые киты играют, со стен подачки дожидаются.

— А что, дядя Яков, кит-рыба, примером сказать, ростом-дородством будет с царский корабль?

— Кит киту розь, — преважно отвечал дядя Яков. — Есть сажен в десять, есть сажен в двадцать: да это на нашем веку так они измелъчились. Встарину то ли было! Лет два сорока тому назад в страшную бурю прошел мимо Соловецкого кит, конца не видать; разыгрался он хвостом, хвост-то вихрем и вдуло, как парус: не может кит хлеснуть им об воду. А хлеснул бы он, затопил бы низменный остров, залил бы монастырь с колокольнями. Отец архимандрит со всеми старцами целую ночь напролет слезно молились: пронеси, господи, мимо китарьбу! Не дай ей ударить ошибом по морю! И отмолили беду неминуемую: к утру кит провалил мимо, гроза утишилась. Даже в Архангельске слышно было, когда приударили на Соловках с радости в огромные глиняные колокола. Ну, слава богу! Сказали: жива обитель преподобных Савватия и Зосимы!

— А что, эти глиняные колокола-то обожженные али из сырца? — с недоверчивостью спросил Алексей.

— Не сподобил бог видеть самому: только пономарь мне сказывал, что они до сих пор в тайнике висят, а как благовестить в них станут, заслушанье: что твои райские птицы поют! Да ты сам обо всем расспросить можешь: к восходу солнышка мы станем в Соловки.

— Если станем! — молвил Алексей.

— А с чего бы нет? Сто двадцать верст спустя рукава перемашем.

— Не хвались, дядя Яков, — сказал Савелий: — а лучше насвистим-ка погоду; видишь, ветерок-то стих, перепал.

Покорный общему суеверию моряков, дядя Яков принялся свистать, как свищут коням на водопой. И в самом деле ветер порхнул, будто дожидался приглашения; засвежел, скрепчал скоро. Зыбь раскатывалась грядями, гряды сшибались в крутые валы, и наконец море дало гул, подобный гулу, предшествующему вскипению воды в огромном котле. Солнце садилось в огненных тучах, весь запад кипел будто кровью — верная примета непогоды; когда ж горизонтальные лучи переломлялись в прозрачной синеве, в переливной зелени вала, он сквозил, как стекло, он вспыхивал, как туча, молниєю и гас, и темнел, и обрушивался, подавленный другими.

Савелий, принужденный придержать к ветру, чтоб не зарыскнуть далеко в океан, в упор налегал на румпель. Дядя Яков с Иваном держали на руках шкоты зарифленного (уменьшенного) грота. Алексей, бледный как саван, сидел, уцепив-

пись за борт, и с ужасом смотрел на хлещущие в бок судна валы. Ему казались они чудовищами, которые заглядывают в карбас, чтобы схватить и сожрать его.

— Глянь-ко, глянь, дядя Яков! — сказал он. — Валы-то за нами впереводку гонятся. Страсть, да и только.

— Аль тебе дивно, что валы-старички расплясались. Да, брат, они скоро сами седеют, скоро и нашего брата седым делают. Ты не смотри на их пляску, а то как раз голова закружится.

— И впрямь так! — примолвил Савелий. — Чем глазеть на валы, возьми-ка, Алеша, лейку да отчерпывай воду: вишь, то и знай, поддает. Ну, дядя Яков! Напрасно я тебя не послушал: придержать бы к берегу, а то меня и в хорошую погоду знакомые отпевали, чуть я сберусь в море на карбасе, а в такую свалку, если б знал да гадал, я бы и сам трезвый не пустился. Посмотри на облака: словно недобрые люди бродят вокруг да около и промеж собой перемолвливают, куда бы на разбой стрекнуть.

— Чего доброго! — сказал дядя Яков. — Пожалуй, и до нас доберутся: а у нас ворота настужь. Долга нам будет эта ночь!!

И ночь задвинула небо тяжкими тучами, и тучи всплескались, как волны, и море забушевало, как небо. Вихорь спирал, возметал, разбрызгивал пары и волны. То черные облака развалили огненную пасть свою, зияющую жалом молний; то белогривые валы, рыча, глотали утлое судно и снова извергали его из хляби. В карбасе едва успевали отливать. Паруса уже были убраны, но шквалы хлестали его так сильно, что нагие мачты трещали; он летел, как бешеный конь, и каждую минуту пловцы наши ждали, вот-вот зароется в воду. И вдруг разразился над ними удар грома: огонь ливнем рухнул во все трещины лопнувшего свода небес, и в тот же миг вздутый порывом вал ударил в корму. Карбас пил смерть; миг был ужасный. Пловцам показалось, их окатил огненный водопад сверху и снизу; они закрыли ослепленные глаза, чтобы не открывать их навеки. Савелий с криком: «Господи, прими мою душу» — выпустил румпель. Алексей уронил лейку...

— Теперь молись! — сказал ему дядя Яков.

Один только Иван не бросил работы: сквозь рев бури и валов слышалась звонкая песня его:

Из-за Волги кума в решетке приплыла,
Веретенами гребла, юбкой парусила.

Савелий не хотел умереть, потому что собирался пожить; Алексей, потому что не успел пожить; дядя Яков, потому что не готов был умереть. Но что значила смерть, что прошлое и будущее для Ивана? Он не имел на чем свесить этих загадоч-

ных мыслей. Он покинул бы свет точно так же, как и вопел в него, без малейшего произвола или сожаления. Счастливец Иван! Не отбил бы я у тебя твоей жизни, но твоей смерти позавидовал бы. Кто, отваливая в гробу от жизни в вечность, не оглянется назад со вздохом, не взглянет вперед с сомнением, если не с ужасом?.. А он тонул и пел!

И поверите ли? Когда стих гул громового удара в душах пловцов, они расхохотались песне Ивана и смеялись долго, смеялись наперерыв, будто в припадке. Разгадайте теперь сердце человеческое! Оно скорее всего дает смех в минуты самой жестокой скорби и ужаса! Я это видел и испытал.

Буря издохла с последним ударом своей ярости. Ветер упал вдруг. Природа, как человек, или, лучше сказать, человек, как природа в свое лето, вспылчив и бурен на миг. Облака будто растопились молнией в дождь, и месяц, выкупавшись в туче, весело блеснул в тьме неба; лишь на краю горизонта толпились беглецы-облака. Они улетали, ропща, огрызаясь, и порой вспыхивали их выстрелы зарницею; валы смывали остальных; валы еще ходили и сшибались грозно между собою, как ратники иных народов после войны со врагами заводят междоусобия в отчизне, чтобы утолить свою кровавую жажду хоть из жил братьев и дотратить на них боевой огонь, раздутый привычкою. Но скоро волны разлились в широкую зыбь, и по ней зазмеились белые полосы пены, недавно венчавшей гребни валов. Они тянулись подобно строкам на мрачной бесконечной странице моря, подобно следам поколений на океане жизни. Исчезла самая пена, и синева бездействия подернула лицо моря. Оно дышало уже тяжело и прерывисто, подобно умирающему, и наконец к утру душа его излетела туманом, как будто преображая тем, что все великое на земле дышит только бурями и что кончина всего великого повита в саван тумана, непроницаемый равно для деятеля, как для зрителя. Светало.

Аргонавты наши из несомненной смерти попали в смертельное сомнение, и хотя при этой верной оказии убедились они, что выражение любовников и подсудимых, будто сомнение хуже смерти, не совсем справедливо, однакож положение их было вовсе незавидное. Карты нет, компаса не бывало. Да и на кой чорт перед ними раскладывать карту, когда нет умения разбирать ее? Один русский шкипер мореплаватель на вопрос: разве у вас нет карт? — с простодушием отвечал: «Были, батюшка, и золотообрезные, да ребята расхлестали, в носки играючи». Компас — иное дело; Савелий знал, как с ним посоветоваться, да та беда, что в свадебных попыхах забыл его дома! Как быть? Ветер вчерась гонял их то вправо, то влево, вертелся, как бес перед заутреней, и перетасовал все румбы и умы наших плов-

пов в такой баламут, что сам Бюффон со своею теориею ветров проиграл бы свое красноречие. Не мог придумать Савелий, на нос или на затылок должно надеть север. И солнце, по его мнению, то входило в левое ухо, а закатывалось из правого, то в правое и садилось в левом. Куда же поворотить? Где искать Соловецкого? Утро раскрывалось как цветок, зато уж туман клубился — хоть на хлеб намазывай. Вот потянул ветерочек слева; но он был неверен, как светская женщина, колебался туда и сюда, как нынешняя литература, и чуть бороздил воду, будто на цыпочках бегая вокруг судна, чтоб не разбудить мореходцев.

Савелий держал совет с дядей Яковом.

— Соловки близко впереди, — говорил Алексей. — Вихорь гнал нас в тыл, и мы бежали, как заяц от беркута.

— Соловки у нас далеко в правой руке, — утверждал дядя Яков. — Шквал зашел справа и занес карбас, как сокола, на запад.

— А может статься, и правда! — молвил Савелий. — Откуда ж теперь подул ветер?

— Вестимо, с севера! Днем жарко, днем дует ветер с берега; ночью свежо, ночью он ворочается домой.

— Да теперь уж день, и на зло тебе прошлую ночь ветер бежал с берега, словно из острога с цепи сорвался.

— Буря особь статья, Савелий Никитич! На земле-то целую неделю пекло да жарило так, что и ночь не в ночь была: вот тепло без очереди и валилось в море, а теперь земля искупалася, попростыла; теперь непременно потянет холодок на берег, оттого что холодок сильнее тепла стал.

Дядя Яков говорил правду. Он не читал, отчего происходят ветры в атмосфере, не имел понятия о разрежении воздуха электричеством бурь или по разности давлений газов, но он имел здравый ум и опытность. Савелий убедился. Решили, как изъясняются наши доморощенные мореходы, *побрасовать*, то есть поворотить паруса, и держать на восток. Вьюн зашипел за рулем; карбас поплыл в полветра. Однозвучное плесканье волн и утомление минувшей ночи клонили ко сну мореплавателей. Один Савелий не смел предаться утреннему сладкому сну: он был хозяин судна, он был король этого государства, сбитого деревянными гвоздями. Для блага своего и охраны других он не спал: зато грезил наяву. Наткани паруса и ткани тумана проходили, плясали, мелькали яркие образы, будто по месяцу волшебного фонаря. Ему виделось, как русая коса Катерины Петровны разделяется на две половины и дважды обвивает чело ее и скрывается под гарнитуровый платочек с золотой каймою. Виделись ему и раздернутые ситцевые занавесы брачной кровати и смятая пуховая подушка под розовую щечку невесты; виделись ему друзья и приятели — пируют уж у него

на крестинах. Вот забота, как назвать первого сына, кого позвать в кумовья первой внучке. Одним словом, около него развивалась уж целая толпа его нисходящих потомков, и он глядел на них нежно и любовно, как иной сочинитель на свое литературное потомство, — мал мала меньше, запеленанное в телячью кожу с золотым обрезом, которое, мечтает он, грядущие веки будут няньчить наподхват. Он грезил уж о внучатах, говорю я, забыв, что под ним голодная пучина, забыв, что корабль не более как дерево, матросы не более как люди и что «есть земные крысы и водяные крысы», по словам Шекспирова жиды Шейлока; а крысы съели польского короля Попеля: так спустят ли они разночинцу?

Сон и мечтания граждан карбаса прерваны были страшно и внезапно. Саженья в пятидесяти от них, на ветре, вспыхнула молния сквозь туман, и за громом выстрела ядро, свистя, перелетело через их головы. Все вскочили с мест: Иван с знаком удивления, в скобках зевка; Алексей с облизнем от недопитой во сне браги; дядя Яков с растрепанною бородою; капитан Савелий с предчувствием конечного разорения. У всех уши выросли на вершок, у всех ужас вылился единогласным криком: «Что это?»

— Не гром ли? — сказал, крестясь, Савелий.

— Не звон ли глиняных соловецких колоколов? — молвил лукаво Алексей.

— Я те задам такого благовесту с перезвоном, что у тебя до Касьянова дня в ушах будет звенеть! — крикнул дядя Яков. — Никитич! Лево на борт! Зевать нечего! Это англичане.

Целая стая годдемов зажужжала по дорожке, прорванной в тумане ядром, и убила наших в несомненности слов Якова. Но желанье уйти от невидимого капера, пользуясь мглою, оперило их надежду. Карбас кинулся по ветру, как утка, испуганная ружьем охотника. Но через минуту всякая вероятность избавления исчезла. Туман, испаряясь, становясь прозрачным, оказал погоню за кормою. Английский куттер, взрывая волны и пары, катился вслед бегущих. Огромный гик, отброшенный на ветер, выходя из туманов, казалось, хватал их; тень треугольного паруса будто вонзалась в корму: она обдала холодом сердце русских. Жестяная труба загремела:

— Boat — aho! Strike your colour! (Бот! Сдайся!)

Руки отнялись у бедняжек. Уползти не было возможности. Оружия у них — один дробовик да два топора. Между тем куттер напирал все ближе и ближе, заслоня собою ветер.

— Down with your rags! (Долой ваши тряпки!) — кликнула снова труба. — Put the helm up, damn! (Пуль на борт, чорт возьми!) Strike, or I'll run over and sink you! (Сдайся, или я перееду и потоплю тебя!) — С этим словом куттер начал приводить

к ветру, чтобы дать действовать артиллерии. Савелий очень хорошо знал, в чем дело. Он ясно видел, что англичанин мог пустить его ко дну ядрами или ударом водореза; но он был оглушен мыслию неволи, разоренья, и когда же? — в самом разгаре надежд, в самом цвету счастья! Он пришел в ярость, вообразив, что все его достояние, все его потомство в фунтиках, в узелках, в тюках, в рогожках погребется в брюхе разбойничьего судна; что вместо объятий Екатерины Петровны ожидают его линьки боцмана, вместо матушки Руси какой-нибудь блок-шиф,¹ исправляющий должность тюрьмы. Ретивое вспыхнуло: он схватил заржавелый дробовик и — бац, прямо в борт куттера!

— Fire! (Пали!) — раздалось на нем.

Пламя каронады брызнуло по головам русских, и цепное ядро срезало обе мачты. Павшие паруса накрыли карбас, и прежде чем наши выбились из-под этой сети, шестеро вооруженных матросов вскочили в судно и перевязали их. Сопротивление было бы безумством. Судьба свершилась. Савелий со всей своею командою — военнопленный; его карбас вместе с грузом — добыча английского капера, признанного в этом достопочтенном звании правительством и снабженного от него письменным видом (*lettre de marque*) и чугунными ядрами для законного грабежа врагов Великобритании.

Давно уже и много и красно писали гг. публицисты против корсарства, приватирства, пиратства, каперства или просто-напросто морского разбоя, прикрытого флагом; но как такую песню запевали всегда те, которые не могли сами грабить, а не те, которые смели грабить, то все соображения ученых и обиженных кончались обыкновенно как совет мышей — не находили молодца, который бы привязал колокольчик на шею кошке, Англии. Забавнее всего, что Наполеон, который не признавал никаких прав, кроме тех, что мотаются как темляк на шпаге, — Наполеон, который, где только мог, изъяснялся диалектикою двадцатичетырехфунтового калибра, унизился до смиренной прозы, толкуя о каперах. Он очень серьезно и остроумно доказывал, что морское народное право — вовсе не право; что не сходно ни с европейскими правами, ни с понятиями века грабить и полонить беззащитных купцов враждебной нации на море точно так же, как частную собственность мирных граждан на берегу; что плата за съестные припасы поселянину и сохраняя жизнь, свободу и имущество даже в городе, взятом в бою, не бесчеловечно ли, не унижительно ли отнимать и то, и другое, и третье, как скоро оно на корабле? Неужели соленая вода до того изменяет краску понятий, что презрительное и

¹ Старый корабль без вооружения, в порте стоящий.

беззаконное на суше становится на море похвальным и законным? Приговаривался он, что каперы и крейсеры должны ограничиваться лишь осмотром купеческих судов и конфискацией одних военных снарядов. Англичане говорили, что это весьма справедливо, и не переставали забирать, ловить, грабить все французские и союзные Франции суда.

После Тильзитского мира очередь упала и на нас грешных. Мы принялись сосать свеклу, уверяя себя, что это сахар, и за тридорого одеваться в дрянное сукно, сотканное на континентальной системе. Зато мы точили тогда свои непокупные и неподкупные штыки и вместо кофе пили надежду близкой мести. Она разразилась 1812 годом. Но так или сяк, а Савелий Никитич пленник. Англичане, как всем известно, народ ласковый, приветливый, до того, что на боках его и его товарищей напечатался не один параграф морского права, покуда оно переселилось на палубу его великобританского величества, эту плодущую почву *habeas corpus*,¹ ступив на которую, каждый чужеземец пользуется неограниченной свободой носить свой нос по будням и праздникам невозбранно. Мы видели, как поступили они с Наполеоном, который имел простоту отдаться добровольно их гостеприимству и великодушию: можете судить, каково приняли они русских мещан, дерзнувших убежать от их правоты и даже ранить дробью в нос дубовый куттер под флагом Георга III. *Le cas était pendable* — это висельный случай, как говорят французы, и Савелью наверно бы досталось проплясать джиг под концом рея, если б он попался английской дисциплине после обеда; но, к счастью, пленение карбаса произошло в первую бутылку дня,² и потому капитан капера удовольствовал гнев свой, отпустив им на брата по дюжине образцовых браней (*standart jurements*) — *God damn your eyes!* с придачею не в зачет нескольких: *You scoundrels, ruffians!* и *barbed dogs!* (мошенники, бездельники, бородатые собаки!) Савелий и дядя Яков, которым английские приветствия приелись, как насущные сухари, находили это в порядке вещей. Но Алексей несколько раз пытал высвободить свою десницу из веревок, чтобы обратиться с ответом прямо к лицу капитанскому; Иван поплывывал вдвое чаще.

Но в сущности англичане не злой народ, и если вычесть из них подозрительность, грубость, нестерпимую гордость и

¹ Так называемая «хартия вольностей англичан».

² В морских, заморских романах, я чай, не раз случилось вам читать четвертая склянка, осьмая склянка. Это мистификация; это попросту значит, что моряки хватили три бутылки, что они пьют уже восьмую. Часомерие это, самодвижное и самозвонное, весьма удобно в здорово! в полдень опрокидывают они все бутылки разом, и это называется: поверка хронометров. *Ученое замечание.*

Гордую нетерпимость всего иноземного, вы найдете, что они самые любезные люди в свете. Сердце англичанина — кокосовый орех: надо топором прорубиться до ядра, но зато внутри не свищ, как у француза, а сок освежительный. По внешности он действует сообразно со своими угнетательными, корыстными колониальными законами; дома — по душевному уставу. Таков был и краснощекий толстопузый капитан Турнип, командир куттера, — груб с лица, радушен с подбою. Раздраженный сопротивлением ничтожной русской раковинки, он грубо принял гостей своих; но когда дело кончилось удачно, когда все тюки и бочонки перепрыгнули через борт в трюм его, когда и сама верхняя часть карбаса изрублена была на дрова, а днище отправилось ко дну, когда он взглянул на бумаги Савелья, ограбивши прежде всё дочиста, — это по-судейски, люблю молодца за обычай, — и объявил, что карбас был законный приз, улыбка разутюжила сафьянное лицо его; нахмуренные брови раздались, расступились, и он, ласково ударив Савелья по плечу, бросил ему самое засмоленное из приветствий, расцветающих на палубе: *Heave a head, boy, and never fear!* (Подыми голову и ничего не бойся!)¹

Савелий, по народному выражению, лихо насобачился говорить по-английски. Савелий был сердит, а потому без раздумья просунул ответ сквозь зубы на это одобрение английской работы:

— Бог тебя прокляни, морская собака, и пусть будет чорт твоим флагманом! Не бойся? Да чего мне теперь бояться, когда ты ограбил меня до души.

— *Never mind!* (Забудь это!) — возразил с улыбкою Турнип.

Мысль о добыче отбила прочь досаду за брань.

— Скорее чорт забудет брать твою душу, чем я забуду счастье, которое ты у меня отнял!

— Ах ты, неблагодарное двуногое! Разве не подарил я вам жизни и бочонка с квасом, с этим некрещеным напитоком, без которого ни один русский не может существовать? Разве я этого не сделал? (*What, boy, did I not?*)

— Ты мне жизнь и квас сделал хуже уксусу. Не потчуй меня такую обглоданную жизнью. Я не собака, чтобы прыгать на цепи и лизать плеть твою. Утопил мой карбас, утопи же и меня.

— Если утопить тебя в море, оно сделает из тебя солонину рыбам: тебя жаль! Если ж утопить тебя в водке, она превратится в настойку глупости: водки жаль! Ты, приятель, лихой моряк, когда пускаешься по морю в табакерке: я не могу запре-

¹ *Heave a head* — в морском значении почти то же, что у нас по местам *смирно!* — то есть будьте внимательны, слушайте.

тить себе уважать такую отвагу. Ну скажи, за что ты сердисься? Будь ты сильнее меня, ты сделал бы то же со мною, что я с тобою! Не лучше ли будет прохладить твою горячку, выливши на тебя ведро холодной воды, и утопить твою горе, вливши в тебя стакан два рому?

Хмель чудесная смазка для удовольствия и горя: он так же плотно лепит к сердцу расписанный изразец первого, как зубристый булыжник второго. Савелий долго отнекивался пить, отталкивал приветно подлетающий к губам его стакан с жидким забвением; наконец глотнул, морщась; еще и еще разик, и вот с каждым глотком горе его таяло, как сахар в пунше, и наконец он подумал: «Покуда сам жив, счастье не умерло!» — И он весело взглянул на божий свет, будто выбирая, с которого края начать его. Он отломил каждому из своих товарищей по кусочку собственной бодрости и протянул к капитану руку.

— Так бы давно! — сказал тот. — Будьте смирны да работайте, так на нас жаловаться не станете. Даст бог, русские подымутся с нами заодно против этого разбойника, Бонапарта, и тогда вы опять увидите со своей родиной. Она хоть и ледяная, а все до тех пор не растает!..

«А Катерина Петровна? — подумал Савелий со вздохом. — Женщины тают скорее снегу».

Капитан окунул свои руки в карманы и пустился ходить по палубе. Может быть, и он думал о своей Фанни.

Капитан этот служил сперва на ост-индских кораблях — на индейцах, *Indianen*, как выражаются англичане. Потом состоял он на полужалованья; потом ему отказали и в этом за долгу невякву. Он, изволите видеть, рассудил, что лучше есть пряности и сладости, чем перевозить их с берегов Ганга, и женился. Тут он узнал однакож, что вся сладость супружеского чина состоит в картофеле и куске говядины. Это так его тронуло, что он с горя потолстел, а для рассеяния и барышей пустился в торговлю. Коварная стихия, — то есть море, а не жена его, — однакож, не сманила бы его самого с берега, если б несчастным случаем часть его имущества в товарах не попала в руки французскому каперу. С этой минуты он от собственного лица объявил войну Наполеону и, движим любовью к отечеству и к своему карману, решился вознаградить убыток тем же путем, каким он пришел к нему. Оснастил он небольшое одномачтовое судно, нанял экипаж, купил себе четыре пушчонки, — ведь в Англии они продаются на толкучем рынке, и подчас вы можете купить целую батарею у носячего; испросил у правительства билет на представление войны в миниатюре и пустился пенить море. Ему удалось в Канале захватить какой-то бот с контрабандою да несколько несчастных рыбацких лодок. Это его произвело в собственном мнении в герои красного

флага, и он, заслышав, что снаряжается небольшая эскадра в Ледовитое море для поисков над шведами и русскими, решился идти вслед за нею, как чакалка за тигром. Он расчел, что шведские китоловы и русские мещане ему по силам более, чем французские корсары, и что, врасплох нападая, скорей можно поживиться добычей. Он снялся с якоря и обогнул Норвегию вместе с королевскою флотилиею.

Разрыв России с Англиею в угоду Наполеону хотя и не был искренним с обеих сторон, однакож все моря, которые считают англичане своими столбовыми и проселочными дорогами (highways and byways), были замкнуты для нас живою цепью кораблей. Крейсера их шныхарили в Балтийском море и в 1811 году показались в Белом море, с набожным намерением разграбить Соловецкий монастырь. Сведаяв однако, что там усилены гарнизон и артиллерия, они не посмели на приступ и возвратились. Один только бриг проник до самой Колы, однакож спешил улизнуть оттуда с небольшою добычею за добра ума, когда был застигнут бурей, разлучен со своим флагманом и наткнулся на карбас Савелья. Теперь он правил бег свой во-свояси, и уже три дня протекло со дня пленения карбаса. В эти три дня капитан Турнип обжился с новобранцами своими. Капитан Турнип был не плохой моряк по знанию моря, но очень плохой по своей лени. Женатая жизнь избаловала его: неохотно расставался он с застольем и постелью. Крутой пудинг и мягкая подушка были для него, разумеется с примесью мадеры и грога, первым блаженством мира: он не мог вообразить идолов иначе, как в виде соусника, бутылки или пуховика. Вследствие сего он гораздо более любил проводить время в уютной каюте своей, чем на палубе. Что же делать, милостивые государи! Он привык к домовитой, к порядочной жизни: он был человек женатый.

Впрочем, наш холостой XIX век так же прихотлив, будто женатый вельможа, comfort¹ — надпись его щита. Правда, он выдумал для неприятелей паровые пушки, для приятелей дрожки без одоления; зато выдумал и сиденье сзади коляски для слуг, тротуары для пешеходов, ошейники с рессорами для собак, резиновые корсеты для красавиц, непромокаемые плащи для воинов, суп из костей для бедных, для богатых нетленный суп, который выдержит потоп, не потерявши вкусу, выдумал жаровню, которая жарит бифштекс в кармане, и ватерклозеты для спален. Выдумал он... Да чего он не выдумал! Все — от машины растирать камни в пузыре до французской бритвы, гильотины, которая вам снимает голову так легко и скоро, что вы не успеете чихнуть, и до многих других этого рода усовершенствий. Скажите, можно ли быть заботливее, предупредитель-

¹ Комфорт (ред.).

нее нашего века? Не хотите ли вы мне говорить про солнце старинное, про нестареющую природу, про наслаждение бивуаков, про здоровье гнилых сухарей и приятности грязного белья?.. Вздор, сударь! Я люблю искусства и промышленность. Я хочу жить и умереть при свете газовых ламп, на тюфяке, набитом благовонным воздухом, в перчатках с пружинами, с резиною спиною, с сердцем, не промокающим даже от слез. Я русский своего века, милостивый государь! Я люблю газеты и omnibusy... Я люблю comfort. Ваш покорнейший.

Капитан Турнип, как англичанин, который скорее бы согласился обнищить половину своих сограждан и зачумить другую, скорее, чем оставить пустыми свои благоустроенные тюрьмы и больницы, любил комфорт не менее моего и по обыкновению своему в третий вечер отправился на боковую, оставя рулевого за себя бодрствовать, а русских пленников спать на голых досках под парусом вместо одеяла. Ночь была прелестна без метафоры. В самом деле, ночи севера очаровательны: это день при лунном свете, это перелив зари вечерней в зарю утреннюю. Опаловые небеса чуть блещут звездочками, и когда они роняют лучи свои в синие волны, резвухи волны ловят их, отнимают друг у друга, делят, дробят их искры, хотят затаять в своем зыбком хрустале и потом прыщутся ими игриво. Взор ваш далеко пронзает чистое небо, как будто усиливаясь прочесть высокую, божественную мысль, по нем разлитую, глубоко погружается в бездну моря, разгадывая дивную тайну, в нем погребенную. Вы скажете, что эти улетающие от взора небеса со своими алмазными цветами, со своей радугой вокруг месяца, с причудливыми образами облаков есть — воображение, а море с ропотною пучиною своею, с обломками кораблекрушений, с каменистыми растениями, с трупами, с чудовищами на дне, с фосфорическим блеском сверху — память человеческая?

Савелий не разгадывал ни мысли, ни тайн творения, но они совершались в нем без его ведома. Тоска по отчизне грызла его сердце — тоска, которую превзойдет разве час разлуки с жизнью. Выньте рыбу из воды, посадите птичку под воздушный насос и скажите им: живи! Оторвите человека от отечества и потом дивитесь, что он чахнет, скучает. Не спалось Савелью на новосельи. Он тихо поднял голову...

Ветер был свеж, но ровен. Закрепленные паруса были вздуты; куттер, склонясь набок, шибко резал волны, и они рассыпались о грудь его серебряными колосьями. Всплески звучали мерным ладом, и струя, скользя вдоль боков, сливалась за рулем в завитки и нашептывала, напевала сон на все живое. Покорный этому призыванию, рулевой дремал над румпелем и только повременно по привычке ворчал: Steady! Steady!

(Проворнее!) Трое вахтенных матросов храпели уже, прикорнув к сеткам; остальные все спали в койках в своей каюте внизу.

И вдруг огневая мысль выстрелила в голове Савелья и прострудалась по всему его составу. Ему показалось, кто-то крикнул на ухо: «Овладей куттером!» Он толкнул дядю Якова; тот проснулся.

— Видишь ты? — сказал он шопотом, показывая на спящих англичан.

— Вижу, — отвечал Яков, оглядевшись.

— Хочешь ли ты свободы? — спросил Савелий.

— Хочешь ли ты смерти? — спросил в свою очередь Яков.

— Смерть та же воля. Лучше умереть в шубе, чем голому жить. Лучше отдать свои кости божьему морю, нежели таскать их по чужой земле. Со мной, что ли, дядя Яков? Не то я один наделаю проказ, а в кандалы не дамся.

— Слушай, удалая голова: я не меньше тебя люблю матушку Русь, я тебя не выдам. Только подумай — где мы и сколько нас?

Савелий указал ему на два люка, отверстия, ведущие под палубу, потом на ряды абордажных орудий, висящих по сеткам, и что-то пошептал ему на ухо тихо, тихо.

— С богом! — произнес дядя Яков.

С двумя остальными русаками нечего было советоваться: им стоило только велеть, и они готовы в пыл и в омут. Савелий подобрался к борту, отцепил топор и прямо пошел к рулевому. Тот в полглаза взглянул на него, подернул штур-троса¹ и пробормотал свое: «Steady! Steady!» Оно было последним. Савелий разнес ему череп до плеч: несчастный упал через румпель безмолвен, и кровь рекой полилась по палубе. Трое русских схватили одного спящего англичанина и перебросили его через борт в море. Но двое остальных англичан проснулись от шума, схватились бороться и только раненные уступили силе. Голодная пучина с шумом приняла их в свое лоно, но не вдруг поглотила их. Жалобный, пронзительный крик то возникал, то смолкал над волнами, и, наконец, все слилось в молчание могилы, в тихий говор моря. Между тем смертный клик борьбы всполошил осьмерых матросов, спящих внизу; но русские успели уже надвинуть на отверстия решетчатые крышки и закрепить их сверху болтами. Едва англичане осмеливались попытаться поднять кровлю своей западни, три заряженных мушкетона отпугивали их прочь. Люк в каюту капитана был также заколочен прежде, чем он отряс с ресниц своих сон, утроенный мадерою.

— *Бой!* — закричал он грозно, услышав необычайную суматоху на палубе. — *Бой!* — повторил он с приложением

¹ Веревка, управляющая рулем.

сотни браней; но *бой* не являлся, хотя заклинания капитанские могли бы вызвать всех чертей из ада. Бедняга, мальчик лет двенадцати, вестовой капитана, был лишен на этот раз неизбежного пинка, служившего знаком восклицания звательному падежу — *бой!* — он давал ему невероятную быстроту движений. — *Бой*, принести бутылку! *Бой*, кликни боцмана! — и пинок в зад, — и он взлетал по лестнице соколом. Да! Пинок есть первая буква английской дисциплины, которой последняя — петля на конце рея.

Видя, что *бой* нейдет за получением своей порции, капитан в гневе вскочил с постели и кинулся к дверям: они были заперты.

— Что это значит? — вскричал он, потрясая задвижками.

— Это значит, что ты мой пленник, — отвечал Савелий сквозь люк. — Половина твоих людей в море; другая забита в палубе. Сдайся!

— Чтобы я, лейтенант королевской службы, сдался бородачу? Никогда! Ни за что! Я пробурваю дно и потоплю тебя! — кричал Турнип.

— Я зажгу судно и взорву тебя на воздух, — возразил Савелий.

Но судно не было потоплено, ни сожжено. Оно было только обращено назад и тем же полуветром бежало к Руси. Савелий правил рулем и надзирал над капитанским люком. Двое других стояли на часах при люке матросской каюты, одному позволялось спать. Все они были обвешаны оружием. Тяжко бы им было управляться с парусами, если бы ветер переменился или скрепчал; но он дул ровно и постоянно, и Алексей, весело поглядывая вперед, охорашивался и говорил: «Знай наших!» Тишина прерывалась только порой бранью запертых в клетке англичан да заклинаниями капитана. Наконец и он умолк. Как истинный философ, он, приняв тройной заряд рому, заснул, поверженный, но не побежденный.

На другой день русские сделали печальное открытие, что у них нет ни крошки сухаря: все съестное хранилось внизу. Победители могли умереть с голоду прежде, чем добежать до берега. Англичане не сдавались и не давали ничего. К счастью, случай уравнивал бедствие обеих воинствующих наций. Англичане незадолго выкатили на палубу остальные бочки с водою, для помещения под кровлю нежной добычи. Начались переговоры.

— Дайте нам хлеба! — говорили русские.

— Дайте нам воды! — говорили англичане.

— Не дадим, — отвечали англичане, — покуда вы нас не выпустите.

— Не дадим, — отвечали русские: — сдайтесь!

И парламентары расходились от люка.

Но голод и жажда уладили перемирие. Народное честолюбие замолкло перед воплем желудка: мена учредилась. За каждый кусок сухаря и солонины, данный в обрез, отмеривались кружки воды на полжажды.

— Я бы желал, чтоб ты подавился этим куском! — говорил капитан, просовывая олений язык сквозь отверстие люка.

— Я бы желал, чтоб ты век пил одну воду, — говорил Савелий, подавая ему мерку невинной влаги. — Авось бы ты с этого поста поуменел!

— Ты разбойник! — ворчал капитан.

— Я твой ученик, — возражал Савелий, — утешься! Я сделал с тобой то же самое, что сделал бы ты со мной, если б был сильнее. Разве это не твои слова?

Капитан говорил, что ничего в свете нет глупее таких утешений.

Куттер плыл да плыл к Руси.

Куттер этот был забавное и небывалое явление в политике. Это не было уже *status in statu*,¹ но *status super statum* — государство верхом на государстве, — победители без побежденных и побежденные, не признающие победителей; это было два яруса вавилонского столпа, спущенные на воду. Внизу ревели: «Да здравствует Георг III навечно!» Вверху кричали: «Ура батюшке-царю Александру Павловичу!» Английские годдемы и русские непечатные побранки встречались на лету. Это, однакож, не мешало куттеру бежать по десяти узлов в час, и вот завидели наши низменный берег родины, и вот с полным приливом, с полным ветром вбежал он в устье Двины, не отвечая на спросы брандвахты, несмотря на бой бара. Савелий не хотел медлить ни минуты и, зная, что ему простят все упущения форм, катил без всякого флага вверх по реке. Таможенные и брандвахтенские катера, задержанные баром, выбились из сил, преследуя его. Таможня и брандвахта сошли с ума: ну что, если этот сумасброд — англичанин! ну что, если он вздумает бомбардировать Соломболу, сжечь корабли, спалить город. Конные объездчики поскакали стремглав в Архангельск, и тревога распространилась по всему берегу прежде, чем призовой куттер показался.

Вооруженная шлюпка, однакож, встретила его на дороге, опросила, поздравила, и суматоха опасения превратилась в суматоху радости. Прежде чем снежный ком докатился до Архангельска, он вырос с гору. Все кумушки, накинув на плечи епанечки, бегали от ворот к воротам, — время ли на двор заглядывать! — и рассказывали, что их роденька (тут все стали ему роднею), Савелий Никитич, напал на стопушечный английский

¹ Государство в государстве (*ред.*).

корабль, рассыпался во все стороны, окружил его своим карбасом, вырвал руль собственными руками и давай тузить англичан направо и налево: принуждены были сдаться, супостаты! Теперь он ведет его сюда напоказ! Все ахали, все спрашивали, все рассказывали чепуху; никто не знал правды.

Громкое ура с набережной встретило приближающийся кутер; шапки летели в воздух, чоботы в воду; в порыве народной гордости народ толкал друг друга локтями и коленями. Всякий продирался вперед, все хотели первые поглядеть на удалого земляка. Савелий чуть не рехнулся: он бегал по палубе, обнимал своих сподвижников, стучался в двери Турнипа.

— Сдайся! — кричал он. — Мы уж в Архангельске.

— Не сдамся бородачу! — отвечал тот.

Когда причалили и бросили сходень, губернатор первый встретил Савелья, прижал к груди, назвал молодцом. Сердце закатилось у Савелья с радости, слезы брызнули из глаз его.

— Ваше превосходительство! — отвечал он. — Ваше превосходительство... я русский.

Капитан Турнип преважно сошел на берег, вручил губернатору свой кортик и отправился под прикрытием в город, напевая: *Rule, Britannia, the waves!* (Владей, Британия, морями!)

Все смеялись.

Нужно ли досказывать? Савелий не поехал в Соловки: он пошел в церковь со своею милою Катериною Петровной. Государь император, узнав о подвиге Никитина, напоминавшем подвиг Долгорукого при Петре, прислал архангельскому герою знак военного ордена и приказал продать в пользу его с товарищами груз призового капера.

Это не выдумка. Савелий Никитин жив до сих пор, уважаем до сих пор; и если вы встретите в Архангельске бодрого человека лет пятидесяти, в русском кафтане, с георгиевским крестом на груди, — поклонитесь ему: это Савелий Никитин.

1834

Дагестан

Н. Ф. Павлов

1805 ~ 1864

ИМЕНИНЫ



АУКЦИОН



ЯТАГАН



Тебе понятна лжи печать;
Тебе понятна правды краска;
Я не умел ни разу отгадать,
Что в жизни быть, что в жизни сказка.

И М Е Н И Н Ы

J u l.

What's in a name? that which we call a rose,
By any other name would smell as sweet.

R o m.

My name, dear saint, is hateful to myself.

Shakespeare. «Rom. and Juliet».¹

Когда-то я познакомился с одним семейством, которое по воле судьбы рано сошло со сцены. Смерть застала его по разным углам России, и воспоминание о нем сохранилось, может быть, только у меня в сердце. Муж умер от холеры в Бессарабии; жена исчахла в саратовской деревне; а малолетний сын скоро последовал за родителями на руках у какой-то оренбургской помещицы. Я не назову своих отживших знакомцев, потому что с их именами не соединяется память об услуге человечеству, о мысли, завещанной ему в наследство. Они прошли мимо как люди обыкновенные; они были, их нет: вот книга их бытия.

Но провидение, испестрившее природу красноречивым разнообразием, отметило каждое существо особенными чертами: потому-то человек везде равно достоин внимания, потому-то в жизни каждого, кто бы он ни был, как бы ни провел свой век, мы встретим или чувство, или слово, или происшествие, от которых поникнет голова, привыкшая к размышлению. Приглядишься к мирному жильцу земли, к последнему из людей: в нем найдешь пищу для испытующего духа точно так же, как в человеке, который при глазах целого мира пронесется на волнах жизни из края в край, которого закинут они на высоту бессмертного сча-

¹ Д ж у л ь е т т а. Что в имени? То, что мы называем розой, пахло бы так же приятно и под другим именем.

Р о м е о. Мое имя, милый ангел, ненавистно мне самому.

Шекспир. «Ромео и Джульетта» (ред.).

ствия или сбросят в пропасть бессмертных бедствий. Сильный характер обнаруживается часто в тесном кругу, под домашнею кровлей; причудливый случай выбирает иногда жертву незаметную, и его поучительные удары падают без свидетелей, посреди тихого семейного быта, как падает молния на путника, застигнутого бурей в безлюдной степи.

Н. был человек лет тридцати, когда я встретился с ним в первый раз. Он только что женился. Трудно и почти невозможно передать словами тот угар счастья, который туманил тогда его голову. Он видел в жене и друга, и любовницу, и цель жизни, и, наконец, все, что привязывает нас, что веселит глаза и увлекает душу. Молодая, резвая, милая, она, казалось мне, остановила также свои желания на одном муже и искренно отдалась ему. Его просвещенный ум, образованная жизнь понравились мне, и я старался сблизиться с ним. Человек в минуту упоения всякому рад, всякого принимает в свои теплые объятия. Н. проводил охотно со мною время, и мы, говоря по-светски, подружались. Часто я бывал у него и всегда с некоторою завистью любовался картиною семейного блаженства. Муж и жена, как нарочно созданные друг для друга, жили один другим. Каждому достались на часть и ум, и любезность, и независимость состояния. Смотря на них, я думал: «Вот нелицемерная дружба, вот непритворные ласки, вот неподдельная веселость!» Мне помнится, что в то время я желал только одного: такой же себе жены, как жена моего приятеля; мне помнится, что в то время я не променял бы такой жены ни на уверенность в бессмертии моего имени, ни на генеральский чин. Н. рассказывал мне подробности своей женитьбы: как он встретил в Саратовской губернии девушку, воспитанную просвещенными родителями, влюбился и понравился; как он был предметом первой любви, первых восторгов ее младенческого сердца, неповинного в столичной суете. Н. говорил мне беспрестанно о своем намерении оставить службу и поселиться в деревне с книгами и женою. Этот образ жизни почитал он самым покойным и приятным: это была его любимая мечта. Наконец, для исполнения своего предприятия он отправился на короткое время в Петербург хлопотать по разным делам, а жена поехала с своей теткой в деревню, куда по окончании дел и он должен был переселиться. Мы расстались: я не видал его года полтора и полагал, что никогда не увижу.

Однажды я сидел в театре и, с нетерпением ожидая конца, зевал без цели по сторонам, как вдруг входит в одну ложу человек, которого лицо поразило меня: черты знакомые... всматриваюсь... это Н. Он пустился в длинный разговор с одной дамой, и я долго понапрасну старался привлечь его внимание. Однакож он увидел меня, сошел в кресла. С каким любопытством,

с каким удовольствием бросился я к нему. Он приметно обрадовался мне; но это была радость степенная, радость человека возмужалого. Разумеется, я предложил ему кучу вопросов, на которые он отвечал отрывисто, что три дня как переехал совсем в Москву, что в деревне жить невозможно: одни соседи замучат. Я расспрашивал о жене, но он не очень распространялся о ней. Можно судить о моем удивлении! Мы условились, чтоб я у него обедал на другой день, и разошлись. Он поспешил в ту же ложу любезничать с неизвестною красавицей. В его походке я заметил перемену: он хромал немного.

Опять явился я в этом доме, который некогда заставил меня размечтаться о семейной жизни, о милой жене, о согласии двух сердец; опять вошел в этот храм, который некогда освещался яркими лучами радости, где каждый звук, долетавший до моего слуха, был отголоском очаровательной любви. Я нашел все попрежнему: те же ковры, те же цветы, ту же бронзу; попрежнему хозяйка встретила меня; но лучшая роза потеряла уже весеннюю свежесть: уныло смотрела она; ее шаги были медленны; алые щеки побледнели. Поднялся занавес, и два супруга разыграли передо мною второе действие судьбы своей. Тут я не видал более равенства между ними; они разучились уже угадывать друг у друга мысли, предупреждать желания; тут в каждом слове, в каждом взгляде муж напоминал, что он глава жены. Неисцелимое равнодушие к ней проглядывало во всех его поступках, во всех мелочах, и я убедился, что нет в природе мускуса, который продолжил бы жизнь умирающей любви; нет зажигающих стекол, которые снова запалили бы охолодевшее сердце мужа. В обхождении с женой Н. свято хранил наружные условия светского воспитания, но в каком нравственном унижении держал ее! Что б ни сказала она, он возражал на все. Его возражения были учтивы, но под этой учтивостью скрывалась почти всегда язвительная насмешка. Хотела ли жена сделать новое платье, поехать на вечер... муж не противился, но с удивительным красноречием нападал на женскую суетность, на женское неблагоразумие. Вмешивалась ли жена в разговор... он пускался в рассуждения о приличиях, об уме и вежливо, но немилосердно доказывал, что женщинам неприлично говорить, что они не умеют порядочно говорить ни о чем. Как часто она отшучивалась от его нападений, желая, повидимому, уверить меня, что все это не от сердца, что он тот же и любит ее попрежнему!.. «Признак слабого, — думал я, — когда он борется с сильным».

Словом, внимание, нежность и все добродетели, приличные ее полу, не могли уже воротить прошедшего. Такая разительная перемена, хотя я и видел в ней естественный ход страстной любви, возбудила все мое любопытство. Чем более я сближался

с N., тем откровеннее он становился со мной; однакож в наших беседах никогда не касался жены, как будто она не существовала. Он хромал, и когда я спросил, отчего, то получил в ответ: «пуля...» и только. Много времени прошло с его приезда в Москву, как однажды мы заговорились с ним наедине до глубокой ночи. Речь зашла о прекрасном поле. Он воспламенился, что бывало редко; слова полились рекою с его языка, и на лице изобразилось негодование. Я еще вижу его горькую улыбку, когда он сказал мне: «Только малодушный и неопытный может ожидать истинного счастья от женщины; женщина должна быть минутною забавой; кто же смотрит на нее другими глазами, кто полагает найти в ней какое-то существо чистое, возвышенное... тот жалко ошибается. Она так слабо сотворена, что у нее не достанет силы прожить целый век с одним чувством, с одною целью. Она всегда под чужим влиянием, а как положишься на того, в ком нет самостоятельности! Женщина любит страстно и, пожалуй, выйдет замуж за другого, потому что ее могут угоризить и бабушка, и маменька, и тетушки. Женщина умна, но никогда не бывает умна простодушно: ей все хочется блеснуть, озадачить. Женщина ласкова, добра, но до того, что надоест. Ей семнадцать лет: она резва, прекрасна; думаешь, что все помышления ее невинны, как голова младенца, что это чистый ангел, едва слетевший на землю, которая не успела еще запылить его белых крыльев; а семнадцатилетний ребенок уже влюблен, умеет уже утаить свою любовь, умеет не краснея поклясться в вечной верности не тому, кого любит. О, я на этот раз разочарован... женщина, трюфели и шампанское — все равно!..»

С этими словами он отпер ящик в письменном столе, вынул небольшую тетрадь, подал мне и, засмеявшись, прибавил: «Возьми, прочти, тебе пригодится: тут описано одним моим приятелем довольно странное приключение». Я сохранил рукопись, полученную мною от N.

Вот она.

Кто проезжал Рязань, тот, верно, знает Степана Никитича; тот, верно, останавливался у него и слышал, как он хвастает своею мадерой. Живо я помню эту грязную осень, этот мрачный вечер, когда ни одна звезда не теплилась на небе и когда почтовые лошади едва дотащили меня до ворот рязанской гостиницы. Я был мученик нетерпения! Мне хотелось переменить время года, переправить дороги, сделаться чародеем, чтоб долететь скорее в объятия обожаемой жены! Как я суетился, чтоб немедля пуститься в путь. Как крепко стоял против всех обольщений Степана Никитича, заверявшего, что у него есть и биф-

штекс, и котлеты, и мадера из Петербурга. Но на станции не было лошадей. Я послал отыскивать вольных, хотя извозчики и слуги твердили, что за Рязанью нет проезда, что надо переночевать. Эти убеждения мало действовали на меня, однако поневоле должно было дожидаться. Я расположился ужинать, мечтая о конце моего путешествия.

Не прошло десяти минут, как из соседственной комнаты послышались звуки гитары и мужского голоса! Ах, какого голоса!.. Страстный к музыке, я боялся пошевелиться на диване, чтоб не проронить ни одной ноты. Кто-то пропел сперва несколько куплетов из баллады:

Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?

Потом:

Погасло дневное светило...

Ночь, мечты любви, заунывное расположение духа — все поселило во мне мысль, что светлые, пламенные звуки выливались из сердца, теснимого глубокой печалью. Я тихо подкрался к двери, чтоб посмотреть в замок на незнакомца, и мне удалось. Он сидел развалившись на софе; большие голубые глаза устремлены были в потолок; длинные русые волосы падали в беспорядке на широкий лоб, на котором лежал большой рубец, по видимому признак сабельного удара; правая рука была подвязана; в левой он держал гитару. На нем был военный сюртук; в петлице висел Георгий.

Всякий догадается, что мне захотелось познакомиться с занимательным офицером. На вопрос мой: кто это? мне сказали: проезжий штабс-ротмистр С. Фамилия происходила от собственного имени. Я велел попросить у него позволения войти к нему, но он предупредил меня и явился сам. Это был мужчина средних лет, высокого роста, стройный станом. Цвет лица его носил на себе грубые следы непогоды и жаров; но черты были выразительны. Передо мной стоял недюжинный человек. Я осыпал его приветствиями искренно, от полноты чувства, внушенного пением; он жал мою руку и улыбался с приметным удовольствием. Но с первого раза мне показалось, что он неразговорчив и язык его не имеет светской гибкости. Так как объяснения дорожных людей заключаются сначала в ответах на вопросы: куда?.. откуда?.. то я узнал, что он едет из действующей армии и что ему нужно побывать в Тамбове, в Саратове да в некоторых других городах. Нам хотя недалеко, но предстоял один путь; мы условились отправиться вместе, и он охотно согласился заехать по дороге ко мне в деревню, куда я торопился к именинам жены... «О, как она обрадуется, — думал я, — такому гостю,

она — певица в душе!..» Мы сели ужинать; бутылки две доброго вина принесены были из моей коляски, а Степан Никитич подкрепил их своим шампанским. Воображение наше разыгралось, язык стал вольнее. Чудный незнакомец осенил мою душу и пленительным голосом, и мужественною наружностью, и военными похождениями, которых краткую историю читал я на его белом кресте, на рассеченном лбу и на подвязанной руке. Он заговорил о музыке и о войне, глаза его сверкали вдохновением, а стакан опустошал бутылки. Я заметил, что мой ласковый, дружеский прием сильно подействовал на него; он стал веселее, и тогда я приписал это доброте сердца; теперь бы объяснил себе такую веселость проще, удовлетворенным самолюбием. Тогда я был молод, счастлив. Хвастливость не проглядывала в речах офицера, но смелые выражения обнаруживали необузданность чувств. Он глядел каким-то бестрепетным соседом смерти, и его пламенный взгляд мог бы потрясти недоступную красавицу. В нем все было перемешано: и смерть, и жизнь, и музыка, и штыки. Когда я по русскому обычаю вздумал спросить: не родня ли вам такой-то ваш однофамилец? то он с злобною улыбкой сказал мне: «Вы не знаете моей родни, да и чорт ли вам в ней?» Разумеется, что после этого ответа я оставил его родню в покое. Но вино развязало и мой язык. Чародейная сила шампанского вечно переносит нас к предметам нашей нежности. Я под шум музыки и войны явился на поприще разговора с сердечным счастьем, с семейною жизнью, с милою женой; но едва успел произнести несколько слов об очарованиях супружеской любви, как на лицо моего собеседника набежало мрачное облачко задумчивости. Он хлопнул стаканом о стол и начал беспокойно ходить по комнате.

— Что с вами сделалось? — спросил я.

— Ах, не напоминайте мне о любви и о жене... я также любил, — отвечал он, — да...

Тяжкий вздох вырвался из его широкой груди, и он замолчал. Любопытство подстрекало меня. Я не стану распространяться о всех моих уловках, чтоб заставить его говорить, и до сих пор не знаю, что было причиною откровенности. Я ли внушил доверенность, вино ли высказало тайну, или он потому не скрыл ее, что никого не боялся? Он закричал: «Шампанского!», схватил недопитый стакан, бросился на диван и, крутя левою рукою красивый ус, начал рассказывать почти следующим образом:

— Когда я родился, то ни одна словоохотная цыганка не смела бы предсказать, что этот сюртук будет на моих плечах и этот крест на моей груди. Няньки не ухаживали за моим младенчеством, не убаюкивали моей колыбели, и мать моя не при-

ходила в ужас, когда я бегал по грязи босыми ногами. Не это вино назначено было (и стакан дрожал в его руке) развеселять мою голову, и если б я послушался своей судьбы, то не с вами бы садиться мне за ужин.

На медные деньги учили меня грамоте; но я учился прилежно, потому что страстная охота петь припала ко мне с самого ребячества и чин дьячка сделался границею моего честолюбия. Я не пропускал ни одной службы в приходской церкви, важно выступал со свечою перед выносом, визжал громче всех в простонародном хоре и бормотал вслух молитвы при окончании обедни. Недолго дали мне расти в кругу этих скромных наслаждений: меня отняли от приходской церкви, от отца и матери. Этому давно, но даже и теперь навертываются иногда слезы на моих глазах, если случится мне хорошо припомнить, как я тогда плакал. В один день — он был звезда моей жизни, второе рождение мое, театральный свисток, по которому меняется декорация, — в один день мне осмотрели зубы и губы; по осмотру заключили, что я флейта, отчего и отдали меня учиться на флейте. Я плакал, но ни одно сердце не откликнулось на беззащитный плач мой, никто не прижал ребенка к теплой груди и не постарался ласками стереть его слезы.

Меня готовили в куклы для прихотливой скуки, для роскошной праздности, но музыка спасла своего питомца. Ей я всем обязан: она разорвала связь у минуты рождения с годами жизни и приворожила ко мне сердце женщины, которая была бы недоступна для меня, как скала Кавказа для казацкой лошади.

Правда, что музыка чуть не превратила моей головы в расстроенный инструмент, моих мыслей — в фальшивые ноты; но на краю погибели, на краю человеческого отчаяния она же подавала мне утешения, не подвластные никакому горю и ничьему произволу. Я пел, стоя у людей в задней шеренге; я скитался без приюта и пел, глодал черствый хлеб и пел... Ах, покуда струна, покуда голос будут потрясать воздух, до тех пор половина меня может страдать, но другая все будет наслаждаться! Поневоле я стал учиться на флейте, но скоро пристрастился к ней; музыкальные способности развернулись во мне.

Много лет прошло, как мало-помалу я начал знакомиться с известными артистами в Москве, бросил флейту, оказал большие успехи на скрипке и на фортепиано... Наконец пение сделалось моим исключительным занятием.

Любители музыки дорожили моим дарованием, звали на квартеты, заставляли петь; но в их глазах я был только музыкант... певец... или, лучше сказать, машина, которая играет и поет, к которой во время игры и пения стоят лицом, а после

поворачиваются спиною. Меня хвалили, и эта похвала пахла милостью; мне удивлялись и, в знак высокого одобрения, трепали по плечу; меня называли гением, но так равнодушно, так спокойно, что, видно, никому не хотелось на мое место, видно, всякий думал: «Ты гений, да дело не в этом!» Меня превозносили до небес, но так искренно, так обидно, как превозносит человек все, чему не завидует, как он рад прийти в восторг от того, кого считает ниже себя.

Я начал давать уроки и этим средством добывал деньги. Случай завел меня к одному молодому человеку; он не походил на других. Фанатик музыки, пламенный поклонник искусств, он преимущество дарования ставил чуть ли не выше всех преимуществ; он меня, выброшенного из числа людей, которых можно назвать, меня, музыканта, сажал за обед рядом с каким-нибудь коллежским ассессором. Признаюсь, что его обращение показалось мне сначала дико: я еще не привык к этому. Ему не было дела до того, что я, откуда я; он обходился со мною, как с другими, и от этого часто приводил меня в краску. Мне было ново, неловко, когда он при гостях заводил со мною разговор или просил садиться... Верьте, что не сместь сесть, не знать, куда и как сесть, — это самое мучительное чувство!.. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадетя. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед чинным богачом? Молодой человек, мой благодетель, полюбил меня как равного, как друга. Я все время, которым мог располагать, проводил у него. Он дал мне средства совершенствовать мой талант, заставлял меня читать книги, приучил говорить по-человечески, не краснея, не думая, что я не стою чести, чтоб со мной разговаривали. Словом, он пересоздавал меня, счищал ржавчину с моего ума и с моей души.

Жадно я хватался за книги; но удовлетворяя моему любопытству, они оскорбляли меня: они все говорили мне о других и никогда обо мне самом. Я видел в них картину всех нравов, всех страстей, всех лиц, всего, что движется и дышит, но нигде не встретил себя! Я был существо, исключенное из книжной переписи людей, нелюбопытное, незанимательное, которое не может внушить мысли, о котором нечего сказать и которого нельзя вспомнить... Я был хуже, чем убитый солдат, заколоченная пушка, переломленный штык или порванная струна...

У всякого есть год, есть день, в который судьба прочитывает решительный приговор его остальной жизни, осмеивает теплую веру в легкомысленные надежды или дает им живой образ: то наряжает их в женщину, то подносит в мешках зо-

лота. У всякого в жизни, как в горячке, есть перелом, двенадцатый день, свое домашнее Ватерлоо... И у меня был такой год, такой день.

Человек, от которого я зависел, отправился на житье в одну губернию, с намерением исправить там хозяйство в своей деревне и увеличить доходы; в той же губернии, в том же уезде находилась и деревня моего благодетеля. По соседству мне позволено было жить у него: я уже пользовался некоторою свободой.

Мы помчались туда, на крутой берег Волги, и музыкальные предприятия роились в наших головах; но, не знаю отчего, мысли мои сделались мрачнее, и звуки родных песен стали ближе, понятнее моему сердцу, чем сам бессмертный Моцарт.

Мой брат по музыке имел в деревне много соседей, познакомил меня с иными, расхвалил мои дарования, а потому я тотчас вошел в большую честь у тех, которые не знали, что делать с пальцами и голосом дочерей и у кого фортепиано было мертвым капиталом. В качестве приезжего музыканта из Москвы я сделался деревенским учителем, и, признаюсь, в деревнях мне оказывали более почета, чем в столице: конечно, только оттого, что мой покровитель никому не рассказывал моей истории и не было нужды в этих объяснениях. К тому же его обращение со мною придавало мне невероятный вес. Все шло хорошо, однообразно.

Однажды пригласили меня в ближнюю деревню к одной почтенной старушке, чтоб аккомпанировать какой-то приехавшей барышне. Я занемог немного, и мне не хотелось, но уговорили, уверили, что я отказом испорчу праздник. Это был день именин старушки, и внучка ее должна была непременно петь при пестром собрании гостей.

Важность обстоятельства убедила меня. Я, перемогая нездоровье, оделся понаряднее и отправился... Заметьте, что я уже умел довольно смело предстать пред многочисленное заседание гостиной. Когда я говорю «довольно смело» — это значит, что я уже ходил не на цыпочках, что я уже ступал всею ногою и ноги мои не путались, хотя еще не было в них этой красивой свободы, с которою я теперь кладу их одна на другую, подгибаю, шаркаю и стучу... Я мог уже при многих перейти с одного конца комнаты на другой, отвечать вслух; но все мне было покойнее держаться около какого-нибудь угла; но все, желая пощеголять знанием светской вежливости, я к каждому слову прибавлял еще: с.

Как весело взошло солнце в этот день!.. О!.. Я только теперь чувствую, как хорошо его запомнил!.. Он тут, он весь тут (и здоровою рукою офицер бил себя по лбу), со всеми подробно-

стями, со всеми мелочами!.. Мне кажется, я еще помню каждую струю Волги, каждый цветок, все лица, все звуки, все, на что я тогда взглянул или что услышал. Я могу пересказать вам этот день с такою же утомительною точностью, с таким же убийственным исчислением и слов и обстоятельств, с каким женщины пересказывают свои вчерашние разговоры или наряды, а старики свои сны.

Светлый, прекрасный день, каких мало под нашим небом!..

Я ехал по нагорной стороне Волги. Она, подернутая лучами солнца, присмирела тогда в неровных берегах... тихо катилась, как будто бессильный ручей! Кой-где крестьянские ребятишки играли по ней в своих *челноках*... ни одной волны, ни одной быстрой струи... О, как я любовался нашей Волгой! Прохладный ветер обвеивал меня! Что-то душистое было в воздухе, что-то очаровательное на этой громаде воды, на этом море зелени по луговой стороне! Верно, природа, как помещица, к которой я спешил, праздновала свои именины. В эту минуту я был более человек, более музыкант, чем когда-нибудь. Мне хотелось петь, я чуял вдохновение... но этот порыв внутреннего жара недолго подстрекал мои способности. Я доехал наконец туда, где по общему правилу должен был встретить столько грубых ушей, столько безответных душ, должен был превращать *allegro* в *andante* и *adagio* в *allegro*,¹ то оттягивать, то гнаться в погоню за пискливым голосом какой-нибудь деревенской барышни. Мученическая должность учителя приучила меня к равнодушному, к ангельскому терпению, и с поникшей головой я был уже готов на жестокое испытание.

Передо мной промчалась к крыльцу коляска в шесть лошадей. Мне также хотелось подъехать за нею, но на террасе перед домом стояли гости, и у меня неостало душевной силы на такой отважный поступок. При подобных случаях какой-то досадный голос напоминал мне: «коляска и ты — разница». Я оробел, оставил свой экипаж у околицы и прокрался в дом, не будучи замечен. В передней ожидала меня беда: должно было докладывать обо мне, и мне пришлось входить одному. Вы можете судить, что происходило в моем сердце; но волею-неволею надобно было решиться. Долго я поправлял волосы, отряхнул пыль, наконец вошел, разумеется немножко боком, и держался к стенке. По счастью, картина, поразившая меня, придала мне бодрости.

Много набралось туда деревенских соседей и соседок, но какой-то оригинальный беспорядок царствовал в этой толпе. Беспорядок был во всем, и в платьях, и в положениях, и в лицах. Свободная, беспечная жизнь полей с своей дикостью,

¹ Музыкальные термины, обозначающие темп (*ред.*).

с своей небрежностью, с своим своевољством отражалась в зеркале этого общества. Кой-где мелькало женское жеманство, кой-где проглядывало лицо, как будто упавшее с неба. Тут завитые усы, там нечесаная голова, тут жилет, опутанный золотой цепью, там неглаженное платье, но тут же и чепчик из Москвы с Кузнецкого моста, тут же ловко стянутый стан и великолепно взбитые волосы. Я подумал: «нечего робеть» — и подошел к хозяйке.

Достаточно дряхлая старушка сидела в креслах, положив ноги на скамейку; перед ней лежала вышитая по канве подушка, которую она показывала усевшимся около нее барыням, и приметное чувство гордости, смешанной с удовольствием, одушевляло на время ее улыбку, ее безжизненные глаза.

— Это мне подарила Александрина, — повторяла она, важно поворачиваясь то на ту, то на другую сторону.

Я успел уже ей три раза поклониться и, вероятно, по милости подушки долго бы продолжал кланяться, если б какая-то молодая девушка, которую я в замешательстве не разглядел порядочно, не толкнула ее и не шепнула ей чего-то на ухо, вероятно обо мне, потому что она тотчас обернулась, а вместе с нею и все почтенное заседание, приподнялась на креслах и сказала:

— Ах, это вы, батюшка; покорно благодарю, что пожаловали; я об вас много наслышалась от Владимира Семеновича; говорят, вы большой музыкант, а ко мне приехала погостить музыкантша, внучка моя... Сашенька, поди сюда!

И та, которую, конечно, звали Сашенькой, подошла. Признаюсь, мне было не до Сашеньки: все глаза уставились на меня, и я горел, как на огне; однакож я робко возвел мои очи на внучку, и сердце мое шепнуло мне: «Она должна хорошо петь».

— Рекомендую вам внучку мою, — продолжала старушка, — уж такая охотница до музыки!.. Прошу ко мне почаще жаловать: вы будете с нею петь; ей надобно же не забывать, чему училась. А где Владимир Семенович? Что же он не с вами?

— Он поехал по делам в город, — отвечал я, — может быть, сегодня вечером воротится.

— Ах он, злодей, — сказала она, — совсем бросил старуху; я с ним за это побранюсь; он вами не нахвалится. Не хотите ли, батюшка, взглянуть на подарок, какой сделала мне сегодня Александрина? — И с этим словом она протянула обе руки с несомною подушкой...

«Скоро ли ты отпустишь меня», — думал я и между тем пристально смотрел и неловко кланялся и шевелил губами, как будто расхваливал ненаглядный подарок. Наконец старуха

унылась, проговорила: «Милости просим садиться»; ее гости перестали мерить меня с головы до ног, потому что кто-то еще приехал; я сошел с выставки и перевел дух.

Когда я отдохнул от замирания стыдливости, то вспомнил тотчас свой первый взгляд на Александрина и ее первое впечатление на меня.

«Она должна хорошо петь» — вот все, что мелькнуло мне в ней. По естественному порядку своих музыкальных мыслей я из угла комнаты начал разглядывать это существо, которое должно хорошо петь. Я не скажу вам, что она понравилась мне, не могу этого сказать; с словом: *нравиться* соединяется какая-то мысль о равенстве, а Александрина так далеко стояла от меня в гражданском быту, что я не догадался бы вдруг, если б в самом деле она понравилась мне. Нет, это чувство при первой встрече с нею не могло заглянуть в мою душу, в которой от унижения так много было робости. Я смотрел на нее, как на картину, которая не продается, которую нечем купить; как на ноты, по которым предсказывал себе волшебное согласие их звуков; смотрел не как человек, а как музыкант.

Однакож я разглядел эти голубые глаза, полные какой-то мечтательной жизни, эти щеки, где играл тонкий румянец весны, и живописную нестройность белокурых волос, и легкий стан, и быструю ножку. На ней было белое платье, за голубым поясом пук цветов; она то и знай подбегала к бабушке, потому что та беспрестанно ее кликала.

Будь я тогда тем, что теперь, я прочел бы на лице Александрины, в ее походке, в ее словах это простодушие неопытного сердца, чистого, как снег на головах Эльборуса; эту смелость невинности, которая не боится завтрашнего дня, потому что не знает еще, чего бояться; эту теплоту души, которая не устала ни от любви, ни от горя, ни от радости... Вот что представилось бы моему воображению, если б я был тем, что теперь; но нет, тогда все эти мысли я выразил для себя иначе. Я подумал только: «Как она должна быть добра!»

Между тем как я рассматривал юную музыкантшу, рука моя невольно поправляла галстух, или, сказать по-русски, я невольно охорашивался. Отгадайте причину человеческих движений! Старуха опять что-то заговорила со мной, но ее красноречие было прервано водкой и громким возгласом: «Кушать поставили».

Я сидел бы за обедом, как в пустыне, потому что никого не знал, если б не побался мне в соседи какой-то любитель музыки: он замучил меня своей музыкальной историей, рассказывал, как выучился на скрипке и на чекане, как составил оркестр из дворовых людей, чего ему это стоило, как ему нравится h-мольный концерт, который он учит, и, наконец, звал

меня к себе. Скучно было его слушать, но, по крайней мере, он был мне за столом поддержкою. Все молчать в кругу незнакомых было для меня то же, что громко говорить при всех.

Мирно обедая я вдали от хозяйки, на унизительном краю стола; и по какой-то особенной сметливости слуг каждое блюдо подавали мне последнему, отчего и случилось, что из множества раков мне достался один, а спаржу, салат и клубничный пирог я видел только в почтительном расстоянии. Но эти маловажные обстоятельства не в силах были раздражить моей щекотливости. Для нее готовилось другое истязание, получше, подействительнее. Недалеко от меня сидел какой-то господин с молчанием на устах, с унынием на лице, худощавый и по виду пречувствительный. Под конец уже обеда развязался его язык, и он начал с кем-то разговаривать через стол. Я не обращал туда никакого внимания, завоеванный моим соседом, как вдруг мое сердце забилося, лицо вспыхнуло, и глаза остановились, прикованные к этому худощавому чувствительному человеку. Чуткий слух мой поймал его слова:

— А я сегодня обработал славное дело: продал двух музыкантов по тысяче рублей штуку.

Сосед мой заметил мне на ухо:

— Тотчас видно не музыканта! Я ни за одного из своих и по две не возьму.

Вы понимаете, что я чувствовал, чего мне хотелось; но не то было время. Теперь я не посоветовал бы так распространяться при мне про домашние дела своего оркестра, а тогда я мог только покраснеть, задрожать и с тоскою глубокого оскорбления взглянуть на другой конец стола, туда, на милую Александрину, как будто за тем, чтоб в ее добрых, человеколюбивых чертах найти защиту от обиды, чтоб утешиться, чтоб помириться с людьми, увидев на ее благородном лице: она не скажет этого, она не продаст музыканта! Да, это было так.

(Слезы навернулись на глазах офицера; он встал, прошелся по комнате и, наливая в стаканы шампанского из третьей бутылки, продолжал.)

Обед кончился, как кончаются все обеды: наелись, нашулись и встали. Долго не мог я собраться с духом после жестоких слов; невольно задумывался, не находил нигде места, а худощавый человек все вертелся около меня и даже, узнавши, что я музыкант, подлетел беседовать со мною. В этом мрачном расположении застал меня час музыки. Все разбрелось кто куда попало; я стоял один на террасе, перед которою большой круг был усажен полным собранием цветов. Вдали раздавались пьяные напевы мужиков, пировавших также на именинах у своей барыни. Солнце садилось. Я весь погружен был в мою судьбу, как вдруг явилась передо мной Александрина.

— Не знаю отчего, — сказала она, — бабушке хочется непременно, чтоб я пела; не угодно ли вам посмотреть: что бы выбрать? Я никогда не пою при всех и так робею...

Ее слова, ее голос оживили мое воображение; я подошел к фортепьяно; но не успели мы ни порядочно согласиться, что ей петь, ни сделать репетиции, как притащилась бабушка, за нею барыни, а там собрались почти все. Мой сосед по обеду, как знаток, расположился за моим стулом, а худощавый человек, будто божие наказание, прямо перед моими глазами. Но тут уже он не в состоянии был оскорбить меня: у нас не было уже ничего общего. Пальцы мои коснулись клавишей, и душа моя перелетела в другой мир, где мы не могли с ним встретиться.

Александрина стояла возле меня и приметно робела; беспокойно поднималась ее грудь, белая, как голубь на солнце. Ах, когда после нескольких аккордов вылетели из этой груди первые звуки, еще дрожащие, еще боязливые, — право, чуть пальцы мои не онемели... ноты исчезли, я обернулся к ней... Знаете ли вы, что такое контральто, это соединение твердости и мягкости, силы и нежности, сладострастия и мужества, которого недостаток так ощутителен в сопрано? Знаете ли вы, что такое голубые глаза и шестнадцать лет... этот блистательный миг в женской жизни, этот лучший аккорд творца, обворожительный, полный, в котором слышно и небо и землю, которому нет подобного ни у Гайдна, ни у Моцарта?.. У Александрины был чистый контральто, не довольно еще выработанный; но ей было шестнадцать лет, но у нее были голубые глаза. Каждую минуту голос ее становился смелее, и сердце мое замирало от упоения!..

Она кончила; зашумели кругом нелепые, заученные восклицания; все хвалили; я один не умел сказать ни слова. Бабушка целовала внучку и вдруг ко мне с вопросом:

— Как вы находите, батюшка, хорошо моя-то поет?

— Прекрасно-с, — отвечал я и злился на себя за холод ответа.

— Теперь ваша очередь, — продолжала старушка и, разумеется, напомнила опять, что она наслышалась обо мне от Владимира Семеновича.

Александрина вертелась, не обращая на меня никакого внимания. Я никогда не был так самолюбив, как в эту минуту!.. Сидеть незамеченным, молча, когда все кругом лепетало без связи, без смысла, когда она и не воображала, что я один почувствовал ее!.. Заставить, чтоб она также загляделась на меня, чтоб она также заслушалась, — эта честолюбивая мысль привела в движение все струны моего сердца. Моя стыдливость пропала; для меня уже не существовал никто, ни бабушка, ни сосед, ни худощавый человек, ни вся эта бестолковая толпа:

передо мной стояли фортепьяно и Александрина. Не знаю, каково я пел, но она все подходила ближе ко мне, перестала смотреть по сторонам; глаза ее остановились на певце... Ах, чтоб околдовать душу, не надобно говорить, не надобно уметь говорить, надобно петь. Слова — ум, душа — звуки; слова ограничены, как ум; одни звуки так же неопределенны, как душа. Я не стану пересказывать вам толков, которыми осаждали меня мертвые уста моих слушателей: я глядел не на них, я их не слышал. Александрина задумалась; я наслаждался уже впечатлением, которое было предметом всех способностей моей души; но торжество мое продолжалось недолго. Мне мечталось, что мы равны с нею, что мы жили в царстве музыки... я позабыл, кто я!.. Как вдруг она несмело подошла ко мне, и несколько слов, тихо сказанных ею, так меня образумили, что я покраснел, встал со стула, увидел опять и бабушку, и соседа, и худощавого человека. Александрина сказала мне что-то по-французски: она не думала, что можно хорошо петь и не знать этого языка; она полагала, что я воспитан в ее понятиях, что равенство дарования равняет нас во всем... но ошиблась, но растерзала меня. Не помню, как я отделался от проклятой фразы. Приехал Владимир Семенович; пение возобновилось, я оправился. Александрина говорила уже со мной по-русски, говорила много, говорила сладко. Когда мы с моим благодетелем стали собираться в дорогу, то бабушка отвела меня в сторону, повторила, чтоб я ездил давать уроки ее внучке, и совала мне в руку сколько-то денег. Я не взял. Александрина также звала меня, но, слава богу, не давала денег. Мы поехали. Контральто, голубые глаза и французский язык не выходили у меня из головы; месяц светил на Волгу, но мальчишки не играли уже по ней, и ветер страшно колыхал ее.

Смешно сказать! Я на другой же день присел за французскую азбуку: Владимир Семенович сделался моим учителем. Какие мучения вытерпывал я! Язык мой затвердел от лет; напрасно я переламывал его упрямство: он сохранил характер первого воспитания. Зато ручаюсь вам, что никто не проклинал французов столько, как я!..

Как досказывать вам мою чудную историю? Как передать ее речи, ее взгляды, ее любовь, которая облагородила мое сердце, но заразила его мстительным негодованием, неисцелимым ропотом? Любовь показала мне ясно, лучше, чем все рассуждения, что подо мною не было никого, и сколько надо мною!.. Вы догадываетесь, как часто я видал Александрину. Их дом подходил на совершенное уединение: бабушка и она. Часто мы оставались с нею одни; мы пели, и тут спевались сердца наши. Этот рубец не обезобразивал еще моего лба, и лицо мое не было опалено южным солнцем. Я был моложе. Вы не пове-

рите, с какою детской радостью выбегала она ко мне навстречу, когда я приезжал, и каким огнем горели ее глаза, когда я шел!

Ах, истинной привязанности к искусствам надобно искать в поле, в глуши деревень, где роскошь и суэта не притупляют чувств, где под необразованной одеждой бьется свежее сердце! Ах, чтоб узнать, хорошо ли вы поете, тлится ли в вас святая искра дарования, надобно, чтоб вы пели не в столице, надобно, чтоб вас слушала шестнадцатилетняя девушка с белокурыми волосами!

Наедине с Александрinou я уже не робел, говорил смело; какое-то нелепое чувство равенства с нею заглушало во мне память о моем состоянии. Это был мир музыки, мир страсти. Но оставляя Александрину, я переселялся в мир существенный и мерил мысленно необъятное пространство, разделяющее нас.

Тут не было места надежде, тут мне не помогало легкое верие человеческого. Никакая мечтательная голова не могла бы построить воздушного замка, где б мы очутились вместе, в объятиях один другого. Тяжкая мысль! Однакоже я принимал меры, чтоб вырваться из-под ига судьбы. Я знал, что Александрина не может быть моею; но не мог жить без нее; но был бы несчастнейший из людей, если б она меня не любила; но, кажется, зарезал бы того, кто разлучил бы нас. Дни проходили: каждый был для меня и горе и радость. Нельзя выразить, что я в это время передумал и перечувствовал. Я торопился жить: у меня не было будущего. Мы давно догадались, что любим друг друга, и все не высказывали этого: как будто предчувствие останавливало нас обоих; как будто мы предвидели, что слово *люблю* страшно, что с ним выступают предрассудки, преступления, смерть. Оно было целью, до которой я не желал достигнуть: после не оставалось ничего. Я не мог осуществить мечты любви, так мне хотелось все мечтать, продолжить донельзя это нерешенное положение двух сердец, не сочинять развязки к этой обворожительной драме. Но как удержаться в границах рассудка и сказать себе: ты не пойдешь далее?

Часто, как водится, мы намекали друг другу о нашей тайне. Так, например, я стоял однажды за стулом Александрины, которая читала бабушке «Руслана и Людмилу». Стих: «Пастух! Я не люблю тебя» она произнесла выразительно, а между тем жала пальцем частицу *не* и украдкой взглянула на меня. Много бывало таких намеков с обеих сторон, но дошло наконец до объяснения.

Однажды я приехал вечером; мы расположились в зале заниматься музыкой; старушка сидела в дальней комнате за пасьянсом. Глаза Александрины были заплаканы, и прежде чем я успел спросить: отчего?.. она сказала печально:

— Вообразите, я должна ехать от бабушки: нам должно расстаться.

Я не помню, что я ей тут отвечал; помню только, что щеки мои пылали; что я держал обеими руками ее дрожащую руку, на которую падали мои крупные слезы, которую жгли мои поцелуи. Она вырывала руку, и между тем уста ее произносили клятву, что она никого не будет любить, кроме меня; что, кроме меня, не будет ни за кем.

— Что вы сказали? Кому вы поклялись? — говорил я, и кровь останавливалась в моих жилах, и туман застилал глаза. — Ах, вы созданы не для меня: для вас другая дорога, для вас и любовь, и счастье, и цветы, и весна, и весь божий свет; вам ли думать обо мне? Что я? Откуда я?

Александрина заливалась слезами и боязливо, с потупленным взором шептала уверения, которые дышали чистой, бескорыстной страстью, в которых каждый звук был чувство, глубокое, искреннее чувство... Ах! Как она была хороша! Как я был горд в эту минуту!.. Я увидел новую жизнь, новый свет!.. В первый раз отчаяние притаилось в моем бунтующем сердце; в первый раз рассудок перестал мучить меня. Без страха, со всем легковерием любви, со всею бессмыслицей надежды я произнес, наконец, свой приговор:

— Знаете ли, на кого вы смотрите? Знаете ли, кто стоит перед вами? Знаете ли, кому вы поклялись?.. Я — крепостной человек.

Я выговорил смело и оробел. Я вдруг почувствовал, что нет более равенства между нами, и выпустил ее руку.

Не так быстро свалился я с лошади, когда персидская сабля разнесла мне череп, как побледнела моя Александрина и упала ко мне на руку. На этой руке, заклепленной турецкою пулею, лежала она!.. Нежное творение!.. От одного слова не устояла на ногах! Мне нужно было только назвать себя, чтоб испугать самую горячую любовь... Поверите ли? Я без жалости взглянул сперва на ее закатившиеся глаза, на ее помертвелое лицо... Какое-то глубокое презрение к женской слабости охолодило мое сердце. Я сказал слово, но я был тот же... Куда ж девались красноречивые взгляды, алые щеки, эта жизнь первой весны, этот яркий цвет красоты и юности?.. Обморок обидел и меня и любовь.

Но едва мелькнула эта мысль, как я вспомнил, что у меня на руках лежала милая, добрая, чувствительная Александрина, ангел, осветивший мою душу непорочным огнем, источник всех возвышенных волнений моего сердца, моя единственная мечта, мое благородство, моя честь, моя слава!.. Я сжал ее в судорожных объятиях и поцеловал... Она не очнулась даже и от этого поцелуя. На мой крик прибежали люди и бабушка,

(Офицер поставил опорожнившийся стакан, оперся локтем левой руки на колесо, положил лицо на ладонь и задумался. Все спало кругом нас. Он просидел молча несколько минут. Потом, не переменяя положения, принялся опять рассказывать.)

— Что с тобою, ты расстроен? Ты, верно, знаешь? — сказал мне Владимир Семенович, когда я вошел к нему в комнату.

— Что такое? Ничего не знаю, — отвечал я.

— Я сейчас от твоего барина, — продолжал Владимир Семенович. — Я предлагал ему наконец за тебя 10 тысяч рублей. Он говорит, что теперь с радостью бы взял, но не может, а не может потому, что, как я узнал, деревня, к которой ты приписан, и ты сам — проиграны. Только не отчаивайся: я думаю, мы найдем средства сладить с твоим новым господином, хоть, говорят, он человек тяжелый. Куда же ты?

— Пойду в свою комнату спать...

Я вышел, я шел, не знаю куда; вся кровь вступила мне в голову; вечность страданий уместилась в одну ночь; понастоящему я откупился тогда от них на целую жизнь и в здешнем и в будущем мире!.. Какие-то страшные образы летали перед моими глазами; кто-то нашептывал мне на ухо про смерть, про мщение... То казалось, что я вижу свадебный ужин, за которым сидит Александрина с женихом, а я стою у них за стулом с тарелкой, и жених приказывает мне: «Петрушка, подай воды!» То казалось... (тут офицер засмеялся, но его губы затряслись, точно от судороги гнева), что я вижу моего бывшего барина... за столом, на котором лежат кучи золота и карты... бледного... растрепанного... он держится за пятерку и кричит: «Бейте, идет остальное, и Петрушка ваш... Я его ни за какие деньги не хотел отпускать на волю, но так и быть, бейте...», и пятерка падает направо.

Эти отвратительные привидения носились передо мной по широкой Волге, она бунтовала под моими ногами... Я помню, что я стоял на ее крутом берегу, я смотрел в бездну, я мерил расстояние между жизнью и смертью... Я помню, что я очутился в спальне моего барина... Лампада теплилась перед образами, и первые лучи утренней зари прокрадывались сквозь закрытые ставни. У меня в руке была бритва. Я смело подошел к кровати, с отвагой убийцы отдернул занавес, но... я говорю правду... рука моя опустилась прежде, чем я увидел, что в постели никого не было. Да, у меня не достало бы силы на такое дело. Все, однакож, я должен благодарить PROVIDENCE, что он не ночевал дома: он проигрывал последнее и — проиграл. Жаль, что мы теперь не можем встретиться с ним! Верно, он предчувствовал, что на земле негде ему спрятаться от меня, и спрятался на три аршина в землю. Бог ему судья!.. Он сделал лучше, что поставил меня на карту. Я стоял у постели, все члены

мои дрожали, холодный пот катился с лица, и язык повторял невнятно: «Злодей, убийца!» Изнемогая и телом и душою, я повалился перед образами, но не мог молиться: у меня не было ни одной ясной мысли, ни одного понятного чувства. Все перепуталось: и безумие любви, и ненависть, и унижение, и гордость, и рай, и ад. Я лежал и вглядывался в распятие, стараясь вспомнить, что оно значит. Сердце мое так стучало, что я испугался наконец: мне послышалось, что кто-то идет. С ужасом вскочил я, спрятал бритву и выбежал из спальни, как Гамлет, преследуемый тенью отца. В передней догорала свеча, и человек, мой брат, дожидавшийся барина, спал крепким сном. Тут я пришел в себя и отправился домой, но не мог уже успокоиться.

Перемена судьбы сделалась для меня необходимостью, воздухом, без которого нельзя дышать. Сибирь, голод, мороз, Нерчинские рудники — я все это перечел себе по пальцам в одну ночь и вывел заключение, что там мне будет лучше. На другой же день я бежал, пригладил волосы, вздел армяк и запустил бороду. Мне хотелось, по обычаю русских беглецов, пробраться в Одессу, а если поймают, назваться непомнящим родства. Цель моего побега была: попасть в солдаты или умереть от своей руки. Когда мне представлялось, что я солдат, то какой-то луч надежды сверкал передо мною, и Александрина являлась тут с своею улыбкой. Дома я оставил письмо, что бросился в Волгу. Все дело в решимости: я решился — и мне стало легче.

Не зная порядочно дорог, не имея ни малейшего сведения о притонах, где гостеприимные хозяева дают ночлеги удалцам Руси, я бродил, как Каин. Голая осенняя земля бывала часто мне постелью, а засохлый хлеб — пищею. Но на последней ступени унижения и нищеты, глаз на глаз с жизнью, которую судьба разоблачила от всех соблазнов и показала мне без прикрас в безобразной наготе... у меня были торжественные минуты.

Представьте себе человека без родных, без друзей, без знакомых, словом — одного на земле, только с темным воспоминанием о каком-то голосе, о какой-то женщине!.. Представьте, что этот человек идет по необозримой степи, смотрит на небо, усеянное миллионами звезд, и поет: я пел, что певала она.

Теперь вообразите себе земскую полицию, уездный суд, душную тюрьму уездного города... Вообразите заклеянные лица и лица, приготовленные, сотворенные для клейма: это были мои судьи, мое жилище и мои товарищи.

Меня взяли как беспаспортного и привели к исправнику. Он прежде допроса схватил меня за ворот и замахнулся; но бог спас нас обоих. Блюститель благочиния и порядка, верно, хотел только начать с чего следует и пострашать меня, но не ударить; а я видел уже минуту, как неумытный судья полетит

вверх ногами к подножию зеркала. «Не помню родных, не знаю, как меня зовут, не знаю имен, ни городов, ни сел, где проходил и останавливался, не знаю никого и ничего», — вот что отвечал я исправнику и в уездном суде, стараясь смягчить свой голос и принимая вид покорности. Меня судили как непомнящего родства, и долго судили. Наконец наступил час моего испуления. Все на свете кончается, кончилось и мое дело. Я был приговорен в солдаты и поступил в арестантские роты. С чем сравнить мой тогдашний восторг?.. Птица, выпущенная в Благовещение из клетки, преступник, прощенный под топором палача, могли бы вам дать понятие о чувстве, с которым я надел серую шинель... Никому жизнь солдата не представлялась в таких очаровательных красках! Я дышал свободно, я смотрел смело, меня уже не пугала барская прихоть; я сделался слугою не людей, но смерти; я знал, что она не выдаст своей жертвы. Тогда открывалась персидская война. Разумеется, меня заметили между моими товарищами: мой голос, музыка внушили участие; я поверил свою тайну одному доброму начальнику и попал в действующую армию. И у меня, наконец, явилось будущее: поле, штыки!.. Не раз я целовал солдатский мундир, обливая его слезами... О, благодарность к нему простынет разве тогда, как глаза мои засыплется землею!.. Томительные переходы, знойное солнце, все военные тягости не подавили моих душевных сил, не отняли у меня ни бодрости, ни надежд. Ни одной минуты я не роптал на мой новый жребий, я был ему рад до иступления, он делал меня человеком... Как ребенок, повторял я себе: «ты солдат!» — и сердце мое билось весело, и смело улыбался я при мысли о своем барине. С каким поэтическим трепетом увидел я в первый раз это поприще, где падают люди не по выбору, а кто попадется, где презрение к жизни может задуть человеческое лицепрятие и поставить первым того, кто стоял последний!.. С какой отчаянной решимостью бросился я, когда в первый раз услышал дикий крик смерти и победы: «Ружья на руку, скорым шагом, марш!» Мне нужно было выместить на ком-нибудь все прошедшее. Мне казалось, что каждый персианин был моим барином, был ступенью к руке Александрины.

После того сражения, где мы под градом неприятельских картеч шли через мост на приступ, распевая песню: «*По мосту, мосту*», я получил первую награду, солдатский Георгий. Он был мне дан по приговору моих товарищей.

Офицер перестал рассказывать, но, опускаясь на диван и смыкая глаза, проговорил почти шопотом:

— Сдержала ли она свою клятву?



Сальные свечи давно уже были переменены, четвертая бутылка шампанского допита, и лошади готовы. Признаюсь, я досадовал, что поторопился пригласить его к себе... Он казался мне страшен, я чувствовал невольное отвращение к нему, не умея объяснить причины... Но делать было нечего. Я старался дорогой выведать, кто такой его бывший барин, кто такой Владимир Семенович и кто Александрина? Уверял, что, может быть, дам ему об них сведения, но он не хотел называть никого. Он отвечал мне, что Александрина легко могла забыть его, так зачем же пятнать молодую девушку, которая сама не знала, что делала, которая, вероятно, сохранила доброе имя, если и нарушила клятву.

Как он был разговорчив за вином, так после сделался молчалив и во всю дорогу спал. Мы приехали поздно вечером накануне именин жены. Мне сказали, что она больна и легла уже в постель. Я умирал от нетерпения видеться с нею после продолжительной разлуки, но не решился разбудить ее: не было счастья, которого б я не отдал за ее здоровье, за один миг ее покоя.

Как она обрадовалась мне на другой день! Заиграл румянец на бледном лице, запрыгали слабые глаза. Я объявил ей, что привез гостя, но принять его она не могла и даже не могла обедать с нами, а обещала выйти к концу стола, если силы позволят. Много собралось к нам соседей, которые с большим почтением смотрели на моего офицера. Как он был хорош в мундире! Какой мужественный вид! Какая стройность! Какое выражение в чертах! Прекрасные волосы, раны, широкая грудь, увешанная крестами: все привлекало внимание, все говорило воображению. Только видно было, что он устал от рязанской гостиницы, потому что сначала был чрезвычайно задумчив. Мы обедали довольно шумно, хотя мои соседи не смели очень развернуться при великолепном офицере. К концу стола расшутился и он; праздник стал веселее, и я послал сказать жене, что мы пьем ее здоровье. В самый развал обеденного пира двери из ее комнат растворились, и показалась она, еще томная, слабая. Все встали. Я подошел к ней, чтоб представить офицера; но когда, протягивая руку, обернулся к нему со словами: «Вот моя жена», он стоял окаменелый, он не двигался с места, глаза его замерли на ней... Все кругом кричали:

з — Честь имеем поздравить вас, Александра Дмитриевна, со днем вашего ангела!

Она сделала несколько шагов к офицеру, но едва успела проговорить: «Я очень рада случаю...», как страшно побледнела, подошла к нему ближе, но не договорила, зашаталась и, облакачиваясь ко мне на руку, шептала: «Друг мой, мне дурно». Офицер не шевелился, не раскрывал рта и во все глаза глядел

на мою жену. Я отвел ее; она упала на кровать и умирающим голосом повторяла: «Напрасно я вышла, я так еще слаба!» Думаю, что я посмотрел на нее довольно выразительно. Когда я воротился в столовую, все оглушили меня вопросами: «Какова Александра Дмитриевна? Что с нею? Напрасно, кажется, она изволила выйти». Мне было не до ответов!.. Он еще стоял тут, все тот же, ужасный, как тень в Макбете! Он еще не отвел оцепенелого взгляда от двери, в которую вышла жена!

Наконец ноги его подогнулись, точно сами собою; он сел; выпустил из руки рюмку и стал кусать губы.

Мертвая тишина продолжалась до конца обеда... После мой спутник поклонился мне молча и пропал.

Та, которая поклялась ему, та, которую он поцеловал...

(На этом месте в рукописи нельзя разобрать многих слов: они забрызганы чернилами, повидимому оттого, что перо было брошено на бумагу.)

Я подсмотрел однажды, как... плакала украдкой... мне... тесно с ним под одним солнцем... мы встретились... оба вместе упали. Он не встал, я хромаю.

АУКЦИОН

Je me trouve dans la position de cette jeune fille à qui sa compagne demande la nomenclature exacte de ses amants. «Je me souviens très-bien d'Auguste, de Charles aux yeux bleus, d'Edmond, d'Alfred, du petit peintre et du grand médecin; mais après cela je m'embrouille...» répond-elle.

*Castil-Blaze.*¹

В Большом театре играли одну из тех бесчисленных пьес, которых никто не слушает; но представление было усилено балетом, а балеты привлекают зрителей, потому что многие жители Москвы сохранили еще в целости привычки осьмнадцатого столетия. Многие говорят с участием о Поверре, Вестрисе, Дюпоре, как о мужах славных, забытых понапрасну несправедливыми потомками; восхищаются изящными группами Дидло, как произведениями, достойными луча бессмертия!..

Каким образом появились балеты на Руси, где стыдливость была доведена до такой точки совершенства, что красавицы рождались, цвели и отцветали уединенно, в высоких теремах; где еще не все бороды обриты; где о зephyре месяцев девять нет помину?.. И что такое балеты? Что в них для нас, для века исторического, политического, экономического? Они, может быть, способны подогреть студеную семидесятилетнюю кровь — и только! Что в них для мысли и для души 1834 года?..

Но об этом после... Моя речь клонится к тому, что я не люблю балетов и что в театре было много, то есть: раек, верхние ряды лож и стулья пусты; а бельэтаж, бенуары и почти все ряды кресел полны. Собралась публика, у которой за обедом

¹ Я пахожусь в положении той молодой девушки, у которой приятельница спрашивает точный список ее возлюбленных. «Я хорошо помню Огюста, голубоглазого Шарля, Эдмонда, Альфреда, маленького художника и высокого врача, но после этого я запутываюсь...» отвечает она.

Кастиль-Блаз (ред.).

подается белый хлеб, единственная мерка нашей образованности. Мороз не закутал еще никого в свою тяжкую одежду, и на полунагие лилеи порхающей флоры никто не поглядывал из-под медвежьей шубы. Небрежно раскинувшись на креслах, поводили невнимательными лорнетами московские денди, Чайльд-Гарольды, Онегины. На конце второго ряда сидел молодой человек и посматривал на ближнюю ложу; но только женский глаз мог догадаться, что его двурогая трубка, блуждая в пространстве залы, останавливалась не случайно на одном и том же предмете. Молодой человек, которого имя начинается буквою Т., употреблял всевозможные уловки, чтоб не дать никому заметить, куда он взглядывает; но трубка изменяла. В потемках огромного театра, где трудно разглядеть кого-нибудь простыми глазами, она помогает сказать: «я смотрю на вас»; но с нею никак нельзя притвориться и уверить женщину, что «я не на вас смотрю». Т. переворачивался беспрестанно на креслах, волновался и телом и душою, вспоминая в отрывках историю любви, несбывшиеся надежды. Прошлые записи расцеленного воображения, смешная роль влюбленного, который не сам оставил, а которого оставили, — все эти мысли производили страшную суматоху в его голове и сжимали ему сердце. «Она смотрит на меня пристально, — думал Т., — она узнала меня, она вспомнила!.. Мы разочтемся, увидим, кто будет смешон...» Краска выступила у него на лице, а между тем во время антрактов толпилась сладострастная молодежь с лорнетами, наведенными на ту же ложу. Некоторые барыни, высовываясь из бенуаров, спрашивали: «Скажите, где сидит польская графиня?» Каждому щеголю по очереди показалось, что она взглянула на него, а потому каждый попеременно облокачивался о перегородку оркестра, закидывал голову назад и, лелея бакенбарды легким прикосновением указательного пальца, принимал изнеженный вид беззаботного счастливец. Но польской графини не было в театре, а была русская княгиня ***. Ее не все знали. Она года полтора назад исчезла из Москвы еще невестой, вышла замуж и воротилась в столицу не более двух дней. А так как мы имеем выгодное мнение о польских красавицах и как вообще человеку не хочется никогда объяснить нового явления естественным образом, надобно во всем чудеса, то в театре разнеслась молва, что приехала польская графиня, у которой муж по политическим обстоятельствам бежал за границу, при побеге был ранен польским уланом, принявшим его за русского, и от этой раны умер через неделю.

Пунцовый плащ княгини, презрительно сброшенный, висел за ее спиною в живописном беспорядке; левая рука, играя обворожительно лорнетом, то лениво опускала его, то прикладывала к прекрасным глазам так небрежно, так равнодушно,



как будто бог не сотворил ничего, что бы стоило ее пристального взгляда; кисть правой руки, обтянутая французской перчаткой, роскошно покоилась на полинявшем бархате ложи; черная шаль, красиво спущенная с пышных плеч, лежала на сгибах локтей и стана волнистыми складками, выказывая цветистый узор каймы, богатую ткань Востока; темные волосы оттеняли распустившиеся розы щек и чернелись в прорезах белого крепового тока, на котором пушистые перья марабу колебались тихо, повинаясь томным движениям своенравной головы; готические браслеты, беспрестанная улыбка, полу-оживленный взор, скользящий по сцене и по зрителям, — все заставляло мечтать, все закрадывалось в сердце. Княгиня была хороша, очень хороша!.. Я отвернулся от нее: я подвержен бессонницам.

Она узнала молодого человека, поняла, что он смотрит на нее, и первая встреча с ним после долгой разлуки, после многих клятв в вечной верности сначала смутила ее; но мало-помалу смущение прошло, светское равнодушие взяло верх, и глаза ее встречались часто с глазами Т., старыми знакомыми. Между тем как он считал себя единственным предметом ее внимания, княгиня уделяла свои взгляды и другим, особенно одному стройному адъютанту, который без всякого зазрения совести совершенно обратился на ее ложу.

Спектакль кончился, и Т. столкнулся в сенях, разумеется нечаянно, с княгиней; неловко было не поклониться; он поклонился молча, потому что онемел от негодования и не приготовился еще к разговору. Княгиню сопровождал широкоплечий мужчина среднего роста, и вместо того чтоб — по долгу учтивости и покровительства, которым сильный обязан слабому, — очищать дорогу, он спокойно шагал по следам жены, предоставляя ей право продираться первой сквозь невежливую толпу.

Воротясь домой, Т. спросил чаю, впустил пальцы одной руки в волнистые волосы, а другою схватил развернутый том только что показавшегося тогда романа: «Церковь богоматери в Париже». Первые слова, что попались ему на странице, были: «c'était indéfinissable et charmant...»¹ Он долго смотрел в книгу, не перевертывая листа; наконец она полетела на диван, а он вскочил и начал ходить большими шагами. Матовое стекло лампы, стоявшей на столе, разливало тусклый свет. Человек принес чай, Т. не видал; человек предложил халат, он не слышал; то шевелил губами, как будто разговаривая с кем-то; то кусал их, как будто досадуя на что-то. На его лице выразилось то состояние души, когда непостоянные, беспредельные мысли ее привязываются все к одному предмету; когда, неотвязные,

¹ Это было неопределимо и очаровательно (ред.).

умещаются они в тесных границах одного чувства, одной страсти... или, лучше сказать, когда мучительная лихорадка оскорбленного самолюбия бьет духовный состав человека.

— Подай трубку, затопи камин, вынеси лампу, — проговорил Т.

Эти отрывистые приказания последовали одно за другим после длинных промежутков молчания и служили доказательством, что привычка не оставляет нас и в бреду.

Засверкал огонь, затрещал камин, в котором есть всегда что-то мечтательное, таинственное, похожее на очаг какого-нибудь колдуна. Т., сбросив сюртук, ворочал головни, и с его трубки бежала за ним густая волна дыма.

Магические лучи, рассекая мрак комнаты, прокрадывались к картинкам и эстампам, развешанным по стенам. Призраки воображения, воплощенные кистью, напоминающие то об аде, то о небе, внезапно показывались и внезапно пропадали. Там в сумраке виднелся разбитый корабль Вернета; тут мгновенным блеском загорались черты Байрона: буря природы и буря души!..

Погруженный в прошедшее, Т. повторил себе мысленно все малейшие обстоятельства обманутой любви, вспомнил, как женщина явилась ему с каштановым локоном, с черными, полуденными очами, соблазнительная юностью, ласковая взором, пылкая речью. Как страстно она любила, как много обещала!

«Резвое дитя, — рассуждал Т., смотря в камин, — она выбрала меня игрушкой, поиграла и бросила; теперь мне хочется поиграть, я не умру с отчаяния! Разве я приставал к ней: любите меня!.. Разве я вздыхал, разве я тешил ее приторной сладостью похвал и удивления? О, как я любил ее!»

Т. начал опять беспокойно ходить по комнате, изобретая средства, как удовлетворить оскорбленную любовь, чем успокоить бунтующее самолюбие... но трудно мстить женщине. Она защищена или слабостью, или ветреностью: то не почувствует, то внушит участие.

Китайские тени мыслей сменялись проворно в разгоряченном воображении, и ни одна не была по душе юному страдальцу.

«Пусть в свет ее письма, — думал он, — низко... — Тут, вынув из бюро пук бумаг, Т. бросил их в огонь. — Заставить ее при всех краснеть, преследовать повсюду колкими насмешками, не давать ей покою — мало, мелочно: всем покажется, что я не равнодушно перенес измену, что я страдаю словом, что не я первый бросил ее! О, для чего она не мужчина?.. Мне легко бы было стряхнуть ярмо обиды! Если б я мог найти в ее сердце свежую рану и вложить туда свои пальцы, чтоб она застонала от боли, обезумела от оскорбления!.. Да, да!.. — Глаза его заблестали ярче камина. — Есть обида, понятная, чувствительная только одному полу, а не обоим, сотворенная для женщины».

Тут Т. позвонил, спросил: который час? и, сказав: «Одеваться! Я поеду в башмаках и в карете», расположился перед туалетом. Помада новейшего изобретения поставила стоймя выбкий локон хохла, и великолепный узел черного атласного галстука прилеж к высокой груди. В двенадцать часов Т. не было уже дома.

— Как мил! Как разговорчив! Он стал любезнее обыкновенного! Бывало, все молчит да ходит, не упросишь танцевать!

Так везде, куда Т. ни появлялся, шептали между собой наблюдательные особы прекрасного пола.

В самом деле, он прилежно старался нравиться: вертелся, рассыпался, силился показать, что угорел в чаду света, что без ума весел и без памяти счастлив!

Княгиня замелькала в вихре зал, и наступила минута затмения для сияющих звезд паркета. Все взгляды, все восклицания, все было для нее и все была она! Ее улыбка напоминала мир ребенка, ее очи переносили в мир страстей. Ласково смотрела она и на того и на другого, но иные подозревали, что ей особенно нравится адъютант, о котором я упомянул. Когда на одном бале Т. подошел к ней в первый раз, приглашая вальсировать, боязливо подала она руку и потупила взоры. Что ни делай, каков ни будь, а совестно встретиться с человеком, против которого был неправ. Другие чувства умирают; чувство справедливости все живет.

— Вы надолго, княгиня, в Москве? — спросил Т.

— Не знаю, — отвечала она, — как вздумается мужу. — Последнее слово задрожало у нее на языке.

— Вы разлюбили вашу родину: она прежде так вам нравилась! — продолжал Т.

— Ах, нет! Я все люблю ее, но есть обязанности... — Княгиня не успела докончить, потому что подлетел адъютант и почмчал ее по зале.

Т. возобновил знакомство, не доказывал княгине, что она виновата, а резвился с нею, шутил, забавлял. Язвительная насмешка была у него готова для всякого, кто имел несчастье привлечь ее внимание. Более других доставалось адъютанту.

Она слушала, смеялась; однако же не пренебрегала никем из осмеянных, потому что очень охотно говорила со всеми и танцевала. Иногда Т., вальсируя с княгиней, жал ей руку: он извинялся поэтическим забвением; она не сердилась.

В одно утро его карета перестала скрипеть по снегу возле дома уродливой архитектуры, но зато недавно выкрашенного, на котором-то из радиусов, прилегающих от города в Кудрино, под Новинское и на Девичье поле. В это время княгиня сидела за канвой, часто клала иголку и, опрокидываясь на бархатные подушки кушетки, посматривала с нетерпением на двери. Зим-

нее солнце, прокрадываясь мимо малиновых штор, то проводило светлую полоску на шелковом узоре упоительной ножки, то рисовало летучий кружок на алой щеке. Кружевная оборка чепчика, накинутаго на приглаженные волосы, служила рамкой миниатюрному портрету, в котором живописец бессовестно польстил женщине. Распушенные ленты то падали на мягкие округлости плеч, то струились по атласу безмятежной груди. Княгиня была в белом платье и в голубом переднике из шали. Когда ей доложили о приезде гостя: «Проси! Уехал ли князь?» отвечала она, и как ни была хороша, а все подбежала к зеркалу.

— А я на аукцион, — сказал ее муж, встретившись в передней с Т.

Наряженный как кукла, выставляемая портными в образец моды, Т. был невесел. Его одежда носила все приметы светской ничтожности; на лице его тяготели суровые думы, знакомые только уединению. «Этой ли любви хотел я?» — проговорил он сам себе; и вдруг грустные черты просияли: он стоял перед княгиней. Она не сделала никакого движения, приветствовала гостя не этим поклоном, который так твердо выучен, так обыкновенен и так правильно холоден, но другим, но поклоном взгляда, поклоном улыбки; не пошатнулась вперед, не привстала, а вся поклонилась, как умеет кланяться только хорошенькая женщина и как никто, кроме нес, не должен кланяться.

Удивиться красоте не уничительно, не противно уставам утонченных гостиных; и Т. отдал ей справедливую дань удивления. Набожно остановился он в дверях, не смея переступить порога, не смея подойти близко к утренней княгине: она утром была лучше, чем вечером.

— Подойдите, что вы стали? — и эти резвые, мягкие звуки напомнили юноше иное время, иные минуты счастья.

«Этот же голос слышал я когда-то...» — подумал он, и сделал несколько шагов, и вспыхнул, и его речь закипела... но ни слова о прошедшем: он пощадил княгиню от намеков, он не жил прежде, не чувствовал, не видывал ничего, похожего на нее, и только восклицание: «Ах, зачем вы замужем!» вырвалось как признак схороненного чувства, как искренний крик растерзанной души.

Княгиня не дала ответа, но сложила ладони, как складывают их, прося прощения, и, наклонив голову немного на одно плечо, взглянула так умильно, что отец простил бы ей послушание, муж неверность, а женщина красоту. Т. сидел возле княгини; румянец играл ярче на ее свежих щеках; слезой томительного желанья потускнели ее полузакрытые глаза; она не имела силы поднять руку, упавшую нечаянно на шею молодого человека; уже он почувствовал на губах жгучее дыхание полуоткрытых уст; уже обворожительный стан, как молодая пальма, нагибае-

мая тихим ветром, изнемогал в страстном томлении; уже канва полетела на пол; уже ленты чепчика прикоснулись к бархату подушки... как вдруг Т. сбросил проворно руку княгини и отступил назад: насмешливая улыбка явилась как молния, он схватил шляпу, поправил волосы и самым учтивым тоном, с убийственным хладнокровием сказал:

— Княгиня, ради бога извините меня! Я от вас ничего не хочу, у вас есть святые обязанности, а мне вы, другая... все равно... Ради бога извините меня!

Голова княгини, перекинувшись через подушку, не носила на себе никакого признака жизни. Т. посмотрел, засмеялся и вышел.

— А я с аукциона, — сказал ему князь, встретившись опять в передней.

Пытка самолюбия кончилась. В этот день был бал, на который съехалась почти вся Москва. Туда явился и Т., но уже без цели, так, по привычке, уже не за тем, чтоб танцевать и любезничать. Он входил в залу; насмешливая улыбка еще оставалась на его лице, и он воображал, что все заметят его торжество, и жалел только о том, что княгиня не скоро опомнится, что не скоро удастся ему увидеть, как она побледнеет, покраснеет, окаменеет при встрече с ним.

— Она очаровательна, она непостижима! — шумела толпа около французской кадрили, и все лорнеты были обращены в одну сторону.

Беспечно, лениво подошел Т. и встретил тут князя, который протянул ему руку, и встретил тут княгиню, которая взглянула на него мельком, перелетая с адъютантом на другой конец кадрили. Сладкая речь лилась с ее беглого языка, веселый взор ласкал кавалера: она была милее обыкновенного, она была вечером лучше, чем утром. Я отвернулся от нее: я подвержен бессонницам...

ЯТАГАН

«Il avoit à la main une espèce de vilain
coutelas...»
«Un ataghan?...» dit Chateaufort qui aimoit
la couleur locale.
«Un ataghan», reprit Darcy avec un sourire
d'approbation.

*La double méprise.*¹

1

О, как шел к нему кавалерийский мундир!.. Как весело, как живо, как ребячески вертелся он перед зеркалом!.. Как ловко перехватывал по нескольку раз свою шляпу, над которой раскидывались, свертывались, дрожали чистые уклончивые ветви белого пера!.. То резво бросал он ее под левую руку, то важно опускал к правому колену, принимая степенное положение, прищуривая глаза и стараясь сгорбить немного прямизну своего стана.

С какою негой ложились его благородные пальцы на черный миниатюрный ус, где юные волосы, недавно пробившись на свет, были ярки цветом, как вороненая сталь! Этот ус не походил на густой, суровый, беспорядочный висячий ус закоренелого солдата, этот ус не закоптел еще в дыму сражений, не вымок в лагерной чаше. От него не задрожал бы неприятель, не заплакала бы незащитная сирота, не забегал бы опрометью полоумный трактирщик и не притих бы ревнивый муж. Это был ус не для бивак, не для батарей, а для гостиной, для женщины, для того только, чтоб оттенить румянец губ и белизну зубов, чтоб придать лицу рыцарскую прелесть, напомнить какой-нибудь романс, поединок, странствующую любовь, а не северного богатыря. Как приятно рисовались шелковистые

¹ «В руках у него был какой-то скверный тесак...»

«Ятаган?» — перебил его Шатофор, любивший местный колорит.

«Ятаган», — продолжал Дарси, одобрительно улыбнувшись.

«Двойная ошибка» (Мериме) (ред.).

ресницы юноши, когда он опускал довольный взгляд на свои новые эполеты! Хотя тогда не было еще эполетов кованых, металлических, прекрасных, но зато не было и звездочек, губительных для честолюбия корнета, которого душа рвется в ротмистры. Потому-то, может быть, он посматривал на свои плечи с особенным удовольствием. Часовая цепочка моталась на его красивой груди, горели пуговицы, блестел темляк, все было, говоря попросту, с иголочки, — и его гибкие стройные члены, его движения дышали искренней радостью. Он мог уже обедать у Андриё, промчаться в коляске, явиться с лорнетом в театр и блеснуть на Невском проспекте. Он не станет уже высматривать издали, не идет ли полковник, не идет ли генерал, и если возле него мелькнут живые глаза, локон, ниспадающий шарф — он не будет уже погружен в думу о беспокойном слове: пальцы по швам. Часто пристукивал он нога об ногу, и его шпоры звенели, и необыкновенно одушевлялся его острый взор, как будто заранее он тешил мыслью, что эти звуки отдадутся в сердце избранной красоты, когда она, облетая с ним роскошную залу, прильнет к его замирающей руке; как будто предчувствовал, что по этим звукам станут отгадывать его нетерпеливые шаги, как будто думал... но чего не думает человек, прочитав в приказах, что он уже не юнкер, а корнет?.. У кого с этим чином не связаны воспоминания детских восторгов, в которых было так много надежды, любви, свободы и, что всего лучше, много молодости!.. Единственный чин, младший, четырнадцатый член огромного семейства, но милее всех своих братьев!.. Придут другие чины!.. Время и терпение отсчитают их всякому, как следующее жалованье за жизнь, придет все: и генеральство и звезды, да не придет молодость корнета!.. Витые эполеты повиснут на плечах, да не будет уже девственного взора, чтоб полюбоваться ими... тогда уже другое! Тогда уже мысль о власти!.. Что-то мрачное, таинственное, коварное!.. Корнет, первая крепкая ступень, с которой не видно, куда приведет и как шатка лестница, называемая жизнью: первое чувство равенства с другими, первое позволение наслаждаться как другие!.. Корнет не то, что коллежский регистратор, исчадие чернил, рабочий грязных судов, безответный труженик опрятных канцелярий, который растет помаленьку над бессмыслицей прозы в духоте четырех стен!.. Корнет не то, что студент, получивший аттестат: студент, еще не доучась, танцует на балах, повязывает галстух по последней моде, сидит знатоком в театре, играет роль: студент может скрыть, что он еще учится... а потому чувства юнкера, надевающего офицерский мундир, нельзя объяснить достаточным сравнением. В этом чувстве столько неопределенного!.. Важность смешана с ребячеством, суетливость честолюбия и спокойствие успеха; может быть, удовлетворенная

зависть, может быть, сродное человеку желание иметь менее начальников... словом, я не знаю что... только всякий, кому бы случилось наблюдать, как мой корнет примеривал мундир, всякий загляделся бы на него или с участием, или с насмешкой!.. Это была минута, когда он смелее бы прыгнул на коня, понесся бы по полю бог знает куда и влюбился бы без памяти в первую, которая бы приласкала его... минута румянца, быстроты, щедрости, прекрасных замыслов, от которых резвые мысли то кружатся над землей, как чистые голуби, то взвиваются к небу, как жужжащая ракета. Восторг молодого человека покажется естественнее и понятнее, если я означу эпоху его производства в корнеты.

Это случилось в те недавние годы, как женские лифы были короче и как военные, кроме армейских пехотных офицеров, торжествовали на всех сценах: от паркета вельможи до избы станционного зрителя. Мундир брал в полон балы и не дожидаясь лошадей. Для мундира родители сажали сына за математику и хлопотали с дочерью; для мундира лелеяла девица богом данную ей красоту; для мундира юноша собирался жить. Вечная ли надежда найти под блистательным платьем блистательную душу, временное ли пристрастие к военной славе, как ко всякой другой, или врожденная в нас склонность к пестроте, склонность, от которой иные жители земного шара раскрашивают свое тело, — неизвестно, что внушало предпочтение, только весь первый план живых картин общества был уставлен стройными фигурами, на которых играли краски всех цветов, а одноцветный фрак стоял далеко, теряясь в потемках затененной перспективы. Он прокрадывался по гостиним робкими шагами незваного гостя, и ничей взор не следил его, и никто не справлялся о нем: билось ли под ним жаркое сердце поэта, текла ли медленная кровь дипломата. Все благоговело перед мундиром или бредило мундиром. Никто не предвидел будущей судьбы фрака, что он выступит вперед, хвастая глубокомыслием, просвещением, образованностью, что всем захочется чему-то и для чего-то учиться, быть пружинами, заводить фабрики. Только иногда некоторые аристократки, полуразрушенные памятники пудры, сохранившие долголетнюю привязанность к веку более изнеженному, более раздушенному, оскорблялись резкостью движений, отрывистою речью и позволяли себе возвышать голос против общего мнения, упрекая военных в том, что от них пахнет казармами. В эту эпоху юнкер был пожелан в корнеты. Он принадлежал к великому числу тех корнетов, которым отцы оставили в наследство какие-то рассказы о Кинбургской косе, о взятии Измаила, о Потемкине, о золотых временах; какое-то имя, уцелевшее на бумаге через несколько веков, но имя без дел, без преданий, без малейшего подвига, достойного чьей-нибудь памяти; оставили какую-то неисся-

каемую родню, разбросанную по лицу России, по захолустьям деревень и по ярмаркам московских гостиных; какие-то души, заносимые снегами, закопченные дымом... вместе же с этим — банкротство. Покойный отец корнета пировал, как все отцы прошлого столетия, и развалины состояния не могли бы доставить ему средств для удовлетворения возрастающим потребностям образованной жизни, если б его мать не посвятила остатка дней своих на ежеминутные заботы о спокойствии, о благосостоянии, о щегольстве сына. Он был ей единственной связью с действующим светом, от которого давно отказалась она, осудив себя на вечную ссылку в деревню, где годы и часы заставляли ее с той же думой, с той же привязанностью. После пышной расточительности в молодости она погрузилась в преклонных летах во все мелочные хлопоты хозяйства, только б сын ее не задумался над расходами необходимой роскоши, только б конь ее сына так же красиво рыл землю, как конь первого богача. Образ ее жизни, ее разговоры, ее письма представляли утешительные доказательства материнской любви, чистой, почитательной, не перепутанной с другими корыстными чувствами, — любви, которая не упрекает в равнодушии, не мстит за неблагодарность, не обманывает и не пристаёт: «Будь со мной, живи и умри возле меня». Если часто такая любовь, как все прекрасное, достается недостойному, по крайней мере это пошлое правило нельзя, мне кажется, применить к корнету, потому что он редко пропускал почту и без лени брал перо, когда надобно было писать к матери. К тому же тотчас после производства загорелось в нем желание проситься в отпуск. Конечно, он хотел обрадовать ее, разделить с нею свое восхищение; а может быть, досадуя, что никто в Петербурге не засуетился вместе с ним и не заметил, что на белом свете стало одним офицером больше, он хотел поскорее туда, где, вероятно, заглядятся на него, примут на сердце все прелести гвардейского мундира; где есть и радостные слезы матери, и деревенские соседки, и невиданные глаза, и губернский город. При всяком возвышении хочется удивить кого бы ни было, как при всякой мысли, которая нам нравится, хочется высказать ее тому, на кого она сильнее подействует...

Прошло сколько-то времени, и веселый корнет скакал по тульской дороге, прикрикивая на станционных смотрителей и буяня немного с извозчиками...

Поздно вечером подъехал он к старинной обители своих предков. Месяц бросал несколько лучей на огромные и ветхие хоромы. Никто не шевелился, только ночной сторож колотил в доску.

В первый раз увидел корнет этот дом, где жили его отцы, где живет его мать, откуда столько любви долетало к нему до

Петербурга. Взволнованный, он торопливо выпрыгнул из коляски. «Матушка, верно, почивает», — проговорил камердинеру, и в этих звуках сказалась прекрасная минута сердца!.. Поменьку поднялась суматоха... забегали огни... «Молодой барин, молодой барин», — зашумели по дому... вдруг появилась дрожащая старушка в спальном платье, всплеснула руками и с криком: «Сашенька, друг мой!» упала расплаканная в объятия сына.

Бьется сердце во многих объятиях, при многих встречах: есть друзья, жены, невесты... есть горячие поцелуи и радостные слезы, но нет слезы чище, нет поцелуя откровенней, как слеза и поцелуй матери!.. Весь этот корыстный мир приязни, склонностей, страстей, лобзаний, и клятв, и восторгов не может проникнуть в сокровеннейшие изгибы нашего сердца и наполнить его таким твердым убеждением, такой светлой уверенностью, с какою сын кидается на грудь матери!.. Не только труды, заботы и все вещественные удовольствия она приносит ему на жертву, лучшее чувство души, невыразимую радость свидания, свое высочайшее наслаждение — спешит отдать за его спокойствие. Она исчезает, точно нет ее.

— Сашенька устал с дороги, Сашеньке надо отдохнуть, приготовьте поскорей комнату, что возле кабинета. Ты, друг мой, спишь на тюфяке или на перине? Да ты весь в пыли, да что ж Сашеньке ужинать?

Напрасно он говорил: «Я не устал, я не хочу спать, позвольте мне побыть с вами...» — она не верит, она все хлопочет, как бы уложить Сашеньку, а столько лет не видалась с ним, а так пристально смотрит на него!..

— Ты, право, похудел с дороги... мне и в голову не приходило ждать тебя: ни слова не писал... Завтра твоё рождение, друг мой; ты знал... у меня обедает князь с дочерью; я думаю, ты помнишь его, ты уж был не маленький... Здравствуй, Павел, здравствуй!.. — Камердинер корнета целовал руку у барыни, и она плакала от радости, что видит Павла.

Между тем в дверях гостиной, где происходила эта сцена, трудная для описания, потому что оттенки материнской любви так же нежны и неуловимы, как цвет ясного неба, — между тем в дверях начали мелькать полурастрепанные прически, сонные лица и с робким любопытством выглядывали из слабо освещенных комнат. Наконец собралась беспорядочная толпа, удивительно разнообразная в нарядах. Впереди старая няня корнета и кормилица, за ними большая часть природных дворовых и несколько происшедших. Все сперва в церемониальном порядке, а там наперерыв бросились по-русски прикладываться к ручке молодого барина, которую он по-немецки не давал. С таким усердием и с такою настойчивостью они ловили его руку, что если б не замешались тут няня и еще кой-кто старше корнета по

крайней мере втрое, то человек несведущий сказал бы: «Это отец, это дети!» После трогательных и поучительных картин, после различных излияний души, происходивших от разных побуждений, у кого от любви, у кого от привычки, после замечаний о красоте, о росте, о мундире корнета, замечаний, сделанных матерью, няней и кормилицей вслух, публично, а прочими за углом, не в барском присутствии, — словом, после ужина приезжего уложили. Он давно спал, а мать не спала.

«Завтра рождение сына! Чем подарить его? Надо, чтобы, проснувшись, он увидел подарок перед собой! Который послан в Петербург — не поспел». Пошли большие хлопоты!..

Няня с кормилицей позваны к барыне на совет: каждая подавала мнение; но, как на многих советах, каждое мнение было нехорошо. Растворили шкапы, перерывали сундуки! То дурно, то нейдет, то не понравится, и горничная, которая отправляла должность секретаря, то есть все делала, и вынимала, и клала, и приносила, — начала уже заботиться о здоровье барыни:

— Вы, право, сударыня, занеможете: ведь посмотрите, уж почти совсем рассвело.

В это время нерешимости и неудач, когда у всех, даже у няни с кормилицей, кроме одной матери, обнаружилось большое поползновение ко сну, в это время она вспомнила об одной вещи!.. Вещь прекрасная, приличная военному... но есть примета, примета народная, примета давнишняя!.. Вещь принесли.

Все похваливали, прибавляя: «Да этим, сударыня, не дарят», и старушка впала в раздумье...

«Не дарят!.. А подарок понравится сыну!»

Этот подарок дошел, как наследственная святыня, до третьего или четвертого поколения; напоминал подвиги воина, знаменитого в родословной корнета... этот подарок, сработанный под знойным небом для сильной руки и раскаленной крови, посвященный мщению, палач христианских голов, модная игрушка воинственных щеголей Востока, лучшая жемчужина азиатского пояса, — этот подарок был: ятаган.

2

Много рек рассекает необъятную Россию. Питательные жилы огромного тела то бьются неприметно, как волосяные сосуды, то кипят жизнью, как начальственная артерия. Живопись природы, отрывки из истории разбросаны на их берегах, а ни у одной нет столько поэзии в названии, как у реки, которая протекает по Тульской губернии от северо-запада к юго-востоку.

Пробив землю неугомонным ключом, она явилась на свет в Богородицком уезде, прорезала себе путь через Ефремовский, и видно, с каким усилием рвалась между гор, металась от скалы к скале, чтоб наконец добраться до Дона. «Красивая Мечь» — прозвал ее народ, не согласуя прилагательного с существительным. В том месте, где она выгибается наподобие рога, где стоит село Изрог, сохранилось до сих пор темное предание о приключении, от которого будто бы произошло это поэтическое имя.

Рассказывают, что там какой-то Ярослав переезжал когда-то через мост в коляске; что лошади провалились, что он для спасения любимого коня вынул меч и хотел обрубить постромки, но уронил его в воду.

Есть еще предания, есть еще поэзия старины в окрестностях Красивой Мечи. Близ нее лежит так называемый «Конь-Камень», окруженный своими обломками и другими камнями, вросшими в землю. У иных это проезжий витязь, это безбожный народ, который осмелился творить в честь его игрища и пляски на день Вознесения. У иных это чужестранный богатырь, который ехал по заповедным лугам и не поклонился на привет красных дев да молодых парней, сказав, что на земле не кланяется никому. Гром наказал его. Там накануне Иоанна Крестителя, Ивана Купалы, сверкает таинственный огонь по верхам гор, спускаются с неба свечи и венцы. «Свечка горит», — скажут вам, указывая на фосфорное сияние. Бог весть, кто затеплил эту лампаду, только она теплится над схороненным кладом или над русским, убитым за независимость.

Студеная прозрачная река течет так же быстро, извивается так же неправильно, как летает над нею ласточка, беспокоясь о приближении тучи. Высокий тростник шумит по ее заливам. Круты, отвесны берега ее. По ним тянутся леса, кое-где возвышаются курганы, надгробные памятники безыменных людей, и кое-где мелькают разноцветные скалы: то бледные, то голубые, то желтые. Тут дико глядит природа, и когда осень, обрывая деревья, подергивает зелень краскою смерти, тут приятно смотреть на орла, как он, опустясь на прибрежную вершину, сидит спокойный с чувством своей царственной силы. Река красивая, река живописная, очаровательная Мечь!.. В иную минуту ее небо примешь за небо Швейцарии!.. Далее от берегов за лесами, за курганами открывается обширный горизонт: деревни, поля, рощи. Картина более игривая, более суетная... На ней жизнь, труды, пот человека, и чтоб эта жизнь, эти труды не показались горькими, на нее должно любоваться не осенью, а при блистательном солнце лета, в летний полдень, в летнее утро!.. Велико наслаждение писателя, если придется ему рассказывать происшествие, которое случилось в неизвестном углу, да хоть

колько-нибудь заманчивом для воображения; происшествие на просторе поля, не в сонном городе, где нет приключений на улицах и страстей в гостиных; где жизнь изнашивается без жизни и где не вымолишь у нее ни одного предмета для повести.

Много лет тому назад на берегу Красивой Мечи в прекрасный вечер июня, в эти сладкие часы, когда у юноши навертывается безотчетная слеза мечтательности, небольшое общество расположилось около чайного стола в душистом саду, под тихим небом деревни. Тесный кружок состоял из людей одного племени, одной классификации: но, судя по первому взгляду, некоторые отделялись от других резкою межою понятий, привычек, образованности. Случай не новый!.. От чайного столика до пышного обеда, от семьи до бала все то же: говорят одним языком и не понимают друг друга. Кроме этого разногласия в образе воспитания и в обороте мыслей, тут таилась еще причина для щекотливого спора. Все страсти, желания, склонности человека умещаются легко на самом узком пространстве, и этот малый мир, сколок с большого, заключал в себе начало многих разнообразных волнений сердца. Для одних тут было чему радоваться, на что надеяться; для других — чему завидовать, чего искать и на кого взглянуть.

— Прикажете ли, папенька, еще чаю?

— Да помилуй, Верочка, я и этого допить не могу. У меня слишком сладко, а Андрею Степановичу ты, кажется, налила совсем без сахара. Он своей чашки и не отведал. — После этих слов отец Верочки опустил в кресла и продолжал беспечно пускать на воздух легкие струи дыма.

Верочка спешила поправить свое рассеяние. Ее лицо, веселое, одушевленное, приняло вдруг выражение некоторого спокойствия и важности, как бывает часто, если нечаянный намек, взгляд, звук, какая-нибудь безделица напомнит женщине, что она увлеклась немного. Но этот переход от движения к покою, от свободы к оковам не нравится... Приметное нетерпение мелькало в черных глазах, когда они остановились на Андрее Степановиче и когда нежная рука с благовоспитанной небрежностью приподнимала для него другую чашку...

Он вскочил, кланялся, просил, чтоб ее сиятельство не беспокоились, и уверял, что у него очень сладко. Наконец опять уселся, опять на кончике стула, боком, совершенно повернувшись к своему соседу, с тою переменою, что начал прилежно пить чай, который давно простыл от его вежливого обращения. Андрей Степанович говорил много и не менее того повторял: «ваше сиятельство, вашего сиятельства, вашему сиятельству». Князь, важный старик приятной наружности, слушал его один: то холодно, то с участием, и по этому участию можно было

догадаться, что если Андрей Степанович считается первым охотником в уезде, то занимает также немаловажное место и в иерархии богатства. У них образовалась беседа своя. Никто не мешал им, и никому они не мешали. Только иногда князь, услышав нечаянное какое-нибудь слово, сказанное в другом отделении общества, бросал туда одну из этих несвязных и часто обидных фраз, на которые вельможи не ждут ответа и на которые нечего отвечать; да иногда Андрей Степанович делался предметом общего внимания. На несколько секунд умолкали все. Корнет, залетевший из Петербурга на стул подле княжны, перерывал разговор с нею и шурился, всматриваясь в Андрея Степановича; старушка, сидевшая против нее, сводила с корнета глаза; княжна не позволяла себе ни малейшего движения, но видно было, что скрадывает улыбку, готовую просиять на ее устах; полковник, стоявший на середине круга с ятаганом в руке, вытягивался во всю длину воинственного роста, а лет тридцати мужчина в адъютантском мундире, развалился немного неучтиво на креслах, поднимал голову вверх и смотрел на небо, точно ничего не слушает. Адъютанты часто, как и чиновники особых поручений, заносчивы, потому что, спутники большой планеты, они имеют право вертеться около нее.

Это явление происходило в те минуты, когда голос Андрея Степановича раздавался громче, глаза полнели, лицо краснело, когда вспышки охотничьего красноречия, выражения, созданные вдохновением страсти: «стая закипела, и матерой волк загорелся в чистых полях», вырывались из его широкой груди. Но проблеск внимания исчезал быстро, и совершенное равнодушие к особе Андрея Степановича заступало место электрического действия. Корнет попрежнему обращался к княжне, попрежнему старушка смотрела только на него и любовалась им нежнее и становилась наблюдательнее, как будто хотела воротить потерянное мгновение, искру участия, украденную другим у предмета ее невыразимой привязанности.

— Позвольте заметить, кинжалами не дарят, — сказал полковник, относясь к ней, поглядывая значительно на княжну и повертывая ятаган, привезенный по просьбе князя на показ военным гостям.

Ножны кинжала, покрытые облянялым бархатом, были перехвачены в двух местах золотыми бляхами. У слоновой рукоятки, раздвоенной сверху, обложенной дорогими камнями неяскусной грани, осыпанной жемчугом, недоставало нескольких украшений: камни выпадали, жемчуг затерся, но на прихотливом оружии все еще упелело клеймо роскоши и азиатской красоты, свидетельствуя ясно, что прямой узорчатый клинок, закаленный на заводах Дамаска, служил не уличному убийце, не для куска хлеба.

— О, я с него взяла за это грош, — отвечала полковнику мать корнета.

— Мало, Наталья Степановна; да и гвардейскому офицеру нейдет платиться медными деньгами, — возразил князь, придавливая большим пальцем табачный пепел в трубке.

— Вы шутите, папенька; а подарить кинжалом в день рождения — это страшно.

Тут княжна откинула рассеянно черный волнистый локон, который закрыл было яркие лучи одного из ее прекрасных глаз, бросила беглый взгляд на полковника с адъютантом и обернулась к корнету. Повидимому, она старалась поддерживать общий разговор, сколько этого требует учтивость от полной хозяйки дома, и нередко должностная фраза, тяжелая дань обществу, слетала с ее соблазнительных губ. Но почти всякий раз после такой фразы она обращалась к своему соседу и забывала других и слушала его так живо, что противоречие или согласие, да или нет, рисовались заранее в ее выразительных чертах. Заранее она давала ответ ему то благородной усмешкой, то живописным наклоном головы, то неизъяснимым красноречием взора.

— О, я не боюсь примет, — сказал молодой гвардеец, посвящая свои слова также целому обществу. — И зачем вы пугаете меня, княжна? Его, кажется, отнял мой прапрадед, матушка, у сераскир-паши или у трехбунчужного? Эти наследственные предания воспламеняют потомков... мне уже хочется отнять у какого-нибудь паши саблю... Я велю обтянуть его новым бархатом... Позвольте мне, княжна, думать, что мой ятаган не страшен.

— Кинжал примечательный... можно б сказать, прекрасный, если б прекрасно было убивать людей, — проговорил адъютант и ушел в свой черный галстух. Он почти все молчал; переставая молчать, почти все относился к полковнику, а между тем пристально, язвительно следил все движения корнета, все взгляды княжны и беспокойно вслушивался в каждое их слово. Напрасно небрежным положением тела он силился принять на себя равнодушный вид, напрасно прибегал ко всем приемам изученного хладнокровия, которое помогает утаить бунтующее чувство и с улыбкой счастья, с порывами восхищения вытерпеть пытку самолюбия на дне души без свидетелей. Оно, оскорбленное, прорывалось наружу и в тонких переменах желчного лица, и в изысканной замысловатости, и в насильственном предпочтении полковника всему обществу. Племянник могущественного дяди, адъютант известного генерала, он находился в отпуску у родных и, будучи знаком с князем по Москве, сделался у него в доме ежедневным гостем. Хотя часто он встречал тут и полковника, расположенного также в соседстве

с своим полком, и хотя у этого было заметно менее наклонности к приданому невесты, чем страсти к ее увлекательной красоте, но адъютант не робел. Лоск светскости, смелость паркетной опытности внушали ему высокое мнение о себе и унижительное о сопернике. Деревня удивительно питает гордость. В деревне на каждом шагу представлялись ему эти мелочные, но сладкие утехи самолюбия, до которых никак не доживешь в большом городе, потому что там много адъютантов. В деревне он видел себя единственным представителем столичного общежития и являлся перед княжной торжественный, веселый, а может быть, и уверенный в победе. Вооруженный великолепными фразами и неистощимыми воспоминаниями 1812 года, ходячая реплика, герой всех своих рассказов шумел в целом уезде, тем более что чувство чести, развитое в нем до крайней степени, налагало благоговейный страх на простодушных помещиков. Это была честь щекотливая, честь недоступная, честь во всех суставах и мускулах. Если, бывало, Андрей Степанович или какой-нибудь щеголь в розовом галстуке неосторожно задевал его локтем на деревенском пиру и потом рассыпался в извинениях, то с этой честью делалась судорога: адъютант наклонялся важно в знак прощения, но продолжительным уничтожающим взглядом вымерял дерзкого с ног до головы. «Не верьте, — говаривал он, — если кто скажет, что в душе не трусил ядра или пули; но трусов нет, струсить в сражении нельзя», и, отправляясь от этого предисловия, судил о храбрости как о деле весьма обыкновенном, припоминая свои подвиги так, мельком, более от солдатской откровенности, чем от желания выказать себя; однакоже все успели подробно узнать, что приключилось ему на высотах Монмартра, в каком углу Европы был он окружен французскими латниками и на котором клочке Бородинского поля воевал с Наполеоном. Ему удивлялись, а княжна, кстати о высотах Монмартра, расспрашивала о Париже, о Гальме.

В эти минуты храбрости, ловкости, красноречия, самозабвения, в эти минуты, которые испытал всякий, кому случалось ораторствовать в глуши деревни или за Москвой-рекой, где нет никого, чтоб вас перебить, затмить или вам противоречить, в эти минуты, мимолетные, как день, упал с неба корнет. Какая-то мрачность подернула блистательного адъютанта, и княжна стала так рассеянна, что не могла уже слушать последовательно длинную историю военных походов. Уже за чайным столом он не находил в себе искусства овладеть разговором, не поспевал за быстротою светских мыслей, которых никак не догонишь, если самолюбие мучит душу и исключительная дума давит воображение. Уже, наконец, он не глядел ни на княжну, ни на корнета; он напал на полковника и, придираясь к ятагану,

начал громко объяснять, каким образом достался ему под Красным кривой кинжал, вывезенный из Египта французским генералом; каким образом турки вонзают ятаганы в землю, кладут ружья на рукоятки и лежат стреляют; словом, он, казалось, совершенно пренебрег внимание княжны, только речь его все походила на золотой мундир камергера, причисленного к герольдии.

Между тем как адъютант разыгрывал роль жертвы, которая переносит свое несчастье с достоинством, резвая хозяйка забыла давно о ятагане. У нее с коршетом предметы пролетели молнией мимо светского внимания, рождались и мерли, как слава в наше время; их разговор был разговор беглый, скользящий, проникнутый братством воображения, сходством вкусов, всею легкостью молодости, всеми цветами нарядов, балов, красоты, богатства.

— Вы смеетесь, княжна, — сказал, между прочим, корнет, — а чай не деревенское удовольствие, для чая нужен город, зима. Во-первых, при дневном свете чай уже не то: для него необходимы свечи. После спектакля, часов в одиннадцать вечера, когда вы сидите за фортепианами, а снег заносит окна, тут я понимаю чай; вот эти минуты сотворены истинно для чая!

— Чай на чистом воздухе всего приятнее, — заметил полковник, который покушался давно поместить свое слово и отдохнуть от обязанности слушать теорию ятагана, выученную им твердо в школе сражений.

К тому же он думал, вероятно, угодить княжне.

И она вступилась за чистый воздух, восстала против поздних вечеров, против всех обыкновений столицы, восстала за деревню, но так мило, так неискренно, так неубедительно!.. Звуки ее голоса защитили и утреннюю зарю, и уединенные прогулки, и весь восхитительный мир патриархальной жизни, да только пристрастие к невинным суетам проглянуло на ее лице... спектакли, балы, ловкий гвардеец кружились перед нею, — она перенеслась на солнце паркета; но спорила, но нападала на них, потому что нельзя же высказывать эти тайны сердца; потому что ложь лучше истины; потому что женщина всегда хвалит то, чего не любит, и любит то, чего не хвалит.

Отрывистое изречение полковника пропало, как подвиг солдата, как мысль, зачеркнутая красными чернилами, как жаркое чувство в глазах робкого юноши, когда он следит издали великолепную красавицу, которая не узнает никогда о его скромном существовании.

Во все продолжение этой беседы полковник стоял: то в нерешимости, куда девать ятаган, то принимался снова рассматривать его, то подпирался обеими руками, сгибал левую

ногу и пристукивал шпорой, то щипал бакенбарды. Кресты и медали, законная вывеска благородной души, полезных трудов и неустрашимости, были красиво развешаны на его груди в убийственном количестве... Но грустная мысль!.. Это лицо, опаленное порохом, эта грудь, по которой столько раз скользил неприятельский штык, эти знаки отличия, из которых, может быть, каждый прикрывал рану, все терялось, все как будто не было!.. Непостижим доступ к сердцу женщины!.. Не она ли отзывалась о нем с особенным уважением за то, что он никогда не навел разговора на войну, не намекал на собственные заслуги, хотя и замечала, что ему все хочется щеголять светскостью... Не она ли отдавала полную справедливость его молчаливой неустрашимости, признавая ее первым достоинством в мужчине!.. И со всем тем послушной список, исчерченный кровью, не мог занять первого места за чайным столом...

3

В усадьбе князя водили расседланных лошадей, когда его дочь, в верховом платье, в мужской шляпе и с хлыстиком, подошла проворно к стеклянным дверям, откуда отлогий скат, уставленный по сторонам лиловыми и белыми левкоями, спустился в широкую длинную аллею из столетних столбовых деревьев, аристократически мрачную и богато опрятную. В самом конце ее, где был выход из сада, стоял корнет с адъютантом: тот как будто имел намерение не сходить с места; тот как будто колебался в нерешимости: остаться или уйти. Княжна выдернула из-за пояса лорнет и стала смотреть украдкой с таким любопытством, что казалось, ей очень хотелось заменить чувством зрения ограниченность другого чувства и подслушать глазами далекий разговор. Он приметно оживился. Спокойствие, требуемое от образованной осанки, нарушилось у офицеров во всех частях: кто трепал аксельбанты, мял фуражку, кто пожимал плечами и махал рукою... однако еще немного, и они разошлись бы довольно смирно. Корнет отступил уже шага три, адъютант почти совсем отвернулся, но только взглянул назад, кивнул головой... и миг корнет остановился; сделал знак на дом и на аллею, надвинул фуражку... Адъютант к нему... и оба вместе исчезли из сада.

Лорнет закачался на золотой цепи, княжна потупилась. Обвила хлыстик около руки с большим тщанием, оторвала рассеянно несколько листков у прекрасной штамповой розы и медленно пошла к фортепианам; оглянулась на аллею, оглянулась еще раз, задумчиво пролетела пальцами по клавишам

и с небрежностью мужчины кинулась на диван. Шляпа упала с нее, и она приняла одно из этих неправильных, искустельных положений, которые не терпят свидетелей, таятся в непорочности девичьего уединения. Это был отдых от неволи, бунт против привычек воспитания; это были обременительные размышления, итальянская лень или заманчивая мечта! О чем думала княжна?.. О чем думают княжны наедине?.. Голос отца застал ее в живописном забытьи, и она опомнилась и вдруг из прелестной романтической женщины превратилась опять в прелестную классическую княжну.

— Да что такое у вас сделалось? — спросил князь с видом неудовольствия. — Полковник не умел мне объяснить причины: говорит, что не знает; однакож я послал его помирить их непременно... Это почти у меня в доме, ездили с тобой...

— И я сама не знаю, — томно отвечала княжна, — лошадь у адъютанта испугалась, он упал...

— Ну да, упал, это уж я слышал, — перервал князь, складывая руки на спину и начиная сердито ходить по комнате.

— И упал довольно смешно, папенька; сын Натальи Степановны улыбнулся и, не помню, что-то сказал мне. Я смотрела на адъютанта... кажется, вскакывая на лошадь, он видел, как тот засмеялся...

— Да я и тебя не оправдываю... Это один предлог для адъютанта: разумеется, всякий выйдет из терпения, когда его выбрасывают из общества, не замечают...

Тут князь стал проповедывать дочери тяжелую науку света; а как проповеди, советы и всякого рода нравоучения бывают длинны, когда читаются людям слабым (краткость создана силой!), то он распространился об этом предмете, обвинял корнета за молодость, а дочь за опрометчивость в обращении и вообще остался верен назначению всех нравоучителей и судей, которые умеют осудить, да не умеют уберечь никого от слабости или преступления. Однакоже под конец начал смягчать жестокость упреков выражениями: «друг мой, милая»; потому что княжна сильно растрогалась. Прирученная по смерти матери к безусловным похвалам, к безусловному исполнению своих прихотей, она прослезилась, слушая отца и ломая хлыстик. Трудно решить, досада ли извлекла эти слезы или приготовленные в душе для другого чувства они заблестали на густых ресницах при первом удобном случае. Женщины плачут обо всем, когда им хочется плакать о чем-нибудь.

Едва князь, движимый отцовскою нежностью, умерил скорость диагонального путешествия по гостиной и произнес несколько слов более снисходительных, как дочь после продолжительного молчания, не возразив ничего на родительский приговор, спросила с живостью:

— Да куда ж полковник пошел? Найдет ли он их?

В эту минуту загремели шпоры. Княжна бросилась в другую комнату, притворила за собой двери, но не плотно и приложила ухо. Она не могла не вспомнить, что нельзя ей показаться полковнику: не причесана, не переодета, в волнении!.. Вслед за ним явилась и Наталья Степановна с веселым лицом, а потом он подошел к князю скорым шагом, и на вопрос:

— Ну, что там?

Отвечал шопотом:

— Маленькая неприятность, ваше сиятельство

.

4

Вы, может быть, помните, как однажды волновалось московское общество, и позвольте мне употребить это выражение, вопреки несправедливым, раздраженным, жестоким судьям, которые утверждают, что общество московское не волнуется, что оно равнодушно, холодно, что у этой кокетки и глаза не живы и душа мертва? Вы, может быть, подкрепите меня свидетельством перед всяким, кто любит читать одну правду. Да, страшное волнение встретило в гостиных князя с дочерью, когда они воротились на зиму в Москву. Волнение вполголоса, без признаков на лицах, неприметное для поверхностного взгляда.

Красота княжны не изменилась, но огонь не оживлял ее речей, и черты, где при малейшем впечатлении сверкал ум или теплилось чувство, где все внушало или благоговение, или страсть, где были ангел света и ангел тьмы, — эти черты приняли в себя что-то однообразное, неподвижное, безответное; приняли такое выражение, которое часто на лице женщины приводит вас в отчаяние и не позволяет никакой заносчивой мысли закрасться к вам в голову. Лучшая струна сердца, струна симпатии, назначенная для отголосков на все звуки, молчала, как будто приучилась к одному. Никогда наружное кокетство, отданное в удел низшим рядам общества, провинциалкам гостиных, не унижало княжны пред мужчинами; никогда принужденность движений, слов, взглядов, поклонов не портила того, что было в ней истинно прекрасного; а потому, не подстрекаемая этой допотопной склонностью своего пола, она являлась в свет с естественным расположением души и не умела скрыть, что ее воображение поражено чем-то.

Свет не простит естественности, свет не терпит свободы, свет оскорбляется сосредоточенной думой; он хочет, чтоб вы

принадлежали только ему, чтоб только для него проматывали свое участие, свою жизнь, чтоб делили и рвали свою душу поровну на каждого... Заройте глубоко высокую мысль, притаите нежную страсть, если они мешают вам улыбнуться, рассмеяться или разгуститься по воле первого, кто подойдет. Свет растерзает вас, и он терзал княжну.

— Как она имеет дух показываться? — говорили матери, снаряжая дочерей на вечер.

— По крайней мере не давала бы виду, что эта история была за нее, — замечали мимоходом почетные барыни во время торжественного шествия к зеленым столам.

— Оба убиты на месте. Вы знали***, что был адъютант у графа? Какой милый человек! Я, право, услышавши, сама расплакалась о нем; а как жалок его дядя! Мне пишут из Петербурга, что он совсем потерялся, точно помешанный... — Так на одном бале шептала своей пожилой соседке важная особа, похожая на картину, вставленную в золотую раму, а написанную рукою суздальского живописца.

— У меня сердце обливается кровью, когда я ее вижу, — продолжала она, занимаясь все княжкою, которая царствовала над мазуркой, и не оглядываясь назад, чтоб не видеть своей дочери, которая сидела как опущенная в воду.

— Ей век не замолить этого греха! — прибавила пожилая соседка с постепенным одушевлением в голосе, потому что женский суд всегда идет *crescendo*. — А другой, кажется, только что был пожалован в офицеры... Такой молоденький! Мудрено ли, что она вскружила ему голову! Приехал повидаться с матерью! Вот несчастный случай! Верно, она не переживет... О дяде адъютанта вам пишут?.. Да если б это была моя дочь, да я не знаю, что б со мной было! Я бы ума лишилась!

— Могу вас уверить, что убит один, — сказала молодая дама.

Между тем юность с прекрасными глазами и с теплым сердцем смотрела на княжну не так сурово: несколько зависти и много удивления кружилось около нее. Заманчиво быть причиною дуэли, приятно заставить умереть или убить — это к лицу женщине, это по душе ей.

— Она решительно влюблена, — говорил гвардейский офицер, роняя себя на диван в одной из комнат, отдаленных от залы.

— Я не замечаю, — протяжно возразил камер-юнкер, поправляясь перед зеркалом. Он танцевал мазурку с княжкою.

— Я не узнаю ее...

— Зачем же вы хотите приписывать любви небольшую перемену?.. просто огорчение... да, кажется, и молодой человек, которого теперь общее мнение навязывает княжне, не имеет

таких достоинств и блеска, что б уж совсем околдовали ее! Самая дуэль...

— Что ж дуэль? — сказал гвардейский офицер, выпрямляясь на диване. — Он уклонился от нее — правда, а адъютант и обрадовался, думал, что попал на труса.

— Да, струсил, — прервал другой военный, входя громко в комнату, — рука дрогнула, и в пятнадцати шагах пуля попала только прямо в середину лба...

— О, я очень далек от того, чтоб называть его трусом: жаль, что это может кончиться неприятностью! Дядя покойника не оставит этого так: дрались без секундантов.

— Неправда! Неправда! Ох, эти дяди! — отвечал с живостию военный, повертываясь проворно к дверям навстречу прекрасному строю девиц, которых причудливая прогулка завела нечаянно туда, где мужчины отдыхали от света залы, глаз, от танцев и разговоров мазурки.

Все эти обвинения, приговоры и догадки пробегали из уст в уста, но на почтительном расстоянии от княжны; не отдалили от нее ни одного поклонника и не отняли первенства на роскошных выставках невест. Одобрения, похвалы не могут вывести иную вперед из толпы, затененной природою и случаем; не могли порицания, клевета, вся настойчивая злость людей стереть румянца княжны и лишить ее наследства. В пестром букете балов она оставалась средним цветком, и когда не было этого цветка, то букет терял прелесть радужных отливов и благоухание моды. Впрочем, несмотря на кучу приглашений, она выезжала реже прежнего, и если б не увещания отца да другие деспотические отношения света, то, казалось, заключила бы себя охотно в четырех стенах на всю зиму, длинную, неизмеримую для того, кому хочется весны и в деревню. Сколько законных отговорок находила она, чтоб оставаться дома, сколько раз болела у нее голова, сколько раз забывала заказать платье, как часто не в чем было ей ехать!.. Но ни разу не забыла, в какой день отходит почта в Тульскую губернию. Тут накануне садилась писать, погружалась в занятие с заботливостью, с робким умилением: в ней обнаруживалась борьба искренней печали с поддельной веселостью, как будто рука ее подбирала слова, в которых сомневалось сердце, как будто язык лепетал утешения, которым она не верила. Эти письма бывали всегда адресованы к Наталье Степановне. От нее княжна получала также каждую почту большие послания, упитанные материнскими слезами, и, расстроенная, прибегала тотчас к отцу и бросалась к нему на шею и спрашивала: «Писали ли вы, папенька, в Петербург?» — «Писал, мой друг», — отвечал он всякий раз, надевая очки, чтоб прочесть письмо Наталии Степановны.

В этой переписке, в этих необходимых угождениях свету, в этих вопросах и ожиданиях ответов из Петербурга дождала княжна до весны. Торопилась на берег Красивой Мечи, уговаривала отца, как однажды утром незадолго до отъезда позвали ее к нему.

— Бедная Наталья Степановна! — сказал он, бросая на стол распечатанный пакет.

Княжна вздрогнула, ее щеки загорелись, и сердце забилося всем могуществом молодости, всею бурей женской чувствительности.

5

Страшную перемену нашли они в матери корнета. Ее лета не перевалились еще за эту отвратительную границу, где нет более перемен; где душа погребается под развалинами тела, немая, неспособная подрумянить пожелкшую кожу, положить на нее новое клеймо размышлений, страданий или радости; за эту границу, за которой признаком жизни остается какая-нибудь привычка — привычка к собаке, к креслам, к воспитаннице.

Не было ни корнета, ни адъютанта. Только Андрей Степанович являлся к князю попрежнему свидетельствовать свое почтение и отдавать отчет в наступательных действиях против русаков и красных зверей; да еще полковник не подвергся влиянию времени. Неизменный как гранит, он пребыл верен своему посту, верен княжне и не без тайного удовольствия встретился опять с нею: поле сражения оставалось за ним. Полковник не переменился, но все переменились к нему. Он сделался первым человеком, ненаглядным гостем, предметом общих ласк. Княжна, Наталья Степановна и сам князь, увлекаясь их примером, угождали ему, как должник займодавцу, как бедный друг другу богатому, как писатель цензору. Угождали, но вместе и просили.

— Я уверен, — говаривал князь, — что вы, полковник, не отягчите его участи: он будет переведен к вам; его мать истерзала мне сердце; я писал, просил, чтоб, по крайней мере, ему быть возле нее: она умерла бы... Пожалуйста, полковник, я надеюсь на вас.

— Помилуйте, ваше сиятельство, можете ли вы сомневаться? Верно я сделаю все, что будет зависеть от меня.

Тут князь жал ему руку, а он с гордостью поглядывал на княжну: сладко обещать покровительство при глазах прекрасной женщины. Но иногда бывали и тяжелые минуты для пол-

ковника — минуты, с которыми он не умел справиться: прослезиться неприлично, не прослезиться совестно; словом, он не знал, что делать; боролся между чувствительностью человека и мраморностью солдата, между своим положением и сном. В это затруднение приводила полковника Наталья Степановна, когда хватала его за руку и когда ее слезы лились ручьем на форменный обшлаг. Хотя рыдания мешали ей произносить слова явственно, но он понимал, что это мать просит за сына. Княжна отвертывала поскорей голову и выбегала из комнаты. Князь повторял: «Да полноте, Наталья Степановна, успокойтесь»; а полковник сыпал утешения и клялся обещаниями: «Как вам не стыдно, сударыня, мы постараемся все поправить; верно я для здешнего дома не окажу ему никаких притеснений» и проч.

Только у княжны не вырвалось ни одной просьбы, ни одного намека, по которому полковник мог бы догадаться, какое участие брала она в судьбе того, за кого ходатайствовали, как хотелось ей перешагнуть черту приличия и плакать самой за молодого человека. Женская сметливость учила ее, естественная хитрость шептала ей: «Не проси, не напомни чайного столика, не напомни, что когда-то корнет затирал полковника. Он все сделает для тебя: он назначит парад, угостит музыкантами, пройдет церемониальным маршем, с одним полком бросится воевать вселенную; но если вмешается самолюбие, зачекотит ревность...», и княжна с неподражаемым искусством разыгрывала роль добродетельную по цели и грешную по средствам. Так грех и добродетель путаются на земле, так женщин клянут за притворство и пятнают за откровенность.

Полковник выдавал себя за смертного охотника до просвещения, до книг, а пуще до запрещенных стихов, и княжна снабжала его книгами, слушала стихи, которыми любил он роптать, шуметь, разгорячаться в ее присутствии, просила вписывать в ее альбом. Полковник уверял, что страстен к музыке, и она просиживала вечера за фортепианами, доставляя ему случай восхищаться, вертеться и божиться всем, что ни есть святого, что он ничего не слыхивал лучше. Полковник любил обедать у князя, и она спрашивала всякий раз: «Вы будете к нам завтра?» Он иногда, подделываясь к женскому вкусу, погружался по-своему в разложение нежных чувств, тонких оттенков, в анатомию сердечных болезней — и княжна опускала глаза: черные ресницы прятали стыдливый или насмешливый взгляд, и легкая двусмысленная улыбка налетала на уста. Он часто к исходу дня, к сумеркам, к этому часу, когда язык приговаривается, голова тупеет и заносится в какую-то пустоту, где нет ничего, что б можно ощупать или на что опереться, он часто молчал, посматривал на свою собеседницу, на потолок,

на стены, на небо в открытое окно, не попадется ль мысль, не навернется ль слово... и княжна начинала поскорей хвалить погоду... Но как передать эту вкрадчивую внимательность, эту благородную лесть, этот мир тонких, мелочных, бесчисленных соблазнов, которые наслала она на простую душу воина, чтоб он не закипел жаждою брани и приласкал того, кому береглись все искренние ласки ее сердца? Как передать это обольстительное умение стянуть кстати перчатку с руки, выдвинуть ножку, дать заметить, что видят вас издали, бросить вам мельком при всех меткое слово, таинственный намек на вашу любимую мысль, на вашу любимую слабость, на вчерашний разговор с вами?.. Что есть уклончивого в женском нраве, что есть блестящего в женском уме, что есть неисповедимого в женской прелести — вся эта отравка, которая всасывается в сердце мужчины, когда вздумается красавице употребить его средством для сует самолюбия, для мщения, для добродетели... все это счастье, о котором мы бредим, эта цель, которую шарим по углам света, все слилось в какой-то очаровательный призрачок... новый, не виданный полковником на самых великолепных парадах, в самых славных делах.

Никогда не вздевал он эполет и не развешивал крестов с таким удовольствием, как теперь; никогда не становился перед полком с такой непринужденной гордостью, и при криках: «вольно» или «смирно» никогда не бывало в его голосе такого одушевления. Полк и кресты явились ему в другом виде, но более соблазнительном. Темное, инстинктивное чувство, заглушаемое обыкновенно мечтами о качествах, которых нет у нас, вероятно докладывало ему, что носить Георгий, кричать на две тысячи человек — это было его единственное право на руку княжны. Он перелистывал мысленно историю своей храбрости, конечно, уже не оттого, что она всякий раз, бывало, доводила его до неперемennого генеральства, — нет, теперь эта история оканчивалась другою надеждой — мысль: «мне не откажут» привязалась одна ко всем воспоминаниям, похороненным в столбцах послужного списка, и сделалась лучшим итогом службы. Но не только его честолюбие приняло новое направление, княжна произвела перемену даже в его светском обращении. Надобно было видеть полковника, надобно было следить, как он мало-помалу становился красноречивее, развязнее. Отрывистые слова начали вязаться между собой и разрастались в круглый разговор. Уже при каждом слове он не поглядывал по сторонам, ловя на лицах одобрение и стараясь передать другим свой смех, свою улыбку, которыми новобранец гостинной прикрывает обыкновенно щекотливую робость, беспрестанные сомнения и раздражительную недоверчивость к самому себе. В его движениях не так уже было заметно желание рисо-

ваться, щеголять всяким шагом, всяким поворотом головы или стана. Полковника окружили свободой, дали ему простор, занимались им, и он стал откровеннее, смелее, приятнее. Он не входил уже в гостиную с прежним мнением, что там следует быть не таким, каков он есть; гостиная не представлялась уже ему страшным судилищем, где смутитесь вы перед равнодушным правосудием; где иногда скользнет по вас чей-нибудь взгляд, но заставит поправиться, где иногда станут слушать вас, но с осторожным или рассеянным вниманием и где обдадут холодом все, что вы заготовили в глубокомысленном уединении и чем надеялись отличиться. Короче — полковник получил эту счастливую уверенность, которая внушает смелость пускать слова по произволу мысли, не воздерживаясь, не охорашиваясь, и нередко внутренний жар оживлял безыскусственность его выражений, и нередко княжна, боясь формального объяснения, торопилась найти предлог, чтоб перервать разговор.

Впрочем, любезность его не дошла еще до невыносимой обольстительности, потому что когда княжна уходила от него и бросалась в своей комнате на диван, то у нее вырывался из груди тяжелый вздох отдыха, между тем как на лице обнаруживались беспокойство, раздумье о том, что не слишком ли уже баловали полковника. Прежде ей не приходило и в голову, что он может мечтать о руке ее; теперь это казалось в порядке вещей, и она вздрагивала при мысли о решительном предложении...

Но это предложение, это объяснение в любви, это были фурии-мучительницы полковника, это были призраки, которые встречали его у постели и утром и вечером, становились в рядах солдат, маршировали на ученьях и, как полковые знамена, не покидали его. Как предлагают руку и сердце? Как говорят: люблю вас? Как это сказать? Как осмелиться сказать, и кому же? Княжне!.. Она так нарядна, так знатна, так страшно окружена всем великолепием приличий. «Упасть к ее ногам, — думал полковник, — но это, кажется, не водится, это нейдет к моему росту и летам; сказать просто, не падая на колени, как-то холодно, затруднительно; написать письмо, но к княжнам писем по-русски не пишут; открыться князю, но она осердится, что я не спросил у нее»; словом, что ни задумывал полковник, все было неловко. Подчас, гуляя с княжной по саду, он разгорался жаждой приступа, чувствовал, что волна храбрости мчит его к цели, и облакал уже умственно свою речь в законные формы вступления и готов был произнести торжественно: «Ваше сиятельство!..» Но вдруг замирал, вдруг один взгляд, одно слово княжны то пугало его неприличием, то перебрасывало из настоящего в прошедшее, от любви к походам,

на край света, под Лейпциг, в оркестр полковых музыкантов или к огромному дубу, замечательному по своей дряхлости, или к Наталье Степановне, которая прохаживалась, задумавшись, по уединенной аллее... и полковник тотчас догадывался, что теперь не время, некстати, лучше в другой раз. Эти мучения прекратились наконец; он отменил личное объяснение, не столько потому, что княжна почти не оставалась с ним одна, сколько потому, что ему блеснула счастливая мысль. Беспременно повертывая один и тот же предмет, можно открыть в нем полезную для нас сторону. Полковник был вне себя от открытия, отдохнул, успокоился. Наталья Степановна объяснится за него с княжкою, а Наталью Степановну попросит ее сын.

Таким образом и сам полковник ожидал его с удивительным нетерпением.

6

Полковничья квартира в богатом селе была по возможности возведена на степень удобного жилья и приноровлена к потребностям постоянного пребывания; однакож разные полугородские украшения не отнимали у нее походного, поэтического вида. Стены были завешаны коврами, пол устлан также ковром, ширмы отделяли спальню, то есть постель, от кабинета, или приемной; а у небольших окон новые рамы с цельными стеклами, задернутые зелеными занавесками наподобие штор, показывали, что нет ничего невозможного на свете. Французские и турецкие пистолеты, черкесская шашка, два-три кинжала и образцы киверов, ранцев, сум занимали место картин. В одном углу стояли знамена полка, в другом солдатское ружье; под знаменами — шпага арестованного офицера. Наконец, беспорядочная группа трубок, бисерный кисет, «Воинский устав», «Рекрутская школа», «Краткое наставление о солдатском ружье» и табачная атмосфера — все это одело большую горницу зажиточного крестьянина по военной форме. Только с некоторых пор между признаками временного привала, строгой службы и неизнеженных бивачных привычек вкрались кой-какие предметы роскоши, приличные столичному слабодушному щеголю. Так, например, на столе, где лежали полковые ведомости, «Военный журнал» и другие дельные бумаги, тут же почти без смены стояло зеркало, а возле него какой-то переводный роман, взятый у княжны, несколько ножниц и ножен, духи в хрустале, французская помада в фарфоре и прочие изящные мелочи туалета, необходимые для истинной любви девятнадцатого столетия. Что делать?.. Полковник не стригся уже под гребенку,

не оставлял бакенбард на произвол ветра и пыли, а старался соединить женоподобные прелести статского наряда с суровым блеском военного; позволял себе, отправляясь к князю, выставлять из-за черного галстуха воротнички, чистые как серебро; расстегивал мундир, и белый жилет его всегда был бел, и золотая цепь от часов пригонялась таким образом, что вместе с орденами не вредила впечатлению целого. Что же касается до прежней благоразумной экономии в носке эполет, то эту статью полковник вычеркнул вовсе из устава о своем гардеробе.

Он пил чай и курил трубку, сидя перед зеркалом, как однажды утром вошел к нему полковой адъютант и, подавая распечатанный пакет, сказал:

— Прислан из гвардии разжалованный по суду в солдаты за убиение на дуэли.

— А, прислан! — перервал полковник, вскочил со стула и схватил весело бумагу.

Его радость ручалась за ласковый прием несчастному: он не даст ему почувствовать неизмеримости расстояния, на которое так быстро раздвинули их, и протянет добродетельную, хоть всегда тяжелую руку помощи...

— Это тот, что прошлого года, говорили, женится на княжне, вот вашей знакомой...

Коо посмотрел начальник на подчиненного и продолжал читать...

— Да теперь уже не женится, — прибавил опрометчивый адъютант и лукаво улыбнулся, чем довольно удачно выразил презрение к одному и лесть — другому.

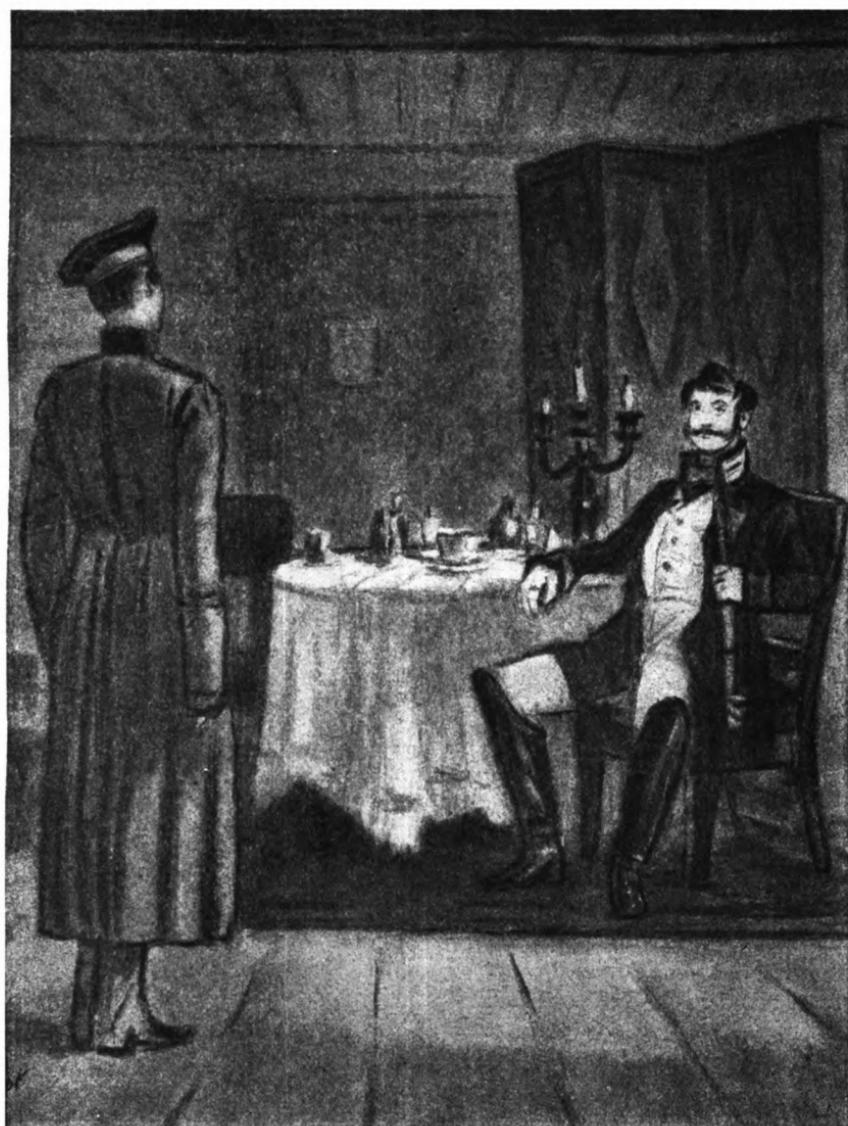
— Да где же он? Покажите мне его.

Адъютант отворил дверь.

Без галстуха, в скюртуке без эполет, в полном беспорядке власти, полковник взял чашку, с торжественной беспечностью взглянул на дверь, поднес к губам трубку, затянулся — и сел. Ему напомнили, что корнета считали женихом княжны, напомнили корнета рядом с княжною, и просьбы князя, материнские слезы, собственные выгоды уступили вспышке самолюбия. Это была минута, когда сильный хочет показаться слабому в величественном спокойствии древней статуи или в оскорбительной, небрежной неге; когда готовится делать вопросы и смотреть в сторону; минута, когда полковник говорил: *ты*.

Солдат вошел.

Может быть, ощущение его, как он переступал порог, не должно сравнивать ни с чем, а оставлять особо, на той уединенной высоте, куда оно занесено врожденной гордостью человека: это не отчаянье, не нищета, не ревность; это что-то неприят-



нее нищеты и язвительнее ревности; это какая-то пронзительная нота, которая не гармонирует ни с одним страданием.

Солдат вытянулся, промаршировал и проговорил:

— Честь имею явиться к вашему высокоблагородию...

Но движения его были красивы и свободны, а голос тверд. На лице не было ни просьбы о пощаде, ни страха, ни унижения. Это был тот же корнет. Та же краска молодости, что в иные лета продолжает цвести над всяким несчастьем. Только солдатский мундир придал ему мечтательную прелесть. Мысль о бесприютности, о необходимой и безмолвной жертве общества, о том, кто идет за смертью, куда глаза глядят, не спрашивая, где его отец, жена, дети, — эта мысль облагородилась образованным взглядом.

Полковник не смутился, не заметил опасного, заманчивого соединения этого взгляда с этим мундиром... он увидел мерный шаг, вытяжку, и пугающее воспоминание исчезло! Судьба закинула корнета далеко от княжны, солдат не может быть соперником, — и рассудок взял верх над мелочным чувством, и сострадание к ближнему, которого мы не боимся или в котором имеем нужду, смягчило жестокость величия.

Полковник встал и с важностью начальнической ласки, с явным желанием осчастливить человека опустил руку на плечо солдату: этот покраснел.

— Здравствуйте! Мы с вашей матушкой ждали вас давно. Мне очень жалко, что с вами так случилось, да мы не заставим вас служить по-нашему. — Тут полковник обернулся к адъютанту: — Держать его в штабе.

— Благодарю вас за ваше снисхождение, — сказал солдат.

— Все поправится, молодой человек; вы можете видаться с матушкой, когда хотите, только...

Полковник взглянул на адъютанта, как будто ему неприятно было, что есть свидетель следующих слов:

— Только я вам не советую показываться у князя; оно бы и ничего, да у него много бывает, чтоб, знаете, не дошло... для вас же лучше.

Он произнес это со всем простодушием дипломата. Несколько времени продолжался затруднительный для обоих разговор. Полковник завел речь об обстоятельствах дуэли, пожимал плечами, обвинял убитого адъютанта, потом шутливо заметил, что сукно на мундире у солдата слишком тонко, потом спросил с громким смехом, умеет ли он делать налево кругом, а когда этот выставил правую ногу, полковник сказал скороговоркой:

— Без формы, без формы... отправляйтесь, куда вам надобно.

Солдат (я стану называть его, как у солдат водится, по прозвищу: Бронин; обыкновение, которым они опередили гостиные, где уже потому необходимо говорить иногда по-французски, что нет возможности упомянуть имя и отчество или времени выговорить их, — отчего выходит, что всего лучше разговаривать по-русски с князем, графом и бароном) Бронин оделся во фрак и поскакал к матери.

7

Это было самое ясное утро; легкий ветер колебал Красивую Мечь, и миллионы золотых пятен, рассыпанные солнцем по ее поверхности, блестели, дрожали, ослепительно перескакивали с струи на струю. Он не нашел Натальи Степановны дома: она была в деревне у князя. Тут Бронин почувствовал на себе тяжелую пощу совета, который должно считать приказом, подозревал, почему не велено ему показываться у князя, но нетерпение утешить нежную мать превозмогло подчиненность. Он, верно, никого не найдет там... легко скрыть от полковника... к тому же можно ли ему испугаться страшилищ благоразумия, и в это утро, в этот час, в это мгновение не броситься к той, кто первая приветствовала улыбкой новый мундир молодого офицера и раскрыла перед ним все легкие, увлекательные подробности гостиной, все счастье образованной суеты. «Как она встретит меня, я во фраке, я солдат?» — только эта мысль мучила Бронина.

Князь принял его радушно, с большей внимательностью, чем прежде, и осыпал надеждами на прощение. Мать схватила обеими руками за голову и стала целовать.

— Матушка, вы, право, стыдите меня, целуете как ребенка, — сказал он, и глаза его наполнились слезами.

Но княжны не было в комнате. Известие долетело мигом до ее уборной.

Приколите же, княжна, к поясу самую свежую розу, киньте же поскорей в зеркало самый любопытный взгляд, бросьте поскорей на несчастного палящие лучи восторга, прохладенные состраданием и скромностью... Проворно подошла она к дверям и остановилась так, что нельзя было отгадать, чего ей хочется, итти или остаться. Приметная небрежность в тонкостях туалета показывала, как она торопилась, но рука ее несколько раз прикасалась к дверям все не за тем, чтоб отворить. Только теперь она вспомнила, что они расстались, как расстанутся в свете, после нескольких упоительных бесед, не сказав друг другу ничего решительного. Кого увидит она? Думал ли он беспрестанно о ней?.. Ей не нужно более этих

стройных, вкрадчивых слов, приносимых к ногам прекрасной женщины на крыльях остроты, ума и удивления, не нужно пленительной светскости офицера, для кого год тому назад пробудилось ее чувство, это невольное чувство, подобное капле дождя, которая летит с неба и сама не знает, на какой цветок упадет!.. Теперь дайте ей всю важность, всю святость, всю глубину любви, заплатите за слезы, за память, за полковника, за эту беспредельную нежность женской фантазии, которая рисует несчастье в чудных формах, то с гордым взглядом, то с чистой, младенческой душой, и переносит солдата в несбыточный мир равенства; заплатите за эту способность привязываться к несчастью, которая не помнит ни ваших заблуждений, ни ваших злодейств: видит только конец их и оторвет женщину от великолепной жизни, от друзей, от родных и поведет за вами в Сибирь, на край света, повсюду, где только можно умереть за вас... способность, которая лучше женских стихов, женской прозы, лучше пера герцогини Абрантес, Дельфины Ге и причудливой мисс Тролопп! Князь, не желая, вероятно, быть помехой свиданью матери с сыном, оставил их наедине, а она тотчас же отправилась делать распоряжения и хлопотать, как бы его квартиру в штабе нарядить приличным образом, то есть наполнить всем, что пойдет солдату. А потому, когда княжна в прекрасной нерешимости роняла легкую кисть своей руки на бронзу дверей и задумывалась и возвращалась взять платок или перчатку, — Бронин был уже один. Он стоял у окна и смотрел сквозь длинный ряд комнат туда, откуда следовало показаться княжне, а иногда взглядывал на дорогу, по которой приезжал полковник. Все, что окружало его, сохранило прежний вид веселой роскоши и могло бы потешить воспоминанием о резвом офицерстве. Огромная этажерка была попрежнему уставлена теми же китайскими куклами: китайцы сидя, стоя, согнувшись, с зонтиками и без зонтиков! Один с сломанным посохом, одна с отбитой ножкой — особенные любимцы корнета, безответные жертвы, заклеянные забавой сильного, — отделялись от всех своей обвинительной наружностью и доказывали несомненными уликами, как он, бывало, любил рассматривать их, как смеивался над ними, как, в жару приятного непостоянства, опрометчиво повертывался к княжне и ставил несчастных не глядя, куда попало, без всякого уважения к китайской старости и красоте. Теперь он не удостоил их ни одним взглядом и едва прислонился к этажерке спиной.

Корнет двадцать раз обошел бы эту богатую гостиную, двадцать раз остановился бы перед картиной, вазой или бюстом, перебрал бы все изящные безделки и каждой подарил бы секунду этого скользкого, судорожного внимания, с которым человек бросается на всякую мелочь, когда один, посреди неодоленного великолепия, ждет чего-нибудь и хочет рассеять нетерпе-

ливую тоску и ищет доски спасения на неизмеримом море ожидания... Но солдат стоял спокойно. Несчастье сковывает тело и его быстроту, гибкость, волнения переносит на душу. Солдат не подступился ни к чему, потому что не было на нем этих эполет, разорваны были эти нити, которые связывали его с фарфором, бронзой и мрамором. Отнимите у человека блеск, суету, возможность суеты, и ему — или опротивеют до ненависти прихотливые выдумки роскоши, или покажется слишком мелкой эта наружная отделка жизни. Он станет допрашивать ее, что в ней есть независимого, тайного, загроможденного миллионами условий и очаровательными тонкостями общежития? Где у нее эти приметы, полученные ею при рождении от творца, которые не должны были полинять под румянами образованности? Где эта мысль, это чувство, эти лучи сердца, способные осветить ее голую и холодную пустыню? Наконец, где эта любовь, которая кажется ложью корнету, когда он блистит на паркете, и истиной, когда наденут на него лямку солдата?

Он ждал княжны, но княжны, похожей на его судьбу; он отнял бы у нее титул, сорвал бы дорогой браслет, нарядил бы в смиренное платье деревенской затворницы, чтоб только как-нибудь приблизить ее к себе, перенести из сложного, ослепительного света в простой и дикий мир солдата, чтоб газовая лента или слишком живописный локон не помешали слиянию сердец, не напомнили огней, вальса...

Вот почему Бронин стоял спиной к китайским куклам и почему княжна застала его в таком несовременном состоянии души, что он восставал даже на поэзию женского наряда, настраивал людей, предметы, прекрасную женщину под лад своему мундиру и, может быть, верил обветшалому предрассудку, что для счастья надо хижину и сердце! Княжна встретила его как женщина, которая боится обидеть мужчину состраданием и не любит, чтоб он нуждался в нем. Если отец очень внимательным приемом, излишеством учтивости не достиг вполне своей доброй цели и дал Бронину почувствовать несколько разницу двух мундиров, то дочь поступила тоньше. Она проникла в тайну, не разгаданную умом. Ее веселый взгляд, ее ровное обращение слили в одно корнета и солдата, счастье и беду. Только все он не мог сначала освободиться от застенчивости, едва приметной, но всегда привязанной ко всякой неудаче, ко всякому невыгодному последствию хоть даже самого благородного дела. А потому разговор между ними пошел сперва по своим обыкновенным ступеням, и поэзия сердца уступила первенство деспотическим приемам общежития.

— Я стою здесь на часах и караулю полковника, — сказал Бронин с улыбкой после нескольких фраз и нескольких промежутков молчания.

— Я прикажу смотреть его; скажут, как он поедет. — Княжна позвонила в колокольчик.

— Верно, ему так приятно у вас, что он не хочет разделить этого удовольствия ни с кем?

— Папенька и ваша матушка избаловали его.

Бронин подошел к княжне, сел возле нее и загляделся на ее руку, которая играла колокольчиком.

— Он мне запрещает бывать у вас, матушка советует, чтоб я слушался его; неужели и вы станете мне то же советовать?

— Папенька всегда бранит меня за неблагоразумие, — отвечала княжна. Черные ресницы закрыли выражение ее глаз, солдат вспыхнул, и потом разговор оживился.

— О, если вы так помнили нашу деревню, — сказала она Бронину, перерывая его одушевленный рассказ о прошлом времени, о первой их встрече, — не должно ли мне принять ваши слова за упрек, от которого я перед вами не буду уметь защищаться?

— За упрек, княжна?

— Папенька говорил тогда, что я была причиной... — Она наклонила немного голову и, растягивая кончик носового платка, стала прилежно рассматривать его. — Может быть, вы беспрестанно думали, что без несчастного знакомства с нами, с бедным адъютантом — ваша матушка не пролила бы столько слез?.. Ах, ради бога, облегчите мою совесть... вы обвиняли нас?

— Будьте, пожалуйста, покойны. Неужели вам кажется, что нет в жизни этих сладких минут, которые перевешивают всякое несчастье? Неужели вы думаете, что нет этих приятных воспоминаний, которые отнимают силу у настоящей беды? Я помнил вашу деревню, но затем, чтоб забыть все другое; я страдал, но только от того, что не смел надеяться быть опять здесь, в этой комнате, возле вас...

Бронин заглянул нескромно в лицо княжне: она, не поднимая головы, не сделав ни малейшего движения, обернула на него полный, внимательный взор с вопросом, который требовал еще уверений, еще более ясности, необходимой для прихотливых, бесчисленных, вероломных сомнений женского сердца...

В это мгновение двери растворились, и человек доложил проворно:

— Полковник едет.

Оба вскочили с мест; но вдруг Бронин, вероятно пристыженный боязливой торопливостью, сел опять в кресла так смело и так решительно, как будто не хотел никогда вставать с них.

— Ради бога уйдите, — проговорила беспокойно княжна, подходя к нему и взглядывая в одно время на него, на дверь и на окна. Она измерила разом всю бездну опасности; она призналась себе тут, что в обращении с полковником пересту-

пила невольно за границу добродетельного расчета и поддалась извинительному желанию: потешиться жертвой своей красоты.

— Ради бога уйдите! — повторяла она с умиленной тревогой.

— Вот, княжна, самая ужасная минута, — сказал Бронин угрюмо, начиная колебаться между гордостью и зависимостью. — Как неприятно прятаться...

8

— Его простят, — говорил князь, погружая после обеда тяжелое тело свое в вольтеровские кресла.

— Помилуйте, его простят!.. Не было примеров, — резал полковник, встряхивая сияющие эполеты.

— Его простят, — шептала про себя Наталья Степановна, застегивая поздно вечером крючки молитвенника и поглядывая на иконы, слабо освещенные лампадой.

«Его простят», — думала княжна утром перед зеркалом, в сумерки за фортепьянами и в полусонном забытии на постели. Но, не довольная одною этой мыслью, она прибавляла к ней другую, чтоб прожить заранее несколько мгновений этого полного счастья, которое в женской голове всегда слаживается так стройно и так хорошо!

«Папешка согласится», — прибавляла она. А потому этого прощения ей хотелось так сильно, так нетерпеливо, так молодо, что едва ли чувство самой матери, более благоговейное, более тихое, не уступало ее деспотическому чувству. Но по странной несообразности она украсила суровое звание Бронина всеми розами воображения, так что, казалось, офицерский мундир только отнимет у него какую-нибудь прелесть, а ни одной не прибавит. Если мужчина любит унижить женщину до себя, то женщина всегда возвышает его над собой и над целым миром.

В нем видела она не грубого солдата под серой шинелью: для нее это был солдат романсов, солдат сцены, солдат, который при свете месяца стоит на часах и поет, посылая песню на свою родину, к своей милой; это был дезертир, юный, пугливый и свободный; увлекательно прелестный простотой своего распахнутого театрального мундира, с легко накинутой фуражкой, с едва наброшенным на шею платком; для нее это был человек, разжалованный не по обыкновенному ходу дел, но жертва зависти, гонений, человек, против которого вселенная сделала заговор, и княжна вступалась за него и взглядывала так гордо, так нежно, как будто столько любви у нее, что она может вознаградить за ненависть целого света.

Словом, в нем был только один недостаток. Этого не умели уже исправить ни ее сердце, ни ее воображение, и для этого-то нужен был прежний мундир. Спокойствие, блестящую будущность, добрую славу, самое жизнь она отдала бы ему, да как отдать руку... Солдату нельзя ездить в карете!.. Припишите это порочному устройству обществ, проклятые обычаи людей, но согласитесь, что есть ядовитые безделки, на которые не наступит ничья нога и о которых можно без греха помнить в самые небесные минуты на земле. Впрочем, солдатский мундир так ей нравился, что однажды она спросила у Бронина: зачем он ходит во фраке? Была ли это женская прихоть, нежность, или княжна хотела от него полного признания, как в словах, так и в одежде, во всем, что обыкновенно считается унижительным и что одна смелая откровенность может облагородить? Во всякое другое время и от всякой другой женщины солдат принял бы такой вопрос за упрек в малодушии, но между ними не было уже разделяющих чувств. Он услышал это наедине с княжкою в саду, когда она позволяла уже ему высказывать всю пообъятность счастья быть с нею наедине.

Эти прогулки оставались непроницаемой тайной для полковника. Хоть князь, узнав сперва о приказании, полученном солдатом от начальника, закричал: «Вздор, вздор, я ему скажу»; но дочь остановила отца и убедила, что не надо противоречить полковнику, когда он довольно добр и когда нет никакой особенной причины настаивать на бесполезном позволении. Скрывая свои свидания с Брониным от одного, она не всегда доводила их до сведения и других, так что эти невинные прогулки прятались иногда от самого князя и от всех в тишине мрачных аллей, охраняемые прелестями таинственности, освещенные мирно прекрасными глазами, робким румянцем и волнующие только невоздержными порывами влюбленного мужчины. Это были минуты искренности, к которой рвется возвышенное сердце и за которую княжна платила дорого, потому что полковник не прекращал почти ежедневных посещений и, считая себя благодетелем Бронина, сделался еще более заносчивым. Он не знал, что делалось с княжкою, когда ей докладывали о его приезде, и каким образом она всякий раз произносила «что?», переспрашивая у человека неизбежную и слишком внятную весть; было от чего полковнику проклясть жизнь свою, если б он услышал это «что» и увидел его на лице княжны.

Наступило утро, в которое опасный соперник солдата проснулся необыкновенно рано, начал ходить по горнице, ходил чрезвычайно долго и шагал очень широко, так что в каждый конец для его третьего шага недоставало пространства. К нему позвали Бронина.

Когда этот явился, полковник подошел к нему быстро, схватил его за руку, разрушил ее форменное положение и с полусмехом скомандовал: «Вольно, снимите кивер!» Такой прием мог бы околдовать душу всякого подчиненного, даже и того, кто не был бы отделен от своего начальника ничем не наполненной бездной, но в солдате не замечалось ни иступления восторга, ни торопливости усердия. Спокойно он бросил кивер на стул.

— Мне нужно с вами поговорить по-приятельски, — сказал полковник, сжимая руку Бронина и налегая с особенным выражением на слово *по-приятельски*. — Вы видели княжну?

— Встретил у матушки, — отвечал Бронин медленно.

— У нас скоро будет смотр, — продолжал полковник, начиная набивать трубку. — Я представлю вас дивизионному генералу.

Бронин наклонил голову. Тут последовало молчание. Полковник раскурив трубку, потом пошел от солдата в другой угол и на ходу, обернувшись к нему спиною, сказал:

— Послушайте, поговорите обо мне вашей матушке...

— Что вам угодно? — спросил солдат с удвоенным вниманием.

— Я уверен, что вы оцените мою доверенность. Я с своей стороны постараюсь быть вам полезным; надеюсь, что ваша матушка не прочь от того, чтоб оказать мне небольшую услугу. Вы знаете, я часто бываю у князя, и сколько мог заметить, мои посещения не противны княжне...

Солдат потянул свой галстух: крючки застегнутого воротника начинали его душить.

— Признаюсь, я никогда не был о себе слишком высоких мыслей; но ее ласковое обращение, ее особенная внимательность ко мне... притом же, согласитесь, я полковник, служил... Молодой человек! Вы не знаете, что такое служба, вы не в состоянии еще понять, как страстно можно любить службу... ну, теперь она мне в голову нейдет... я прошу вашу матушку поговорить обо мне с княжною и с князем.

Краска начала выступать на лице полковника, и он опять отвернулся от солдата.

Этот стоял, опустив глаза и ломая пальцы. Только волнение, в каком находился полковник, мешало ему заметить, как тяжело слушать и молчать, когда другой смеет намекать вам, что нравятся женщине, которую мы обожаем.

— Княжна может быть уверена, — продолжал полковник, опуская трубку на пол, опираясь с жаром обеими руками на чубук и становясь более картинным, — что ей не найти такого мужа. Захочет она, чтоб я продолжал служить, — стану служить; захочет, чтоб вышел в отставку, — выйду; вздумает

жить в столице, в деревне — где ей угодно; мне с нею везде будет так же весело и приятно, как в то время, когда я получил первый крест или когда мне дали полк и я, выехав к нему на учение, окинул его взглядом. Но вы расскажете красноречивей, что́ я чувствую. Я мало вертелся в свете, мой язык привык к команде, вы моложе, вы ближе к женскому вкусу...

Тут полковник взглянул пристально и любопытно на солдата, как будто хотел отыскать на его лице опровержение своих слов.

— Или я ошибаюсь, или мне не должно бояться отказа. Во всяком случае надеюсь, что ваша матушка согласится быть посредницей: мое счастье зависит теперь от нее.

Он подошел к солдату, опять взял его за руку с большим чувством и через секунду прибавил:

— Не худо будет упомянуть между прочим, что мне скоро достается в генералы. Для княжны это, конечно, ничего... но князь... вы знаете, чины еще действуют.

— Очень хорошо, я скажу матушке, — отвечал Бронин сухо.

Не прошло часа после этого разговора — он был уже в саду князя.

9

Княжна гуляла и шла ему навстречу; но завидя его издали, пошла тише, хотя глаза ее приметно развеселились.

— Что с вами? Вы смотрите так насмешливо? — спросила она шутя.

— Мой полковник предлагает вам руку и сердце и поручил мне просить матушку, чтоб открылась вам за него в любви. Он без памяти от того, что очаровал вас.

— Ах, боже мой, он теперь догадается и станет мстить вам! — сказала княжна, изменяясь в лице.

— О, да как он влюблен! И я выслушал его изъяснение по форме, молча, с начала до конца. Тысячу раз думал я, что перерву его, не позволю продолжать, скажу, что мне не следует этого слушать, что он выбрал такого поверенного, который не может благородно выполнить его поручение, — но что делать? Душа моя присмирела в тисках этого мундира... — И он дернул с досадой красный воротник. — Ах, княжна! Как мне в эту минуту жаль стало моих эпблет.

Трудно выразить ее заботливость, когда начала она перебирать разные средства, чтоб согласить безопасность солдата с отказом полковнику. То хотела сама обратиться к нему, ввериться благородству его военного характера и произнести

твердым голосом: «Простите меня, я не люблю вас, я для другого рассыпала перед вами драгоценные камни моей красоты и воспитания». Тут задумчивые глаза ее раскрывались мгновенно в полном блеске, вспыхивая надеждой на величие души, на самоотвержение. То вдруг эта светлая надежда потухала в ней, как одна из тех ветреных мыслей, которых истину доказывает сердце, но которые слишком дерзки для женских привычек и слишком мечтательны для рассудка. Княжна переходила от чудес жизни к обыкновенным явлениям и полагала, что отец ее... — она обовьется около его шеи, расплатится перед ним — его связи удержат полковника в почтительной боязливости и не дадут разыграть его негодованию или ревности.

Напрасно Бронин силился вырвать ее из этого мира забот, участия... восхитительного, как доказательство любви, и не сколько неприятного, как желание женщины защитить мужчину. Он бросал беспечно свою судьбу на жертву непроницаемой будущности, он твердил ей о настоящей минуте... они сидели рядом... Солнечные лучи, пробиваясь сквозь густые ветви деревьев, образовали перед ними стену зелени, унизанную точками света... Княжна и солдат, два странных наряда вместе... два существа с одной планеты, но раскинутые какой-то мыслью по концам ее и соединенные чувством, которое не знает пространства, не боится расстояния.

Долго она не слушала его, долго прибегала ко всем усилиям воображения, чтоб утешить себя какой-нибудь счастливой уверенностью, потом задумалась, потом взглянула на Бронина, как будто утомленная испугом, и ласково сказала:

— Боже мой, зачем вас перевели к нему в полк? — Он схватил ее руку в первый раз, прижал крепко к губам... она покраснела, но оставила руку на произвол любви, и ветер накиннул широкую ленту ее пояса на колени к солдату...

Между тем растревоженный полковник вышел из своей квартиры.

Его замыслам стало душно, его чувству нужно было и прохладе воздуха и простор неба. С дороги сбивался он на тропинку, с тропинки на пашню. Он шел скоро, как будто догонял свои мысли, которые все опережали его. Он шел бог знает куда, а очутился, усталый, перед домом князя. Войти или нет?.. Полковник не будет уметь сохранить должного спокойствия... Не лучше ли дожидаться ответа? Да, нет ничего приятней, как перед решительной минутой подмечать самому этот ответ, делать догадки о наступающем блаженстве по разным пустякам гостиней!.. И потом, чем наполнить пустоту времени? Куда бежать от сомнений?.. Он вошел.

Князь был на охоте. В передней никого. Почтительно прокрался полковник до одной комнаты, из которой окна вы-

ходили в сад. Никто не попадался ему навстречу... Считая неприличным атаковать дальнейшую часть дома, он опустился на диван, покойно упругий, обложенный мягкими подушками, обтянутый полосатым штофом, — и расцвел!..

Буря войны, ее голод и холод, кочевая жизнь... как все это показалось вдруг слишком молодо, тяжело, невозможно более для полковника, убаюканного негой роскошного дивана! Великолепие строя, чудная выправка и склейка людей, как все это показалось ему хуже, чем мраморный камин, матовые шары ламп, малахит и бронза подсвечников. Полусонно смотрел он на поясные и миниатюрные портреты княжеских предков, вероятно с таким же чувством, с каким Наполеон думал о родословной австрийского императора, когда сватался за его дочь. Полковник послужил... пора отдохнуть... что в славе, которая спит на сырой земле?.. Какая в том честь, что солдат сделает на караул!?. Ему захотелось отведать барской спеси, причуд богатства, понежиться в объятьях знатности и красоты!.. И почему не лелеять этой сладкой мечты? Почему не надеяться на это заслуженное счастье?.. Он дрался храбро, княжна так восхитительно приветлива к нему, помещики с таким подобострастием становятся около него в кружок, сажают на первое место, ждут к обеду, а Андрей Степанович, решительно уверенный, что для полковника нет невозможного, набожно говорит ему всякий раз: «В ваши лета, в вашем чине...»

Эти великие и малые воспоминания, это высокомерие, внушенное ему не собственным самолюбием, а ложью общества, злая ошибка других, потому что они смотрели на него в увеличительное стекло; наконец безгрешное, понятное в нем желание палат и сердца — все это отлило его надежды в прекрасную, крепкую форму... и он поднялся лениво с дивана и медленно подошел к окну, чтоб окинуть глазом еще частицу своих будущих владений... Но тут более любви, чем надменности, проявилось у него. Любовь душистая, светлая, беспечная повеяла ему из сада!.. Любовь, какой не видывал он в деревенском сарафане, в корчме жида и у мелочных немок. Как нежно поглядел он на эти укатанные дорожки... где будет прохаживаться с своей обворожительной женой, на эти кусты роз, на эти тюльпаны... а там, вдали, глубокая, темная беседка... там, может быть, много схоронится супружеских тайн...

Вдруг полковник дрогнул, лицо его оцепенело, и он приметно вооружался всею зоркостью глаза, как будто поверял дистанцию при построении колонн к атаке... что-то мелькнуло сквозь ветви... что-то похожее на мундир и на жепское платье... Он отсторонился от окна, оперся на эфес шпаги, и, я думаю, пальцы его выпечатались на бронзе... это княжна, это Бронин...

Нет, полковник, это демон, который принимает на себя все виды, чтоб вырвать нас из области счастья и показать нам жизнь, какова она без украшений, накинутых на нее головою и сердцем человека, жизнь с усмешкой безверия, с отчаянным взором!.. Но белое платье мелькнуло опять, но знакомый зонтик заслонял от солнца знакомые черные волосы, но красный воротник, но темнозеленое сукно... В них нельзя ошибиться полковнику... это он, это она...

Да, полковник, это он, это солдат, который по твоему слову не шелохнется при тресках грома, не смигнет под грохотом ядер... это солдат, для которого ты отец и мать, жизнь и смерть, и небо и ад... ты обходишься с ним как с равным, так щадил его, ты высказал ему всю душу, а он обманул тебя, а княжна рассыпалась перед тобой для него, а там они смеются над тобой неловкой любовью... Куда же девалась твоя служба?.. Какой же теперь смысл в твоих крестах?.. Все раны Смоленска, Бородина и Лейпцига раскрылись у несчастного полковника!..

Смотри, полковник... он целует ее руку, эту руку, так хорошо освещенную солнцем, что ты отсюда можешь видеть ее белизну и нежность!.. Смотри... их только двое... никого нет еще... они давно здесь... оторви его... чтоб княжна не отыскала и следов солдата!.. Но не поздно ли?..

Полковник не понимал, что есть невинные ласки, непорочное уединение... Подозрительно впивались его глаза в белое платье, и не бледность, которая грозит смертью, но грубая краска гнева зарделась на его полных щеках... Он воротился назад, к привычкам целой жизни, к своей невероломной страсти, в мир войны, дисциплины и зажигательных звуков барабана! Заблужденно вырвало его из строя и предательски покинуло одного, далеко от княжны!.. Ему показалось, что они идут к дому... он кинулся из комнаты, но вдруг приостановился, страшный, огромный... повернул голову, бросил еще один взгляд... только не на княжну, не на сгибы белого платья...

Он взглянул на солдата.

10

Если б вы вбежали за полковником в его квартиру, вам бы представилось одно из этих загадочных явлений, которыми душа расстраивает отчетливый порядок наших мыслей, когда от ежедневных, правильных впечатлений переносится внезапно к какому-нибудь впечатлению страстному и, обнаруживая все могущество своих поэтических волнений, дает мертвым предме-



там что-то живое, сливает их с собою в одну стройную картину. Изба, дворец равно отражают это напряженное состояние души. Этот взрыв ее поднимает все на одну высоту с нею, и вы видите кругом или блеск, или обломки.

Полковник курил, но это была туча дыма!.. Дым, выносясь густыми клубами, вился в кольца, расширялся, тянулся к потолку и растягивался под ним в тонкую прозрачную пелену. Потом прокрадывался и расстилался по стенам, потом бежал, потом струился по полу, потом стало ему тесно. В этом аду дыма один угол, освещенный двумя, тремя лучами солнца, оставался чем-то утешительным, чистым, как будто человеколюбие притаилось тут от грозы ожесточенного сердца. Ковры, пистолеты, знамена — все исчезло, только мерцали частицы кинжалов, да виднелись две неподвижные фигуры, два синие, дымчатые лица, да против них сверкали глаза полковника и гремел его начальнический голос.

Горячо сердился он на офицеров (это были офицеры) за то, что избавляли солдата от службы. Гнев его разразился в своем полном объеме, как вообще гнев человека, который шумит на безответного, а потому бывает не робко дерзок и не трусливо храбр.

— Ни шагу пикуда отсюда! — кричал он. — Ужо его на ученье, завтра ко мне в вестовые!

Но в этих звуках было что-то дикое, таинственное, как будто они относились к какому-то призраку, как будто полковник искал возле офицеров кого-то другого и на него смотрел и другое говорил ему. «Я стану между тобой и ею... сквозь меня ты не увидишь ни нежной руки, ни ясного дня, ни цветов, ни румянца, ни яркой улыбки... Я покажу тебе только, как бледно может быть лицо, как впалы щеки и как мутны глаза... мне не нужно обманывать, хитрить, кидаться к тебе на шею, жать с восторгом руку; мне не нужно таняться, подыскиваться, клеветать на тебя, стеречь тебя за углом, красться к тебе ночью — ты мой при свете солнца, при тысяче глаз».

Ученье шло дурно. Полковник был недоволен до того, что передал свою ярость лошади: вся в пене, она бесилась под ним красиво, только беспокойно несла голову, потому что он беспрестанно затягивал поводья. Особенно же его раздраженное внимание обращалось на беспорядки того взвода, где с полунасмешливой и с полугорькой улыбкой стоял под ружьем Бронин. Там все было не так: люди не ровнялись, фронт волновался, шаг был короткий, вялый, взгляд не быстрый. Замечая повсюду недостатки, без милости прищпоривая лошадь, полковник все озирался в одну сторону, и куда ни переносился, дирекция его огнедышащих глаз не переменалась.

— Не качаться, — кричал он, смотря на Бронина, — ровный его!

Фельдфебель потянулся через заднюю шеренгу и слегка дал прикладом толчок солдату. Этот побледнел.

В самом деле несносно, когда ученье идет дурно. Оно требует непременно стройности, правильности, как признаков дружной храбрости и единодушия, необходимого для неодолимой силы, составляемой из тысячи сил.

Представьте себе быструю точность движений; эти ряды, ровные, крепкие, которые то сплотятся стройно в светлые тучи штыков, то развернутся свободно длинной гранитной стеной, протянутся блистательным лучом! Эти груди вперед, эти дерзкие лица идут на целый мир, эти ноги ступают твердо и поднимаются решительно; представьте себе этот чистый, дружный, отделанный шаг, и вы поймете, что церемониальный марш может вас бросить и в жар и в холод. Тут орудия смерти не беспорядочны, не безобразны, тут смерть нарядна, тут то же чувство изящества, то же чувство красоты, но вместе и чувство силы, невозможное для отдельного человека. Теперь представьте, что ученье идет не так, что в нем нет этого согласия, и вы поймете, почему полковник, выведенный наконец из терпения, отправился во весь карьер и прямо перед Брониним мастерски осадил лошадь.

— Что это за стойка?.. Опустился!.. Господин взводный командир, поправьте его... выпустил колени... плечи ровнее, грудь вперед.

Слова начальника произвели пагубное действие: губы у солдата задрожали, но это было единственное проявление жизни на его лице, потому что весь буйный пыл ее, все лучи собрались в глаза. В них все было: и презрение, и ненависть, и отвага, и эта гордость, которую внушает безумная любовь и от которой мы представляем себе весь свет сердцем женщины, хотим везде стоять на первом месте, занестись куда-то высоко, выше всех общественных отношений, всех соперников и выше всякой славы.

Но простая команда не могла бы, конечно, привести Бронина в такое раздражительное состояние; вероятно он подозревал, почему, когда воротился в штаб, потребовали его на ученье. Невыносимо посмотрел он и, забывая свой долг, свою мать, свою княжну, сказал замирающим голосом:

— Полковник, не мучьте меня, вам от этого не будет лучше; я говорю, не мучьте.

Штык зашевелился у него на ружье, только движения штыка начальник не видал уже. Лошадь под ним взвилась и отскочила, потому ли, что он не был более в силах править ею, или потому, что не мог стоять под взглядом солдата и толкнул ее.

Нарушение дисциплины, на которую опирается общее благосостояние, да тайна полковника, мучительная тайна... да еще: «вам от этого не будет лучше...» — с него было довольно. Он понесся, вскрикнул дико, и грозное слово раздалось по рядам.

У солдата выхватили ружье и сдернули мундир

— Полно, брось его, — скомандовал полковник через несколько секунд с другого конца фронта; потом подскакал к ротному начальнику, махнул полковому адъютанту и скоро проговорил с приметным волнением:

— Не высылать его на учење, не наряжать в вестовые; пусть он делает, что хочет, ходит во фраке, бывает, где ему угодно: оставить его в покое.

Что-то похожее на слезу блеснуло у него в глазах; он отвернулся поворотно, вонзил шпоры в лошадь и исчез.

Возвращаясь с учења, некоторые солдаты рассуждали между собой о преимуществах толстой рубашки перед тонкою и приправляли свои слова одним из тех мудрых изречений, в которые воплощается прошедшее: за битого двух небитых дают.

Смерклось.

В одном из самых лучших крестьянских домов, в горнице, убранной, как убирает материнская попечительность, и блестящей этими волшебными безделками, этими подарками на память, которыми дорожит любовь при своем начале, — едва можно было различать предметы, и то от месяца да от тусклой, нагоревшей свечи, поставленной в так называемой передней.

На полу валялся солдатский мундир, на нем рубашка, разорванная пополам, сверху донизу, вероятно в припадке бешеного негодования. Павел, старый слуга, каких слуг более нет, не смел ничего прибирать, а робко выглядывал из-за дверей и раза два уже обтирал глаза рукавом.

Бронин лежал на турецком диване лицом в подушку, шитую по канве княжною. Если б он не поворачивал иногда головы на окно, как будто хотел по темноте отгадать время, да если бы еще не пожимал плечами, как будто чувствовал боль в спине, — должно б было подумать, что он спит. Камердинер его и дядька давно покушался войти; наконец переступил тихо порог, подкрался к дивану и, помолчав, сказал унылым голосом:

— Вот, сударь, к вам записка; как вы были на... — Он остановился и переменял оборот речи. — Давеча прислала княжна.

Бронин протянул руку, не поднимая головы, взял записку, стиснул — и не прочел. Грустно Павел отправился назад, но через четверть часа вбежал в больших торопях:

— Барыня, сударь, приехала, барыня!

Бронин вскочил, крикнул: «Не говори ей...» и замер на месте.

Казалось, он испугался: иных слез, иных рыданий мы боимся и умирая. Верно, дошло до нее... она никогда не приезжала так поздно...

Павел вздел на него проворно мундир, который попался под руку, забросил рубашку, потом внес свечу, и — подарок матери, подарок в день рожденья, драгоценный ятаган засверкал на стенке. Его ножны были уже обтянуты новым зеленым бархатом, золотые бляхи ярко отчищены, жемчуг отмыт, и на месте выпавших камней сияли другие. Павел поднял проворно зонтик у подсвечника и поставил его в угол, подальше, чтоб ни один луч не осветил для матери лица ее сына.

— Сашенька, друг мой! — кричала Наталья Степановна еще за дверьми, с сильным движением в голосе.

Бронин затрясся, и прежде чем пошел навстречу к ней, его судорожный вздох отвечал на эти звуки, как будто душа, выстрадавшая свою часть на земле, оробела при виде лишнего страдания. Павел провожал барыню, не смея поднять глаз.

— Сашенька, ты прощен.

При этом слове она кинулась к нему на шею с быстротой и веселостью молодости.

— Князь сейчас получил письмо из Петербурга, на днях будет в приказах!..

Слезы так и катились у нее от радости, поцелуи так и сыпались на щеки Бронина.

Может быть, он не устоял бы против рыданий о его позоре, может быть, он пал бы под материнской печалью, но радость, но насмешка судьбы нашла его немым. Есть же это чувство, которое не принимает в себя никаких посторонних волнений, которого не умеешь назвать, раздробить на оттенки, и — пусть небо прояснится, подует попутный ветер, разыграется парус, — тяжелый груз этого чувства все топит корабль человека.

— Поедем, друг мой, поскорей; тебя ждут ужинать; добрый князь зовет пить шампанское!.. Как он рад, а как рада княжна!.. — Тут Наталья Степановна улыбнулась с двусмысленным восхищеньем. — Да что у тебя так темно?..

— Светло, матушка, — отвечал Бронин, опуская голову на ее руку.

— Поедем же поскорей...

— Нельзя... мне надо видеть полковника.

— И, друг мой...

— Мне надо видеть полковника, матушка, — сказал сын, усиливая голос и взглядывая на ятаган.

— Да он, верю, не осердится. Полковник, право, мил!.. Как добр до тебя!.. Завтра мы здесь отслужим молебен, и я буду молиться за него. Да что с тобой, друг мой, ты будто не рад?

— Рад, матушка, очень рад...

— Ай! — вскрикнула она, — как ты сжал мне руку, Сашенька! — и крепко поцеловала сына...

.....
Долго отговаривался он. Наконец Наталья Степановна заметила его бледность и с заботливостью, в которой не было ничего горького, потому что радость покрывала все другие чувства, спросила:

— Ты болен, друг мой? Что с тобой?

— Много ходил сегодня, устал; да вы не беспокойтесь, матушка: к завтраму это пройдет.

Тут поразительна была странность человеческого сердца: сын испугался, что мать обеспокоится о его нездоровьи, а между тем безобразный умысел понемногу выступал из души к нему на лицо. Слабое освещение, старость глаз и потом слепой восторг и самая чудовищность, невероятность сыновней беды помешали Наталье Степановне проникнуть тайну или сделать какую-нибудь печальную догадку. Она убедилась, что ему нельзя ехать, что он устал, должен отдохнуть и что к завтраму это пройдет...

.....
— Да что ж ты не велишь ничего сказать княжне?..

— Поклонитесь ей, поблагодарите ее.

И он опять схватил руку у матери, прижал к губам, и она опять расцеловала его.

— Так завтра, мой друг, мы все приедем к обедне!

— Завтра, матушка!..

.....
Коляска промчалась — и все затихло: только кое-где перекликались собаки...

— Павел, ложись, я разденусь сам...

.....
Прошел длинный час; слышно было, что и Павел спит. Бронин ходил по горнице; то смотрел на окна, то на стены, то не смотрел ни на что. Вдруг подошел к ятагану, дико стал перед ним и впился в него глазами!..

В эту минуту нельзя было узнать в солдате юного корнета... ни одной похожей черты!.. только волосы, не обстриженные еще по форме и разбросанные в неподражаемом беспорядке, сохранили свой прежний лоск, прежнюю увлекательность... и, несмотря на пугающее выражение его лица, прекрасная женщина могла бы еще взглянуть на их волнистые, роскошные отливы, и томно впустить свои ласковые пальцы в эти густые локоны, и нежно приподнять их, и сладострастно размять, и вспыхнуть, и обомлеть, любуясь ими. Это были еще волосы корнета.

Он снял ятаган со стены...

.....
Месяц разделил широкую улицу села на две резкие половины: светлую и мрачную... На рубеже света и мрака, на этой черте, где конец жизни сливался с началом смерти, — несколько раз появлялась и исчезала тень солдата!..

Но часовой ходил у квартиры полковника... но страх или презрение к самому себе... но что-то останавливает человека, когда он крадется ночью...

12

Ударяли к обедне. Был какой-то праздник в селе. Мало-помалу высыпали на улицу солдаты, крестьяне и крестьянки. У иного на шляпе был воткнут за тесьму пучок желтых цветов, у иной в косу была вплетена лента. Многие, идя в церковь, переваливались лениво и не без чувства поглядывали на запертый кабак. Погода была чудная. Это было одно из тех невыразимых мгновений, когда жить значит не вспоминать, действовать или надеяться, а просто дышать, смотреть на небо, на зелень, на цветы... наслаждение, не купленное ни трудом, ни деньгами!.. Тихо и светло текла Красивая Мечь!.. Мелкий дождь сквозь солнечные лучи вспрыснул землю, и радуга, как газовый шарф, опоясала половину прекрасного неба.

Вдали мчалась к церкви коляска в шесть лошадей; из нее высывалась нарядная шляпка, вылетал белый вуаль, и некоторые говорили: «Это его сиятельство с дочкой».

Показался и полковник. Выходя из квартиры, он обернулся назад и пасмурно сказал кому-то: «Помирите меня с ним».

Потом отправился в церковь, но едва сделал несколько шагов, как с ним поровнялся солдат... без кивера, мундир нараспашку, лицо искажено... левая рука его упала с гигантской силой на плечо полковника...

Лезвие ятагана блеснуло на солнце и исчезло...

Ударяли к обедне, но никто не шел в церковь. Огромная толпа стояла тесно и мертво, с оцепенелыми глазами, с бессмысленным любопытством. Движение боязливое, несильное было заметно только в тех, которые пришлось позади других, а потому тянулись, чтоб полюбоваться невиданной картиной... Несколько офицеров поддерживало голову бедного полковника, и лекарь, обрызганный кровью, зашивал страшную рану. Несколько солдат рвало и вязало убийцу. Бледное лицо его ожило, оно вздрогнуло жизнью, как вздрагивает труп от гальванической искры: румянец заиграл на щеках, слезы полились градом... на паперти оттирали двух женщин... он смотрел туда, и прискорбные, раздирающие звуки: «Матушка, матушка!» — неслись в воздух.

Еще слова два прибавлял он, да ничего более нельзя было разобрать, потому что он глотал их вместе с слезами.

.....
Через сколько-то дней глухой, прерывистый бой барабана, обтянутого черным сукном, возвестил похороны полковника. Ружья на погребенье, флер на шпагах — этот смиренный вид оружия, данного в руки не для изъявления тихой скорби; наконец это немое, торжественное благоговение к святыне покойника, выражаемое вполне только послушными солдатами и их печальным маршем, — все заставляло тосковать по умершем. Красноречивые военные почести проводили его тело в могилу, почести, на которые мы, живые, смотрим часто с горькой, глубокой, темной завистью. Это смерть с каким-то отголоском из жизни, с каким-то следом на земле...

.....
Через сколько-то времени тот же батальон, который шел за гробом полковника, построился на поле для другого дела. Перед фронтом стало пятеро солдат. Между ними был один без ружья, в одежде, не подчиненной уже форме. Отдали честь. Батальонный адъютант прочел бумагу. Раздалась команда: — Стройся в две шеренги, ружья к ноге...

Проворно разнесли по рядам свежие прутья. Иные солдаты ловко схватили их и красиво взмахнули ими по воздуху и, подтрунивая над своим товарищем, пробормотали:

— А пришлось прогуляться по зеленой улице.

Забили в барабаны и — ввели его в эту улицу... Многие офицеры отвернулись...

Позади рядов прохаживался лекарь, и вблизи дожидалась тележка...

.....
Я не знаю, что случилось с княжкою. Она исчезла от меня, как исчезает от нас будущность в потемках неба и завтрашнего

дня. Исчезла, может быть, в одиночестве печали, а может быть, в ослепительных, неясных переливах блистательного света. Знаю только, что некогда на берегу Красивой Мечи лежал гранитный камень, обнесенный железною решеткой, куда, бывало, каждый день приходила она плакать и откуда однажды убежала с ужасом, потому что к этому же камню привели два лакея дряхлую, ветхую женщину с печатью страшного разрушения на лице и с цветами на чепчике.

Эта полуистлевшая женщина проснулась рано, если болезненное оцепенение членов можно назвать сном, вскочила на постели и вскрикнула:

— Сегодня рождение Сашеньки! Подавайте новое платье, нарядный чепчик, цветов; подайте ятаган... я подарю его Сашеньке!

О. М. Сомов

1793 ~ 1833

**РОМАН
В ДВУХ ПИСЬМАХ**



РОМАН В ДВУХ ПИСЬМАХ

I

Здравствуй, любезный Александр! Весело ли проводишь ты свое время в Петербурге? Резвый мотылек, попрежнему ль летаешь с дачи на дачу и от сердца к сердцу? Здоровы ли наши *plantes exotiques*,¹ как ты называешь этих милых провинциалочек, с их украинским произношением и огнедышащими взорами, бросаемыми исподлобья? Что до меня... но ты, верно, потребуешь от меня полной исповеди. Помню, очень помню, что перед отъездом я погрозил тебе длинным, предлинным письмом; пора выполнить угрозу и доконать тебя сим тяжело-весным посланием.

Сюда прибыл я в самую лучшую пору, в половине мая, когда все здесь цвело: сады, леса, луга и щеки сельских красавиц. Смеешься ты и говоришь, что я делаюсь буколическим поэтом? Пожалуй, смейся; а я тебе докажу, что выражение мое точно как нельзя больше: лица поселянок именно цвели тогда — веснушками и вешним загаром. К пенатам моим приехал я не на радость: дом ветх и скучен, сад заглох крапивою, а в деревушке едва осталось душ тридцать налицо по последней ревизии. Мне грустно было там оставаться. Отслужив панихиду над могилами отца и матери, я тем же следом отправился верст за пятьдесят к дяде моему, принимавшему на себя родственное попечение о небольшом моем именьице во все четыре года, которые провел я за границей и в Петербурге по смерти отца моего. Дядя и все его семейство приняли меня с открытыми объятиями; а меньшие дети его — сказать правду — даже измучили меня своими поцелуями и ласками в первый вечер. Впрочем, в этот первый вечер все шло хорошо. Меня забросали вопросами о чужих краях, о новых модах, о том, с прикупкой или с вистом играют в бостон в Париже. Одна добрая старушка, родственница моей тетки, спрашивала, не заезжал ли я мимо-

¹ Экзотические растения (*ред.*).

ездом в Иерусалим или на Афонскую гору? Я отвечал на все обстоятельно и благоразумно и за то удостоен был, особливо от тетки моей и доброй старушки, ее тетушки, названия человека степенного, *солидного*. Но на другой день лист совсем перевернулся: *oui, mon cher, j'ai fait crier au scandale!*¹ И знаешь ли, чем? Тем, что поутру вместо чаю потребовал стакан молока, а вместо сдобных сладких крендельков, которыми пекарня моей тетки славится за 20 верст в окружности, — кусок черного хлеба. «Можно ли! — вскрикнули в один голос моя тетушка, ее тетушка и четырнадцатилетняя моя кузина, — можно ли в порядочном доме требовать себе мужицкого завтрака? Разве вы думаете, прости господи, что у нас и лакомого куска не сыщется про дорогого гостя?» Напрасно я извинялся закоренелю странническою моею привычкою: меня непременно посадили бы на *сладкоядение*, когда бы дядя не подоспел ко мне на помощь и не выручил меня объявлением, что я в его доме могу жить как у себя, есть и пить, что мне вздумается.

Хочешь ли знать ежедневные мои занятия? — В пять часов утра я встаю и отправляюсь к реке купаться. В полверсте от дома, под навесом ив, есть прекрасное приволье для любителей купанья. Ты знаешь, что с тех пор, как сиамец Лаури учил меня плаванью, я не уступлю в этом искусстве ни одному островитянину Тихого океана. Река, протекающая в деревне моего дяди, глубока, быстра и довольно широка: ежедневно я совершаю на ней байроновский подвиг и сряду по несколько раз переплываю этот стосажженный Геллеспонт. Жаль, что ни на одном берегу нет прекрасной Геро, которая ждала бы верного и раннего своего Леандра; или что по крайней мере, подобно Байрону, не могу я похвалиться в пленительных стихах моим удалством и простудной лихорадкой. После купанья часа два или три брожу я по рощам и полям и в ожидании Петрова дня натравливаю моего четвероногого Мельмота на крупных и мелких птичек. Молодой этот питомец так послушен и переимчив, что когда я после иду с ним по деревне, он не оставляет без порядочной угонки ни одной курицы, ни одного цыпленка; и на днях еще старая Акулина, птичница моего дяди, всенародно приносила мне жалобу, что Мельмот, резвясь, задушил пары две утят и распугал весь утиный табор, вверенный главному ее начальству. Я смеялся и оправдывал Мельмота молодостью и глупостью; но тетке моей, кажется, это оправдание было не по сердцу: она заметила мне, что такую негодную собаку должно держать или взаперти, или на привязи. — Перескочи, если хочешь, через это отступление и читай далее. — В восемь часов являюсь я к завтраку, принимаюсь за

¹ Да, мой дорогой, я довел до скандала (*ред.*).

свой черный хлеб с молоком и прехладнокровно выслушиваю неблагосклонные намеки моей тетушки и ее тетушки насчет моего вкуса или блески сельского остроумия молоденькой кузинки, которая, будучи рада случаю, не хочет оставаться в долгу за мои шутки над ее заученною чувствительностью, или, как у нас когда-то говаривали, сентиментальностью, и над ее провинциально-жеманным полудетским кокетством. После завтрака дядя водит меня по саду или по другим хозяйственным заведениям; толкует мне то и другое: я слушаю обоими ушами, хотя, признаться, ничто из хозяйственных наставлений дядюшки в них не залегает. Кажется, бог не создал меня ни агрономом, ни садоводцем, ни прочим и прочим, в чем полагается главное и существенное достоинство сельского помещика; да, кажется, я и не готовлю себя в члены их деятельного и трудолюбивого общества. Так время уплывает до обеда. В час мы садимся за стол. После обеда и неизбежного кофе с густыми сливками три главы домочадцев уходят отдыхать, кухня мечтает за работой, дети бегать по саду, слуги дремать в передней либо шушукать с горничными; а я, взяв Мельмота и страннический мой посох — суковатую палку, снова пускаюсь бродить по окрестностям, иногда с книгой... Не дивись и не бойся за меня: не думай, будто бы я, наперекор с молью, роюсь в старинной наследственной библиотеке дяди. Нет, мой друг! Я взял с собою из Петербурга порядочный запас разноязычных новостей всякого рода и когда устаю от прогулок, то, бросившись где-нибудь под тень дерева, прочитываю по несколько страничек из книги, которую своевольная судьба подсунет мне в руки. Сам я нарочно не выбираю и нахожу, что это гораздо лучше, ибо доставляет мне удовольствие неожиданности. Под вечер я возвращаюсь домой. Иногда застаю гостей, иногда не застаю даже и хозяев, которые уезжают посещать своих соседей. Тут, на свободе, начинаю резвиться с маленькими двоюродными моими братьями, выдумываю для них новые игры, делаю огромных бумажных змеев, спускаю их, кричу, шумлю не меньше детей, — а время течет да течет.

В половине десятого мы ужинаем, а через час беспечный друг твой спит уже сном праведника.

Ты легко поймешь, что такая однообразная жизнь скоро приелась бы мне, как *le pâté d'anguilles*¹ доброго Лафонтёна; но, по счастью, у тетушки моей было наготове запасное средство против угрожающей мне скуки и нравственной оскомины. Тетушка сама призналась мне, что давно уже, именно с тех пор, как узнала о моем желании побывать в здешнем краю, — она имела на меня виды: то есть сговорилась с одной своей

¹ Паштет из угрей (ред.).

соседкой и задушевной приятельницей женить меня на ее племяннице, семнадцатилетней девушке, по ее рассказам, прекрасной, благовоспитанной и единственной наследнице трехсот душ родового имения, да ста тысяч рублей от одной бабушки, да двадцати тысяч с порядочным поместьем — от другой; да к этому еще приданое, да безнаследные родственники, от которых к ней же должно все перейти со временем... Короче, итог этих наследств, надежд на родственные похороны и тому подобного составляет порядочную сумму, от которой бы у иного жениха, à l'irlandaise, ¹

Запрыгали глаза и зубы разгорелись;

но я, — ты меня знаешь: я не стяжатель. Притом же *благовоспитанная* невеста, живущая в восьмистах верстах от ближайшей столицы... Ох! Эти мне благовоспитанные сельские девушки! Того и жди, что на пальчиках ее подметишь копоть кухонной кастрюли, а на ногах — экономические башмаки, спитые домашним сапожником, учившимся своему ремеслу подобно Тришке. Того и жди, что эта нимфа полей и огородов, запрятав подбородок в свою шейную косынку, станет отсмеиваться в платочек вместо всякого ответа на нежности вежливого жениха! Да и красота ее, мне кажется, *est une chose sujette à caution*: ² тетушка моя не великий знаток в этом деле, если судить по тому, что она считает красавицею свою Вареньку — бледную, бесцветную девушку, с тупыми глазами и волосами неопределенного цвета...

Да, мой друг! Так я писал к тебе, так я думал за три недели... Не знаю, какими судьбами позабыл я отправить письмо мое в город на почту; оно завалилось на письменном столе моем — и вообрази вчерашнее мое удивление! Нахожу это не совсем dokonченное письмо (вероятно, сон помешал мне дописать его) на своем письменном столике. Не решился, однакоже, послать его к тебе в прежнем виде — оно было бы анахронизмом чувств и понятий моих о некоторых предметах; ни вовсе истребить его — во-первых, из самолюбия, в силу которого я оправдываю, применяя к себе, русскую пословицу: «что написано пером, того не вырубишь топором»; а во-вторых, и для того, чтобы ты в полном историческом очерке видел всехождения твоего друга, тогдашний и нынешний образ его мыслей.

Вот тебе короткий отчет за последние три недели здешней моей жизни. Тетушка чаще и чаще начала ко мне приставать с своими предложениями о сватовстве; я отшучивался — и не-

¹ На ирландский манер (*ред.*).

² Вещь, подлежащая сомнению (*ред.*).

редко приводил в досаду эту добрую родственницу либо гордыми моими надеждами, либо умышленным уничтожением, которое казалось ей *паче гордости*. «И, племянничек! — возражала она. — У тебя, право, семь пятниц на неделе: часом и принцесса вавилонская тебе еще неровня; а в иное время ты готов божиться, что не смеешь и подумать о сельской дворяночке, у которой каких-нибудь тысяч десяток годового дохода. Чем ты не жених хоть бы какой невесте? И молод, и пригож (тут, разумеется, я усмехаюсь и охорашиваюсь), и в чинах, и в почестях: благодаря бога, уж надворный советник, имеешь Владимира в петличке... Бывал и в чужих краях; говоришь по-французски и по-немецки, да и еще, может быть, на каких языках; танцуешь так, что у нас никому и во сне не приснится... Право, ты хоть кому партия». Что против этого возражать? Тетушка, по своей провинциально-женской политике, так ловко умасливала мое самолюбие, что я, волей и неволей, дал ей слово посмотреть невесту, живущую отсюда верст за двадцать; выпросил только себе, по возможности, самый долгий срок до этого смотра, именно до июля месяца.

Он был, однакоже, не за горами. Прошел и столько желанный мною Петров день. Я осмотрел любимое мое кухенрейтерское ружье — добычу карточной сделки с неугомонным нашим шалуном Ключкеревским, — взял Мельмота с собою и пустился кружить по рекам, лугам и болотам. Первый мой выход был очень удачен. Я, правда, не застрелил ни мошки, дал десятка два *пуделей*¹ на ветер; зато свел предорогое знакомство. Вообрази себе: иду по одному болоту — и вдруг вижу, в нем барахтается какое-то животное, отчасти похожее на человека. Подхожу ближе — точно: огромная голова с плоским лицом, забрызганная болотною грязью, и с волосами, на которых буйные движения тела и самовольство ветра поставили самую забавную прическу, — эта голова билась вверх и вниз на широких плечах, кои до половины уже уходили в топкую тину. Нечего было церемониться; я остановился подле, на большой и твердой кочке, ухватил обеими руками голову за волосы и потянул вверх изо всей силы. Голова пыхла, кряхтела и, вероятно, делала самые странные рожи, ибо Мельмот, присевший на другой кочке, прямо против лица ее, в продолжение геройских моих усилий выл во все горло, как перед смертным часом. Наконец напряженные мои усилия увенчались желаемым успехом: я вытащил человеческую фигуру самого огромного размера — почти в сажень, с атлетическими формами, которые под густыми слоями облепившей их тины казались еще тучнее и несвязнее. Признаюсь, я, в заключение доброго моего дела, чуть не захо-

¹ Пуделями у охотников называются промахи из ружья, выстрелы без повала дичи.

хотал под нос этому живому подобию египетских термов, когда оно, выпрямившись передо мною, испустило такой вздох, от которого гул пошел по всему болоту, и потом, думав обтереть себе лицо, принялось еще больше марать его грязными своими руками. К счастью, мысль, что оба мы стояли на самом зыбком подножии, потому что кочка начала уже колебаться от двойной ноши, — эта мысль в самую пору промелькнула в моей голове. Я подал знак моему *болотному мужичку* — и мы давай переступать с кочки на кочку, пока совсем не выбрались из болота. Тут мы оба растянулись отдыхать на одном береговом холмике, однакоже в почтительном расстоянии друг от друга. Через несколько минут *болотный мужичок* натеребил травы и принялся обтирать с себя тину, а Мельмот около него прыгать и лаять. Сколько безмолвный мой незнакомец ни покушался снять с себя платье — все было напрасно: оно, пропитавшись насквозь вязкою грязью, как будто бы приросло к его телу. Новое явление! Новая потеха мне и новые хлопоты Мельмоту, qui faisait la mouche du coche dans tout le cours de cette affaire: ¹ *болотный мужичок*, чтоб освободить свою спину от грязи, начал кататься по траве, как бочонок, а Мельмот лаять и прыгать, а я — я не вытерпел и захохотал от полноты нежданного удовольствия. Этим еще не кончилось: мой знакомый незнакомец сбежал с пригорка вниз, зачерпнул полугрязной воды в болотной луже, умыл себе руки и лицо, обтер их травкою — и сделался полосатым... да, полосатым! По сероватому полю несмытой грязи явились у него на лице зеленые полосы от травяного соку. Кто бы не подумал, что это истинно *болотный мужичок*, то есть дух, вылезший из самого дна тины?

В таком виде предстал он перед мои *светлые очи* (говоря языком наших летописей), и тут впервые разверзлись уста его для изъявления мне благодарности. Вот тебе слово в слово этот образчик тинного красноречия:

— Хоть я не имею чести знать вас, батюшка, а все же не меньше того покорнейше вас благодарю за то, что вызволили меня из этого омута... Такая беда! Нелегкая занесла меня в болото: глядь — ан тут куличок перебегает да перелетывает с кочки на кочку; я за ним — он дальше и дальше. Зло меня взяло: не отстаю от него; вот и подкрался, ступил, кажись бы, на твердое место, и попал на трясины; ноги-то мои и стали уходить в топь. Ах ты, проклятый! — молвил я с сердцов и хватъ из ружья по куличку; он улетел — а подо мною все так ходенем и заходило, я и врютился по пояс. Ну, давай биться, возиться: думал ружьем достать до дна, чтоб оттолкнуться, — куда тебе! И ружье ушло в тартарары, чертям на потеху... А жаль! Ружье-

¹ Который суетился без толку в продолжение всего этого дела (*ред.*).

то было Лазаря Лазаринова и досталось мне по наследству еще от покойника дедушки. Кабы в нем не расстрел да не раковины — и цены ему не было: промаху бы не дал! Да уж, видно, так ему на роду написано; не лезть же мне за ним в омут! Благодаря бога, есть еще и кроме этого у меня дома дробовиков да винтовок с полдюжины, побольше... Ну, так я погоревал, да и снова принялся выбиваться из тины; не тут-то было! Я чтобы вон, — а меня словно лукавый тянет за ноги, все глубже да глубже... Не насуньтесь вы — так бы меня поминай как звали!

— А как вас звали и зовут? — спросил я, чтобы положить предел этому потоку красноречия.

— Авдей Гаврилов сын Кочевалкин, сударь, к вашим услугам: так меня зовут хорошие люди, — отвечал он.

— Послушайте, почтенный Авдей Гаврилович! Вам надобно поскорее добраться до своего дома, переменить платье и белье, вытереться ромом или одеколоном и успокоиться...

— Где у нас, батюшка, тратить ром на такую дрянь? А об *ладиколони*-то мы слышать — слыхивали, только, признаться, в глаза-то не видывали. Вот я велю истопить баню да вытрусь тройником, настоенным на стручковом перце, — так все как с гуся вода.

— Хорошо, только пойдем. Я вас проведу до самых ваших ворот; боюсь, чтобы вы после такого купанья не занемогли или не ослабели дорогой.

— И! Не в том сила, батюшка! А все-таки пойдемте-с. Вы мой благодетель, так сказать, попросту, спасли мне жизнь, и я хочу вас угостить на славу.

Любопытство подстрекнуло меня узнать покороче моего чудака, его житье-бытье и угощение на славу: я не отговаривался и пошел с ним. Признаться, и голод начинал со мной заговаривать; я зашел верст за пятнадцать от дома моего дяди, а на часах было уже около половины третьего. Через час времени мы подошли к роще; тут мой вожатый признался мне, что ему совестно было итти селом в этом виде, и потому он взялся провести меня к себе в дом околицей и огородами. Мы побрели по узенькой лесной тропинке. Вдруг навстречу нам с перекрестной дорожки порхнула, как птичка, молоденькая девушка в ситцевом платьице цвета *Robin-des-bois*,¹ с разгоревшимся от бега лицом и разметанными черными, как смоль, локонами, с черными глазками и быстрым взором. Миловидное личико ее с каким-то лукавым выражением обратилось на бедного моего спутника, и глаза ее впились в его разноцветное подобье. Красавица, как видно было, узнала в моем *болотном мужичке* своего деревенского соседа — и не могла удержаться от смеха,

¹ «Робин Гуд» (зеленого цвета) (ред.).

обнаружившего ряд прекрасных зубов, ровных и белых, как нитка отборного жемчугу. Потом она взглянула на меня, смешалась, покраснелась еще больше и потупила глаза. Тут только, по милости Мельмота, я заметил, что девушка была не одна: она вела на голубой ленте маленькую белую козочку. Мельмот, натравленный на дичь, вероятно счел и эту козочку доброю добычей и бросился было за нею; но я закричал на него, толкнул его прикладом, и он, поджавши хвост, поплелся назад.

В эту минуту девушка одумалась, поклонилась нам, почти не поднимая глаз, — и улетела от нас, как легкий весенний ветерок. Во все это время спутник мой стоял как окаменелый: стыд, что миловидная девушка увидела его в таком непоказном состоянии, убил все другие ощущения души его и оковал все движения тела. Уже не прежде, как через несколько минут после быстрого побега красавицы, он очнулся, будто от тяжкого сна, и, безгласен как рыба, пошел со мною далее. Мы перелезли бог-весть сколько плетней и наконец вошли в сад и в дом моего чудака.

— Тимошка! Сенька! Тишка! Где вы, уроды? — раздалось громогласное воззвание моего спутника к его домочадцам.

На сей звучный призыв сбежались, разиня рот, трое оципаных холопей с самыми глупыми рожами.

— Ну, раздевать меня, чучелы; да смотрите, не жалеть ничего, рвать как попало, только скорее. Извините, батюшка! — промолвил он, оборотясь ко мне, и с этим словом скрылся в боковую дверь.

Я остался один и от нечего делать начал рассматривать комнату, в которой находился. Мебели в ней были самого старинного покроя. Пыль, плотно слегшаяся на столах и шкафах, свидетельствовала, что опрятность никогда не была одною из домашних добродетелей хозяина и слуг его. В комнате безвыводно господствовал запах самого грубого курительного табаку. На одной стене висело овальное зеркало с деревянными розетками вокруг рам, некогда позолоченных; к другой стене прибит большой олений рог, по ветвям коего развешаны ружья, винтовки, охотничьи ножи, пороховые рожки и прочие доспехи Нимродов нашего века. Сквозь разбитые стекла одного шкафа я увидел — что бы ты подумал, Александр? — полки с книгами! Судя по приемам и обращению хозяина, можно было тотчас заметить, что он человек не слишком книжный. И когда он, обмывшись и переодевшись, вошел ко мне с лицом, полным и красным, как наше петербургское солнце без лучей в знойную пору, то я не вытерпел и спросил у него: откуда к нему зашла такая излишняя домашняя утварь?

— И правда, что лишняя, — отвечал он, — да пусть их тут остаются; места не простоят. Вот видите, батюшка: у меня был дядя, книгочей, старый холостяк; от него-то по наследству и



досталась мне эта рухлядь. Да я в них не больно заглядываю! Разве в зимнюю пору, когда на дворе подымется вьюга так, что света божьего не видно, ни к себе ждать гостей нельзя; так я, ради скуки, и роюсь в письмовнике. Вот книга-то препотешная! Каких там нет рассказней да прибауток; а песен-то, песен! Уж спасибо тому, кто ее написал: мастер был своего дела, нечего сказать!

Нечего было и спрашивать далее. Погодя немного один из подщипанных слуг явился и прокричал таким голосом, каким псари окликают собак: «Кушанье готово!» Не стану тебе описывать ни обеда, более сытного, нежели вкусного, ни крепких наливок, которые сожгли мне всю внутренность, ни пустого разговора, который усыпил было меня к концу стола. Я рассеянно спросил сперва у моего хозяина:

— Какое это селение?

— Село Жижморovo, — отвечал он.

— А кто такова эта девушка, которая встретилась с нами в роше?

Лицо моего Амфитриона вспыхнуло, глаза сжались, как у калмыка, и покрылись какою-то тусклою влагою. Однакож он скоро оправился и отвечал:

— Девушка эта, сударь, дочка Сергея Тихоновича и Пелагеи Михайловны Бедринцовых, Надежда Сергеевна...

Вообрази себе, Александр, мое удивление! Но ты уже догадался, что это нареченная моя невеста. Да, точно она! Не правда ли, что встреча самая романтическая?

Тотчас после обеда я простился с моим *болотным мужичком*, пошел из селения тою же дорогой, которою он вел меня; но не встретил никого, кроме маленькой пастушки — не из аркадских: нет, эта просто пасла индеек. Возвращаясь в дом моего дяди полевыми дорожками, я думал о приключениях дня, о чудных встречах, — и, сказать ли? образ Надежды Бедринцовой поминутно оживлялся в моих воспоминаниях.

До следующего письма. Прощай!

II

С последнего письма моего к тебе, друг Александр, много уплыло воды в моем жизненном потоке; много произошло перемен и во внутреннем моем мире и во внешнем, меня окружающем. Но должно рассказ мой, как говорится, *начать* с начала.

Я сказал доброй моей тетке, что видел мимоходом, или, чтобы точнее выразиться, *мимоходом*, нареченную мою невесту. Я не утаил, что в этом милом существе, с первого беглого взгляда, понравилось мне все — начиная от заманчивой наружности до детской резвости.

— То ли еще ты скажешь, племянничек, — отвечала тетушка, — когда узнаешь ее покорооче. В нашем околотке, думаю, не сыщется девушки, которая была бы так хорошо воспитана, как Надежда Сергеевна. Нечего сказать: спасибо родителям и бабушке, ничего не жалели для ее воспитания. Одной *мадаме*, французенке, платится и до сих пор чуть ли не по тысяче рублей, когда не больше. Да фортепианисту, старичку немцу, также все еще идет жалованье, по 800 рублей; это я знаю из верных рук, от кумы Стефаниды Васильевны; а ей как не знать, она ведь тетка Надежде Сергеевне. Уж о том нечего и говорить, что русская учительница, монастырка из Смольного, жила при ней с семилетнего возраста твоей будущей невесты, учила ее и по-русски, и чужеземным языкам, и рукодельям. Вот была девица предорогая: учена, степенна, добронравна! Скончалась, бедняжка, от чахотки года четыре тому; не случилось это, уж я непременно бы переманила ее к себе обучать Вареньку и меньших детей; она же и насчет жалованья была незатейлива. Да! вот еще: я чуть не позабыла сказать, что по два года ездил к Бедринцовым каждую неделю танцмейстер от князя Драгольского, тот самый, что и княжон учил, и брал чуть ли не по 15 р. за вечер; да в своем экипаже должно было привозить и отвозить его. Видишь ли, друг мой, что в воспитании Надежды Сергеевны ничто не было упущено...

Подробности сии произвели во мне впечатление совершенно противное тому, которого ожидала добрая моя тетушка. Тот же демон, который прежде восставал во мне против *благоспитанных* провинциалок, снова начал мне нашептывать свои злорадные внушения. Пусть она, — думал я, — мила и резва явилась передо мною в роще,

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты;

но то было в роще, а не в гостиной. Там не ждала она посторонних глаз, и даже громкий сердечный смех ее вызван был невольно чудовищной образиной моего *болотного мужичка*. То ли увижу я в гостиной? О, верно нет! Там безжалостный корсет сжимает вместе с вольными формами тела и нравственные способности областной красавицы. Неуместное щегольство нарядов, их пестрота дурного вкуса, их странный покррой — жалкое, уродливое подражание неудачным картинкам мод, рассеваемым по провинциям московскими журналами, — все это отнимает свободу движений, подчиняет девиц какой-то жеманной церемониальности и наводит тоску на опытного наблюдателя, привыкшего в столицах видеть торжество вкуса и ловкости. Прибавим к этому разговор вынужденный, неохотный, тощий мыслями и даже остроумием; статуиное выражение лиц, непо-

движные либо бессмысленно кочующие взоры, однообразную, неприятную ужимку губ; неразвязную походку... Горе, горе нашему брату, который попадет на бал или званый вечер сельских помещиков, когда притом еще затеваются танцы! Это не торжество, а сущая пытка и конечное уничтожение для деревенских барышень!

Скоро мне представился случай поверить очными наблюдениями сии размышления. Тетка моей нареченной невесты и задушевная приятельница моей тетушки, Стефанида Васильевна, вероятно сговорясь, с кем надлежало, на женском конгрессе, вздумала созвать к себе соседей на обед и вечеринку с танцами. Предлогом сего пиршества был храмовой праздник в ее приходе. Разумеется, я был в числе званых и, может быть, избранных. Нечего делать! Я отправился к ней со всею семьей моего дяди в огромной линейке, величиной с петербургский *омнибус*... Впрочем, не ожидай от меня подробной картины сельского бала: прочти в пятой главе «Онегина» от 25 до 44-й страницы — и поверь мне на слово, что храмовой праздник в доме будущей моей тетушки Стефаниды Васильевны немногим отстал от империального пира в доме Лариных. Тут все было в лицах:

Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей...

Тут были и Буяновы с усами, шпорами, в картузе с козырьком, и уездные франтики Петушковы, и пр., и пр. — всех не припомнить. Не думай, чтоб я, по следам нашего любимца-поэта, решился тебе рисовать карикатуру сельского бала: нет! оно точно так бывает и точно так было у Стефаниды Васильевны. Сельский бал есть настоящая выставка областных франтов, или (назову их именем, еще не увядшим в провинциальном словаре) *петиметров*: здесь они отличаются, елико возможно. Люди степенные и неглупые здесь непоказны и незаметны: они скрытно сидят по углам и разговаривают вполголоса. Но пусто-головые щеголи вертятся по комнатам, часто с припрыжкой, *павлинятся*, шумят и сполна выказывают все свои мелкие претензии на ловкость, любезность, ум и тому подобное. Так именно было и здесь, и едва ли где бывает иначе, кроме нескольких знатных домов, поселившихся в деревнях и умеющих давать или поддерживать свой тон в кругу того общества, коим они, волей и неволей, должны были окружить себя за неимением лучшего.

При моем появлении поднялся шопот между знакомыми и незнакомыми мне лицами. Вслед за сим посыпались отовсюду рекомендации смешно разряженных франтов и добрых почтенных старичков, имеющих дела в Петербурге и воображающих,

что надворный советник и кавалер, служащий или служивший в одном из министерств, — бог весть какое значительное и всеведующее лицо в Петербурге! — Ты знаешь, что я отчасти люблю позабавиться насчет ближнего: в этом грехе принесу и чисто-сердечное и полное покаяние тогда, как мне стукнет за сорок лет. Как скоро выписанные из города музыканты заиграли польский, я подошел к будущей моей невесте, повел ее, — все пары за мною. Я отпер двери, ведущие в сад, и повел мою даму по аллее из вишневых деревьев, — и все пары за мною. Не подумай однакоже, чтоб это было впотьмах или чтобы для этого нужно было освещение: нет, мой друг! Бал открылся в шесть часов пополудни; а в июле, ты знаешь, в эту пору еще день на дворе. Я шел нарочно тихо и завел с моею дамою разговор по-французски. И что же? Ведь я жестоко отгадал! Только — *oui* или *non*, едва выдохнутые из волнующейся груди и произнесенные робким голосом, были мне ответом. Я провел Надежду Сергеевну по всему саду, наговорил ей бездну так называемых *des jolis riens*,¹ приводил ее в поминутное смущение, слушал ее молчание или односложные ответы — и с тем отвел ее в комнаты. Тут-то пошла шепотня между старушками и молодыми, дамами и девицами, даже между уездными франтами! Кажется, все решили в один голос: быть делу так! По крайней мере это заметно было из лукаво-убежденных взоров, бросаемых на меня и Надежду Сергеевну, которая попеременно бледнела, краснела и смущалась больше и больше. Я смотрел на все собрание с довольным, отчасти насмешливым видом, *comme si je leur disais: vous êtes bien dupes, messieurs, et vous serez bien tôt repaids*.² Сия наступательная осанка походившая: все снова поглядывали на меня, но после уже не перешептывались.

Я подошел к музыкантам и велел им играть французскую кадрили. Они отрыли какую-то старинную, *du temps du roi Dagobert*,³ — и смычки завизжали. Я поднял Надежду Сергеевну; боязливо и с запинкой — она, однакоже, пошла со мною. Несколько самых неустрашимых франтов пустилось *ангежировать* дам — как они говорят на степном своем наречии; но из девиц едва немногие, и то с крайнею в себе неуверенностью, отважились на сей подвиг. Кадриль насилу наполнилась. Ах, Александр! Для чего тебя со мною не было? Как бы ты полюбовался мною, когда я прехладнокровно выпускал балетные прыжки в этой кадрили и после в мазурке! С каким душевным удовольствием подслушал бы ты звуки удивления и восторга,

¹ Милых пустячков (*ред.*).

² Как если бы я им говорил: вы здорово одурачены, господа, и вы скоро будете сконфужены (*ред.*).

³ Времен царя Дагобера (*ред.*).

раздававшиеся вокруг меня из толпы отовсюду сбежавшихся зрителей: «Чорт знает!.. Чудо!.. Вот лихо-то!.. Вот как должно танцевать!..» Наконец, как бы ты порадовался, глядя на областных франтиков, когда они, стараясь подражать моим прыжкам (коим, *par parenthèse*,¹ придумывал я самые затейливые названия: *pas de chamois*, *pas de gazelle*, *pas de bédouin*),² — как эти франтики, говорю, переплетали ногами, путались и чуть не падали носом об пол!.. Этот вечер был истинно моим. Желание порезвиться и закружить головы уездных любезников было для меня вдохновением. Я болтал по-французски, говорил самые вычурные комплименты дамам, картавил, как *француз из Бордо*, — и достиг своей цели.

Между сею своенравною блажью я, однакоже, весьма пристально посматривал на Надежду Бедринцову. Она, правда, тоже искоса на меня поглядывала, но робко, застенчиво и тотчас отводила глаза на сторону, как скоро они встречались с моими. В ней не было ни искры одушевления, и мечта моя погибла невозвратно. Вот *благовоспитанная провинциалочка!* — твердил я сам себе: — она мила только одна, глаз на глаз с своей козочкой и заочно от маменьки, а еще больше от посторонних. Даже наряд ее, впрочем не имевший в себе ничего странного или резкого, мне не нравился. Это белое платьице, щепетко надетое; эта затяжка, придающая непривычному к ней телу вид парижской модной куклы; эти варварские рукава *à l'imbécile*,³ окутывающие, как мешки, плечи и руки, верно круглые и полные; это *канъзу*, самая невыгодная для стройного стана выдумка причудливой моды — все это казалось мне докучным саваном, в который как будто бы завернуто было неодушевленное тело юной и прекрасной покойницы.

Короче: я был доволен и недоволен моим вечером. Доволен собою, потому что дурачился и других дурачил вволю, — и недоволен тем, что ни для ума, ни для воображения, ни для чувства моего не было здесь пищи. В речи провинциальных помещиков я не вмешивался:

Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне

грозил мне совершенным усыплением. К счастью, балы деревенские не то что столичные: в одиннадцать часов мы отужинали, а в первом все разъехались, кроме двух или трех дальних семейств, кои остались ночевать.

¹ В скобках (*ред.*).

² Па верблюда, па газели, па бедуина (*ред.*).

³ По-дурацки (*ред.*).

— Что, какова невеста? — спросила меня тетушка на другой день.

— Она такова, как я ожидал: деревенская барышня, жеманная, застенчивая — и только! — отвечал я убийственно решительным тоном.

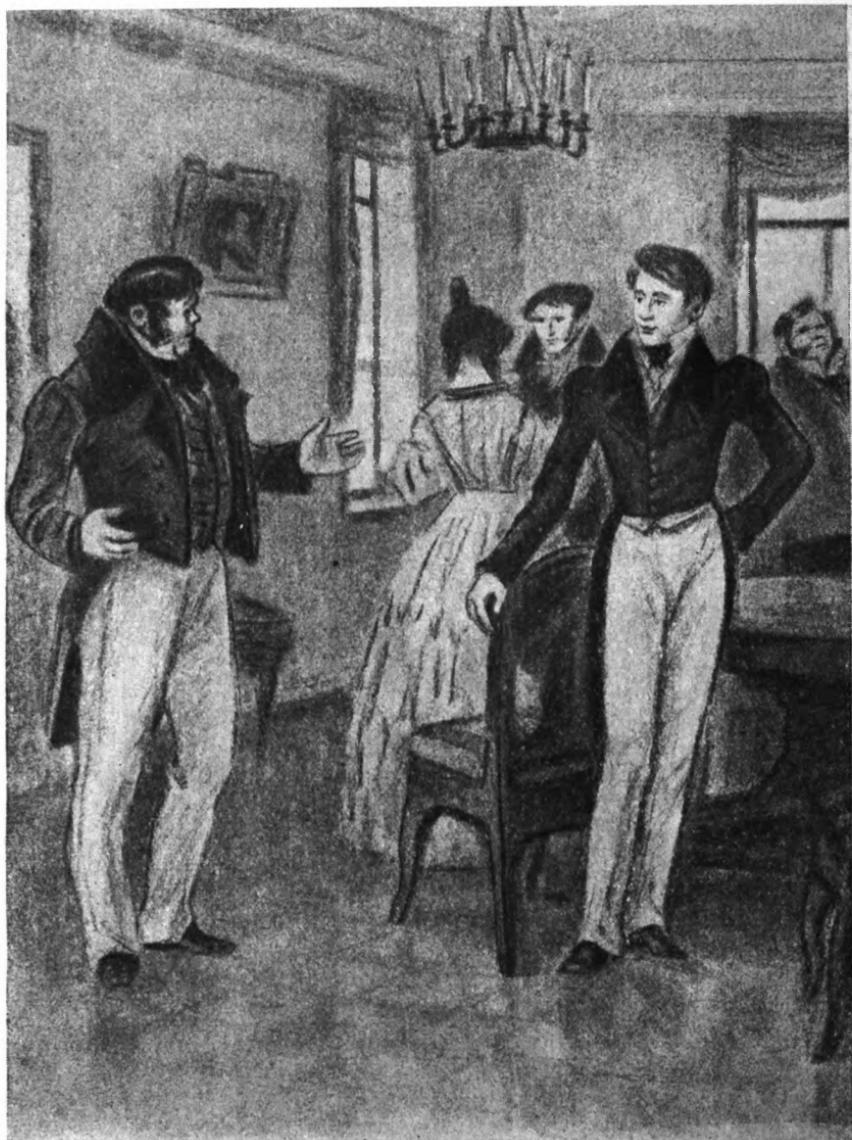
— Ох вы, светские пересмешники! — возразила тетушка с досадой. — Коли уж это не милая и не достойная девица, так кого же вам надобно? В самом деле, княжон да графинь или французских ветрениц, что ли?

— Ни тех, ни других, а просто девушку, которая не сидела бы, как истукан бездушный, или в танцах не выпрыгивала бы, как *марионетка* в кукольной комедии.

— Мы не видывали ни ваших *марионеток*, ни кукольных комедий. Вы их знаете — вам и книги в руки. Мы знаем только то, что девушка, у которой десять тысяч наличного дохода, да впереди еще столько же; девушка, которая и *не глупа* (заметь это выражение: тетушка не смела уже предо мною сказать: умна), и хорошо воспитана, и пригожа, и рукодельна... ну, словом, такая девушка, как Надежда Сергеевна, хоть кому так невеста.

— Желая ей сыскать себе достойного жениха. Что до меня, то, кажется, меня должно вычеркнуть из списка.

Тетушка промолчала и надулась, и мировая у нас была заключена не прежде, как тогда, когда я согласился ехать к Бедринцовым, которые звали обедать дядю со всем его семейством — и с *гостем*. У них я снова встретился с приятелем моим Авдеем Гавриловичем Кочевалкиным, но уже не в образе *болотного мужичка*, а во всем блестящем сельского щеголя: в темносером фраке, яркопланшевых панталонах, пестром бархатном жилете и черном шейном платке. Он подошел ко мне как старый знакомец, с распростертыми объятиями, и шопотом просил меня не намекать о недавней его *причине* (как он изъяснялся), прибавив, что он упросил и Надежду Сергеевну молчать о встрече в роще. Обед продолжался довольно чинно и безмолвно; но здесь Надежда Сергеевна обращалась со мною уже гораздо свободнее, нежели у своей тетки. После стола я просил ее показать мне сад; она согласилась, но взяла с собою кузину Вареньку и других детей моего дяди. Я умышленно начал ребячиться: бегать с детьми, болтать, и между тем заводил с Надеждою Сергеевною шутливый разговор, чтобы как-нибудь сблизиться с ней и приобрести ее доверие. Я напомнил ей анекдоты об уездных франтах, виденных нами на бале у Стефаниды Васильевны, передразнивал их коверканье, их неловкие скачки и признался, что я нарочно выдумывал небывалые па и самые затейливые фигуры, чтобы привести их в искушение и сбить совсем с толку. Она смеялась от души, сказала, что еще тогда



отгадала мое намерение, — и разговор наш оживился, пошел веселее и веселее и, наконец, дошел до некоторой степени откровенности. Он был прерван самым забавным явлением. *Болотный мой мужичок*, пытая и шагая исподлинскими своими шагами, спешил к нам и бросал на нас недоберчивые взгляды, в которых ясно отсвечивались подозрение и зависть. Я тотчас догадался, что это значило.

— Вы здесь прохаживаетесь, сударыня Надежда Сергеевна! — сказал Авдей Гаврилович, подошед к нам. — Конечно-с, — продолжал он, придавая словам своим какую-то глупую значительность, — погода распрекрасная-с, а сад такой большой, такой славный-с.

— У всякого свой вкус, Авдей Гаврилович, — отвечала она с заметным неудовольствием, может быть от того, что сей простак перебил разговор, более для нее занимательный. — Если б я была на вашем месте, — примолвила она веселее прежнего, — то, может быть, выбрала бы себе для прогулки какое-нибудь поле либо топкое болото...

Проговорив эти слова, она бросила на Авдея такой взгляд, что как ни прост мой *болотный мужичок*, однако понял ее намерение и тотчас закусил себе язык. Мы пошли далее; он от нас не отставал. Надежда Сергеевна становилась час от часу развязнее, час от часу милее. — Что еще сказать тебе? Я был очарован ею; заметил в ней искры оригинального, отчасти колкого ума, заметил в ней чувствительность непритворную и еще одно свойство, которого давно ищу я в женщинах: неподдельную откровенность, легко пробуждаемую тем, к кому начинает она питать доверие. Прибавь к этому веселый нрав, живое воображение, какое-то увлекательное, детское добродушие в речах; прибавь к этому невысокий, но стройный стан, прекрасные черты лица, приятную улыбку, большие черные глаза с одушевленным, выразительным взором... Не довольно ли было всего этого, чтобы вскружить мне голову?

Решено: я женюсь на ней! Но неужели мне поддаться воле дядюшек и тетюшек, жениться так, как женятся Иван и Яков и все имена провинциального списка?.. Нет, это было бы очень скучно! Церемонное сватовство, бесконечные переговоры о приданом, условия об отношениях к тому или другому из родни; далее: свадебные обеды, пиры, визиты — какой неистощимый запас скуки и принуждения! Надобно взяться за ум и устроить все по-своему.

Знакомство мое с домом Бедринцовых связывалось теснее со дня на день. Я часто уходил от дяди рано поутру, в щеголеватом моем охотничьем платье, с ружьем на плече и с верным моим спутником Мельмотом. Не думая ни о дичи, ни о лугах и болотах, я отправлялся ближайшими тропинками прямо

в Жижморово, иногда прямо в сад Сергея Тихоновича и всегда заставлял там Надежду в сиреновой беседке за рукодельем или с книгой. Я еще не намекал ей о любви; но мы без объяснений понимали уже друг друга. Однажды шутя навел я разговор на *болотного мужичка* и сказал Надежде, что, кажется, он влюблен в нее. Она усмехнулась; но не показывала никакого смущения. Тут я начал остриться на счет этого забавного воздыхателя; но Надежда Сергеевна не отвечала на мои шутки и, приняв на себя вид простодушно-степенный, сказала кротким голосом:

— Мне кажется, грех шутить над чувством даже такого человека, в пользу которого ничто не говорит: ни ум, ни воспитание. Чувство дело невольное; за что же делать посмешившем того, кто, по простоте своей, не умеет его ни выразить, ни утаить? Он жалок, а не смешон.

Я поцеловал руку милой моей собеседницы. Разговор, начатый мною отчасти с коварным намерением, вскоре превратился в пламенное излияние души. Между нами все еще не было ни слова о любви; но уже Надежде не оставалось более никакого сомнения в моих к ней чувствованиях; и с моей стороны в ее взорах, в голосе, в самом волнении ее груди читал я лестное для меня убеждение: она любит — и любит меня!

Спустя несколько дней шел я в Жижморово знакомыми тропинками; уже я пробирался рощею, как услышал позади себя шорох тяжелой походки. Я оглянулся — и в двух шагах от себя увидел Авдея Гавриловича. Заметно было, что он догонял меня. На плече у него лежало огромное ружье, не меньше семипядной пищали сподвижников Богдана Хмельницкого.

— Желаю здравствовать! — сказал мой чудак, поровнявшись со мною. — Куда бог несет? Ну да, правда, нечего и спрашивать: к Сергею Тихоновичу, или, еще вернее, к Надежде Сергеевне, — в добрый час молвить, в худой помолчать!

Мне не понравились ни неуместные допросы и догадки, ни голос моего зверовидного Нимврода. Я отвечал сухо:

— Иду, куда мне вздумается. Верно, вам меньше всех обязан я отдавать в этом отчет! — С сими словами я пошел было далее.

— Пойдите! — проговорил он, схватя меня за руку с явным смятением, выражавшимся в его голосе, взгляде и невольном трепете руки. — Погодите на минуточку, батюшка Лев Константинович! Я... Мне бы хотелось перемолвить с вами... Дело такое, как покойник мой батюшка говаривал — *казусное*... что истинно не знаю, с чего и начать... Ну, да уж коли на то пошло! Я, грешный человек, каюсь, хотел было вас подстрелить из этого ружья...

— Вы? Меня застрелить? — вскрикнул я, громко засмеявшись. — Помилуйте, любезный Авдей Гаврилович! Я никак не ждал бы от вас такого душегубства.

— Да, так: видно, бог сохранил и вас и меня от напасти. Три дня ждал я вас на том болоте, что, знаете...

— И могли бы три года ждать понапрасну: я туда больше не хожу...

— А вот сегодня ждал и в роще, — подхватил он. — Сяжу здесь спозаранку. Да такая тоска напала, что хоть самому в воду. Смотрю: вы идете — у меня и совсем руки опустились!

— Да за что же в вас поселилась такая ненависть ко мне? Кажется, я вам худа не желал и не сделал.

— А вот видите, батюшка: вы учащаете к Сергею Тихоновичу и Пелагее Михайловне, а пуще всего, я не раз подглядывал, как вы глаз на глаз ходите по саду либо сидите в беседке с Надеждою Сергеевной...

— Только-то? — перервал я со смехом.

— А разве этого мало? — подхватил мой чудак с необыкновенным жаром, которого бы я в нем и не подозревал. — Скажу вам, батюшка, что вот уж года полтора, как я сплю и вижу, чтоб жениться на Надежде Сергеевне; и нынче только ждал Покрова, чтобы заслать сватов к ее родителям... Да на беду мою тут вы подвернулись.

— Так вы не на шутку влюблены в вашу пригожую соседку?

— Да так, батюшка, что, истинно говорю, хоть от хлеба отступиться. Ни день, ни ночь покоя не вижу: все она в глазах мерещится.

— А любит ли она вас?

— Ну, бог весть! Лишь бы согласилась идти со мною под честной венец; а там — поживется, слюбится!

— Послушайте, любезный Авдей Гаврилович! — сказал я, переменяв шутливый тон на важный. — Я вам скажу чисто-сердечно, что ни Надежда Сергеевна вам не невеста, ни вы ей не жених.

— А почему ж бы так?

— Потому, что она девица образованная, напитавшаяся из книг такими понятиями, которые вовсе вам незнакомы; она желает найти в будущем своем муже равного себе по воспитанию и понятиям человека, который ввел бы ее в свет и с которым ей не стыдно было показаться в свете. Положим, что ее выдали бы за вас; но она не стала бы вас любить, смотрела бы на вас косо, даже с пренебрежением; ни одной добровольной ласки вы не могли бы получить от нее... А что за ласки, которые должно брать с бою?

— Ох! Правда...

— Слушайте далее. Вы сами согласитесь, что она вас умнее. Представьте же себе, какова была бы жизнь ее и ваша, когда ни по уму, ни по привычкам, ни по воспитанию вы не могли бы сказать двух слов в лад с своей женой? Вы приходите домой с охоты: жена ваша сидит в углу и хмурится; вечером она молчит, вы также, потому что вам не о чем говорить с нею; оба вы зеваете и не знаете, куда деваться от скуки. Ваше общество ей не по нраву; ее общество, если б она могла выбрать его по своим мыслям, тоже было бы для вас тягостно: там говорили бы о таких предметах, которые вам непонятны. Словом: вы, муж и жена, были бы совершенно как чужие друг другу.

— Правда, правда, батюшка! — сказал Авдей Гаврилович с тяжелым вздохом.

— Скажу вам еще более: мне известно, что ни родители, ни родственники Надежды Сергеевны ни за что не выдали б ее за вас; об ней самой и говорить нечего: она ищет мужа по себе. Во всем этом могу вас уверить моею совестью; мне не раз случалось это слышать от них самих.

— Экая притча! Вот об этом-то я сперва и не подумал...

— Я все высказал, чтобы предостеречь вас от позднего раскаяния, — продолжал я, смотря ему прямо в глаза. — Теперь, не хотите ли? мы пойдем вместе в самую чащу этого леса — ну, словом, туда, куда почти никто не заглядывает: я стану у дерева, а вы приставьте мое ружье к моей груди или к сердцу и выстрелите... Никто не услышит выстрела, никто не увидит убийства, и если со временем отыщут мое тело, то подумают, что я сам застрелился по неосторожности.

— Что вы это, батюшка! — вскрикнул он, задрожав всем телом и уронив свое ружье; лицо его стало бледнее полотна. — Чтоб я принял такой грех на душу! И над кем? Над моим благодетелем, который вызволил меня от напрасной смерти! И из-за чего? Из сущих пустяков, из небывальщины, из-за такой невесты, которой бы мне не видать, как ушей своих! Сами же вы, отец мой, спасибо, меня надоумили.

— Да ведь вы хотели же меня застрелить?

— Ну, винюсь, батюшка: попутал было лукавый; да, видно, бог моим грехам терпит и не попустил на злое дело.

Я того только и ждал.

— Точно так, любезный Авдей Гаврилович, — сказал я моему кающемуся убийце, — грех был бы тяжкий, а пользы для вас от него не было б; не лучше ли жить нам в мире, нежели ссориться, как вы говорите, из небывальщины? Знаете ли что? Добрый мир не бывает без взаимных услуг и подарков; вы жалели недавно о своем лазариновом ружье: вот вам мое кухон-рейтерское: в Петербурге знатоки ценили его очень дорого;

но мне оно теперь не нужно, а продать его я не намерен; лучше подарить доброму приятелю...

— Как же это, батюшка? Да ведь ваш Семен сказывал мне, что за это ружье вам давали шестьсот рублей и вы не взяли. Воля ваша, за что мне принять такой дорогой подарок.

— Возьмите, если хотите меня одолжить. Я уж вам сказал, что не продаю его, а оно мне не нужно. В ваших руках оно лучше будет выполнять свое дело, чем у меня, вися на крючке.

Лицо моего Авдея прояснилось и осклабилось, по возможности, самую приятную улыбкою. Он принял от меня ружье и благодарил меня, как будто бог знает за какое благодеяние.

— Чем могу вам отслужить, мой милостивец, за все ваше ко мне доброжелательство?

— А вот чем: в тот день, который я назначу, соберите у себя человека три-четыре ваших приятелей, из дворян здешнего околотка, и ждите от меня вести... Я скажу, что вам делать.

— Готов за вас на жизнь и на смерть, милостивец. И как не служить вам верою и правдою? У меня бродили против вас такие шальные мысли; а вы не только не гневаетесь, да еще хотите мне добра и дарите меня таким дорогим ружьем, какого мне и во сне не снилось!

Мы расстались. Я пошел к Бедринцовым, а он, обременясь двойной ношей, пустился бродить по лугам и болотам. Я позабыл тебе сказать, что, кроме родителей моей невесты, все в доме меня полюбили: старый учитель музыки, виртембергец, и гувернантка Надежды, швейцарка из Лозанны, сорокалетняя щеголиха и говорунья, — от меня без памяти. С первым говорю я о берегах Некара, о Штутгарте и его Anlage,¹ о Гейслингенской долине; с другою — о прелестях Швейцарии, о Женевском озере, о Лозанне и ее окрестностях. Местные сведения и знакомства помогают мне в этом случае так, что я каждого из моих чужеземных собеседников переношу воображением на его родину.

Приязнь ко мне madame Fréden (имя швейцарки) и ее откровенность — а может быть, и просто болтливость — до того простираются, что она, без всяких с моей стороны распросов, часто пересказывает мне все, что делалось и говорилось в моем отсутствии. Таким образом она мне открыла, между разговорами, когда Надежды не было с нами, что отец и мать моей невесты во время какого-то молебна в их доме уже говорили с священником о близкой свадьбе их дочери и наименовали меня будущим своим зятем. Это подало мне мысль сыграть шутку с ними и с хлопотливою моею тетушкой. Я молчал, как будто ничего не зная; отстранял всякие намеки о формальном

¹ Расположение (ред.).

сватовстве, ходил и ездил в дом Бедринцовых запросто, но все еще не в качестве записного жениха. Такие поступки мои приводили в крайнее недоумение стариков Бедринцовых и всю родню их и мою. Что касается до Надежды, она, кажется, всего ожидала от времени и от власти, которую видимо приобретала в моем сердце и которая не могла утаиться от взоров сметливой девушки.

Настал день ее именин (17 сентября). Нас позвали к Бедринцовым на семейный обед. Здесь мы застали почти всю их родню, но никого из посторонних. Казалось, все к чему-то готовились. После обеда я завел какой-то незначительный разговор с Надеждой; нас, как нарочно, все оставили вдвоем. Когда заблаговестили к вечерне, я сказал Надежде:

— Сегодня ваши именины, и на вас никто не может сердиться, чтобы круглый год вам не видеть никакого огорчения. Согласитесь на одну шутку, которую, верно, родные ваши не будут недовольны. Делайте только безотговорочно то, чему я буду подавать пример.

Она усмехнулась и в знак согласия подала мне руку. Мы пошли вместе в ту комнату, где сидели ее и мой родные. Я подвел Надежду к ее бабушке и с шутливой важностью просил ее благословить нас на брак. Надежда смешалась; старушка удивилась, однакоже благословила нас. То же самое и таким же тоном повторил я, подводя по порядку невесту мою к ее родителям и к моим дяде и тетке, которых просил заступить для меня место отца и матери. Отказа ни от кого не было, но все удивлялись, поглядывали на нас отчасти недоверчиво, а Надежда изменялась в лице и дрожала. После сего обряда я сказал Надежде:

— Теперь мы можем идти — прогуляться, — накинул на нее шаль, подал ей руку и повел ее в сад.

Никто за нами не следовал, ибо такие наши одинокие прогулки были не в диковинку. Я отпер наружную садовую калитку и повел мою спутницу по селению мимо церкви.

— Зайдем в церковь и отслушаем вечерню, — сказал я Надежде.

Она безмолвно согласилась, но рука ее дрожала в моей. В церкви нашел я четырех приятелей моего *болотного мужичка*, с утра мною предуведомленного; но сам он не явился. Я оставил тропетную девушку, начинавшую нечто подозревать, среди церкви, а сам отправился в алтарь. Там всею силою логики, среди риторики и других вспомогательных средств убедил я священника, знавшего, впрочем, что намерение мое не было противно родителям Надежды. Погодя немного дьячок вызвал поодиночке четырех дворянчиков — и все было готово. Вечерня между тем кончилась. Я подошел к Надежде и объявил ей, что

нам теперь же должно обвенчаться, чтоб избавить родителей ее от лишних хлопот, а меня от докучных обязанностей. Сначала она было вспыхнула; но прочитав в глазах моих твердое намерение, чувствуя странность своего положения, боясь неприятной огласки и, может быть, разрыва со мною, — согласилась исполнить мое желание. Мы стали перед налоем. Двое из упомянутых мною дворянчиков держали над нами венцы. Невеста моя дрожала, как листок розы, и плакала. Обряд кончился. Я поцеловал мою супругу, поблагодарил священника и свидетелей и повел Надежду в дом ее отца. Нас ждали там с какою-то подозрительно нетерпеливостью. Вошед в комнаты, мы бросились в ноги ее отцу, матери и бабушке. Все собрание откликнулось единогласным: «Ах, боже мой!» Но тут я начал ораторствовать, увлек моим красноречием всю родню и торжественно, как Цицерон, сошел с низменной моей трибуны. Нас снова благословили, мы снова поцеловались — и родственный пир зашумел!

Вот уже две недели, как я живу в доме моего тестя. В жене моей каждый день нахожу новые приманки, новые совершенства; и если это продолжится целый год, то надеюсь обогатить русский словарь такими именами достоинств прекрасной и милой женщины, что, верно, получу медаль за услуги, оказанные отечественному слову.

Твой верный друг и пр.

Нечаянно попались мне сии два письма Льва Константиновича... фамилии не знаю, ибо под обоими было подписано просто: Léon. Я не старался в них исправлять слога, отчасти небрежного, ни заменить русским переводом французских вставок, коими они испещрены. Подобной переписки наших светских молодых людей, пишущих нередко так, как они говорят, то есть по-русски пополам с французским, мог бы я набрать целые столетия. Не знаю и не ручаюсь, было ли бы чтение сей переписки приятно или полезно. Эти два письма издаю в свет потому, что они заключают в себе если не занимательное, то, по крайней мере, полное происшествие.

А. Ф. Вельтман

1800 ~ 1870

НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД



НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД

ГЛАВА I

В одном из пятидесяти пяти губернских и пятисот пятидесяти пяти уездных городов Российской империи в заездной корчме ходил по комнате из угла в угол человек лет тридцати, важной наружности, с пламенными черными глазами, с пылким румянцем на щеках. На нем был синий сюртук; три звезды светились на груди; беспокойство и смущение выражались во всех чертах.

Двери в хозяйскую спальню были притворены. Подле спальни в кухне молодая еврейка стряпала кугель и готовила чай для постояльца.

Вдруг раздалось громкое восклицание постояльца.

— *Ангелика!* — произнес он отчаянным голосом.

— ...*Ангелика!* — повторил знаменитый постоялец, оставаясь посреди комнаты. Очи его были неподвижны, поднятая рука тряслась.

— *Природа!* — продолжал он, — *ты глуха к воплям несчастного! Слезы мои пробили дикие камни и не смягчили тебя, чтоб отдать мою собственность!.. В степь обращу я вселенную, чтоб в беспредельных равнинах Ангелика не могла скрыться от взоров моих!.. Ангелика! Неужели в обширном свете есть место, которое в состоянии утаить тебя?..*

После некоторого молчания он ударил себя в грудь и продолжал голосом страдания:

— *Боже всевышний! Бесконечная борьба!.. Или не довольно мучений?.. Какая фурия омочила ядовитый кинжал в крови моей?.. В юдоли спокойствия, в ее объятиях, в минуту блаженства... он сам совершил свой приговор!.. Может быть, она предпочла суровому названию воина нежное имя пастуха! Своенравное божество любви! Лей в рану мою яд!.. Она не чувствует его более!.. Что ж медлю я! Иди, ищи ее, несчастный!..*

С этими словами он бросился в сторону.

— Тышэ, судэр! — вскричала еврейка шепелявым наречием, отскочив от испуганного постояльца. В руках ее был поднос, на котором внесла она засаленный чайник с чаем, другой с горячей водой, третий с молоком, блюдечко с четырьмя кусочками сахара и другое — с хлебом.

— А, Рифка! Теперь ты от меня не уйдешь! — вскричал знаменитый постоялец, сдавив в своих объятиях еврейку, едва только успевшую поставить поднос на стол.

— Дз! Тышэ, судэр! — вскричала еврейка, защищаясь от поцелуев, которые сыпались на лицо ее, и с трудом вырвавшись из рук постояльца.

Когда она выбежала из комнаты, неизвестный посмотрел пламенными очами вслед за ней; налил стакан чаю, выпил его почти залпом, прошел несколько шагов по комнате, снова остановился посреди комнаты, вскинул руки и закричал:

— *Проклятый! И ты не сбросил их в ад!.. Да, я все опустошу, что только носит на себе отпечаток постыдной любви!.. Погибните, нечистые тени, блжстители гнусных наслаждений и свидетели моего стыда!.. О! Будь дыхание мое подобно бурному вихрю!..*

Вслед за этими словами проклятия полились потоком; Рифка выбежала из кухни и приложила глаза и уши к скважине.

— *Солнце!* — продолжал неизвестный. — *Скройся, если ты когда-нибудь приблизишься к золотому пути своему в этой плачевной юдоли! Луна! Отврати луч небесного твоего света от постыдного места! Вечная ночь! Покрой собою это адское жилище! Смертоносный воздух! Растли приближающегося сюда странника!.. Лютые тигры! Селитесь здесь!..*

В это время наружные двери заскрипели, кто-то вошел в комнату. Неизвестный продолжал, но уже гораздо спокойнее:

— *Солнце торопится скрыться от этого ужаса! Смотри! Видишь ли добродетель в рубице, а порок в шелку? Видишь ли горлицу? Над ней вьется ястреб... он уже схватил, раздирает ее сердце, кипящее еще любовью...*

— Готово, судэр, — произнес стоявший в дверях. По голосу можно было догадаться, что это был фактор.

Деревянные часы, висевшие в углу, прокуковали шесть часов.

— Пора! — сказал неизвестный. Накнуув на себя плащ, он вышел вон; фактор провел его по коридору со свечой. На дворе было уже темно; подле ворот стояла маленькая польская бричка, запряженная в одну лошадь.

— На водку фактору, судэр!

— Убирайся к чорту! — отвечал неизвестный, вскочив в бричку.

Кучер, сидевший на козлах, хлопнул бичом по тощим ребрам клячи, фактор со свечой воротился в комнату; копыта застучали о твердую землю, бричка задрезжала.

Без помехи катилась бричка; вдруг, при спуске под горку, навстречу обоз.

Из ближайшего дома свет ударил на улицу.

— Овраг!.. — вскричал неизвестный. Слова его прервались, бричка опрокинулась, звезды на платье мелькнули, раздался стон и вдруг умолк. Только слышно было, как на гору тянулись волю, да слышен был свист погонщиков, да хлопанье бичей и *цобэ-цобэ!*

Обоз проехал. Все утихло. Жалостное «ох!» послышалось под горою; но вскоре снова раздался удар бича, снова копыта застучали, и бричка задрезжала вдалеке.

Глухой стон повторился подле освещенного дома, близ мостика через овраг.

ГЛАВА II

В день святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры к господину городничему стекались гости. По случаю именин почтенной своей супруги он устроил пир на весь мир.

У всех значительных особ города, знающих приличия большого света не менее Павла Афанасьевича Фамусова, этот день отмечен был в календаре; на чистеньком листочке против 10-го числа сентября стояли следующие слова: день ангела Нимфодоры Михайловны.

В этот день, в торжественный праздник, в соборной церкви служил обедню сам протопоп; а председатель и члены магистрата, судья и значительные чины записывали в журнале рано поутру: «По неполучению надлежащих сведений отложить рассмотрение дел до следующего заседания»; а почтмейстер и помощник его препоручали принимать и отправлять корреспонденцию дежурному почтальону; а городской лекарь давал необходимые наставления для исправления своей должности фельдшеру; а квартальные возлагали полицейские заботы на хозяев; и все, в полных мундирах, отправлялись на поздравление Нимфодоры Михайловны и супруга ее, потом к обедне, потом к обеденному столу именинницы.

Три гильдии городских купцов также помнили этот день;

препроводив раным-рано с приказчиками своими кулечки со всем, что только относилось до хозяйственной экономии Нимфодоры Михайловны, сами шли поздравлять именинницу около полудня.

На этот день брался из острога отличный повар, содержащийся в оном по уголовному преступлению около уже пяти лет и не отправляемый на каторгу то по случаю производящихся следствий, по его показаниям, в пятнадцати губерниях, то по случаю неотыскания еще сообщников его, рассеянных по всей Российской империи, то по случаю болезни и по разным законным причинам.

Обед был великолепен.

Какая кисть изобразит то единодушное удовольствие, коим все присутствующие за столом были исполнены. Тосты за здоровье Нимфодоры Михайловны с ее супругом и всем семейством были повторяемы с сердечным приятием чувств преданности, должного уважения к почтенному начальнику города и с пожеланием всякого блага и благополучия, 100 000 годового дохода и ста лет, да двадцать, да маленьких пятнадцать жизни. Вензловое имя почтенной именинницы, вылитое из леденца и опутанное сахарною паутиною, возвышалось посреди стола; подле стояли марципаны, варенья на тарелках, дыни и арбузы, груши и яблоки. Песельники пожарной команды пели *многие лета*.

Когда Нимфодора Михайловна принялась межевать слоенный круглый пирог, хозяин подрезал проволоку у бутылки шампанского, пробка ударила в потолок, упала на пол и, поднятая с земли по требованию судьи, знающего толк в винах, пошла по рукам гостей как диво; почтительно произнесло несколько голосов: «V. S. P. с звездочкой!», а когда напенились бокалы и раздались гостям, все привстали, залпом произнесли: «желаю здравия!», и потом, как беглый огонь, посыпались похвалы вину: «дивное вино! старое вино! очень старое вино! цельное вино! вино без подмеси! царское вино!» Когда разнесли десерт, сопровождаемый ратафией, пьяной водицей и вишневкой, когда гости стали тучны и злы, хозяйка встала с места, стулья двинулись, загремели, все приложились к ручке хозяйки и вошли в гостиную.

Дамы засели на диване около круглого стола, на котором стоял новый десерт: вологодская пастила, разных сортов орехи, фрукты, варенные в сахаре. Мужчины чиновные засели по сторонам и занялись чищением зубов и нюханием табака; прочие, люди подчиненные, толпились по сторонкам, перешептываясь или рассматривая богатое украшение комнаты: московские обои с изображением пастушки в фижмах и пастуха в штанах, играющего на дудке; мебель, обитую зеленым сафьяном; картинки,

производства Логинова, в золотых узеньких рамках, изображающие историю Женевьевы, Поля и Виргинии, блудного сына и искаженные черты царей и полководцев, с подписью и стихами в честь их.

— Вообразите-с! — сказал почтмейстер, взяв вилкою кусок пастилы, — во Франции, в Париже-с, бывает *завтрак на вилках*.

— Возможно ли! Каким же это образом? — вскричало несколько голосов.

— Не знаю-с; а могу представить доказательство, книгу г. Коцебу, *о воспоминаниях в Париже*; г-н Коцебу достоверен-с, не солжет.

— Да это, верно, просто выражение, — сказала важно хозяйка дома. — Точно такое же выражение, как у нас говорят: *сидеть на иголках*.

— Должно быть так-с! — подтвердил председатель магистрата.

— Что город, то норов, что деревня, то обычай! — произнес протопоп, поправив свою бороду.

— Действительно-с! — сказал семинарист, учитель городской школы. — Цицерон сказал: *communem consociationem colere, tueri, servare debemus*, то есть мы должны служить обычаям...

— Точно так-с! — прервал его почтмейстер. — Однакоже у г. Коцебу в статье о коврах сказано, что *показывающий Цицерон сам понимает мало*.

— Помилуйте, — сказал, ужаснувшись, учитель, — Цицерон оратор римский!

— Что ж, сударь, — отвечал почтмейстер, — он мог путешествовать и заехать в Париж. Я бы сам с любопытством взглянул на город, в котором даже весь мастеровой народ рыцари и носят щиты с девизами.

— Как это так-с? — вскричали все.

— Извольте прочитать г. Коцебу о Париже, — отвечал важно почтмейстер. — Да-с, — промолвил он и продолжал: — Но уж какая развратительная философия во Франции! Вообразите себе: сам Наполеон Бонапарте сказал господину Коцебу вольтеровское правило: *что все люди добры, исключая человека скучного*.¹ Как вы думаете об этом: все люди добры, исключая человека скучного!

— Ужасно! — вскричали гости. — Все люди добры, исключая человека скучного! Следовательно, разбойник, тать добры, потому что они не скучны.

¹ Это русский перевод слов: *tous les genres sont bons, excepté le genre ennuyeux* [точный перевод: все жанры хороши, кроме скучного].

— Ужасно! — повторили все, и общее удивление было прервано предложением одной из девушек сыграть на клавикордах.

— Право, все перезабыла, Нимфодора Михайловна.

— Сделайте одолжение, сударыня, потешьте моих гостей, — сказал городничий.

Все гости также обратились с покорнейшею просьбою к виртуозке.

— Право, я все перезабыла! — повторила она.

— Ну, ну, ну, Софья! Я не люблю манеров! Учат не на то, чтоб забывать! — вскричала мать девушки. И Софья, надувшись, села за клавикорды. Клавиши застукали, струны зазвенели; педаль, приделанная для маршей и турецкой музыки, забила в деку, как тулумбас, клавикорды закачались на складных ножках.

Все гости обступили виртуозку и дивились искусству игры; но удивление многих увеличилось донельзя, когда правая рука Софьи, перескочив через левую, заиграла на басах.

— Это, верно, французская вариация! — вскричал председатель.

— Точно так-с, — отвечала Софья с самодовольствием, — это французская кадрили.

— Я отгадал! — продолжал председатель. — У них все навыворот. Ну зачем бы, кажется, играть правой рукой вместо левой, а левой вместо правой?

— Софья! — сказала строгим материнским голосом мать Софьи. — Я не раз тебе говорила: играй просто вариацию, не перекидывая руки! Что за глупая манера! Как будто нельзя играть добрым порядком!

Софья порывисто встала из-за клавикорд и вышла в другую комнату.

Ее мать почла неприличным, что она не дождалась похвалы и благодарности за игру, последовала за ней журить, бранить наедине, учить дочь свою приличиям общества.

Между тем мужчины засели за несколько столов играть в бостон, а хозяйка с своими гостями около десерта.

Прошло шесть часов. Ломберные столы были уставлены уже ремизами, а синяя салфетка десертного стола покрылась скорлупой.

— Господа! — вскричал городничий, — пора в театр, ремизы разыграем после.

— Пора, пора, — повторили все дамы. — У вас есть афишка? Говорят, что актеры бесподобные.

— Как же-с, антрепренер представил мне список актерам. Играть будут пьесы отличные, по моему назначению, драму «До-

бродетельная преступница, или преступник от любви» в трех действиях, и комедию в пяти действиях *«Неистовый Роланд»*.

— Как это интересно! Пора, пора! — повторяли дамы, собираясь и с нетерпением ожидая у подъезда дрожжек.

Бостонисты сложили ремизы, разыграли, рассчитались, схватились за шапки, второпях выигравший забыл заплатить за карты; и вот, пешком и на дрожках, все двинулись в театр.

ГЛАВА III

Город, в котором случилось описываемое происшествие, лежал на берегу роскошного Днепра и разделялся глубокою ложиною. Главная часть города была на горе и украшалась широкою площадью, ограничиваемою корчмами, костелом, соборною церковью и деревянным театром с лубочной кровлей. Другая часть города, носившая название *за мостом*, не имела в себе никаких замечательных зданий и украшений, кроме городских бань, пивоварни и живодерни, на которой выделялись самые лучшие собачьи меха. Третья часть, *под горой*, населена была израильтянами и украшалась деревянной школой, обросшей мохом и стоявшей посреди лачуг и непроходимой грязи; весь же город славился красотой евреек; Голды, Рифки, Рохли, Лейки, Ганзы и Пейзы, в красных тюрбанах, в *мушках*, с рассыпанными волосами по плечам, владычествовали над походными сердцами.

В этот же город приехала труппа актеров, и г. антрепренер, заплатив полиции положенный штраф за намерение играть трагедии, комедии, оперы, драмы и мелодрамы, к удовольствию городской публики, получил дозволение воспользоваться театром, который поступил в городскую собственность также от одной походной труппы актеров, изгнанной из города за то, что осмелилась, по болезни некоторых из действующих лиц, отложить спектакль до другого дня.

Приехавшая труппа актеров принадлежала уже не к тому времени, когда публику сзывали в театр бубнами и литаврами, когда без предуведомления о достоинстве пьесы и без испрошения снисходительного воззрения на игру актер не смел ступить на сцену, а публика без предварительного экстракта или объяснения пьесы, изложенного в прологе, не понимала смысла; но она принадлежала к той эпохе, когда порок и добродетель не смели соединяться в одном и том же действующем лице, но боролись отдельно, боролись друг с другом, а не с душою человеческою.

Настало роковое время — 6 часов пополудни; театр осветился площадками. Четыре еврея с скрышкой, виолончелью, цимбалами и треугольником засели перед сценой. Занавес, с изображением Аполлона и девяти муз, покрытых вохроу и суриком, волнуется уже от сквозного ветра. Все действующие лица уже готовы для представления драмы, только недостает еще маркиза Лафаста, *преступника от любви*, главного лица. Французский король, в черном фраке, в лентах и звездах, в тафтяной мантии, усеянной блестками и мишурой, ходит с досадою по сцене, распоряжается за кулисами, твердит в тетрадке роль свою и у всех спрашивает, пришел ли Зарецкий?

Софья, *добродетельная преступница*, также заботится об нем.

Публика наполняет уже театр. Приехал и городничий с своим семейством. Музыка загрела мазурку... а маркиза Лафаста нет.

— Чорт! — восклицает в отчаянии король.

— Боже! — восклицает Софья.

— Я сгоню его, не будь я антрепренер! — восклицает король.

— Посмотрю, как сгоните! И я отойду прочь! — восклицает Софья.

— Что ж мне делать? Что мы будем делать без него? — восклицает король.

— Подождут! Велика беда, — восклицает Софья.

— Как подождут?

— Да так же; и в столицах ждут, не только что в поганом городишке!

Ждут; а маркиза Лафаста нет как нет.

Музыканты проиграли все мазурки и польские, принялись снова за *мазуречку панну*.

Публика, по примеру супруги городничего, бьет в ладоши, стучит ногами; а городничий послал за кулисы хожалого с приказанием начинать.

— Чорт! Что нам делать? — вскричал снова король. — Нет, вон, долой с театра!

— Посмотрим! — повторила опять Софья. — А я сейчас же долой с себя костюм!

— Что ж нам делать без него? Мы погибли! Как объявить публике? Да я и в тюрьме места себе не найду!

Хлопанье и стук повторились сильнее прежнего; хожалый явился снова с приказанием поднимать занавес.

— Чорт! — вскричал король с отчаянием: — поднимай занавес! Луйдор, выходи; выкидывай все явления, где маркиз Лафаст! Начинай с 3-го явления!

Занавесь поднялась.

• — *Что я слышал?.. Что видел?* — вскричал страшным голосом актер, игравший роль Луйдора, выбежав на сцену.

И вся публика захлопала; и драма играется без главного действующего лица, идет прекрасно, принимает новый смысл, носит на себе первообраз новой драматической школы.

И публика довольна. Публика в испуглении от игры Софьи, *добродетельной преступницы*. «Фора, фора!» — кричат ей после всякого монолога, и бедная Софья должна выходить снова, повторять монологи в несколько страниц.

А Зарецкого нет как нет; во второй пьесе он должен играть *неистового Роланда*; ждут — не является.

И снова король, но уже Карл Великий, обнадеженный успехом драмы, решается начинать и «Неистового Роланда» без неистового Роланда.

— Где же неистовый Роланд? — спрашивают друг у друга зрители в половине пьесы, и городничий посылает за кулисы спросить: где же неистовый Роланд?

— Неистовый Роланд?.. В отсутствии, — отвечает содержатель театра, сняв корону пред полицейским чиновником, присланным от городничего.

— Как в отсутствии?

— В отсутствии-с; но он прибудет к заключению пьесы.

И этот ответ удовлетворяет публику; все с нетерпением ждут заключения; Софья является уже Ангеликой, Луйдор китайским рыцарем; являются волшебник, пастух... и никому не хлопают, ждут Роланда.

Карл Великий слышит ропот публики.

— Я погиб! — говорит он, сбросив с себя королевскую порфиру и корону...

Вдруг раздается на дворе шум.

— Что там такое? — спрашивает городничий.

— Не здесь ли господин лекарь? — раздался снаружи голос.

— Что там такое? — повторил грозно городничий.

И все полицейские, находившиеся в театре, бросились вон узнать причину шума. Сквозь толпу их продрался слуга лекаря.

Его схватили за ворот.

— Что тебе, мошенник?

— Осипа Ивановича требует какой-то-с генерал, что оставился у господина казначея, — отвечал, запыхавшись, слуга.

В то же время к городничему подбежал писарь полиции.

— Ваше высокоблагородие! — сказал он ему шопотом. — Кажись, что новый генерал-губернатор приехал!

— Неужели! — промолвил городничий, смутясь. — Ах ты несчастье! Как обманули! А мы ожидали его недели через две! Да точно ли генерал-губернатор?

— Точно, ваше высокоблагородие: только что приехал, потребовал к себе городского; вишь, не очень здоров с дороги.

Городничий, не говоря ни слова, бросился вон из театра.

— Губернатор, губернатор! — раздалось шопотом между публикою. При этом имени все чиновные служащие люди встали с своих мест, засуетились, забыли пьесу, заходили между стульями, пробираясь вон.

— Виноват, почтеннейшая публика! — произнес вдруг жалким, умоляющим голосом содержатель театра, выбежав с отчаянным лицом на сцену. — Прошу милости и прощения! Я не причиной тому, что мой актер пропал!..

В общем шуме сборов, стучанья дверями никто не расслышал слов антрепренера, вообразившего, что публика, наконец, догадалась, что неистового Роланда нет на сцене.

Все приняли его самого за неистового Роланда, который должен был явиться к заключению пьесы, и, выходя из театра, хлопали и кричали «фора!» Антрепренер повторил извинение; занавесь опустилась.

ГЛАВА IV

«Генерал-губернатор! Генерал-губернатор!» — раздавалось в толпе, выходящей из театра. «Генерал-губернатор!» — неслось по улицам города; и служебный народ возвратился домой с мыслью: *генерал-губернатор!*, около которой образовалась сфера идей об ответственности за беспорядок и неисправность.

Городовой лекарь также пришел в ужас. Он никак не воображал, что генерал-губернатор может иметь нужду в уездном лекаре: не лечиться ездит он по губернии, а взыскивать за нерадение по службе.

Вследствие этой мысли городской лекарь торопится домой, чтоб сбросить фрак, надеть мундир, вооружиться шпагою; и между тем посылает за своим помощником, ждет его с нетерпением, бранит за медленность, приказывает составить списком больным городской больницы, с трепетом едет в дом казначея, входит в переднюю и, отирая пот на лице, спрашивает у слуги: дома ли его высокопревосходительство?

Его вводят в залу. Казначей с женою и двумя дочерьми встречают его, чуть дотрагиваясь до полу, и шопотом рассказывают ужасное событие, как его высокопревосходительство разбила лошади, как выпал его высокопревосходительство из экипажа, к счастью подле их дома; рассказывают, что его высокопревосходительство весь разбит и лежит без памяти на

диване в гостиной, и просят войти туда осмотреть раны его высокопревосходительства.

— Как же это можно! — говорит лекарь. — Войти без особенного на то приказания его превосходительства! Не лучше ли подождать, когда он очувствуется и потребует медика?

— Помилуйте, Осип Иванович; что вы изволите говорить? Его высокопревосходительству нужна неотлагаемая медицинская помощь, потому что вся голова его от сильного удара при падении приведена в окровавленное состояние.

Лекарь убедился словами казначея; поправив мундир и шпагу и взяв в правую руку треугольную шляпу, он вошел в гостиную.

На диване лежал средних лет мужчина с окровавленным лицом, с огромной посиневшей шишкой на лбу, в куртке, на котором сияли три звезды.

— Пощупайте у его высокопревосходительства пульс, Осип Иванович, — сказал тихо казначей.

Лекарь пощупал пульс и пришел в себя, потому что его высокопревосходительство действительно был без памяти.

— Что скажете?

Осип Иванович покачал головою.

— Не нужно ли пустить кровь?

— Да, нужно бы! Его высокопревосходительство без памяти. Нехудо бы послать за фельдшером.

— Помогите, почтеннейший Осип Иванович! Вы представьте себе, что его высокопревосходительство будет почитать вас и меня своими спасителями. Если б не я, действительно он погиб бы, изошел бы весь кровью. Надо же быть такому счастью: еду в театр, выезжаю из ворот, слышу стук экипажа и вдали крик, а под ногами слышу стон. Что это значит, думаю себе. Стой! Слезаю с дрожек, гляжу, — что же? Его высокопревосходительство у мостика лежит в канаве, весь разбит, как видите. Экипаж, верно, опрокинулся, лошади понесли под гору и, верно, прямо в Днепр...

— Необыкновенное счастье, — подхватила жена казначея, — что коляска во-время опрокинулась, иначе и его высокопревосходительству быть бы в Днепре.

— Помогите скорее, Осип Иванович, — прервал казначей, — за спасение жизни он возьмет нас под свое покровительство.

— Употреблю все искусство. Мы пустим ему кровь... Послали за фельдшером?

— Послали, послали! — отвечала жена казначея и две ее дочери.

Лекарь подошел к больному.

— Голова вся разбита!.. Боюсь, не потревожился ли мозг, — прибавил он важно.

Фельдшер пришел. Руку больного освободили из рукава, натянули, перевязали выше локтя; жила напряжилась, ланцет щелкнул, кровь брызнула в потолок.

— *Несчастный!* — вскричал больной, отдернув руку. — *Дай обойму тебе!.. Будем сражаться с смертью!..*

— Боже, он умирает! — вскричали все женщины и выбежали вон.

— Что? Нет надежды, Осип Иванович?

— Посмотрим! Помогите держать руку его высокопревосходительства, — отвечал лекарь, и при помощи казначей и фельдшера снова натянули руку больного, и снова ланцет стукнул, а кровь брызнула струей.

— *Смертельный удар!* — вскричал больной в беспамятстве. Лекарь отскочил со страхом.

— Боже, что вы сделали! — произнес казначей.

— *Гление обьяло все мои члены!..* — продолжал беспамятный, вскинув руку, из которой лилась кровь. — *Пожирающее время губит память мою! Земля разверзается! Стой!.. Обрушим с собою землю! Она дрожит!.. Прочь!..*

Судорожная дрожь обняла больного; долго продолжал он бредить; но слова его заглушались стуком зубов. Наконец умолк, впал в совершенное бесчувствие.

— Есть ли надежда, Осип Иванович? — спросил казначей.

— Увидим, что скажет ночь, — отвечал лекарь.

Целую ночь лекарь и казначей провели в дремоте подле больного. Под утро он пошевелился; глубокий вздох вылетел из груди.

— Слава богу, будет жить! — вскричал лекарь.

— *Жить!* — повторил больной.

— Он приходит в чувство! — сказал, перекрестясь, казначей.

— *Мне говорит мой государь, мой друг... верю... остаюсь жить...* — произнес больной и продолжал что-то невнятно.

— Слышите? Друг государя! Его высокопревосходительство прямо из столицы! — прошептал казначей на ухо лекарю.

Больной снова заговорил что-то невнятно и потом продолжал:

— *Знаю, государь... я... все благополучие полагаю в том, чтоб делать людей счастливыми... а теперь... ах, как я несчастлив!..*

— Успокойтесь, ваше высокопревосходительство! Осип Иванович поможет вам; а у меня в доме вы изволите быть как у себя в доме...

— Тс! — прервал лекарь слова казначей. — Не говорите теперь с его высокопревосходительством; он еще не пришел

в себя, оставьте его; он, кажется, заснул. Я, между тем, схожу домой отдохнуть и приготовить необходимую микстуру из хины; о, это новое вернейшее средство от всех болезней: все роды лихорадок как рукой снимает, а всякая болезнь есть не что иное, как лихорадка. Вы сами видите пример над его высокопревосходительством. Ушиб сам по себе есть не что иное, как наружное воспаление; а как ужасно его трясло; стоит только прекратить внутреннюю дрожь, и все кончено.

И лекарь отправился домой; но у ворот столкнулся он с городничим во всей форме, который торопился представляться генерал-губернатору.

— А! Осип Иванович!

— Куда вы?

— К его высокопревосходительству, донести о благосостоянии города.

— Невозможно! — вскричал лекарь. — Не может принять; он только что стал приходить в себя; лошади разбили его жестоким образом; но я принял все необходимые меры.

— Какие, сударь, меры с вашей стороны? Как начальник города я должен принимать все меры и первый явиться к его высокопревосходительству для получения приказаний!

— Как вам угодно, господин городничий: я не буду виноват, если его высокопревосходительство не выздоровеет! — отвечал лекарь.

Городничий вошел в переднюю. Казначей вышел к нему на цыпочках.

— Тс! Его высокопревосходительство уснул.

— Я удивляюсь, господин казначей, — сказал городничий строгим тоном, — каким образом вы осмелились предложить его высокопревосходительству дом свой и вмешиваться в распоряжения полиции!

— Помилуйте, — отвечал казначей, — его высокопревосходительство в глазах моих разнесли лошади, и я поднял его подле моего дома всего разбитого, без памяти...

— Тем хуже, сударь! Без ведома полиции вы не смели поднять на улице человека беспамятного, и тем более внести в свой дом! Мое дело было исследовать, кто такой лежит на улице в бесчувственном состоянии, и, узнав, что генерал-губернатор, отвести ему приличную квартиру, а не лачужку, сударь!.. Это происки, государь мой! Вы подкапываетесь под свое начальство; вы человек беспоконный, вы не знаете подчиненности! Генерал-губернатор у вас в доме, а вы смеее быть в халате! Я донесу, сударь, на вас! Ей, жожалый! Как только его превосходительство проснется, донести немедленно мне!

Городничий скорыми шагами вышел из передней, отправился в полицию приводить все в порядок.

Казначей в самом деле испугался слов городничего и раскаивался, что вмешался не в свое дело.

Казначей был добрый человек, ученый человек; был большой антикварий по части законов, и это повредило ему, перессорило со всеми.

Он читал «Правду русскую», устав святого князя Володимера, судебник царя Ивана Васильевича и знал, что чин казначейский издревле был важный чин, что некогда главною должностью казначея было хранить государево платье и оберегать оное от волшебства и чародейства.

С городничим поссорился он за то, что сказал ему, что искони городовые воеводства, то есть городничества, давались вместо жалованья и кормления из милости, для нажитка, и что в челобитных о воеводствах писали: *прошу отпустить покормиться*; и что воеводы *судили прежде вместе с старостами и целовальниками*.

Последнее было принято городничим за смертельную обиду. Он почел это за упреки в нетрезвости; ибо казначей не потрудился ему объяснить древнего значения слова *целовальник*.

С стряпчим городского магистрата казначей поссорился за то, что, объясняя ему старинную должность стряпчего: одевать, обувать, омыwać и чесать государя и, за неизмением карманов, носить носовой царский платок, осмелился прибавить: *что стряпчие прежде были под началом у ключников*.

С своим начальником казначей жил в худом ладу за то, что не ставил в книгу расхода сумм, издержанных им не на казенные потребности.

Таким образом казначей, не предвидя добра быть бельмом на глазу у своих начальников и сослуживцев, хотел просить его высокопревосходительство о переводе его в другой город.

ГЛАВА V

Между тем колодник, занимавший место писаря в полиции, отведен в острог; шкаф, наполненный вместо дел, валявшихся на столе и под столом, остатками ужина, куском жареной говядины, раскрошенным хлебом и бутылкою с чем-то, очищен; неприспавшаяся команда поставлена на ноги; письмоводитель с синим носом после нескольких начальнических тычков сел составлять рапорт о благосостоянии города и список колодников, содержащихся в остроге; часть полицейской команды побежала ловить по городу подводы и рабочих людей для чистения улиц.

Из магистрата и прочих судебных мест также вынесена не принадлежащая к производству тяжёбных, уголовных и письменных дел посуда и утварь. Судьи принялись повторять зады, составлять задним числом журналы и подводить итоги в шнурованных книгах.

Когда дошло известие о прибытии в город генерал-губернатора до командира гарнизонного округа, до подполковника Адама Ивановича, сердце старика обдалось ужасом.

Гарнизонный солдатик стоял в почтительном положении, руки по швам, близ дверей и в молчании ожидал начальничьего приказания.

— Уж не приехал ли с ним и наш генерал? — произнес наконец окружной командир.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие! Полицейский посыльный того не говорил; може, приехал, а може, и нет!

— Был ты у Ивана Ивановича?

— Был, да его благородия нет в квартире!

— Боже мой! Нет в квартире! Что ж я буду делать!.. Беги, ищи его, скажи, что окружной командир приказал просить его к себе! — вскричал, расходясь по комнате, Адам Иванович.

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

И гарнизонный солдатик, приложив левую руку к тесаку, поворотил налево кругом, притопнул правую ногою и отправился было вон; но окружная командирша, прибывшая из гостей, столкнулась с ним в дверях и остановила левую его ногу, подъятую для скорого марша, следующим вопросом:

— Зачем ты здесь? А?

— К его высокоблагородию! — отвечал солдатик, вытянувшись во фронт.

— От кого?

— Из полиции. Его превосходительство приехал, губернатор.

— Губернатор? Ах, боже мой! Что ж ты, Адам Иванович, задумался? А? Ведь ты командир! Твое бы дело собрать команду да представить!

— А вот, мой друг, придет Иван Иванович; распоряжения должны итти по команде.

— Без Ивана Ивановича и дело не обойдется! — вскричала окружная командирша. — То-то разиня начальник! Подчиненный что хочет, то и делает! Сел тебе Иван Иванович на шею! Без Ивана Ивановича солдат из кухни начальника лохани не смей вынести, не только что-нибудь на хуторе сработать! Что ж, сударь... что не бежишь сам к Ивану Ивановичу? Посмотрю, как-то ты натянешь свой изношенный мунди-

ришко? В двадцать лет службы не выгадал, ни жене, ни себе на порядочное платье!..

Окружная командирша не умолкала до самого прибытия Ивана Ивановича.

Иван Иванович, лихой поручик лет сорока от роду, в бледно-зеленом мундире, с парюю свешивавшихся на грудь желтых, с кованым почерневшим ободочком, эполет, вошел в комнату; огромная шпага его, как палаш, стучала об ноги и об пол; в треугольной его шляпе торчала репица бывшего черного пера; левый глаз его щурился, левая часть рта подергивалась, бакенбарды отвисли, как мохнатые уши легавого пса; лоб морщился.

— Что изволите приказать? — произнес он, воткнув указательный палец правой руки между 3-й и 4-й пуговицей.

— Ах, любезный Иван Иванович! Вы слышали, что приехал генерал-губернатор? Должно сделать надлежащее распоряжение и отдать приказ по команде.

— Действительно-с так, потому что по случаю прибытия его высокопревосходительства команда имеет быть собрана во всей амуниции и в предписанном порядке представлена для инспекторского смотра, который имеет быть учинен. А также по случаю прибытия его высокопревосходительства имеет быть назначен почетный караул к занимаемому его высокопревосходительством дому.

— Так, так, Иван Иванович; следовательно, вы назначите караул.

— Да не благоугодно ли будет представить рапорт о благосостоянии команды, о числе постов и больных?

— Так, так, Иван Иванович, конечно, мне должно представить рапорт о благосостоянии вверенной мне команды.

— Кстати, Адам Иванович, вы бы изволили представить его высокопревосходительству, что городничий осмеливается распорядиться гарнизонной командой мимо начальника и брать без вашего ведома солдат на съезжую.

— Да, да, Иван Иванович, справедливо; в следующий проезд его высокопревосходительства я донесу обо всех злоупотреблениях полиции, а на сей раз мы подадим только рапорт о благосостоянии команды...

— Как вам угодно, а я бы в глаза сказал городничему: как он осмеливается делать такие вещи!..

— Я скажу ему, скажу! Он не смеет этого делать! — сказал Адам Иванович, заходя в комнату.

— Так как же? Прикажете завтра поутру собрать команду на площадь?

— Да, да, непременно на площадь, во всей амуниции.

— Пойду в пакгауз да велю почиститься да побелиться.

— Хорошо, хорошо, Иван Иванович, прикажите, чтоб все было в надлежащей исправности и чистоте.

Поручик отправился, а господин окружной командир, довольный своими распоряжениями, набил наследственную пенковую трубку кнастером и стал раскладывать гранпасьянс.

ГЛАВА VI

Настало утро. Поручик Иван Иванович, перетянутый нитяным шарфом, ходит с обнаженной шпагой по фронту гарнизонных солдатиков, равняет линию и ожидает окружного гарнизонного командира.

Сопровождаемый вестовым, является, наконец, Адам Иванович в огромных ботфортах со шпорами, в лосинных панталонах, заменяющих белые суконные, в бледнозеленом мундире с дутыми пуговицами и с желтым стоячим воротником, который от времени сделался откладным, в треугольной шляпе, опрокинувшейся назад; перетянутый трехцветным шарфом, как будто для поддержания живота, Адам Иванович походил на Карла XII.

— Здорово, ребята! — вскричал он, подходя к фронту.

— Здравия желаем! — крикнули солдатiki.

— Прикажете сделать репетицию? — сказал поручик, подошед к нему и приложив руку к шляпе.

— Репетицию, репетицию! — отвечал важно окружной гарнизонный командир.

— Смирно!.. Смотри же, ребята, не робеть! Делать, что скамандует Адам Иванович! — сказал поручик, обращаясь к фронту.

— Извольте командовать, Иван Иванович!

— Что прикажете? — отвечал поручик, приложив руку к шляпе.

— Извольте командовать... по принадлежности.

— Слушаюсь! — отвечал поручик. — Смотри же, ребята, не робеть; делать, что я буду командовать! — вскричал он, обратясь к команде.

И поручик встал уже перед фронтом, вложил шпагу в ножны, вытянул, откашлянул, разинул рот.

— Слу-у-у...

— Помилуйте! Адам Иванович! — прервал его звонкий голос городничего, скакавшего по городу для восстановления порядка и остановившегося перед фронтом подле окружного командира. — Помилуйте, вы по сие время не назначили

караула к его высокопревосходительству, не отправили даже вестовых и ординарцев!

— Я свое дело очень знаю! — отвечал сердито Адам Иванович вслед за удаляющимся городничим. — Иван Иванович, извольте назначить караул, вестовых и ординарцев к его высокопревосходительству.

— Ребята, кому следует на караул? Выходи! — скомандовал поручик.

И солдаты завели спор, кому следует идти в караул.

— Не прикажете ли, Адам Иванович, оставить две будки к воротам его высокопревосходительства?

— Непременно, непременно! Да не забудьте назначить двух часовых к экипажу его высокопревосходительства.

— Слушаюсь! — отвечал поручик. Адам Иванович отправился, сопровождаемый вестовыми, к его высокопревосходительству.

Между тем все чиновные и служебные люди города, члены купечества и городской голова нахлынули в дом казначея и на дыпочках вошли в маленькую залу. В мундирах, с подобострастной важностью на лицах, построились они по старшинству у дверей комнаты, держась левою рукою за шпаги, а тремя пальцами правой придерживая по форме треугольные шляпы.

Наблюдая почтительное молчание, они смотрели на притворенные двери гостиной.

Приемная зала есть также сфера солнечного мира, в которой носятся планеты разной величины и свойства. Быстрый и яркий меркурий носится из кабинета в приемную, из приемной в кабинет, крутится бесом около солнца, важен чужим светом; чиновный юпитер, по уши в шитом воротнике, с четырьмя своими спутниками, расставив ноги, глядит на всех свысока; заслуженный лысый сатурн, приобретший за долговременную службу и понесенные труды светлый ореол, сидит молчаливо и важно в углу залы; холодный уран, с синим носом, угрюм и мрачен, стоит в другом углу; он в немилости у солнца, на него никто не смотрит, никто не видит его, кроме наблюдательных астрономов и семи жалких подчиненных. Марс, в красном воротнике, заложив палец за мундирную пуговицу, надут и рдян, стоит, вытянув неподвижную шею и передвигая вправо и влево зрачки, готовые всегда стать во фронт перед ясными очами начальника. Все прочие малой величины планеты и спутники, как неподвижные звезды, рассыпаны по зале, стоят в почтительном положении, посматривая на восток, ждут солнца. Люцифер повещает его... Взойдет оно, и важность планет исчезает, их не видно, в зале как будто никого нет, кроме солнца.

В зале казначея вся эта процессия была проще, провинциальнее.

Но вот дверь в гостиную отворилась, все вздрогнули, вытянулись...

Вышел казначей.

— Тс! — произнес он тихо. — Его высокопревосходительство *не могут* принимать теперь, *они* уснули.

Все на цыпочках подошли к казначею, обступили его, осыпали вопросами; но его начальник, председатель магистрата, имеющий полное право на его особу, воспользовался этим правом, взял своего подчиненного за руку и отвел в сторону для допросов.

— *Боже мой!* — раздался громкий голос из гостиной. Председатель отскочил от казначея, рассыпавшийся фронт чиновников построился снова, казначей бросился в гостиную. Подле постели стоял лекарь с ложкой микстуры, которую он хотел влить в рот больного.

— *Она совсем почти лишила меня рассудка и вольности, похищает то время, которое я обязан посвящать должности, возложенной государем и отечеством!*.. — произнес больной и продолжал что-то невнятно; и вдруг, взбросив голову, вскочив с места, вскричал: — *Что я вижу? Это дом Софии? Это храм, где обитает божество души моей!*..

Лекарь взглянул на казначея; казначей весь вспыхнул; «Не понимаю, — подумал он, — когда его высокопревосходительство был у нас и видел дочь мою!»

Городничий, услышав голос его высокопревосходительства, не утерпел. «Я начальник города, я должен явиться к генерал-губернатору, да и что ж за такая особа казначей, что смеет входить к его высокопревосходительству без доклада!» — думал он и вошел в гостиную.

Больной бросил на него взор и вскричал:

— *Кто ты, дерзкий?*

— Ваше высокопревосходительство!.. Я... городничий... честь имею.

— *Кто осмелился лишить меня первого в жизни удовольствия? Говори!* — продолжал больной грозным голосом.

— Не могу знать, ваше высокопревосходительство!.. Я не был предуведомлен о вашем приезде... У меня и квартира готова для вашего высокопревосходительства... постоянно шесть лет исполняю я должность свою с рачительностью...

Во время слов городничего казначей и лекарь стояли в почтительном положении, вперив очи в землю; а больной продолжал что-то говорить про себя и вдруг произнес вслух, прервав слова городничего:

— *Что ж ты мне скажешь?*

— При сем имею честь представить рапорт о благосостоянии вверенной мне должности...

Слова его прервал окружной гарнизонный командир. Вступив в комнату в кивере, он мерными шагами подошел к дивану, приложил руку к козырьку и произнес громко:

— Вашему высокопревосходительству честь имею...

— *Сделайте милость, оставьте меня!* — вскричал больной умоляющим голосом.

Адам Иванович отступил, замолк, затрясся.

— *Неужели все против меня? Неужели все согласилось на мою погибель? Погибель! Нет!..* — и с этими словами, кинув грозный взор и сбросив с головы повязку, продолжал скороговоркою бессвязные слова.

Городничий, Адам Иванович, казначей и лекарь молчали, не смея поднять глаз.

— *Что это значит!* — продолжал опять больной явственно. — *Все за мной ходят и не хотят ни на час меня одного оставить!..*

Городничий, Адам Иванович, казначей и лекарь, исполняя волю его высокопревосходительства, вышли из комнаты; а он продолжал говорить что-то громко, с сердцем.

— Пойдемте, господа, — сказал городничий, — его высокопревосходительство предупрежден против нас. Это каверзы господина казначея.

— Напрасно изволите говорить, напрасно! — повторял казначей вслед за уходящими.

ГЛАВА VII

В спальне казначея был ужасный спор между ним и его женою.

— Полно, сударь! Ты думаешь только о своей дочери, а мою ты готов на кухню отправить, сбить с рук, выдать замуж хоть за хожалого. Я своими ушами слышала, как он произнес имя Ангелики.

— Помилуй, душенька, я могу тебе представить в свидетели Осипа Ивановича. Как теперь слышу слова его высокопревосходительства: «это дом моей Софии, моей дражайшей Софии!»

— Ах ты, этакий! Так ты и последний домишко хочешь отдать в приданое своей возлюбленной Софии!.. Нет, сударь, этому не бывать!..

— Прямая ты мачеха! Бог с тобой! По мне все равно: и Ангелика моя дочь; впрочем, кто тебя знает...

С сердцем казначей вышел из комнаты, не кончив речи.

— Лысый чорт! Сам в себе *сумлевается!* — проворчала казначейша и кликнула Ангелику.

— Принарядилась? Вот так! Хорошо; косыночку-то попусти немного на плечики. Ну, ступай; скажи, что я, дескать, лекарства хочу дать вашему высокопревосходительству.

Вятской породы, рябенкая, одутловатенькая Ангелика, получив наставления от матери, вошла в комнату больного.

Он лежал в забывчивости, глаза его были устремлены в потолок. Ангелика стукнула склянкой.

Больной оглянулся, привстал и произнес, устремив на нее взоры:

— *Пойду к ней... да не подозрительно ли?.. Нет!.. Смеею спросить, сударыня, о чем вы изволите беспокоиться?*

— Лекарство вашему высокопревосходительству...

— *Да вы на кого-то жаловались?*

Ангелика вспыхнула. «Боже! — думала она, — он слышал, как я жаловалась на Софью матушке».

— Никак нет-с, я не жаловалась; у меня нет ни на кого сердца.

— *Если угодно, я могу служить вам своим.*

— Я не стою, ваше высокопревосходительство...

— *Любовь!* — вскричал он, отворотив голову в сторону. — *Теперь вспомоществуй мне!* — и, обратясь к Ангелике, продолжал: — *Ах, сударыня, вы не откажете мне в вашей услуге!..*

— Что вам угодно приказать?

— *Открою вам тайну, меня угнетающую... ужасаюсь!.. Я б хотел открыть вам мое сердце, но язык не повинуется моему желанию...*

— Если вы мне сделаете честь... мое состояние...

— *Не в моей воле открыть вам причину моего беспокойства... Оно началось в тот самый день, как в этом доме было печальное происшествие...*

«Когда умерла бабушка, меня здесь не было; я с матушкой была на ярмарке; только сестра оставалась», — подумала Ангелика и вспыхнула.

— *Я видел божество, которого прелести ввергли меня в это бедствие.*

— Я не знаю-с! — отвечала с сердцем Ангелика, — может быть, моя сестра Софья...

— *По крайней мере в вашей воле дать случай в последний раз на нее взглянуть!* — сказал больной, смотря на нее неподвижными глазами.

— Извините-с! — произнесла, вспыхнув, Ангелика и, присев с презрительной улыбкой, выбежала из комнаты...

— Это ужас! — вскричала она, хлопнув дверью. — Он требует, чтоб я дала случай видеться ему с Софией.

— Видишь ли, мой друг? — сказал казначей, входя в комнату. — Не я ли тебе говорил?

— Очень рада, сударь, что свел дочку свою с вельможей; она годна на все руки! — вскричала казначейша.

Между тем больной что-то говорил вслух, слова: «а после приведи ко мне доктора, да как можно поскорей!» — громко раздались.

Казначей бросился к нему.

— Что угодно вашему высокопревосходительству? — произнес он тихо.

Больной, склонясь на подушки и смотря в потолок, продолжал:

— Слабость моя уменьшается...

— Слава богу, ваше высокопревосходительство! — сказал казначей, сложив руки и поклонившись. Больной продолжал:

— Силы подкрепляются какою-то надеждою... Конечно, Софья в безопасности. Ах, если бы исполнилось предчувствие! Всесильное существо! Какую принесу тебе благодарность, когда увижусь своих объятиях дражайшую Софью! Чу, я слышу ее голос!..

— Софья, Софья! — вскричал казначей, выбежав в спальню и схватив Софью за руку. — Ступай, поднеси его высокопревосходительству лекарство.

София, добренькая, скромненькая девушка с голубенькими глазками, на которых еще светились слезы от брани мачехи, втолкнутая отцом в комнату больного, остановилась и закрыла платком лицо.

— Я жив еще, любезная Софья! Жив еще! Не мучься! — вскричал больной, протягивая к ней руки. — В каком она иступлении! А, это от любви ко мне!.. О, сердце мое раздирается болью и досадой!..

— Куда ты, Софья! — прошептал казначей, удержав дочь свою, которая хотела выбежать. — Извините, ваше высокопревосходительство, моя Софья немного застенчива.

— Не беспокойся, дражайшая! Мне оставлена жизнь... благодари providение!.. Тьфу, дурак суфлер не подсказывает... Как бишь?..

— Батюшка! Пустите меня!.. — произнесла Софья, вырываясь из рук отца.

— Я жив, — продолжал больной, — и жив для того, что тебе это драгоценно...

— Слышишь, глупая! — шепнул казначей на ухо дочери.

— Теперь помоги мне встать, любезная Софья! Самому мне не позволяет слабость...

— Позвольте, я, ваше высокопревосходительство, приподниму вас! — С этими словами казначей бросился помочь больному встать, а Софья выбежала вон из комнаты.

Приподнявшись с дивана, больной устремил глаза на казначея, долго что-то шептал про себя; потом, вдруг схватив подушку и приподняв ее, вскричал:

— *Что! Или ты, варвар, за тем пришел сюда, чтоб докончить свои злодеяния?*

— Ваше высокопревосходительство! Милостивейший государь!.. Я ничего-с! — произнес казначей, затрепетав как лист.

— *А где государь?*

— Не нам, мелким людям, а вашему превосходительству довлеет знать сие, — отвечал казначей, почтительно поклонясь.

— *Как можно, чтобы государь дал тебе команду надо мною?* — вскричал снова больной.

— Не смею и думать, ваше высокопревосходительство; я человек подкомандный, всем распоряжается сам председатель...

— *Я сам к нему сейчас еду!* — вскричал больной и вдруг вскочил с дивана, накинул на левое плечо сюртук, который был сдернут с руки для пускания крови, схватил лежащую шляпу казначей и скорыми шагами вышел вон из комнаты. В передней вскочили с мест слуги, вытянулись во фронт гарнизонные вестовые и ординарцы, у ворот часовые ударили темп на караул, махальный дал знак гауптвахте, которая была вблизи на площади.

Его высокопревосходительство отправляется скорыми шагами по улице на площадь.

ГЛАВА VIII

Между тем в городе служебная деятельность необыкновенна, исправность по службе дивная, порядок примерный; во всех усердие, достойное внимания высшего начальства; в магистрате и судах все в мундире и при шпаге, регламент ожил, перед зеркалом *чинят и вчиняют* правду по законам, судят и рассуждают о делах, а не о вчерашнем дне и городских новостях; в городской больнице лекари щупают пульс каждого больного, лекарство прописывается не для всех одно, диета не общая; гарнизонная команда на площади учится учебному шагу, полицейская команда настороже. Городничий подписывает рапорты, *донесения* и отношения, квартирные билеты и отправления колодников по этапам; занятия его прерывает вошедший антрепренер театра глубоким поклоном.

— Здорово, любезный! Что это? Афишка нового представления?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, просьбица!

— Иванов, возьми и читай! — сказал городничий, продолжая подписывать бумаги.

Письмоводитель начал читать:

«По титуле; вольноотпущенного Якима Прохорова Козырина прошение; а о чем, тому следуют пункты: 1-е. Быв по ремеслу актер и поступив в директоры, сиречь содержатели вольной труппы, я производил на сцене разные пьесы, как то: комедии, оперы, трагедии, к совершенному удовольствию публики, на ярмарках и в провинциальных городах Всероссийской империи, имел на то повсюду дозволения местного начальства, на собственный кошт, с различными декорациями и костюмами. 2-е. В прошлый год на Ростовской ярмарке поступил в труппу дирекции моей мещанин Корнелий Иванов Зарецкий по контракту, с тем дабы быть на моих хлебах и играть трагические роли, а когда нужда воспоследует, то и комические; в случае же отсутствия или болезни оперного артиста труппы моей, отставного баса певческой кафедрального собора, имеет он, Зарецкий, и петь. Несмотря на сие, он, Зарецкий, по прибытии в сей город от должности своей скрылся и снес от меня, содержателя, разные костюмы, а именно: бархатные штаны, сюртук синего сукна с красным стамедным подбоем, жилет зеленый шелковый шитый, на сюртуке три звезды фольговые, шитые канителью, и сверх сего забрал вперед денег сто двадцать рублей; коего прошу оную полицию отыскать и, поступив по законам, вышеозначенные вещи и деньги мне возвратить. К поданию подлежит в городскую полицию. Прощение сочинял и переписывал со слов просителя сам проситель. К сему прошению руку приложил» и т. д.

— Ты, братец, не выставил в просьбе: сколько ему от роду лет, какие приметы, женат или холост, где приписан к мещанству!.. Это вещи, необходимые для полиции; по сим соображениям мы составим отношение в тот город.

— Ваше благородие! Вот его паспорт.

— Все равно, братец, — отвечал городничий, продолжая подписывать бумаги, — в просьбе должно быть все упомянуто. То-то, братец, чем бы самому сочинять и переписывать просьбу, ты бы обратился к человеку, знающему это дело.

— Позвольте, я вам напишу, — сказал письмоводитель: — это пустого стоит.

Вдруг на улице раздался шум.

— Узнать, что там такое! — вскричал городничий, продолжая подписывать бумаги.

Квартальный и служители полиции бросились вон и не возвращались: любопытство и обязанность повлекли их вслед за народом, который сбегался на площадь и сгущался в толпу около неизвестного человека в треугольной шляпе. Сквозь народ заметны были только сверкающие его глаза и движения рук. Исступленным, страшным голосом он произносил:

— *Великолепный город!.. Какое величие управлять им, блистать над ним, подобно царственному дню!.. Погрузить в этот бездонный океан все клокочущие страсти, все ненасытные желания!.. Пропасты!.. Поверните в нее все, что только человек имеет драгоценного!.. Ваши победы — завоеватели; ваши бессмертные произведения — художники; ваше сластолюбие — эпикурейцы; ваши моря и острова — мореплаватели!.. Дождь!.. Какое блаженство стоять на этой ужасно возвышенной точке! Взирать на бурную пучину, где колесо слепой обманщицы вертит обстоятельствами людей! Какой восторг испить первому из чаши радости!.. Какое величие укрощать тонкою уздою неукротимые страсти людей, одним дуновением превращать в прах вздымающуюся гордость вассала!.. Раздоби гром на простые звуки, и ты усыпишь им детей; слей их в один внезапный удар, и величественный звук потрясет вселенную!..*

— Ваше высокоблагородие, ваше высокоблагородие! — вскричал прибежавший запыхавшись писарь полиции. — В городе странный беспорядок; какой-то в азарте чинит буйство на площади.

— Как! — вскричал городничий, схватив шляпу и шпагу со стола. — Собрать всю команду!.. Послать к окружному командиру, чтоб шел с солдатами на площадь!.. За мной!.. — И с этим словом городничий бросился как угорелый на площадь.

Между тем неизвестный продолжал:

— *Неужели я, я, Физско, убил жену свою!.. О, заклинаю вас! Не смотрите, подобно бледным привидениям, на эту игру природы! Благодарю, всевышний! Есть случаи, которых человек не может страшиться, потому что он человек!.. Кому отказано в восторгах божественных, тому неужели суждено терпеть мучения дьявольские?*

— Вот он, вот! — раздался голос в толпе, стоявшей с открытыми головами.

— Вот он! Он убил свою жену.

— *Молчи!.. Куда?* — продолжал неизвестный, схватив одного попятившегося назад за шиворот и отбросив его в толпу.

— Схватите его, схватите! — кричал полицейский офицер, продираясь сквозь народ.

— *Превратись язык твой в крокодила!* — заревел неизвестный, бросаясь на полицейского чиновника. — *Ступай в бездну адскую!..*

Полицейский чиновник увернулся и с подобострастием замолк, вытянувшись во фронт; его испугал не сам неизвестный, но сиявшие на груди его три звезды.

— Схватите его, схватите! — раздался издали голос запыхавшегося городничего.

Но народ отхлынул от неизвестного, когда, заскрежетав зубами, он произнес:

— Прочь, прочь лица человек! О! Если б мироздание попало в мои челюсти! Человек!.. С какую радостью стоит это гнусное порождение и благословляет судьбу свою, что она не подобна моей! — продолжал неизвестный, указывая на стряпчего, который, растолкнув толпу, только что выбрался вперед. — На одного меня обратилась вся злоба ада!.. Брат! — продолжал он жалким голосом. — Благодарю тебя, всемогущий, здесь есть еще один, которого разразил этот гром!..

— Зарецкий! — раздался новый голос в толпе. Это был содержатель походной труппы. — Вот он, вот он! — вскричал он, продравшись сквозь толпу и обхватив неизвестного. — Он пьянствовал! Я узнал его по монологу из «Физско»! Нашел место декламировать!.. Вот и костюм театральный и мои звезды! Счастье, что не пропил!..

Выведенная содержателем театра из недоумения полицейская команда обсыпала несчастного Зарецкого.

— Скрутите ему руки назад! — вскричал торжественно городничий. — Ведите в полицию для допроса.

Влекут несчастного Зарецкого. Невнятный, отрывистый его голос, сопровождаемый сверкающими глазами, не слышен в шуме преследующей его толпы.

ГЛАВА IX

Бедного Зарецкого привели в полицию; толпа народа обступила полицейский дом; крик, шум, толкотня; городничий, заняв свое место, приказал ввести преступника в судейскую, приказал письмоводителю приготовить бумагу для допросов.

Два будочника ввели Зарецкого; за ним вошел содержатель театра.

Г о р о д н и ч и й

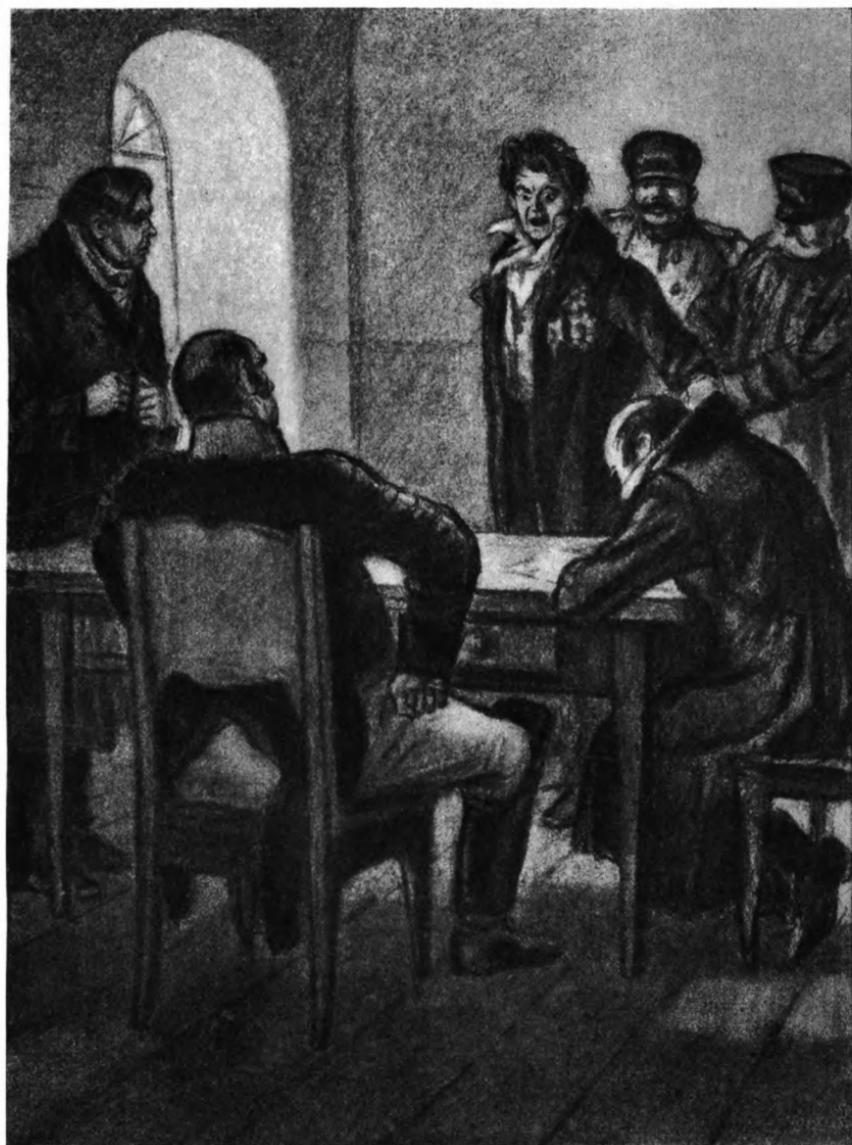
Имя твое?

З а р е ц к и й (в сторону)

Господи боже мой! Ошибка! И где же? На сцене, во время представления! Он должен был сказать *имя ваше?* (К городничему.) *Конрад Туринский.*

С о д е р ж а т е л ь т е а т р а

Он пьян... Ваше высокоблагородие... Он повторяет роль свою из драмы «Вольные судьи».



Г о р о д н и ч и й

Тс! Никто не перебивай слов моих! Звание?

З а р е ц к и й

Имперский барон и член сего судилища.

Г о р о д н и ч и й

Как? Что? Новый подлог? Хорошо! (*К письмоводителю.*) Пиши. (*К Зарецкому.*) По какому случаю прибыл в сей город?

З а р е ц к и й (*в сторону*)

Боже! Он не знает своей роли! Он и меня собьет с толку! (*К городничему.*) *Защищать мою невинность и занять место!*

Г о р о д н и ч и й

Хороша невинность! О друг, ты займешь место в тюрьме!

З а р е ц к и й (*в сторону*)

Чорт знает, что он говорит! Дураку дали роль *Вольного судьи!* (*К городничему.*) *Какое мое преступление?*

Г о р о д н и ч и й

Как? Какое преступление? Запираться! Нет, приятель! Свидетель целый город... Говори, каким образом и с какою целью уговорился ты с господином казначеем сыграть роль генерал-губернатора! А?

З а р е ц к и й (*в сторону*)

Врет! Я? Роль генерал-губернатора? (*К городничему.*) *Где ж мой обвинитель?*

С о д е р ж а т е л ь т е а т р а

Да он, ваше высокоблагородие, спяна бредит ролями, которые играл на театре.

Г о р о д н и ч и й

Тс! Тем лучше: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. (*К Зарецкому.*) Отвечай на вопрос: с какою целью? А? Не с тою ли, чтоб похитить казенные суммы и вместе скрыться? Да!.. Я и позабыл было. (*К квартальным.*) Извольте отправиться

немедленно, сейчас же и без малейшего отлагательства арестовать казначея. Если он скроется, то вы будете отвечать. Слышите ли? (*К Зарецкому.*) Ну, говори, с какою целью? А?

З а р е ц к и й (*в сторону*)

Не то! (*К городничему, с удивлением.*) Какой звук голоса!

Г о р о д н и ч и й

Говори! Что ты будешь на это отвечать?

З а р е ц к и й

Что судилище слишком справедливо, чтоб наказывать заблуждения или чтоб расставлять сети.

Г о р о д н и ч и й

Какая дерзость! Сети!..

З а р е ц к и й (*перебывает*)

Да, сети! Всей Германии известны связи дружбы, родства...

Г о р о д н и ч и й (*перебывает*)

Связи, дружбы и родства! А! Наконец! (*К писарю.*) Пиши: «связи, дружбы и родства!..» Пиши! Вот оно что! Теперь-то объяснилось!

З а р е ц к и й (*в сторону, с сердцем*)

Гадишь, портишь! Не дал всего высказать!

Г о р о д н и ч и й

А что казначей обещал тебе за это?

З а р е ц к и й (*в сторону*)

Вместо: *вы это обещали?* чорт знает что говорят! (*К городничему.*) *И сдержал слово; он был мой друг...*

С о д е р ж а т е л ь т е а т р а

Да он, ваше высокоблагородие, декламирует роль из «Вольных судей»!

Г о р о д н и ч и й

Те! Молчать! Здесь не вольный, а казенный суд!

З а р е ц к и й (*продолжает*)

Мой гость, а я изгнал его; он простирает ко мне руки, а я умиряю его...

Городничий (*перебивает*)

Позднее раскаяние!

Зарецкий (*в сторону*)

Совсем сбил меня! Что бишь? Да! (*К городничему.*) *Должен ли он умирать два раза, два раза переносить томление при смерти! Кто б ты ни был... если это твое мнение, то у тебя сердце людоеда!* (*Бросается к городничему.*)

Городничий (*вскочив с места, с ужасом*)

Он убьет! Схватите его! Он убьет!.. Закуйте его в железа! Тащите его в тюрьму! Колодки на ноги!..

Содержатель театра

Ваше высокоблагородие! Он пьян; он спьяна это все наделал. Извольте прислушать, он говорит не свои слова; это роль...

Городничий

Рогатку на шею! А завтра в кандалах представить его для вторичного допроса и личной ставки с казначеем! Разбой среди белого дня!

ГЛАВА X

Заключение

В тюрьму к Зарецкому тайно приходила *добродетельная преступница*. Она застала его в беспамятстве, бросилась в его объятия, вскричала, как Ангелика:

— *Роланд! Взгляни на скорбь мою о тебе!.. Успокойся, друг мой!..*

А он отвечал:

— *Здравствуй, здравствуй, благородная дочь дикого Сакрипанта! Здравствуй!.. Как! Ты одна убежала от твоего отца?..*

А она, видя, что нет надежды возвратить бедному Роланду-Зарецкому рассудка, произнесла горестно, как Ангелика:

— *Несчастный!* — и удалилась из тюрьмы скорыми шагами, чтоб не опоздать на репетицию.

Настоящий генерал-губернатор, до которого дошли слухи об этом происшествии, смеялся над ним от души и велел пере-

вести Роланда-Зарецкого из тюрьмы в сумасшедший дом, а казначея переместить в другой город.

По сию пору казначейша во время ссоры с мужем посылает его навестить зятя своего в желтом доме; а Зарецкий без отдыха декламирует: то, воображая себя честолюбцем Фиэско, заносит преступную руку на Джанеттино, поражает стену кулаком, клянет судьбу над трупом Розабеллы, низвергается в море с кровати и лежит без памяти на полу; то, вдруг очнувшись, является маркизом Лафастом и клянется в любви Софии; то перед лицом Вольного судилища защищает права и невинность имперского барона. Но в роли Неистового Роланда он превосходит самого себя; все сумасшедшие, находящиеся с ним в одной камере, забывают свою манию, — музыкант перестает перебирать на воздухе клавиши, — духовидец забывает ловить за хвост чортиков, которые садятся ему на нос, — у поэта выпадает из рук воображаемое перо, — оратор не откашливает слова, которое остановилось у него в горле, — и всевнимательно, безмолвно, разинув рот, дивятся иступленному искусству Зарецкого.

ПРИМЕЧАНИЯ

В. Т. Нарезный

(Биографическая справка)

Василий Трофимович Нарезный родился в 1780 г. в Миргородском уезде Полтавской губернии в семье обедневшего дворянина. В 1799 г. он поступил в Московский университет, но, не окончив его, в 1801 г. уехал в Грузию в качестве мелкого служащего при канцелярии правителя Грузии Коваленского. Впечатления от жизни на Кавказе отразились в романе «Черный год» (который, по причинам цензурного порядка, появился в печати лишь после смерти автора, в 1829 г.). Вернувшись в Петербург в 1803 г., Нарезный поступил писцом в Министерство внутренних дел, а затем, с 1807 по 1813 г., он служил в Горной экспедиции. В 1804 г. появилось в печати первое большое произведение Нарезного — романтическая драма «Димитрий самозванец» (до этого он печатал небольшие произведения в различных периодических изданиях). В 1809 г. вышли в свет «Славянские вечера» Нарезного, которые создали ему литературное имя и получили высокую оценку у современников. Желая целиком отдаться литературной деятельности, Нарезный в 1813 г. выходит в отставку. Он пишет роман «Российский Жильбляз или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова», где дано широкое обличение крепостнического строя. Цензура запретила издание трех последних частей романа. Желание Нарезного целиком отдаться литературной деятельности и жить литературным трудом оказалось неосуществимым. Он снова становится мелким чиновником. Много лет в печати не появляются произведения Нарезного. Лишь в 1822 г. выходит в свет его роман «Аристион или перевоспитание» и затем ряд произведений: в 1824 г. — «Новые повести» и «Бурсак». в 1825 г., в год смерти Нарезного, — «Два Ивана или страсть к тяжбам». По поводу этих двух произведений Белинский писал так: «Эти два замечательные произведения были первыми русскими романами».

«Гаркуша, малороссийский разбойник» остался незаконченным. В этом произведении, повествующем об украинском вожде народного восстания

Гаркуше, сила обличения крепостничества достигает такого предельного напряжения, что он не мог появиться в печати. Попытка опубликовать его в 1835 г. была отведена цензором А. Крыловым, который писал, что повесть «располагает к участию, даже сожалению о главном лице, поелику злодейства, составляющие несчастья его, происходили от обид и несправедливостей других людей. Такое направление романа может иметь само по себе вредное влияние на умы того класса читателей, для которого он предполагательно назначается» (Архив Института русской литературы АН СССР).

ДВА ИВАНА ИЛИ СТРАСТЬ К ТЯЖБАМ

Роман напечатан впервые в 1825 г. Печатается по первому изданию.

Стр. 3.

Девкалионов потоп. — Девкалион, в греческой мифологии, — сын Прометея. Когда все люди погибли от всемирного потопа, спасся только Девкалион со своей женой Пиррой.

Стр. 4.

Улисс (Одиссей) — герой поэм «Илиада» и «Одиссея», участвовал в осаде Трои, после падения которой странствовал по свету, прежде чем попал на родину.

Эгид Минервы — атрибут (принадлежность) римской богини Минервы, в виде шлема, шкуры и т. п. Символ защиты богов.

Стр. 5.

Стизеры — церковные песнопения.

Стр. 6.

Амфион — герой греческой мифологии, одаренный волшебным музыкальным талантом; игра его очаровывала и подчиняла его власти даже неодоушевленные предметы.

Стр. 13.

Варенуха — напиток из павара водки и меда.

Стр. 18.

Протори — судебные издержки.

Стр. 19.

Халдейские астрономы. — Халдейские, или вавилонские, жрецы славились как астрономы.

Стр. 21.

Элизиум — местопребывание душ умерших, соответствующее в греческой мифологии христианскому раю.

Стр. 22.

Дьяк — письмоводитель, правитель канцелярии.

Стр. 35.

Эскулап — врач.

Стр. 42.

Некоштные — небогатые.

Стр. 49.

Сшивание тютюна в папуши — сшивание сухих табачных листьев в пачки.

Стр. 54.

Пафос — имя двух древних городов на острове Кипре. Один из них славился храмом в честь богини любви Афродиты.

Ирида — богиня радуги у древних греков, посланница богов к людям.

Стр. 55.

Филемон и Бавкида — имена героев мифического сказания, прославившихся супружеской любовью до глубокой старости.

Стр. 60.

Шелех — переходячая монета.

Стр. 73.

Чивый — щедрый.

Стр. 79.

Седмерицею — семь раз.

Стр. 114.

Оследец — чуб на темени бритой головы.

Стр. 123.

Минерва — у древних римлян — богиня воинственности, мудрости и мужества (то же, что у греков Афина).

ГАРКУША, МАЛОРОССИЙСКИЙ РАЗБОЙНИК

Роман не закончен и при жизни автора в печати не появлялся. Написан, повидимому, в последние годы жизни Нарежного.¹

Печатается по рукописи, хранящейся в Гос. публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

¹ Точная датировка затруднительна. В начале четвертой части есть пометка «17 мая 1826 г.», которая говорит о том, что роман писался и в последний год жизни Нарежного.

Стр. 174.

Гаманные огнива — огнива, которые носили в кожаном кисете с табаком.

Стр. 184.

Драгвы — степные птицы.

Стр. 193.

Речь... Цицеронова за Милона. — Цицерон — величайший римский оратор, в 52 г. до н. э. выступил в качестве защитника римского трибуна Милона, убившего Клодия.

Кустодия — коробочка, в которую вкладывалась для большей сохранности печать, прикрепленная на шнурке под древними грамотами. Здесь слово «кустодия» употреблено в смысле «сторож».

Голландцы — золотые монеты.

Стр. 197.

Аталиба, монарх Квйтский — последний царь Перу. В 1553 г. был задушен по приказу Пизарро, испанского завоевателя Перу.

Стр. 204.

Консистория — присутственное место для управления и суда в епархии.

Титлы, словотитлы. — Титло или титла в древнерусской письменности — надстрочный знак, отмечающий пропуск буквы для ускорения письма и экономии места.

Ерик — знак церковной грамоты, заменяющий букву «Ь» (так именовали в эту букву).

Кавыка — запятая.

Стр. 205.

Минеи (Четьи-Минеи) — церковные книги для ежемесячного чтения.

Патерик («книга об отцах») — книга, содержащая жития так называемых «святых отцов».

Стр. 208.

«Прекрасная царица и счастливый Карла» — повесть Карамзина, где излагается история о царице, полюбившей Карлу за его умение рассказывать сказки.

Стр. 217.

Повытчик — столоначальник.

Стр. 218.

Ванька Каин — известный вор и сыщик, живший в XVIII веке. *Картуш* — знаменитый французский разбойник, живший в начале

XVIII века. Истории того и другого были изданы в XVIII веке Матвеем Комаровым и потом неоднократно переиздавались.

Стр. 219

...прельщали его более, нежели Александра Ахиллес и Карла Александра. — Александр Македонский считал образцом воинской доблести легендарного древнегреческого героя Ахиллеса (участника осады Трои), а римский император Карл III таким же образцом для себя — Александра Македонского.

Стр. 224.

Шишиморы — кикиморы.

Стр. 225.

Подобно глиняной статуе, оживленной огнем Прометеевым... — Прометей, согласно греческому мифу, делал людей из глины и для оживления их похитил с неба огонь.

Стр. 226.

Наперник — любимец, доверенное лицо.

Стр. 227.

Сволочь — здесь означает «сборище».

Стр. 236.

Кармазинного цвета — темнокрасного цвета.

М. П. Погодин

(Биографическая справка)

Михаил Петрович Погодин родился в Москве в 1800 г. в семье крепостного, дворового человека графа И. Салтыкова. В 1821 г. Погодин окончил Московский университет и был зачислен в Московский благородный пансион в качестве преподавателя географии. В 1825 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «О происхождении Руси» и до 1844 г. преподавал историю в Московском университете.

Впервые он выступил как литератор в 1821 г., напечатав в «Вестнике Европы» «Письмо к Лужницкому старцу» и «Разбор «Кавказского пленника». Повести Погодина появились в печати в 1826 г. в изданном им альманахе «Уrania» и затем в «Московском вестнике». Ранние повести Погодина рисовали в сочувственных тонах картины народного быта и сатирически изображали быт купечества и провинциального дворянства. Этим объясняется положительное отношение к некоторым из них, и в част-

ности к «Нищему», Белинского и других передовых деятелей эпохи. В начале 30-х годов Погодин написал трагедии «Марфа Посадница» и «Петр I», которые встретили одобрительную оценку Пушкина. С 1827 по 1830 г. Погодин совместно с «любомудрами» — приверженцами идеалистической философии — издавал журнал «Московский вестник». К началу 40-х годов Погодин порвал с беллетристкой и всецело стал публицистом и историком. Его политические взгляды принимают все более и более реакционный характер. В течение 1841—1856 гг. Погодин издавал «Москвитянин», журнал, направленный против Белинского и всей революционной демократии. В «Москвитянине» проповедовались идеи самодержавия, православия и официальной «народности».

Умер Погодин в 1875 г.

НИЩИЙ

Повесть была впервые напечатана в альманахе «Уrania» за 1826 г. Печатается по сборнику «Повести» Погодина, М., 1832.

Стр. 271.

... *полк наш выступил в поход.*—Имеется в виду поход в Италию под командованием Суворова в 1799 г. Знаменитый эпизод, связанный с этим походом, — героический переход русских войск через Альпы.

После был я под туркою, под шведом.—Подразумевается участие рассказчика во второй русско-турецкой войне 1787—1791 гг. и русско-шведской войне 1788—1790 гг.

А. А. Бестужев-Марлинский

(Биографическая справка)

Александр Александрович Бестужев родился в обедневшей дворянской семье. Отец его, Александр Федосеевич, был другом ученика Радищева, поэта Пнина, совместно с которым издавал в 1798 г. «Санкт-Петербургский журнал», стоявший на прогрессивных позициях. А. А. Бестужев получил блестящее домашнее образование, учился в Горном корпусе, но, не кончив его, в 1817 г. поступил в лейб-гвардии драгунский полк, который находился под Петергофом в Марли (отсюда псевдоним Бестужева — Марлинский).

С 1819 г. Бестужев становится видным сотрудником ряда журналов, сближается с ведущими литераторами. К концу 1822 г. относится его знакомство с Рылеевым, совместно с которым в течение 1823—1825 гг. он издает альманах «Полярная звезда». В этом альманахе перу Бестужева принадлежат обзоры русской литературы, сыгравшие выдающуюся роль в истории русской критики своей борьбой за прогрессивную национально-самобытную литературу.

В 1824 г. Рылеев ввел Бестужева в декабристское «Северное общество». В движении декабристов принимали также участие братья Александра Бестужева Николай и Михаил, которые после 14 декабря 1825 г. были приговорены к каторжным работам.

А. Бестужев по окончании следствия над декабристами в течение года находился в заключении в форте «Слава» в Финляндии, с 1827 по 1829 г. отбывал ссылку в Якутске, после чего был переведен рядовым в действующую армию на Кавказ. Получив возможность печататься вновь лишь в 30-х годах (да и то под псевдонимом), Бестужев становится одним из популярнейших писателей. Белинский признавал «замечательный талант» Бестужева как беллетриста и оценивал его как «очень примечательное лицо в истории нашей литературы». «Его назначение, — продолжал Белинский, — было действовать против заплесневелой старости... Его сочинения принесли великую пользу тем, что уничтожили в глазах публики всякую цену прежнего направления в романе и повести, сделав их смешными и пошлыми». Признавая положительные элементы творчества Бестужева, Белинский вместе с тем резко критиковал пороки его творческого метода — внешнюю эффектность, односторонность характеров и т. п. (подробнее об этом см. во вступительной статье).

Работать как литератору Бестужеву пришлось в исключительно тяжелых условиях. Ни все растущая литературная известность, ни храбрость, проявленная в боях, не облегчили его положения. В качестве рядового ссыльного солдата он терпел лишения и унижения; лишь в 1835 г. он получил чин унтер-офицера. Несмотря на широкую писательскую известность, Бестужев продолжал быть «государственным преступником». В 1837 г. Бестужев погиб при занятии русскими войсками мыса Адлер.

Тексты повестей Бестужева-Марлинского даны по прижизненным публикациям. Тексты повестей «Испытание» и «Лейтенант Беловор» сверены с сохранившимися рукописями.

ИСПЫТАНИЕ

Впервые напечатано в «Сыне отечества», 1830, №№ 29—32.

Стр. 276.

Ташика — кожаная сумка у офицеров лейб-гвардии гусарского полка.
Скоресби (Скоресби) Вильям (1789—1857) — английский путешественник

Авакум — протопоп (1620—1681), один из вождей старообрядчества. Здесь упоминается как враг новизны.

Трехбунчужный паша. — Паша — титул первых сановников Турции. Отличительный знак достоинства паши — бунчук (лошадиный хвост).

Ментик — короткая гусарская куртка со шнурами.

Стр. 277.

Жолини (1779—1869) — барон, теоретик военного дела, состоявший на русской службе.

Фрейшиц — «Волшебный стрелок» (опера Вебера).

Алькатура V. C. P. — «V. C. P.» — сорт шампанского. Слово «алькатура» употреблено здесь иронически, в двойном смысле; оно означает: 1) «правильное расположение пальцев для наиболее удобной игры на музыкальном инструменте и 2) металлическую накладку на горлышке бутылки.

Рутировать — ставить на одну и ту же карту.

Стр. 278.

Знак Водолея — зодиакальное созвездие, в которое солнце вступает в январе.

Брандскугель — зажигательное ядро (снаряд).

Стр. 279.

Соляной обломок Лотовой жены. — По библейскому сказанию, жена Лота превратилась в соляной столб за любопытство.

Стр. 280.

Елисейские поля — местопребывание праведников после смерти, по поверью древних греков.

Арендт Николай Федорович (1785—1859) — хирург, лейб-медик с 1829 г.

Стр. 282.

Финская Пальмира — в переносном смысле так называли Петербург. Пальмира — древний город («город пальм»); был столицей обширного царства, распространявшегося на Египет и среднюю Азию; славился пышностью и богатством.

Гоарт Вильям (1697—1764) — английский живописец и гравер.

...гуси, забыве капитолийскую гордость... — Гуси были священной птицей у древних римлян и содержались в Капитолии, так как, по преданию, спасли Рим.

Стр. 283.

Аполов — аллегорический рассказ, басня.

Пустынный Галерной гавани, или Коломны, или Прядильной улицы. — Здесь подразумеваются популярные в журналистике 20—30-х годов псевдонимы критиков. В частности, «Житель Галерной гавани» — псевдоним О. М. Сомова.

Стр. 285.

Изида — египетская богиня; позже, в римскую эпоху, олицетворяла вседержавную богиню неба, земли и ада. По преданию, в Саксе существовала статуя Изиды, покрытая покрывалом, которое никто не смел снять. «Покрывало Изиды» здесь олицетворяет тайну.

Стр. 287.

Самсонов фонтан в Петергофе — фонтан работы скульптора Козловского с изображением Самсона, раздирающего пасть льва.

Стр. 289.

Окен Лоренс (1779—1854) — немецкий философ и естествоиспытатель.

Стр. 290.

Конреговские ракеты — боевые ракеты.

Растор и Поллукс — по греческой мифологии, неразлучные братья-близнецы, сыновья Зевса и Леды.

Стр. 291.

Чичисбеям. — Чичисбесм в старину в Италии назывался опутник, которого избирала себе замужняя женщина для прогулок.

Стр. 300.

Мадам Сталь. — Мадам де Сталь Анна-Луиза-Жермена (1766—1817) — французская писательница.

Мизогин — ненавистник женщин.

Стр. 303.

Соседи-антики. — Антик — старина, древность.

Стр. 305.

Селадон — нарицательное имя, обозначающее томлящегося любовника, изображенного в романе Юрфе «Астрей».

Стр. 311.

Криспин — слуга, герой комедии Лесажа «Криспин — соперник своего господина».

Стр. 314.

Дафнис и Менаж — герои любовной, так называемой «идиллической» поэзии XVI—XVII вв.

Стр. 317.

Шваллер — епуск у пистолета.

Стр. 319.

Мемнонова статуя — статуя в Египте, издававшая при восходе солнца звуки (что объяснялось изменениями температуры).

Впервые напечатано в «Сыне отечества», 1831, №№ 33—42.

Стр. 329.

Фальшфейер — бумажная гильза, забитая горючим материалом, употребляемая для иллюминации, на судах — для указания своего места.

Битенга — брус для закрепления снасти.

Льяла — отверстие в судне для погрузки тяжестей.

Держим на храпу — здесь в смысле: помпы работают с предельной силой.

Марсарей — рей, к которым привязывают паруса.

Стр. 330.

Рангоут — совокупность круглых брусьев, служащих для растяжки парусов.

Сеняин Д. Н. (1763—1831) — русский адмирал, командовал походом русского флота (1806—1807 гг.) в Ионическом и Адриатическом морях.

Эгельгофт — часть мачты.

Тифон — ураган.

Стр. 332.

Рифмарсели — часть оснащения парусного судна.

Репетичный фрегат — фрегат, состоящий при флоте и эскадре для немедленного повторения сигналов флагмана.

Грот-стеньга — рангоутный брус, служащий продолжением мачты, получает название от мачты: грот-мачта — средняя мачта на парусном судне.

Стр. 333.

Бейдевинд — положение судна, когда угол, составляемый его направлением и направлением ветра, менее 30°.

Шкот — снасть для растягивания парусов и управления ими.

Стр. 334.

Ют — место на палубе судна от кормы до бизань-мачты.

Ростры — площадки над палубой судна для установки шлюпок.

Стр. 337.

Ориенталист — здесь: знаток восточных языков.

Эней — герой поэмы Вергилия «Энеида».

Стр. 341.

Иона — один из «пророков»; согласно библейской легенде, пребывал три дня в чреве кита.

Стр. 342.

Брандвахта — военное сторожевое судно перед портом, гаванью.

Стр. 343.

Гебея (Геба) — богиня юности у древних греков, дочь Зевса и Геры, была на Олимпе виночерпием богов.

Стр. 344.

Брюсов календарь — календарь, изданный под наблюдением Якова Брюса Киприяновым и Ростовцевым (1709—1715 гг.); содержит предсказания событий до 1821 г. Брюс прослыл колдуном и астрологом.

Пико де ла Мирандола Джованни (1463—1494) — итальянский ученый.

Стр. 345.

Рюйтер (или Рейтер) Михаил-Адриансон (1607—1676) — голландский адмирал.

Оранжисты — ирландские протестанты, сторонники английского владычества над Ирландией; с 1798 по 1836 г. образовали несколько «лож оранжистов».

Бурмицкие зерна — крупный, отборный жемчуг.

Стр. 347.

Аргусовы очи. — Аргус, в греческой мифологии, — исполин с глазами по всему телу, приставленный Герою в стражи к Ио.

Стр. 348.

Типпо-Саиб (Типпу-Сагиб) — султан Майсура (1751—1799), стремился к изгнанию англичан из Индии, пал при штурме Серингапатама англичанами.

Элевзинские таинства — религиозные обряды, совершавшиеся в древней Греции, в городе Элевзине.

Стр. 349.

Екклезиаст — библейская книга, проповедующая, что все земное — «суета сует» и что спасение только «в страхе божьем».

Стр. 350.

Марли — окруженный прудами павильон, построенный Петром I в Петергофе.

Стр. 352.

Флора — у римлян богиня цветов и весны.

Стр. 353.

Морфей — бог сновидений у древних греков.

Стр. 357.

Санскритское наречие — литературный язык в древней и средневековой Индии, употреблявшийся в высших кастах.

Стр. 359.

Auto-da-fé (ауто-да-фе) — сожжение на костре (здесь в смысле «уничтожение»).

Стр. 367.

Франциск I (1494—1547) — король французский.

Пирамида Вестриса. Здесь спутаны капитаном имена французского балетмейстера Вестриса и египетского фараона Севостриса.

Стр. 368.

Фуше Жозеф (1763—1820) — предатель и интриган, был членом Конвента, затем в 1799—1810 гг. — министр полиции Наполеона.

Меркуриев жезл — символ торговли.

Стр. 371.

Фанфарон — хвастун.

Стр. 373.

Обручение дожа с морем — обычай в Венеции: новый дож бросал в море кольцо, что символизировало его обручение с морем.

Стр. 377.

Смоглер — контрабандист.

Волян — мяч.

Стр. 379.

...романических покровок — романтических крайностей.

Стр. 380.

Тартана — цветная шотландская материя.

Стр. 382.

Юна-фров — барышня.

Стр. 387.

Прелиминарная статья — основное предварительное условие.

Стр. 389.

Верп — малый якорь.

Тендер — однопарусное судно.

Бахитов — канат, которым одно судно укрепляется за кормой другого.

Стр. 393.

Термин — римский бог границы.

Кроншлот — форт Кронштадта, в южной части острова Котлина, основанный Петром I (1703 г.).

МОРЕХОД НИКИТИН

Впервые напечатано в «Библиотеке для чтения», 1834, т. IV, № 6.

Стр. 396.

Аргонавты — герои греческой мифологии, отправившиеся на судне «Арго» под предводительством Язона в Колхиду за золотым руном.

Стр. 397.

Сочинители .. темных, пестрых и голубых сказок — намек на В. Ф. Одоевского, автора «Пестрых сказок».

Противоскорбутное средство — противоцинготное средство.

Стр. 398.

Барон Брамбеус — псевдоним редактора «Библиотеки для чтения» Сенковского.

Несторова летопись. — Нестор (1056—1114) — монах Киево-Печерского монастыря; ему приписывается авторство «Повести временных лет», древней русской летописи.

Кювье Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель.

Фантастические путешествия — подразумеваются произведения Сенковского.

Топсель — парус, меньше коренного, но поднимающийся выше его.

Стр. 399.

Постривало — приспособление для стрижки волос.

Стр. 402.

Капер — судно, которое во время войны вооружалось частными людьми для нападения на неприятельские суда.

Стр. 403.

Альциона (Алкиона) — по греческой мифологии, жена царя трохидского Кейка, от скорби по утонувшем муже бросившаяся в море, после чего оба они были превращены в птиц.

Стр. 405.

Надоела мне... ваши мартингалы, шлицегели и испанш-рейтеры; бешеного брыкливого коня сюда! — Здесь противопоставляется (в переносном смысле) вольная верховая езда на необузданном коне — езде по всем правилам и со специальными приспособлениями. В этом же плапе иронически

упоминаются шпанш-рейтеры, т. е. испанские рыцари «кабальеро» (так титуловались в Испании дворяне).

Стр. 406.

«Записки Трелоней». — Трелоней (1797—1881) — английский писатель, один из друзей Байрона.

«Последняя нескромность современницы» — записки французской авантюристки де Фонь, носившие скандальный характер. Вышли в 1827 г.

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — книготорговец и издатель.

Жоанно Тони (1803—1853) — французский рисовальщик, гравёр и живописец.

Мемуары Видока. — Видок Эжен-Франсуа (1775—1857) — известный французский сыщик, автор мемуаров (1828 г.). «Видоком» называл Пушкин агента III отделения Булгарина.

Комедиант Цапат в Жильблазе — один из героев романа французского писателя Лесажа «Похождения Жиль Блаза де Сантильяни» (1715—1785).

Стр. 407.

Каравансарай — стоянка для путешественников на Востоке.

Стр. 408.

Румпель — рычаг для поворачивания судна.

Стр. 410.

Румба — часть горизонта, по которому определяется курс корабля.

Стр. 411.

Валамут — волнение.

Стр. 412.

Каронада — род артиллерийского орудия.

Стр. 414.

Континентальная система — ряд запретительных мероприятий Наполеона I, целью которых было закрыть совершенно континентальный рынок для английской торговли.

Стр. 416.

Герои красного флага — корсары.

Стр. 417.

Чакалка — шакал.

Шныгарили — шныряли.

Стр. 419.

Вей — мальчик.

Стр. 422.

Долгорукий Яков Федорович (1659—1720) — сенатор Петра I, советник и сторонник его реформ. Подвиг, о котором здесь упоминается — бегство из плена, в который он попал в битве под Нарвою.

Н. Ф. Павлов

(Биографическая справка)

Николай Филиппович Павлов, сын крепостного, родился в 1805 г. Учился сперва в Московском театральном училище, затем перешел в Московский университет, который окончил в 1825 г. В период окончания университета он начинает печатать свои стихотворения в «Московском телеграфе», в начале 30-х годов пишет комедии-водевили «Стар и млад», «Щедрый» и другие.

В 1835 г. выходят «Три повести» Павлова, встретившие хороший прием в передовых кругах и получившие одобрение Пушкина. Николай I резко отозвался об этих повестях; цензор получил выговор. Обложка, на которой изображалось чудовище, поражаемое кинжалом, была конфискована (чудовище это трактовалось как символ самодержавия). Книгу запрещено было перепечатывать.

В 1838 г. вышли в свет «Новые повести» Павлова, значительно уступавшие первому сборнику в идейном и художественном отношении. Дальнейшая литературная деятельность Павлова не представляет интереса; исключения составляют лишь «Четыре письма к Гоголю», напечатанные в 1847 г. и явившиеся ответом на «Выбранные места из переписки с друзьями». Эти письма Павлова вызвали положительный отзыв Белинского и по его инициативе были перепечатаны в «Современнике».

Вследствие семейных раздоров и последовавшей жалобы жены писателя, известной в свое время поэтессы Каролины Яниш, Павлов был сослан в Пермь, где прожил до конца 1853 г. Вернувшись в Москву, он печатает ряд критических статей в «Русском вестнике», свидетельствующих о постепенном переходе его на реакционные позиции. В 60-х годах Павлов окончательно скатывается на путь реакции. Умер Павлов в 1864 г.

«Именины», «Аукцион», «Ятаган» печатаются по сборнику «Три повести», вышедшему в свет в 1835 г.

ИМЕНИНЫ

Стр. 433.

Ватерлоо. Под Ватерлоо произошло поражение Наполеона 18 июня 1815 г., приведшее к окончательному низложению его.

Стр. 436.

Чекан — род флейты.

АУКЦИОН

Стр. 447.

Новерр Жан-Георг (1727—1810) — французский балетмейстер, автор ряда балетов.

Вестрис Гаяetano (1729—1808) — французский танцовщик, автор ряда балетов. *Вестрис Мария-Огюст* (1760—1842) — сын его, также знаменитый танцовщик.

Дюпор Луи (1782—1853) — парижский танцовщик, в 1808 г. бежал в Петербург, где пробыл до 1812 г. Автор ряда балетов.

Дидло Карл-Людовик (1767—1837) — знаменитый балетмейстер, сочинивший и поставивший на русской сцене множество балетов.

Кастиль-Блаз — Блазие Карло (1798—1878), итальянский хореограф и писатель.

Стр. 449.

«Церковь богородицы в Париже» — роман В. Гюго «Собор Парижской богородицы» (1831 г.).

Стр. 450.

Корабль Вернета. — Верне Жозеф (1714—1789) — французский художник; в своих картинах большей частью изображал морские пейзажи.

ЯТАГАН

Стр. 455.

Андрей — петербургский ресторатор.

Стр. 462.

Дамаск в древности славился сталью высокого качества.

Стр. 463.

Сераскир — начальник турецких войск.

Трехбунчукский паша — см. выше, стр. 561.

Стр. 464.

Реляция — донесение о ходе событий на войне.

Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — знаменитый французский актер, любимец Наполеона.

Стр. 465.

Под Красным — эпизод из истории Отечественной войны 1812 г.: в битве под Красным французы, преследуемые русскими войсками, потерпели поражение.

Стр. 469.

Crescendo (кресчендо) — музыкальный термин; означает: играть, увеличивая силу звука.

Стр. 479.

...герцозини *Абрантес*, *Дельфины Ге* и... *мисс Тролопп*. — *Абрантес Жозефина* (1754—1838) — французская писательница, автор романов и мемуаров. *Дельфина Ге* (*Жерарден*) (1804—1855) — французская писательница и поэтесса. *Тролопп Френсис* (1791—1855) — английская романистка.

Стр. 489.

Дирекция — здесь: направление.

О. М. Сомов

(Биографическая справка)

Орест Михайлович Сомов родился в 1793 г. в Харьковской губернии. Воспитывался в Харьковском университете. Начал литературную деятельность стихами, напечатанными в «Украинском вестнике». В 1818 г. переехал в Петербург и завязал тесные связи с прогрессивными литературными кругами. Сомов был членом и активнейшим участником «Вольного общества любителей российской словесности», руководимого писателями-декабристами, деятельно сотрудничал в журналах как поэт, критик, прозаик. В статье «О романтической поэзии», напечатанной в 1823 г. в «Соревнователе просвещения и благотворения», Сомов развивал идеи национальной самобытности и народности литературы. Близкие отношения Сомова с деятелями «Северного общества» и, в частности, с Рылевым и А. Бестужевым (он жил в одном доме с этими декабристами, служил под начальством Рылеева в «Российско-американской компании», участвовал в издании «Полярной звезды») навлекли на него подозрения: после разгрома декабрьского восстания он был арестован и заключен в Алексеевский рязевлин, но вскоре освобожден, так как улики против него не было обнаружено. В дальнейшем Сомов был близок к пушкинскому окружению: он участвовал вместе с Дельвигом в издании альманаха «Северные цветы»; вместе с Дельвигом и Пушкиным — в издании «Литературной газеты».

Сомов за несколько лет до появления гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» написал ряд повестей, в которых использовался украинский и отчасти русский фольклор и описывались народные обычаи. Таковы повести Сомова: «Русалка» (1829), «Оборотень» (1829), «Кикимора» (1830), «Сказки о кладах» (1830), «Жупалов вечер» (1831). Но для Сомова, в отличие от Гоголя, фольклор и материал народных обычаев не были источником художественных обобщений, а интересовали его с точки зрения этнографической.

В начале 30-х годов в творчестве Сомова обозначились, под прямым влиянием пушкинских «Повестей Белкина», реалистические тенденции, стремление к естественности образов, к простому и безыскусственному рассказу на темы окружающей жизни. Разумеется, Сомов не смог и теперь, в таких своих повестях, как «Матушка и сынок», «Роман в двух письмах», подняться до глубины изображения жизни в «Повестях Белкина»: упомянутые повести Сомова свидетельствуют о начавшемся в его творчестве повороте к реализму, повороте, оборвавшим его смертью (1833 г.).

Печатается по тексту, опубликованному в альманахе «Альциона» на 1832 г.

Стр. 499.

Пенаты — в римской мифологии боги-покровители семьи, дома. Иносказательно — родной дом вообще.

Стр. 500.

Байроновский подвиг... Геллеспонт. — Геллеспонт — древнее название Дарданелльского пролива, который Байрон переплыл в 1810 г.

Геро и Леандр. — Геро, жрица Афродиты в Сесте, любила Леандра, который переплывал для свиданий с ней Геллеспонт каждую ночь и погиб в бурю.

Стр. 501.

Лафонтень Жан (1621—1695) — французский баснописец.

Стр. 502.

...подобно Тришке. — Имеется в виду басня Крылова «Тришкин кафтан».

Стр. 504.

Египетские термы — статуи.

Стр. 506.

Нимрод — легендарный вавилонский царь, изображавшийся в виде охотника.

Стр. 507.

Письмовник — так называлась своеобразная хрестоматия, содержащая, наряду с грамматикой, поговорки, анекдоты, песни и т. д. «Письмовник» был составлен в XVIII веке Н. К. Кургановым.

Амфитрион — греческий царь, муж Алкмены, обманутый Юпитером, который принял вид самого Амфитриона.

Пастушка — не из аркадских. — Аркадия — в идиллической поэзии страна счастливых «пастушков» и «пастушек».

Стр. 508.

Монастырка из Смольного — воспитанница Смольного института благородных девиц.

Стр. 509.

Петиметр — фат, щеголь.

Стр. 511.

Французик из Бордо — упомянутый Чацким в «Горе от ума» француз, приехавший в Россию из города Бордо и чувствовавший себя вольготно в кругу офранцуженных русских бар.

Каньву — корсаж.

А. М. Вельтман

(Биографическая справка)

Александр Фомич Вельтман, поэт, прозаик и археолог, родился в 1800 г. в Москве. Воспитывался в Благородном пансионе при Московском университете, затем в одном из частных пансионов. С 1816 г. служил в армии, участвовал в войне с Турцией 1828—1829 гг. С 1834 г. вышел в отставку и стал заниматься литературой, а затем также и археологией (совмещая эти свои занятия с службой в Оружейной палате, где он с 1842 г. был помощником директора, а с 1852 г. и до смерти — директором).

А. Ф. Вельтман получил известность главным образом как прозаик. Им написаны романы: «Странник» (1831 г.), «Кащей бессмертный» (1833 г.), «Саломея» (1848 г.), «Чудодей» (1849 г.) и другие. Ему принадлежат также два сборника повестей (1836 и 1843 гг.). В этих произведениях встречаются остроумно воспроизведенные черты быта различных сословий, зарисовки многообразных жанровых сенок, историко-этнографические описания. Однако наряду с верно схваченными отдельными чертами современной жизни у Вельтмана преобладает формалистическая игра сюжетными положениями, нарочитое смещение реальности и безудержной фантазии, беспорядочное нагромождение огромного числа персонажей. Как отметил Белинский, «оригинальность фантазии Вельтмана часто сбивается на странность и вычурность в вымыслах. Прочитав его роман, помнишь прекрасные, исполненные поэзии места, но целое тотчас изглаживается из памяти. К романическому и поэтическому вымыслу Вельтман примешивает какой-то археологический мистицизм.. Все это очень безобразит его романы». Вот почему задолго до смерти (Вельтман умер в 1870 г.) он потерял былую популярность.

Повесть «Неистовый Роланд» принадлежит к числу наиболее удачных произведений Вельтмана. Напечатана впервые в «Библиотеке для чтения», 1834, т. 2. Печатается по сборнику Вельтмана «Повести», 1837.

Пьеса «Неистовый Роланд», отрывки из которой произносит герой повести Вельтмана — актер Зарецкий, вышла в Москве в 1793 г. (на обложке: «перевод с немецкого Н. М.») и в течение многих лет ставилась в театрах.

НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД

Стр. 524.

Фактор — комиссионер, смотритель.

Стр. 527.

Заптрак на вилках. — «На вилках» — буквальный перевод франц. выражения «à la fourchette» — еда стоя или у стойки.

Стр. 528.

Тулумбас — старинный музыкальный ударный инструмент.

Стр. 536.

Антикварий — знаток древностей.

Стр. 545.

Верцало — трехгранная призма с тремя указями Петра I. Ставилась в присутственных местах как символ закона.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	III
<i>Б. Мейлах.</i> Русская повесть 20—30-х годов XIX века	V

В. Т. НАРЕЖНЫЙ

Два Ивана или страсть к тяжбам	3
Гаркуша, малороссийский разбойник	139

М. П. ПОГОДИН

Нищий	265
-----------------	-----

А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

Испытание	275
Лейтенант Белозор	328
Мореход Някитин	395

Н. Ф. ПАВЛОВ

Именины	425
Аукцион	447
Ятаган	454

О. М. СОМОВ

Роман в двух письмах	499
--------------------------------	-----

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

Неистовый Роланд	523
<i>Примечания</i>	555

Редактор В. Петушков

Переплет, титульные листы

Д. Двоскина

Технический редактор

А. Кукуричкина

Корректор О. Семенова-Тян-

Шанская

Подписано к печати 22/VI 1950 г.
М-13090. Тираж 80000 экз. Бум.
60 × 92/16. Уч.-изд. л. 37. Печ. л.
38,26. = 19 1/8 бум. л. + 13 вклеек.
Цена 11 р. Заказ № 618.

2-я типография „Печатный Двор“
им. А. М. Горького Главполиграф-
издата при Совете Министров СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26.

